

11 Теодор
Драйзер

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Теодор Драйзер

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ
ОДИННАДЦАТЫЙ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Издание выходит под общей редакцией
С. И в а н ь к о

Рассказы



Из сборника
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В большой уютной квартире архитектора Руфуса Хеймекера в Сентрал-Парк Уэст тишина. Едва светает. Из высоких зеркальных окон, которые так облагораживают фасад дома, виден парк напротив; ряды величавых тополей еще окутаны утренней дымкой. Из окна спальни тоже виден краешек парка, но мистер Хеймекер, поднявшись в этот ранний час, прошел через холл в гостиную, чтобы, сидя здесь, у широкого окна, любоваться деревьями и маленьким озером за ними. Он так любит природу во всем ее многообразии, в душе он — поэт.

Хеймекеру под шестьдесят; он худощав и слегка сутул, но не лишен изящества; густые волосы, нависшие брови, коротко подстриженные седеющие усы и борода придают некоторую суровость его тонкому лицу. На нем широкий и длинный светло-синий халат, отделанный серебряным шнуром. Тонкие, бледные, морщинистые руки, длинные пальцы, слегка узловатые в суставах, выдают художника если не по профессии, то по натуре; глаза смотрят устало и в то же время беспокойно.

Уже три недели его жена больна — разладилось все сразу: сердце, почки, нервная система; и вот вчера доктор Сорм, их домашний врач, отвел его в сторону и мягко, дружески, явно стараясь щадить его чувства, сказал:

— Если до завтра вашей супруге не станет лучше, мистер Хеймекер, я приглашу для консультации моего коллегу, доктора Грейнгера, — вы его знаете. Он больше понимает в этих сердечных недугах, чем я. («Сердечные недуги», — иронически повторил про себя Хеймекер.) Мы ее тщательно осмотрим и тогда, надеюсь,

сможем с большей уверенностью сказать, в какой мере можно рассчитывать на ее выздоровление. Это тяжелый случай, я бы сказал, весьма трудно поддающийся лечению. Но организм очень стойкий и в общем сопротивляется болезни лучше, чем можно было ожидать. И все же... я не хочу понапрасну пугать вас, да пока и нет поводов для чрезмерной тревоги... все же мой долг предупредить вас, что ее состояние очень серьезно. Я не хочу сказать, что нет надежды. Я этого не думаю. Совсем не думаю. Как раз напротив. Она может выздороветь, это вполне вероятно, и, пожалуй, проживет еще лет двадцать. (Тут Хеймекер подавил тяжелый вздох.) Судя по всему, силы у нее могут восстановиться, но сердце скверное и обострение болезни почек, конечно, не улучшает дела. Именно сейчас, когда сердцу вредна всякая лишняя нагрузка, ему приходится работать сверх меры.

Можно сказать, что сейчас она — накануне кризиса. День, два, самое большее четыре — и будет ясно, какой это примет оборот. Но, как я уже сказал, я не хочу понапрасну пугать вас. Мы далеко не исчерпали всех наших возможностей. Мы еще не прибегли к переливанию крови, а ведь в пользу переливания можно многое сказать. Кроме того, в любую минуту ее организм — особенно почки — может начать энергичнее реагировать на лечение, и тогда положение сразу изменится к лучшему.

Однако, повторяю, мой долг обязывал меня поговорить с вами, чтобы вы были готовы к худшему, ведь при таком сложном заболевании трудно предвидеть, каков будет исход. Тут заранее ничего не скажешь. Я старый друг вашей семьи, я знаю, как много вы значите для нее и она для вас...— Хеймекер посмотрел на него отсутствующим взглядом.— И я считаю своим долгом подготовить вас. Всем нам приходится переживать такое. Вы ведь знаете, только в прошлом году я потерял мою Матильду, мою младшую дочку. Но все же, повторяю, я вовсе не думаю, что миссис Хеймекер при смерти,— я надеюсь, нам с доктором Грейнгером еще удастся поставить ее на ноги. Очень надеюсь.

Доктор Сторм посмотрел на Хеймекера с искренним сожалением — ведь он уже старик, прожил с женой столько лет, привык к ней,— конечно, для него будет большим несчастьем ее потерять. А Хеймекер, застыв словно статуя, думал о том, какой все это нелепый

фарс, как заблуждаются все вокруг. Вот ему уже почти шестьдесят, он устал от всего, устал от жизни, и никогда он не был по-настоящему счастлив с тех пор как женился; а между тем жена, которая обо всем судит по внешности, убеждена, что он должен быть счастлив с ней, и поэтому сама едва ли не безмятежно счастлива. Вот и доктор смотрит на него, как на дряхлого старика, который нуждается в заботе, сочувствии и понимании своей любящей жены! Невольно Хеймекер поднял руку, словно что-то отстраняя.

И дети тоже думают, что он нуждается в ней и счастлив с нею, и слуги так думают, и друзья,— и все-таки это неправда. Все это ложь. Он несчастлив. Он всегда был несчастлив, кажется, с тех самых пор как женился — уже тридцать один год. За все это время не было дня, чтобы он не тосковал, не терзался бессильным, затаенным желанием: едва осмеливаясь думать об этом, он хотел одного — не быть женатым, быть свободным, каким он был когда-то, раньше чем встретился с Эрнестиной.

Но, верный своему характеру и воспитанию, он не решался отступить от общепринятой морали; притом тут действовали силы, над которыми он, казалось, был не властен,— сама его натура, обычай, общественное мнение и прочее и прочее,— они подавляли его, и он плыл по течению, неспособный с ними бороться. Да, он просто плыл по течению, втайне надеясь, что, быть может, время, случай или еще что-то вмешается и изменит его жизнь к лучшему. Но этого так и не произошло. И вот теперь, усталый, старый, или по крайней мере быстро стареющий, он осуждал себя за свою слабость. Почему он даже не попытался ничего сделать? Почему не разорвал эти цепи, когда было еще не поздно, когда он еще мог сохранить свою душу, свою страстную любовь к жизни, к ее краскам? Но нет, он не сделал этого. Что ж теперь так горько жаловаться?

И накануне, слушая доктора, он все время сдерживал холодную, циничную усмешку: ведь на самом деле он вовсе не хотел, чтобы жена осталась жива,— по крайней мере так ему казалось в ту минуту. Он слишком устал. Почти сутки думал он свою невеселую думу — и вот он сидит у окна, смотрит на слабо освещенный, окутанный утренней дымкой дом неподалеку, проводит изредка рукой по волосам и тяжело вздыхает.

Сколько раз в эти томительные месяцы и даже годы, с тех пор как он с женой поселился здесь (да и прежде так бывало), он подходил к окну в час, когда она еще спала, и думал, думал. В последние годы они стали так далеки друг от друга, что даже комната у каждого своя; впрочем, жена как будто не придает этому значения. Жизнь стала для нее более или менее практической задачей: ее заботит их доброе имя, положение в обществе, их репутация. А он... как часто, оглядываясь назад, он жалел, что жизнь так непохожа на все, о чем он мечтал... Если бы, если бы мечты его сбылись!

Было еще совсем рано, серое небо на востоке едва заметно розовело; Хеймекер задумчиво и печально покачал головой, поднялся и, пройдя через холл к спальне жены, заглянул туда; в кресле у кровати крепко спала сиделка; врач велел ей не спускать глаз с больной, но, как видно, ее сморила усталость. Жена тоже спала — такая бледная, исхудалая, ослабевшая. Он очень жалел ее порою, хоть и сам был сильно измучен; вот и сейчас ему жаль ее. Зачем тогда, много лет назад, он совершил такую страшную ошибку? Наверно, он сам виноват: почему не был умнее в юности. И он медленно пошел в свою комнату, снова лег и опять погрузился в раздумье.

Все эти дни, когда она была так серьезно больна и самая жизнь ее висела на волоске, он просыпался на рассвете и думал. Казалось, он уже просто не в силах уснуть здоровым, крепким сном, — так одолевали его тревожные, беспорядочные мысли. Он даже не столько физически устал и измучился, сколько душевно измотан и растерян. Что и говорить, жизнь сыграла с ним злую шутку. Никогда он по-настоящему не любил, а ведь уже столько лет женат, и все эти годы был верен, внимателен и любим... Да, она, как умела, любила его. «Как умела», — с горечью прошептал он.

Скоро уже надо вставать, одеваться и, как всегда, идти в контору, если только жене не станет хуже. Но... но... выживет ли она? Она все-таки некрепкая, хоть и держалась до сих пор... И ведь ей почти столько же лет, сколько ему... быть может, она не справится с такой тяжелой болезнью? Тогда он снова станет свободен, и никто не сможет его осудить, в чем-либо упрекнуть. И тогда снова можно будет поехать, куда захочет-

ся, и делать, что хочешь, и никто не помешает. Ведь она больна, тяжело больна, впервые с тех пор как они женаты. Вот уже почти месяц она между жизнью и смертью: сегодня ей лучше, завтра хуже, но все же она жива, и нет уверенности, что смерть неизбежна, однако и лучше ей не становится. Доктор Сторм утверждает, что у нее неожиданно обострился порок сердца — это как раз самое опасное, и неизвестно, как с этим справиться.

Все это время Хеймекер был по своему обыкновению чрезвычайно внимателен к жене. Он неизменно был мягок, уступчив, даже нежен. Он никогда ни в чем не отказывал ей, делал все, что было в его силах. Он всегда радовался, когда она и дети были довольны и счастливы... А ведь он и в детях разочаровался, и виновата в этом прежде всего она... Он всегда сочувствовал ей, помня, что в юности ей жилось скучно и скудно; но сам он никогда не был счастлив, никогда, за все время, что они женаты. Да, ей пришлось многое вынести, твердил он себе в самые горькие минуты, но ведь и ему тоже... правда, может быть, женщинам это дается труднее — возможно... зато у нее есть его любовь, по крайней мере так ей кажется, и на душе у нее мир, которого он лишен. У нее есть верный муж. У него нет и не было настоящей жены, которую он любил бы, как любят жен. А как он мечтал об этом!

В тот день по дороге в контору (она помещалась в одном из тех высоких зданий, что выходят на Мэдисон-сквер), проезжая мимо Сентрал-Парк Уэст, он смотрел на стройные ряды деревьев, на ярко освещенные солнцем дома, и снова им завладели горькие мысли. На тротуарах толпились няньки с младенцами, играли детишки, редкие пешеходы неторопливо прогуливались, другие спешили по своим делам. А день был такой чудесный, такой солнечный, какие выдаются лишь весной, да и то изредка. И, глядя вокруг, особенно на детей и на спешащих на службу молодых людей в новеньких с иголочки весенних костюмах, он со вздохом подумал: если бы снова стать молодым! Сколько в них огня, сколько надежд! У них все впереди. Они могут еще искать и выбирать... ни годы, ни обстоятельства — ничто еще не стоит у них на пути. Кто из них связал себя так же нелепо, как он в их годы? — в сотый раз спрашивал он себя. Быть может, у каждого из них

есть очаровательная молодая жена, горячо и страстно любимая, такая, какой никогда не было у него? Может быть...

Поглощенный этими мыслями, он поднялся в свою контору, на верхний этаж одного из самых высоких зданий, и, подойдя к окну, устало посмотрел на раскинувшийся внизу город. Отсюда были видны обе пересекающие город большие реки, башня, шпили, стены далеких зданий. Это иногда и по сей день помогало ему терпеть, жить и надеяться. Как все это вдохновляло его в юности... Впрочем, тогда он жил в другом городе. Даже теперь, здесь, в конторе, он чувствовал себя куда лучше и спокойнее, чем в собственном уютном доме. Отсюда можно смотреть на раскинувшийся внизу город и мечтать... или с головой уйти в работу и забыть, что личная жизнь не удалась. Огромный город, здания, которые он задумывал или строил, способные и преданные помощники, которых он сам подобрал, не спрашивая жену,— среди всего этого он забывал о себе, о постоянной внутренней боли, о том, что жизнь безнадежно загублена.

На время болезни его жены заботы о доме поручены миссис Элфрид, строгой немолодой женщине, которая служила у них и прежде; ей помогает служанка Эстер — она прислуживает за столом, открывает двери, вообще делает все, что понадобится; кроме того, за больной ухаживают две сиделки — одна дежурит ночью, другая днем. Обе веселые, здоровые, голубоглазые. Да, очень милые девушки — воплощение дерзкой, жизнерадостной юности, какой он сам никогда не знал. А все же они не нарушают его душевного равновесия. Этого с ним, пожалуй, уже никогда не случится.

Кроме того, о матери думают и заботятся дети — Уэсли и Этельберта (жена так назвала дочь против его воли)... Они давно обзавелись семьями, у обоих уже свои дети, и живут они в разных концах города. Теперь они ежедневно заходят, справляются о здоровье матери, а иногда проводят в доме родителей весь день или вечер. Этельберта предложила на время болезни матери совсем переселиться к ним и взять все заботы о доме на себя, но миссис Хеймекер и слышать об этом не хочет: она любит командовать сама и пока не желает от этого отказываться. Она ведь не настолько больна, не утратила еще дара речи, а стало быть, может обо

всем спросить и распорядиться. Кроме того, миссис Элфрид не хуже ее самой может позаботиться об удобствах и комфорте мистера Хеймекера.

Если уж говорить правду,— а правда часто выходит наружу в критические минуты,— не заботы об удобствах не хватает ему, а понимания и любви. Ведь он никогда не любил жену, во всяком случае не любил с тех давних пор, когда они жили в Маскигоне, штате Мичиган, где оба они родились, где познакомились, когда ей было пятнадцать лет, а ему — семнадцать. Теперь это кажется странным, но они полюбили друг друга с первого взгляда. Она была дочерью местного аптекаря — юная девушка, чуть моложе его и такая милая. Потом нужда заставила его уехать, чтобы как-то выбиться в люди, но он часто писал ей и все время представлял ее такой, какой она показалась ему с самого начала, даже лучше,— в его мечтах она была прекрасней всех на свете. Но судьба не торопилась помочь ему, не торопилась осуществить его мечты: много лет провел он вдали от Эрнестины, у него не было средств, чтоб жениться, а тем временем, сам того не сознавая, он стал по-иному смотреть на жизнь. Трудно сказать, как это случилось, но... Он жил в большом городе, многое увидел и узнал, а для нее все оставалось по-прежнему; он видел новых людей, смелее мечтал — и все это словно вступило в заговор против нее и против их любви, только он тогда не совсем это понимал. Как видно, думалось ему, он всегда слишком медленно осознавал все значение происходящих в нем перемен.

Сколько раз впоследствии он говорил себе, что именно тогда надо было спохватиться и порвать с Эрнестиной. Чем дальше, тем это казалось невозможней. Конечно, он причинил бы ей боль, и самому ему было бы нелегко, зато теперь не пришлось бы мучиться. Но нет, тогда он был слишком неопытен, слишком мало знал жизнь, слишком связан был условностями и предрассудками провинциального Запада. Он считал, что помолвка, даже если она потом окажется неудачной, все-таки помолвка, и это обязывает. Порядочный человек не откажется от своего слова,— так по крайней мере считают блюстители нравственности у него на родине.

Да, тогда он еще мог бы написать ей, поговорить с ней. Но, слишком деликатный и мягкосердечный, он не решился заговорить о своей ошибке. А потом было

уже слишком поздно. Он боялся обидеть ее, разбить ее сердце, ее жизнь. А теперь... теперь... что стало с его жизнью! Несколько раз в те годы он приезжал в родной город и мог понять, что ошибся, и покончить с этим, и стать свободным, если б только у него хватило ума и мужества... Но нет, чувство долга, взгляды и верования, господствующие в провинциальном уголке, где он вырос, да и вообще в Соединенных Штатах, мысль о том, чего от него ждут, чего ждет и вправе ждать она,— все это связало его по рукам и по ногам, и он так ничего и не сказал Эрнестине. Не сказал, что изменился, ни словом не обмолвился, что чувство его перегорело и обратилось в пепел,— вместо этого он женился на ней. Господи, до чего он был глуп!

Что ж, если верить ходячей морали, раз уж он сделал ошибку, его долг не отступаться от сделанного и не падать духом; уговор есть уговор, по крайней мере в браке, если не в чем другом. А все-таки он не может не чувствовать себя несчастным. Просто не может. И вот все эти долгие-долгие годы, связанный теми же условностями и опасениями — что подумают, что скажут люди,— он вынужден был жить с ней под одной крышей, всячески ублажать ее, делать вид, будто счастлив с нею, будто они — «идеальная пара». А на самом деле он был несчастлив, бесконечно несчастлив. Подчас его раздражал ее вид, ее чопорность, уже одно ее присутствие. Досадно было слушать, как доктор Сторм разговаривал с ним вчера утром: Сторм явно жалеет его, воображает, что он чувствует себя очень одиноким, что, если жена умрет, он останется совсем один — заброшенный и неутешный вдовец. «Кто позаботится о вас?» — словно говорили глаза Сторма... А зачем ему ее заботы, ему нужно только остаться одному, хоть на время, думать, что хочешь, поступать, как хочешь, забыть эти долгие, беспросветные годы, годы притворства, когда он не был самим собой.

Неужели так никогда и не вырваться из этого постылого заколдованного круга, никогда, до самой смерти? А немного погодя станешь упрекать себя за эти мысли... такие несправедливые, жестокие, бессердечные... Общественное мнение, от которого зависит доброе имя человека и его положение, беспощадно осудило бы его за эти мысли.

И за все эти годы он ни разу, ни единого разу не дал ей понять, что принес такую страшную жертву, что погубил себя. Как легендарный юный спартанец, он спрятал от всех взглядов лисицу, пожиравшую его внутренности. Он не жаловался. Что и говорить, с точки зрения общепринятой морали он был примерным мужем. Да, конечно, стоит только вспомнить о его положении в обществе, о положении его детей. А жена? Вот и сейчас, во время тяжелой болезни, она не знает ни материальных, ни душевных забот и твердо верит, что он поистине примерный муж! За все эти годы она, видимо, ни разу не усомнилась в его любви, не почувствовала, что он так непоправимо несчастлив... Быть может, она не воображала, будто он любит ее так же пылко, как когда-то, в дни их юности, но все же не сомневалась, что ему хорошо с нею, что его радует и домашний очаг, который они вместе создали, и дети, которых они воспитали, и спокойная уверенность, что все так и будет до самого конца. До конца! Все эти годы она кроила свою жизнь, и жизнь детей, и, насколько могла, его жизнь по своей мерке и по своему вкусу и при этом всегда думала, что делает все, как он хочет или уж во всяком случае так, как лучше для него и для семьи.

Она свято соблюдала общепринятые правила поведения. И воображала, что в точности знает, как следует жить, а, в сущности, знала только то, чему ее когда-то научили дома: у нее были типично американские представления обо всем на свете. Ее мнение о выборе знакомых, о воспитании детей и прочем почти всегда брало верх, даже когда он и не совсем соглашался с нею; в выборе удовольствий, развлечений, друзей она неизменно придерживалась рамок общепринятого и тоже умела поставить на своем. Бывали, разумеется, небольшие ссоры, всегда бывали, — какая счастливая семья обходится без этого? — но он всегда уступал, почти всегда, и притом делал вид, что уступает охотно.

На что ж тогда жаловаться? Разве ей хоть когда-нибудь могло прийти в голову, что он несчастлив? Нет, конечно, нет. Как все их родственники и знакомые и в родном городе и здесь (а на знакомства она была в высшей степени разборчива, искала расположения избранных и не обращала никакого внимания на всех про-

чих), она и поныне убеждена, теперь больше, чем когда-либо, будто только она знает, что для него хорошо, что плохо, знает его подлинные мысли и желания. И ему оставалось только грустно и насмешливо улыбаться.

В ее глазах брак, во всяком случае их брак,— величайшее таинство, эти священные узы ничто не должно разорвать. Любить можно только раз в жизни. Раз уж ты взвалил на себя это бремя или даже только просил руки девушки — твой долг сдержать слово. Разорвать помолвку, изменить жене или хотя бы только быть невнимательным к ней — да это же преступление, святотатство. Такие подлые негодяи недостойны называться людьми, им не должно быть места на земле!

Ну, а он? А его судьба? Судьба человека, который ошибся? Что ему остается, где он найдет покой и счастье? Здесь, на земле, или только где-то там, на небесах, среди ангелов? Эрнестина все еще верит в эти небеса. Какая комедия! Все их друзья не сомневаются, что ее смерть будет для него большим несчастьем, а как же иначе? Вот до чего доводит тупая, бессмысленная вера в прописную мораль. Подумать только!

Но и это еще не самое страшное. Нет. Страшней всего было с каждым годом все яснее сознавать, что он женился на ничтожной, ограниченной женщине, неспособной понять его взгляды, вернее, его мечты, чувства,— и, однако, он должен жить с нею до конца дней, потому что в юности совершил ошибку.

Да, конечно, у нее немало достоинств: она внимательна, заботлива, энергична, прекрасная хозяйка, в этом ей не откажешь,— и все же они чужие, тут уж ничего не поделаешь. Главное, он давно уже понял, что она женщина ограниченная, до мозга костей пропитана всяческими условностями, а он художник по натуре, он о многом грезит и мечтает, задумывается об отвлеченных материях, о вещах, которых она не понимает, не может понять, которым не сочувствует, о которых имеет лишь самое общее и смутное представление. Все особенности его искусства, красота и изящество форм, линий — разве это значит для нее хоть что-нибудь? И разве она когда-нибудь понимала, как много все это значит для него? Нет, конечно, нет. Она никогда не знала всему этому настоящей цены. Архитектура? Искусство? Что они для нее? Даже если бы она и захо-

тела, она неспособна в этом разобраться. И теперь он уже не может искать понимания и сочувствия ни у кого другого. Да, в сущности, он никогда и не стремился к этому, ведь и жена и все окружающие осудили бы его, да и сам он в какой-то мере считал, что это было бы дурно.

Но как же природа допускает, чтобы человек, чьи чувства и стремления нельзя втиснуть в рамки прописной морали, выбрал себе в жены такую женщину, как Эрнестина, неспособную понять его, заинтересоваться его душевным миром? Любовь ли слепа, как говорится, или это коварная природа намеренно терзает душу художника, не из вражды к нему, а ради красоты, которую порождает страдание, как песчинка, раня моллюска, рождает жемчужину... Пожалуй, так. Быть может, построенные им значительные и прекрасные здания — по крайней мере такими их считают все — потому и прекрасны и значительны, что он отдал им свое сердце, ведь в его жизни не было другой любви и другой красоты. Жестокая природа! Как мало она заботится о том, чтобы сбылись мечты человека — каждого человека в отдельности!

Когда он женился на Эрнестине, он был слишком молод, чтобы ясно представлять себе, чего он хочет от жизни и как с годами могут измениться его чувства; и рядом не было никого, кто помог бы ему советом, вовремя остановил. Дух времени был таков, что все вело к этой катастрофе. Казалось, это воля самой природы. Семья, дети — только в этом видели тогда начало и конец всего, цель и смысл бытия. Что за нелепая теория! Потом он понял, какую ошибку совершил, и хоть привычные представления и обстоятельства, казалось бы, уже непоправимо связывали его, он утратил покой, душевное равновесие, но ни разу по-настоящему не возмущался — ни разу.

Наоборот, он все это скрывал от жены, старательно скрывал, потому что очень жалел ее; но он жаждал красоты, той душевной и телесной красоты, которой она совсем не обладала, и эта жажда была мучительна, а под конец стала просто невыносима. Он все мечтал, мечтал, как одержимый, о чем-то ином, неиспытанном. Неужели мечты никогда не сбудутся, неужели так никогда ничто и не изменится? Как страшно! Ведь жизнь коротка, а потом уже ничего не будет, ничего! Споры

нет, Эрнестина была когда-то очень хороша, хотя время показало, что ни физически, ни духовно она не привлекала его по-настоящему. Но разве теперь легче от того, что когда-то она была хороша? Ничуть не легче. В сущности, вот уже больше двадцати семи лет, как жизнь с Эрнестиной для него тяжкое бремя, а мечта о чем-то ином с годами становилась все более властной, все более неотступной...

И вот он уже стар, а она, быть может, умирает, и не все ли равно теперь, что случится с ним или с нею; впрочем, может быть, и не все равно... Если бы только стать свободным, хоть ненадолго, совсем ненадолго, прежде чем умереть.

Быть свободным! Свободным!

Как мучительно влекла его красота других женщин, их лица, взгляды, а все же он отнюдь не намерен был преступать законы морали: ни по своему душевному складу, ни по чисто практическим соображениям он просто не мог на это пойти; и, однако, к его досаде и возмущению, жена, по какой-то странной логике опасаясь, как бы он не изменил ей, всегда старательно внушала ему, что он не из тех мужчин, которые нравятся женщинам,—ему не хватает физической привлекательности, какого-то особого мужского обаяния, и поэтому ни одна молодая и интересная женщина не могла бы его полюбить. Подумать только, она внушала это ему! Ему, к которому обращались пытливые, зовущие взгляды стольких женщин!

Она уверяла, будто вышла за него замуж прежде всего потому, что жалела его. Он не спорил — пусть она думает так, ведь он сам жалел ее. То одна, то другая женщина искала его общества, улыбалась ему призывно и вкрадчиво,—а жена все повторяла, что он никак не Дон Жуан: такой неловкий, медлительный, неинтересный, женщинам попросту скучно с ним,—всем женщинам, кроме нее!

И хоть в этом не было никакой нужды, она упорно твердила одно и то же, борясь с химерами, с опасностью, которая чудилась ей в будущем,—а ведь он не давал ей к этому никакого повода и никогда не собирався ей изменять, никогда. Так она пыталась отравить его душу сомнением: пусть он поменьше верит в себя, в свои силы, в свое искусство... И все же, все же... как преследовала его красота женщин, их глаза,—они

обещали безграничное, невыразимое счастье. Почему, почему его жизнь сложилась так неудачно?

Да, он хорошо понял горькую истину: природа совершенно равнодушна к судьбе человека; ты живешь, действуешь, стремишься к чему-то, движимый властным инстинктом, но только этот инстинкт она и дала тебе, а счастлив ты, нет ли — до этого ей нет дела. Отвечай сам за себя, раз и навсегда определи свой путь и уж не сворачивай с него, а не можешь — пропадай, обратись в ничто, тебя ждет духовная смерть. Природе нет до тебя дела. «Блаженны кроткие», — да, конечно. А вернее: блаженны сильные, ибо они сами творцы своего счастья. Все годы он знал это, надеялся на что-то, но не действовал, и все шло своим чередом, и только он один страдал. Он всегда понимал, что жизнь его сложилась неудачно, и, однако, связанный привычными условностями, не пытался действовать, на это у него не хватало решимости. У него не хватало силы воли — вот в чем суть, и всегда он был таким. Словно пойманная птица, словно зверь в клетке, смотрел он из своей неволи на людей, которые думают и делают, что хотят. Сколько раз в гостиных, на улице, даже у себя дома встречал он женский взгляд, улыбку, которые, казалось, обещали понимание, сочувствие — все то, чего ему так не хватало. И все-таки страшно было нарушить свой долг, запреты религии, прописи морали, страшно, — что скажут, что подумают о нем, и еще он помнил об Эрнестине, о ее спокойствии, о том, как она верит в него, о собственной карьере и о будущем детей, — а потому, словно отшельник, гнал от себя все соблазны и старался забыть, не думать о них. Порою это было тяжело и грустно, но так было.

Взгляните на него теперь — он еще не так стар, нет, он еще не старик, но он устал от жизни и уже почти ко всему равнодушен. Все эти годы он мечтал, так мечтал о подруге с чутким и нежным сердцем, о женщине, которая могла бы понять его, которой было бы близко и дорого все в нем — каждое его чувство и каждая мысль, его талант, его взгляды на жизнь и искусство... Ведь есть же где-то такая женщина! Но все эти годы с ним всегда, неотступно была Эрнестина — и вот что с ним стало...

Не то чтобы она была неприятна, противна ему, нет, этого не скажешь... просто она не та женщина, о кото-

рой он мечтал... Для него так много значит красота во всех ее проявлениях, формы, краски, и так много значит женская красота, прекрасное, совершенное тело и прекрасный ум, которому доступны были бы мысли и оттенки столь же утонченные, как те, что подчас знавал и он... но нет, не привелось ему близко узнать такую женщину. Нет, не привелось, хотя он мечтал об этом так долго. Он никому не смел признаться в этом, разве что самому себе. Это было бы безрассудно, поставило бы его вне общества: в его кругу (вернее, в ее кругу, ведь их знакомства — дело ее рук) подобные мысли недопустимы.

Но в том-то и беда, что и сейчас он не может решить, не преступны ли даже самые его мысли, вот эти затаенные жалобы, недовольство судьбой. Разве муж и жена не должны быть верны друг другу независимо от того, счастливы они или нет? Разве нет такого внутреннего закона, на котором строится союз мужчины и женщины: любить только один раз в жизни? И перед этим ничтожны все мысли и стремления, все страдания человека, каковы бы они ни были. Так говорит церковь. С нею согласны и закон и общественное мнение. Преступить через это — значит стать лицом к лицу со множеством неодолимых препятствий, неразрешимых задач, принести близким страдания, испортить будущее детей. И разве в глазах окружающих, да и в собственных, не лучше, порядочнее во всех отношениях — исполнить свой долг, лишь бы не разрушать семью, не причинять столько горя, сдержать раз данное слово, хотя бы при этом разбилось сердце. Так он думал или по крайней мере поступал так, словно именно эта мысль руководила им... И все же... как часто его мучили сомнения!

И еще. Конечно, с общепринятой точки зрения миссис Хеймекер хорошая, верная жена; притом на первых порах она была достаточно мила и привлекательна, чтобы его жизнь не казалась невыносимой, и все же он мучился и тосковал. А потом пошли дети. Первенец, которого называли Элуэл в честь какого-то родственника — ее, а не его, — прожил всего два года; потом родился Уэсли, потом Этельберта, — он терпеть не мог это имя! Он хотел назвать дочь Отилией, своим любимым именем, или, может, быть, Дженет, в память своей матери.

Странно, хоть его и мучила неотступная тайная тревога и неудовлетворенность, рождение детей и смерть бедного маленького Элуэла крепче привязали его к семье; он чувствовал, что должен заботиться о малышах, и даже радовался им... хотя, как ни грустно, это не сблизило его с женой; а если бы не дети, он, пожалуй, не вытерпел бы и ушел от нее. С малышами было много хлопот, но в первые годы они были такие милые, забавные. Особенно Элуэл. Стоило губами пощекотать его шею — и он от удовольствия так потешно морщил свой крошечный нос, заливался таким громким, счастливым смехом, что нельзя было не радоваться, глядя на него. В ту пору Хеймекер все больше чуждался жены, хоть и гнал от себя эти мысли, дурные, безнравственные, сурово осуждал себя за них, чувствуя, что есть в нем что-то враждебное общепринятым законам, порядкам, обычной благопристойной жизни, какою живут все вокруг! И, однако, неприязнь к жене не помешала ему горячо полюбить сынишку. Инстинктивно, сам того не сознавая, он искал в ребенке утешения; кто знает, кем или чем было послано ему это целительное средство для незаживающей сердечной раны? Элуэл завладел его мыслями, его сердцем, — казалось, он нашел в малыше понимание, сочувствие, любовь, нежность — все то, что дала бы ему любимая женщина и чего ему так не хватало. Больше всего Элуэл любил взобраться на колени к отцу или прижаться головой к его плечу, — никогда он так не льнул к матери. И если отец собирался выйти из дому, Элуэл был уже тут как тут и протягивал ручонки, чтобы он взял его с собой. Удивительно, как этот малыш любил его, — гораздо сильнее, чем свою мать, просто не мог жить без него. Да и отец отвечал ему тем же. Ему казалось, сынишка не так уж и похож на Эрнестину, скорее на него и на его покойную мать. Хотя, конечно, он был бы не против, если бы ребенок походил на свою мать. Нет, нет. Он вовсе не так мелочен. Когда Элуэлу еще не было двух лет и он только начинал говорить, отец научил его забавной старой песенке: «Жили-были три котенка, три пушистые зверька»... Доходя до слов «им хотелось», он останавливался и спрашивал: «Чего?» — «Пилоська!» — в восторге кричал малыш, и это, конечно, должно было означать: пирожка.

Какие это были счастливые дни, когда он гулял с Элуэлом, взяв его на руки или посадив на плечо, и вечера, когда малыш засыпал у него на коленях... И Эрнестина была тут же и радовалась, что он так любит сына и ее, главное — ее. Но как раз в этом она ошибалась: даже тогда он ее не любил. Всю свою нежность он отдал Элуэлу, а жена видела в этом свидетельство его растущей, непреходящей любви к ней — странная логика! Как видно, таковы женщины, во всяком случае некоторые.

А потом мальчик вдруг тяжело заболел; это была какая-то загадочная болезнь, возбудитель которой еще неизвестен, быть может, детский паралич... и Элуэла не стало. И то, что прежде было им, отвезли на заброшенное, неприветливое кладбище близ Вудлона. Как это было страшно! И с каким отчаянием предался он тогда горьким, безнадежным мыслям о бренности всего земного. Казалось, вся красота, вся радость ушли из жизни навсегда.

«Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения,— читал в день похорон священник, приглашенный в дом по настоянию миссис Хеймекер.— Ибо жизнь наша проходит, как тень, и нет нам возврата от смерти».

Да... маленький Элуэл прошел, словно тень. И как ни велико было его собственное горе, Хеймекер в первый и единственный раз за все время, что они были женаты, от души посочувствовал Эрнестине — ведь она была в таком отчаянии и после похорон так горько рыдала, припав головой к его плечу. Страшно было смотреть, как она убивалась. Потерять первенца — что может быть горше для матери? Почему, почему он не попытался сделать так, чтобы Эрнестина стала по-настоящему близка ему? И ведь в то время она казалась лучше, мягче, добрее, умнее, чем когда-либо, он и не думал, что она может быть так достойна уважения и любви. Во время болезни сына она не знала ни минуты отдыха, ночами не смыкала глаз, ухаживала за ним так преданно, так нежно, делала все, что только может сделать мать, которая борется за жизнь своего ребенка. Но и тогда он не мог по-настоящему ее полюбить. Пусть это и горько, и бессердечно, но он не мог ее любить. Он только думал о ней лучше, чем прежде, и очень жалел ее. Что за проклятье, под какой несчаст-

ливой звездой рождается человек, что так запутаны его мысли и чувства? Почему достоинства человека, его добродетели не помогают полюбить его, привязаться к нему, преодолеть неприязнь? Почему? Он и хотел бы относиться к Эрнестине по-иному, но так и не смог ничего изменить.

И, однако, казалось, никогда еще он так не понимал и не ценил ее, как в то время: она прекрасная хозяйка, аккуратная, бережливая, даже до известной степени понимает и любит красоту, ей свойственно похвальное стремление что-то делать и что-то значить... но не по душе ему были эти ее честолюбивые стремления, и не мог он не видеть, что она существо безнадежно заурядное и ограниченное. Эрнестина никогда не знала душевных порывов, сильных чувств, ей не хватало внутреннего благородства. Что бы он ни говорил, что бы ни делал, она неизменно сводила все к денежным расчетам, к тому, что скажут, что подумают соседи, как это отразится на репутации ее и мужа; он знал, что ум и талант можно встретить и у человека без денег, без доброго имени, без положения в обществе, а она никак не могла этого понять, и сколько он ни пытался, никакими силами не мог переубедить ее,— она просто не желала ничего слушать.

Вот, например, большие художники. Иные из виднейших архитекторов, и сейчас живущих здесь, в городе,— это люди со странным, даже неприглядным прошлым, а мало ли таких случаев знает история... Но нет, Эрнестине не понять этого, да и что ей история? Ей непонятны и неинтересны темные, безрадостные страницы прошлого, и едва ли она им верит. А что касается искусства и людей искусства... нет, никогда она не поверит, что мудрость и талант художника, благородство души могут зародиться в условиях, которые иначе как дурными и пагубными не назовешь.

Взять хотя бы историю с молодым Зингарой. Они познакомились больше тридцати лет назад, когда Зингара впервые приехал сюда, в Нью-Йорк; молодой, талантливый, он стремился стать выдающимся архитектором,— но был очень беден, плохо и небрежно одет и производил не слишком благоприятное впечатление. Хеймекер встретился с ним за несколько лет до своей женитьбы в мрачной, неуютной конторе архитекторов Пайна и Стабода и сразу почувствовал к нему симпа-

тию; но Зингара не выпускал изо рта сигарету, вид у него был запущенный и неопрятный, в кармане ни гроша — и хотя к тому времени, как Хеймекер женился на Эрнестине, он был знаком с Зингарой уже около четырех лет, она не пожелала, чтобы он бывал у них. В ее глазах он был ничтожеством, неудачником, которому никогда не добиться успеха. Однажды, проходя мимо какого-то дешевого ресторанчика, она заметила Зингару в обществе сомнительного вида девицы, — после этого она и слышать о нем не хотела.

«Пожалуйста, дорогой, никогда больше не приводи его к нам», — потребовала она, и, чтобы сохранить мир в доме, он уступил. А что получилось? Зингара с тех пор стал известным архитектором, но по милости Эрнестины они теперь, разумеется, совершенно чужие друг другу. Это он, Зингара, выстроил «Клуб Эскулапа», и удивительно изящный концертный зал, и Уэлс Билдинг с чудесной башней, такой стройной, устремленной ввысь, точно мысль поэта. Но при этом Зингара давно уже замкнулся в себе, живет отшельником, мечтателем, как и он, Хеймекер, и совершенно равнодушен к тому, что подумают, что скажут люди.

Быть может, не просто душевная глухота, невосприимчивость к каким-то более утонченным сторонам и явлениям жизни, а требовательное упрямство, идущее от ограниченности, заставляло Эрнестину непременно бывать всюду, где можно встретиться с преуспевающими людьми, а это для нее означало с людьми богатыми, — и, как правило, это были личности заурядные или даже совсем ничтожные. И эта ее черта возмущала его больше всего. Сколько раз он пытался объяснить ей, что человеческие достоинства бывают подлинные, а бывают и мнимые и что по-настоящему достойный человек редко обладает большим богатством.

Но нет, сколько раз она приписывала необыкновенные достоинства людям, у которых, в сущности, кроме туго набитого кошелька, ничего за душой не было.

А как росли, воспитывались, начинали свою семейную жизнь их младшие дети — Уэсли и Этельберта, сколько тревог и огорчений принесло ему все это! Маленькими оба были очень милы и близки ему, хотя никто из них не завладел его сердцем так, как Элуэл. Но дети подрастали, и как-то случилось, что между ними и отцом встала Эрнестина. Прежде всего она приучала

их держаться очень чопорно и церемонно, они не смели ни двинуться, ни заговорить просто, естественно: так воспитывали детей разбогатевшие выскочки, с которыми он ее познакомил; в этих семьях все казалось ей превосходным, хотя ему многое там было не по душе. Архитектура — профессия, которая подчас ставит человека в двусмысленное положение: сталкиваешься с самыми разными людьми, и из чисто практических соображений приходится быть с ними любезным, особенно если твоя карьера только начинается. Потом пришла пора отправить детей в школу, но в какую? Он думал определить их в обычную городскую школу, в какую ходили когда-то и он и Эрнестина, — ведь их родители были люди простые, небогатые. Но она решила иначе: теперь у них есть известный достаток, и поэтому надо отдать детей в частную школу, причем не в ту, которую выбрал бы он и даже она сама, а именно в ту, где учились дети Барлоу и Уэстеруэлтов — она была в дружбе с этими состоятельными семьями, и все, что они делали, казалось ей превосходным.

Семейство Барлоу! Люди богатые, но грубые и ничем не примечательные, они нажились на изготовлении патентованных лекарств где-то на Западе, а потом приехали в Нью-Йорк пускать пыль в глаза; они охотно завязали более тесное знакомство с Хеймекерами, — он построил для них особняк, и у него было уже имя; хотя, пожалуй, они симпатизировали не столько ему, сколько Эрнестине. Они были такие нудные, такие несуразные, невыносимо тупые, и, однако, они нравились Эрнестине, она считала их людьми порядочными, достойными, говорила, что они очень хорошие и напоминают ей ее родных, оставшихся на Западе. Но Барлоу отнюдь не обладали всеми этими качествами, просто ей так казалось. Они и правда были на свой лад неплохие люди, только не отличались вкусом. Юного Фреда Барлоу определили в дорогую Гейлардскую школу близ Морристауна; мальчиков там обучали приличным манерам, правилам хорошего тона, — этим, пожалуй, все и ограничивалось, хотя Эрнестина уверяла, что их воспитывают добрыми христианами. Итак, пришлось и Уэсли отправить туда, — ведь это была самая лучшая школа.

Так же точно и Этельберту пришлось определить в Брайарклифскую школу близ Уайт-Плейнс, потому

что там училась Мерседес Уэстеруэлт, пустая, тщеславная девчонка. Подумать только! Все это было так глупо, нелепо. Он хорошо помнит, как долго и искусно Эрнестина подготовляла почву, уверяла, что это важно для будущего Этельберты, пускала в ход и самые хитроумные доводы и слезы, старалась всячески подольститься к нему. Когда она хотела чего-нибудь добиться от него, ей ничего не стоило расплакаться или сделать вид, что она вот-вот расплачется; и хотя он уже привык к этим притворным слезам и понимал, что им не велика цена, он не мог устоять перед ними, и жена прекрасно это знала. Слезы все равно и трогали и обезоруживали. Тут он ничего уже не мог поделать, хотя его и возмущало, что жена старается разжалобить его, чтобы взять над ним верх. Поистине миссис Хеймекер порой бывала хитра и безжалостна, как сам Макиавелли, и при этом воображала, будто она воплощение нежности, любви, самопожертвования, великодушия и тысячи других добродетелей,—все они служили для достижения ее собственных целей. Быть может, с чьей-нибудь точки зрения такой настойчивостью следует восхищаться, однако его это всегда возмущало. Но как быть, если человек неспособен понять и увидеть самые серьезные свои недостатки и противоречия?

А с другой стороны, к тому времени они уже столько лет были женаты, что, казалось, бросить ее просто невозможно. Притом они уже занимали определенное положение в обществе, хотя, в сущности, это было только его заслугой, да и то он мог бы достичь большего. При всей своей снисходительности он понимал, что Эрнестине никогда не привлечь в дом людей действительно выдающихся. Но как бы там ни было, даже намек на разрыв между ними, на раздельную жизнь или неверность (хотя он, в сущности, никогда не собирался ей изменять) повлек бы за собой бесконечные пересуды, пожалуй, повредил бы ему в глазах общества, отразился бы на его делах. От него отвернулись бы все их влиятельные друзья, бывшие его клиенты. Их жены, да и сами они побоялись бы продолжать знакомство с человеком, подрывающим моральные устои, и изгнали бы его из своей среды. Какой разыгрался бы скандал: известный архитектор грубо порвал с такой доброй, преданной и любящей женой! И, пожалуй, это и правда

было бы грубо и жестоко. Трудно сказать, слишком все смешалось и перепуталось.

А женитьба Уэсли на Ирме де Го? Глава семейства Джордж де Го, в прошлом всего-навсего спекулянт недвижимостью и маклер, был примечателен только тем, что у него водились деньги. Его дочь Ирма — вульгарная, грубая, чувственная — была, несомненно, хороша собой и считалась богатой невестой. Ну, а еще что? Ничего, буквально ничего. А ведь у Уэсли на первых порах как будто были какие-то духовные запросы. Надо думать, что Эрнестина сблизилась с миссис де Го — женщиной ничтожной и недалекой — главным образом ради Уэсли. Так или иначе, обе они всячески поощряли Уэсли и старались, чтобы Ирма благосклонно принимала его ухаживания. А что из этого вышло? Джордж де Го обанкротился и оставил дочь без гроша. Ирма с самого начала интересовалась чем угодно, только не карьерой Уэсли. Она подражала людям, которые казались ей самыми блестящими и преуспевающими среди богатых выскочек, — даже Эрнестина не мечтала о знакомстве с такой шикарной, ни в чем не знающей удержу золотой молодежью. Ирма и по сей день только и способна думать что о приемах, загородных клубах, театрах.

Уэсли давно уже это понимает. Он теперь инженер, служит в одной из крупнейших строительных компаний, положение его довольно скромное. Но даже у Эрнестины, которая сама сосватала их, воображая, что они будут идеальной парой, теперь зуб против Ирмы. Она разобралась в невестке лишь через несколько лет, когда та совершенно перестала с ней считаться, а вначале только и разговору было, что о достоинствах семьи де Го. Господи, кто же не хотел бы породниться с де Го, где сыскать лучшую невестку, чем Ирма? А потом между Ирмой и Уэсли начались нелады, и теперь Эрнестина утверждает, что это Ирма мешала и мешает Уэсли выдвинуться. Не такая жена нужна ему. Несмотря на все свои предрассудки, Эрнестина едва ли не желала, чтобы Уэсли разошелся с Ирмой. Но попробовал бы ее собственный муж заговорить о разводе!

А ведь с самого начала Эрнестина хотела, чтобы сын женился на Ирме именно из-за положения де Го. Теперь Уэсли, не думая об отдыхе, хватается за любую

работу, и все для того, чтобы Ирма могла возвращаться в обществе светских кутил, и отнюдь не первосортных. И притом она еще, как видно, неверная жена. Есть слишком много оснований так думать. Да, но стоит ли ему теперь вмешиваться в их дела? Чем тут поможешь? Уэсли просто надоел Ирме, вот и все. Она, несомненно, уже смотрит в сторону.

Ну, а как было с Этельбертой? Одно имя чего стоит! Эрнестина очень хотела сделать дочь счастливой и при случае поставить это себе в заслугу, а что вышло? Правда, в материальном отношении замужество Этельберты несколько удачнее, чем женитьба Уэсли, но разве она счастлива? Этот Джон Килсо — Джек, как называет его Этельберта, — что он такое? Легкомысленный бездельник, ничтожество, только и умеет швырять деньгами. Конечно, родители поддерживают его, но вряд ли это ему на пользу. Вначале он тоже казался Эрнестине прекрасным, очаровательным мальчиком, самой подходящей партией для Этельберты, а все потому, что его родители состоятельные люди. Старик Килсо разбогател на биржевых спекуляциях в Чикаго, а потом перебрался в Нью-Йорк, чтобы пожить в свое удовольствие; Этельберте тогда было лет пятнадцать, и в школе она познакомилась с Грейс Килсо.

И вот полюбуйте, Этельберта довольно мила, умеет держать себя, хотя и чересчур жеманна; она богата, у нее великолепная квартира на Парк-авеню, ну, а дальше что? Джон Килсо совершенно ни на что не способен. С детства родители безотказно давали ему деньги, потакали всем его прихотям, готовили его для высокого положения в обществе; будь он и не окончательно глуп, такое воспитание неминуемо должно было его погубить. Пустой, легкомысленный, вечно в погоне за развлечениями, он очень похож на Ирму де Го. Вот была бы подходящая пара, только они друг друга терпеть не могут. А как усердно и как тонко Эрнестина ухаживала за семейством Килсо, сколько устраивала вечеров, приемов, выездов в театр! Но ни с родителями, ни с детьми совершенно не о чем говорить.

И как-то так вышло, что, хотя вначале он и любил дочь и сейчас все еще привязан к ней, Этельберта постепенно отошла от него и выросла ограниченной, недалекой, вся в мать, и всегда охотнее прислушивалась к материнским, чем к отцовским советам; но его это,

в сущности, мало трогает. Ведь так было и с Уэсли. Впрочем, дети имеют право на свои симпатии и антипатии, насильно мил не будешь...

Но зачем он все это терпел? Ради чего? Чего он достиг, чего добился? Разве у них такие уж хорошие, такие необыкновенные дети? И разве сами они счастливы? Разве не лучше жилось бы ему без Эрнестины? Возможно, и дети у него были бы лучше от другой женщины, а у нее — от другого мужа? И разве не правильней было бы тогда, в молодости, разорвать эту несчастную помолвку? Конечно, пришлось бы пережить немало горьких минут, и все ополчились бы на него, зато он был бы свободен, мог бы ездить куда хотел, делать что хотел, мог совсем иначе построить свою жизнь. Вот Зингара разумный человек — он вовсе не женился. А он? Ох уж этот вечный страх перед общепринятой моралью, длинный перечень запретов, которыми он сам себя запугивал... Он дал себя провести бог весть почему, вот и все. Быть может, виной тому малодушие, боязнь нарушить приличия, страх перед тем, что о нем подумают, что скажут.

Да, дорого обошлось ему почтительное отношение к прописным истинам и нравственным устоям, желание жить в мире и согласии с обществом, чтобы никто не мог осудить его самого, его жену и детей — ради этого он загубил свою жизнь. Он старался соблюсти приличия, а кончил духовным крахом. Но теперь с этим покончено. Эрнестина больна, при смерти, и все вокруг воображают, будто он хочет, чтобы она поправилась, хочет счастливо прожить с ней еще долгие годы. Счастливо! Нет, он не хочет этого, просто не может хотеть. Он даже не хочет, чтобы она выздоровела.

Это ему просто не под силу. Мысль, что она не сегодня-завтра может умереть, приносит ему странное облегчение. Это не так уж много, но все же это кое-что — несколько лет свободы. Да, это кое-что. Он еще не так стар, и у него впереди несколько лет мирной, спокойной жизни... и... и... мечта, та былая мечта... Наверно, она уже никогда не сбудется. Это невозможно, а все же... все же... хорошо бы снова стать свободным, жить, как хочешь, делать, что хочешь, гулять, размышлять, грустить обо всем, чего у него не было в жизни... обо всем, чего у него не было. Да, но стоит ему взглянуть на бледное, изможденное лицо жены, дотронуться

до бессильной, влажной руки — и это желание слабеет и уже не так хочется свободы. Слишком это жестоко, слишком бесчеловечно... Но только... только... Так он мучился, сам не зная, чего хочет.

Да, несмотря на то, что она всегда так упорно гналась за успехами, которые казались ему ненужными, бессмысленными, несмотря на все, что ему пришлось вынести, он не желал ей смерти, но и не мог от души желать выздоровления. Что ж, пусть живет, если ей суждено поправиться. Не все ли равно теперь — выздоровеет она или умрет? Глядя на нее, он невольно представлял себе, как беспомощна она оказалась бы без него, какое это было бы несчастье в ее годы. Всю жизнь она отдала ему и детям, всегда считала себя идеальной женой и матерью, — ведь у нее и цент не пропадет даром, она делает все для блага и счастья семьи. Да, все это так, и это очень трогательно, конечно. Но что толку!

На другое утро — это был уже второй день после разговора с доктором Стормом — Хеймекер на рассвете снова сидел у окна, и снова его одолевали невеселые думы. В тысячный, в десятитысячный раз он приходил все к одному и тому же — жизнь не удалась. Если бы только стать свободным, хоть ненадолго, просто чтобы побыть одному, подумать, постараться понять, чего еще можно ждать от жизни. Правда, сегодня в его мыслях появилось нечто новое. Дело в том, что накануне Эрнестине стало хуже, доктор Сторм пригласил для консультации доктора Грейнгера, и решили сделать ей сегодня переливание крови — к этому крайнему средству врачи прибегают лишь в самых тяжелых случаях. Кровь возьмут у крепкого малого, отставного кавалериста, и останется лишь ждать и надеяться. А думы по-прежнему не дают покоя. Что если ей уже нельзя помочь и она умрет? Каков-то он будет в собственных глазах? Немного погодя он заглянул к Эрнестине; она еще спала. Видимо, она очень ослабела, сиделка сказала, что и пульс теперь хуже. И опять ему стало жаль ее, но ненадолго, — когда она проснулась, ей как будто полегчало.

Потом он поднялся в столовую, где по утрам завтракала сиделка, сел рядом с ней, — это вошло уже у него в привычку за время болезни Эрнестины, — и спросил: — Ну, как она сегодня?

Все эти дни они завтракали вместе — ночная сиделка и он. Сиделка, мисс Филсон, такая милая, спокойная, изящная; у нее светлые волосы, розовые щеки, голубые глаза, такие глаза всегда наводили его на мысли о любви, о молодости, которой он, в сущности, так и не видал.

Сегодня мисс Филсон была необычно серьезна, словно она опасалась худшего, но старалась этого не показывать.

— По-моему, не хуже, пожалуй, даже чуть лучше, — ответила она, сочувственно глядя на него. Он видел, что и она жалеет его — старика, который вот-вот останется один. — Пульс немного ровнее, почти нормальный, и спала она хорошо. Вот в девять часов приедут доктор Грейнгер и доктор Сторм, они решат, что делать дальше. Если они найдут, что ей хуже, они, наверно, попробуют переливание крови. Донора уже нашли. Доктор Сторм велел дать ей крепкого бульону, когда она проснется. Миссис Элфридж уже готовит его. Во всяком случае, если вашей жене и хуже, то ненамного, а это, по-моему, уже само по себе хороший признак.

Хеймекер пристально глядел на нее из-под нависших седых бровей. Он так устал, был так угнетен, и не столько из-за того, что ему почти не удавалось спать последние ночи, сколько из-за противоречивых мыслей, то и дело бросающих его из одной крайности в другую. Неужели ему так никогда и не понять, чего же он на самом деле хочет? Неужели это неразрешимая задача для его ума и сердца? Почему он не может думать и чувствовать, как все, и жить спокойно, в согласии с самим собой? Мисс Филсон рассказывала что-то о других сердечных больных, которые считались безнадежными, но выздоровели и жили потом долгие годы; а он слушал и думал о том, как мрачно и странно все сложилось, как бессмысленно прошла жизнь, как смутно у него на душе. Почему он такой? Как это странно: порой он чувствует себя почти злодеем, порой — чересчур мягкосердечным. Прошлой ночью, глядя на Эрнестину, лежащую в постели, и сегодня утром, пока он не увидел ее, он думал: если бы только она умерла, если б только снова стать свободным, даже сейчас это еще не поздно. Но когда он увидел ее сегодня и когда мисс Филсон заговорила о переливании крови, ему опять стало жаль ее. Что даст ему ее смерть? Почему

он хочет убить ее? Разве такие преступные мысли не повлекут за собою кары в этом мире или в том? А вдруг дети догадуются? Если она и правда умрет — а ведь он так жаждал этого еще только сегодня утром, — каково ему тогда будет? В конце концов Эрнестина не такая уж плохая. Разве она не старалась быть ему хорошей женой? Просто у нее ничего не получилось, а он не смог полюбить ее, вот и все. И он снова упрекал себя за свои злые, жестокие мысли.

Оба врача сочли, что больной не стало лучше и пора прибегнуть к первому способу переливания крови — перекачиванию непосредственно от донора; это должно хорошо подействовать на нее, если только организм усвоит кровь. Прежде чем приступить к переливанию, врачи еще раз обратились к Хеймекеру, и он, чувствуя себя бесконечно виноватым, просил их не останавливаться ни перед какими расходами. Если ее жизнь в опасности, пусть ее спасут любыми способами, чего бы это ни стоило. Ее жизнь так дорога и ему и детям, говорил он. Ну, вот, он сделал все, что мог, все, что от него требовалось, кроме одного: даже теперь, помимо собственной воли, он не мог от души пожелать ей выздоровления. Наглухо замкнутый в кругу приличий и обязанностей, он был слишком измучен. Но если она оправится — врачи считают, что переливание крови поможет, — даже если она окончательно победит болезнь, придется увезти ее на лето куда-нибудь в горы и долгие, долгие дни быть с ней с глазу на глаз, пока она не поправится. Что ж, он не станет жаловаться. Ну, разумеется. Он это сделает. Конечно, ему будет тошно, как всегда, но было бы уж слишком бесчеловечно — дать ей умереть, когда есть возможность спасти ее. Да, это так. Но только...

Он отправился в контору, а тем временем ей сделали переливание крови, и, по-видимому, удачно. Дневная сиделка позвонила ему в три и сказала, что миссис Хеймекер лучше, гораздо лучше. Больше ему не звонили, а в половине шестого он вернулся домой и зашел взглянуть на Эрнестину — она полулежала на подушках и казалась совсем бодрой, давно уже она не была такой.

И сразу его настроение снова изменилось. Удивительно, как непостоянны его желания, смена их происходит без участия его воли, так же как любой жизненный процесс в организме, и это очень странно для

человека, который, казалось бы, знает себя; а впрочем, может ли вообще человек знать, чего ему надо? Теперь она не умрет и все опять пойдет по-старому. Да, конечно. Что ж, остается только покориться, снова свыкнуться все с той же мыслью, что жизнь загублена. Теперь ему никогда уже не стать свободным. Все снова пойдет по-старому, и завтра и послезавтра одно и то же... Ужасно! Конечно, очень хорошо и отрадно, что она бодра, что есть надежда поставить ее на ноги,— и все-таки... все пошло прахом, он связан, связан навсегда. Ночью, лежа в постели, он говорил себе: «Теперь она поправится. Все пойдет по-старому. И я никогда уже не буду свободен. У меня не будет ни одного дня, ни одного! Никогда!»

А на другое утро с удивлением и испугом, а может быть, и с тайной радостью он узнал, что ей опять хуже, и опять упрекнул себя за черные мысли. Может быть, он убивает ее этими мыслями? Этими бесконечными колебаниями? Может быть, его недобрые желания имеют какую-то силу? Чем он лучше убийцы? Подумать только, а вдруг отныне он всегда будет сознавать, что убил ее своими мыслями? Ведь это будет просто невыносимо, как тогда жить? Почему он такой? Неужели ему чужды обычные человеческие чувства?

В половине десятого приехал доктор Сторм, вызванный по телефону сиделкой; он был особенно серьезен и сказал, что теперь надо попробовать лошадиную кровь: она гуще человеческой и, введенная в виде сывотки, лучше воспринимается организмом. Хеймекер был вне себя, его мучили угрызения совести, тоска, страх. Конечно, всему виной то темное, злое, что он передумал прошлой ночью и вообще в последние дни. Неужели он в глубине души убийца, тайный преступник, задумавший убить ее,— и за что? Почему еще минувшей ночью он желал ей смерти? Теперь, как видно, ее положение безнадежно.

— Сделайте все, что только в ваших силах,— сказал он доктору Сторму.— Если еще можно спасти ее, спасите, не останавливаясь ни перед чем.

— Конечно, мистер Хеймекер,— сочувственно ответил врач.— Будет сделано все, что возможно. Будьте спокойны. Я думаю, мы просто вчера ввели слишком маленькую дозу; кроме того, человеческая кровь недостаточно густа для данного случая. Вливание, конечно,

поддержало больную, но этого еще мало. Посмотрим, что можно сделать сегодня.

Дела не ждали, и Хеймекер, угнетенный и подавленный, отправился в контору. Он снова решил больше никогда не давать волю черным мыслям и желаниям, избавиться от них, чего бы это ему ни стоило. Они бесчеловечны. И в конце концов какими-нибудь тайными, неведомыми путями они обратятся против него самого. Эти мысли, наверно, губят Эрнестину. Пусть она выздоровеет, если это возможно, он не должен ей мешать. Да, как ни тяжело, придется снова принести себя в жертву. Иначе и нельзя поступить. Что уж теперь жаловаться, когда чуть ли не вся жизнь позади! И что значат еще несколько лет?

Он вернулся домой успокоенный — теперь он полон добрых намерений, и сиделка в три часа сообщила по телефону, что жене гораздо лучше. Второе вливание прекрасно подействовало. Оно, несомненно, помогло ей. У нее прибавилось сил, и она даже некоторое время сидела в постели. Когда в пять часов он зашел к ней, она лежала бледная, слабая, но глаза стали живее, щеки как будто чуть порозовели, и она едва заметно улыбнулась ему, — сразу чувствовалось, что ей лучше. Как внимателен доктор Сорм, какой он прекрасный врач! И как находчив! Только бы она теперь выздоровела. Только бы миновала эта страшная опасность! В восемь доктор Сорм снова придет.

— Ну, как ты, дорогой? — спросила Эрнестина, взяв его руки в свои и с любовью и нежностью глядя на него.

Он наклонился и поцеловал ее в лоб, и на сей раз это уже не показалось ему поцелуем Иуды. Сегодня он добр и великодушен, ему искренне хочется, чтобы она осталась жить.

— Я-то хорошо, дорогая, а вот как ты? На улице уже настоящая весна. Скорей выздоравливай, в такие дни грешно хворать.

— Я скоро поправлюсь, — тихо ответила она. — Мне гораздо лучше. А как твои дела? Как подвигается твоя работа?

Он кивнул, улыбнулся и стал рассказывать ей кое-какие новости. Звонила Этельберта, сказала, что придет и принесет фиалок. В шесть часов приедут Уэсли с Ирмой. Знакомые спрашивались о ее здоровье. Как мог

он быть таким бессердечным? — спрашивал он себя. — Как мог желать ей смерти? Она не такая уж плохая, она даже по-своему милая, кому-нибудь другому она была бы идеальной женой. У нее такое же право жить и наслаждаться жизнью, как и у него, и в конце концов она — мать его детей, и они столько лет прожили вместе. Да и день выдался такой хороший, вот и сейчас за окном чудесный майский вечер. А какой воздух, какое небо!.. И все подернуто нежно-лиловой дымкой. Звонит телефон, опять кто-то справляется о состоянии Эрнестины. Горничная говорит, что звонят без конца, особенно сегодня, и подает ему длинный список. Интересно, у Эрнестины, оказывается, больше друзей, чем у него, — такая она добрая, порядочная, достойная женщина. Зачем желать ей зла?

Он обедал с Этельбертой и Уэсли и весело болтал с ними; давно он не чувствовал себя так легко. Бесконечные за и против больше не мучили его, и на душе было спокойно. Он расспрашивал детей, как они живут, как внуки. В половине девятого опять приехал доктор Сторм и заявил, что, судя по всему, дела миссис Хеймекер пошли на поправку.

— Я полагаю, теперь есть надежда на полное выздоровление, — сказал Сторм. — Если одна-две ночи пройдут благополучно, без ухудшения, я думаю, что все уладится. У нее как будто прибавилось сил. Однако успокаиваться еще рано. Это очень коварная болезнь. Посмотрим, как больная будет чувствовать себя завтра, может быть, понадобится еще одно переливание крови.

Сторм ушел, а в девять часов уехали и Этельберта с Уэсли, попросив звонить им, если матери станет хуже, и он снова остался один. Он сел и задумался. Потом на несколько минут заглянул к жене — сегодня, как и все эти дни, врач предписал ей полный покой — и пошел спать. Было одиннадцать часов. Он очень устал. Противоречивые мысли истерзали его, нечистая совесть мучила, и он все время чувствовал себя усталым, но сегодня он непременно уснет. И сам он не совсем уж плох, да и жизнь не так уж плоха. Сегодня он думал и поступал, как надо. Нельзя было поддаваться тем черным мыслям. И все же... все же...

Он лежал на кровати и смотрел в окно, ему виден был уголок парка: покрытые нежной весенней листвой, серебрились под луной деревья, блестел край озера.

Здесь, в городе, каждый кустик, каждый зеленый уголок такая редкость, только богатый человек может себе это позволить. В юности Хеймекер был прямо влюблен в воду, его радовало каждое озерко, пруд, ручеек. В юности он любил гулять по ночам при луне. Это всегда навевало мысли о любви, о счастье, а он так страстно мечтал о любви и о счастье, но мечты его не сбылись. Однажды он сделал проект яхт-клуба, фундамент был облицован искусно отесанным камнем — точно застывший прибой лизал стены. В другой раз, много лет назад, он задумал построить дачу или загородный дом для себя и для той — удивительной, чудесной, которая, быть может, полюбит его, если он будет когда-нибудь свободен. Как это было бы необыкновенно хорошо! Но теперь, в этот час, самая мысль об этом казалась кощунственной, жестокой, злой, эгоистичной, безнравственной... и ведь все равно уже слишком поздно. Он отвернулся от окна, за которым все залито было лунным светом, и вздохнул, — надо спать, надо отогнать от себя эти старые, темные и вместе с тем такие сладкие мысли... и он отогнал их.

Хеймекер задремал, и ему почудилось, что какая-то необыкновенно прекрасная женщина, сама красота, воплощение всего, к чему он так стремился, подошла, взяла его за руку и повела куда-то вдаль, мимо покрытых рябью ручьев, мимо прозрачных озер, по прямой широкой дороге, вдоль которой стояли величественные храмы, башни, статуи из белого мрамора. Он шел, и казалось — что-то обещано ему... его ждет нечто прекрасное, чего он так жаждал... только тот таинственный край, куда он шел, был еще окутан тенью, и на душе было грустно и тревожно оттого, что впереди простиралась темная даль. Он был уже на пути к красоте и все еще искал, искал, но было темно, и тогда...

— Мистер Хеймекер! Мистер Хеймекер! — донеслось до него сначала едва слышно, почти таинственно, потом яснее, тревожнее, и кто-то дотронулся до него. — Скорей вставайте! Миссис Хеймекер...

Он вскочил, накинул синий шелковый халат, висевший у изголовья, и кинулся к двери, на ходу завязывая пояс. Миссис Элфрид и сиделка, бледные, растерянные, в отчаянии ломали руки, и он понял: настало самое страшное. Но вот и ее спальня. Она лежит, как

живая, — тихая, спокойная, вся какая-то поникшая; похоже, она просто спит, ее тонкие и, как ему иногда раньше казалось, недобрые губы слегка улыбаются снисходительной улыбкой... или это лишь след улыбки. Случалось, он видел у нее такое выражение: такая снисходительная и такая умная улыбка, умнее, чем она сама. Ее длинные, тонкие, изящные руки легли ладонями вверх, пальцы слегка разжались, словно она устала, очень устала. И веки тяжело опустились, навсегда закрыв усталые глаза. Одеяло не скрывало очертаний худого тела. Мисс Филсон, ночная сиделка, растерянно говорила что-то о том, как она на несколько минут задремала, а когда очнулась, все уже было кончено. Она была страшно подавлена и расстроена, может быть, боялась доктора Сторма.

Хеймекер стоял и смотрел, глубоко потрясенный, — ничто ни разу так не потрясло его с тех пор, как умер маленький Элуэл. В конце концов ведь она старалась, как умела, быть ему хорошей женой... Сколько лет они прожили вместе — и вот ее нет. Слезы застлали ему глаза, он шагнул к постели и осторожно, стараясь не задеть ее руку, опустился на колени.

— Эрни, родная... Эрни, неужели тебя не стало? — скорбно сказал он, но собственный голос показался ему фальшивым, лицемерным.

Он взял ее руку и печально поднес к губам; потом прижался лбом к ее виску, вспоминая неотвязные, противоречивые раздумья всех этих дней, а миссис Элфрид и сиделка смотрели на него, утирая слезы: им было так жаль его, одинокого старика!

Немного погодя они уговорили его встать; он поднялся безмерно подавленный, с отсутствующим видом и попросил миссис Элфрид и сиделку не беспокоить пока детей. Ведь все равно они уже ничем не помогут матери. Пусть спокойно спят до утра. Потом он вернулся к себе в комнату, присел на постель и с минуту остановившимся взглядом смотрел на залитый серебряным светом парк, который был все так же прекрасен. Ужасно. Так, значит, его недобрые желания, наконец, осуществились. Неужели это его злая воля убила ее? Возможно ли? Неужели это грозный ответ на его безгласные мольбы? И знает ли она теперь, о чем были его тайные помыслы? Страшно подумать. Где она теперь? Что думает о нем, если знает? Возненавидит ли его,

станет ли преследовать? Еще не рассвело, всего два или три часа, и по-прежнему ярко светит луна. А она лежит в соседней комнате, бледная, холодная, навсегда ушедшая отныне из его жизни.

Немного погодя он поднялся и прошел в гостиную, где так любил сидеть у окна; потом вернулся в спальню жены. Быть может, здесь, где еще совсем недавно была она, а теперь лежит это мертвое тело, он скорее сумеет справиться с мыслями. Видит она или не видит... знает или нет... теперь уже все кончено. Но только он невольно чувствует себя виноватым. Она была такая преданная, так заботилась о нем и о детях, уж в этом-то ей не откажешь. И в эти последние дни надо было пощадить ее, не давать волю тем черным мыслям. В его чувствах царил хаос, он никак не мог привести их в порядок. Однако надо как-то разобраться, в чем же он виновен, откуда взялось его озлобление, досада его, неприязнь к жене, иначе не будет покоя. Необходимо разобраться... но как, как? Он условился с миссис Элфрид не беспокоить ночью доктора Сторма. И они решили хоть немного отдохнуть до утра.

Потом он снова пошел в свою любимую комнату — посидеть у окна и поглядеть на парк. Может быть, здесь удастся разгадать эти загадки, продумать все до конца, понять наконец, каковы же его истинные чувства. Да, конечно, очень дурно было желать того, чего он желал. Ну, а как же он сам, его жизнь?.. Занимался рассвет, небо на востоке чуть побледнело, и тьма в комнате стала не такой густой. Из высокого зеркала в простенке на него смотрел усталыми глазами худощавый, сутулый человек с всклокоченной бородой и растрепанными волосами. Как страшно не вяжется все это с мечтами о свободе, о счастье... Какая злая насмешка! Какое крушение! Где уж ему, такому, мечтать о счастье, любви, даже если он свободен! Стоит лишь посмотреть на себя в зеркало. Вот он — старый, седой, сразу видно — конченный человек. Как мог он давным-давно не понять этого? Что за нелепость! Как мог он поддаться таким пустым мечтам? На что теперь надеяться? Ни одна красивая женщина теперь и не посмотрит на него, конечно нет. Сияющей мечте его юности никогда не сбыться. Это был мираж, призрак. Ничто уже не может измениться для него — все равно, жива его жена или умерла. А все же он свободен, наперекор всем сво-

им сомнениям и колебаниям. Но притом он стар, измучен — нелюдимый чужак, конченный человек.

Как безмерно жестока жизнь, как беспощадно насмехается она над ним, как она неизменно равнодушна к человеческой судьбе... Что видел он на своем веку? Как мало хорошего выпало ему на долю. Угрюмо смотрел он на свое смуглое, изборозженное морщинами лицо — морщины вокруг глаз, на лбу; глубокая складка меж бровей; смуглые, в морщинах руки, а ведь когда-то они были красивы; худое, угловатое, утратившее гибкость тело. Когда-то он был не из тех, мимо кого можно пройти, не заметив, — красивый, сильный, энергичный, а теперь!.. Он отвернулся к окну и посмотрел на одетые молодой листвой деревья, на озеро, на розовую полоску зари... да, сейчас оно исполнено особого значения, это рождение нового дня, так волшебного нового для тех, кто молод... Потом снова взглянул на свое отражение в зеркале. Чего ему теперь ждать? На что надеяться?

И тут ему снова вспомнился этот сон — странный сон, когда он чего-то искал и его куда-то вели, и ему было обещано что-то прекрасное впереди, но тот край, куда его вели, отступал все дальше в туманную мглу. Что значил этот сон? Быть может, он был полон глубокого смысла? Быть может, все теперь станет еще более смутным и темным? Может быть, это символ всей его жизни? Может быть... может быть...

— Свободен! — наконец вымолвил он. — Свободен! Теперь я знаю, что это значит. Наконец я свободен! Да, свободен... Свободен — умереть!

Так он и стоял у окна, погруженный в раздумье, машинально проводя рукой по бороде, по волосам...

НЕГР ДЖЕФ

Редактор отдела происшествий поджидал одного из своих лучших репортеров, Элмера Дэвиса. Этот тщеславный и не лишенный самомнения молодой человек обладал тем складом ума, при котором жизнь воспринимается как некий предустановленный порядок, где все расписано и рассчитано заранее и за каждым поступком следует либо награда, либо наказание. Если делаешь то, что надо, тебе хорошо. А не делаешь, тебе плохо. Так

называемые злые люди несут справедливое возмездие, так называемые добрые получают достойную награду. Возможно, впрочем, что дело тут было не в складе ума, а просто мистер Дэвис так часто слышал это в юности, что в конце концов сам в это поверил.

Репортер вскоре явился. Он был в новеньком весеннем костюме, в новой шляпе и новых ботинках. В петлице у него красовался букетик фиалок. Стрелка часов показывала час пополудни, был ясный солнечный день, и молодой человек чувствовал себя как нельзя лучше. Он был в самом благодушном настроении — весел и свеж как огурчик. Он находил, что мир прекрасен и вполне достоин того, чтобы воспевать ему хвалу.

— Вот, прочтите-ка это, Дэвис,— сказал редактор, подавая ему вырезку.— Потом я скажу, что мне от вас нужно.

Стоя возле редакторского кресла, репортер прочитал: «Счастливая Долина, Коннектикут, 16 апреля. Только что получено известие о совершенном здесь зверском преступлении. Негр Джеф Инголс изнасиловал Аду Уитекер, девушку девятнадцати лет, дочь зажиточного фермера Моргана Уитекера, усадьба которого находится в четырех милях отсюда. Снаряжена погоня под предводительством шерифа Мэтьюса. Если негра поймают, возможно линчевание».

Дочитав до конца, репортер поднял глаза. Какое ужасное преступление! Бывают же мерзавцы! Конечно, такую тварь нужно линчевать — и без всяких разговоров!

— Поезжайте туда, Дэвис,— сказал редактор.— Пожалуй, будет интересный материал. Суд Линча в здешних местах — это сенсация. У нас в штате такого еще не бывало.

Дэвис улыбнулся. Он всегда радовался, когда его посылали за город. Это значит, что его ценят. Другим редко дают такие ответственные поручения. И как приятно будет проехаться!

Однако немного погодя, когда он вышел из редакции, его стали одолевать невеселые мысли. Ведь, того и гляди — это явствовало из слов редактора,— ему самому придется быть свидетелем линчевания! А это уж далеко не так приятно. В его кодексе наград и наказаний не было специального параграфа, предусматривающего суд Линча даже за самые тяжкие преступления, а тут

еще надо будет все это видеть своими глазами. Нет, как хотите, а это слишком жестокая кара. Как-то раз ему пришлось, тоже по обязанности репортера, присутствовать при повешении, и тогда ему стало дурно, по-настоящему дурно, а ведь то был легальный акт, исполнение закона, одобренного его страной и согласного с воззрениями того времени. Теперь, глядя на яркое солнце и на свой элегантный костюм, он уже не находил столь лестным данное ему поручение. С какой стати ему всегда подсовывают такие дела? Потому что он умеет писать? Как будто больше некому! Слава богу, в редакции довольно народу. Впрочем, есть еще надежда — так утешал он себя, идя по улице, — что все обойдется: негра арестуют и посадят в тюрьму, и дело с концом. Ну, а не обойдется — как ни грустно об этом думать, — так, может быть, к тому времени, когда он приедет, все уже будет кончено. Посмотрим: телеграмма была подана в девять, сейчас половина второго; пока он доедет, будет три. Времени у них достаточно, а затем, если все сойдет благополучно — или неблагополучно, — он расспросит очевидцев о преступлении и о... дальнейшем и уедет. Но даже одна мысль о линчевании повергала его в тревогу, и чем дальше, тем меньше все это ему нравилось.

Счастливая Долина оказалась крохотной деревушкой: полсотни домов, приклеившихся к невысоким зеленым склонам; лавка и трактир — так сказать, торговая часть — и несколько разбегающихся в беспорядке улочек. Здесь жили два или три купца из К. — города, откуда сейчас приехал Дэвис, — но в остальном это было настоящее захолустье. Дэвис залюбовался белизной домиков, сияющей прелестью речки, через которую надо было переехать по пути со станции. На углу, возле типичного деревенского трактира, околачивалось несколько мужчин. Дэвис направился к ним, в расчете, что тут можно будет узнать все новости.

Присоединившись к этой компании, он не сказал сразу, что он репортер, — боялся, что это помешает им разговаривать и держаться непринужденно. Все они, видимо, были возмущены преступлением и тем, что оно до сих пор остается безнаказанным; все жаждали сильных ощущений — всем хотелось что-то сделать. Такого случая взвинтить себя и дать выход своим животным инстинктам им, наверное, не представлялось уже много лет. Дэвис выпросил у них подробности покушения: где

оно совершилось, где живут Уитекеры. Потом, убедившись, что, кроме пустой болтовни, ничего тут не услышишь, Дэвис ушел. Не повидаться ли самому с пострадавшей? О ней ему пока что ничего толком не рассказали, а что-то знать о ней нужно. Дэвис отыскал старика, который держал конюшню, и взял у него под верх лошадь — экипажа никакого достать не удалось. Дэвис был не бог весть какой наездник, но кое-как справился со своим конем. Уитекеры жили недалеко от деревни — всего в четырех милях; и немного спустя Дэвис уже стоял на крыльце небольшого дома, расположенного чуть-чуть в стороне — футах в ста от ухабистой проселочной дороги, и стучал в дверь.

Ему открыла высокая костлявая женщина.

— Я из «Таймса», — заявил он, стараясь говорить самым внушительным тоном. Кто их знает, как они встретят репортера, — может быть, любезно, а может быть, и нет. Потом он спросил, с кем имеет честь говорить — с миссис Уитекер? А как себя чувствует мисс Уитекер?

— Ничего, — ответила женщина. Она держалась очень сурово, хотя в ней и сквозила подавленная тревога. Спартанский характер! — Заходите. У нее небольшой жар, но доктор говорит, что это пройдет. — Она умолкла.

Дэвис последовал приглашению и вошел. Ему хотелось повидать девушку, но, по словам матери, доктор дал ей снотворного, и сейчас она спала, — и Дэвис не решился настаивать.

— Когда это случилось? — спросил он.

— Сегодня утром, около восьми, — ответила женщина. — Она пошла тут к соседям, к Эдмондсам, а этот негр встретился ей на дороге. Мы и не знали ничего... Вдруг, вижу, вбегает, перепуганная, вся в слезах... И упала без чувств вот тут, в комнате.

— Вы первая ее увидели?

— Да, только я одна и была дома. Мужчины все уехали в поле.

Дэвис еще расспросил ее о подробностях — что за человек этот негр, откуда он взялся. Наконец он встал, собираясь уходить. Перед уходом ему позволили взглянуть на девушку, которая все еще спала. Она была совсем молоденькая и недурна собой. Во дворе Дэвис встретил какого-то мужчину — это был местный житель,

пришедший узнать, как дела у Уитекеров. Он еще кос-что рассказал Дэвису.

— Теперь к югу отсюда ищут,— сказал он. Он имел в виду одну из групп, выехавших в погоню.— Попадись он им только, с ним живо расправятся. А далеко ему не уйти, пешком-то. Шериф тоже поехал, с понатыми. Думает перехватить негра да отвезти его в целости и сохранности в Клейтон, ну, навряд ли ему удастся, разве только сам его поймает.

«Так,— подумал Дэвис,— значит, присутствовать при линчевании, пожалуй, все-таки придется. Какая неприятность!»

— Где жил этот негр? Неизвестно? — хмуро спросил он; возложенное на него поручение все больше его тяготило.

— Да тут, близехонько,— ответил фермер.— Его зовут Джеф Инголс. Мы все его отлично знаем. Он тут на фермах работал, то на одной, то на другой, и ни в чем плохом не замечен, только что выпить любил. Мисс Ада его узнала. Езжайте прямо до первого перекрестка, потом направо. Увидите бревенчатую хибарку, немного в стороне от дороги, вроде той, что вон там стоит на проселке, только у Инголсов кругом стружки накиданы.

Дэвис решил было сразу отправиться туда, потом передумал. Становится поздно. Пожалуй, лучше все-таки вернуться в деревню. Там, может быть, уже что-нибудь известно о шерифе и о результатах погони.

Снова он сел в седло и поехал обратно в деревню; там он вернул лошадь владельцу, втайне надеясь, что все уже кончено и что он сейчас об этом услышит. Но на том же углу околачивалась та же самая компания, все так же споря, жестикулируя, негодуя. Тут, по-видимому, были участники поисков, происходивших раньше, в первую половину дня. «Что же они делали с тех пор?» — подумал Дэвис и решил рассказать им о своей поездке к Уитекерам и обо всем, что он узнал о здоровье девушки и о намерениях шерифа; это поможет ему разговориться с ними.

В эту минуту к стоявшим на углу подскакал верхом молодой фермер. Он был без куртки и без шапки.

— Поймали! — еле переводя дух, крикнул он.— Поймали!

— Где? Кто? Когда? — закричали все хором, окружая всадника.

— Мэтьюс поймал! У него дома! — ответил тот, вынимая платок и отирая лицо. — Что-то ему, видно, дома понадобилось. Мэтьюс, наверно, его в Клейтон повезет, только кто же ему позволит! Наши уже поскакали за ним вдогонку, а он заявил, что пристрелит первого, кто попробует отбить негра.

— Куда он поехал? По какой дороге? — раздались крики из толпы. Все засуетились, словно уже готовясь к нападению.

— Через Селлерс Лейн, — ответил всадник. — Наши думают, что он поедет по дороге на Болдуин.

— Ату его! — заревел один из слушателей. — Отобьем, отобьем. Ты поедешь, Сэм?

— А как же, — откликнулся другой. — Дай только за лошадью сбегаю.

«Боже мой! — мелькнуло в голове у Дэвиса. — Это выходит — я буду участвовать в линчевании? Зритель поневоле!»

Однако он не стал мешкать и тоже побежал за лошадью. Ясно было, что толпа вот-вот пустится в погоню. Тут можно будет кое-что узнать, а пожалуй, и увидеть.

— Что там творится? — спросил хозяин конюшни, когда перед ним предстал взволнованный Дэвис.

— Погоня, — возбужденно ответил тот. — Шериф его поймал. А здешние хотят отбить. Шериф повезет его в Клейтон по Болдуинской дороге. Я тоже хочу попасть туда, если удастся. Дайте мне опять лошадь, а я вам приплачу два доллара или сколько там нужно.

Хозяин вывел лошадь и напутствовал Дэвиса странной речью о том, как бережно с ней надо обращаться и какие кары ему грозят, если он этого не сделает. Лошадь ему дается только до полуночи. Если нужна будет и после, пускай достает где хочет или вернется сюда и возьмет другую. Дэвис поспешил согласиться на все условия. Затем вскочил в седло и уехал.

Когда он вернулся на угол, многие из тех, что побежали за лошадьми, были уже готовы к отъезду. Молодой фермер, привезший новости, давно ускакал оповещать других.

Дэвис выждал, пока они тронутся. А затем по самой живописной местности, какую только можно представить, через горы и доли, по вьющейся дороге, где на каждом повороте открывались прелестные виды, началась бешеная скачка. Репортер был так расстроен трагическим оборотом событий, что не обращал внимания на окружающие его красоты,— он только заметил, что места, кажется, действительно живописные. Смерть! Смерть! Близость чужой смерти, насильственной и неотвратимой,— вот что заполняло его мысли.

Примерно через час участники погони завидели на дороге шерифа. Он ехал в повозке, которую успел достать где-то в поселке. Кроме него, в повозке были еще двое. Сам он сидел на задке, лицом к преследователям, с револьвером в каждой руке; увидев его, всадники придержали лошадей и теперь ехали следом, на почтительном расстоянии. Несмотря на общее возбуждение, пока еще ни у кого не было охоты ввязываться в открытую стычку с представителем закона.

— Негр там, в повозке,— проговорил кто-то.— Видишь, лежит связанный?

Дэвис поглядел.

— Ага! — отозвался другой.— Теперь вижу.

— Забрать его у них,— сказал третий, ехавший впереди,— да и повесить! Вот что мы должны сделать. Что заслужил, то и получит! Без этого не вернемся.

— Как бы не так! — крикнул шериф, который, очевидно, расслышал эти слова.— Никого вы не повесите. Ступайте-ка лучше по домам.— Появление всадников его как будто ничуть не испугало.

— Где старик Уитекер? — спросил один из преследователей, должно быть, чувствуя, что им нужен предводитель.— Он бы его живо вытащил!

— Он с теми, что поехали на Олни.

— Надо его известить.

— Кларк уже поскакал,— успокоил другой, видимо, не терявший надежды на худшее.

Дэвис ехал вместе с остальными, его терзали странные и противоречивые чувства. Он был очень взволнован и вместе с тем подавлен, его угнетала мысль об этой толпе, об этих людях, которые явились сюда, побуждаемые главным образом любопытством, однако если их раззадорить — а это мог сделать всякий,— то они окажутся способны и на убийство. Не столько в каж-

дом было отваги, сколько желания позаимствовать отвагу у других, слить разрозненные силы и воли в одну общую силу и волю, достаточную для того, чтобы одолеть шерифа и предать смерти человека, которого он защищал. Все это было очень странно, почти непостижимо, и все же это было так. Преследователи явно побаивались шерифа. Все считали, что надо что-то предпринять, но никому не хотелось лезть на рожон.

Мэтьюс, рослый, степенный человек со строгим смуглым лицом, одетый в потертый костюм, с полинялой коричневой шляпой на голове, равнодушно смотрел, как растет толпа преследователей. Судя по всему, он решил до конца выполнить свою обязанность — отстоять арестанта и предотвратить самосуд. Если понадобится стрелять, ну что же, он станет стрелять, а уж выстрелит, так уложит на месте. Под конец, видя, что никто из вновь прибывших не бросается на него, а все плетутся сзади, как телята, он вздумал припугнуть их.

— Останови-ка на минутку! — сказал он своему вознице.

Тот натянул вожжи. Всадники тоже придержали коней. Тогда шериф поднялся на ноги и, стоя над простертым на дне повозки негром, закричал:

— Эй вы! Убирайтесь-ка отсюда! Ну, живо! Нечего за мной таскаться!

— Без негра не уйдем! — крикнул кто-то с вызовом, но еще довольно миролюбиво.

— Даю вам две минуты, чтобы очистить дорогу, — грозно скомандовал шериф, вынул часы и посмотрел на циферблат. Преследователи были шагах в ста от повозки. — А не очистите сами, так я вам помогу!

— Отдай нам негра!

— А, это ты, Скотт, — откликнулся Мэтьюс, узнав кричавшего по голосу. — Вот я вас завтра всех переарестую. Помяните мое слово!

Все молчали; слышно было только, как лошади переминаются и грызут удила.

— Мы в своем праве, — отозвался один из толпы.

— Я вас предупредил, — сказал шериф, спрыгивая с повозки. Он сделал шаг вперед и поднял револьверы. — Считаю до пяти. Потом стреляю!

Он сделал еще шаг; вид у него был очень решительный — и толпа подалась назад.

— Ну! Поворачивайте! — закричал он. — Раз, два... Все разом повернули и поскакали прочь, Дэвис вместе с остальными.

— Мы вернемся, когда он опять поедет, — сказал кто-то, словно оправдываясь.

— Конечно, не будет же он век стоять, — сказал другой. — Пусть только немножко отъедет.

Шериф опять сел в повозку, и она тронулась. Однако он, видимо, понимал, что его не послушают и что времени терять нельзя. Повозка неслась во весь опор. Удрать от них или хоть опередить — тогда, быть может, удастся к утру добраться до Клейтона, за крепкие тюремные стены. Но преследователи не отставали, прищипывая лошадей.

— На Болдуин поехали, — сказал кто-то из той компании, с которой приехал Дэвис.

— А это где? — спросил он.

— К западу, мили четыре отсюда.

— Зачем он туда поехал?

— А он там живет. Думает, ему дома легче обороняться будет, пока не приспееет подмога из Клейтона. Небось, еще ночью попробует негра туда сбегрить. А уж утром-то как пить дать.

Дэвис усмехнулся его произношению. Да и эти простецкие словечки всегда его забавляли.

И все же преследователи медлили, не зная, что делать. Они старались не терять Мэтьюса из виду, но их сковывала трусость. Никому не хотелось открыто восставать против закона. Все понимали, что не их дело вешать преступника, но каждый думал про себя, что хорошо бы его все-таки повесить и очень интересно было бы на это поглядеть. Поэтому они старались не отставать и быть под рукой на тот случай, если появятся старик Уитекер и его сын Джейк, которые сейчас разыскивали негра где-то в другом месте. Всем хотелось посмотреть, что сделают отец и брат девушки.

Затруднение разрешил один из преследователей, который сказал: почему бы не проехать в Болдуин другим путем, сперва назад в Счастливую Долину, а потом проселком через Сэнд-ривер? Кстати, может быть, попадется по дороге старик Уитекер с сыном, а не то можно оставить ему весточку на ферме. Эта дорога короче, чем та, по которой поехал шериф; в Болдуин он, конечно, доберется раньше них, но, если он вздумает ехать

дальше, в Клейтон, они его нагонят. Дорога на Клейтон проходит через Счастливую Долину, и где-то там или поблизости его легко будет перехватить. Оставив своих следить за шерифом, чтобы поднять тревогу в том случае, если он прямо отправится в Клейтон, остальные, в том числе Дэвис, помчались по направлению к Счастливой Долине. Уже темнело, когда они прискакали туда и остановили коней на углу возле трактира. Близилось время ужина, во всех домах над трубами вился дымок, и рьяность преследователей внезапно ослабела. Видно, шериф перехитрил их, по крайней мере на эту ночь. Моргана Уитекера, отца девушки, так и не нашли, Джейка тоже. Не поужинать ли пока что? Двое или трое уже под шумок ускользнули.

Приехавшие толклись на углу, рассказывая новости одному из двух хозяев, содержавших трактир, как вдруг галопом прискакал Джейк Уитекер, брат девушки, в сопровождении еще нескольких всадников. Они были все в поту, усталые и разгоряченные, — они обыскивали окрестность к северу от города и о том, что произошло без них, ничего не знали.

— Шериф его поймал! — закричал кто-то из той компании, с которой ездил Дэвис; он выкрикнул это на самых пронзительных нотах: так в деревне всегда возвещают важные новости. — В Болдуин его повез, в повозке, час либо два назад.

— По какой дороге? — спросил Джейк. Его статная фигура в поношенном, но ловко сидевшем на нем костюме и шляпе набекрень живописно освещалась то с одного, то с другого бока, пока он вертелся в толпе верхом на лошади.

— Через Селлерс Лейн. Но ты его не догонишь, Джейк. Он уже, наверно, далеко. Поезжай наперерез.

Теперь сцена оживилась. Все кричали наперебой. Один сообщал о поимке негра, другой — об угрозах шерифа, третий — о том, что за шерифом и сейчас двое едут следом, а другие караулят его на перекрестке, пока, наконец, все не было рассказано, хотя, быть может, и не все услышано.

Об ужине все тотчас позабыли. Еще раз опрокинулся обычный порядок вечера. Снова началась скачка через горы и доли по живописным местам между Болдуином и Счастливой Долиной.

Но Дэвису уже надоело трястись в седле, да и все, вместе взятое, ему порядком наскучило. Когда же наконец, думал он, наступит развязка, если она вообще наступит? А ведь надо еще написать! Драматический материал? Возможно! Но нельзя же тратить бог весть сколько времени, гоняясь за одной только возможностью. И все же напряжение этой минуты было таково, что он не решался отстать. По контрасту с тем ужасом, который ждал их впереди, красота ночи — теперь Дэвис ее воспринимал — казалась такой пленительной, что щемило сердце. В небе зажигались звезды. Словно желтые глаза, мигали далекие лампы в окнах домишек в лощинах и на склонах холмов. Воздух был мягкий и теплый. Где-то вдали кричали павлины, и на востоке уже поднималась золотая луна.

Все ехали молча — Джейк впереди, за ним еще человек двадцать. Ни разговоров, ни шуток; в сумерках с этим предводителем все выглядело весьма зловеще. Чувствовалось, что Джейк, молча скакавший в голове отряда, не помирится на меньшем, чем смерть негра. Друзья Джейка ехали сзади на некотором расстоянии — из уважения к его чувствам.

Через час в котловине, среди невысоких холмов, показался Болдуин. Там уже ласково мерцали огни, словно говоря об уюте домашних очагов, о веселом ужине, соблазняя проголодавшегося Дэвиса. Но он сейчас ни о чем не думал, кроме этой погони.

В деревне всадников встретили окликаками и приветствиями. Все уже знали, зачем они приехали. В десять голосов им объяснили, что и шериф, и арестованный еще здесь. Кучка зевак, с местными лавочниками во главе, поплелась за всадниками к дому шерифа; вся процессия двигалась теперь медленным, торжественным шагом.

— Навряд ли вы его добудете, — сказал им молодой человек лет двадцати пяти или тридцати, стоявший на пороге одного из домов, мимо которых они проходили. Это был, как позже узнал Дэвис, местный почтмейстер, он же телеграфист, по фамилии Сиви. — Шериф-то ведь не один, с ним двое поятых, во всяком случае, недавно они там были. Говорят, он собирается отвезти негра в Клейтон.

На ближнем углу к ним примкнуло еще несколько человек — те, что остались следить за шерифом.

— Хотел было от нас улизнуть,— с жаром принялись они рассказывать,— да не вышло! Сейчас негр у него в доме, в погребе запрятан. Понятых с ним нет. Поехали куда-то за подмогой, верно, в Клейтон.

— Откуда вы знаете?

— А мы видели, как они пробирались задами. Наверно, это они были, кому же еще!

Шагов за сто от белого домика, прильнувшего к распаханному косогору, все остановились и начали совещаться. Джейк объявил, что прямо подойдет к двери и потребует, чтоб шериф выдал им негра.

— А не выдаст, так я выломаю дверь и сам возьму! — сказал он.

— Правильно! Мы за тебя постоим, Уитекер,— поддержали остальные.

К этому времени толпа уже сильно возросла. Вся деревня была на ногах, на единственной ее улице кишел народ. Из окон и дверей высовывались головы. Всадники с воинственными криками гарцевали по улице. Раздалось несколько револьверных выстрелов. Еще мгновение — и толпа сгрудилась у ворот шерифа, а Джейк выступил вперед. Однако, вместо того чтобы идти прямо к крыльцу, он остановился в воротах и окликнул шерифа:

— Эй, Мэтьюс!

Толпа загомонила.

Джейк снова крикнул. Но шериф не отзывался. По-видимому, он считал, что проволочка времени для него самый верный, да, пожалуй, и единственный способ обороны.

Однако их прибытие не застало его врасплох. Можно было разглядеть, что он стоит, притаившись за одним из окон. В руках он что-то держал, как будто двустволку. Негр, как потом выяснилось, в это время сидел в погребе, забившись в угол, стуча зубами, и, должно быть, прислушивался к выстрелам и крикам на улице.

Внезапно, в ту самую минуту, когда Джейк хотел шагнуть вперед, дверь распахнулась, и в ее пролет, озаренный изнутри светом лампы, выдвинулось сперва двойное дуло, а затем фигура шерифа, державшего ружье наготове, так, чтобы его можно было мигом вскинуть к плечу. Все, кроме Джейка, попятились.

— Мистер Мэтьюс,— решительно сказал Джейк,— мы требуем негра!

— Откуда я его вам возьму? — ответил шериф. — Его здесь нет.

— А зачем же вы с ружьем? — выкрикнул кто-то. Мэтьюс ничего не ответил.

— Отдай его нам, Мэтьюс! — крикнул кто-то другой, чувствуя себя в безопасности среди толпы. — А не то сами возьмем.

— Ничего вы не возьмете, — с вызовом ответил шериф. — Сказано вам, что его тут нет. А хоть бы и был, все равно. В дом я вас не пущу. Ступайте лучше подобра-поздорову, если не хотите нажить неприятности.

— Он в погребе! — закричал кто-то.

— Пустите нас поглядеть, — поддержал другой. — Почему вы не пускаете?

Мэтьюс поднял ружье чуть повыше.

— Расходитесь-ка по домам, — сказал он тоном предостережения. — А то плохо будет. Предупреждаю: все сядете в тюрьму.

Толпа кипела и волновалась, а Джейк все стоял на месте. Он был очень бледен и весь натянут, как струна, но у него не хватало решимости.

— Да ни за что он не выстрелит! — крикнул кто-то сзади. — Не посмеет! Иди, Джейк! Иди и забери негра!

— Конечно! Бегом! Раз — и готово! — подбодрил другой.

— Не посмею? — переспросил шериф. Потом ровным голосом прибавил: — Кто первый войдет в ворота, за все ответит.

Но входить никто и не подумал, наоборот — многие отступили еще дальше. Казалось, задуманное нападение так и не состоится.

— А если задами пройти? — спросил кто-то.

— Попробуйте! — ответил шериф. — Увидите, что там для вас припасено! Я сказал, что не пущу вас в дом. Так лучше уходите сейчас, не то быть худо. В дом вы все равно не войдете, — повторил он, — а пулю кто-нибудь получит.

В толпе стали переговариваться и отпускать шуточки, а шериф молча стоял на страже. Все это зубоскальство, угрозы и жажда убийства, казалось, его нимало не трогали. Он только не спускал глаз с Джейка, от действий которого зависело поведение толпы.

Время шло, а нападающие все топтались в воротах. У Джейка, несмотря на его заносчивость, в нужную минуту не хватило мужества; он чувствовал, что толпа за его спиной — плохая для него поддержка. Он был все равно что один, ибо как предводитель не внушал людям доверия. В конце концов он отступил, проговорив:

— Ладно, ладно, до утра мы его все равно выцарапаем.

И толпа тотчас стала расходиться: кто побрел домой, кто в лавку, а кто задержался возле почты и единственной в деревне аптеки. Дэвис усмехнулся и тоже пошел прочь. Теперь он знал, что ему писать: это будет рассказ об укрощении толпы. Героем будет шериф. Надо потом взять у него интервью. А сейчас необходимо найти этого Сиви, телеграфиста, и послать телеграмму, а после где-нибудь раздобыть еды.

Телеграфиста он скоро нашел и объяснил, что от него требуется: он, Дэвис, напишет корреспонденцию, и нужно будет передать ее по телеграфу — передавать без задержки, по мере того, как он будет писать. Сиви указал ему стол в своей маленькой почтовой конторе, она же телеграфное отделение: тут он может сесть и писать, никто ему не мешает. Узнав, что Дэвис из «Таймса», он преисполнился почтения к нему и, когда тот спросил, нельзя ли достать чего-нибудь поесть, сказал, что сам сбегает через улицу в единственный в деревне трактир и велит хозяину прислать ужин, так чтобы Дэвис мог подкрепиться, не отрываясь от работы. Его, видимо, разбирало любопытство поглядеть, как это репортер будет тут же сочинять и передавать по телеграфу свое сочинение.

— Начинайте, — сказал он, — а я сейчас вернусь и посмотрю, не удастся ли соединиться с «Таймсом».

Дэвис уселся и принялся за дело. Ему хотелось все изобразить в ярких красках: суматоху и колебание толпы и очевидную победу шерифа. Мужество шерифа явно взяло верх, и все это было так живописно. «Предотвращенный суд Линча», — начал он, а когда кончил страницу, почтмейстер, который уже успел вернуться, взял ее и стал разбирать.

— Хорошо, — сказал он, прочитав до конца. — Теперь попробую соединиться с «Таймсом».

«Очень любезный почтмейстер», — мысленно отметил Дэвис, продолжая писать. Но он так привык встре-

чать любезных и предупредительных людей во время своих поездок, что скоро перестал об этом думать.

Принесли еду, и Дэвис, не выпуская пера из рук, стал ужинать. Он писал и жевал одновременно. Наконец «Таймс» ответил на повторные вызовы.

«Дэвис из Болдуина,— отстучал почтмейстер.— Готовьтесь принять целый роман».

«Валяйте»,— ответили из «Таймса»; там ждали этого сообщения.

По мере того как события дня оформлялись в уме Дэвиса, он писал, откладывая на стол страницу за страницей. Время от времени он поглядывал в окошко перед собой — там вдали, на склоне холма, мерцал одинокий огонек. Порой Дэвис вставал и выходил узнать, нет ли чего нового, не изменилось ли в каком-нибудь смысле положение. Но как будто ничего нового не происходило. Дэвис решил не ложиться до тех пор, пока не уверится, что по крайней мере на эту ночь всякая опасность трагического конца миновала. Телеграфист бродил кругом, поджидая, пока накопятся новые страницы для передачи, и следя за тем, чтобы не отставать от репортера. За это время они успели подружиться.

Наконец репортаж был закончен. Дэвис попросил Сиви предупредить ночного редактора, что, если до часу ночи что-нибудь случится, ему немедленно протелеграфируют; но выпуска пусть из-за этого не задерживают, потому что, может быть, ничего и не будет. Тотчас пришел ответ: Дэвису предлагали оставаться в Болдуине и ждать дальнейшего развития событий. После этого они с почтмейстером уселись и стали болтать о том о сем.

Часов в одиннадцать, когда оба уже решили, что никаких событий больше не будет — по крайней мере в эту ночь,— когда почти все огни в деревне погасли и на землю спустилась самая чистая, самая летняя, самая сельская тишина, внезапно с северо-запада, с той стороны, где, как теперь уже знал Дэвис, была дорога на Сэнд-ривер, донесся чуть слышный топот копыт, как будто оттуда приближался значительный верховой отряд. Почтмейстер сразу вскочил, Дэвис тоже, оба вышли на улицу и стали прислушиваться. Звук все близился, все нарастал.

— Может быть, это подмога шерифу,— сказал почтмейстер,— но только навряд ли. Я сегодня уже шесть

раз телеграфировал в Клейтон. Да и не с этой стороны им ехать. Не та дорога.

«Вот так так,— в тревоге подумал Дэвис,— пожалуй, все-таки будет что прибавить к посланному отчету». А он-то уже надеялся, что все кончено! Какая мерзость — эти линчевания! С какой стати люди так поступают, кто дал им право брать закон в свои руки,— сейчас Дэвис больше, чем когда-либо, чувствовал уважение к закону. Все это так грубо, так жестоко. Этот негр, который сейчас, наверно, притаился где-нибудь в темноте и дрожит от страха, шериф, который стоит настороже, пытаюсь уберечь арестованного и выполнить свой долг,— обо всем этом очень невесело думать, если вспомнить, какая, может быть, надвигается развязка. Ну, хорошо, было совершено преступление, преступление, конечно, ужасное, но почему надо вмешиваться в действия правосудия? Судебная власть достаточно сильна и может сама управиться.

— Сюда едут,— зловеще произнес почтмейстер, и оба они поглядели в ту сторону, откуда все громче доносился топот.— И это не подмога из Клейтона!

— Боюсь, вы правы,— ответил Дэвис; что-то подсказывало ему, что теперь беды не миновать.— Вот они!

В ту же минуту с топотом копыт, со скрипом седел по дороге промчался большой отряд всадников и свернул в узкую улицу; впереди всех скакали бок о бок Джейк Уитекер и бородатый старик в широкополой черной шляпе.

— Это Джейк,— сказал почтмейстер,— а рядом его отец. Ну, теперь будет потеха! Старик-то крутого нрава, настоящий кипяток!

Дэвис понял, что, пока он писал свою корреспонденцию, события приняли другой оборот. Должно быть, молодой Уитекер вернулся в Счастливую Долину и собрал новую партию или разыскал ту, с которой был его отец.

Тотчас деревня снова оживилась. Всюду зажигались огни, распахивались двери и окна. Люди высовывались из окон и выбегали на улицу, все хотели знать, что происходит. Дэвис отметил, что у вновь прибывших совсем не было того легковесного задора, который отличал первый отряд преследователей. Эти, наоборот, были мрачны и молчаливы, и Дэвис впервые почувствовал,

что это начало конца. Когда кавалькада промчалась по улице к дому шерифа, где теперь во всех окнах было темно, Дэвис пустился следом и прибежал на место всего двумя-тремя минутами позже. Часть всадников уже спешила. Со всех сторон сбегался народ. Но шериф, видно, был начеку; он не спал, и как только перед воротами собралась толпа, тотчас в доме вновь загорелась лампа.

При свете луны, стоявшей теперь почти прямо над головой, Дэвис ясно видел лица вновь прибывших. Нескольких человек он узнал — это были его спутники из той компании, с которой он сам ездил. Но много было и таких, которых он раньше не видел, — и среди них выделялся старик, отец Джейка. Он был крепкого сложения, с проседью в густых волосах, с окладистой бородой. По виду он смахивал на кузнеца.

— Следите за стариком, — посоветовал почтмейстер, который тоже прибежал и стоял теперь рядом с Дэвисом.

Как раз в это время старик выступил вперед, смело подошел к крыльцу и постучал в дверь.

— Эй! Кто там есть! — крикнул он и снова постучал.

— Что вам нужно? — ответил голос.

— Нам нужен негр!

— Негра вы не получите. Я уже вам сказал.

— Давай его сюда, не то я дверь выломаю! — крикнул старик.

— Попробуй! Я знаю тебя, Уитекер, и ты меня знаешь. Сойди сейчас же с крыльца. Даю тебе две минуты.

— Подавай негра, слышишь?

— Если ты не сойдешь с крыльца, я выстрелю сквозь дверь, — угрожающе произнес голос. — Раз, два...

Старик попятился и отошел в сторону.

— Выходи, Мэтьюс! — заревела толпа. — Негра ведь все равно отдашь. Без этого не уйдем.

Дверь медленно растворилась. Тот, кто ее отворял, видимо, был уверен в своей власти над толпой. Один раз он уже справился с ней, почему бы ему не справиться и теперь? Показалась высокая фигура шерифа с двустволкой. Он спокойно огляделся и заговорил со стариком почти дружеским тоном.

— Я не могу отдать его, Морган,— сказал он.— Это против закона. Ты это знаешь не хуже меня.

— Против или не против,— ответил старик,— а мы требуем негра!

— Я тебе говорю, что не могу его отдать. Это против закона. И совсем тебе не пристало шататься здесь по ночам и устраивать беспорядки.

— Хорошо. Тогда я его сам возьму,— сказал старик и сделал шаг вперед.

— Стой! — крикнул шериф, мгновенно вскидывая ружье.— Пристрелю, как собаку!

Толпа вдруг притихла. Шериф опустил ружье в уверенности, что опасность миновала.

— И не стыдно вам,— сказал он, распекая их совсем уж по-приятельски,— не стыдно вам, порядочным людям, нарушать закон?

— А он не нарушил закона? — насмешливо крикнул кто-то.

— Вот закон его и покарает,— ответил Мэтьюс.

— Отдай нам этого мерзавца, Мэтьюс,— сказал старик.— Отдай добром. Не доводи до беды.

— Я не намерен вступать с тобой в споры, Морган. Сказано, не дам, значит, не дам. Хотите, чтоб пролилась кровь? Хорошо. Но уж на меня не пеняйте. Первого, кто подойдет, уложу на месте.

Он взял ружье на прицел и застыл в ожидании. Толпа глухо роптала по ту сторону изгороди. Старик медленно повернулся, отошел к остальным и начал с ними переговариваться.

Ропот толпы стал громче. Старик опять вышел вперед и остановился у заветной черты.

— Мы не хотим устраивать беспорядки, Мэтьюс,— примирительно начал он, сопровождая свою речь ораторскими жестами.— Мы только хотим тебе объяснить, что упрямиться тебе нет никакого смысла. Мы считаем...

Дэвис и почтмейстер уже с минуту следили за Джейком: что-то в его манере привлекло их внимание. Он стоял в толпе, держась с краю и, видимо, стараясь оставаться незамеченным. Весь подавшись вперед, он не сводил глаз с шерифа, который слушал, что говорит старик. В тот миг, когда шериф, казалось, смягчился и бдительность его притупилась, Джейк вдруг рывком бросил-

ся к крыльцу. По толпе словно прошла волна — ясно было, что этот ход может решить все. Шериф быстро вскинул ружье. Он разом спустил оба курка, но Джейк уже был тут, он поддал стволы кверху и схватился с шерифом. Две красные вспышки — оба заряда, не причинив никому вреда, с визгом пронеслись над головами, — и тут все ринулись в атаку. Люди перепрыгивали через изгородь и устремлялись к дому, они окружили его со всех сторон, а гуще всего столпились у крыльца, где четверо врукопашную боролись с шерифом. Он скоро сдался, осыпая своих противников бранью и суля им всяческие кары. Принесли факелы и веревку. Подъехал фургон, и его задом завели во двор. Потом принялись искать негра.

Глядя на все это, Дэвис ни на миг не забывал о негре. Вот он сидит в погребе, в углу, скорчившись, дрожа за свою жизнь. Он, разумеется, уже понял, что конец близок. Вряд ли он забылся сном или потерял сознание за все предшествовавшие часы тишины и относительного спокойствия, нет, он, наверно, все время прислушивался, ждал, молился. И все время дрожал, что шериф не успеет его увезти. А сейчас, когда он опять услышал конский топот, голоса, крики, как он, наверно, дрожит всем телом, как у него стучат зубы!..

— Не хотел бы я быть на месте этого негра, — мрачно заметил почтмейстер. — Но с ними ничего не поделаешь. И почему из Клейтона не прислали подмогу!

— Это ужасно, ужасно!.. — только и мог вымолвить Дэвис.

Он тоже вслед за толпой подошел к дому, боясь упустить какую-нибудь подробность. В это время кучка людей, разгоряченных, как гончие на охоте, подбежала, неся веревку, к низкому входу в погреб, видневшемуся сбоку от дома. За ними побежали другие с факелами. Во главе с Уитекерами, отцом и сыном, они стали спускаться в черное зияющее отверстие. Набравшись смелости, Дэвис последовал за ними. Он твердо решил досмотреть все до конца, хотя и не был уверен, что ему позволят.

И вдруг в дальнем углу он увидел Инголса. Тот сидел на корточках, сжавшись в комок, в такой позе, как будто готовился прыгнуть. Ногтями он впился в землю. Глаза у него выпучились, на губах выступила пена.

— Господи, господи,— стонал он, уставившись на пламя факелов немигающими, как у слепого, глазами.— Господи, господи, не убивайте меня!.. Я больше никогда!.. Я не хотел! Я даже и не думал! Я тогда пьяный был! О, господи, господи!..— Зубы у него громко стучали, хотя рот был разинут. Он не помнил себя и только твердил, как помешанный: — Господи, господи!..

— Он тут, ребята! Тащите его наверх! — закричал старый Уитекер.

Негр издал вопль ужаса и упал ничком. Он как-то подпрыгнул при этом, и тело его глухо ударилось о земляной пол. Рассудок его покинул. На земле коичилось и исходило пеной обезумевшее животное. Сознания в нем оставалось ровно настолько, чтобы чувствовать на себе неумолимый взгляд своих преследователей.

Дэвис, которого это зрелище прогнало обратно на заросший травой двор, стал шагах в десяти от входа в погреб, и вскоре оттуда начали появляться люди, после того как они схватили и связали негра. Потрясенный до глубины души, Дэвис все же сохранял способность холодного наблюдения, которая вырабатывается у настоящего, опытного репортера. Даже сейчас он отмечал про себя краски и живописные детали этой сцены: багровое дымное пламя факелов, беспорядок в одежде у выходивших, их странные жесты — они что-то дергали и тащили... Вдруг он зажал рот ладонью, едва ли сознавая, что делает.

— Боже мой! — вскрикнул он, и голос его оборвался.

Негр с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, с конвульсивно дергающимися руками. Его обвязали поперек тела веревкой и волокли ногами вперед, а голова билась о ступеньки. Черное лицо почти уже не походило на человеческое.

— Боже мой! — прошептал опять Дэвис, кусая пальцы и сам того не чувствуя.

Толпа сгрудилась еще плотней, созерцая дело своих рук и, кажется, испытывая скорее ужас, чем торжество. Но ни у кого не хватило мужества или милосердия сказать хоть слово против. С какой-то машинальной расторопностью негра подняли и, словно мешок с зерном, швырнули в фургон. Отец и сын забрались на козлы, остальные отвязывали лошадей и садились в седла, по-

том в молчании потянулись следом за фургоном. Все это не были привычные участники судов Линча — такое заключение впоследствии вывел Дэвис, — скорее, просто любопытные зрители, которые рады были всякому случаю встряхнуться и развеять скуку своего однообразного существования. Для многих, а пожалуй что и для всех, линчевание было в новинку. И Дэвис, как ни был он потрясен и напуган всем виденным, тоже побежал за своей лошадью, сел верхом и поплелся в хвосте отряда. От волнения он сам плохо понимал, что делает.

Молчаливая кавалькада медленно двинулась по проселочной дороге на Сэнд-ривер, туда же, откуда прибыла. Луна стояла еще высоко, заливая землю серебристым светом. Дэвис задумался было над тем, какое добавление протелеграфировать в газету, но потом решил, что все равно ничего не выйдет. Когда все кончится, будет уже слишком поздно. Сколько нужно времени, чтобы повесить человека? Да неужто его на самом деле повесят? Все это казалось таким нереальным, таким чудовищным, — он не мог поверить, что это происходит на самом деле и что он сам принимает в этом участие. Однако процессия неуклонно подвигалась вперед.

— Неужели его повесят? — спросил Дэвис того, кто ехал с ним рядом. Этот человек был Дэвису совершенно незнаком, но, по-видимому, не находил его присутствие неуместным.

— А для чего же все затевали? — ответил тот.

И подумать, мелькнуло в голове у репортера, что он-то, Дэвис, завтра вечером будет лежать в мягкой постели у себя дома в К.!

Дэвис опять немного отстал и примолк, стараясь успокоиться. Он все еще не мог привыкнуть к мысли, что он, знавший до сих пор только городскую жизнь с ее однообразием и банальностью, с ее, по крайней мере, внешней общественной упорядоченностью, участвует в таком деле. Ночь была так мягка, воздух так чист! Свежий ночной ветер колыхал темную листву деревьев. Как можно допустить, чтобы человека постигла такая смерть? Почему жители Болдуина или других соседних деревень не встали на защиту закона, хотя нужно было только одно — не мешать его исполнению! Сейчас отец и брат девушки казались Дэвису просто дикими зверями, а обида, нанесенная дочери и сестре, совсем уж не такой ужасной. С другой стороны, обычай, по-видимому,

требует именно такой кары. Это как аксиома, математический закон. Жестоко, да; но таков обычай. Молчаливая процессия, в которой было что-то бездушное, механическое и поэтому страшное, двигалась все дальше. В ней тоже было что-то от аксиомы, от математики. Немного погодя Дэвис подъехал поближе к фургону и еще раз взглянул на негра.

Тот, как Дэвис с облегчением заметил, казалось, все еще не приходил в чувство. Он тяжело дышал и стонал, но едва ли от осознанной боли. Глаза у него были стеклянные и неподвижные, лицо и руки в крови, как будто их исцарапали или истоптали каблуками. Он лежал, безжизненно распластавшись на дне фургона.

Но тут выносливости Дэвиса пришел конец. Он придержал лошадь, стараясь побороть тошноту, подступавшую к горлу. Нет, довольно уж наблюдать. Это омерзительно, это бесчеловечно! Но процессия все двигалась, а он все ехал следом — мимо полей, белых от лунного света, под темными деревьями, сквозь кроны которых лунные блики узором ложились на дорогу, все ехал и ехал, то поднимаясь на невысокие холмы, то спускаясь в долины, и наконец впереди заблестела речка — та самая, которую он уже видел днем, — а в отдалении показался мост, к которому все они, видимо, и направлялись. Речка бежала по ложине, вспыхивая искрами в ночном сумраке. Немного подальше дорога спускалась к самой воде и, перекинувшись по мосту через реку, продолжалась уже по тому берегу.

Процессия приблизилась к мосту и здесь остановилась. Фургон въехал на мост, отец и сын слезли с козел. Всадники почти все, в том числе и Дэвис, спешили, и человек двадцать обступили фургон; негра сбросили наземь, словно куль с мукой. «Какое счастье, — повторял про себя Дэвис, — какое счастье, что он все еще без сознания, хоть это подарила ему судьба!» Но сам Дэвис чувствовал теперь, что смотреть до конца он не в силах. Он отошел дальше по берегу, в сторону от моста. Нет, он, видно, все-таки не настоящий репортер. Но и оттуда, где он стоял, ему ясно видны были концы длинных стальных балок, выступавшие над водой; к одной из этих балок несколько человек привязывали веревку; и затем Дэвис увидел, что другой конец веревки они накинули на шею негру.

Наконец все отступили, и Дэвис отвернулся.

— Не хочешь ли что-нибудь сказать перед смертью? — спросил чей-то голос.

Ответа не было. Негр, должно быть, лежал и только стонал, так и не приходя в сознание.

Опять несколько человек зашевелились; они подняли что-то черное; обмякшее тело вдруг нырнуло вниз и, дернувшись, повисло; слышен был скрип натянувшейся веревки. В бледном лунном свете казалось, что тело корчится, но, может быть, это только казалось. Дэвис все смотрел, онемелый, с полураскрывшимся ртом; и вот наконец тело перестало содрогаться.

Немного погодя на мосту снова началось движение; судя по звукам, там готовились к отъезду; и минуту спустя все уехали, даже не вспомнив о Дэвисе, покинув его на опустевшем берегу, наедине с его мыслями. Только черное тело, что покачивалось в бледном свете над мерцающей водой, только оно казалось живым и разделяло с ним одиночество.

Он присел на берегу и молча продолжал смотреть. Слава богу, весь этот ужас кончился. Этот несчастный больше не испытывает боли. Он больше не мучится страхом. А кругом какая красота, какое лето! Последний всадник исчез из виду, луна склонилась к краю неба. Лошадь Дэвиса, привязанная к дереву возле моста, терпеливо ждала. А он все сидел. Он мог бы поспешить обратно в Болдуин, в тесную почтовую контору, и передать по телеграфу дополнительные подробности, при условии, конечно, что ему удалось бы найти Сиви. Но это ни к чему. К номеру все равно не успеет, да и вообще нет никакого смысла торопиться. Других репортеров, кроме него, не было, а завтра он напишет гораздо лучше, подробней, красочней, острей. Он вспомнил о Сиви и вяло удивился: почему тот не поехал с ними? Какая странная штука жизнь, как она печальна, загадочна, непостижима.

Он все сидел, пока не заметил, что уже начинается утро. Небо на востоке стало серым, потом бледно-сиреневым. Потом в нем проступили алые заревые тона, и над затихшей землей в вышине заиграли все великолепные краски небесных чертогов, повторяясь внизу в водах речки. Белая галька, устилавшая дно, теплилась розовым светом, трава и камыш, раньше черные, теперь стали прозрачно-зелеными. Только тело повешенного оставалось темным, резко выделяясь на фоне неба; оно

заметно покачивалось под легким утренним ветром. Наконец Дэвис встал, забрался в седло и поехал по дороге в Счастливую Долину, так поглощенный происшедшим, что ничто другое уже не привлекало его внимания. Он разбудил хозяина конюшни, умиротворил его тем, что подробно рассказал о ночных событиях, поклялся, что берег лошадь как зеницу ока, уплатил пять долларов и ушел. Ему хотелось пройтись и еще подумать.

Дневных поездов не было, а свободное время следовало как-нибудь использовать. Поразмыслив, Дэвис решил, что лучше ему остаться до вечера, побродить по окрестности и разузнать еще кое-какие подробности. Интересно, например, кто снимет тело? Арестуют ли участников линчевания — хотя бы Уитекеров, отца с сыном? Что станет делать шериф? Приведет ли он в исполнение свои угрозы? Дэвис знал, что, если он сейчас в общих чертах сообщит в газету о развязке, редактор не станет пенять ему за опоздание. А день был так хорош, что не хотелось уезжать. Дэвис провел его в разговорах с местными жителями, съездил еще раз на ферму к Уитекерам, затем поехал в Болдуин повидать шерифа. Там все было до странности тихо и мирно. Шериф заверил его, что знает наперечет всех участников и непременно добьется ордера на их арест, но Дэвису показалось, что свое поражение он принимает так же равнодушно, как в свое время принимал опасность. Особенно усердствовать он, видимо, не был склонен. Должно быть, не хотел восстанавливать против себя местное население.

Солнце уже садилось, когда Дэвис вспомнил, что так и не узнал, снято ли тело. И еще одно он позабыл узнать: зачем негр возвращался домой и как, собственно, его поймали. Поезд отходил в девять, время еще оставалось, и Дэвис решил этим воспользоваться. До места, где жил негр, было около двух миль, но в такой хороший вечер Дэвису захотелось пройтись пешком, сосновой просекой. В последних лучах заходящего солнца длинные тени от распускающихся деревьев ложились поперек дороги. Дэвис довольно скоро добрался до одноэтажного домика, стоявшего поодаль от дороги и окруженного редкими деревьями. К этому времени уже совсем стемнело. Между дорогой и домом деревья были вырублены и сложены в штабель, а земля вся усеяна щепками. Крыша дома осела, в окнах кое-где виднелись бумажные заплатки; и все же тут ощущался домашний

уют. Через распахнутую дверь виден был желтый огонь, пылавший в очаге: он наполнял всю комнату золотыми отсветами.

Дэвис в нерешительности постоял перед растворенной дверью, потом постучал. Не получив ответа, он ступил на порог и с любопытством оглядел поломанные плетеные стулья и остальную ветхую мебель. Перед ним было типичное негритянское жилье — картина неописуемой нищеты. Через несколько минут дверь в глубине комнаты растворилась и вошла девочка-негритянка, неся в руках помятую жестяную лампу без стекла. Она не слышала стука и вздрогнула от испуга, увидев в дверях темный силуэт. Подняв над головой коптящую лампу, чтобы лучше видеть, она подошла ближе.

Ее плоская, худенькая фигурка в клетчатом балахончике производила комическое впечатление, что не преминул отметить Дэвис. Руки и ноги ее были несуразно велики, на голове во все стороны торчали крохотные черные косички, перевязанные белыми тесемками. Черное личико казалось еще черней по контрасту с белыми зубами и белками глаз.

Дэвис с минуту смотрел на нее, но то, что при других обстоятельствах рассмешило бы его, на этот раз оставило равнодушным.

— Это здесь жил Инголс? — спросил он.

Девочка кивнула. Она была как-то очень тиха, и по лицу видно было, что она только что плакала.

— Тело уже здесь?

— Да, сэр,— промолвила она с мягким негритянским выговором.

— Когда его привезли?

— Сегодня утром.

— Ты его сестра?

— Да, сэр.

— Скажи, девочка, как это вышло, что его поймали? Когда он вернулся домой и зачем? — Ему было немного стыдно допытывать ее расспросами.

— Вчера днем, в два часа.

— А зачем? — повторил свой вопрос Дэвис.

— Повидаться с нами,— ответила девочка.— Маму повидать.

— Да нет, что ему было нужно? Ведь не за этим же одним он пришел.

— За этим, сэр,— сказала девочка.— Чтобы проститься. А как его поймали, мы не знаем.— Голос ее задрожал.

— Но ведь он же понимал, что его могут поймать? — участливо спросил Дэвис, видя ее волнение.

— Да, сэр, понимал.

Она все время стояла очень тихо, держа обеими руками свою жалкую помятую лампу и глядя в землю.

— Он что-нибудь важное хотел вам сказать? — спросил Дэвис.

— Нет, сэр. Сказал только, что маму хотел повидать. И что ему придется уехать куда-то далеко.

Девочка, по-видимому, принимала Дэвиса за какое-то официальное лицо, и он не стал ее разуверять.

— Можно взглянуть на тело? — спросил он.

Девочка ничего не ответила, но повернулась к двери, как будто хотела показать ему дорогу.

— Когда похороны? — спросил он.

— Завтра.

Она провела его через пустую каморку, больше похожую на сарай, чем на жилую комнату, затем еще через одну или две такие же клетушки. Последняя, очевидно, служила складом для всякого хлама. В ней было несколько окошек, но все без стекол, кое-как заколоченных снаружи досками; сквозь щели лунный свет свободно проникал в комнату. Идя вслед за девочкой, Дэвис с удивлением задавал себе вопрос: куда же они в конце концов положили тело и почему в доме так тихо и пусто? Можно было подумать, что тут и нет никого, кроме девочки с косичками. Соседи-негры, если они имелись, наверно, напуганы и не смеют сюда показаться.

Но всего пустыней была эта последняя комната, холодная, темная, с заколоченными окнами. Вид у нее был уж совсем не жилой: чулан или прачечная. Посредине, одним концом на стул, другим на ящик, была положена гладильная доска, а на ней лежало тело, прикрытое белой простыней. Углы комнаты тонули во мраке. Только на середину ложились пятна серебряного света.

Дэвис направился туда, а девочка вышла, унося с собой лампу. Должно быть, она решила, что луна достаточно освещает комнату, а самой здесь оставаться ей было жутко. Свет и правда был довольно ярок, и Дэвис смело откинул простыню и вгляделся в застывшее черное лицо. Даже сейчас, даже мертвое, оно было

страшно искажено, а на шее ясно виден след от веревки. Полоса холодного лунного света ложилась на лицо и грудь. Дэвис уже хотел опустить простыню, как вдруг не то вздох, не то стон донесся до его слуха.

Дэвис вздрогнул — таким неожиданным был этот вздох, так странно и призрачно прозвучал он в темной комнате. Все мышцы его напряглись, сердце бешено заколотилось. В первую минуту ему почудилось, что звук этот исходил от мертвеца.

— О-о-ох! — снова прошелестело в темноте, и на этот раз со всхлипыванием, словно кто-то плакал.

Дэвис быстро повернулся, — теперь ему показалось, что звук шел сзади, из дальнего правого угла. Чувствуя, что холодок бежит у него по спине, он шагнул туда и, вглядевшись, различил в углу какую-то тень, как будто на полу у самой стены, скорчившись, сжавшись в комок, сидела женщина.

— Ох! Ох! Ох! — прозвучало снова, еще жалобней, чем раньше.

Дэвиса осенила наконец догадка. Он медленно подошел и тотчас раскаялся в этом, — перед ним, согнувшись и уронив голову на колени, сидела и плакала старая негритянка. Она забилась в самый уголок и словно замерла так.

— Ох! Ох! Ох! — снова простонала она, когда он уже стоял рядом.

Дэвис бесшумно отступил. Перед лицом такого горя те побуждения, которые заставили его проникнуть в дом, казались черствым и пустым любопытством. Бесвинное страдание матери, ее любовь — как подсчитать цену этой скорби? Слезы навернулись у него на глазах. Он торопливо оправил простыню и вышел.

Он быстро зашагал по облитой лунным светом дорожке, но вскоре остановился и оглянулся назад. Темная хибарка с единственным своим золотым глазом — распахнутой дверью, — какой жалкой она казалась! Плачущая старуха негритянка, одна-одинешенька в своем углу, и сын, который только затем вернулся домой, чтобы попрощаться с нею! Волнение переполняло Дэвиса. Ночь, ужас смерти, скорбь — теперь все это раскрылось перед ним. И однако, с бессердечием пробуждающегося художника он уже и сейчас обдумывал, какой рассказ из всего этого можно сделать: колорит, пафос... Одному, во всяком случае, его научило тяжкое горе этой матери,

чья вина была ничтожна, — да и была ли на ней какая-нибудь вина! — что не всем воздаяние мерится точной мерой и что дело писателя не судить, а понимать жизнь и рассказывать о ней.

— Я обо всем этом напишу! — воскликнул он наконец с глубоким чувством и вместе с торжеством. — Я обо всем этом напишу!

РЕПОРТАЖ О РЕПОРТАЖЕ

Представьте себе прокопченный город на Западе. Назовите его Омаха, или Канзас-Сити, или Денвер, лишь бы рядом протекала река Миссисипи. Вообразите в нем две соперничающие утренние газеты, две, и только две: «Звезду» и «Новости», сотрудники которых всеми силами стараются перехитрить друг друга. Среди сотрудников «Новостей» — из этих двух газет она чуть более высокого пошиба — вообразите себе мистера Дэвида Колинского, иначе (да, иначе!) Дэвида, или Рыжего Коллинза (это легкое номенклатурное изменение основано на следующих обстоятельствах: во-первых, он был южнорусский еврей, с виду точь-в-точь похожий на рыжеволосого ирландца, что, мне кажется, является особенностью южнорусских евреев; во-вторых, в Омахе, или Денвере, или Канзас-Сити быть ирландцем считалось как бы более *distingué*¹, чем быть южнорусским евреем). Наделите его развязными самоуверенными манерами «жучка» или маклера. Снабдите его шикарным кричащим костюмом, брильянтовым кольцом, рубиновой булавкой в галстук, желтовато-зеленой фетровой шляпой, желтыми ботинками, веснушками, насмешливо-презрительной улыбкой, и вот перед вами Рыжий Коллинз, как вылитый...

Но это еще не все.

В «Звезде» — а из этих двух больших ежедневных газет, каждое утро доводивших город до кипения страстей, она была чуть более низкого пошиба — поместите не кого иного, как мистера Огастуса Бинса, молодого (не старше двадцати двух лет), высокого, подтянутого, даже изящного, какими бывают молодые люди, окончившие колледж, конечно, литературно одаренного, бла-

¹ Изысканным (франц.).

городно-честолюбивого, в золотых очках, с ручными часами и тросточкой,— словом, этакого многообещающего молодого джентльмена из разношерстной и нередко незадачливой пишущей братии, который имеет вполне определенные представления, не говоря уж про мечты о том, что именно газета и литературная профессия, вместе взятые, должны принести ему, и который вдобавок испытывает глубочайшее презрение ко всем существам, принадлежащим к породе Рыжего Коллинза,— ипподромным «жучкам», картежникам, сыщикам-любителям по уголовным и политическим делам. Вы, может быть, спросите, что же мистер Коллинз, каким мы его охарактеризовали, делал в такой солидной и уважаемой газете, как «Новости». Это длинная история, дорогие мои. Газета — учреждение своеобразное.

Дело в том, что эта самая газета не так давно служила приютом блистательной особе самого мистера Бинса, и он был такой талантливый репортер, что ему не раз поручалось править или писать заново заметки, доставляемые Коллинзом, который в то время был связан с газетой лишь как взятый на испытание соглядатай. Это само по себе, по мнению мистера Бинса, уже было преступлением против искусства и литературы, ибо, строго говоря, мистер Коллинз литератором не был, писать не умел, а мог, в сущности, только доставлять материал, который, кстати сказать, как правило, оказывался преинтересным, особенно если принять во внимание, что в газете всегда были люди, умеющие писать,— например, мистер Бинс. То, что «Новости» пользуются услугами подобных субъектов и позволяют им щеголять званием «репортера» или «корреспондента», коробило, даже оскорбляло мистера Бинса, потому что он весьма высоко ценил «Новости» и гордился тем, что сотрудничает в этой газете. Но Коллинз! Рыжий Коллинз!

Коллинз этот был из тех потрепанных, но отнюдь не обиженных жизнью евреев, которые благодаря несокрушимо упорству и силе воли выбиваются из поистине ужасающих условий существования. До пятнадцати или шестнадцати лет он никогда даже не видел ванны. Он был поочередно чистильщиком сапог, продавцом газет, ипподромным жучком, конюхом, трактирным слугой — кем только он не был! За последние годы — ибо он уже успел набраться житейской мудрости (ему шел двадцать шестой год) — в нем появилась склон-

ность к азартным играм, равно как и к грязным политическим махинациям; кроме всего прочего, он был еще и полицейским осведомителем. Он был словно пария среди газетчиков, но редакторы спортивного и политического отделов считали его полезным. Они терпели его и хорошо платили за информацию, потому что информация эта всегда представляла несомненный интерес.

Бэтсфорд, опытный редактор отдела происшествий «Новостей», плотный, грубоватый мужчина, по душевному складу более близкий к Коллинзу, нежели к Бинсу, хотя и не походивший ни на того, ни на другого, был первым начальником Бинса в газетном мире. Он не любил Бинса прежде всего за ручные часы, затем за массивные золотые очки, гораздо большего размера, чем нужно, и, наконец, за тросточку, которой тот помахивал с важным видом. Дело в том, что Бинс был уроженцем Востока, а редактор отдела происшествий — уроженцем Запада, и, кроме того, Бинса до некоторой степени навязал ему заведующий редакцией, желавший кому-то услужить. Но Бинс безусловно умел писать и доказал это. Он был энергичный репортер, тонко чувствовал слово и, главное, имел дар живо и драматично описывать все, что бы ни видел, — достоинство первейшего значения в повышенно эмоциональной атмосфере Запада. Он легко и уверенно управлялся с любым попадавшимся ему материалом и, по-видимому, всегда умел собрать все или почти все факты.

С другой стороны, Коллинз, несмотря на всю грубость и, можно даже сказать, душевную бесчувственность, был тем, что Бэтсфорд называл практическим человеком. Коллинз знал жизнь. Он ни в малой мере не обладал художественным чутьем, присущим Бинсу, и все же... Бэтсфорда интересовало все, что делается в политических кругах и уголовном мире, и Коллинз всегда мог ему сообщить об этом, а Бинс — никогда. К тому же Бэтсфорд знал, что он жестоко оскорбляет Бинса, заставляя его переписывать заметки Коллинза. Они были противоположны друг другу, как огонь и вода, как мусульманин и христианин.

Когда Бэтсфорд впервые велел Коллинзу изложить Бинсу все подробности одного происшествия, с тем чтобы Бинс обработал этот материал, Коллинз подошел к своему коллеге и, вызываяще глядя ему в лицо, сказал с кривой улыбкой:

— Начальник велел отдать вам этот материалчик, чтоб вы его обстряпали.

Материальчик! Обстряпали!

Эх, был бы под рукой острый нож!

Но Бинс, неизменный поборник долга и порядка, только вперил в Коллинза не менее вызывающий и в то же время загадочный взгляд, слегка подтянул брюки, поправил часы на руке и очки на носу и принялся записывать подробности происшествия, вытягивая их из своего соперника с ловкостью и мастерством, достойными лучшего применения.

Однако не прошло и недели, как, к великому ужасу и негодованию мистера Бинса, до его ушей дошло, что мистер Коллинз назвал его чурбаном, грошовым писакон и надутым прыщом — ни больше, ни меньше — и выразился в том смысле, что писатели, все вместе и каждый в отдельности, с образованием или без оногo, не больно-то много стоят, все они подыхают с голоду, и их — «что собак нерезаных», — это выражение в особенности взбесило мистера Бинса, ибо оно явно значило, что пишущей братии так же много, как песку морского или как грязи на улице.

Аллах всемогущий! Чтобы этакoму псу дозволялось издеваться над великими мастерами слова!

Тем не менее и несмотря на все это, мистер Коллинз успешно продвигался вперед и главным образом — как частенько горько сетовал мистер Бинс — именно за его счет. Коллинз явится, нагородит бесконечных «он grit мне» и «а я грю ему», и мистер Бинс (по приказу мистера Бэтсфорда) переводит все это на чистейший литературный язык, отложив на время какую-нибудь собственную превосходную статейку, а на завтра материал Коллинза уже снова в печати, и он волен, ткнув пальцем в заметку, размером в один, полтора или полстолбца, гордо заявить: «Это мое!»

Подумать только! Этакая свинья!

Но всему приходит конец, даже жизни и несправедливости. В надлежащее время, по причине ряда придинок и необоснованного недоброжелательства со стороны мистера Бэтсфорда, мистеру Бинсу волей-неволей, из чувства собственного достоинства, пришлось перенести свою деятельность в «Звезду» — газету, которую он раньше презирал за ее невысокий уровень, но ныне благодаря своим дарованиям был принят там с распростер-

тыми объятиями. И вдруг, к изумлению своему и досаде, раздобывая однажды информацию в полицейском участке, известном под названием «9-й южный», где всегда можно было поживиться свежей сенсацией,— с кем же он столкнулся, как не с Рыжим Коллинзом собственной персоной, теперь — не угодно ли — вполне оперившимся репортером «Новостей», ведущим полицейскую хронику. Он держал себя величественно и даже высокомерно: Бинса он едва удостоил взглядом. Бинс бесновался.

Однако он сразу увидел, что Коллинз был с полицейскими и даже с самим начальником запанибрата куда больше, чем он,— так, как ему никогда и не снилось,— и знал все, что делается в участке. Только и слышалось: «Здорово, Рыжий!», «Привет, дружище!» — на что Коллинз отвечал: «Добрый день, хозяин!» и «Как жизнь, ребята?» Он держал себя со всей развязностью заправского репортера, вразвалку расхаживал по участку, как у себя дома, хвастаясь своими статьями, а ведь добрая их половина написана Бинсом. Более того, Коллинз вскоре уединился с начальником в его кабинете, входил и выходил из этого святилища, точно это было его личное владение, и как бы давал Бинсу понять, что имеет доступ к таким сферам и ему известны такие тайны, о которых тот никогда не слышал и не услышит. Это заставило Бинса вдвойне опасаться, как бы сенсации, почерпнутые во время этих тайных бесед, не увидели впервые свет на страницах «Новостей», а он, таким образом, не оказался предметом насмешек, как репортер-неудачник. Поэтому он стал особенно пристально следить за «Новостями», выискивая доказательства измены со стороны полиции, и в то же время удвоил внимание ко всему, что могло украсить отдел происшествий «Звезды». И так как мистер Бинс несравненно лучше владел пером, обладая богатым воображением, то он не раз сажал мистера Коллинза в лужу, умудряясь писать отличные статьи на материале, явно отброшенном Коллинзом, как несостоящий хлам. С другой стороны, на столбцах «Новостей» нет-нет да приводились такие сведения, которых он никак не мог добыть легальным путем, причем полиция утверждала, будто ей ровно ничего не известно. Вот так-то мистер Коллинз и брал реванш — и, скажем прямо, временами весьма серьезный реванш.

Но все же мистер Бинс нередко выходил победителем, как, например, в случае убийства негритянской девушки ранним августовским вечером в одной из трущоб, составлявших характерную черту и даже достопримечательность города О. Девушка эта была буквально искромсана своим бывшим любовником, который следовал за ней из одного прибрежного селения в другое, из города в город, пока, наконец, не настиг ее и не отомстил за измену.

Ничего не скажешь — репортаж получился блестящий. Выяснилось (но лишь после усердных розысков со стороны мистера Бинса), что семь или восемь месяцев назад (газеты города О. всегда отводили много места подобным историям) эта самая девушка и зарезавший ее негр жили вместе как муж и жена в Кейро, штат Иллинойс, и потом ее возлюбленный (не то грузчик, не то кочегар на пароходах, курсирующих по Миссисипи между Новым Орлеаном и городом О.), очевидно, страстно ее любивший, — а она по-своему была настоящая красавица, — стал ее подозревать и, убедившись наконец, что подруга действительно ему неверна, подстроил ловушку, чтобы поймать ее на месте преступления. В один прекрасный день он сказал, что уезжает недели на две, но неожиданно вернулся и, ворвавшись в дом, застал свою возлюбленную с соперником. Если бы не вмешательство соседей, которые помогли парочке ускользнуть, не миновать бы им смерти.

Доведенный до исступления тем, что подруга не только изменила, но и бросила его, он пустился по ее следам. Он вернулся к работе грузчика, переезжая из одного речного порта в другой, побывал в Мемфисе, Виксберге, Нэтчезе и Новом Орлеане; в каждом из городов он под видом разносчика, торгующего амулетами и бусами, обходил скученные негритянские кварталы, выкликая свой товар. Наконец, в О., проходя по душным, вонючим улочкам, примыкавшим к тому самому полицейскому участку, который именовался «9-й южный», и густо населенным неграми, он под вечер августовского дня наткнулся на изменницу. В ответ на его крики: «Кольца! Булавки! Пряжки! Бусы!» — вероломная красотка, видимо, не узнав его голоса, высунула голову из дверей. В тот же миг злодеяние совершилось. Бросив свой лоток, он кинулся на изменницу с бритвой и исполосовал ее до неузнаваемости. С дьявольской же-

стокостью он изрезал ей щеки, губы, руки, ноги, спину и бока; когда Бинс приехал в городскую больницу, куда она была доставлена, он нашел ее при смерти, в бессознательном состоянии. Убийце, а также новому любовнику удалось скрыться.

Любопытно, что этот случай полностью завладел воображением мистера Бинса, а впоследствии и воображением редактора отдела происшествий. Это было как раз то, что мистер Бинс умел делать и делал хорошо. С подлинным литературным мастерством он сотворил из этого убийства легендарную «черную» трагедию. Убедив своего слишком осторожного начальника, что немного экзотики не помешает, он ввел в свой репортаж удушливый зной набережных Кейро, Мемфиса, Нэтчеца и Нового Орлеана, дремотные песни портовых грузчиков под стать их однообразному размеренному труду, бесшумное движение медлительных барж и тесноту кривого переулка, полудикарские лачуги с пестрыми занавесками вместо дверей и толпу их чернокожих обитателей, беспечных, ленивых и суетливых, напевающих свои бесконечные песни. Был описан даже старый негритянский напев, подходящий для продавца амулетов, смелыми красками была изображена откровенно чувственная негритянская любовь героя и героини трагедии. Старая негритянка, в желтом тюрбане в крапинку, которая все твердила: «Ой, Джордж», «Ой, Сэм» и «Ой, Маркатта» (так звали красавицу), — привела автора в поэтический восторг. Ничего удивительного, что очерк получился чрезвычайно красочным, и редактор от души поздравил мистера Бинса с успехом.

А в «Новостях», может быть, вследствие неспособности Коллинза почувствовать романтику подобного убийства, это происшествие, как обыкновенная поножовщина, было отмечено лишь скупой заметкой. Не тот был у Коллинза склад ума, чтобы самому подметить колоритность материала, но, прочтя произведение своего соперника, он сразу понял, в чем именно потерпел неудачу, и пришел в ярость.

— Думаешь, тебе уж и сам черт не брат? — едва завидя Бинса, фыркнул он, скривив рот от злобы и бешенства, на другой день. — Как же! Экого шику напустил! Да только я таких речистых мальчишек и до тебя видал, и мне на всех на вас наплевать! Одно только, соломенные головы, и умеете, что подцепить два-три

фактика и размазать их на полосу. А настоящего-то материала у вас и не бывает никогда! — И он даже щелкнул пальцами перед носом ошеломленного мистера Бинса. — Вот погоди, дорвемся с тобой до настоящего дела, ты да я, так я тебе такое покажу! Погоди, тогда увидишь!

— Дорогой мой, — начал было мистер Бинс, но у него даже дух захватило от холодного, мстительного взгляда сверкающих глаз мистера Коллинза. Тут-то и закрался в душу мистера Бинса тот непонятный страх перед мистером Коллинзом, от которого он долго потом не мог избавиться. Что-то было в нем такое свирепое, так сильно напоминающее разъяренного шершня или змею, что Бинс даже онемел.

— Ой ли? — удалось ему наконец вымолвить. — Думаешь — покажешь? Что же тебе еще говорить, когда только что сел в калошу, а вот посмотришь: в следующий раз я опять свое возьму.

— А ну тебя к дьяволу! — злобно буркнул мистер Коллинз и отошел прочь; мистер Бинс удовлетворенно, хотя и несколько растерянно, улыбнулся, в то же время спрашивая себя, что же такое и когда именно собирается сделать ему мистер Коллинз.

Дальнейшие события развивались более увлекательно.

Однажды утром, когда мистер Бинс, приняв ванну и позавтракав, явился в редакцию, глава отдела происшествий позвал его в свой кабинет. Мистер Уоксби, в противоположность мистеру Бэтсфорду, был небольшого роста, раздражительный, однако не злой и способный человек; нельзя сказать, чтобы Бинс видел в нем идеал джентльмена, но, по его мнению, Уоксби был куда более дельный редактор, чем Бэтсфорд, и его, Бинса, ценил по достоинству, чего никогда не делал Бэтсфорд. Бэтсфорд изводил его, используя этого негодяя Коллинза, тогда как Уоксби почти ухаживал за ним. А какой нюх был у него на сенсации!

На этот раз мистер Уоксби оглядел его несколько торжественно и загадочно и затем сказал:

— Помните, Бинс, ограбление поезда Тихоокеанской железнодорожной компании где-то около Долсвилла с полгода назад?

— Да, сэр.

— И помните — в поезде находился тогда губерна-

тор штата со своей военной свитой, все в форме, и еще с десятков разных важных шишек, и все они утверждали, будто было семеро здоровенных бандитов, вооруженных до зубов, и одни из них проходили по поезду и грабили пассажиров, а другие тем временем заставили машиниста и кочегара отцепить паровоз, а потом подорвать дверь почтового вагона, открыть сейф и вынести им деньги, всего что-то около двадцати или тридцати тысяч долларов.

Бинс хорошо все помнил. В то время он работал в «Новостях», и газетная страница, целиком посвященная этому делу, привлекла его живейшее внимание. Он нашел случай характерным для местных нравов — все еще диких и необузданных. Тут так и отдавало беззаконием сороковых годов, когда ограбления караванов с товарами и почтовых карет были правилом, а не исключением. У него даже волосы зашевелились на голове — так живо он себе тогда все это представил. Вот уж поистине драматическое происшествие!

— Да, сэр, я очень хорошо помню, — ответил он.

— А помните, как издевались тогда газеты над губернатором и его чиновниками, которые попрятались по своим полкам и не вылезли до тех пор, пока поезд не тронулся?

— Да, сэр.

— Так вот, Бинс, прочтите-ка это. — Тут мистер Уоксби, поблескивая острыми, насмешливыми глазками, протянул ему телеграмму, и мистер Бинс прочел:

«Медисин-Флэтс, М. К.

Лем Роллинс, арестованный здесь сегодня, признался единоличном ограблении Тихоокеанского экспресса западу Долсвилла 2 февраля сего года. Деньги найдены. Роллинса сегодня отправляют в О. через «Ц. Т. и А.». Прибудет шесть тридцать».

— Так-то, Бинс, — фыркнул мистер Уоксби, — выходит, эта история с семью бандитами — сплошной вздор. Никаких семи бандитов не было, а был только один, его поймали, и он сознался.

Тут мистер Уоксби разразился хохотом.

— Нет, Бинс, — продолжал он, — если это действительно правда, то вот вам блестящий материал. Не так-

то часто встретишь человека, который один задерживает целый поезд и скрывается с двадцатью или тридцатью тысячами долларов. Это изумительно. Я решил, что мы не будем ждать его прибытия, а вы поедете ему навстречу. Судя по расписанию, вы можете попасть на местный поезд, уходящий отсюда в два часа пятнадцать минут, и доберетесь до Тихоокеанской линии на пятнадцать минут раньше экспресса, в котором его везут. Вы поспеете как раз вовремя. Для интервью у вас будет полтора часа. Очень возможно, что «Новости» и другие газеты еще ничего не пронюхали и опоздают. Подумайте, какой вам представляется случай все у него выведать! Не семеро грабителей,— помните! — только один! И губернатор со всей своей свитой в поезде! Заставьте этого молодчика сказать, что он думает о губернаторе и его свите. Заставьте его говорить! Ха! Ха! Он будет целиком в вашем распоряжении. Каково! А они-то попрятались по своим полкам! Ха! Ха! Ну и везет же вам: ведь такой случай раз в жизни выпадает!

Мистер Бинс глядел на телеграмму. Он припоминал подробности ограбления: одни бандиты крались снаружи поезда, в то время как другие проходили внутри, обыскивая пассажиров, а еще несколько сообщников, впереди, насмерть запугали машиниста и кочегара, взломали сейф почтового вагона в присутствии не только вооруженного охранника, но и почтальона и всей поездной прислуги, а потом скрылись в темноте. Каким образом один человек мог все это сделать? Уму непостижимо!

Тем не менее он встал, поняв всю важность порученного ему дела. Интервью предстояло нелегкое, но он надеялся, что справится. Только бы поезд не кишел репортерами! Он сунул в карман блокнот и понесся на вокзал — если только про мистера Бинса можно так выразиться. Здесь он наткнулся на первое препятствие.

На его просьбу о билете до Тихоокеанской последовал неожиданный вопрос:

- По какой линии?
- А разве их две? — спросил мистер Бинс.
- Да: «М. П.» и «Ц. Т. и А.».
- И обе до Тихоокеанской?
- Да.
- Какой поезд уходит раньше?
- «Ц.Т. и А.». Он уже подан.

Мистер Бинс колебался, но времени терять было нельзя. Разницы это, в сущности, не составляло, поскольку поезд явно успевал застать экспресс, но время отхода не совпадало с указанным. Он уплатил за билет, занял место и тут же начал тревожиться: а вдруг в поезде едут другие репортеры — из «Новостей» или одной из трех вечерних газет, в особенности же из «Новостей». Если их нет, все это великолепное дело достанется ему одному, и какая же будет сенсация! Но что, если есть другие? Он прошел вперед, в курительный вагон, второй от паровоза, и здесь, к величайшей своей досаде и огорчению, увидел того человека, с которым менее всего хотел бы встретиться в таком деле, человека, которого он вообще меньше всего хотел бы видеть: мистер Коллинз, рыжеволосый, невозмутимый, решительный, с сигарой в зубах, сидел, развалившись в широком кресле, и читал газету так спокойно, как будто вовсе не спешил по делу первейшей важности.

— Тыфу ты черт! — сердито и даже с праведным негодованием воскликнул мистер Бинс.

Он вернулся на свое место расстроенный и злой, тем более что вдруг вспомнил ядовитую угрозу мистера Коллинза: «Вот погоди, дорвемся с тобой до настоящего дела, ты да я...» Экая подлая тварь! Ведь двух слов связать не умеет! Чего же его бояться? И все-таки он его боялся, а почему — и сам не знал. Коллинз был такой свирепый, с необузданным нравом, его поступки были так дики и неожиданны.

И зачем это, черт возьми, спрашивал он себя, обдумывая данное ему поручение, понадобилось Бэтсфорду послать такого человека, как Коллинз, который и пера-то держать не умеет? Разве может он оценить этот случай, понять душу преступника? Как ему докопаться до психологической подоплеки столь необъяснимого и странного дела? Ведь он явно слишком примитивен, неразвит духовно, чтобы осмыслить такое. Однако же он здесь, и, конечно, ему, Бинсу, теперь придется вступить в состязание с этой мерзкой тварью. Коллинз и так на него злится. Он не остановится ни перед какой подлостью, лишь бы одержать верх. Эти провинциальные сыщики, и шерифы, и железнодорожники, кто бы и откуда бы они ни были, уж конечно, как всегда, тотчас снюхаются с Коллинзом и изо всех сил будут стараться ему услужить. Как на грех, им, видимо, по вкусу люди

такого сорта. Они даже могут, по наущению Коллинза, вовсе отказать ему в интервью с бандитом. Что же тогда? А Коллинз, можно не сомневаться, уж как-нибудь да что-нибудь из них выжмет, причем разузнает такие закулисные подробности, которых ему, Бинсу, ни за что не сообщат. Бинс совсем разволновался. Даже если все пойдет гладко, ему придется интервьюировать необыкновенного бандита в присутствии этой мерзкой твари, в присутствии человека, которого он глубоко презирает и который, несомненно, присвоит себе все его заслуги, представив дело так, будто это он придумал самые удачные вопросы. Нет, каково!

Унылый пригородный поезд подвигался вперед, и по мере того как он ближе и ближе подходил к Тихоокеанской, Бинс все больше и больше нервничал. Очарование прелестного сентябрьского пейзажа, открывавшегося за окном, было для него испорчено. Когда поезд наконец остановился, он соскочил на платформу, горя решимостью ни в чем не уступать Коллинзу, но, однако, раздраженный и встревоженный до крайности. Пусть Коллинз делает, что хочет, думал он. Он ему покажет. И в эту самую минуту Бинс увидел, как тот соскочил на платформу. Коллинз сразу же заметил его, и лицо его вмиг стало мрачнее тучи. Он как бы весь ошетинился в злобном, слепом бешенстве и так свирепо впился глазами в Бинса, точно готов был его растерзать; в то же время он беспокойно оглядывался по сторонам, высматривая, не сошел ли с поезда еще кто-нибудь. «Враг!» — вот что выражал он всем своим видом. Убедившись, что никого нет, он подбежал к начальнику станции и, по видимому, спросил, когда должен прийти поезд с Запада. Бинс сразу же решил действовать самостоятельно и вместо этого справился у своего кондуктора, который заверил его, что экспресс, следующий на Восток, должен прийти минут через пять и здесь непременно остановится.

— Мы сейчас отойдем на запасный путь, — сказал он. — Через несколько минут вы услышите свисток экспресса.

— Он всегда здесь останавливается? — тревожно спросил Бинс.

— Всегда.

В это время Коллинз вернулся, отошел к концу платформы и стал вглядываться в даль. Пригородный поезд

убрали, и через несколько минут слышался свист экспресса. Вот когда начинается настоящая борьба, подумал Бинс. Где-то в одном из этих вагонов сидит поразительный грабитель, окруженный сыщиками, и его, Бинса, долг, несмотря на всю унижительность подобного положения, вскочить в поезд, первому прибежать на место, объяснить, кто он такой, втереться в милость конвоиров и арестанта и начать расспросы, подавляя Коллинза всеми средствами, хотя бы той уверенностью, с какой он возьмется за дело. Через несколько мгновений экспресс подкатил к платформе, и Бинс увидел, как его враг вскочил на подножку первого вагона и со свойственной ему наглостью и диким упорством, которые всегда так раздражали Бинса, бросился разыскивать преступника. Бинс уже готов был попытаться с другого конца поезда, но как раз в эту секунду на платформу возле него сошел представительный и добродушный на вид кондуктор.

— Лем Роллинс, грабитель, которого везут из Болд-Ноба, здесь? — спросил Бинс. — Я из «Звезды», меня послали его проинтервьюировать.

— Ошиблись, браток, — улыбнулся кондуктор. — Его здесь нет. Сыщики, видно, надули вас, репортеров. По-моему, он едет по линии «М. П.». Из Болд-Ноба его доставили в Вахабу и там посадили в экспресс. Знаете, что? — Он вынул большие серебряные часы и поглядел на них. — Вы еще можете захватить его, если поторопитесь. Это тут же, за полем. Видите маленькое желтое здание? Там и есть станция. Поезд уже должен прибыть, но иной раз он немного запаздывает. Однако же, если хотите поспеть, вам придется бежать. Не теряйте ни минуты.

Бинс весь задрожал. Только вообразите себе, что, несмотря на все усердие и напористость Коллинза, он может перехитрить его и догнать тот поезд, пока он обыскивает этот! Весь пыл молодости и азарт репортера проснулись в нем. Даже не поблагодарив доброго советчика, он, как заяц, пустился по тропинке, наискосок перерезавшей пустынное поле и, видимо, крепко утоптанной пешеходами. На бегу он раздумывал о том, не солгал ли ему добродушный кондуктор, чтобы сбить со следа, а также о том, не понял ли враг своей ошибки и не гонится ли за ним по пятам, — если допустить, что кондуктор сказал правду. Чтобы легче было бежать,

Бинс, не останавливаясь, скинул пальто, снял очки и даже бросил тросточку. Оглянувшись через плечо, он убедился, что Коллинз все еще, видимо, обыскивает тот поезд. И в это самое время Бинс, жадно всматриваясь в видневшуюся впереди станцию, заметил, что стоявшее под прямым углом крыло семафора вдруг поднялось, открывая путь приближающемуся составу. Но он заметил также и то, что с перекладины столба свесилась сумка для приема почты — верный знак, что, какой бы это поезд ни был и куда бы он ни следовал, — тут он не остановится. Бинс посмотрел назад, все еще сомневаясь, правильно ли он поступил, не обыскав того поезда. Что, если кондуктор намеренно одурачил его? Что, если Коллинз успел обо всем сговориться заранее? Что, если так? А вдруг громила действительно там, и в эту самую минуту Коллинз уже приступил к интервью, а он, Бинс, остался здесь, позади?! О, боже, какая незадача! И он не сможет дать никакого разумного объяснения, кроме того, что его перехитрили. Что будет с ним? Бинс замедлил шаг, и капли холодного пота выступили на его лице, но тут, оглянувшись, он увидел, что поезд тронулся, причем оттуда пулей вылетел Коллинз и помчался по этой самой дорожке. Ура! Грабителя, значит, там все-таки нет! Кондуктор сказал правду! Теперь Коллинз попытается попасть на этот поезд. Ему сказали, что бандит прибывает на нем. Бинс видел, как Коллинз во весь дух неся по тропинке, без шляпы, отчаянно размахивая руками. Но Бинс уже достиг станции — на добрых три минуты раньше своего соперника.

Как сумасшедший, вбежал он в зал ожидания, просунул искаженное, потное лицо в открытое окошко дежурного и крикнул толстому низенькому сердитому железнодорожнику:

- Когда прибудет экспресс на Восток?
- Сейчас, — угрюмо ответил дежурный.
- Он здесь останавливается?
- Нет, не останавливается.
- Можно его остановить?
- Нет, нельзя.
- Вы хотите сказать, что не имеете права остановить?
- Я хочу сказать, что не желаю останавливать.

Раздался резкий свист стремительно приближающегося экспресса. Сейчас Бинс охотно согласился бы ехать вместе с Коллинзом, лишь бы только попасть на этот поезд и взять интервью. Он должен взять интервью, Уоксби ждет этого от него. Только представить себе, какая будет сенсация, если он победит, но что же подумает Уоксби, если он потерпит неудачу?

— Пять долларов остановят его? — в отчаянии крикнул он, засовывая руку в карман.

— Нет.

— Десять?

— Может быть, — мрачно ответил дежурный и встал со стула.

— Остановите! — взмолился Бинс, протягивая кредитку.

Дежурный взял деньги, схватил лежавшую перед ним пачку желтых бланков, нацарапал что-то на одном из них и выбежал на платформу, высоко держа его в поднятой руке.

— Бегите вперед по путям! — крикнул он Бинсу. — Бегите за ним! Здесь он не остановится, не может остановиться. Он может замедлить ход только через триста метров. Бегите, я отправлю его, когда вы сядете.

Он отчаянно замахал желтым листком, а Бинс, не помня себя от волнения, во всю прыть пустился бежать впереди поезда. Теперь, если ему посчастливится, он попадет в этот поезд, а Коллинз останется в дураках, подумать только! Может быть, выйдет так, что поезд тронется прежде, чем Коллинз успеет вскочить. Вот бы хорошо! Тут он услышал грохот колес нагонявшего его экспресса. В мгновение ока состав поравнялся с Бинсом и пронесся мимо, рассыпая искры из-под визжащих колес. Правда, он, кажется, останавливается! Можно будет вскочить! О, счастье! А Коллинз, пожалуй, не поспеет! Как это было бы чудесно! Теперь поезд был далеко впереди, но уже почти совсем затормозил. Бинс бежал как сумасшедший. Он услышал последний пронзительный скрежет колес о тормозные колодки — и поезд замер на месте. Бинс, собрав последние силы, вскочил на площадку и, тяжело отдуваясь, оглянулся: его соперник бежал напрямик через поле и уже был не далее чем в сотне футов. Было ясно, что он попадет на поезд, если не сбавит ходу. Ведь состав не может так быстро набрать скорость, даже если Бинс заплатит за это.

И вместо того чтобы проникнуться решимостью во что бы то ни стало воспрепятствовать мистеру Коллинзу уехать, как это, несомненно, сделал бы мистер Коллинз — кулаками, ногами, если нужно, деньгами, — мистер Бинс колебался, не зная, что ему делать. На задней площадке вместе с ним стоял тормозной; из двери вагона вышел кондуктор.

— Отправляйте поезд! — крикнул Бинс кондуктору. — Отправляйте! Все в порядке! Скорей!

— А разве тот пассажир не собирается сесть? — удивленно спросил кондуктор.

— Нет, нет, нет! — воскликнул Бинс сердито и вместе умоляюще. — Не давайте ему сесть! Он не имеет никакого права. Я распорядился остановить поезд. Я из «Звезды». Я вам заплачу, если вы не дадите ему сесть! Мне нужен грабитель! Отправляйте!

Но не успел он договорить, как мистер Коллинз уже подбежал, пыхтя и обливаясь потом, и вскочил на подножку; на лице его было написано злорадство и торжество по поводу неудачи соперника.

— Думал, не попаду, а? — насмешливо фыркнул он, протискиваясь на площадку. — А в дураках-то сам остался.

Этот миг был бы поворотным в карьере мистера Бинса, если б он обладал достаточным мужеством, но он не обладал им. Он еще мог сделать то единственное, что обратило бы поражение в победу, — попросту столкнуть Коллинза с площадки и не дать ему влезть снова. Поезд уже трогался. Но, вместо того чтобы применить грубую силу, что, несомненно, сделал бы мистер Коллинз, он колебался и раздумывал, неспособный по слабости характера принять нужное решение, а тем временем Коллинз, нимало не смущаясь, без лишних разговоров ринулся в вагон на поиски грабителя. Ошеломленный внезапным крушением всех своих надежд, почти потеряв способность мыслить, мистер Бинс последовал за Коллинзом и в третьем от хвоста вагоне увидел бандита; в наручниках, под надзором шерифа и нескольких сыщиков, он лениво оглядывал пассажиров.

Бинс еще только усаживался, а Коллинз, фамильярно похлопывая грабителя по коленке и пожирая его зачаровывающим взглядом, рассчитанным на то, чтобы успокоить и обольстить жертву, уже говорил:

— Молодчага парень! Славную ты выкинул штуку! Газетчики из кожи вылезут, лишь бы дознаться, как ты это сделал. Моя газета «Новости» отведет тебе целую полосу. И чтоб фотография твоя была. Скажи по правде, неужели ты все это один сделал? Вот это, можно сказать, чѣсто сработано, верно, начальник? — Тут он обратил заискивающе-хитрый взгляд на шерифа и сыщиков. Минуту спустя он уже рассказал им, какой он близкий друг «Билли» Десмонда, главы сыскного отделения в О., и мистера такого-то, начальника полиции, а также разных других высших полицейских чинов.

«Ясно,— признался самому себе Бинс,— теперь я пропал, пропал, как этот грабитель. Замечательный случай выдвинуться упущен. Какое могло бы быть торжество, а что вышло!» Угрюмо сидел он рядом со своим врагом, прикидывая, с чего начать расспросы, а тот тем временем, самодовольно приосанившись, продолжал восхвалять преступника за его славный подвиг.

«Какой вздор он несет! — думал мистер Бинс.— Подумать только, что мне приходится соперничать с подобной скотиной! И вот люди, перед которыми Коллинз заискивает! Ему требуется целая полоса «Новостей»! Скажите пожалуйста! Хорошо, если хоть полстолбца напишет самостоятельно!»

Однако, к глубокому своему огорчению, он не мог не видеть, что мистер Коллинз сумел преловко втереться в доверие не только шерифа, здравенного простоватого малого, но и сыщиков, и даже самого грабителя. Последний был на редкость заурядный для такого поразительного злодеяния субъект — приземистый, широкоплечий, коротконогий, с плоским, невыразительным, даже глупым лицом, серо-голубыми глазами, темно-каштановыми волосами, большими узловатыми, грубыми руками и загорелой, морщинистой кожей. На нем была дешевая одежда, какую носят рабочие,— синяя блуза, темно-серые штаны, куртка темно-коричневого или бурого цвета и красный бумажный платок вместо галстука, а на голове небольшая круглая коричневая шляпа, надвинутая почти до бровей, на манер кепки. Выражение лица было спокойное и равнодушное, как у пойманной птицы; когда Бинс добрался наконец до места и сел против грабителя, тот как будто даже не заметил ни его, ни Коллинза, а если и заметил, то глаза его ничего при этом не выразили. Бинс впослед-

ствии не раз задавал себе вопрос, о чем думал тогда этот человек. Сам же Бинс был так взбешен присутствием Коллинза, что едва мог говорить.

По обычаю всех игроков, сыщиков и политиканов средней руки Коллинз усиленно выражал живейший интерес и восхищение, которых на самом деле не чувствовал: лицо его расплывалось в приветливой улыбке, а глаза по-ястребиному впивались в собеседника, проверяя, принимают ли его напускной восторг и дружелюбие за чистую монету или нет. Один только раз и удалось Бинсу хоть немного показать себя и произвести впечатление на сыщиков и преступника, а именно, когда он приступил к вопросам более тонкого порядка, касавшимся побудительных причин, по которым грабитель отважился на такое дело в одиночку. Но и тут Бинс видел, что его коллега ловит каждое слово и делает пространные заметки в блокноте.

К удивлению и досаде Бинса, и преступник и сыщики главным лицом считали все же не его, а Коллинза. На того они смотрели, как на некое светило, и, казалось, он и правда внушал им куда большее почтение, чем Бинс, хотя все важнейшие вопросы задавал он, а не Коллинз. В конце концов Бинс пришел в такую ярость, что уже ни о чем не мог думать; единственное, что могло бы утолить его гнев,— это наброситься на Коллинза и хорошенько его поколотить.

Тем не менее они общими силами понемногу выпытали все обстоятельства дела, и история вышла презанимательная. Оказалось, что не только за год, но даже за семь или восемь месяцев до ограбления Роллинс и не помышлял о том, чтоб напасть на поезд; он был всего-навсего не то тормозным на товарном составе, не то рабочим вагонного депо на одном из участков этой самой линии. Не так давно он даже продвинулся по службе, получив должность сцепщика и стрелочника на довольно крупной товарной станции. До службы на железной дороге он был конюхом платной конюшни в том самом городе, где его в конце концов задержали, а еще раньше — батраком на ферме где-то в тех же краях. Приблизительно за год до того, как он совершил грабеж, на этой дороге из-за наступления тяжелых времен было уволено много служащих, в том числе и Роллинс, и на десять процентов снижена плата остальным. Естественно, среди железнодорожников росло недовольство,

дело доходило до открытых возмущений, забастовок и прочего. Кроме того, последовали ограбления поездов, виновниками которых, как установило следствие, оказались уволенные или недовольные платой железнодорожные служащие. Способы успешного ограбления поездов так обстоятельно излагались в большинстве газет, что любому громиле при желании достаточно было лишь следовать их указаниям. Когда Роллинс работал сцепщиком, он не раз слышал о том, что железнодорожные компании часто перевозят крупные суммы денег в сейфах, которыми оборудованы почтовые вагоны, о том, как эти сейфы охраняются, и так далее.

Линия «М. П.», где он в эту пору работал, регулярно использовалась, как он тогда же узнал, для перевозки денег и на Восток и на Запад. И хотя вследствие участвовавших за последнее время на Западе ограблений поездов так называемые «нарочные», которым поручалась охрана почтового вагона и сейфа, всегда были хорошо вооружены, эти нападения все же нередко увенчивались полным успехом. И действительно, безнаказанные убийства кочегаров, машинистов, кондукторов и даже пассажиров и то обстоятельство, что значительная часть украденных за последнее время сумм так и не была обнаружена, не только поощряли грабежи, но и внушали железнодорожным служащим такой панический страх, что даже из тщательно подобранной охраны только немногие отваживались вступать в бой с грабителями.

И тем не менее психологическая подоплека этого удивительного, совершенного в одиночку нападения, которая более всего способствовала его успеху, заключалась не только в том, что Роллинс был бедствующий уволенный железнодорожник, который не мог найти другую работу; и не в том, что он будто бы был на редкость холоден, жесток и хитер, что отнюдь не соответствовало истине, а в том, что он действительно не сознавал, на какое рискованное дело идет. Он был попросту туповат, до него мало что доходило. Бинсу именно это нужно было выведать, и Коллинз прилежно записывал вопросы и ответы. Как выяснилось, грабитель никогда и не понимал, какому риску подвергается,— ибо отличался не большей восприимчивостью, чем ракообразные,— а твердо рассчитывал на успех. Оставшись без работы, он вернулся в родной город, где когда-то служил коню-

хом; там он влюбился в молоденькую девушку и, быть может, впервые понял, что он очень беден и ему не по карману делать ей такие подарки, какие ему бы хотелось. Тут-то он и задумался над тем, как же раздобыть денег. Но и это ни к чему бы не привело, если бы другой безработный железнодорожник не предложил ему вместе с третьим сообщником ограбить поезд. Тогда Роллинс отверг их план главным образом потому, что не желал ни с кем связываться в таком деле. Однако чем больше он нуждался в деньгах, тем чаще подумывал об ограблении поезда, что дало бы ему возможность поправить свои дела; но только, как он рассудил, сделать это он должен один.

— Почему один? — спрашивал Бинс.

Это был вопрос, который занимал всех: почему один, когда он знал, что всё будет против него?

Но этого он толком объяснить не мог. Ему, как он выразился, «просто подумалось», что он сумеет до того всех запугать, что никто ему и мешать не станет! Задерживали же другие бандиты большие составы (в одном случае, о котором он читал, их было всего трое). Почему же не сделать это в одиночку? Как ему говорили другие грабители, револьверные выстрелы, раздающиеся в поезде, мигом наводят ужас и на пассажиров и на поездную прислугу, а дело это так или иначе означает либо жизнь, либо смерть, и для него будет гораздо лучше — так он рассудил, — если он все сделает сам. Сообщники, сказал он, могут струсить и расколоться, или их девушки донесут на них. Это он знал. Бинс смотрел на него с огромным интересом, чуть ли не восхищенный его полнейшим бесстрашием и где-то глубоко запртанной под нескладной внешностью любовью к «девчонке» или «зазнобе».

Но как мог он рассчитывать, что справится с машинистом, кочегаром, носильщиком, нарочным, почтальонами, проводником, тормозным и пассажирами, не говоря уж о губернаторе и его свите? Как? Кстати, знал ли он тогда, что губернатор со свитой находится в поезде? Нет, он узнал об этом только впоследствии, что же касается до прочих, то он думал, что возьмет их на испуг. При этих словах глаза Коллинза загорелись, лицо просияло. Он, видимо, лучше Бинса понимал грабителя и даже сочувствовал примитивной грубости его плана.

Роллинс объяснил также, по каким соображениям он решил ограбить именно этот поезд. Когда он еще служил подручным сцепщика, ему рассказали, что специальный экспресс, идущий на Запад и в полночь проходящий мимо Долсвилла по четвергам и пятницам, перевозит более крупные суммы денег, нежели в другие дни. Это объяснялось тем, что к концу недели производились расчеты между Восточными и Западными банками, чего Роллинс, однако, не знал. Выбрав поезд, но еще не выбрав дня, он с целью избежать всяких случайных улик начал постепенно в разных отдаленных городах и в разное время приобретать нужные вещи: во-первых, небольшой чемоданчик, с которого он тщательно соскоблил название фирмы; затем шесть-семь трубок динамита с бикфордовым шнуром, какие употребляют фермеры для выкорчевывания пней; два шестизарядных револьвера и запас патронов; веревку и кусок материи, чтобы увязать в нее деньги, если потребуется. Все это он сложил в чемодан, который всегда держал при себе, и затем отправился в Долсвилл, небольшой поселок, ближайший к намеченному им месту нападения; обследовав его и учтя все преимущества, он до тонкости разработал окончательный план.

На окраине той деревушки, которую он выбрал из-за ее близости к лесу и заболоченной низине, стояла, рассказывал он Бинсу и Коллинзу, большая водокачка, у которой этот экспресс, как и почти все другие поезда, останавливался, чтобы набрать воды. Дальше, миль через пять, начинался лес, где он и решил остановить поезд. Экспресс, как он узнал, проходил здесь ровно в час ночи. До ближайшего селения по ту сторону леса, такой же деревушки, как и Долсвилл, было тоже миль пять.

В день ограбления, между восемью и девятью вечера, он отнес чемодан на то место против леса, где предполагал остановить поезд, и положил его подле рельсов; чемодан был почти пустой, потому что револьверы и трубки с динамитом он спрятал на себе. Потом он прошел обратно пять миль до водокачки, притаился там и стал ждать поезда. Поезд остановился, и за минуту до того, как ему предстояло тронуться снова, Роллинс проскользнул между тендером и багажным вагоном, который оказался без дверей с обоих концов. Поезд двинулся дальше, но когда он дошел до места, где, по

расчету Роллинса, должен был лежать чемодан, Роллинс при свете паровозных фар чемодана не увидел. Боясь упустить случай и уверенный, что чемодан где-то поблизости, он перебрался через тендер и, наведя револьвер на машиниста и кочегара, заставил их остановить поезд, слезть и отцепить паровоз. Потом с револьвером в руке сн погнал их впереди себя до дверей почтового вагона, где передал одному из них динамитную трубку и принудил его взорвать дверь, потому что нарочный, охранявший сейф, хотя и не стрелял, опасаясь убить машиниста или кочегара, но упорно отказывался ее открыть. Подчиняясь приказу, машинист и кочегар оба вошли в вагон, взорвали сейф с деньгами и выбросили из вагона пачки банкнот и коробки с монетами; Роллинс же, боясь, как бы ему не помешал кто-нибудь из поездной прислуги или пассажиров, для острастки дал несколько выстрелов вдоль поезда, громким голосом окликая воображаемых сообщников. Эти-то выстрелы и крики, вероятно, и заставили губернатора и чиновников забиться на полки и насмерть перепугали машиниста, кочегара и нарочного, поверивших, что грабителей целая шайка, но Роллинс, как несомненный глава ее, по каким-то соображениям желает действовать один.

«Никого без нужды не убивайте, ребята!» — кричал Роллинс.

Или же:

«Правильно, Фрэнк, стой там да гляди в оба. С этими я сам справлюсь».

Потом он дал еще несколько выстрелов, и таким образом все были введены в заблуждение.

Как только дверь вагона и сейф были взорваны, а деньги сброшены, он заставил машиниста и кочегара сойти, прицепить паровоз и уехать. Лишь после того как поезд скрылся из глаз, Роллинс стал подбирать пачки денег, но так как чемодана не было и посветить было нечем, ему пришлось действовать на ощупь, а вместо мешка он использовал свой пиджак. Взвалив его на плечи, он кое-как дотащился до леса, спрятал награбленное там в грязи под камнями и только после этого подумал о бегстве.

Но вышло так, что два мелких промаха в конечном счете лишили его всех плодов успеха. Дело в том, что он не только не сумел найти чемодан, но забыл, что в этом чемодане лежал меченый носовой платок его воз-

любленной. Он, правда, вернулся на место ограбления в поисках чемодана, хотя и не вспомнил тогда про платок; но, боясь как бы его не схватили, если он слишком долго замешкается здесь, Роллинс скоро ушел, так и не найдя ничего. Позднее прибывшие на место сыщики и окрестные жители нашли чемодан и в нем меченый платок и таким образом попали на след преступника. Следственные власти, естественно, предположили, что ввиду участвовавших увольнений в грабеже могут быть замешаны безработные железнодорожники. За каждым из них была установлена слежка, и в конце концов обнаружилось, что бывший подручный сцепщика по фамилии Роллинс недавно возвратился в свой родной город, что у него есть возлюбленная, на которой он собирается жениться. Выяснилось также, что он располагает подозрительно большими средствами. Далее открылось, что ее инициалы соответствуют метке, обнаруженной на носовом платке. Роллинс был тотчас арестован, в его комнате произвели обыск, и почти все деньги нашлись. Пойманный с поличным сознался, и вот теперь его во весь дух мчали в О., чтобы посадить в тюрьму и вынести приговор, а мистер Бинс и мистер Коллинз, словно коршуны, кружили над ним, торопясь на его промахе сколотить себе литературный капитал.

Теперь, когда материал был собран, мистер Бинс утешал себя тем, что хотя ему и не удалось устранить со своего пути Коллинза, зато, когда дело дойдет до сочинения заметки, он, уж конечно, сумеет перещеголять своего соперника и опишет этот случай более связно и ярко. Однако и в этом он не был уверен. Во время интервью Коллинз непрерывно писал, занося в блокнот дословно все вопросы Бинса, и с помощью одного или нескольких лучших сотрудников «Новостей» он, вероятно, сумеет обработать материал. Что же теперь остается?

Они уже приближались к О., но тут неожиданно-негаданно возникло новое обстоятельство, прямо угрожавшее лишить Бинса последнего преимущества. Речь шла о портрете преступника. Необходимо было сфотографировать его — тут же в поезде или в городе, но ни Бинс, ни Уоксби, ни даже, по-видимому, редактор отдела происшествий «Новостей» не подумали послать вместе с репортером фотографа. Необходимость запасться портретом становилась все более очевидной, и Коллинз,

обладавший даром извлекать наибольший эффект из, казалось бы, незначительных подробностей, решил действовать: заметив сперва, что фотографа, видимо, придется послать в полицейское управление, он затем обратился к Бинсу с таким предложением:

— Вот что, дорогой, не завезти ли этого малого, как приедем, в редакцию «Новостей»? Ваши приятели Хилл и Уивер живо его щелкнут. (Коллинз знал, что Бинс дружит со своими бывшими сослуживцами из отдела иллюстраций.) Тогда каждый из нас сразу получит по снимку. Конечно, можно бы отвезти его и в «Звезду», только ведь «Новости» много ближе (что было верно), и у нас, знаете, можно снимать при магнелиевой вспышке (что тоже было верно: «Звезда» в этом отношении была плохо оборудована).

Тут он прибавил несколько заискивающих слов о том, что само собой все зависит от желания арестанта и сопровождающих его полицейских.

— Нет, нет, нет! — сердито и решительно ответил Бинс. — Так не пойдет. Вам хочется раньше залучить его в редакцию «Новостей»? Ни в коем случае. Никогда я не соглашусь. Хилл и Уивер мои друзья, но этому не бывать. Если угодно, повезем его в «Звезду», тогда другое дело. На это я согласен. Наши фотографы справятся ничуть не хуже ваших и один снимок вам, конечно, дадут.

На мгновение лицо Коллинза вытянулось, но он тут же возобновил наступление. По его тону можно было подумать, что он и в самом деле хочет оказать Бинсу любезность.

— Но почему же не в «Новости»? — дружески настаивал он. — Ведь эти фотографы ваши друзья. Во вред вам они ничего не сделают. Подумайте, насколько это ближе, мы выгадаем уйму времени. Ведь нам нужно торопиться, верно? Сейчас почти половина седьмого, а то и восемь. Вам-то это безразлично, — вы пишете быстрее, но подумайте обо мне. Я бы охотно туда поехал, но какая вам разница? Кроме того, вы же знаете, что оборудование в «Новостях» лучше, Хилл или Уивер прекрасно все сделают и один снимок дадут вам. Ну как, согласны?

Бинс сразу понял, чего именно хотелось Коллинзу. Ему было совершенно ясно, что если Коллинзу удастся залучить этого знаменитого грабителя сначала в редак-

цию «Новостей», то отпадет необходимость полностью пересказывать все, что он слышал и видел в дороге. Ибо окажись преступник в редакции, остальные сотрудники сразу возьмут его в оборот и с помощью записей Коллинза состряпают такую заметку, что и самому Бинсу лучше не написать. А главное, это был бы настоящий шедевр репортажа — живьем доставить материал в редакцию!

— Нет, не согласен! — сердито ответил Бинс. — И я этого не допущу. Хилл и Уивер — все это прекрасно. Они, конечно, дадут мне снимок, если газета им позволит, но газета, разумеется, не позволит, и, кроме того, вы этого добиваетесь совсем по другой причине. Я знаю, что вам нужно. Вам нужно право заявить утром, что преступник был сначала доставлен в «Новости». Знаю я вас!

Тут уж Коллинз, казалось, притих и как будто даже отступился от своего плана. Но немного погодя он снова заговорил с Бинсом, и, по всей видимости, в самом примирительном духе; только теперь он так и сверлил его взглядом, чего раньше никогда не делал.

— Ну, ну, — повторял он добродушно, глядя Бинсу прямо в глаза. — Откуда у вас такая мелочность? Ведь вы и так уж самые пенки-то сняли. И фотографию получите такую же, как и мы. Если вы не согласны, нам придется ехать в вашу редакцию или посылать человека в тюрьму. Подумайте, сколько уйдет времени. Кому от этого польза? И какая разница, чей будет снимок? Ведь у вас вечером хорошего снимка все равно не сделать, вы это знаете.

Говоря так, он пристально смотрел Бинсу в глаза, и тот вдруг почувствовал, как на него наплывает какая-то странная волна теплоты, покоя, расслабленности или отупения. Что же, в сущности, дурного в этом предложении, спрашивал он себя, и в то же время внутренний голос говорил ему, что оно очень дурно и что он совершает большую ошибку. В первый раз в жизни, и особенно в таком трудном положении, он испытывал какое-то необычайное чувство покоя и умиротворения, словно его окутал мягкий, убаюкивающий туман. В конце концов план Коллинза вовсе не так плох, подумал он. Что тут дурного? Хилл и Уивер его друзья. Они сделают хороший снимок и дадут его копию. Все, что говорит Коллинз, как будто бы справедливо, только,

только... Впервые за все знакомство с ним и вопреки той лютой ненависти, которую он издавна, а в особенности сегодня, питал к Коллинзу, Бинс вдруг с удивлением заметил, что начинает относиться к своему сопернику более терпимо и даже чувствует, что тот, пожалуй, вовсе не так плох. Но странное дело, он все же не верил ни единому его слову, и тем не менее...

— Конечно, едем в «Новости»,— вдруг, словно сквозь сон, услышал он собственный голос; казалось, будто говорит человек, охваченный сладкой истомой.— Выйдет очень недурно. Туда гораздо ближе. Что тут плохого? Хилл и Уивер сделают хороший снимок величиною в семь или восемь дюймов, и я его заберу.

Но в это же самое время он думал: «Право, я не должен этого делать. Ни в коем случае! Он припишет себе всю честь появления преступника в редакции «Новостей». Он наглый обманщик, и я его ненавижу. Я делаю непоправимую ошибку. В «Звезду» или никуда — вот что я должен сказать. Пусть едет в «Звезду».

Поезд подходил к О., впереди уже был виден вокзал. К этому времени Коллинз каким-то образом успел убедить не только полицейских, но и самого преступника. Бинс видел, что у всей этой деревенщины даже глаза разгорелись: так их разбирала охота покрасоваться и показать себя; было ясно, что они прониклись глубоким уважением к «Новостям», газете более крупной, чем «Звезда». «Звезда», может быть, и хорошая газета, но, конечно, именно «Новости» — единственно подходящее место для такого зрелища. Какая жалость, думал Бинс, что он вообще ушел из «Новостей»!

Собираясь вместе с другими выйти из поезда, он сказал вялым, каким-то неживым голосом:

— Нет, я на это не согласен. Желаете везти его в «Звезду» — пожалуйста, или же везите в полицейское управление. А везти в «Новости» я не позволю. Слышите?

Но когда они вышли на платформу и Коллинз самым дружеским образом подхватил его под руку, Бинс почувствовал к нему такое теплое расположение, о каком раньше и помыслить бы не мог.

— Сейчас мы вместе заедем в «Новости»,— твердил между тем Коллинз,— а потом я отправлюсь с вами в «Звезду». Пусть только Хилл и Уивер сделают снимок, и мы прямиком двинем в вашу редакцию, понятно?

И хотя мистеру Бинсу ничего не было понятно, но он поехал. Ведь ничего ужасного еще, кажется, не произошло. Раз Коллинз при нем, он, пожалуй, может вообще помешать ему написать что-либо. Но пока Бинс предавался мечтам, Коллинз уже подозвал такси, все шестеро втиснулись туда и как вихрь понеслись в «Новости»; и тут-то, как только они подъехали к редакции и Коллинз, сыщики и бандит торопливо пересекли тротуар, направляясь к подъезду, который когда-то был так ему привычен, Бинс внезапно очнулся. Оттого ли, что он увидел подъезд, или, может быть, Коллинз на миг отвлекся? Как бы то ни было, но Бинс очнулся и сделал отчаянную попытку спасти положение.

— Стойте! — крикнул он. — Стойте, говорят вам! Я не хочу! Я не согласен!

Но было поздно. В одно мгновение преступник, полицейские, Коллинз и вслед за ними он сам поднялись по трем низким ступенькам главного подъезда и очутились в холле; поняв, что все пропало, Бинс остановился; остальные вошли в лифт, а он остался размышлять о необъяснимости происшествия.

Что это? Как удалось этой подлой твари проделать над ним такую штуку? Ей-богу, Коллинз его загипнотизировал или что-то в этом роде! Чего же стоит его просвещенный ум, его талант по сравнению с грубой, неистовой жаждой Коллинза одержать победу? Просто невероятно. Коллинз одолел его, и одолел на том поприсе, на котором он считал себя неизмеримо выше.

«Боже правый! — вдруг мысленно воскликнул Бинс. — Он побил меня моей же картой, вот что он сделал! Он увез преступника, который почти уже был в моих руках, увез в редакцию нашего самого опасного соперника, и утром все будет в их газете! И я допустил это! А ведь я опередил его. Почему я не столкнул его с площадки? Почему не подкупил кондуктора, чтоб он мне помог? Ведь можно было его столкнуть. Я просто испугался, вот что. И завтра в «Новостях» будет целая полоса о том, как грабителя в первую очередь привезли в «Новости» и там сфотографировали, и в доказательство у них будет снимок. О боже, что мне делать? Как выпутаться из этой истории?»

Измученный, удрученный, он поплелся в редакцию «Звезды», испуская стоны и скрежеща зубами от злости. Как объявить об этом Уоксби? Как объяснить свой

промах? Сказать всю правду — значит впасть в немилость, может быть, даже остаться без работы. Хотя ему и очень хотелось, но он не мог рассказать, как чуть было не помешал Коллинзу вообще получить интервью. Уоксби только обозлила бы его слабость в такой решительный миг, и он окончательно разочаровался бы в своем сотруднике.

Придя в редакцию, Бинс сочинил другую версию, которая соответствовала истине лишь наполовину. Он имел право сказать и сказал, что полиция снюхалась с Коллинзом и действовала в его пользу, против «Звезды»; что, несмотря на все его старания, деревенские полицейские предпочли следовать за Коллинзом, а не за ним, что более громкая слава «Новостей» соблазнила их и, несмотря на его решительный и негодующий протест, они все-таки в конце концов отправились туда, поскольку «Новости» находятся на пути в тюрьму, а «Звезда» нет.

Теперь настал черед Уоксби прийти в бешенство, что он и сделал, но гневался он не на Бинса, а на этих подлых собак-полицейских, которые вечно покровительствуют «Новостям» в ущерб «Звезде». Они всегда так делали, как ему хорошо известно: ведь он когда-то сам был редактором отдела происшествий в «Новостях». Только тогда это было ему на руку, а теперь...

— Я им покажу! — вопил он. — Они у меня попотеют! Никаких им больше поблажек от меня не будет, черт бы их драл!

Спешно послав в тюрьму фотографа, он получил несколько снимков, и сами по себе они были превосходны, но что толку? Тот факт, что «Новостям» выпала честь сделать снимок с этой знаменитости в своих собственных стенах, так сказать, по-семейному, трудно было переварить. И теперь Уоксби, конечно, горько раскаивался, что не послал с Бинсом фотографа.

Но для Бинса ужасно было то, что Коллинз его одолел, и это при его гордой уверенности в своем превосходстве! И как он ни старался, как ни корпел над работой, с горя и досады пустив в ход все свое мастерство, — все же на другое утро на первой полосе «Новостей» появилась большая фотография бандита, восседавшего в святая святых редакции и окруженного тесным кольцом репортеров и редакторов, причем на заднем плане виднелась даже часть туловища самого издателя,

хотя и без головы. А над снимком самым крупным шрифтом был заголовок:

БАНДИТ, ОГРАБИВШИЙ ПОЕЗД,
ПОСЕТИЛ РЕДАКЦИЮ «НОВОСТЕЙ»,
ДАБЫ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ СВОЕ
ПОЧТЕНИЕ

Внизу курсивом был напечатан подробный отчет о том, как охотно он посетил «Новости» ввиду огромной популярности, а также коммерческих, моральных и прочих преимуществ этой газеты.

Потерпел ли Бинс поражение?

Еще какое!

Чувствовал ли он это?

Он испытывал муки ада, и не день и не два, но недели и месяцы,— воистину адские муки. При одной мысли о Коллинзе он вскакивал с места, готовый укошнить его.

— Только подумать,— снова и снова говорил он себе,— что этакому подлому псу, Коллинзу, который мне и в подметки не годится, удалось сыграть со мной такую шутку! Черт возьми, он меня загипнотизировал! Именно, именно! Он на это способен! Возможно, он еще раз попробует! Хотел бы я знать, понимает ли он, что сделал? Неужто я и правда меньшего стою, чем он? И таких писак, как я, и в самом деле что песку на морском дне?

Грустные мысли.

Несколько недель спустя, встретив своего давнего врага на улице, Бинс, к величайшей своей досаде, увидел в его глазах торжество победителя и глубокое презрение. Коллинз теперь так обнаглел, он так процветал в роли газетчика, что у него хватило дерзости, метнув на Бинса злобный взгляд, фыркнуть и сказать:

— Уж эти надутые репортеришки! Эти бесценные борзописцы! Хотел бы я знать, кто кого переплюнул в случае с тем грабителем, а?

И Бинс ответил...

Впрочем, не важно, что именно он ответил. Читать такое не подобает, да и ни один издатель все равно бы этого не напечатал.

ЗАПАДНЯ

Был душный июльский полдень. Поразмыслив несколько месяцев над предостережением, которое сделал ему приятель и политический единомышленник и которое за это время никак не подтвердилось, Грегори решился поехать в приморский отель; он мог позволить себе отдохнуть там, так как уже достиг известного благополучия. Отель был роскошный, «Тритон», всего в часе езды от его конторы, расположенной у моря, среди сосен и песков Айленда. Несмотря на то, что против Грегори, видимо, готовился заговор, жена его, «девочка», как обычно он называл ее, собиралась из-за болезни ребенка поехать в горы к своей матери, чтобы посоветоваться с ней и отдохнуть.

Приближалась осенняя предвыборная кампания, и Грегори нельзя было совсем оставить город. И в будние дни и в воскресенье до поздней ночи он занимался поисками и обоснованием фактов, вскрывавших преступность городского управления,— их надлежало пустить в ход в недалеком будущем. Мэра и его клику надо было свалить любой ценой. Грегори знал, что, если это произойдет, он не останется внакладе. В то же время он искренне верил в необходимость того, что делал. Городом управляли преступники. Разыскать упрятанные в воду концы и выставить их на обозрение оскорбленным и возмущенным гражданам — что может быть важнее и благороднее!

Но и враг не был беспомощен. Джентльмен, подвизавшийся в издательском деле,— Грегори о нем даже никогда и не слышал,— позвонил ему и предложил работу на Среднем Западе; она давала бы шесть или даже семь тысяч годовых и держала вдали от родного города по крайней мере четыре-пять лет. Поскольку он не оценил этого предложения, часть его почты начала пропадать, и ему стало казаться, что какие-то странные субъекты проявляют особый интерес к каждому его шагу. Наконец один из местных политических деятелей, состоявший в той же партии, что и Грегори, зашел к нему в контору.

— Видите ли, Грегори, дело вот в чем,— сказал он после краткого вступления.— У вас в руках нить, и ведет она к махинациям с земельными участками в Южном Пеньянке. В них замешан мэр, и он и его партнер

Тилни твердо решили, что никто ничего не должен об этом знать, по крайней мере пока не кончатся выборы. Они готовы на все, так что глядите в оба. Вы ведь любите свою жену? Мой совет — не отпускайте от себя ни ее, ни ребенка. Не позволяйте разлучить вас даже на секунду, где бы вы ни были. Вы же знаете, что случилось с Крозерсом несколько лет тому назад? Он уже готов был разоблачить махинацию в Йеллоу-Пойнт-Ферри и, разумеется, рта не успел раскрыть, как был арестован по старому обвинению в том, что он покинул семью; одновременно извлекли на свет давний долг, все его имущество конфисковали, а жену заставили порвать с ним. Не давайте им повода поймать вас тем же способом. Если у вас есть долги, скажите нам, и мы посмотрим, что тут можно сделать. А если вы увлекаетесь какой-нибудь другой женщиной, порвите с ней, отошлите ее подальше, отделайтесь от нее.

Грегори посмотрел на собеседника с сердитой и в то же время сострадательной улыбкой.

— Никакой другой женщины у меня нет,— просто сказал он.

Надо же вообразить, что он может быть неверен «девочке» и малышу — голубоглазому, с розовыми ножками.

— Не подумайте, что я хочу совать нос в ваши дела,— продолжал политический деятель.— Я просто разъясняю положение. Если вам понадобятся совет или помощь, обратитесь ко мне. Но что бы вы ни делали — глядите в оба.— С этими словами он надел свой черный блестящий цилиндр и удалился.

Грегори стоял посреди комнаты и внимательно разглядывал пол. Учитывая то, что он уже знал, он мог легко представить: мэр поступит именно так, как сказал его друг. Что же касается приятеля мэра, хищного спекулянта недвижимостью, то, судя по тому, что шепотом рассказывали о нем, было ясно — нет такой подлой хитрости и жестокости, которые он погнушался бы сделать. Один политический деятель, характеризуя его, однажды сказал, что он не остановится перед убийством, но на месте преступления его никто не захватит, и, без сомнения, это было похоже на правду. Он разбогател и обладал теперь большей властью, чем когда-либо, гораздо большей, чем мэр.

С тех пор как Грегори вместе с женой прибыл в приморский отель, произошло несколько событий, заставивших его опасаться неприятностей, хотя пока ничто не подтверждало его подозрений. В отеле появилась медоточивая, разодетая, вся в драгоценностях, игривая сорокалетняя вдовушка, — она называла себя деловой женщиной, говорила, что заправляет весьма доходным театральным агентством в городе, и потому, как обычно в таких случаях выражался один из друзей Грегори, «купалась в деньгах». Она одевалась в шелка коричневых и винных тонов, у нее были коричневые домашние туфли и коричневые чулки и подозрительно блестящая каштанового цвета копна волос. Ее машина — она имела собственную машину — была лучшей марки, а ее умение играть в вист и готовность рисковать восхищали всех. По выражению прислуги отеля и завсегдатаев веранды «Тритона», она была веселой и щедрой мотовкой. Миссис Скелтон приехала, когда миссис Грегори еще жила в «Тритоне», уютно устроилась в двух комнатах с ванной, выходящих окнами на море, и быстро сдружилась с хозяином отеля и с двумя завсегдатаями, по виду маклерами и торговцами недвижимостью, которые интересовались больше всего гольфом, теннисом и ресторацией. Вдовушка была обходительна, энергична, весела, и Грегори и его жена невольно почувствовали к ней некоторую симпатию. Но перед отъездом жена Грегори иногда спрашивала себя, не входит ли миссис Скелтон в число заговорщиков. Ее дружелюбие можно было толковать по-разному, но все же оно казалось не настолько назойливым, чтобы вызвать подозрение. И тем не менее, возможно, она выжидает, когда Грегори останется один.

— Будь осторожен, дорогой, — предостерегала его жена. — Если у тебя возникнут серьезные подозрения, немедленно уезжай отсюда куда-нибудь в другое место. Тогда по крайней мере им придется сменить партнеров для игры.

И она уехала, твердо веря, что муж сумеет уладить это неприятное дело.

Таким образом, сперва даже против своего желания, Грегори очутился в одиночестве. Он стал размышлять, как ему поступить — уехать или выждать, пока «прояснится погода», как он выражался. Собственно, чего ради он должен оставить комфортабельный, ближайший

к городу приморский отель, где ему так удобно? Здесь он постоянно, в особенности по субботам и воскресеньям, встречается большинство своих политических друзей. Так близко от города и так много преимуществ: прекрасная площадка для гольфа, несколько теннисных кортов, стол и жилье, на которые никак нельзя пожаловаться, и бодрящий, восхитительный вид на море, открывающийся сразу за широкой лужайкой. Притом ежедневно большую часть рабочего дня ему совершенно необходимо проводить в городе. Этого требовало необычное и не терпящее отлагательства расследование, которым он был занят; в то же время он испытывал потребность в тихом уголке, где можно было бы передохнуть и за ночь набраться сил.

«Здесь хорошо,— сказал он себе наконец,— и здесь я останусь. У меня нет машины, а где еще я найду такое удобное место? К тому же, если они решили меня преследовать, они будут преследовать меня повсюду».

Итак, он продолжал ездить из отеля в город и обратно, сосредоточенно размышляя о том, что может случиться. Когда у него возникли некоторые сомнения, он решил навестить Фрэнка Блаунта и переговорить с ним. Блаунт долгое время был журналистом, потом стал адвокатом и, наконец, маклером. Его как будто не слишком осаждали клиенты, и все же он явно преуспевал. Старый холостяк, он был завсегдатаем трех клубов, нескольких отелей и десятка загородных вилл, не говоря уже о том, что у него был превосходный автомобиль. Как раз теперь он был необычайно занят делами и часто посещал побережье. Он любил гольф, теннис и, между прочим, Грегори, которому искренне желал преуспевания, хотя никак не мог направить его на верный путь. Приехав однажды утром в город, Грегори зашел в контору Блаунта и там изложил ему все как есть.

— Таково положение,— заключил он, созерцая розовые щеки и лысеющую голову друга.— И мне хотелось бы знать, как ты поступил бы на моем месте.

Блаунт задумчиво смотрел поверх высоких зданий города на виднеющееся за ними голубое небо и постукивал пальцами по стеклу, покрывавшему стол.

— Что ж,— ответил он спустя некоторое время, все так же задумчиво поскребывая подбородок,— на твоем месте я бы не сдавал позиций. А если тут замешана женщина, да еще хорошенькая, ты можешь немного раз-

влечься, не рискуя попасть в беду. Я смотрю на это как на своего рода летний спорт. Разумеется, надо быть настороже. На твоём месте я получил бы разрешение носить револьвер. Они узнают, что ты вооружен, если действительно следят за тобой, и это не придаст им бодрости. А затем тебе необходимо ежедневно записывать каждый свой шаг — где ты был и что делал — и заверять записи у нотариуса. Если они узнают об этом, то опять же не обрадуются и, пожалуй, им придется придумать что-нибудь пооригинальнее.

Кроме того,— продолжал он,— по вечерам и по воскресеньям я не очень занят, так что, если хочешь, почти всегда могу быть у тебя под рукой на случай беды. Если мы будем вместе, им вряд ли удастся что-нибудь подстроить так, чтобы один из нас не узнал об этом, и к тому же у тебя будет свидетель.— Блаунт подумал также, не может ли упомянутая в разговоре дама представлять интерес и для него самого.— Я живу в Сансет-Пойнте, по соседству с тобой, и, если хочешь, буду приезжать каждый вечер и любоваться твоими успехами. Если же какой-нибудь трюк им удастся, я хочу посмотреть, как это будет сделано.

И он весело и ободряюще улыбнулся.

— В том-то все и дело,— в раздумье произнес Грегори,— я вовсе не хочу, чтобы их трюк удался. Я не могу себе этого позволить. Если теперь со мной что-нибудь случится, то в политическом отношении мне уже никогда не встать на ноги, а у меня жена, ребенок, и мне осточертела газетная пачкотня.

И он уставился в окно.

— А, брось ты об этом тревожиться,— успокоительно сказал Блаунт.— Будь только начеку и, если тебе придется позже обычного задержаться в городе, дай мне знать,— я подъеду и захвачу тебя с собой. Если же мне это не удастся, переночуй в городе. Остановись в каком-нибудь большом отеле. Там ты будешь в полной безопасности.

Несколько дней подряд Грегори, чтобы не быть для приятеля обузой, возвращался в отель рано. Он достал разрешение, и теперь задний карман его брюк оттягивало громоздкое оружие, которое он терпеть не мог, но тем не менее держал по ночам под подушкой. Неуверенность в такой степени действовала на его воображение, что в поступках чуть ли не каждого человека он стал

усматривать подозрительный умысел. Каждый новый посетитель отеля вызывал в нем беспокойство. Он был убежден, что за ним следят какие-то люди, связанные с миссис Скелтон, хотя не мог доказать этого даже самому себе.

«Глупости,— в конце концов решил он.— Я веду себя, как пятилетний ребенок в темноте. Кому я нужен?» Он писал жене шуточные письма и старался обрести прежнюю беззаботность.

Однако это было не так легко: вскоре произошло нечто такое, что сильно его встревожило. Во всяком случае, он сам взвинтил себя, ибо характерная особенность подобных происшествий состоит в том, что их можно толковать и так и этак. Однажды около девяти вечера, несмотря на совет Блаунта, он решил вернуться в отель «Тритон», не прибегая к помощи друга.

«Стоит ли? — спрашивал он себя.— Блаунт еще полагает, что я трус, каких мало; в конце концов до сих пор ведь ничего не случилось, и я сомневаюсь, что они зайдут так далеко». Он утешал себя мыслью, что, может быть, человечество не так плохо, как он думает.

И однако, едва он сошел с поезда и увидел за лугами, на востоке, мерцающие в отдалении огни «Тритона», как усомнился в разумности своего поступка. Станция «Тритон» бывала безлюдной почти все время, за исключением утра и семи вечера, а теперь здесь вообще не было ни души. Только он и сошел с поезда. Почти все ездили в отель и обратно на своих машинах по шоссе. «И чего ради я не послушался Блаунта,— спрашивал себя Грегори, оглядывая лежащую вокруг равнину,— почему не обратился к нему за содействием или не остался в городе?» Взяв таксомотор, он в конце концов тоже едва ли спас бы положение,— Блаунт это подчеркивал,— возможно, только дал бы притаившемуся врагу удобный случай для нападения. «Нет, следовало остаться в городе или поехать с Блаунтом в его машине»,— говоря себе это, Грегори зашагал по пустынной и короткой дороге, которая вела к отелю и была освещена лишь несколькими небольшими фонарями, висевшими на изрядном расстоянии друг от друга.

Он шел и думал: «Какое счастье, что до отеля всего несколько сот шагов и что сам я человек крепкий и на случай столкновения хорошо вооружен»,— как вдруг из-за поворота вынырнула машина и остано-

лась в нескольких шагах впереди него. Из нее вышли двое мужчин и, держась в стороне от фар, которые горели слабее обычного, стали осматривать колесо. Грегори сразу показалось странным, что фары светят так тускло. Отчего бы это, да еще в столь поздний час, и почему незнакомая машина остановилась как раз у пустынного поворота, как раз в ту минуту, когда он подходил сюда? И почему у него такое странное состояние: по всему телу поползли мурашки и волосы на голове зашевелились? Он перешел на другую сторону, чтобы его отделяла от машины ширина дороги. Но в это время один из мужчин оставил колесо и направился к Грегори. Тотчас, почти непроизвольным движением, Грегори вытащил револьвер из заднего кармана брюк и сунул его в карман пальто. При этом он остановился и крикнул:

— Ни с места, слышите! Я вооружен, не подходите, или я буду стрелять. Я не знаю, кто вы, друг или враг, но все равно, ни шагу больше. Если вам нужно что-нибудь, спрашивайте, не сходя с места.

Незнакомец остановился, видимо, удивленный.

— Хотел попросить у вас спичек и узнать, как проехать в Трейджер-Пойнт,— проговорил он.

— У меня нет спичек, а в Трейджер-Пойнт надо ехать в обратную сторону,— отрезал Грегори.— Вот же отель... Если вы едете оттуда, почему вы не узнали там, как проехать, а заодно не попросили спичек? — Он замолчал, а мужчина, стоя в тени, кажется, с любопытством рассматривал его.

— Что ж, ладно,— равнодушно ответил он.— На нет и суда нет.

Но вместо того чтобы вернуться к машине, он продолжал стоять на прежнем месте, не спуская глаз с Грегори.

Грегори взъерошился, как испуганная кошка. Весь дрожа, он вытащил из кармана револьвер и угрожающе помахал им.

— Стоять на месте, пока я не пройду мимо! — крикнул он.— Вы оба у меня на мушке, и при первом движении я буду стрелять. Я вас не трону, если вы сами не напроситесь, только ни с места.— И он двинулся прочь, держа их под прицелом.— Ни с места! — все кричал он, пока не отошел на значительное расстояние; затем— те двое, возможно, от изумления, все еще стоя-

ли и смотрели на него — он вдруг повернулся и припустил со всех ног; к дверям отеля он прибежал весь взмокший, еле переводя дух.

«Нет, больше не поеду один», — пообещал он себе.

Когда он рассказал об этой встрече Блаунту, тот высмеял его страхи. Ну кому придет в голову убивать или устраивать засаду на таком открытом месте? С поезда могли сойти и другие пассажиры. Заблудившаяся машина могла очутиться там в любое время. Людям действительно могли понадобиться спички, и они, возможно, ехали вовсе не из отеля. Там есть и другая, окольная, дорога.

И все же Грегори был склонен думать, что ему угрожала опасность, — он и самому себе не мог бы объяснить, почему он так думал, — просто чутье, утверждал он.

А день или два спустя — в свете происшедшего это казалось ему отнюдь не случайным — миссис Скелтон стала проявлять все большую заботу об его удобствах и благополучии. В ресторане отеля она занимала один из столиков у окна с видом на море, и почти всегда с нею обедал кто-нибудь из ее приятелей-маклеров, а то и оба вместе или кто-нибудь из случайных знакомых. Но четвертый стул обычно оставался свободным, и вскоре Грегори стали приглашать к столу, а когда присутствовал Блаунт, придвигали пятый стул. Вначале Грегори колебался, но, понукаемый Блаунтом, которого миссис Скелтон забавляла, стал принимать приглашения. Блаунт уверял, что с ней очень весело. Она так хорошо одевается, такая бойкая, обходительная, добродушная — словом, для времяпрепровождения на побережье лучшего и желать нельзя.

— Брось, старина, она прелюбопытная особа, — рассуждал он однажды вечером во время послеобеденной прогулки. — Недурна, сомнения нет, хоть красоте сорок лет. Она мне нравится. Честное слово. Кто ее знает, может быть, она и обманщица, но хорошо играет в бридж и недурно в гольф. Она пробовала что-нибудь из тебя вытянуть?

— Ничего как будто, — ответил Грегори. — Особой хитрости в ней не заметно. Впрочем, она тут всего недели три.

— К ней надо приглядеться. Я подозреваю, что она здесь неспроста, но утверждать с уверенностью не мо-

гу. Похоже, что ее подослал Тилни. Но сыграем партию и поглядим, чья возьмет. Я буду любезен с ней ради тебя, а ты делай то же самое ради меня.

Под благотворным воздействием завязавшейся дружбы события развивались довольно быстро. Не прошло и двух дней, как миссис Скелтон с необычайно таинственным видом, словно о чем-то весьма важном и тщательно скрываемом, сообщила, что в отель ненадолго приезжает ее приятельница, очень милая девушка из почтенной, состоятельной семьи, уроженка Запада, некая Имоджин Кэрл, ни много ни мало — дочь известного в Цинциннати богача Брэйтона Кэрла. По словам миссис Скелтон, она познакомилась с родителями этой девушки там же, в Цинциннати, пятнадцать лет тому назад. Имоджин — ее любимица. Сейчас девушка гостит в имении Флетчеров в Грей Ков, на Зунде, но миссис Скелтон уговорила родителей Имоджин, и они разрешили дочери приехать к ней в «Тритон». Имоджин всего двадцать лет, и отныне миссис Скелтон будет ее неизменной и верной покровительницей. Разумеется, все присутствующие одобряют ее намерения? А если бы они были так милы, — при этих словах миссис Скелтон окинула всех быстрым взглядом, — то помогли бы ей развлекать гостью. Вот было бы замечательно! А какая чудная девушка: умница, красавица, и хорошо танцует, и играет на рояле, и то и се, — словом, чудеса да и только. Самое главное все же — ее красота: пышные каштановые волосы, карие глаза, прекрасная кожа...

Блаунт и Грегори выслушали все это глазом не моргнув, но позже, когда они встретились на большой веранде, выходящей к морю, Блаунт сказал:

— Ну как?

— По-моему, дело ясное. А эта здорово расписывает! Все-таки, знаешь, интересно, а вдруг она и в самом деле такое совершенство? — И Грегори засмеялся.

Несколько дней спустя прекрасная незнакомка появилась и полностью оправдала все посулы миссис Скелтон, даже превзошла их. Она была очень хороша. Грегори впервые увидел ее, когда в семь часов вошел в просторный ресторан. Как и говорила миссис Скелтон, она была молода — двадцать один, не больше. Глаза у нее были светлые, серо-карие, а волосы, лицо и руки словно светились. Она казалась простой и скромной, приветливой и веселой, к тому же довольно неглупой;

нельзя было назвать ее совершенной красавицей, но на нее было приятно смотреть... очень приятно. Она сидела за столом миссис Скелтон, маклеры явно за ней ухаживали, и Блаунту она тоже понравилась с первого же взгляда.

— Ну, какова красotka? — спросил он. — Предчувствую, что мне придется спасти тебя от тебя самого. Знаешь, как мы сделаем? Ты спасай меня, а я буду спасать тебя. Старушка, видно, соображает, каких надо подбирать, да и Тилни тоже. Так вот, мой друг, гляди в оба!

И он приблизился к столу с видом человека, который жаждет стать жертвой прекрасных глаз.

Грегори невольно рассмеялся. Как ни был он настороже, он был заинтересован, а девушка, словно чтобы подогреть его интерес, уделяла миссис Скелтон и ее двум друзьям куда больше внимания, чем Грегори и Блаунту. Она вела себя совсем непринужденно или разыгрывала непринужденность и, казалось, не подозревала, что ей предназначена роль сирены, а они, в свою очередь, делали вид, будто принимают все за чистую монету; и после обеда Блаунт весело объявил, что она может очаровывать его, сколько ее душевнѣе угодно. Он к ее услугам.

Но в тот же вечер и на другой день Грегори почувствовал, что очаровать стараются именно его. Он ловил на себе ее взгляд, то лукавый, то робкий, а то одновременно и лукавый и робкий, и настойчиво, даже не без тщеславия, уговаривал себя, что именно его она избрала своей жертвой. Когда он высказал свои предположения Блаунту, тот только рассмеялся.

— Не будь таким тщеславным, — сказал он. — Ты можешь и ошибаться. Впрочем, хотел бы я быть на твоём месте. Посмотрим, не могу ли я отвлечь от тебя ее внимание.

И Блаунт стал, как и все, ухаживать за ней.

Однако Грегори не так-то легко было ввести в заблуждение. Он пристально следил за девушкой, когда она весело болтала об обещанном ей путешествии на яхте, о теннисе, гольфе, о том, как проводила прошлую зиму в Цинциннати и купалась недавно в Бичамптоне. Она отлично играла в теннис, в чем Грегори позднее сам убедился: всякий раз, играя с ним, она заставляла его изрядно попрыгать, и пот с него катился градом.

Он пытался понять, не делает ли она ему авансов, но ничего определенного не замечал. Она равномерно распределяла свою благосклонность и, когда в Восточной гостиной начинались танцы, выбирала сначала одного из маклеров, а затем Блаунта.

У Блаунта, как и у миссис Скелтон и маклеров, была своя машина, но, несмотря на почти постоянное присутствие Блаунта, кто-нибудь из них, собираясь днем или вечером на прогулку, приглашал Грегори составить компанию и поехать с ним. Однако он не доверял им и не принимал их приглашений, за исключением тех случаев, когда Блаунт был тут же и тоже получал приглашение,— тогда он охотно соглашался. Время от времени в отеле играли в вист, безик или покер, и Грегори, как и Блаунт, когда тот оказывался налицо, после настойчивых приглашений обычно присоединялся к игрокам. Грегори не умел танцевать, и Имоджин поддразнивала его. Почему он не учится? Ведь это такое удовольствие! Она научила бы его! Порой, когда она проносилась мимо, скользя среди других пар, он невольно смотрел на нее с восхищением и думал, что она удивительно грациозна и жизнерадостна. Блаунт замечал это и подтрунивал над ним, хотя и ему она казалась очень милой и интересной. Грегори не раз задумывался над тем, как поразительно (если только это правда), что такая темная личность — вроде этого Тилни — могла для исполнения своего подлого замысла найти столь привлекательную девушку. Подумать только, ей всего двадцать один год, она красива и, несомненно, могла бы иными способами добиваться лучшего положения в жизни, а вот он вынужден ее подозревать, и вполне возможно, что она авантюристка. Что же толкает ее, ради чего она это делает?

— Друг мой, ты не знаешь этих хитрецов,— твердил ему Блаунт.— Они пойдут на любую подлость. В политике людей можно заставить делать все, буквально все. Это не то, что обычная жизнь или бизнес. Это политика, и все тут. Звучит цинично, но так оно и есть. Суди сам по своим расследованиям. Что они показывают?

— Я понимаю, но такая девушка, и вдруг...— с жаром произнес Грегори.

Ведь в конце концов, настаивал он, неизвестно, кроется ли тут что-нибудь, или это только кажется. Мо-

жет быть, она сирена, а может быть, и нет. Возможно, оба они просто превратно судят о ней, как и о других ни в чем не повинных людях.

Относительно миссис Скелтон им пока удалось узнать только, что она, как и сама говорила, — преуспевающая владелица и управительница театрального агентства. Возможно, она знавала лучшие времена и могла похвастать лучшими знакомствами. Иногда Грегори чувствовал, что совсем теряется, как человек, неожиданно столкнувшийся в темноте с врагом; он испытывал неуверенность и нерешительность, но они с Блаунтом пришли к выводу, что лучше всего остаться и подождать конца, — будь что будет. Игра была забавной даже и в таком виде, увлекательной и необычной. Она, как говорил Блаунт, вскрывала глубину той политической мерзости, которую Грегори пытался разоблачить и о которой раньше даже и не подозревал.

— Не отступай, — с азартом игрока твердил Блаунт. — Кто знает, что из этого выйдет. Может быть, это даст тебе как раз тот козырь, который нужен. Попытайся привлечь ее на свою сторону. А почему бы и нет? Она в самом деле может влюбиться в тебя. Тогда посмотришь, как повернется дело. С открытыми глазами ни в какую западню не попадешь.

Со временем Грегори согласился с этими доводами. К тому же эта прелестная девушка каким-то неувлимым образом начала притягивать его к себе. Он не только никогда не был знаком с такой прелестницей, ему даже видеть ничего подобного не приходилось. Игра была своеобразна, необычайна и увлекательна. Он стал следить за своей внешностью и сам делал робкие попытки ухаживать. Тем не менее запись его времяпрепровождения составлялась каждое утро. Каждый вечер он возвращался из города либо с Блаунтом в его машине, либо ранним поездом. Возможность риска была почти исключена, и все же — как знать?

В последующие вечера, согласно обычаям приморского отеля, Грегори и Имоджин познакомились друг с другом поближе. Слушая, как она играет и поет, Грегори понял, что это пылкая и даже чувственная натура. Как он теперь видел, она была более искушенной, чем казалось вначале; иногда она как-то странно и призывно надувала губки и маняще поглядывала то на одного, то на другого, не исключая и его самого. Поскольку

предположение о тайных злоумышленных кознях утратило свою новизну, Блаунт и Грегори начали шутить с Имоджин по этому поводу, вернее, туманно намекали на исполняемую ею роль.

— Ну, как сегодня идет ваша игра? — спросил однажды Блаунт на второй или третьей неделе ее пребывания в отеле, подходя к ней и Грегори, которые сидели на большой многолюдной веранде, и глядя на нее понимающим, насмешливо-циническим взглядом.

— Какая игра?

Она посмотрела на него с самым невинным видом.

— Такая, когда расставляют западню и ловят назначенную жертву. Разве не этим занимаются все хорошенькие молодые женщины?

— Вы намекаете на меня? — спросила она высокомерно, с видом оскорбленной невинности. — Да будет вам известно, что мне незачем ловить кого-либо в западню, а женатого мужчину тем более.

Ее зубы сверкнули в недоброй усмешке.

Грегори и Блаунт пристально следили за ней.

— Ну, разумеется. Уж кого-кого, только не женатого. Собственно говоря, я имел в виду не вас лично: вообще... жизнь, знаете ли, — игра.

— Ха, конечно, — премило ответила она. — Я ведь тоже шучу.

Грегори и Блаунт рассмеялись.

— Смотри-ка, вывернулась и бровью не повела, — заметил после Блаунт, и Грегори вынужден был согласиться с ним.

В другой раз с подобным намеком попытался выступить Грегори. Имоджин подошла к ним, исполнив несколько пассажей на пианино, за которым она сидела, как ему показалось, с кокетливой и горделивой грацией... на кого только рассчитанной? Со своего места он мог ее видеть и чувствовал, что она знала об этом.

— Столько трудов, и все понапрасну, — как бы между прочим ввернул он.

— Что такое? Не совсем понимаю.

И она вопросительно посмотрела на него.

— Не понимаете? — усмехнулся он. — У меня привычка выражаться фигурально. Я всегда так разговариваю. Это всего-навсего веселый намек на мрачные обстоятельства. Не обращайтесь внимания. Вы все равно не поймете, если не знаете того, что знаю я.

— В таком случае, что же вы знаете такое, чего я не знаю? — спросила она.

— Пока ничего определенного. Так, некоторые соображения. Не обращайтесь внимания.

— Право, вы очень странные оба — и вы, и мистер Блаунт. Вы постоянно говорите какие-то непонятные вещи, а потом заявляете, что они ничего не значат. А что значит фигурально?

Грегори, все еще посмеиваясь над ней, сказал:

— А знаете, вы человек совсем особого типа. Я все время с большим интересом наблюдаю за вами.

— Серьезно? — Она приподняла брови и сделала круглые глаза. — Это любопытно. И к какому типу я, по-вашему, принадлежу?

— Еще точно не знаю. Но если вы принадлежите именно к тому типу, который я имею в виду, то вы очень искусны. В таком случае мне пришлось бы отдать вам пальму первенства.

— Право, вы меня изумляете, — серьезно сказала она. — Нет, в самом деле. Я совершенно не понимаю вас. О чем вы говорите? Если вы что-то под этим подразумеваете, то я хотела бы, чтобы вы высказались прямо, а если нет, лучше бы совсем не говорили.

Грегори изумился. В ее голосе послышались вызывающие нотки.

— Вы только не сердитесь, хорошо? — сказал он, несколько смущенный. — Я просто шучу, вот и все.

Она поднялась и ушла, а он стал шагать взад и вперед по веранде, высматривая Блаунта. Найдя его, Грегори поделился с ним своими впечатлениями.

— Что ж, может быть, мы и ошибаемся. Кто знает? Дай ей развернуться. Скоро что-нибудь да выплывет наружу.

А затем Грегори стало казаться, что миссис Скелтон и еще кое-кто незаметно помогают Имоджин, но чего все они добиваются и зачем, ему было не совсем ясно. Он вовсе не был расположен льстить себе и все же порой невольно думал, что стал предметом каких-то тайных интриг. Несмотря на то, что произошло между ними, Имоджин по-прежнему держала себя с ним по-дружески и, по-видимому, не только не избегала его, но старалась постоянно быть в поле его зрения.

В отель приехал и где-то в нем поселился самодовольный расфранченный еврей, маленький и юркий; он

снова туда и сюда и, казалось, не имел никакого отношения ни к миссис Скелтон, ни к ее друзьям. Но вот однажды, гуляя среди песчаных дюн, окаймляющих залив, Грегори увидел Имоджин и юркого, как муравей, еврея,— они вдвоем шли по берегу. Он был так поражен, что в изумлении остановился. Первой его мыслью было подойти поближе и окончательно удостовериться, но они медленно двигались в его сторону; он увидел, что ошибки быть не могло, и поспешно удалился. Блаунт был немедленно посвящен в эту тайну, и за обедом, увидев, как юркий человек вошел и уселся за дальним столиком, он как ни в чем не бывало спросил:

— Кажется, приезжий?

Миссис Скелтон, Имоджин и один из маклеров, которые были при этом, окинули незнакомца пытливым взглядом, а затем равнодушно отвернулись.

— Не имею ни малейшего представления,— отозвался маклер.— Первый раз вижу. Держу пари на тысячу долларов, что он по галантерейной части.

— Кто бы он ни был, похоже, что он богат,— простодушно заметила Имоджин.

— Он приехал, кажется, в четверг. По-моему, он ничего особенного собой не представляет,— сухо сказала миссис Скелтон; и к этой теме больше не возвращались.

Грегори так и подмывало тут же обличить Имоджин и ее друзей во лжи, но он решил подождать и внимательнее приглядеться к девушке. Все это, бесспорно, становилось занятным. Если они пошли на такую ложь, значит, тут что-то есть. Выходит все-таки, что она обманщица, хотя и на редкость очаровательна. Его интерес к ней, миссис Скелтон и их друзьям сразу возрос.

А затем появился таинственный голубой гоночный автомобиль, «гончая», как впоследствии стал называть его Грегори, громадная, неповоротливая, устрашающая машина, богато и даже роскошно отделанная, у которой был совсем особенный звук мотора. В его реве слышалась металлическая нота, и он далеко разносился в чистом воздухе над прибрежными дюнами. Как Грегори позже узнал от миссис Скелтон, машина принадлежала одному из четырех юных счастливиц, проводивших летнее время в соседнем отеле, расположенном в миле к западу от «Тритона». Владелец машины, некто Касл-

мен, сын и наследник очень богатых родителей, был приятелем миссис Скелтон,— у них были какие-то общие дела в городе. Молодые люди, пояснила она, приехали ради Имоджин, чтобы помочь развлекать ее, и они всегда приезжают на этой машине. Каслмен и его друзья, лошечные, одетые по последней моде, играли в теннис и бридж и были осведомлены относительно эстрадных, танцевальных и спиртных новинок. Все они, во всяком случае, трое из них, очень бойкие и разбитные, были не прочь поухаживать за Имоджин, но миссис Скелтон вскоре доверительно сообщила Грегори, что не намерена поощрять их. Родителям Имоджин это может не понравиться. Другое дело Грегори и Блаунт — такие солидные и образцово скромные люди!

С тех пор миссис Скелтон стала совершать почти ежедневные прогулки то в машине Каслмена, то в своей собственной, причем брала с собой Грегори, когда он выражал согласие, и Имоджин. Однако Блаунт с самого начала решительно заявил, что он против таких прогулок.

— Говорю тебе, не оставайся с нею наедине или вместе с ее приятелями нигде, кроме этой веранды. Они хотят поймать тебя в ловушку, но дело не клеится, вот они и пустились во все тяжкие. Но скоро они так или иначе проявят себя,— это ясно как день. Они хотят меня устранить, а ты не сдавайся или найди кого-нибудь вместо меня. А то и не заметишь, как попадешься. Так-то и ловят людей. Бери меня с собой или пусть они пользуются моей машиной, а ты прихватывай кого-нибудь еще. Тогда хотя бы в некоторой степени ты будешь хозяином положения.

Грегори заверил Блаунта, что не желает, чтобы вместо него был кто-нибудь другой; в дальнейшем он принимал приглашение лишь в том случае, если среди приглашенных оказывался Блаунт, хотя и видел, что остальным это не нравилось.

Нельзя сказать, чтобы Имоджин была против, но миссис Скелтон постоянно выражала недовольство: «Чего мы ждем?» — или: «Неужели без него никак нельзя обойтись?»

Тогда Грегори пояснял, что Блаунт — его старый и близкий друг. В сущности говоря, они отдыхают вместе. Блаунт сейчас не очень занят... Они, казалось, принимали все это за чистую монету, а Блаунт только

и ждал удобного случая, чтобы предложить им поехать всем вместе в его машине.

Но чем чаще бывали подобные «случайности», тем чаще и миссис Скелтон прибегала к невинным ухищрениям, затевая неожиданные прогулки. Приятно пройтись по сосновому лесу и песчаным холмам к соседнему отелю, где есть восхитительная беседка, и эту прогулку ей хотелось совершить именно с Грегори. Но стоило ему согласиться, как тут же появлялась Имоджин, и, разумеется, ее нельзя было не пригласить. Тогда миссис Скелтон вдруг вспоминала, что она забыла зонтик, сумку или носовой платок, и немедленно удалялась, оставляя Имоджин и Грегори прогуливаться вдвоем. Но Грегори никогда не пускался в путь, не дождавшись возвращения миссис Скелтон. Так просто его не заманишь в западню.

К этому времени, несмотря на атмосферу неопределенности и подозрений, Грегори и Имоджин подружились. Он видел, что нравится ей. Она смотрела на него томным взглядом, и порой ноздри ее чуть вздрагивали,— что бы это могло значить? Сидя с ним рядом, в машине или еще где-нибудь, она кокетливо и ласково придвигалась к нему поближе. В последнее время она пыталась учить его танцевать и бранила, употребляя милые выражения, вроде: «Вот непослушный мальчишка», или: «Ах вы, растяпа — глиняные руки!» (когда он однажды что-то уронил), или: «Какой вы большой и неловкий — и какой сильный. Вас не повернешь».

А он смотрел на нее и думал: интриганка, но такая красивая и такая изящная! Какой чудесный цвет лица! Какие пышные, шелковистые волосы! И взгляд ее серокарих глаз, такой строгий и вместе с тем ласковый, когда она смотрит на него. Нос такой маленький и прямой, рот резко очерчен, как у англичанки, губы полные, и верхняя в середине чуть нависает над нижней. А как она взглянула на него, когда они остались одни! Он даже смутился.

Но что же делала в эти смутные дни «голубая гончая»? Однажды вечером миссис Скелтон пригласила Грегори проехаться в Бейсайд, миль за двадцать пять; Блаунт их сопровождал. Не проехали они и десяти миль,— так показалось Грегори,— как до его слуха донеслось гудение необыкновенно мощного мотора. Оно напоминало назойливое жужжание пчелы или шершня,

бьющегося о стекло. Что-то в нем было яростное, дикое. Грегори мгновенно вспомнил этот звук и узнал огромную голубую машину молодого Каслмена. «Что это значит,— спрашивал он себя,— стоит нам куда-нибудь поехать, как этот звук начинает нас преследовать». И без всякой задней мысли он обратился к Имоджин:

— А ведь это машина Каслмена, слышите?

— В самом деле похоже! Интересно, он ли это,— как ни в чем не бывало проговорила она.

В тот день больше не было повода задуматься над этим, но в другой раз, когда они далеко отъехали от отеля, тот же звук мотора раздался совсем рядом на соседней дороге и миновал их. Однажды неизменные пассажиры голубой машины появились в той же самой гостинице, в которой остановились он, Блаунт, Имоджин и миссис Скелтон.

Потом как-то внезапно ему открылся истинный смысл всего этого. Грегори припомнил, что каждый раз, когда он слышал звук мотора, этот звук сопровождался появлением машины Каслмена у придорожной гостиницы или ресторана, где он был в обществе Имоджин и Блаунта. И непременно вслед за тем появлялась все та же компания молодых людей («веселые ездоки», как они себя называли), которые объясняли подобные встречи счастливой случайностью. Он вспомнил (и это обстоятельство подтвердил бдительный Блаунт), что если мотора не было слышно и обычная компания не появлялась, то как только они прибывали к месту назначения, миссис Скелтон или Имоджин сразу удалялись в дамскую комнату, и вскоре издали доносился бешеный рев машины и появлялись «веселые ездоки». Но с какой целью? Может быть, они искали повод скомпрометировать его?

Однажды вечером, в одной из гостиниц, после того как миссис Скелтон, по своему обыкновению, ненадолго покинула их, Грегори сидел у перил балкона и смотрел вниз на безмолвную сосновую рощу, и вдруг ему показалось, что он слышит приближающуюся издалека машину, громадное злое животное, захлебывающееся лаем, словно гончая, напавшая на след. В звуке мотора или в вечерней тишине было что-то необъяснимо странное, жуткое. А спустя несколько минут появилась машина, и четыре приятеля ввалились в помещение наг-

ло и бесцеремонно; увидев Грегори, они выразили изумление. Грегори почувствовал холодок и дрожь во всем теле. Какое коварство, как ужасно, когда вот так преследуют человека! Как погрязли в трясине политических махинаций, как судорожно цепляются за власть над взбудораженными миллионами городских жителей эти люди, Тилни и его друзья, если они сочли необходимым опутывать такой сетью интриг одного-единственного человека, который пытается разоблачить их! Их преступления! Грабеж и мошенничество! Как хорошо известны ему некоторые их преступные дела и как близок он к тому, чтобы доказать это и прогнать их с высоких постов, подальше от государственной казны, от благ и почестей!

Вот почему он представляет для них такой интерес, он — независимый журналист, на свой страх и риск ведущий расследование. Да, сколько тут подлости, черных тайн и коварства! Что они замышляют, эти две улыбающиеся женщины и эти четверо лощенных головорезов, розовощеких, с учтивыми манерами? Что им от него нужно? Чем все это кончится?

Когда миссис Скелтон, Имоджин, Блаунт и Грегори собирались ехать обратно, а Каслмен и его друзья усаживались в свою машину, появилась третья компания, прежде того неизвестная ни Блаунту, ни Грегори; приезжие завязали разговор с обеими женщинами и в конце концов уговорили их пересесть к ним в автомобиль. Миссис Скелтон извинилась, стала объяснять, что это ее старые друзья, с которыми она давно не виделась, и что позднее все они встретятся в отеле за бриджем. Блаунт и Грегори, предоставленные самим себе, решили до ближайшего перекрестка ехать проселком, чтобы первыми попасть домой. Новый ход заинтриговал их, однако в ту минуту они не могли его разгадать. Когда они проезжали участок, где по обе стороны стояли тенистые деревья, их вдруг ослепили фары машины, мчавшейся навстречу на полной скорости; и хотя Блаунту удалось поразительно быстро и ловко свернуть в сторону, к обочине, все же встречная машина проскочила на чудовищной скорости так близко, что задела их левое заднее колесо.

— Машина Каслмена! — тихо проговорил Блаунт, когда она миновала их. — Я его видел. Проскочили в дюйме от нас!

— Подумать только! — возмущенно воскликнул Грегори.— Интересно знать, вернутся они поглядеть на плоды своих трудов?

И тут же они услышали, что огромная машина возвращается.

— А дело-то серьезное. Не нравится оно мне,— прошептал Блаунт.— Эта машина разнесла бы нас в куски, а на ней даже царапины не осталось бы. Вот они. Смотри не зевай. Хорошо еще, что мы вооружены. Револьвер при тебе?

Молодчики приближались как ни в чем не бывало

— Привет! Ничего не случилось? — еще издали окликнули они.— Приносим извинения.— И затем, как будто они только что узнали, кто перед ними: — Смотри-ка, да это же Грегори с Блаунтом! Ну, уж вы извините, друзья! Несчастный случай, уверяем вас. Руль отказал.

Грегори и Блаунт заранее решили не отступать и в случае нового вероломства ответить пулями. Напряжение несколько разрядилось с прибытием третьей машины, в которой сидели четверо мужчин средних лет; увидев в лесу группу людей и стоящую поблизости большую машину, они остановились узнать, в чем дело. У Грегори хватило присутствия духа задержать вновь прибывших.

— Не можете ли вы обождать, пока не уедут эти молодчики? — шепнул он тому из них, кто помогал Блаунту вытащить на дорогу его автомобиль.— Мне кажется, они намеренно пытались раздавить нас, но с уверенностью сказать не могу; во всяком случае, нам не хотелось бы остаться с ними наедине.

Сообразив, что положение изменилось и что вновь прибывшие не собираются уезжать, Каслмен и его приятели рассыпались в извинениях и проявили готовность оказать помощь. Они, видите ли, забыли кое-что в гостинице и решили вернуться. Подъезжая сюда, они заметили огни автомобиля Блаунта и попытались остановиться, но что-то случилось с рулевым управлением. Хотели свернуть в сторону, но не могли и чуть не разбили свою машину. Есть повреждения? Они охотно за все заплатят. Блаунт заверил, что повреждений нет; он и Грегори принимали извинения со всей учтивостью, но от помощи решительно отказывались. Когда «веселые ездоки» отбыли, Блаунт и Грегори, охраняемые незна-

комцами, добрались до отеля, который был уже погружен в темноту и молчание.

Удивительное дело, снова и снова говорил себе Грегори, огромный город весь опутан сетью подобных преступных интриг... Его пытались хладнокровно убить, и кто же — молодая девушка и молодые люди, которым едва перевалило за двадцать, и невозможно уличить их. Он-то совершенно убежден, что уже дважды едва не стал жертвой убийства, и все же он бессилён что-либо доказать, ни к чему не придерешься, он даже не осмелился бросить им обвинение! А Имоджин, эта веселая и красивая девушка, делает вид, будто влюблена в него... и он почти верит ей... и в то же время убежден, что она так или иначе замешана в заговоре. Уж не сходит ли он с ума?

Он был за то, чтобы уехать немедленно, так как чувствовал, что имеет дело с бандой убийц, замышляющих уничтожить его под предлогом «несчастливого случая», коль скоро им не удастся опозорить его с помощью хитрости и интриг; но Блаунт придерживался иного мнения. Он считал, что время для отъезда неподходящее. В конце концов все преимущества пока что на их стороне. К тому же Блаунт был убежден, что эта девушка — слишком слабое орудие в руках ее сообщников, она неопытна и едва ли сумеет хорошо выполнить свою роль в заговоре. Он сказал, что пришел к этому заключению на основании некоторых сведений, которые пока что удалось о ней получить. Одно время она была личной секретаршей хорошо известного банкира, который был связан с Тилни общими интересами в Пеньянке; дело кончилось тем, что банкира привлекли к суду, но он успел скрыться. Не исключено, что сохранились какие-то бумаги, подписанные ею в качестве доверенного секретаря или казначея, из-за чего она и стала жертвой Тилни или кого-нибудь из его политических друзей. Блаунт теперь готов был, если потребует, помочь Грегори достать денег для его исследований. Надо уберечь город от таких людей, как Тилни; при этом Блаунт считал, что Имоджин мягка и податлива и Грегори мог бы перетянуть ее на свою сторону.

— Не отступай, — твердил он, — иди до конца. Положение довольно серьезное, я понимаю, но не забывай, что, где бы ты ни был, оно не улучшится, а здесь по крайней мере мы знаем, с кем имеем дело. Теперь

они уже поняли, что мы берем над ними верх. Должны понять. Они нервничают, вот и все, а время уходит. Можно было бы вызвать сюда твою жену, но что толку. Кроме того, если ты сумеешь воспользоваться обстоятельствами, ты найдешь способ привлечь эту девушку на свою сторону. Что бы она там ни делала, мне кажется, ты ей нравишься.— Грегори фыркнул.— Или при желании понравишься, а тогда у тебя будет возможность через нее узнать их планы. Разве ты не замечаешь, как она все время поглядывает на тебя! И не забывай, что каждый день приближает тебя к выборам, а тем временем ты держишь инициативу в своих руках, не давая им довести их замысел до губительного конца. Если в ближайшее время им не удастся ничего добиться, то не успеет Тилни изобрести что-нибудь новенькое, как на него свалятся выборы, а тогда уж будет поздно. Понимаешь?

Грегори согласился несколько повременить с решением, но чувствовал, что нервы его начинают пошаливать. Он становился раздражительным и злым, и чем больше думал об этом, тем хуже себя чувствовал. Попробуй-ка быть любезным с людьми, если в душе они убийцы и пытаются тебя погубить!

Но когда на следующее утро за завтраком он увидел Имоджин — хорошенькую, приветливую, с выражением того дружеского внимания, которое в последнее время все чаще светилося в ее взгляде, его невольно потянуло к ней, хотя он всячески старался не обнаружить этого.

— Что же вы вчера вечером не пришли к нам играть в карты? — спросила она.— Мы так ждали вас.

— Разве вы не слышали о самом новом «несчастном случае»? — спросил он, делая ударение на последних словах и глядя насмешливо и вызывающе.

— Нет. А что это за несчастный случай?

Казалось, она ничего не знала о происшедшем.

— Разумеется, вы понятия не имеете, что, после того как вы вчера уехали, машина Каслмена чуть не врезалась в нашу.

— Не может быть! — вскрикнула она с неподдельным изумлением.— Где?

— В лесу за Белпойнтом, как только вы покинули нас. Вам обоим очень повезло, вы уехали как раз вовремя.— Он усмехнулся и рассказал Имоджин всю

историю, сделав несколько иронических замечаний относительно руля, который оказался неисправным.

Рассказывая, он пристально следил за ней, а она смотрела на него с выражением не то страдания, не то страха. Нет, взгляд ее не обнаруживал интереса и сочувствия к замыслам ее друзей или хозяев, если они действительно были над ней хозяевами. Она удивлялась так искренне, трогательно, убедительно, что обезоружила его. Он не мог заставить себя поверить, что она причастна и к этому. Как говорил Блаунт, она скорее всего именно орудие в чужих руках. Вероятно, она сама беспомощна или не знает, до каких пределов могут дойти ее мнимые «друзья». Глаза ее смотрели тревожно, печально. Она казалась какой-то особенно слабой, растерянной, и это, не увеличив его уважения к ней, смягчило в нем враждебность. Он почувствовал, что теперь мог бы даже увлечься ею. Вместе с тем он подумал, что ее можно увлечь настолько, чтобы она стала ему помогать. Он имеет на нее влияние, а это уже кое-что значит. Он описал происшествие подробно, со всей живостью, на какую был способен, давая ей почувствовать, что он и Блаунт были на волосок от смерти. Ей, по видимому, стало не по себе, и она вскоре вышла из-за стола. Грегори позаботился о том, чтобы было совершенно ясно, что незнакомцы, встретившие их в лесу, знают все подробности происшествия и предложили свои услуги в качестве свидетелей на случай, если это понадобится.

— Но мы не собираемся что-либо предпринимать,— весело сказал он,— по крайней мере, сейчас.

Именно при этих словах она сильно побледнела, изменилась в лице и вышла из комнаты.

То ли благодаря этому разговору, то ли из-за самого происшествия или обстоятельств, с ним связанных, о которых Грегори ничего не было известно, но только в деятельности его противников как будто наступило временное затишье. «Голубая гончая» больше не врывалась ежедневно в их жизнь. Миссис Скелтон вызвали на несколько дней в город по делам, а вслед за ней и мистера Даймондберга, того самого, «который по галантерейной части», как называл его Блаунт. За все время своего пребывания в отеле мистер Даймондберг ни разу открыто не подошел к ним. Миссис Скелтон вскоре вернулась, как всегда веселая и жизнерадост-

ная, а тем временем Имоджин постаралась еще больше сдружиться с Грегори, что сулило некоторые перемены. Она держала себя гораздо свободнее, непосредственнее и приветливее, чем прежде. Она проводила с ним больше времени, улыбалась, шутила и все же, как казалось ему, была чем-то озабочена. Помня их разговор, состоявшийся на другое утро после столкновения с «голубой гончей», Грегори чувствовал себя теперь более непринужденно, больше доверял Имоджин и думал, что, пожалуй, в недалеком будущем сможет поговорить с ней начистоту и заручиться ее поддержкой.

После отъезда миссис Скелтон, на второй день, Грегори с Имоджин провели вместе два часа кряду, что позволило им лучше понять друг друга.

После завтрака Грегори задержался, чтобы просмотреть кое-какие отчеты. Она подошла и встала около него.

— Что вы делаете? — спросила она.

— Сверяю кое-какие данные, — загадочно ответил он, с улыбкой взглянув на нее. — Садитесь.

Они разговорились сначала о местном теннисном матче, а затем о его работе, про которую он рассказал вкратце, заметив, что Имоджин, по-видимому, все это знает, во всяком случае, должна знать.

— Почему обо всем, что имеет к вам отношение, вы говорите со мной в таком тоне? — спросила она его после короткого молчания. — Вы изъясняетесь так странно, словно о ваших делах я знаю нечто такое, чего мне не следует знать.

— А разве это не так? — спросил он, мрачно глядя на нее.

— Вот опять! Что вы хотите этим сказать?

— Вы в самом деле нуждаетесь в моих пояснениях? — начал он резко и насмешливо. — Как будто вы сами не знаете! Надо думать, что вы даже и не слышали, например, про «Объединенный банк»? Или о мистере Суэйне, его президенте? Или о мистере Тилни, или о мистере Мирсе, кассире?

При упоминании этих имен, так же как и при упоминании происшествия с автомобилем, в ее глазах что-то мелькнуло, как в объективе фотоаппарата в тот миг, когда щелкает затвор, только на этот раз она не обнаружила никаких признаков страдания или хотя бы смущения. Она казалась совершенно спокойной, только на

щеках появился едва заметный румянец. Она слегка приоткрыла рот и изобразила подобие снисходительной улыбки.

— «Объединенный банк»? Мистер Суэйн? Мистер Тилни? О чем вы говорите? — упрямо сказала она. — Кто такой Суэйн и что это за «Объединенный банк»?

— Послушайте, мисс Кэрл, — сказал он наставительно и сердито, — если вы хотите, чтобы в дальнейшем я сохранил к вам некоторое уважение, перестаньте лгать. Вы отлично знаете, что я имею в виду. Вы прекрасно знаете, кто такой мистер Суэйн и почему он уехал из Истриджа. Вы также знаете мистера Даймондберга, хотя вы и говорили обратное — и как раз после того, как гуляли с ним по дюнам три недели тому назад, я тогда видел вас. Вы, верно, уже забыли об этом?

При этих словах она слегка вздрогнула. Все ее хладнокровие исчезло, она широко раскрыла глаза, а ее щеки и даже шея густо покраснели. На мгновение что-то жестокое появилось в ее лице, но тут же сменилось выражением бессилия и смятения. Казалось, она была очень расстроена и почти готова признать свою вину.

— Ах, мистер Грегори, — взмолилась она, — ну что вы говорите! Поверьте, я не имею ни малейшего представления о том, на что вы намекаете, и прошу вас, не разговаривайте со мной таким грубым тоном. По-моему, вы сами не знаете, что говорите, и, во всяком случае, ничего не знаете обо мне. Очевидно, вы меня с кем-то спутали, к чему-то припутываете, чего я вовсе не знаю. — Она сделала движение, как будто собираясь уйти.

— Одну минуту, — резко проговорил он, — не торопитесь уходить и выслушайте меня. Вы знаете, кто я такой и чем именно я занимаюсь. На свой страх и риск я организовал агентство и веду расследование с тем, чтобы свалить господствующую в городе политическую клику. У меня собрана масса улик, которые нынешней осенью могут доставить мистеру Тилни, мэру и кое-кому еще много неприятностей; они знают об этом, и этим объясняется ваше присутствие здесь. Мистер Тилни связан с мэром и был закадычным другом вашего друга Джека Суэйна. Даймондберг и миссис Скелтон в настоящее время работают на него, так же, как и вы. Думаете, я не знаю, что Каслмен и его прия-

тели орудуют заодно с вами и миссис Скелтон, с Даймондбергом и вашими «маклерами», и что на днях Каслмен пытался врезаться в нашу машину и убить меня, и что все время, пока я здесь, за мной следят и шпионят; да, это так, и я знаю это и ничуть не заблуждаюсь ни в каком отношении, в том числе насчет вас.

И он злобно посмотрел на нее.

— Нет, погодите,— снова поспешно заговорил он, когда она открыла рот и попыталась что-то вымолвить.— Я не считаю вас такой коварной и страшной, как о вас можно подумать, а то я не стал бы с вами разговаривать: все ваше поведение свидетельствовало о другом. Вы проявляли столько сочувствия и дружеского внимания, что иногда мне казалось, может быть, вы не знаете толком, что происходит. Но теперь я вижу — вы все знаете. Ваше поведение за завтраком в то утро заставило меня подумать, может, вы не так плохи, как кажется. Теперь я убедился, что вы все время обманывали меня, как я и полагал, только, должен вам сказать, до настоящей минуты мне не хотелось этому верить. Впрочем, это не первый случай, когда таким образом пытаются опутать человека. Это старый политический трюк, и вы можете проделать его еще раз, но только не со мной, во всяком случае, я постараюсь, чтобы вам это не удалось. Дело ясное, вы, господа любезные, готовы убить меня так же хладнокровно, как Тилни три года тому назад погубил Крозерса, как он готов погубить меня и всякого, кто стоит на его пути, все равно — мужчину или женщину; но я еще не попался к нему в лапы и не попадусь, можете передать ему это от моего имени. Он мошенник. Он главарь банды мошенников — помыкает мэром и всеми, кто с ним заодно,— и если вы тоже с ними заодно, а я знаю, что это так, и знаю, чем вы занимаетесь, стало быть, и вы мошенница.

— Ах, замолчите! — воскликнула она.— Прошу вас! Это так ужасно! Подумать только, как вы со мной разговариваете!

Однако она не пыталась уйти.

— Но это не все, мисс Кэрл, если таково ваше настоящее имя,— продолжал Грегори; она сжала виски ладонями, а при последних его словах снова вздрогнула.— Я уже сказал вам, что не считаю вас столь сквер-

ной, как можно подумать, поэтому я с вами сейчас и разговариваю. Но посмотрите, что получается: вот я молодой человек, моя жизнь, в сущности, только начинается, а вы стараетесь меня погубить. Я жил здесь тихо и спокойно с женой и двухлетним сынишкой, но потом малыш заболел, и жене пришлось уехать с ним в горы, и тогда вы и миссис Скелтон, Даймондберг и Каслмен, «маклеры» и все прочие, кто тут выслеживает меня и шпионит за мной, появились в отеле и стали меня преследовать. Но я не беспомощен. И не думайте, что я не был осведомлен о вашем появлении, меня предупредили. Сейчас на моей стороне не меньше влиятельных людей, чем на стороне Тилни, или будет не меньше,— и ему не удастся выйти сухим из воды так легко, как он рассчитывает. Но подумайте, какую роль играете вы во всем этом деле! Почему вы хотите помочь им и погубить меня? Что я вам сделал? Я могу понять, почему этого хочет Тилни. Он думает, что я располагаю фактами, которые могут повредить ему,— а это так и есть, и поскольку я не сделал никакого публичного заявления, улики все еще в моих руках; значит, если меня убрать с дороги или опорочить мое доброе имя, все пойдет прахом и он будет вне опасности,— но он сильно ошибается! Теперь так не выйдет. Не может выйти. Со мной или без меня, все пойдет своим чередом. Но дело сейчас не в этом. Два месяца тому назад мне сообщили, что здесь появитесь вы,— сообщила не миссис Скелтон, а мои друзья,— и что будет совершено покушение на мою жизнь. (При этих словах Имоджин широко раскрыла глаза, явно изумленная.) И вот вы здесь, точно по расписанию, и делаете все, что вам велено, и, по-видимому, ни капельки не смущаетесь этим. А вы не задумывались над тем, что участвуете в очень гнусной игре?

Он устало посмотрел на нее, а она на него, но ничего не сказала и сидела не шевелясь.

— Голубая машина в тот достопамятный вечер должна была убить меня,— продолжал он, несколько выходя за пределы того, что ему было известно,— все это было условлено задолго до вашего приезда. Не имею ни малейшего понятия, почему вы работаете на Тилни, но теперь я знаю, что именно этим вы занимаетесь, и вы осточертели мне, как и вся эта история. Вы всего-навсего жалкая мошенница, вот вы кто; и вы, как

и вся эта история, надоели мне; знать я вас больше не хочу. Между прочим, к вашему сведению, я не собираюсь уезжать отсюда, и вы, если угодно, можете сообщить об этом Тилни, или миссис Скелтон, или кто там еще занимается его делами. Я вел повседневную запись всех событий, происшедших за это время, и у меня есть свидетели; если со мной здесь еще что-нибудь случится, я обращусь к печати и расскажу все от начала до конца. Если бы в вас оставалась хоть крупица порядочности, вы не занимались бы таким делом, но вы просто-напросто жалкая мелкая обманщица, это вас и выдало,— вот и все, что я хотел вам сказать.

Он поднялся и сделал вид, будто уходит; мисс Кэрл продолжала сидеть, по-видимому, совсем ошеломленная, потом вскочила и закричала ему вслед:

— Мистер Грегори! Прошу вас, подождите! Мистер Грегори, я хочу кое-что сказать вам!

Он остановился и обернулся. Она поспешно подошла к нему.

— Не уходите,— взмолилась она.— Подождите. Подождите минуту. Вернитесь. Я хочу поговорить с вами.

Он посмотрел на нее холодно и сердито, но все-таки остался.

— Ну? — спросил он.

— Вы ничего не знаете,— оправдывалась она, глядя на него с искренним огорчением.— Я не могу вам ничего сказать, сейчас не могу, когда-нибудь скажу, если позволите. Но вы мне нравитесь, и, поверьте, я не желаю вам зла. Поверьте! Я ничего не знаю об этой истории с автомобилем, про которую вы говорите,— уверяю вас, не знаю. Все эти люди мерзкие, отвратительные, и если они пытаются делать нечто подобное, то мне это неизвестно, и я больше не хочу иметь с ними ничего общего,— поверьте! Ах, как это ужасно! — И она заломила руки.— Да, я знаю мистера Даймондберга, это правда, но я не знала его до того, как приехала сюда, и я знаю мистера Суэйна и мистера Тилни. Я появилась здесь с намерением обратить на себя ваше внимание, это так, но мне не сказали, зачем это нужно. Миссис Скелтон сказала мне, что вы или какие-то люди, которые за вами стоят, стараются собрать компрометирующие сведения против кого-то из их друзей — против друзей мистера Тилни, мне кажется,— а они ни в чем не повинны; и что вы несчастливы со своей же-

ной, и если какая-нибудь девушка, все равно какая, сумеет заставить вас полюбить ее или просто подружиться с вами, то она смогла бы убедить вас не делать этого, понимаете? Насколько я знаю, никто не собирался ни убивать вас, ни ранить. Мне не говорили, что на вас хотят напасть, правда, не говорили. Это ужасно, и я об этом в первый раз слышу. Мне сказали только, что им нужен кто-нибудь, кто мог бы удержать вас... предложить вам денег, если удастся. Я не думала, что это так нехорошо, потому что они много сделали для меня в прошлом — мистер Тилни, миссис Скелтон и некоторые другие. Но, когда я увидела вас, я... — она замолчала и посмотрела на него, потом отвела глаза, — я убедилась, что вы не такой человек, понимаете, и... ну, словом, теперь все по-другому. Я не хочу делать ничего, что могло бы вам повредить. Правда, не хочу. Я теперь просто не могу...

— Так вы признаете, что знакомы с мистером Тилни? — мрачно, но втайне торжествуя, заметил Грегори.

— Я ведь уже сказала вам, — ответила Имоджин.

Она замолчала, и Грегори подозрительно уставился на нее. Ясно было, что он ей нравится, и нравится не так, как это бывает при мимолетном флирте; а он... он испытывал к ней некоторое влечение. Он откровенно признался себе в этом. Невзирая на ее хитрость, она очаровательна и, насколько он может судить, пока не сделала ему ничего плохого. Даже теперь она казалась ему такой юной, несмотря на свою испорченность и жизненный опыт, и что-то в ее лице — нежность, мягкая линия волос надо лбом, припухлая верхняя губа — привлекло его и заставило задуматься.

— Ну что же? — спросил он, помолчав.

— Ах, только не сердитесь и не оставляйте меня. Ведь я вам ничего плохого не сделала, правда? Пока, во всяком случае.

— Вот именно: пока! В этом вся суть.

— Да, но я клянусь всем святым, что я и не сделаю ничего такого и не собираюсь делать. Я не лгу. Вы не верите мне, но это правда. Даю вам слово... Почему бы нам не остаться друзьями? Сейчас я больше ничего не могу вам сказать о себе... нет... но когда-нибудь скажу, и я хочу, чтобы вы остались моим другом. Я обещаю не делать ничего, что могло бы доставить

вам неприятность. Ведь я ничего такого не сделала? Правда? Не сделала?

— Откуда мне знать? — резко сказал он, испытующе глядя на нее и в то же время думая, что с ее стороны это просто коварная попытка завлечь его наперекор его воле и удержатъ подле себя. — Мне кажется, вы уже немало сделали хотя бы тем, что связались с этой публикой. Начать с того, что из-за вас я таскаюсь с ними повсюду. Если бы не вы, разве стал бы я ездить на всякие дурацкие прогулки? Или этого мало? Чего же вам еще? А почему вы не можете сказать мне сейчас, кто такие эти люди и что вы о них знаете? — потребовал он, чувствуя себя в какой-то мере победителем. — Мне хотелось бы знать. Это могло бы сослужить мне службу, если бы вы действительно хотели помочь мне. Какие у них планы, чего они добиваются?

— Не знаю. Я не могу сказать вам больше того, что уже сказала, уверяю вас. Если узнаю, может быть, когда-нибудь скажу. Даю слово. Но только не сейчас. Сейчас не могу. Неужели вы не можете мне поверить хоть немножко? Разве вы не понимаете, что, если я так много вам говорю, значит, вы нравитесь мне? Я вовсе не намерена вредить вам, право же. Я многим обязана этим людям, но не настолько, чтобы зайти так далеко. Вы мне не верите?

Словно от горькой обиды она широко раскрыла глаза. В выражении ее лица было что-то новое, завлекающее, ласковое.

— У меня не осталось ни одного близкого человека, — продолжала она, — никого, кто бы мне нравился. Наверно, я сама виновата, но...

Голос ее стал слаще меда.

Грегори был глубоко убежден, что его жена — наилучшая и самая подходящая для него спутница жизни, он очень любил своего ребенка и его заботливую мать и неизменно сохранял ей верность, но, несмотря на это, несмотря на всю осторожность, его все же волновало своеобразное обаяние этой девушки. Откуда у Тилни такая власть над нею, что он может заставить ее заниматься подобным делом? Подумать только... а какая красивая девушка!..

— Что вы знаете о миссис Скелтон? — спросил он. — Кто она, по крайней мере? И здешние садовники? Что им нужно? (В отеле было три садовника,

и всякий раз, как Грегори и Имоджин оказывались вдвоем, они как-то ухитрялись находить себе работу по близости — обстоятельство, вынуждавшее его немедленно удаляться.) И Даймондберг?

Что касается садовников, уверяла она, то ей о них ничего не известно. Если они выполняют поручения миссис Скелтон или кого-нибудь еще, они делают это без ее ведома. С Даймондбергом она познакомилась только в отеле и терпеть его не может. По каким-то соображениям миссис Скелтон просила ее сделать вид, будто она с ним незнакома. Имоджин уверяла, что миссис Скелтон с давних пор знает ее по Цинциннати, как та и говорила, а последнее время они встречались здесь, в городе. Миссис Скелтон помогала ей найти службу, дважды устраивала ее на сцену. Да, одно время, около года, она действительно служила у мистера Суэйна, но только как простая конторщица. Ей никогда ничего не было известно ни о нем самом, ни о его планах и замыслах, никогда. Грегори спросил, как же так вышло, что именно она должна была заманить его в западню, если есть такой замысел, но она стала уверять, будто и понятия не имеет о том, что его собираются поймать в западню. Она знает только то, что она ему рассказала.

Грегори так и не мог разобраться до конца, говорит ли она правду, но все это было довольно правдоподобно, и он думал, что не может же она все время только лгать. Она казалась слишком откровенной и доброжелательной. В ее тоне и поведении сквозило нежное, пылкое чувство. В будущем, уверяла она, он узнает все, если пожелает, но не сейчас, только не сейчас. Затем она спросила его про жену, где она и когда вернется.

— Вы очень ее любите? — наивно осведомилась она в заключение.

— Конечно, люблю. Почему вы спрашиваете? У меня есть сынишка, ему два года, я его просто обожаю.

Она поглядела на него задумчиво, с некоторым замешательством или недоверием, как ему показалось.

Они порешили на том, что останутся такими же друзьями, какими были до размолвки. Он признался, что она ему нравится, но все же он не доверяет ей — во всяком случае, пока. Все должно идти по-прежнему, но при одном условии: отныне что бы с ним ни случилось, она будет за это в ответе. Она откровенно сказа-

ла ему, что над остальными никакой власти не имеет. Они сами себе господа, и до некоторой степени она должна им подчиняться, но по мере сил будет его оберегать. Нет, она не думает, что они намерены еще долго преследовать его. Пусть он с нею не считается и уезжает, если находит нужным. Она может видаться с ним и в другом месте, если он захочет. Она не уверена, что его отъезд повлияет на замыслы его противников. Так или иначе, если он уедет, она не последует за ним,— разве что он сам этого пожелает, и тогда она будет очень рада. Но, возможно, что и здесь больше ничего не случится. Если она что-нибудь услышит, она его предупредит или попытается предупредить в свое время. Но теперь она ничего больше не может сказать. Возможно, что немного позже, как только ей удастся выбраться отсюда... есть вещи, которые от нее не зависят... Она выражалась весьма загадочно и таинственно, и он понял это в том смысле, что она попала в трудное положение, из которого не так-то легко выпутаться.

— В конце концов я не стал бы очень на нее рассчитывать,— рассудил Блаунт, когда Грегори ему обо всем рассказал.— Гляди в оба, вот мой совет. Ни в коем случае не рискуй из-за нее своей репутацией. Кто знает, может быть, она опять врет. Кто раз мошенничал, тот мошенником и останется.

Такова была его философия.

Миссис Скелтон вернулась на третий день после этого разговора с Имоджин, и, несмотря на то, что они, казалось бы, сблизились, как никогда раньше, заключив дружественный полуоборонительный пакт, он все же чувствовал предательство. Он сам не понимал, почему. Имоджин вела себя с ним по-дружески, держалась просто, непосредственно, была мила и даже предупредительна... и все же... в чем тут дело? То он думал, что она, может быть, невольная жертва, попавшая под влияние миссис Скелтон, то, что она совершенно беспринципная политическая авантюристка. Хотя она, по-видимому, и старалась, как он говорил, «быть на высоте», но он сталкивался с нею при таких странных обстоятельствах, что, несмотря на все сказанное ею и в прошлом и теперь, сомневался: может быть, она по-прежнему пытается его скомпрометировать? Как ни был он далек от того, чтобы стать на скользкий путь, все же его отношения с ней начинали обретать очарование

игры, в основе которой лежит непобедимое влечение полов.

Так, однажды, после того, как они до поздней ночи просидели за картами, он вышел на маленькую веранду, с которой открывался великолепный вид на море,— верандой этой заканчивался коридор, где находилась его комната,—и здесь увидел Имоджин—она была одна, в прозрачном платье, веселая, приветливая. Теперь, когда они стали друзьями и между ними состоялся тот памятный разговор, она вела себя так, словно приглашала его установить с ней отношения более близкие и притом ничуть для него не опасные. Она готова оградить его от всего, все взять на себя. В то же время он был далек, очень далек от того, чтобы сдаться. Не раз он уверял ее, что не желает вступать с ней ни в какие романтические отношения, и, однако, вот она у его двери. После он говорил себе, что, возможно, тревожиться тут нет особых оснований, ведь он предупреждал ее, и похоже было, что она пыталась рассеять подозрения, переубедить его. Конечно, здесь мог оказаться любой человек, живущий в отеле (притом и ее собственная комната была где-то поблизости), но главное правило, установленное Блаунтом и до сих пор выполнявшееся Грегори, гласило: никогда, ни при каких обстоятельствах, которые могут быть неправильно истолкованы, не оставаться с нею наедине. К тому же, уходя,—а Грегори тотчас ушел, непринужденно и шутливо извинившись,—он заметил двух мужчин, которые появились из-за угла длинного коридора, и один из них, увидев его, сказал другому: «Должно быть, нам в другую сторону, Джим». Вполне возможно, что и в этом не было ничего особенного. Кто угодно мог случайно зайти туда, где на угловой веранде сидела девушка в весьма прозрачном облачении, но все же...

То же самое случалось всякий раз, когда он вечерами прогуливался за оградой или вдоль дамбы, слушая, как с грохотом бьет в нее морская волна, и размышляя о прелести ночи, красоте отеля и мерзости политики. Он замечал, что, когда вблизи бывали посторонние, Имоджин всегда оказывалась подле него, когда же, как думалось, они на самом деле могли бы спокойно остаться наедине, ее не было. Как-то вечером Буллен, один из маклеров и, по-видимому, не из худших среди своей братии, выйдя с миссис Скелтон и Имод-

жин на прогулку и увидев Грегори, затеял с ним разговор, а затем ушел вместе с миссис Скелтон, оставив Имоджин на его попечении. Не желая показаться до глупости подозрительным, Грегори в то же время был серьезно озабочен и не знал, как же вести себя в подобных случаях. Его теперь постоянно, мучительно тянуло к Имоджин, и все же... Он не раз говорил ей, что не желает оставаться с ней наедине при подобных обстоятельствах, но вот поди ж ты: сама постоянно твердит, что не станет навязываться ему против его желания, а вот полюбуйтесь! Все ее объяснения сводились к тому, что она тут ни при чем, что все это чистая случайность или подстроено без ее ведома. Она бессильна предусмотреть все случайности. Когда же он настаивал, желая выяснить, почему она не уезжает, почему решительно не порвет со всем этим, она объясняла, что не может так поступить, не причинив серьезного вреда себе и миссис Скелтон, а кроме того, для него безопаснее, если она здесь.

— Что это значит? — спросил он ее теперь. — Новая уловка? — Заметив, что она умолкла и отшатнулась, он устыдился. — Ну, вы же знаете, о чем речь, — сердито добавил он.

— Прошу вас, Эд, не будьте таким подозрительным. Ну, почему вы так себя ведете? Что же, по-вашему, мне даже и гулять здесь нельзя? Сегодня вечером я не могла избежать этого, уверяю вас, не могла. Разве вы не понимаете, что и мне приходится играть роль — во всяком случае, временно. Вы хотите, чтобы я собралась и уехала? Я объясняю вам, что не могу. Вы не верите? Неужели вы совсем не доверяете мне?

— Ну, хорошо, хорошо, — проворчал он, очень недовольный собой. — А теперь пойдемте. Сами знаете, я должен опасаться злых языков. — И, взяв ее под руку, он учтиво, но решительно повел ее на главную веранду, стараясь в то же время быть любезным.

— Поймите, Имоджин, я не могу допустить этого и не допущу. Вы должны избегать подобных вещей. Иначе я прекращу всякое знакомство с вами. Вы говорите, что хотели бы по меньшей мере сохранить мою дружбу. Очень хорошо. Но как это сделать?

Поспорив в таком духе еще некоторое время, они расстались не совсем врагами, хотя и очень недовольные друг другом.

К своему великому неудовольствию, Грегори в конце концов убедился, что ограничен в выборе мест для прогулок и отдыха почти в такой же степени, как если бы находился в тюрьме. Когда он впервые приехал в отель, ему приглянулась небольшая аллея со скамьями и цветущими виноградными лозами, расположенная позади лужайки; она стала для него излюбленным местом, где можно было отлично прогуляться и покурить, но теперь ему пришлось от нее отказаться. Он был уверен, что там Имоджин застанет его одного или туда явится с нею миссис Скелтон, чтобы потом оставить его с девушкой наедине, а три садовника или маклеры, вероятно, будут поблизости, готовые выполнить роль свидетелей. Он не мог не думать, что попал в глупое и смешное положение.

Порою Грегори разъезжал с Имоджин и Блаунтом в машине Блаунта, иногда они приглашали и миссис Скелтон, а иногда и нет — как придется, поскольку Блаунт был рядом, это не имело значения; они никогда не ездили далеко, и притом Грегори и Блаунт всегда брали с собой оружие, готовые к любой неожиданности, к любой схватке. Дело это было, по-видимому, рискованное, но приятели несколько приободрились, так как до сих пор им везло и к тому же Имоджин очень нравилась обоим. Теперь, признавшись в своей любви к Грегори, она была с ним необычайно мила, а с Блаунтом весела и любезна, ласково поддразнивала его и называла сторожевым псом. Блаунт был очень горд тем, как ловко они с Грегори справляются со всей этой историей. Не раз, даже в присутствии девушки, он говорил, что в этом есть спортивный интерес, прелесть азартной игры и что Имоджин их не перехитрит, а все это помогает весело проводить время, хотя, может быть, его собственная жизнь и жизнь Грегори или, по крайней мере, их репутация поставлены на карту.

— Действуй, вот мой совет, — твердил Блаунт, увлеченный событиями. — Пусть она как следует в тебя влюбится. Добейся, чтоб она свидетельствовала в твою пользу. Попытайся получить от нее настоящие свидетельские показания, написанные черным по белому. Какой это был бы козырь в избирательной кампании, если бы уж тебя вынудили с него пойти

При всем своем благодушии Блаунт был практичным и дальновидным политиком.

Но Грегори чувствовал, что не способен так поступить. Очень уж она ему нравилась. Никогда не была она так отзывчива, так близка к нему, как теперь. На прогулках они с Блаунтом стали подшучивать над Имоджин, над ее ролью во всей этой истории, спрашивали, нет ли поблизости голубой машины, расставлены ли по местам садовники и кто спрятан вон за этим деревом или за тем домом.

— Зачем вам зря с нами время терять, если у вас не все готово? — говорили они.

Она относилась ко всему снисходительно, даже смеялась и, в свою очередь, подшучивала над ними.

— Берегитесь! Вон, видите, идет шпион! — вскрикивала она, увидев торговца с тележкой или батрака с тачкой.

Все это начинало походить на фарс, но Грегори с Блаунтом решили, что в этом фарсе есть своя прелесть. Пожалуй, они так замучили ее партнеров, что скоро те выйдут из игры. Во всяком случае, оба на это надеялись.

Но едва они пришли к выводу, что заговор не так уж страшен и, видно, дело идет к концу, а миссис Грегори сообщила, что вскоре она сможет вернуться, как вдруг случилось нечто неожиданное. Однажды вечером Блаунт, Грегори и Имоджин возвращались с одной из прогулок, которые теперь не были такими продолжительными, как прежде; верный своему правилу ни в коем случае не действовать по какой-то твердо установленной системе, которая позволила бы врагу подметить и использовать их привычки, Блаунт миновал главные ворота и выехал на боковую дорогу, которая вела к уединенному подъезду, прикрытому с обеих сторон высокой живой изгородью и купой густых сосен. Верные также решению никогда не разлучаться при подобных обстоятельствах, они направились вслед за Имоджин к двери, после того, как Блаунт запер машину, чтобы ее не угнали в его отсутствие. На ступенях подъезда они немного задержались, стали подшучивать над Имоджин, что вот, мол, и ещё один вечер прошел спокойно, только садовники, бедные, верно, умаялись, гоняясь за ними до поздней ночи и рыская в темноте, но она заявила, что устала и ей пора лечь. Она посмеялась над их самодовольством.

— Вы оба думаете, что умнее вас никого на свете нет? — устало усмехнулась она. — Вам пошло бы на

пользу, если бы с вами обоими что-нибудь случилось,—слишком уж вы умные.

— Серьезно? — едва сдерживая смех, сказал Блаунт.— Ну, не стоит по этому поводу устраивать полуночных конференций. Зачем вам терять дорогие часы сна?

А Грегори прибавил:

— Правда, Имоджин, у вас столько работы, вы должны поберечь себя.

— Да замолчите вы и ступайте домой,— сказала она со смехом, направляясь к двери.

Но не прошли они и ста пятидесяти футов по боковой тенистой дорожке, как она, запыхавшись, нагнала их. Услышав ее шаги, они обернулись.

— Послушайте! — приблизившись, кокетливо сказала она.— Мне так неловко вас беспокоить, но кто-то запер дверь, и я не могла ни открыть ее, ни достучаться. Может быть, кто-нибудь из вас пойдет со мной и поможет? — И, видя, что оба повернули, она прибавила: — Ах, да. Я и забыла. Вы ведь никогда не расстаетесь!

Блаунт фыркнул. Усмехнулся и Грегори. Нельзя было удержаться. Иногда все это выходило просто нелепо — вот как сейчас, к примеру.

— Но представьте себе,— пошутил Грегори,— вдруг дверь так плотно закрылась, что мы сумеем открыть ее только соединенными усилиями.

Видя, что Блаунт действительно готов пойти, он передумал.

— Пожалуй, я и один сумею открыть дверь. Не беспокойся на этот раз. Все равно я иду к себе,— добавил он.

У него мелькнула мысль, что неплохо бы побыть с Имоджин наедине хоть несколько минут...

Блаунт оставил их, предостерегающе подмигнув и весело пожелав им доброй ночи. За все время совместного пребывания в отеле они ни разу не решались так поступать, но сейчас, по-видимому, не было оснований беспокоиться. Грегори никогда еще не чувствовал такой близости к Имоджин. Она казалась особенно сердечной, радостной, веселой. Вечер был душный, но приятный. Они болтали о пустяках, шутили, и ему захотелось побыть с ней еще немного. Она как-то вошла в его жизнь и была таким милым другом, или ему просто так казалось. Он взял ее под руку.

— А хорошо было в Беркли,— сказал он, думая о гостинице, откуда они только что приехали.— Красивый парк... и эта музыка! Замечательно, не правда ли? (Они там танцевали.)

— Лето скоро пройдет,— со вздохом сказала она,— и мне придется вернуться домой. Как было бы хорошо, если бы оно никогда не кончалось. Мне хотелось бы жить тут всегда, вот так, как сейчас, вместе с вами.— Она остановилась, посмотрела на вершины деревьев, глубоко вздохнула и протянула руки.— Посмотрите на этих светлячков,— промолвила она,— правда, они чудесные? — Она отступила на шаг, следя за мелькающими среди деревьев светляками.

— Может быть, посидим немного? — предложил он, когда они подошли к подъезду.— Еще не поздно.

— Вы серьезно? — радостно спросила она.

— Понимаете ли, я становлюсь таким дураком, что хочу верить вам. Разве это не глупо? Но я даже рискну побыть с вами минут пятнадцать.

— Мне хотелось бы, чтобы вы оба хоть когда-нибудь перестали дразнить меня,— просительно сказала она.— Мне хотелось бы, чтобы вы научились доверять мне и иногда расставались с Блаунтом: ведь сколько раз я говорила, что не собираюсь делать ничего, что может вам повредить, не предупредив вас об этом.

Грегори, польщенный, смотрел на нее. Он был расстроен, жалея ее и еще больше самого себя.

Он понимал, что невольно, несмотря на жену и ребенка, вступил на путь, на который не должен был вступать, и вместе с той, кого он, по совести, не мог уважать. Он прекрасно сознавал, что ни теперь, ни когда-либо в будущем им не быть вместе. И все же он медлил.

— Ну вот наконец мы и одни,— проговорил он.— Теперь вы можете делать ваше черное дело, меня никому защитить.

— Это было бы вам уроком, господин хитрец. Предложи я вам посидеть со мной минутку, так вы вообразите, что за каждым деревом прячется шпион. Смешно смотреть, как вы себя ведете. Но как бы то ни было, а вам придется подождать, пока я поднимусь наверх переменить туфли. Жмут ужасно, терпения нет. Если хотите, пройдите к веранде, или я вернусь сюда. Я сию минуту. Не возражаете?

— Ну, конечно, нет,— согласился он, подумав, что веранда — слишком уединенное место, здесь, у подъезда, безопаснее.— Пожалуйста, идите. Но лучше возвращайтесь сюда. Я тут пока покурю.

Он достал сигару и собирался расположиться с удовольствием, но она вернулась.

— Вам придется открыть мне дверь,— сказала она.— Я совсем о ней забыла.

— Ах да, разумеется.

Он подошел к двери, поискал сначала большой ключ, который в это позднее время всегда висел сбоку, и, не найдя его, взглянул на замочную скважину. Ключ был там.

— Это я пробовала открыть,— объяснила Имоджин.

Он взялся за ключ, и, к его изумлению, замок поддался без малейшего усилия с его стороны, что заставило его обернуться и посмотреть на нее.

— Кажется, вы говорили, что дверь не открывается,— сказал он.

— Раньше не открывалась. Не знаю, почему замок сейчас поддался, а тогда я не могла открыть. Возможно, кто-нибудь прошел здесь с тех пор. Ну, я побегу и сию минуту вернусь.— Она побежала вверх по широким ступеням.

Грегори вернулся на прежнее место; ему было немного смешно и даже в голову не приходило, что в этом есть нечто странное или неладное. Все могло быть именно так, как она говорила. Бывает, что замки иногда шалят, а может быть, кто-нибудь уже проходил и открывал дверь. Зачем постоянно сомневаться? Возможно, что она действительно любит его, как уже давала это понять, сильно влюблена и никому не позволит воспользоваться ею как оружием против него. Вполне возможно. Нет, в самом деле, продолжал он размышлять, она теперь совсем не такая, какой он вначале ее считал и какой она тогда была, она попала в сети собственных чувств и, подчиняясь ему, ведет себя совсем не так, как рассчитывала. Не будь он женат счастливо, может быть, из этого что-нибудь и вышло бы, думал он.

Темно-зеленая стена деревьев, встававшая неподалеку, желтый свет, льющийся из стеклянного шара, вделанного в потолок, светляки и звенящие цикады — все успокаивало и развлекало его. Он начинал думать, что в

конце концов политика,— по крайней мере, та, к которой он причастен,— не такое уж плохое занятие, даже когда тебя преследуют. До сих пор он недурно зарабатывал, снабжая превосходной информацией некоторые газеты и политические организации — самая замечательная была припасена напоследок,— а это дело открывало перед ним гораздо более выгодные перспективы, чем те, что были у него во времена работы в газете; новое поприще, если не считать того, что произошло за последние несколько недель, представлялось ему достаточно заманчивым. Скоро он нанесет местным заправилам убийственный удар. Тогда он сможет занять видное положение в городе. Его не так-то легко провести, как они полагали; к тому же эта очаровательная девушка влюбилась в него.

Некоторое время он смотрел вдоль темно-зеленой аллеи, по которой они пришли, затем стал беззаботно созерцать какое-то созвездие, видневшееся над макушками деревьев. Вдруг... а может быть, и не вдруг?... шепот или только намек на шепот... словно что-то коснулось его слуха и, когда он прислушался повнимательнее, как будто легкие шаги зазвучали по ту сторону живой изгороди. Звук был так слаб, что его можно было принять за шелест травы или колебание веток. Грегори мгновенно насторожился, все его мускулы напряглись, и он весь внутренне подтянулся — не потому, что ожидал чего-нибудь ужасного, но... неужели они опять взялись за старые трюки? Опять эти таинственные садовники? Когда же это кончится? Вынув изо рта сигару и остановив качалку, на которой он медленно покачивался, он решил не двигаться, даже не шевелить руками, так удачна была его позиция; справа и слева столбы, находившиеся между ним и кустами, служили ему прикрытием, и он мог видеть, сам оставаясь невидимым. Знают ли они, что он здесь? Как они могли узнать? По-прежнему непрерывно следят за ним? Имеет ли она к этому отношение? Он решил было встать и уйти, но тут же подумал, что лучше немного повременить, выждать и посмотреть, что будет. Он уйдет, а она вернется и не найдет его на месте... Но неужели готовится какой-то новый подвох?

Быстро обдумывая все это, он в то же время до последней степени напрягал слух. Сомнений быть не могло — кто-то тихо шел слева по ту сторону ограды, и не

один, а двое: как только одни шаги затихли где-то совсем рядом, оттуда же послышались другие, такие легкие и осторожные, будто кто-то крался на кошачьих лапах... Шпионы, провокаторы, даже убийцы — мог появиться кто угодно, он это понимал. Кто-то прятался и подкрадывался, и это так действовало на нервы, было так страшно и так тяжело, что ему стало не по себе. Да, видно, не следовало отпускать Блаунта и задерживаться здесь. Он готов был уйти, его пробирала дрожь, но тут ему показалось, что он слышит шаги Имоджин, спускающейся по лестнице. Значит, она все-таки возвращается. Она здесь ни при чем, напрасно он этого боялся... или, может быть... Кто скажет? Но уйти теперь было бы глупо. Она увидела бы, что он снова ей ни в чем не доверяет, а такие отношения между ними, казалось, уже кончались. Она не раз обещала не только не вредить ему, но и оберегать его от всей этой компании. Нет, сначала он скажет ей о людях, которые прячутся за изгородью, а потом уйдет. Он скажет ей, что они по-прежнему следят за ним, готовые в любую минуту злоупотребить его доверчивостью.

Но вот ее шаги раздались у конца лестницы и затихли, а она не появлялась. Вспыхнула лампочка по ту сторону двери, обычно не горевшая в этот поздний час, и, оглянувшись, Грегори увидел — или ему почудилось, что увидел, — тень Имоджин на стене справа. Она что-то делала... но что? Под лампочкой было зеркало. Может быть, она поправляла волосы. Пожалуй, чтобы показаться ему в новом виде, она принарядилась. Он ждал. Она не появлялась. Тогда предчувствие какого-то предательства мгновенно охватило его, леденящее ощущение, что он обманут и на краю гибели. Он почувствовал, как все в нем затрепетало от страха, и что-то шепнуло ему: «Вперед! Живей! Беги!» Больше он не мог усидеть на месте ни секунды и, словно от мощного толчка, вскочил на ноги и кинулся к двери: тут ему опять показалось, что он слышит в темноте за оградой движение и даже шепот. Что такое? Кто это? Сейчас он все выяснит!

Вбежав в дверь, он осмотрелся и увидел Имоджин, но что с ней случилось! Когда она пошла наверх, на ней было легкое летнее платье, очень модное и нарядное, а сейчас она была в мягкой, плотно облегающей домашней одежде, в какой никто бы не стал выходить из отеля.

И она не оделась с привычной для нее аккуратностью, а, напротив, явилась в полном беспорядке, словно ей пришлось выдержать ожесточенную и неравную борьбу. Ворот был надорван и распахнут, рукав лопнул у кисти и на плече, юбка съехала набок и тоже была порвана выше колен. Лицо было мертвенно-бледно не то от пудры, не то от испуга и отчаяния, а прическа в таком беспорядке, будто кто-то трепал ее и сбил на сторону. Словом, у Имоджин был вид человека, на которого было совершено злодейское покушение и который вышел из схватки в растерзанном виде и дрожа от страха.

Хотя Грегори бросил на нее лишь беглый взгляд, эта перемена в ее внешности поразила его. Он до такой степени был застигнут врасплох, что не мог выговорить ни слова, но его как будто осенило, и он мгновенно понял смысл всего происшедшего. Его единственной мыслью было — убежать, убраться подальше, чтобы его не увидели, не застали тут. Он отскочил к лестнице и помчался наверх, прыгая через три ступени: на бегу он оглянулся, бросил на нее изумленный, злобный и испуганный взгляд и встретил растерянный и испуганный взгляд ее широко раскрытых глаз, но и это не удержало его. Он перевел дух, только когда достиг своей комнаты, вбежал в нее и запер за собой дверь. Очутившись у себя, он остановился, трясущийся и бледный как полотно, прислушиваясь, не раздастся ли какой-нибудь звук, нет ли погони, но, не услышав ничего, подошел к зеркалу и стал издеваться над собой, над тем, что он такой дурак, так легко дал себя перехитрить, полез в ловушку после всех принятых предосторожностей и умных речей. «О, господи!» — вздыхал он.

А ведь клялась и обещала, даже сегодня вечером. Вот она, коварная и непостоянная человеческая природа! Значит, все это время она лгала ему, водила за нос, несмотря на всю его самонадеянность, принятые предосторожности и подозрения, а сейчас, в конце сезона, едва не залучила в западню. Значит, Тилни нелегко провести. Он добился от своих подчиненных такой ловкости и покорности, о каких Грегори и не подозревал. Но что же он ей скажет теперь, когда узнал, что она собой представляет, если только когда-нибудь снова ее увидит? Она просто посмеется над ним, она считает его дураком, хотя ему и удалось удрать. Захочет ли он сно-

ва видеть ее? Никогда, решил он. Но подумать только, что такая юная, такая нежная и, казалось, влюбленная девушка может быть так безжалостна, дьявольски хитра и жестока! Она гораздо изобретательней, чем думали они с Блаунтом.

Придвинув к двери стол и стулья, он позвонил Блаунту, сел и стал его поджидать.

Теперь ему было совершенно ясно, что она замышляла разыграть жертву мнимого нападения, а он оказался бы в роли преступника, и если бы его противники собрали достаточно свидетелей, ему нелегко было бы доказать свою невиновность. Ведь и его и Блаунта часто могли видеть с ней, хоть он и дал себе слово остерегаться этого.

Ее свидетели скрывались совсем рядом, в темноте, и ждали только подходящей минуты. Даже если бы ему удалось доказать свое пристойное поведение в прошлом, все равно, принимая во внимание то подозрительное обстоятельство, что он заигрывал с ней, и эту коварную ситуацию, — разве присяжные и публика поверили бы ему? Еще секунда-другая, и она закричала бы, что он на нее набросился, подняла бы на ноги весь отель. Ее тайные сообщники ринулись бы к нему и избили его. А может быть, и убили. Кто знает? Потом сказали бы, что защищались от нападения. Бесспорно, она и ее приятели нашли бы пропасть свидетелей. Но она не закричала... вот это странно, хотя времени у нее было вполне достаточно (это несомненно), и от нее этого ожидали, и она должна была закричать! Почему же она не крикнула? Что удержало ее? Странная, беспокойная, оправдывающая ее мысль казалась все более вероятной, но тут же он сделал все, что мог, чтобы ее заглушить.

«Нет, нет! С меня довольно, — сказал он себе. — Она хотела скомпрометировать меня — вот и вся разгадка. И каким образом! Ужасно! Нет, все кончено. Завтра же уезжаю, это решено, поеду в горы к жене или увезу ее домой».

Между тем он сидел весь дрожа, вытирая со лба пот, с револьвером в руке: как знать, может быть, они еще явятся за ним и попытаются обвинить его в покушении. Попытаются ли... смогут ли? Тут кто-то постучал в дверь, и Грегори, выяснив, что это Блаунт, открыл ему. Он торопливо рассказал Блаунту о своих мытарствах.

— Да,— мрачно и в то же время не без удовольствия проговорил Блаунт.— Эта на все пойдет. Хитрая уловка, что ни говори, подстроено на диво. А какая у нее выдержка! Ведь шутила с нами на эту тему! Я считал, что ты рискуешь, но не думал, что так сильно. Я уже начал было думать, что за нею ничего такого нет, и вот не угодно ли! Согласен, пора уезжать. Едва ли тебе удастся перетянуть ее на свою сторону. Она слишком хитра.

На следующее утро Грегори поднялся рано, вышел на веранду и стал курить, обдумывая создавшееся положение. Да, теперь он уедет и, возможно, никогда больше не увидит эту девчонку с дьявольским сердцем. Какое откровение! Подумать только, что в мире рядом с такими женщинами, как его жена, существуют такие коварные, безжалостные, красивые сирены. Сравните их: его жена — верная, самоотверженная, терпеливая, ее единственная забота — благополучие тех, кого она преданно любит; и положите на другую чашу весов эту девчонку — лживую, наглую актрису, лишенную стыда и совести, для которой, по-видимому, единственная цель в жизни — пробиться любыми средствами за счет всех и вся!

Он хотел уехать, не повидав ее, но невольно продолжал сидеть и рассуждать, что ничего плохого не случится, если он в последний раз поговорит с ней, чтобы выяснить, действительно ли она собиралась кричать... действительно ли она такая порочная, как он думает. Он скажет ей в лицо об ее чудовищном предательстве и уличит в злодействе. Интересно, какая новая ложь готова у нее на языке? Сможет ли она смотреть ему в глаза? Попытается ли все объяснить? Сумеет ли? Ему хотелось еще раз взглянуть на нее, но не предпочтет ли она избежать этой встречи? Сейчас, наверно, она думает о том, какая неудача постигла ее, как она промахнулась, а ведь только вчера она держала его руку, гладила ее и шептала ему, что она не такая уж плохая, мерзкая, как он думает, и что когда-нибудь он сам в этом убедится. И вдруг, на тебе!

Он ждал довольно долго, а затем послал сказать ей, что желает ее видеть. Ему не хотелось, чтобы все так и кончилось,— он хотя бы попрекнет ее и посмотрит, как она будет изворачиваться. Спустя некоторое время она появилась, бледная и, видимо, измученная, в глазах

была такая усталость, будто она не спала всю ночь. К его изумлению, она непринужденно подошла к нему, и когда он поднялся, готовый дать ей отпор, она остановилась с выражением такой слабости и беспомощности, какого у нее еще не бывало. «Как играет!» — подумал Грегори. Он никогда еще не видел ее такой подавленной, совсем обессиленной и поникшей.

— Итак,— начал он, когда она остановилась перед ним,— какую новую ложь вы приготовили для меня?

— Никакой,— мягко ответила она.

— Что такое?! Совсем не собираетесь лгать? Но, по крайней мере, вы начнете с притворного раскаяния? Собственно говоря, вы уже с этого начали. Разумеется, вас заставили ваши друзья! Да? Там был Тилни... и миссис Скелтон. Они поджидали вас и, когда вы поднялись наверх, точно указали вам, что и как делать, не так ли? И вам пришлось послушаться, не правда ли? — Он язвительно усмехнулся.

— Я уже сказала вам, что мне нет нужды говорить что-либо,— ответила она.— Я ничего не сделала... ничего не собиралась делать... только подать вам знак, чтобы вы убежали, но вы так на меня налетели...

Он нетерпеливо махнул рукой.

— Ну, хорошо,— печально продолжала она.— Как я могу убедить вас, когда вы мне не верите? А все-таки я говорю правду. Все ваши подозрения напрасны, вот только насчет случая с автомобилем вы правы, но я больше не прошу вас верить мне. Я ничего не могу поделать, раз вы не верите. Слишком поздно. Но мне придется испить чашу до дна. Прошу вас, Эд, не смотрите на меня так... так сурово. Вы не знаете, как я слаба и измучена и что вынуждает меня к подобным поступкам. Но вчера, когда я ушла от вас, я не хотела делать ничего такого, что могло бы вам повредить. И не сделала. У меня не было ни малейшего намерения, уверяю вас. Ну, что ж, смейтесь, если хотите! А что я могла поделать, все равно ничего... хотите верьте, хотите нет. У меня и в мыслях этого не было, когда я переступила порог комнаты, только... ох, до чего я дошла! — неожиданно воскликнула она.— Вы не знаете, как у меня все перепуталось в жизни. Разве ваша жизнь такая, как моя! Вы не попадали в унижительное положение, когда другие могут заставить вас делать то, что им надо. В том-то вся и беда... мужчины не понимают женщин.

— Что верно, то верно,— вставил он.

— А мне приходилось многое делать против воли... но я вовсе не хочу разжалобить вас, Эд. Я знаю, это бесполезно, и между нами все кончено, только поверьте, как я ни плоха по отношению к вам, я никогда не хотела быть такой плохой, какой казалась. Уверяю вас, не хотела. Вот, честное...

— Да бросьте вы! — злобно проговорил он.— Противно! Я не для того посылал за вами, чтобы выслушивать весь этот вздор. Я просил вас спуститься только затем, чтобы посмотреть, решитесь ли вы, хватит ли у вас наглости прийти сюда,— поверьте, только за этим... просто хотел посмотреть, можете ли вы изобрести новую ложь, и я вижу, что можете. Вы редкая мошенница, вот вы кто! И я хотел бы просить вас об одном одолжении: не будете ли вы так любезны отныне оставить меня в покое. Я устал и не могу этого больше выносить. Я уезжаю. Этот Тилни, на которого вы работаете, очень хитер, но теперь кончено. Хватит. Ручаюсь, что больше вы меня не проведете.

Он направился к выходу.

— Эд! Эд! — позвала она.— Прошу вас... одну минуту... не уходите, Эд,— молила она.— Я хочу сначала кое-что сказать вам. Я знаю, все, что вы говорите,— правда. Вы не можете добавить ничего такого, что я уже не говорила себе тысячу раз. Но вы не знаете, какая у меня была жизнь, что я пережила, как меня бросало из стороны в сторону, и все равно я не могу вам рассказать... нет, только не теперь. Наша семья никогда не занимала положения, о котором говорила миссис Скелтон... Впрочем, вы, конечно, и сами это знаете... я была хуже невольницы, я переживала тяжкие, ужасные времена.— Она приложила к глазам платок.— Я знаю, я ни на что не гожусь. Да, да, вчерашний вечер убедил меня в этом. Но я не хотела причинить вам вред, даже когда появилась одна и в таком виде... уверяю вас, не хотела. Я притворялась, будто собираюсь это сделать, вот и все. Выслушайте меня, Эд. Прошу вас, не уходите. Я думала, что сумею тайно подать вам знак, чтобы вы убежали... уверяю вас. Когда я в первый раз ушла от вас, дверь была заперта, и только поэтому я вернулась. Думаю, они нарочно сделали так, чтобы я не могла ее открыть. Наверху были люди; они заставили меня вернуться... не могу вам сказать, как, и почему, и кто...

Но они были тут как тут... как всегда. Они решили поймать вас, Эд, любым путем, даже если я не помогу им,— прямо говорю, будьте осторожны. Прошу вас. Уезжайте отсюда! Порвите со мной всякие отношения. Порвите всякие отношения со всеми этими людьми. Я не могу ничего поделать, честно говорю, не могу. Я не хочу, но... ах...— Она заломила руки и в изнеможении опустилась на стул.— Вы не знаете, в каком я положении, как они...

— Да? Вот что, я устал от этого вздора,— мрачно и недоверчиво сказал Грегори.— Думаю, что они велели вам прийти сюда и наговорить все это, чтобы снова завоевать мою благосклонность. Ах вы, лгунья! Вы мне опротивели! Какая же вы в самом деле подлая обманщица!

— Эд! Эд! — Она уже рыдала.— Умоляю вас! Эд! Неужели вы не хотите понять? С тех пор, что я здесь, они караулили у всех дверей всякий раз, как мы куда-нибудь ездили. Не имеет значения, в какую дверь вы войдете. Их люди стерегут повсюду. Я не знала об этом, пока не поднялась вверх. Уверяю вас, не знала. Ах, если бы мне вырваться! Мне так все омерзительно. Я говорила вам, что люблю вас, и это правда. Ах, я просто с ума схожу! Иногда мне хочется умереть, так мне все опостылело. Моя жизнь так ужасна и отвратительна, а вы, вы теперь будете ненавидеть меня.

Она тихо плакала, со страдальческим видом раскачиваясь из стороны в сторону.

Грегори смотрел на нее изумленно, но недоверчиво.

— Да,— упорствовал он,— все это мне известно. Все тот же вздор. Не верю. Вы лжете теперь, как и всегда. Вы плачете и притворяетесь печальной, чтобы опять обмануть меня, но не выйдет. Хватит с меня, раз и навсегда, я вас знать больше не желаю. Я обратился бы к полиции, но при теперешних городских властях это бесполезно. И вот что я вам скажу. Если вы или кто другой из этой шайки будете продолжать меня преследовать, я обращусь к печати. Найдется какая-нибудь возможность передать это дело в суд, и я ею воспользуюсь. А, если бы вы действительно были «на высоте» и хотели что-то сделать для меня, что ж, это вы могли бы вполне, но где там... вы ничего не сделаете, если бы и представился случай, ни сейчас, ни через миллион лет. Не сделаете, я уверен.

— Ах, Эд! Вы меня не знаете, не знаете, что я чувствую и на что способна,— захныкала она.— Вы даже не хотите испытать меня. Если не верите, так скажите, что нужно сделать, и убедитесь сами!

— Что ж, пожалуйста,— решительно сказал он.— Сейчас я выведу вас на чистую воду. Сделайте признание, опишите все, что здесь творилось. При мне продиктуйте это стенографистке, потом пойдите со мной к нотариусу или к прокурору и все подтвердите под присягой. Вот теперь увидим, насколько ваши речи о любви ко мне соответствуют истине — Он пристально следил за ней, а она смотрела на него — и слезы высыхали на ее глазах, рыдания замирали. Казалось, она несколько овладела собой и в раздумье уставилась в пол.— Ну что? Это дело другое, а? Теперь мне все ясно. Вы полагали, что я не сумею вывести вас на чистую воду, не так ли? Вот все и выходит по-моему, вы не решаетесь. Теперь я вас раскусил, желаю здравствовать! Наконец-то я узнал вам цену. Прощайте!

И он пошел прочь.

— Эд! — крикнула она, вскочила и бросилась за ним.— Эд! Подождите... не уходите! Я сделаю то, что вы просите. Сделаю все, что хотите. Вы не верите мне, но я это сделаю. Мне опротивело так жить, уверяю вас. Пусть они потом поступают со мной, как хотят, мне все равно. Прошу вас, Эд, не будьте так жестоки. Разве вы не видите... Неужели не видите... Эд... как вы мне дороги? Я с ума по вас схожу, это правда. Я не такая уж плохая, Эд, серьезно... Неужели вы не видите? Только... только...— Тут он вернулся и недоверчиво посмотрел на нее.— Неужели вы не можете хоть немножко полюбить меня, Эд? Ну хоть совсем немножко! Если я все сделаю, как вы хотите...

Он смотрел на нее со смешанным чувством изумления, недоверия, отвращения, жалости и даже своего рода нежности. Сделает ли она, как говорит? А если сделает, сможет ли он ответить ей чувством, которого она жаждет? Нет, он знал это. Ей никогда не удастся отвязаться от этой ужасной банды, от своего прошлого, от воспоминаний о том, как она пыталась обмануть его, а он... у него жена. Он по-настоящему счастлив со своей женой, и ему нет иного пути. И притом — его карьера, его будущее, уже достигнутое им положение. Но ее прошлое... в чем там дело? Возможно ли, чтобы люди, в

особенности такие негодяи, могли так распоряжаться человеком, как она говорит, и почему она не расскажет ему все? Что же она сделала столь ужасное, что они имеют над нею подобную власть? Даже если бы он и любил ее и мог ей безусловно верить, есть ли у него надежда одолеть шайку тайных врагов, которая осаждает сейчас их обоих, или ускользнуть от преследований? Их опорочат: все, как есть, в подробностях, в наихудшем освещении, выставят напоказ. И тогда он не сможет сам выступить и бросить этой банде обвинение, не сможет предстать как защитник народа. Нет, нет и нет! Но почему она, столько раз пытавшаяся повредить ему, теперь приходит ему на помощь? Или, может, она надеется, что он в благодарность что-нибудь сделает для нее? Он хмуро, чуть печально улыбнулся.

— Да. Так вот, Имоджин, я не могу говорить с вами на эту тему — во всяком случае, сейчас. Вы либо величайшая актриса и обманщица, какую только видел свет, либо наивны до последней степени. Как бы то ни было, нетрудно понять, что при создавшихся условиях, да еще после вчерашнего, вы едва ли можете рассчитывать на мою благосклонность, не говоря уже о любви. Очень возможно, что вы и сейчас лжете, — играете, как обычно. Пусть так... Но прежде посмотрим, исполните ли вы то, что я сказал, тогда и поговорим.

Он посмотрел на нее, затем на море, где виднелись плывущие к берегу лодки.

— О Эд, — печально сказала она, заметив его рассеянность, — вы никогда не узнаете, как я люблю вас, хотя нельзя не понять, что я должна очень любить, если решаюсь пойти на такой риск. Для меня не может быть ничего хуже... Возможно, я погублю себя. Но мне бы хотелось, чтобы вы попробовали хоть немного полюбить меня, пусть ненадолго.

— Давайте не будем сейчас говорить об этом, Имоджин, — недоверчиво отозвался он, — во всяком случае, пока не порешим насчет письменных показаний. Уж столько-то вы обязаны для меня сделать. Вы ведь тоже не знаете, какая у меня была жизнь, какую непрерывную борьбу я вел, чтобы выдвинуться. Но если вы согласны, едемте сейчас же, в том виде, как вы есть. Не стоит подниматься наверх, чтобы надеть шляпку... или сменить туфли. Я достану машину, и вы поедете со мной вот так, какая есть.

Она посмотрела на него просто, прямо, устало.

— Отлично, Эд, но мне хотелось бы знать, чем все это кончится. После того как им все станет известно, вы понимаете, я не смогу вернуться сюда. Я сознаю, что обязана сделать это для вас. Но ведь я такая глупая... С женщинами всегда так, когда они любят, потому-то я и дала себе зарок никогда не влюбляться, а видите, что получилось!

Они вместе поехали в город, в его контору, к нотариусу, к прокурору — успех невероятный. Она рассказала все или почти все: как она попала на службу к Суэйнну, как встретила там Тилни, как, когда Суэйнн сбежал, Тилни давал ей разные поручения: она была секретарем, писала под диктовку; как она стала считать его своим покровителем; где и как познакомилась с миссис Скелтон и как последняя, по требованию Тилни (она не уверена, но, по ее мнению, это был приказ), обязала ее или, точнее, приказала ей взяться за это дело; однако Имоджин отказалась сообщить, каким образом ее принудили, заявив, что расскажет об этом позже. Она сказала, что сейчас боится говорить все до конца.

Завладев этим документом, Грегори был вне себя от радости, и все же сомнения не покидали его. Она спросила, что же теперь, что нужно еще, и он предложил ей немедленно оставить его и не встречаться с ним, пока он все не продумает и не решит, как поступать дальше. Между ними не должно быть ничего, даже дружбы, уверял он, до тех пор пока он рано или поздно не убедится окончательно, что ничего не угрожает ему, его жене, его делу. Время все покажет.

И однако, две недели спустя, когда она позвонила ему в контору и объяснила, что должна увидеть его хоть на минуту, сказать ему два слова, где угодно, по его усмотрению, — они снова встретились, лишь ненадолго, как внушил он себе и ей. Это было глупо, ему не следовало этого делать, и все же... При этом свидании Имоджин как-то сумела предъявить такие права на его чувства, что их нелегко было отвергнуть. Встреча состоялась в одном из маленьких боковых помещений довольно старомодного ресторана «Грил Парзан», в деловой части города. Она торжественно поклялась, что просила о встрече только потому, что хотела еще раз увидеть

его; по ее словам, она пришла сюда, раз и навсегда покинув «Тритон», и, как понял Грегори, не вернется туда даже за своим гардеробом и будет скрываться в скромном квартале города, пока не решит, как ей быть дальше. Она казалась очень сиротливой, усталой и сама говорила об этом. Она не знала, что с ней теперь будет, что может обрушиться на нее. Но если бы он перестал думать о ней дурно, она не чувствовала бы себя такой несчастной. Он невольно улыбнулся: по-видимому, она страстно верит в магическую силу любви. Подумать только, как любовь изменила женщину! Это было трогательно, но и печально. Он питал к ней чисто платонические чувства, как он говорил себе, искренне в это веря. Ее отношение к нему было приятно, даже волновало его.

— Но чего же вы ждете от меня? — спрашивал он снова и снова. — Вы ведь знаете, что это не может так продолжаться. У меня — жена и маленький сынишка. Я не сделаю ничего, что может причинить им зло, а к тому же — начинается избирательная кампания. Даже эта встреча непростительная глупость с моей стороны. Я рискую своей карьерой. Этот завтрак должен быть последним, вот мое слово.

— Итак, Эд, вы пришли к твердому решению, — сказала она в самом конце завтрака, грустно глядя на него. — Значит, вы больше не хотите меня видеть? Вы так отделились от меня с тех пор, как мы вернулись в город. Я неприятна вам, Эд? Неужели я действительно такая скверная?

— Но, Имоджин, вы же сами видите, как все получается, правда? — продолжал он. — Это невозможно. В той или иной степени вы связаны с этой бандой, пусть помимо вашего желания. Вы сами говорите, что они многое знают о вас и, разумеется, не замедлят этим воспользоваться, если им будет выгодно. Конечно, они еще ничего не знают о вашем признании, если вы им сами не сказали; думаю, что они и не узнают, если только меня не вынудят воспользоваться этим документом. А мне приходится думать о жене и ребенке, и я не хочу делать ничего такого, что может повредить им. Если бы Эмили узнала, это просто убило бы ее, а я этого не хочу. Она всегда была мне другом, и мы многое пережили вместе. Я все обдумал и убежден, что так будет лучше. Мы должны расстаться, и я пришел сказать вам,

что не могу больше видаться с вами. Это невозможно, Имоджин, разве вы не понимаете?

— Даже иногда?

— Никогда. Это просто невозможно. Вы мне нравитесь, и очень хорошо, что вы помогли мне выпутаться из скверной истории, но поймите, это невозможно. Неужели не понимаете?

Она посмотрела на него, на мгновение опустила глаза, затем стала глядеть в окно, поверх городских крыш.

— Ах, Эд, как я была глупа,— печально промолвила она.— Я говорю не о признании... я рада, что сделала его... а обо всех своих поступках в целом. Но вы правы, Эд. Я всегда чувствовала, что все кончится именно так, даже в то утро, когда согласилась сделать признание. Но я старалась верить и надеяться — просто потому, что с самого первого дня, как увидела вас, поняла, что не смогу справиться со своим чувством и, вы видите, так и вышло. Ну что ж, Эд. Давайте простимся. Любовь грустная штука, правда? — И она стала надевать шляпу, затем пальто.

Он помогал ей и все думал о том странном вихре обстоятельств, который сначала столкнул их, а теперь отбрасывает в разные стороны.

— Мне бы хотелось что-нибудь сделать для вас, Имоджин, поверьте,— сказал он.— Мне хотелось бы сказать вам что-нибудь, отчего бы вам... нам обоим... стало немного легче... но что толку? Все равно это бесполезно, правда?

— Да,— с горечью сказала она.

Он провел ее к лифту, вышел с ней на тротуар, и там они на минуту остановились.

— Да, Имоджин...— Он умолк, потом продолжал:— Не так хотелось бы мне расстаться с вами, но... что поделаешь...— Он протянул руку.— Желаю счастья и прощайте.

Он уже хотел уйти.

Она умоляюще взглянула на него.

— Эд,— сказала она.— Эд, подождите! Разве... неужели вы не хотите?..

Она протянула ему губы, глаза ее затуманились.

Он шагнул к ней, обнял ее и поцеловал. В тот же миг она прильнула к нему, словно хотела излить все свое чувство в этом их первом и последнем поцелуе; потом отвернувшись, пошла, не оглядываясь, и тотчас за-

терялась в бурлившей вокруг толпе. Когда же Грегори опомнился и собрался идти, он заметил двух кинооператоров, с разных сторон снимавших эту сцену. Он едва мог поверить своим глазам. Пока он растерянно смотрел на них, они сделали свое дело, сложили треножки и направились к поджидавшему их автомобилю. Прежде чем он успел собраться с мыслями, они уехали... и тогда...

— Разрази меня гром! — воскликнул он. — Неужели это она подстроила? После всего, что я к ней чувствовал, после всех ее уверений! Мошенница! И они сняли нас, когда я целовал ее! Попался, черт побери! Эта девчонка или вся их шайка все-таки провели меня, и после того как мне удалось избежать стольких опасностей! Подстроено с таким расчетом, чтобы сделать бесполезным ее признание. Значит, она изменила свое отношение ко мне. Или никогда меня не любила. (Мрачная, удручающая мысль!) Неужели она... могла ли она... знать... сделать такую вещь? — гадал он. — Кто же преследовал меня все время? Она и Тилни или один Тилни?

Мрачный и беспомощный, он повернулся и пошел прочь.

Что же теперь будет? Вся его карьера в опасности. С тех пор как жена вернулась, все как будто шло хорошо, но если он выступит со своими разоблачениями, что тогда? На свет появится его фотография! Он будет обесчещен! Или окажется на грани этого. А что дальше? Он мог бы выступить с опровержением, заявить, что это мошенничество, что фотография — фальшивка, предъявить признание Имоджин. Но сможет ли он это доказать? Ее руки обвивались вокруг его шеи. Он обнял ее. Два кинооператора с разных точек запечатлели эту картину! Сможет ли он объяснить? Сможет ли он снова найти Имоджин? И разумно ли это? Даст ли она показания в его пользу? А если и даст, какой в том прок? Разве хоть кто-нибудь поверит человеку с подмоченной репутацией, разве дадут ему теперь выдвинуться на политическом поприще? Едва ли. Его ждут насмешки, издевательства. Никто не поверит, кроме жены, а она ничем не сможет ему помочь.

С ноющим сердцем понуро брел он по улице, ясно сознавая, что из-за его глупой доброты и снисходительности труды многих месяцев в несколько минут пошли прахом и что никогда больше, — его политические друзья

так осторожны,— никогда больше, во всяком случае в этом городе, у него не будет надежды вступить в обетованную землю своего лучшего будущего — того будущего, на которое он так уповал... не будет надежды ни для него, ни для жены, ни для малыша.

«Дурак! Ну и дурак! — в сердцах обозвал он себя и снова: — Дурак! Дурак!» Зачем он был так нелепо чувствителен и легковверен? Зачем увлекся ею? Но, не найдя ответа и прямого выхода из создавшегося положения, кроме единственной возможности все отрицать и выдвинуть контрбвинения, он медленно направился к своей конторе, которая показалась ему теперь такой мрачной,— конторе, где он столько времени трудился, но где после случившегося он, пожалуй, больше не сможет работать, а если и сможет, то без особой выгоды для себя.

«Тилни! Имоджин! — думал он.— Какие же они обаловкие пройдохи... Тилни, по крайней мере...» Даже сейчас он не был уверен в вине Имоджин... И, размышляя таким образом, он прошел к себе в контору, оставив за дверью уличную толпу, огромную обманутую толпу, которую Тилни, и мэр, и все политиканы ежедневно и еже часно используют в своих интересах, ту самую толпу, которой он хотел помочь и против которой, как и против него, был подготовлен и так легко и под конец так успешно осуществлен этот маленький заговор.

Из сборника «ДВЕНАДЦАТЬ»

ПИТЕР

В любом обществе, какое мне когда-либо приходилось видеть, Питер выделялся бы, и не внешностью,— это был человек совсем особого душевного склада. Среди безмерной скудости американской умственной жизни он был словно оазис, настоящий родник в пустыне. Он понимал жизнь. Он знал людей. Мне казалось, что он был во всех отношениях свободен: свободно мыслил, свободно чувствовал.

Чем дольше тянешь лямку непонятного, загадочного существования, тем больше ценишь эти качества в человеке: не ложную свободу сильных мира сего, тех, у кого туга мощна или тяжел кулак, а подлинную внутреннюю свободу, когда человеческий разум, сознавая свою силу и свою слабость, смело глядит в лицо природе и широким, непредубежденным взором оценивает творческие силы свои, человечества, вселенной и, решительно разрывая путы всяческих догм, в то же время остается верен всему простому и человеческому, что составляет нашу повседневную жизнь в ее здоровой, естественной основе.

Впервые я увидел Питера в Сент-Луисе в 1892 году, когда я приехал из Чикаго и поступил репортером в «Глоб-Демократ», где он работал в отделе иллюстраций. С тех пор и до последнего дня своей жизни (умер он в 1908 году) Питер ничуть не изменился: невысокий, плотный, но быстрый, даже порывистый в движениях, с густой шапкой непокорных волос на голове и всклокоченной бородой; иногда он вдруг сбривал ее, но она удивительно быстро отрастала заново. Забавно было смотреть на него, и, думается, он нарочно старался быть смешным, но при этом от него всегда веяло душевным здоровьем и силой, чувствовалось, что он не только ве-

сельчак, добрый малый, каким кажется на первый взгляд.

Несомненно, он был человек серьезный, однако с легким характером, всем своим видом он словно говорил: «А жизнь забавная штука». Одевался Питер хорошо, но на редкость небрежно. На его костюме случалось видеть чернильные или даже масляные пятна; эта неряшливость приводила в отчаяние всех, кто его знал, особенно друзей и родных. Вдобавок он вечно бывал осыпан табаком, который любил во всех видах: жевал, курил трубку, сигары и даже папиросы, если не находилось ничего лучшего. Меня всегда особенно поражало его острое чувство юмора, пристрастие к нелепым шуткам, умение посмеяться и над собой и над другими; он все воспринимал по-своему, не так, как положено. Порою он переходил все границы — должно быть от желания развлечься, как-то рассеять окружающую скуку.

И все же он любил жизнь во всей ее пестроте и многообразии, ничего не презирал и не стремился что-либо исправить или изменить. Он считал, что жизнь хороша, как она есть, удивительно хороша! Она казалась ему столь великолепной, что он не знал ни минуты покоя, — так жаждал жить, видеть, понимать, действовать. Мир был в его глазах мастерской, необъятным полем деятельности для художника, мыслителя и для простого пахаря, — и, ни к кому не относясь критически, он выше всего ставил личность, способную понять жизнь, отразить ее или творить в ней, что бы ни двигало этой личностью: чувство ли художника, или точный расчет ученого. Для него (я понимал это тогда и еще яснее вижу сейчас) не было ни возвышенного, ни низменного. Все на свете относительно. Вор — это вор, но и у него есть свое место в жизни. То же и убийца, то же и святой. Не человек, а природа задумывает или по крайней мере устраивает весь этот порядок вещей; человек же, как слепое орудие, только повинуется ему, не в силах его понять. Вульгарная проститутка на улице или в притоне могла так же потрясти и растрогать Питера, как и девственная чистота. Богатый — богат, бедняк — беден, но и тот и другой — во власти могучих сил, чьи неумолимые законы или, быть может, беззакония делают всех людей жалкими, ничтожными, а если угодно, и великими. Он сострадал невежеству и нищете, презирал тщеславие, бессмысленную жестокость, скупость, в чем бы

она ни проявлялась. В нем уживались широта натуры и практичность, чувственность и одухотворенность. И хотя денег у него никогда не водилось, он был так щедро одарен природой, так живо чувствовал и мыслил, что вокруг него всегда создавалась теплая и радостная атмосфера, и жизнь, если не на самом деле, то в воображении (а оно-то и есть подлинная реальность) становилась куда лучше и отраднее. И притом он вечно прикидывался шутом, повесой, распутником, даже безумцем, вдруг огорошивал слушателей чудовищной нелепицей, проповедовал самые фантастические бредни.

Вам кажется, что я сгущаю краски? Но я говорю о человеке поистине необыкновенном.

Насколько я знаю, Питер родился на Среднем Западе, в семье ирландского происхождения, поселившейся на юго-западе штата Миссури. В его родном городишке и железной дороги-то не было, она появилась, когда он стал уже взрослым,— это обстоятельство забавляло его, но не слишком огорчало. По этому поводу он рассказал мне забавный случай. Один провинциал, никогда в жизни не видевший поезда, заблаговременно пришел с женой и детьми на вокзал, купил билеты, подождал немного, выглядывая то в одно, то в другое окно, потом, наконец, вернулся к кассирше и спросил: «Когда же эта штука тронется с места?» Он ждал, что поедет само здание вокзала.

К тому времени, когда Питер начал работать художником-карикатуристом, он закончил лишь обычную среднюю школу, но знания его были удивительно широки и разнообразны, и он вовсе не стремился получить дальнейшее образование в каком-нибудь колледже. Любопытная подробность: его отец, по происхождению ирландец, был человек образованный, юрист по профессии и при этом католик. Мать — коренная американка — была тоже католичка, женщина ограниченная и весьма строгих правил. Кроме Питера, в семье было еще четверо детей — своеобразные люди, необычайно энергичные и, я бы сказал, довольно неуравновешенные. Все они, насколько я мог судить, изредка встречаясь с ними, не особенно задумывались над тайным смыслом жизни; порывистые, неугомонные, они прямо подавляли своей жизненной силой. Один из братьев, К., который тоже поддерживал со мной знакомство, как с другом Питера, был такой беспокойный, горячий, так быстр в словах и

поступках, что я даже слегка побаивался его. Он любил крикливую роскошь шумных ресторанов и засиживался там допоздна. Кстати, он недурно играл на рояле; оделся с шиком, как сказали бы на Бродвее; вообще умел пожить; словом, являл собой прекрасный образец ловкого, напористого дельца. То и дело К. появлялся в роли представителя новой фирмы, что-нибудь рекламировал: соус или слабительное, мыло для бритья, жевательную резинку, безопасную бритву, велосипед, резиновые шины или целый автомобиль. Где я только не встречал его: в Уокешо, Висконсине, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Новом Орлеане.

— Кого. я вижу! — восклицал он при встрече и протягивал мне обе руки; богатство его интонации и мимики сделало бы честь любому комическому актеру. — Сам Драйзер, закадычный друг Питера! Так, так, так! Ну, по этому поводу надо выпить. И закусить, конечно. Я здесь только на один день. Пойдем в Мюзик-холл или в ресторан двинем? Так, так, так. Кутнем как следует! А? — И он вперял в меня сверкающий взгляд, желая, видимо, подбодрить, а я под этим взглядом совсем терялся, словно на меня надвигалось стихийное бедствие. Однако я хотел рассказать о Питере.

В тот день, когда я увидел его впервые, он, склонясь над чертежной доской, набрасывал иллюстрации к рассказу о змее для очередного воскресного номера «Глоб-Демократа», редакция которого охотно угощала своих читателей самыми дикими небылицами; пресмыкающееся, свиваясь кольцами, выползло из-под его пера, ужасающе живое: пристальные злые глаза, разинутая пасть, вытянутое жало...

— Огс, — заметил я мимоходом — мне надо было поговорить с ним по другому делу. — Замечательная змея!

— Ну, нашему редактору по части змей и эта змея еще не змея, — ответил Питер, поднимаясь и стряхивая табак с рубашки (он был без пиджака). Затем он сплюнул, старательно целясь мимо блестящей медной плевательницы, — ею явно никто никогда не пользовался, но зато резиновый коврик, на котором она стояла, был весь «изукрашен». Я очень удивился такой манере, но, будучи в ту пору новичком, не решился что-либо сказать. Позже я понял, в чем дело. Это была его блажь, одна из странных и нелепых шуток, превратившаяся в

механическую привычку. Если кто-нибудь, не подозревая об этой прихоти, собирался использовать «золотую чашу», как он ее называл, по ее прямому назначению, Питер тотчас вскакивал и, предостерегающе подняв руку, торжественно и мрачно провозглашал: «Стоп! Не сюда! Рядом, на коврик! Эта вещь стоила мне семь долларов!» Затем он так же торжественно усаживался на свое место и продолжал рисовать. Он проделывал эту штуку со всеми в редакции, кроме самого высшего начальства. И все, даже самые хмурые, смеялись, всех забавляла полнейшая нелепость этой выходки.

Но я забегаю вперед. Так вот о змее. Питер имел в виду помощника редактора, который ведал подобными рассказами.

— Чем змея толще, чем ядовитее, чем зловещее блестит ее чешуя, тем лучше,— продолжал он.— Жаль, газета у нас печатается не в красках, а то бы я сделал этому змею красные глаза, красное жало и сине-зеленую чешую. Фермеры наши были бы в восторге. Им по вкусу только добротные ядовитые змеи.

Он усмехнулся, выпрямился и, склонив голову набок, самодовольно поглядел на рисунок, потом взъерошил волосы, бороду и добавил: — Понимаете, здесь нет предела: чем живей и энергичнее змея, тем лучше,— вот и рисуешь, чтобы они так и ползали по газетному листу.— И он ухмыльнулся до ушей.

Я не мог удержаться от смеха. До чего же он был самонадеян! И какой снисходительный тон!

Вскоре мы стали неразлучными друзьями.

В той же газете вместе с ним работал еще один иллюстратор, некто Дик В., сам по себе как будто человек незаурядный, но, мне казалось, годный только для контраста, чтобы подчеркнуть на редкость своеобразный и значительный облик Питера. В худом, бледном лице Дика было что-то общее с Данте; его иссиня-черные, как у индейца, волосы, аккуратно разделенные посредине пробором, напмаженные и зализанные к вискам и затылку, казались склеенными. Маленькие черные глаза смотрели обиженно и подозрительно, но в углах рта прорезались морщины, словно след горя и страданий, а никаких таких страданий Дик вовсе не переживал; и, однако, всем своим видом он словно просил о сочувствии и, пожалуй, находил его. Дик,— в своем роде актер, если хотите, трагик,— обладал на свое счастье некоторой долей юмо-

ра и проницательности и поэтому был не совсем смешон. Как большинство актеров, он любил порисоваться. Он носил мягкую полотняную рубашку, белую или голубую, зеленую или коричневую; на шее у него неизменно развевался длинный, свободно повязанный галстук. Как мог в ту пору обойтись без всего этого американский подражатель богеме Латинского квартала? А без желтых или черных перчаток, без круглой мягкой шляпы, поля которой загибаются самым неожиданным образом? Без лакированных туфель, без плаща с капюшоном, гибкой тросточки, цветка в петлице? И все это — в прозаическом, дымном и шумном торговом городе Сент-Луисе, полном дельцов и фермеров Среднего Запада.

Я бы и не упоминал об этом человеке, если бы мы трое — он, Питер и я — не были тогда большими приятелями. Мы стали на время как бы «тремя мушкетерами» газетного царства. Дружба эта продолжалась несколько лет; позже мы с Питером переехали на Восток и тут стали совсем неразлучны; у нас с ним находилось все больше и больше общего, и мы оба все лучше понимали, что же такое Дик: настоящий диккенсовский тип, да еще в иллюстрации Крукшенка. Но в те давно минувшие дни мы трое были неразлучны: вместе завтракали и обедали, работали и развлекались, только что не ночевали под одной крышей. У меня было нечто вроде мастерской в убогом фабричном пригороде Сент-Луиса (Десятая улица возле рынка, теперь, кажется, там бойкий торговый район); мастерская Дика была на углу Бродвея и Локаста, против знаменитого тогда Южного Отеля. Питер жил с семьей на Южной стороне, в самой мирной и почтенной части города.

Любопытно, что самый волнующий жизненный опыт, самые интересные мысли и самые увлекательные открытия всегда, за редким исключением, приносили мне встречи с мужчинами, а не с женщинами. Едва ли не каждый поворот в моей судьбе отмечен знакомством с какой-нибудь сильной личностью, которой я обязан часами самого высокого духовного наслаждения, когда жизнь моя как бы озарялась новым светом, словно ослепительным сиянием тропического солнца.

Таким человеком стал для меня и Питер. Он был почти ровесник мне, но его дар понимать жизнь и людей казался мне просто сверхъестественным. Хотя он, как и я, был воспитан в католической вере и преувели-

ченно, прямо в духе Рабле, изображал себя приверженцем этой религии, он удивительно легко принимал все, доброе и злое: «Как знать, может, и в этом есть свой смысл». Притом он вовсе не стремился следовать заповедям церкви, высмеивал ее лицемерие и предпочитал свою собственную жизненную теорию всем иным учениям. Его сместила самая мысль о том, чтобы исповедоваться, причащаться и получать отпущение грехов у какого-нибудь плотного здоровяка-священника, скорее всего ирландца и такого же любителя земных благ, как и он сам! В то же время Питеру очень нравились немцы, он восхищался их образом жизни, патриархальными нравами, их пивом, их кухней и прочим,— и кончилось тем, что женился он на немке.

Насколько я понимаю, Питер верил в одну только природу, да и в ней только в красоту и случай, в те награды и кары, которые она таит, ею он восхищался, перед ней благоговел, и все (даже самое малое) в ней доставляло ему истинное наслаждение. Жизнь была в его глазах великолепной сверкающей загадкой, то чудовищной, то прекрасной, увлекательнейшим приключением. В отличие от меня он в ту пору уже начисто освободился от пуританства, которым нас до отказа пичкали в детстве, он хотел жить жизнью вольной, здоровой, красочной, почти первобытной. Его интересовали негры, древний Рим и Египет, сказки Востока и фантастика средних веков, наши грязные трущобы и сомнительные кварталы — как он упивался всем этим! Он готов был бродить там ночи напролет, смотреть, слушать, изучать, петь, плясать, даже играть на флейте!

Кстати, одной из его, казалось бы, грубых, а в сущности невинных, забав было частое посещение одного негритянского притона, каких немало в Сент-Луисе. Он играл на флейте, еще кто-нибудь на тамбурине или маленьком барабане, а две или три чернокожих девушки танцевали какой-нибудь дикий, колдовской танец, переносящий зрителя в самое сердце Африки. Насколько я знаю, они танцевали не за деньги — просто Питер был здесь своим человеком. И, конечно, в этих странных оргиях он удовлетворял свою жажду ярких красок, звуков, языческого веселья.

Не знаю, как удавалось ему завязывать подобные знакомства. Мне никогда не приходилось присутствовать при зарождении такой дружбы. Но, хоть они и уто-

ляли его жажду необычного, живописного, в этом, конечно, не было и следа грубой чувственности. Признаюсь мимоходом, что, когда мне случалось быть свидетелем этих вольных плясок, они словно освежали меня и в то же время опьяняли. Я был тогда жалкий, неуклюжий желторотый птенец, мне не терпелось узнать жизнь, но, воспитанный в сугубо строгих правилах, я боялся ее, боялся, что она погубит меня, отравит мои мысли и поступки тлетворным дыханием порока. Питер был не таков. Для него жизнь была хороша вся, без оговорок. Он смотрел на нее, как на увлекательный спектакль, с любопытством и интересом.

Оглядываясь назад, я вспоминаю убогую, скудно освещенную комнату с низким потолком, куда он привел меня «развлечься», чернокожих девушек, танцующих под мерные удары барабана, их белые зубы, блестящие глаза, гибкие движения извивающихся в танце темных тел, их удивительное чувство ритма — и я благодарен Питеру. Я стал свободнее мыслить, кругозор мой расширился. Бывая там с Питером, я порою не мог оторвать глаз от танцующих — и все время мучился сознанием, что совершаю что-то низкое, преступное, позорное; но я видел, как веселится Питер, с каким самозабвением он бьет в барабаны или играет на флейте, как умеет чувствовать звуки, краски, — и понимал, что он выше меня, что предо мною подлинно цельный и душевно здоровый человек. Я был нравственным трусом, а Питер не боялся своих желаний, и постоянный внутренний страх, так свойственный многим из нас, не отравлял ему радости жизни. Он был сильный, здоровый, бесстрашный и таким же делал меня.

Однако я не хочу, чтобы он казался человеком низких побуждений и возмущал тех, кто решительно отвергает все выходящее за рамки их узкого обыденного мирка. А потому поспешу обрисовать его и с другой стороны. Интересы Питера были отнюдь не неизменны, он с детской непосредственностью увлекался всеми сторонами жизни. Америка, американский образ мыслей, религиозные и другие взгляды только забавляли Питера, он не принимал этого всерьез. Он любил изучать всякого рода секты, ереси, тайные обряды. Больше всего его увлекала древняя история, дикость и варварство средневековья, — у него был удивительно своеобразный склад ума. Уже тогда он знал труды многих ученых, о кото-

рых я даже не слышал: Масперо, Фрейд, Гексли, Дарвин, Уоллес, Ролинсон, Фруассар, Хэллам, Тэн, Эвбьюри! А имена художников, скульпторов, архитекторов, иллюстраторов, которых он знал (и не только их произведения, но и литературу о них), невозможно перечислить. Когда мы познакомились, он особенно увлекался египтологией, изучал первобытную древность,—его интересовало все дикое, естественное, первозданное.

— Драйзер,— с жаром сказал он однажды; глаза его блестели,—ты не представляешь, сколько очарования таят в себе некоторые древние верования. Вот, например, знаешь, почему египтяне почитают скарабея?

— Скарабея? Что это за штука? Первый раз слышу,— ответил я.

— Да это жук. Египетский жук. Что такое жук, ты, надеюсь, знаешь? Ну, так вот, эти жуки роют в земле, в иле Нила норы и кладут туда яички, а весной из яичек снова выводятся жуки. Вот египтяне и решили, что жук не умирает, а если даже и умирает, то способен воскреснуть, что он бессмертен, стало быть — бог. И они стали почитать его.— Говоря подобные вещи, Питер, бывало, помолчит, а потом взглянет на меня своими удивительными, блестящими, как бусины, глазами, чтобы убедиться, произвели ли его слова на меня должное впечатление.

— Да неужели?

— Верно, верно. Вот откуда это взято,— и Питер начинал рассказывать о священном животном — обезьяне, о последователях Заратустры, об огнепоклонниках, о священном быке Египта, олицетворяющем силу продолжения рода, о религиозном почитании этой силы, о фантастических оргиях в Сидоне и Тире, о фаллических празднествах и шествиях.

Я был тогда в этих вопросах полным невеждой,— в тех немногих книгах, которые я прочел, об этом не говорилось ни слова. Но я верил Питеру. И загорался страстью читать, но не старые, выхолощенные, ортодоксальные учебники, а другие книги и брошюры — те, которые добывал Питер. Я засыпал его нетерпеливыми расспросами, где и как об этом можно узнать. Питер объяснял, что эти книги либо запрещены и изъяты, либо из-за нашего пуританства и ханжества не полностью переведены, но называл мне авторов и книги, которые были

доступны, и адреса некоторых старых букинистов, где я мог бы найти эти книги.

Его интересовали еще и этнология, и геология, и астрономия (по крайней мере самые значительные явления в этой области), и многие прикладные искусства. Керамика, ковры, картины, гравюры, резьба по дереву, ювелирное дело, графика — чем только он не занимался, однако даже самые серьезные занятия не мешали ему разыгрывать нелепые эксцентричные шутки, на которых он был прямо помешан. Когда ему хотелось смеяться, он находил, над чем посмеяться, даже в самой серьезной обстановке. Так, помню, он сыграл презабавную шутку с нашим Диком, заранее подметив и изучив его смешные стороны. Дик, вообще человек не глупый, любил прикидываться личностью романтической, хотя в сущности был просто нытиком. Как газетный иллюстратор он ничего выдающего собою не представлял; Питер стоял неизмеримо выше его, хотя делал вид, что в вопросах искусства считается с Диком и смотрит на него, как на кладезь премудрости.

В то время Дик проявлял особый интерес ко всему китайскому и слыл, вернее, выдавал себя, за знатока не только китайского языка, который откуда-то немного знал, но и искусства, и обычаев этой страны, и даже истории, как известно, мало изученной.

Изредка он снисходил до того, что брал нас с собой в какой-нибудь захудалый китайский ресторан, который он считал — в этом была известная романтика — притоном воров, мошенников и прочих обитателей сомнительных кварталов (все китайские рестораны в Америке выросли из таких кабачков). Дик обычно знакомил нас кое с кем из своих китайских друзей, с которыми давно и старательно поддерживал знакомство, превратившееся теперь в дружбу. Как справедливо заметил Питер, у Дика была счастливая способность самовнушения; и вот он убедил себя, что китайцы — таинственная, высшая раса, что существует какая-то китайская организация «шесть компаний», пользующаяся властью — разумеется, тайной — чуть ли не над всем миром. Прежде всего она имеет влияние на разные строительные предприятия и поставляет по первому же зову в любую часть света тысячи китайских рабочих; они служат своим нанимателям, но беспрекословно повинуются этой тайной организации, а тем, кто выйдет из повиновения, перерезают

ворло, кладут их вниз головой в корзины и засыпают рисом; затем в привезенных из Китая гробах их останки без лишнего шума отправляют на родину. Дик уверял, что именно эта организация поставляла рабочих для строительства Тихоокеанской железной дороги. Питер, бывало, слушал выдумки Дика с восторгом, хохотал над ними и в то же время делал вид, что всему верит.

Но во всем этом Питера особенно интересовало одно: нельзя ли где-нибудь в Сент-Луисе купить настоящий китайский нефрит, шелк, вышивки, фарфор, плетеные изделия, статуэтки. Это занимало его сильнее, чем экономические или общественные условия жизни Китая. Он заставлял Дика водить себя всюду, где еще можно было своими глазами увидеть эти редкости, и загонял беднягу до полусмерти. Дикун приходилось волей-неволей просить китайцев, дружбой с которыми он так похвалялся, показывать все, что у них есть любопытного. Помню, однажды Питер потребовал, чтобы Дик сводил его в местный музей искусств и дал какого-нибудь своего друга китайца в проводники. Он требовал объяснений к каждому рисунку, к каждой завитушке на вазе. Тут-то Дик и сел в лужу. Никто из его приятелей-китайцев ни-него не смыслил в искусстве, но никто, и в том числе сам Дик, не решился в этом признаться.

— Знаешь, Драйзер,— сказал мне однажды Питер, и в глазах у него промелькнула усмешка, смесь добролюшия и ехидства.— Я все это делаю нарочно, чтоб помучить Дика. Ни он, ни его друзья ни черта не смыслят в искусстве. Вот я и вывожу их на чистую воду. Одно удовольствие смотреть, как они пыhtят и отдуваются. Понимаешь, в музее-то, оказывается, продается каталог с фотографиями подлинных древностей и даже с объяснениями всех символов, какие только известны науке, а Дик об этом не знает и ночей не спит, стараясь их разгадать. Поглядел бы ты на него и на его приятелей, когда они уставятся на какую-нибудь вазу.

Как же было Питеру не смеяться? Сам-то он, видимо, в китайском искусстве отлично разбирался.

Забавляло Питера и другое: Дик мечтал о блестящей партии, которая откроет ему доступ к роскоши, введет его в избранные круги общества — он очень старался быть изысканным и доходил до крайностей в одежде и в манере говорить, писать, рисовать.

Как я уже упоминал, у Дика была мастерская на Бродвее — большая квадратная комната в верхнем этаже доходного дома, и Дик сделал ее, как ему казалось, изысканной и оригинальной. Он воображал, что вся мишура, наполнявшая его комнату, говорила об аристократическом вкусе, а между тем мебель была разрозненная, случайная, безделушки, картины, книги, каких полно в любой антикварной лавчонке; но Дику, выросшему в Блумингтоне в штате Иллинойс, эти вещи казались редкими художественными ценностями. Его претензии, особенно литературные, были безграничны — он сочинял рондо, триолеты, четверостишия, сонеты, написал несколько вымученных рассказов, решительно отвергнутых всеми редакциями; возвращенные рукописи были разбросаны, как бы случайно, в самых неподходящих местах, с целью поразить наивного посетителя. Дик разыгрывал отвергнутого, обиженного, непонятого — ведь это удел всех великих художников, поэтов, мыслителей!

Однако самой заветной его мечтой оставалась женитьба на какой-нибудь весьма прозаической и тупоумной дочери одного из новоиспеченных богачей Вест-Энда; вот к чему были устремлены все его помыслы, все его усилия — рисовал ли он, писал ли, заказывал новый костюм или мечтал о будущем. Я и сам частенько подумывал о женитьбе, хотя из несколько иных побуждений, но у меня-то не было никаких шансов на успех; Дик же — художник, поэтическая натура — был красив, держался холодно и высокомерно, занимал более солидное положение, и казалось, непременно добьется своей блистательной цели, а я — не красавец, не художник, да и не такая уж поэтическая натура — едва ли мог надеяться на что-либо подобное. Бывало, в обеденный час Дик, одетый по последней моде — в темно-синем костюме, лакированных башмаках, мягкой шляпе, со свободно повязанным галстуком, — выходил, легко помахивая тросточкой, из редакции, и, глядя на него, я был почти уверен, что победа его близка, что она наступит сегодня же, и в следующий раз я увижу его уже супругом богатой наследницы, и разговаривать он со мной будет только мимоходом, как с полузабытым приятелем. Вот и сейчас он, может быть, идет к ней, а я, жалкий неудачник, должен корпеть над своей унылой работой. Неужели мой корабль никогда не войдет в гавань? Неужели никогда не наступит мой день? Мой черед? Злая судьба!

Питер прекрасно понимал все эти мечты и надежды Дика, мог при случае даже посочувствовать, но это не мешало ему высмеивать приятеля и вечно замышлять какую-нибудь потеху.

Однажды он пришел в отдел происшествий, где я работал за своим столом, наклонился ко мне и, еле удерживаясь, чтоб не расхохотаться, сказал:

— Слушай, Драйзер, что я придумал! Вот разыграем Дика! — Он замолчал и весело поглядел на меня; казалось, его маленькое круглое тело лопнет от смеха. — Это просто здорово! Ух, если это удастся, он у нас попляшет! Ты только послушай, — продолжал он. — Ведь у Дика мания — богатая невеста, ты же знаешь. Он только о том и думает — жениться на какой-нибудь девице из Вест-Энда, для этого он и франтит, об этом говорит и пишет. (Дик без конца сочинял и читал нам по вечерам у себя в мастерской все один и тот же рассказ о несчастном, но талантливом художнике, которому любовь открывала доступ в высшее общество.) Все эти разговоры о том, что он бывает в каких-то богатых домах, — враки. Он только наряжается каждый вечер, как на бал, идет в фешенебельные кварталы и бродит там, как лунатик. Так послушай, что я придумал. Мы пойдем завтра в магазин Мермод и Джакард и купим несколько листов лучшей бумаги с монограммами. Потом сочиним письмо и подпишем его каким-нибудь таким романтическим именем. Хуанита! Сирена! или, скажем, Дорис! Напишем, что она дочь миллионера из Вест-Энда, воспитана в строгости, но видела в газете его рисунки — и жаждет с ним познакомиться, понимаешь? Потом, пусть она назначит ему свидание в семь часов, скажем, у западного входа Портленд Плейс. Она опишет себя: молодая, красивая, в каком-нибудь элегантном костюме — и Дик будет сражен. Он непременно попадетсЯ в ловушку. А в условленный час мы явимся туда и станем звать его с нами в парк или куда-нибудь пообедать. Оденемся так, что он постыдится признать нас друзьями. Он будет зол, как черт, постарается всеми силами от нас отделаться, а мы не отстанем и испортим ему свидание. В письме скажем, что он непременно должен быть один, — понимаешь, она застенчива и боится, как бы ее не узнали. Бог мой! Да он с ума сойдет! Решит, что мы загубили его жизнь, — хо, хо! — Питер чуть не прыгал от восторга.

Шутка удалась. Пожалуй, она была жестока, но кто же огорчится, если ближний попадет впросак? Мы достали бумагу, один приятель Питера, служивший в соседней конторе по продаже недвижимости, написал письмо, каждое слово в нем мы тщательно обсудили. Там были намеки и на крайнюю молодость автора строк, и на ее красоту, и на роскошный особняк. Она давала понять, что угадала в Дике возвышенную натуру. При встрече он узнает ее по зеленому шелковому шарфу (ведь была весна, самое подходящее время года). Она обещала прийти в семь часов. В этот раз она уделит ему лишь несколько минут, но потом... своего адреса она не указала.

Письмо, конечно, было отправлено из Вест-Энда и в положенное время пришло в редакцию. Питер работал возле Дика за соседним мольбертом и украдкой наблюдал за ним.

— Ты бы видел его, Драйзер! — воскликнул он, разыскав меня час спустя. — Ха, ха! Знаешь, он, кажется, действительно всему поверил. У него, должно быть, голова закружилась. Он и виду не подал, но через минуту схватил шляпу и пошел к Дэку (это был ближайший бар) выпить стаканчик. Я следовал за ним. Он сам не свой. Подожди, что-то будет вечером, в день свидания, когда мы появимся на горизонте! Я выряджусь бродягой. Я его опозорю. Бог ты мой, да он сойдет с ума! Вообразит, что мы загубили его жизнь, спугнули богатую невесту. Адреса нет. Он ничего не может сделать. Ха, ха, ха!

В назначенный день — это был солнечный майский день — Питер пришел и сказал мне, что в три часа Дик ушел из редакции; мы отправились переодеваться. В шесть мы с Питером встретились, взяли такси и высадились, не доезжая одного квартала до места свидания. Я никогда не забуду того вечера: казалось, в самом воздухе разлито что-то такое, от чего томишься и грустишь о любви — даже такой, как любовь Дика. Солнце садилось, птицы пели свои вечерние песни. Но Питер — чего же бессовестный — вырядился так, как мог вырядиться только он один, когда хотел пугать людей своим видом; это был настоящий бродяга, грязный, всклокоченный, как будто он неделями ночевал в канаве. Волосы свисали на глаза, и уши, лицо, руки, башмаки — все в грязи. Он даже зубы слегка подчернил. Рубашка без

воротничка, но манеры самые развязные, и в руках, видите ли, тросточка, словно он вовсе не понимает, на кого похож. Ко всему Питер был еще и прирожденный актер.

Мы ждали неподалеку за деревьями, и минута в минуту явился Дик, конечно, полный надежд и нетерпения; бледный, изящный — почти таков, каким всегда хотел казаться. Сразу видно — человек искусства! Новая соломенная шляпа! Светло-зеленая рубашка, какие носили художники! Черный пояс с широкой пряжкой! Трость! Темно-коричневые летние туфли! Бутонаерка! Да, он явно приготовился встретить свою судьбу, решающий час своей жизни.

И вот, не дав ему опомниться, как раз когда он ждал, что вот-вот появится его поклонница, мы с Питером обрушились на него, грязные, замызганные, словно только что вырвались из ада. Мы были так рады ему, лезли обниматься и целоваться! Как удачно мы здесь встретились! Какой славный вечерок! Проведем его вместе! Прогуляемся по парку, закусим, выпьем...

Дик взглянул на Питера, на его шляпу, рубашку без воротничка и весь посерел. Невозможно! Явиться в такой компании! (По совету Питера, я тоже постарался выглядеть как можно хуже, что мне было нетрудно сделать.) Нет, нет, он не может идти с нами. Он ждет друзей. Он просит извинить его.

Но от Питера было не так-то легко отвязаться. Он стал оживленно болтать на самые разнообразные темы. Заговорил о работе, которой был занят Дик сегодня в редакции, потом свернул на какой-то заказ, — как Дик с ним справляется, когда закончит? Дик не поддержал этой темы, тогда Питер начал распространяться о собственных успехах и замыслах. Он задавал глупые вопросы, уверял, что Дик сегодня франт и красавец, — интересно, для кого это он так вырядился? Несчастный Дик, он уже не просто нервничал, он был в отчаянии, он чувствовал, что все потеряно! Это было жестоко. Дик становился все беспокойнее, тоскливо и тревожно оглядывался по сторонам, не знал, уйти ли самому, или дожидаться, пока мы уйдем. Он был жалок. Прошло уже минут пятнадцать, и какие только девицы не появлялись за это время на площади, каких только не проехало карет, верховых лошадей, ведь каждая могла везти его богатую

невесту! Наконец Дик собрался с духом и сделал героическую попытку отделаться от нас.

— Нет, уж извините меня! — воскликнул он вне себя. — Я тороплюсь! — Он терял золотые минуты. Не могла же она подойти к нему, пока он стоял с нами. — Мои друзья, как видно, не придут. Я ухожу.

Он слабо улыбнулся и пошел прочь, а Питер шел сзади и уговаривал его вернуться. Но Дик не хотел ничего больше слушать, и мы остались на месте свидания, насмешливо глядя ему вслед. Потом зашли в парк, сделали несколько шагов, уселись на скамейку, откуда вся площадь видна как на ладони, и стали делиться впечатлениями. Особенно разговорчив был Питер. Он задыхался от смеха. Потом, в половине восьмого, все еще продолжая хохотать, мы сделали вид, что собрались прогуляться, но через пять минут, словно передумав, повернули к выходу и наткнулись там на Дика; увидев нас, он шарахнулся в сторону. Вид у него был унылый. Даже трагический. Но Питера это не смущало — он хохотал до упаду, так, что другого на его месте, наверное, хватил бы удар.

— О черт, — задыхался он. — Это слишком! Ой, не могу! Это великолепно! Несчастливая наследница! Он опять вернулся! Ха, ха, ха!

— Ну и собака же ты, — сказал я. — И не стыдно тебе издеваться над беднягой?

— Ни капли, ни капли, — весело повторял он. — Ему это полезно. Почему бы ему не помучиться? Переживет. Он вечно пускает пыль в глаза, болтает о женитьбе на богатой. Теперь он в самом деле потерял богатую невесту. Ха, ха, ха! — и Питер хватался за бока. Он, наверное, еще с полгода смеялся, вспоминая об этой истории, но никому ни словом о ней не обмолвился. Сидит, рисует — и вдруг расхохочется, — и если кто-нибудь, даже сам Дик, спросит, над чем он смеется, отвечает только:

— Да так, вспомнилось... славную шутку я раз сыграл с одним приятелем.

Если Дик и догадался в конце концов, — он не подал виду. Потеряна такая любовь! Рассеялись такие надежды!

Следующей зимой я уехал из Сент-Луиса и несколько лет не видел Питера; все это время я переезжал из города в город, пока, наконец, не обосновался в Нью-Йорке. Изредка мы писали друг другу, и в конце кон-

цов Питер начал сотрудничать в нью-йоркской газете, которую я редактировал, а потом, не без моего влияния, и сам перебрался в Нью-Йорк. Я заметил, что Питер никогда не мог сказать, в чем его призвание. Да это его и мало заботило, а каких только талантов у него не было: он и рисовал, и писал, и гравировал, и вырезал по дереву.

— Не знаю, на чем остановиться,— сказал однажды Питер.— Может быть, в конце концов я стану художником, может быть, писателем, а может, и коллекционером — сам еще не знаю. Хочу учиться и зарабатывать на жизнь — больше пока мне ничего не нужно. Я живу и буду жить так, как мне нравится.

Бывают люди, которые прекрасно знают города, или, вернее, все элементы, составляющие культуру города,— вот таков был и Питер. Иногда я думал, что он был рожден писателем с большим и ярким талантом, только не нашел себя. Я знал многих писателей, даже очень талантливых, но Питер никому из них не уступил бы ни в знании жизни, ни в богатстве воображения. Он был и поэт, и художник, и философ, и прекрасный прозаик, о чем красноречиво свидетельствует его посмертный роман «Волк. Автобиография пещерного жителя». Но он еще не мог тогда проявить себя полностью, и это его ничуть не тревожило. Питер страстно любил жизнь во всех ее проявлениях, умел веселиться сам и развеселить других, но он никогда не закрывал глаза на страдания и заблуждения людей; трагедию он чувствовал так же остро, как и комедию. Приехав в Нью-Йорк, он тотчас принялся подробно осматривать и изучать город: музеи и общественные здания, расположение улиц, политические учреждения; но потом вдруг решил, что здесь все не по нем, и, не прощаясь, не сказав ни слова, уехал; и долгие месяцы я о нем ничего не слыхал. Он решил, что сперва надо попробовать свои силы в городе поменьше, и не стал терять времени. Встретились мы снова в Филадельфии, где он устроился на хорошее жалованье в самую крупную газету.

Лишь после того как Питер прочно обосновался в Филадельфии, мы начали понимать друг друга по-настоящему и на многое смотреть одинаково; не то что на первых порах, когда наша дружба была довольно легкомысленной и поверхностной. В Филадельфии мы особенно почувствовали, как сблизила нас совместная работа

на Западе. Здесь я впервые убедился, что Питер, человек необычайно разносторонний, видит и понимает жизнь города во всем ее разнообразии, улавливает много такого, чего другой бы и не заметил. Где бы ему ни случилось бывать, он прежде всего подробно изучал прошлое города, всю его историю, осматривал старинные здания, памятники, кладбища; потом старался узнать получше нынешний облик города, его окрестности, реки, озера, парки (какие мы с ним совершали прогулки!), осматривал все достопримечательности, лучшие произведения современной архитектуры. Он живо интересовался и культурной жизнью каждого города, куда его забрасывала судьба, ходил по музеям, библиотекам, по букинистам, читал местные газеты и журналы. Это он привел меня в книжную лавку Лири в Филадельфии, расхвалив ее с обычным своим пылом. Наконец он всегда был в курсе всех местных дел, будь то политика, финансы или светские развлечения; впрочем, Питер любил говорить, что политика — это грязная игра, которая только и нужна, чтобы поддерживать порядок в низших классах. Он всегда предугадывал или узнавал какими-то таинственными путями все, что происходило в городе. Этот человек обладал таким блестящим и глубоким умом, что даже просто находиться рядом с ним было для меня наслаждение. Он не был спорщиком, но не уставал говорить обо всем, что знал, слышал, угадывал, предполагал, — казалось, его мысли и чувства так и рвались наружу. И они бывали порою столь ярки и неожиданны, что напоминали мне разноцветную мозаику из драгоценных камней. Я всегда знал, что он незаурядный человек, при этом он не был ни излишне сдержан, ни напыщен; жизнь была в нем ключом; он был мудр не по годам, кругозор его был необычайно широк, таланты разнообразны и многочисленны, и, быть может, именно поэтому ему не суждено было достичь вершин в мире, где все шло к узкой специализации, обусловленной чисто коммерческими соображениями.

И все же я думаю, что Питер многого достиг бы, если бы захотел. Он так легко сходилась с людьми из самых разнообразных кругов. Его живой ум, может быть, чересчур легко переходил от одного увлечения к другому, и, однако, он умел находить общий язык с самыми простыми, ничем не замечательными людьми. Он осуждал их за ограниченность и ханжество, и в то же время

не без удовольствия жил их жизнью, и, кажется, ничего другого для себя не желал. А ведь его образ мыслей был с их точки зрения довольно опасным. Он смело и откровенно говорил среди друзей о вещах, о которых простой средний человек не мог и не стал бы рассуждать, а общепринятые истины он отбрасывал как пустые иллюзии, как ложь или хитроумную и бесчестную пропаганду.

Он всегда осуждал ужасающую человеческую косность и силу предрассудков, поразительную способность цепляться за самые нелепые представления о жизни, и то простодушно, то яростно их отстаивать. Он часто говорил о роли слепого случая в нашей судьбе, о том, как случай разрушает наши мечты и нашу жизнь, как бессмысленно жесток и равнодушен он ко всему живому и прекрасному, но я никогда не замечал, чтобы Питера это удручало, мрачным мыслям он никогда не предавался. Когда же кто-либо принимался возражать ему, он метал громы и молнии. И без конца читал; читал книги по истории, археологии, этнографии, геологии, медицине; читал биографии, путешествия — и потом рассказывал о прочитанном, обо всем чудесном и неповторимом, что открывали книги в природе и человеке. Он мог без усталости говорить о культуре и общественном устройстве Греции и Рима, начиная с шестого века до нашей эры, об античной философии, путешествиях, искусстве, о простом, естественном, языческом взгляде на вещи, и сожалел, что эти времена прошли. Порою он как будто даже горевал, что не жил в ту эпоху, и раз уж не довелось ему увидеть своими глазами древний мир, он жадно разыскивал осколки погибшей цивилизации, словно боясь, что не успеет увидеть всего. И с грустью и нежностью рассматривал он в музеях образцы искусства, которые оставили нам египтяне, греки, римляне: чертежи или рисунки их жилищ и общественных зданий, античную скульптуру, светильники, корабли, мечи, колесницы, надписи, свитки и папирусы. Он просто бредил Карфагеном, Римом, Грецией, Финикией, его занимало все: их искусство, колонии, торговля, как тогда жили и развлекались люди, во что веровали. Такие книги, как «Таис», «Саламбо», «Камо грядеши», до глубины души волновали его.

У Питера был необычайно широкий круг друзей. Тут были посредники по продаже недвижимости, конторщи-

ки, банковские служащие, владелец кожаной лавки или табачной фабрики в деловой части города, коммивояжер, наборщик, два-три газетных иллюстратора и репортера — всех их слишком долго перечислять, да и не к чему: все это были люди заурядные, ничем не примечательные. Питера же связывала со всеми этими людьми самая теплая, сердечная дружба. Они были для него, так сказать, питательной средой, он чувствовал себя своим в их кругу, — я же не мог этого понять и завидовал Питеру, потому что был нелюдом и не умел принимать жизнь так, как он.

Он искал их дружбы и умел ее завоевать. Он так же охотно и просто принимал участие в доступных им занятиях и развлечениях, как занимался тем, что интересовало и развлекало его самого. В этой компании Питер обычно и веселился вместе с какими-нибудь девушками — продавщицами или маникюршами; они устраивали вечеринки с танцами в доме у какого-нибудь скромного обывателя, обеды, пикники; флиртовали, катались на лодках, ловили рыбу, иногда ездили в ресторан, в театр, и прочее, и тому подобное. Питер немного пел (у него был довольно приятный баритон), играл на фортепьяно, на кларнете и флейте, на банджо, мандолине и гитаре, но уверял, что его любимые инструменты — губная гармошка и гребенка с бумажкой, в которую он дул с неистовой энергией, извлекая из нее самые дикие звуки, пока все не начинали умолять его, чтобы он перестал. На вечеринках Питер больше всех шумел, суетился, танцевал, готовил какие-то особенные лакомства: шоколад, конфеты, гренки с сыром, — и при этом с комической серьезностью требовал, чтобы ему не мешали.

— Ну-ка, убирайтесь все отсюда и предоставьте остальное мастеру. Кто тут повар — я или вы? Вот и отстаньте. Дайте мне только какао, сахар, миску, большую ложку, и я угощу вас такой штукой, что вы пальчики оближете. — Он подвязывал фартук или просто полотенце и принимался застряпню с таким видом, что в любой компании сразу исчезала натянутость и все начинали чувствовать себя просто и весело.

Да, Питер умел расшевелить людей. Он всех заражал своей добродушной веселостью. Умный, хоть и некрасивый, он очень нравился женщинам и был далеко не равнодушен к их красоте. Ему ничего не стоило сло-

мить их сдержанность, и вскоре они были уже приятелями, обменивались новостями и безобидно сплетничали о своих знакомых. Он был всеобщий любимец и притом со всеми одинаково хорош,— не верилось, что он может быть близок с кем-нибудь по-настоящему, но и так бывало. Иной раз в минуты откровенности он рассказывал мне, как провел вечерок.

— Эх, Драйзер,— говорил он,— я отыскал такую красавицу! Я не могу сказать, кто она, но это чудо, а не женщина! Как раз то, что мне нужно. Этот старый мир не так уж плох, а? Давай-ка еще выпьем.— Он заказывал кружку светлого немецкого пива и осушал ее, улыбаясь, как старый фавн.

Когда он жил в Филадельфии, началась очаровательная и наивная любовная история, превратившая Питера в самого идеального семьянина, какого я когда-либо встречал. Он рассказывал мне, как однажды субботним вечером, года через два после переезда в Филадельфию, он проходил по одному дальнему заводскому району Северной стороны и среди детей, играющих на улице, увидел девочку лет тринадцати.

— Черт возьми,— рассказывал Питер,— я в жизни не видал более очаровательного существа. Золотые волосы, короткое голубое платьице и розовые банты в волосах... Знаешь, Драйзер, я как увидел ее, так и застыл. Вот это то, что мне надо, хотя бы мне пришлось ждать пятнадцать лет! Немочка — ну просто загляденье! А бедная какая, башмаки на деревянной подошве. И даже еще не умела говорить по-английски. Другие дети тоже не умели. В том квартале жили одни немцы. Что ж, я смотрел, смотрел на нее, а потом подошел и сказал: «Послушай, девочка, где ты живешь?» Она не поняла. Кто-то из детей перевел ей, она ответила по-немецки: «Я не знаю по-английски». Тут я совсем голову потерял. Другие под конец объяснили мне, кто она и где живет. И вот, веришь ли, я пошел домой и засел за немецкий. Через три месяца я уже мог кое-как изъясняться, но еще раньше, недели через две после того как ее встретил, я разыскал ее отца и объяснил ему, что хочу бывать у них в доме, чтобы изучить немецкий. Я ходил к ним по воскресеньям, когда все были дома. В семье было шестеро детей, я со всеми подружился. Долгое время я не мог добиться, чтобы «девочка» (ее так и звали в доме) поняла, в чем дело, но теперь она уже

знает. Я без памяти влюблен. Как только она станет постарше, я женюсь.

— Откуда ты знаешь, что она согласится выйти за тебя? — спросил я.

— Согласится! Я говорю ей, что мы поженимся, когда ей будет восемнадцать, и она говорит — хорошо! Я, кажется, ей нравлюсь. А я влюблен без памяти.

Забегая вперед, скажу, что через пять лет Питер переехал в Ньюарк, неплохо устроился там в газете и смог привести в исполнение свои планы: он немедленно съездил в Филадельфию и женился. Квартира в Ньюарке была уже приготовлена, Питер надеялся, что угодит ею своей молодой жене. Это был счастливый брак: они любили друг друга, и в доме у них было мирно и уютно. Мне не случалось видеть более счастливой семьи.

Я пишу все это и чувствую, что мне не удастся передать живой облик Питера, полнокровного и разностороннего человека. Питер находил радость и в простых, будничных вещах — в той самой прозе жизни, которая многих отталкивает, — и во всем, в чем проявляется человеческий ум, талант и мастерство и что не стоит при этом больших денег; он покупал старинные книги, гравюры и всякую всячину, имеющую какой-нибудь исторический или научный интерес, он увлекался прикладными искусствами, ему было интересно все: как обжигают и окрашивают глину и стекло, как плетут корзины и гамаки, как ткут ковры, как вырезают по дереву; он собирал японские и китайские гравюры и копировал их; с увлечением изучал египетский способ бальзамирования и даже вместе со своим приятелем-гробовщиком попытался возродить это искусство, превратив в мумии двухдохлых кошек. И в каждом деле Питер пытался достичь мастерства и достигал его, хотя всегда повторял, что он лишь жалкий подражатель настоящих мастеров. Но больше всего он увлекался китайскими и японскими изделиями: он собирал резные украшения, шкатулки, курительницы, фарфоровые и нефритовые статуэтки, чашки, вазы, гравюры. И в то самое время, когда он развлекался в Филадельфии с веселой компанией, о которой я уже говорил, и ухаживал за своей юной немочкой, он обегал все музеи и положил начало своим коллекциям, — позже он любил показывать их друзьям и знатокам. Когда он стал в Ньюарке ведущим карикатуристом крупнейшей местной газеты, у него уже был весь Токайдо

(сорок пейзажей — все виды дороги из Токио в Киото), множество гравюр Хокусаи, Сесшиу, Сойо, коллекция из ста *inros*, пятьдесят резных брошек, около тридцати курильниц, лакированные шкатулки, чашки и другие изделия редкой красоты и ценности, среди них даже одяние мандарина. Позже Питер продавал коллекции или обменивался со знакомыми коллекционерами. Я помню, как он продал за тысячу с лишним долларов свою коллекцию картин Токайдо, — он собирал ее более четырех лет. Незадолго до своей смерти он обменивал броши на шкатулки и хотел всю свою коллекцию продать через какого-то посредника в музей.

И вместе с тем его могли занимать самые обычные развлечения: игра в шары, гольф, бильярд, теннис, даже карты и кости; меня всегда поражало это в Питере — ведь у него было столько других интересов, — и, однако, иной раз он играл в карты или кости с азартом одержимого, а в другие дни, казалось, и не вспоминал о них. Чем бы ни увлекся Питер, можно было не сомневаться: он достаточно владеет собой, чтобы не зайти слишком далеко, и сумеет вовремя остановиться. Однако пока шла игра и длилось увлечение, каково бы оно ни было, Питер казался ненасытным, неукротимым; он отдавался мгновению всей душой, и человек, мало с ним знакомый, мог принять его за маньяка.

Помню, однажды я приехал к нему в Филадельфию, чтобы провести вместе субботу и воскресенье, — мы часто навещали друг друга. Он жил в меблированных комнатах средней руки на Четвертой Южной улице; там жил и кое-кто из его приятелей, другие навещали их; когда бы я туда ни пришел, игра бывала уже в разгаре; я не видел в этом ничего дурного, просто здесь умели жить и развлекаться. Сбросив пиджаки, засучив рукава, если это было летом (а нередко и зимой), вокруг стола сидели или стояли с десятков игроков в покер или в кости. Питер среди них — самая яркая фигура. На столе или где-нибудь под рукой — деньги, коробки папирос, сигары, кувшин, а то и целый жбан с пивом. Питер ни минуты не сидит спокойно — он красен, возбужден, глаза блестят, волосы взъерошены, воротничок расстегнут; он то закуривает сигару, то наливает пиво и, размахивая руками, кричит во все горло:

— Моя взяла! А я говорю, не выйдет! Два на шесть! Три! Четыре! Давай бросай кости! Ну-ка, бросай кос-

ти! Снимай! Выкладывай, Спайк! У тебя есть сейчас деньги, плати. Не заплатишь — больше в долг не поверю. Один на четыре, на пять — очко! Бросай кости! Давай, давай! — Увидев меня, он немного успокаивался и понижал голос: — Ух, Драйзер, я уже набрал двадцать восемь! — Или: — Я уже проиграл тридцать, черт возьми. Но я все равно еще поставлю, была не была. Проиграю или выиграю еще пять — и на этом кончу. Понимаешь? Эти чертовы плуты всегда стараются смошенничать! А когда проигрывают, не хотят платить. В жизни не сяду больше играть с такими жуликами!

В комнате с ними бывали и девушки — сестра, подруга кого-либо из играющих, — они танцевали, играли на рояле, пели; тут были и хозяева — какая-нибудь невзрачная пара, прошлое и настоящее которой всегда, видимо, хорошо было известно Питеру. Он был душой этих сборищ, просто удивительно, как он умел вносить в них дух бесшабашного, дружного веселья. Я глядел на него и с восхищением и с завистью, — уж больно унылой и пресной казалась мне в такие минуты моя собственная жизнь, мои мысли и желания. В Питере же, в его энергии и жизнерадостности было что-то сильное, широкое, язычески здоровое. Он играл во все, в любые игры и где придется — под открытым небом и в доме. Выбьется из сил и тогда только отбросит то, что было в руках — будь то карты, клюшка для гольфа, теннисная ракетка, — и скажет:

— Довольно! Хватит. Я уже совсем выдохся. Хватит с меня. Больше не могу. Ни одной партии. Пошли, Драйзер, я знаю одно такое местечко... — И, с упоением вспоминая о шашлыке или жаренной во фритюре рыбе, о приготовленном особым способом сладком корне или кукурузе, или помидорах, он вел меня в какую-нибудь свою любимую «обжорку», как он, бывало, говорил, или шашлычную, или в китайский ресторанчик и, если его не удержишь, заказывал столько еды, что хватило бы на четверых. По дороге — а он всегда предпочитал ходить пешком — он успевал поговорить и о последнем политическом скандале, и о новом научном открытии, и о недавнем трагическом случае, и об искусстве — ничто не ускользало от его внимания. Когда я бывал с Питером, весь мир для меня преображался, жизнь казалась более красочной, более веселой и увлекательной. словно передо мной распахивались настежь двери и воображение

мое проникало в новые для меня миры и мирки: чужая семейная жизнь, фабрики, лаборатории, игорные дома и притоны. В то время самыми популярными фигурами были такие люди, как Маккинли, Теодор Рузвельт, Ханна, Рокфеллер, Роджерс, Морган, Пири, Гарриман; их деятельность, их взгляды и цели, их искренность или лицемерие Питер подвергал блестящему анализу. Мне кажется, он оправдывал и даже одобрял трезвый оппортунизм в государственном деятеле, если это не было следствием низкого образа мыслей, но меркантильность таких людей, как Маккинли, возбуждала в нем негодование и даже презрение,— правители не должны опускаться до торгашества. Однажды я спросил его, почему он не любит Маккинли, и Питер коротко ответил:

— Маккинли болтает, а Ханна загребает.— Над Рузвельтом Питер всегда посмеивался, считая его забавным эгоистом и самовлюбленным позером.

— Ничего не скажешь,— говорил Питер,— Тедди умеет рекламировать себя. Но для Америки он полезен, он открывает перед ней широкие перспективы.— Рокфеллером Питер восхищался, как двигательной силой, толкающей Америку к автократии, олигархии, а может быть, и к революции. Впрочем, и Ханна, и Морган, и Гарриман, и Роджерс приведут к тому же, если их не обуздать. Пири, может быть, открыл северный полюс, а может быть, и нет,— об этом Питер не брался судить. Но старый плут Кук, попытавшийся незадолго до смерти присвоить себе честь этого открытия, очень веселил Питера.

— А датчане еще нацепили на него венок из роз! Это великолепно, Драйзер, это грандиозно. Мюнхаузен, Кук, Гулливер, Марко Поло — они бессмертны, они созданы для бессмертия.

По субботам или воскресеньям, если мы проводили их вместе, мы отправлялись куда-нибудь за город, сначала трамваем, или поездом, или пароходом, а потом пешком; а иногда, если была охота, мы от самого дома шли пешком и вели длинные беседы. Тут-то Питер показывал себя во всем блеске. Он так хорошо знал жизнь, так интересно говорил о природе, о ее жестокой, загадочной красоте, что я мог слушать его без конца, как, должно быть, когда-то ученики слушали Платона и Аристотеля.

Однажды мы бродили с ним вдоль узенькой бухточки, где-то в окрестностях Камдена; через бухточку был

перекинут мост, а под ним стояли рыбацьи лодки. Как раз когда мы проходили по мосту, внизу кто-то с лодки увидел утопленника, вероятно, самоубийцу; видно, тело пробыло в воде не один день, но не было обезображено, только посинело. Судя по одежде, утопленник был человек с некоторым достатком. Меня мутило от одного вида мертвеца, и я тянул Питера прочь. Но не тут-то было. Ему непременно надо было помочь вытащить тело на берег; не успел я оглянуться, как он уже был среди лодочников и вместе с ними горячо обсуждал вопрос о том, кто этот человек и почему он утонул. Потом Питер предложил им обыскать карманы утопленника, пока кто-нибудь сходит за полицией. Но, главное, ему не терпелось порассуждать о том, что человек всего-навсего соединение хлора, серной и фосфорной кислоты, калия, натрия, кальция, магния, кислорода, и о том, какие из этих составных частей окрашивают разлагающуюся плоть в зеленые, желтые или бурые цвета. Питер был реалист, не боялся прямо смотреть на вещи с суровой, но, по-своему, очень человеческой пытливостью. У меня этого мужества не было. Питер же все мог переварить. Его не смущало, что тело утопленника уже становилось добычей червей. Питер с увлечением говорил и о них, об их назначении и обязанностях. Он смело утверждал, что человек в лучшем случае — всего-навсего химическая формула, что его создала сила несравненно более разумная, чем он, — для каких-то своих, может быть, и не очень высоких целей. И какова бы она ни была, эта сила, что бы она собою ни представляла, она и не добра и не зла в том смысле, как мы это понимаем, но соединяет в себе и то и другое. И тут он сел на своего конька и пустился в мистику: рассказывал о прорицаниях халдеев, как они гадали по звездам и по внутренностям мертвых животных, прежде чем отправиться в поход, о варварских фетишах африканцев, о хитрых фокусах греческих и римских жрецов и, наконец, сообщил мне об одном предприимчивом рыботорговце, который привязал под водойдохлую лошадь, чтобы каждое утро иметь для рынка побольше угрей. В конце концов я возмутился и сказал, что все это омерзительно.

— Друг мой, — возразил он, — ты слишком чувствителен. Нельзя так смотреть на жизнь. Для меня она хороша, несмотря ни на что. Такова она есть, и мы ей не хозяева. Зачем же бояться правды? Химия человеческо-

го тела ничуть не хуже любой другой, и едим же мы трупы животных, которых сами убиваем. Немного больше или немного меньше жестокости — какая разница?

В другой раз, и, конечно, чтобы подразнить меня, он рассказал, что однажды в каком-то захудалом китайском ресторанчике ему подали рагу, и он обнаружил в нем и съел кусочек детского мизинца.

— И это было очень вкусно, — добавил он.

— Чудовище! — возмущался я. — Свинья! Людо-ед! — Но он только хохотал в ответ и уверял, что это чистая правда!

Однако вспоминаю я об этом только потому, что мне хочется нарисовать во всей полноте этот своеобразный, порой казавшийся мне просто неправдоподобным характер. Несмотря на весь свой цинизм, он неизменно оставался отзывчивым и сердечным, и столько в нем было тепла и такта, что в любом обществе он сразу становился своим. Он знал, кому и что можно сказать, и никогда никого не задевал неосторожным словом. Через минуту после вздора о рагу он уже рассказывает о тайнах цветочного опыления, о средневековых цеховых корпорациях, или вдруг залюбуется пейзажем, и, глядя на Питера, я сам невольно заражался его невысказанным волнением — так глубоко он чувствовал красоту.

Питер прожил в Филадельфии года два-три — этот город уже был для меня неотделим от его вкусов и настроений, — но потом вдруг переселился в Ньюарк; оказалось, он давно уже вел переговоры с самой крупной ньюаркской газетой. Он не поладил с редактором своего отдела в Филадельфии и, недолго думая, уехал, оставив на столе записку с едкой цитатой из какого-то поэта. В Ньюарке — городе, который для меня до тех пор просто не существовал, он чувствовал себя прекрасно, и я, живя по соседству, в Нью-Йорке, тоже был на вершине блаженства. В заштатном фабричном городе Ньюарке насчитывалось всего тысяч триста жителей, и казалось, что там может быть интересного? Но там жил Питер, и этот городок сразу предстал для меня в новом свете. Питер тотчас нашел там удивительной красоты канал, — он проходил через центр города возле самого рынка; мы часто гуляли по берегу канала, уходили далеко в поле, в лес. В одном из тихих переулков он нашел или выкроил из какого-то пансиона такое уютное и приветливое жилье, что оно показалось мне даже лучше, чем его фи-

ладельфийская квартира. Питер записался в члены загородного клуба на реке Пассаик, и мы не раз там обедали на террасе. Он отыскал в городе китайский квартал с двумя-тремя ресторанами; очень живописный итальянский квартал, где тоже имелся ресторан; среди новых знакомых Питера были: аптекарь психиатрической больницы, обладавший коллекцией японских и китайских редкостей стоимостью в сорок тысяч долларов; нью-йоркский режиссер, который и сам писал пьесы; владелец газетного синдиката; председатель общества любителей пения; председатель стрелкового клуба; хозяин гончарной мастерской. Питер был неутомим, жизнь была в нем ключом, и одно увлечение сменялось другим. Вдруг он увлекся керамикой, сам делал и обжигал фарфор, ему хотелось скопировать те изумительные китайские тарелки и вазы, которые он видел в Государственном музее искусств. Он снимал узор, покупал или сам обжигал в какой-нибудь гончарной тарелку, покрывал ее глазурью и снова обжигал. С полгода он работал дома по субботам и воскресеньям, а иногда и по утрам, перед тем как идти в редакцию, и, наконец, смастерил три или четыре тарелки, которыми сам остался доволен; они и в самом деле были великолепны, и он сохранил их. Остальные раздарил.

А немного погода — не угодно ли — он принялся за турецкий коврик; он уже давно исподволь готовил пальцы и шерсть. И вот Питер обзавелся подушкой с турецким узором, сел перед ней, скрестив ноги, и начал медленно, но верно выделять ковер. Мне понравились и рисунок и цвета. Работа эта — кропотливая, нудная, да и заниматься ею Питер мог только на досуге и только днем: он уверял, что подбор цветов требует самого яркого освещения. Бывало, он сидит на полу, поджав ноги, или иногда на скамеечке перед своим грубым самодельным станком, состоявшим из деревянных планок и веревочек, и чем-то постукивает, что-то подхватывает, связывает, распутывает, — мне казалось, нет на свете занятия скучнее.

— Ради всего святого, — сказал я однажды, — неужели ты не мог помешаться на чем-нибудь поинтереснее? Более унылой и канительной работы я в жизни своей не видел.

— Потому-то она мне и нравится, — отвечал он и, не взглянув на меня, продолжал все так же усердно

ткать.— У тебя, Драйзер, есть один большой недостаток: ты не умеешь извлекать удовольствие из малого. Не забывай, то, что я делаю,— это искусство, а не труд по обязанности. Мне любопытно проверить, сумею я выткать турецкий ковер или нет. И это мне нравится. Если у меня получится хоть одно яркое пятно, хоть уголок узора — с меня довольно. Значит, я могу сделать весь ковер, понимаешь? Ведь на один такой ковер иной мастер тратил всю жизнь. Ты считаешь, что я занимаюсь пустяками. Вовсе нет. Тут не ковер дорог, дорого доказать самому себе: вот я могу это сделать! — И, в высшей степени довольный собой, Питер продолжал постукивать и связывать. Со временем он действительно выткал три или четыре дюйма мягкой, но плотной и вместе с тем шелковистой ковровой ткани. И как же он ликовал! Всем показывал свое изделие и уверял, что, когда закончит его (через сколько же это лет, хотел бы я знать?), у него будет великолепный ковер.

В то время у него в Ньюарке составилась круг друзей, и я думал, что это уже надолго. Он всей душой отдавался своей работе в газете, и, хотя был только карикатуристом, его влияние чувствовалось во всех отделах, и его неутомимая предприимчивость воодушевляла всех сотрудников. Издатель газеты, главный редактор, заведующий отделом иллюстраций, заведующий редакцией, заведующий хозяйственной частью — все были его друзьями. Он застраховал свою жизнь в пользу будущей жены и детей. С заведующим цинкографией он рассуждал о клише и шрифтах, с фотокорреспондентом — о художественной фотографии, с иллюстратором — о том, как расширить местный музей. Очень скоро здесь повсюду дало себя знать его пристрастие к нелепым выдумкам — он затеял глупейшую мистификацию и одурачил население по меньшей мере четырех штатов,— ее подхватили все воскресные газеты, а под конец Питер сам выступил в этой комедии как режиссер и блестящий актер. И все это — потехи ради, чтоб показать, как часто говорил Питер, что он и такое может.

Дело в том, что Питер выдумал что-то вроде старого буки, которым нас пугали в детстве: будто откуда-то явился дикарь и бродит вокруг — свирепый, кровожадный, страшный. Впервые я услышал об этом как-то в воскресенье, года через два после переезда Питера в Нью-

арк. Мы гуляли с ним за городом, и вдруг ни с того ни с сего он сказал:

— Слушай, Драйзер, меня недавно осенила блестящая идея, и мы в газете все думаем, как ее осуществить. Это старый, затасканный трюк, но он пройдет, как и любой вздор, лучше, чем что-нибудь дельное. Я решил избрести дикаря. Ты же знаешь, как обыватель любит все необычайное, сверхъестественное, жуткое? Барнем был совершенно прав. Дураков не сеют,— они сами рождаются. Вот я и готовлю эту штуку для дураков. Она не хуже священного белого слона или гиппопотама, выделяющего кровь вместо пота. Я собираюсь разыграть ее именно здесь, в нашем богоспасаемом Ньюарке,— и уж будь уверен, тут все попадутся на удочку, непременно! — и он расхохотался.

— О господи, что ты еще придумал? — спросил я с горестным вздохом.

— Ну, ладно, ладно. Теперь уже все дело на мази. Мы будем теперь каждые три-четыре дня давать первые телеграммы — одну, скажем, из Рамблерсвилля, в Южном Джерси, другую дня через четыре из Хохокеса, на двадцать пять миль дальше. Мы постепенно к весне передвинем его на север — прямо сюда, в Эссекский округ. Это будет настоящий дикарь, понимаешь,— злобный, страшный. Он у нас будет покрыт длинной шерстью, как бизон, глаза налиты кровью, руки и ноги огромные, и на них — когти. Он совершенно голый или станет голым, пока попадет в Ньюарк. Он восьми футов ростом. Он убивает и пожирает лошадей, собак, коров, свиней, кур. Приводит в ужас мужчин, женщин, детей. Он носится по пустынным дорогам, заглядывает по ночам в окна, обращает в паническое бегство стада, устрашает бродяг и торговцев вразнос. Вот подожди, увидишь. Летом мы будем сообщать о нем сенсационными заголовками, в воскресных выпусках посвятим ему целые полосы. Мы заставим простофиль охотиться за ним, предложим денежное вознаграждение за его поимку. Может быть, где-нибудь действительно изловят какого-нибудь несчастного безумца. Наша публика чему угодно поверит, если ее как следует раззадорить.

— Да ты сам сумасшедший! — смеялся я. — Шут гороховый!

Но вот прошла неделя, другая, и Питер уже посылает мне газетные вырезки — телеграфные сообщения о про-

делках своего лесного жителя, да не откуда-нибудь, а из таких почтенных органов, как нью-йоркский «Солнце и мир», филадельфийский «Североамериканец», хартфордские «Куранты». То тут, то там, особенно в восточных штатах, стали появляться довольно пространные сообщения с описанием подвигов этого неуловимого дьявола. За один месяц его видели в десяти разных местах, довольно отдаленных друг от друга, но он неуклонно двигался к северу. В одном месте он убил сразу трех коров, в другом — двух и пожирал мясо сырым. Старушка Горсуич из Датчерс Ран (округ Осгорула, штат Пенсильвания), возвращаясь от своей невестки Энни Горсуич, потихоньку плелась по пустынной дороге, как вдруг на нее набросилось страшное чудовище, получеловек, полужверь, громадный, весь обросший рыжими волосами; алчные, налитые кровью глаза так и впились в нее; он уже готов был схватить свою жертву, но в это время загромыхал ехавший навстречу фургон, и чудовище убежало, а м-с Горсуич осталась лежать на земле в обморочном состоянии. То тут, то там вспыхивали стога и амбары; одинокие вдовы, живущие где-нибудь на отшибе, в страхе покидали свои дома... Я читал все это и дивился упорству и терпению мистификатора.

Помнится, в июне или в июле я был в Ньюарке и мимоходом спросил Питера, как поживает его одичавший человек. Он ответил:

— Великолепно! Лучше некуда! Все уже устроено. Скоро он будет здесь, в ближайшую субботу или воскресенье, смотря по тому, когда я смогу освободиться; мы собираемся сфотографировать его. Хочешь приехать посмотреть?

— Что за чертовщина! — изумился я. — Кто будет его изображать? Где?

Питер усмехнулся:

— Приезжай и увидишь. Мы нашли настоящего дикаря. Это я его отыскал. Я поймаю его тут в лесу. Приезжай и посмотри, если не веришь. Вот ты не верил, когда я говорил, что одурачу обывателей, а я своего добился. Взгляни-ка, — и он показал мне вырезки из газет-соперниц. Сообщалось, что дикаря видели в Эссекском округе, меньше, чем в двадцати пяти милях от Ньюарка. В пяти соседних штатах пострадало имущество многих граждан. Высказывалось предположение, что дикарь — это помещанный, сбежавший из сумасшедшего

дома; другие утверждали, что он бежал из цирка или с торгового корабля, потерпевшего крушение у берегов Джерси (эту мысль подсказал сам Питер). Дикарь уже нанес жителям убытков в общей сложности на тысячи долларов. Даже самые почтенные граждане забеспокоились. Повсеместно было объявлено вознаграждение за поимку дикаря. Разъяренные фермеры, вооруженные до зубов, соединялись в отряды, полные решимости схватить его во что бы то ни стало. В любую минуту можно было ожидать каких-нибудь чрезвычайных происшествий... Я читал вырезки и глазам своим не верил. Это было слишком нелепо, и за всем этим стоял ухмыляющийся, хохочущий Питер—душа этой дурацкой затеи.

— Ах ты, негодяй! — твердил я. — Шут гороховый. — А он только посмеивался.

Чтобы не пропустить такую сенсационную развязку, как поимка чудовища, я в следующее воскресенье ни свет ни заря отправился в Ньюарк, Питер был дома; в комнатах — кавардак, сам он засовывал в саквояж какие-то вещи. У подъезда его ждали в автомобиле фотограф редакции и еще несколько человек — все очень весело настроены: они собрались помогать Питеру выследить дикаря, устроить на него облаву и, если удастся, сфотографировать его.

— Все это прекрасно, но кто будет изображать дикаря? — добивался я.

— Ну, ну! Не будь таким любопытным, — смеялся Питер. — И у дикаря есть свои права и привилегии. Еще раз всех предупреждаю — относитесь к нему с уважением. Он очень обидчивый и репортеров-то, во всяком случае, не жалует. Мы его сфотографируем — и это будет самый настоящий дикарь. Чего вам еще?

Но вот мы приехали к месту съемки. Место выбрали самое подходящее: уединенный живописный уголок на берегу Морисского канала, близ Бунтона; преследователи группами рассеялись по лесу и осторожно выглядывали из-за деревьев, горя нетерпением выследить свою необычайную дичь. Здесь-то и был сделан моментальный снимок. Затем Питер куда-то исчез, и вот вижу, он идет к нам, волосы дыбом, все тело вымазано чем-то черным, только вокруг глаз белые мазки, на запястьях, на лодыжках, на бедрах торчат клочья шерсти — поистине одичавший человек, лучше не надо, только роста до восьми футов не хватало.

— Питер! — сказал я. — Это нелепо! Ты с ума сошел!

— Осторожнее выбирай слова, когда говоришь со мною, — промолвил Питер с достоинством. — Ведь я дикарь. С нашим братом лучше не шутить. Я потомок старейшего, славного племени. Ты меня не тронь. — И он важно, как заправская кинозвезда, прошествовал через лужайку, чтобы обсудить с художником и фотографом, в каких позах снять дикаря, не замечающего своих преследователей, чтобы вышло и страшно и правдоподобно.

— Но где же рост в восемь футов? — не выдержал я.

— Пустяки, пустяки, — беззаботно отвечал Питер. — На фото выйдут все восемь футов. Нет ничего проще. Видишь ли, мы, дикари...

Некоторые снимки получились великолепны — от них прямо дух захватывало. Дикарь то злобно скалился, то хитро или испуганно выглядывал из-за листвы. Питер был превосходный актер. У меня, кажется, и сейчас еще где-то хранится полный набор этих снимков вместе с номером газеты, вышедшим через неделю; дикарю в нем была посвящена целая полоса.

Конечно, снимки произвели должное впечатление, но, увы, опасения оправдались — дикарь исчез.

Воды канала смыли внушаемый им ужас, а вернее — он скрылся в тайниках памяти Питера. Газеты еще несколько раз о нем упомянули, потом из какого-то города на северо-востоке Пенсильвании сообщили по телеграфу, что найден, по-видимому, труп этого самого дикаря. А Питер появился то ли из глубины канала, то ли с берега, если и не с чистой совестью, то, во всяком случае, чистенький и аккуратный, как ни в чем не бывало. Он смеялся, приглаживал волосы, поправлял галстук.

— Ну и сумасброд! — восхищался я. — Ты неисправимый жулик.

— Ничего подобного, Драйзер. Брось ворчать, — смеялся в ответ Питер. — Я всеобщий благодетель, а не жулик. Я творец. Я ведь сотворил необычайное существо, и оно живет в умах людей, и в твоем сознании, и в моем. Ты же и сам поверил в него. Вот только четверть часа назад он выглядывал из-за этих кустов. Он развлекал тысячи людей, радовал их, волновал. Стивенсон сотворил своего Джекила и Хайда, почему бы мне не со-

творить дикаря? Я и создал его. Вот его фотографии. Чего же тебе еще?

Пришлось согласиться. Это была блестящая мистификация, и Питер разыграл ее мастерски: тут он был в своей стихии.

После этого он как будто успокоился на время; но теперь им все сильнее стала овладевать мечта о женитьбе, о семье, о детях. По тому, что я рассказал о Питере, он может показаться человеком, презирающим все будничное, житейское. На самом деле Питер был совсем не таков. Несмотря на крайность некоторых своих взглядов, он сознательно, страстно тянулся к обыденным радостям жизни. Он хотел для себя жизни деятельной, светлой, но простой и здоровой. Он не искал утонченности; недаром он так увлекался прикладными искусствами. Бакалейщик, парикмахер, трактирщик, портной, сапожник, — если только они были мастерами своего дела, — всегда вызывали в Питере интерес и теплое участие. Он уважал их занятия, их ремесло, умение и особенно — в тех, кто обладал этими качествами, — трудолюбие, трезвость, честность. Он считал, что, как ни тяжела их жизнь, миллионы людей, и прежде всего те, кто окружает его, добросовестно стараются делать свое дело как можно лучше. Он не выносил бездельников, людей тупых, скучных; мошенник или вор был ему так же противен, как и праведный ханжа и педант. Он не любил ничего напыщенного и показного. Маленькие домики с палисадниками и крылечками, привычный уклад жизни, чистота и порядок — вот что, казалось, больше всего пленяло Питера. Он уверял, что этого довольно. На что человеку жить во дворце, если он не занимает высокого поста и не обязан устраивать у себя приемы?

— Вот, Драйзер, — говорил он, бывало, еще в Филадельфии и Нью-Йорке и даже еще раньше, — именно так я буду когда-нибудь жить. У меня будет моя маленькая фрау, семеро ребят, куры, собака, кошка, канарейка — все как в добропорядочном немецком доме, — свой садик, курятник, своя любимая трубка, а по воскресеньям, вот увидишь, буду шествовать во главе своего семейства в церковь! Башмаки у ребят должны быть начищены, у девчонок в косичках — ленты, — все как полагается.

— Э, брось болтать, — говорил я.

— Вот подожди, увидишь. Что может быть на свете лучше домашнего очага? Человек должен жить и уме-

реть в лоне семьи. Это единственно правильное. Ты не смотри, что я сейчас бешусь, отдаю дань молодости. Я просто готовлюсь к тому, чтобы стать настоящим добропорядочным семьянином. Только так и надо жить. Это закон природы. Наши мальчишеские похождения — дело временное. Это нужно только, пока ищешь, выбираешь себе подходящую жену. Это проходит с годами. Каждый человек, если ему не грош цена, должен найти женщину, с которой он мог бы прожить всю жизнь. На этом держится мир, тот мир, в котором нам приятно жить. И мы все в душе стремимся к этому. Это в духе нашей цивилизации — каждый должен найти себе жену и остепениться. Когда я женюсь, не будет больше ночных пождений то с одной, то с другой. Я буду образцовым мужем и отцом, вот не сойти мне с этого места! Да, да. Можешь не улыбаться. У меня будет свой дом, сад, добрые соседи. Ты будешь приходить к нам и нянчить наших детишек.

— О боже, новое помещательство! Любопытно, долго ли ты будешь бредить этим раем в шалаше.

— Ладно, ладно. Смейся, сколько тебе угодно. Потом сам увидишь.

Время шло. Питер жил все в том же водовороте увлечений. Но нет-нет, а возвращался к мысли о женитьбе. Однажды, правда, мне показалось, что со светловолосой девочкой из Филадельфии покончено. Он вспоминал о ней все реже и реже. Как-то в загородном клубе, играя в гольф, он познакомился с одной из развлекающихся там девиц. Я видел ее. Это была вполне современная молодая особа — недурна собой, лицо несколько чувственное, изящная, мила в обращении, не очень образованная, но веселая и неглупая; словом — не хуже других.

Одно время Питер, казалось, сильно увлекся ею. Она немного музицировала, танцевала, хорошо играла в гольф и теннис. Питер ей как будто очень нравился, по крайней мере она это показывала. А он в конце концов признался мне, что влюблен в нее.

— Значит, с Филадельфией покончено? — спросил я.

— Мне очень стыдно, — отвечал он, — но боюсь, что это так. У меня скверно на душе, я ведь еще не совсем потерял совесть.

Больше мы об этом не говорили. У него была тогда новая причуда — он коллекционировал кольца и, точно

индусский раджа, набрал целую шкатулку и предложил своей пассии выбрать те, которые ей понравятся.

Вдруг он заявил мне, что все это кончилось и он женится на девушке из Филадельфии. Бриллиантовый перстень, который он подарил своей недавней возлюбленной в знак помолвки, он, сняв с ее руки, выбросил в водосточную канаву. Сначала он не хотел говорить мне, что же произошло, но мы были слишком дружны, чтобы он мог долго молчать. О своей мечте обзавестись женой и детьми и стать добропорядочным семьянином Питер говорил не только мне. Он посвятил в это и свою новую возлюбленную, и она, видимо, отнеслась к его планам сочувственно. Но вот однажды, когда он уже подарил ей кольцо, кто-то из его партнеров по гольфу раскрыл ему глаза: девица его обманывает! Она была близка с другими мужчинами, и по крайней мере одна из этих связей еще продолжается. Позднее эта особа уверяла, что не на шутку была влюблена в Питера и хотела начать с ним новую жизнь; но она не окончательно порвала с прошлым, а если и порвала, никто в это не верил. Нашлись люди, которые с фактами в руках обвиняли ее. Извлекли на свет какую-то компрометирующую ее записку и показали Питеру.

— Так мне и надо, Драйзер,— каялся Питер, рассказывая мне об этом,— следовало знать, что это не та женщина, которая мне нужна. Она меня хорошо проучила, поделом мне. Как я раньше не видел, что она такая? Уж очень она легкого нрава, какая это жена? Семьи с ней не создашь. Просто ей не хотелось терять меня, я ей нравился. И притом она совсем не в моем вкусе — я предпочитаю женщин попроще.

— А я думал, ты любил ее.

— Любил или вообразил, что люблю. Но у меня все же были сомнения. Много в ней мне не нравилось. Ты думаешь, насчет семьи это одни слова? Ошибаешься. Тебе это кажется скучным и пресным, а мне ничего другого не надо. Я хочу жениться и жить именно по-семейному, нормальной, обыденной жизнью,— и я этого добьюсь.

— Но как же ты так быстро с ней порвал? — полюбопытствовал я.

— Как только я узнал о ней правду, пришел и все ей выложил. Представь, она и не думала ничего отрицать. Сказала, что да, это так, но все равно она любит

меня и готова ради меня бросить старое и жить по-другому, как я хочу.

— Что же, это, наверное, искренне,— сказал я.— Может, она, правда, любит тебя. Ты и сам, знаешь ли, не святой. И если бы ты помог ей, она, возможно, сдержала бы слово.

— Может быть, но я в это мало верю,— возразил он, качая головой.— Думаю, не так уж она меня любит. Я ей нравлюсь, и все. Вряд ли она переменилась бы после всего, что уже испытала. Она, может быть, и хотела бы, да поздно. Я это чувствую. И не хочу рисковать. Она мне нравится, я просто без ума от нее. Но все кончено. Я женюсь на моей немочке, если только она согласится, и навсегда разделаюсь с холостяцкой жизнью. И тебе придется мириться с этим и бывать у меня.

Через три месяца Питер сделал предложение, получил согласие, привез в Ньюарк свою немочку (потом он стал называть ее Зулейкой) и поселился с ней сначала в прелестной квартирке в самой респектабельной части города, а потом они переехали в небольшой домик с зеленой лужайкой впереди и двориком позади, на одной из самых тихих и скромных улиц. Душа радовалась, когда я смотрел на то, с каким удовольствием он входит в новую роль примерного мужа, а ровно через девять месяцев после свадьбы — в роль счастливого отца; в доме у них было скромно, но уютно. Здесь я лишь кратко могу остановиться на семейной жизни Питера.

Я уже писал о том, с каким упоением Питер всегда говорил о семье,— это была его давнишняя, заветная мечта. Он был верен себе до конца жизни и в точности осуществил свои планы. Я не знаю лучшего, чем Питер, мужа, отца, гражданина. Он выбирал эту роль сознательно, по расчету, но вкладывал в нее столько души, столько неподдельного пыла, что я поражался: я-то ведь знал, что все это заранее обдуманно и рассчитано. Трудно было поверить, что ему это удастся, и, однако, Питер создал поистине счастливую семью. Я не видел другого дома, где дышалось бы так легко и радостно.

— Вот она, моя фрау Зулейка,— говорил он в день свадьбы.— Ну разве она не прелесть? Видал ты когда-нибудь такие чудесные волосы! А какие румяные щечки! Ты только посмотри! А носик! Ах ты, моя женушка! Вот здесь,— он указал на жилетный карман,— золотая цепь, которой я теперь навек прикован к домашнему оча-

гу. А у нее на руке кольцо — символ моего будущего рабства.— Затем, как бы обращаясь только ко мне, но нарочито громко, он сказал: — Через полгода начну ее колотить. Поди сюда, Зулейка. Придется нам пройти через это. Ты должна поклясться, что будешь моей рабыней.

Итак, они поженились.

Питер оказался необычайно деятельным, заботливым и притом шумным хозяином дома. Возвратившись из редакции, он тотчас начинал хлопотать, суетиться, что-то прилаживал, приводил в порядок свои коллекции, помогал Зулейке мыть посуду или учил ее готовить какое-нибудь неизвестное ей кушанье. Он бегал по лавкам, ходил через весь город на рынок. Еще задолго до рождения первого ребенка он говорил мне, ничуть не стесняясь:

— Знаешь, Драйзер, через несколько месяцев у нас с Зулейкой появится наш первый детеныш. Хочется мальчишку, но ведь заранее не угадаешь. Мы уже возносим к богу наши молитвы, делаем пожертвования на церковь. Я каждый вечер заставляю Зулейку молиться. И знаешь, когда он родится — никакого баловства, никому не разрешу его баюкать и укачивать. Уж я-то буду разумно воспитывать своего ребенка. Я уже разработал режим. Никаких каш и детской муки! Будем поить мамашу добрым старым кульмбахским пивом, а потом и младенца, если ему это придется по вкусу. В моем доме будет царить добрый старый закон и порядок. Все будет крепко и солидно, «tüchtig, wichtig», — как говорят немцы.

— У тебя вульгарные, плебейские вкусы, — смеялся я, поддразнивая его.— Больно просто ты смотришь на вещи.

Вскоре родился ребенок, к величайшей радости Питера — мальчик. Я никогда не видал человека, который бы с таким увлечением нянчил ребенка, вкладывал столько души и страсти во все мелочи, от которых могло зависеть здоровье и благополучие малыша. Первые недели он все твердил, что не надо ребенка баловать и портить, но скоро взгляды его резко изменились, — он стал нежнейшим, до смешного заботливым папашей. Он готов был с утра до ночи держать малыша на руках, лишь бы позволила жена. У них была няня, но куда бы Питер ни ходил один или с женой, он брал ребенка на

плечо и тащил с собой. Больше всего он любил сидеть с сыном в качалке и петь ему песенки, а то вдруг ввалится с ним в мою нью-йоркскую квартиру, причем малыш так закутан, что кажется клубком шерсти. Ночью — чуть только ребенок пошевелится или захнычет во сне — Питер уже вскакивает и бежит к кроватке. А с каким восторгом он покупал фартучки, чепчики, люльку, игрушки; младенцу еще и трех недель не было, а Питер уже купил ему разноцветных резиновых мячей и солдатиков!

— Где же твой суровый режим и спартанское воспитание? Кто говорил, что не даст укачивать ребенка по ночам?

— Все это хорошо, пока нет своего ребенка. Теперь, когда у меня есть сын, я смотрю на это по-другому. Послушайся моего совета, Драйзер, женись. Не избегай общего порядка. Обзаведись младенцем, а то и двумя, и тремя. Человек не может быть без семьи. Это сильнее нас. Так уж устроено природой! Да, иметь семью, детей — большое, великое дело.

Говоря это, он покачивался в качалке и прижимал к груди сына. Умилительное зрелище!

А его жена, она так и сияла от счастья! В доме было столько света, цветов, столько смеха и радости. И здесь у Питера тоже всегда толпился народ — приезжали старые и новые друзья, заходили соседи. Прожив здесь каких-нибудь два года, он уже был на дружеской ноге с мастером из парикмахерской, что за углом, и с бакалейщиком, и с портным, и с хозяином ближайшего бара, и со всеми, кто жил по соседству. Молочник, угольщик, аптекарь, хозяин табачной лавочки на углу — все знали дорогу к дому Питера. На двух клумбах в его крохотном палисаднике все лето цвели цветы; на грядках под окном росли салат, лук, горох, фасоль. Питер бывал счастлив, когда мог побыть дома, поиграть с сынишкой, покатать его в коляске, поработать в огороде или, растянувшись на полу, что-нибудь мастерить: он гравировал, вырезал по дереву, трудился над какой-нибудь шкатулкой, а карапуз в дешевом бумажном платьице ползал тут же. Питер никогда не сидел без дела, но все время уголком глаза следил за малышом и нет-нет да грозил ему, шутя:

— Ну-ка, брат, не очень-то усердствуй. Не тронь мои игрушки!

По воскресеньям Питер любил посидеть на крыльце, конечно, не один, а с сыном на руках,— читал газету, покуривал, наслаждался желанным семейным счастьем. После обеда, подхватив сынишку, он отправлялся куда-нибудь — к друзьям, в парк, даже ко мне в Нью-Йорк. За завтраком, за обедом, за ужином наследник неизменно восседал рядом с ним на высоком стуле.

— На вот резиновую ложку. Стучи ею. И не больно и не разобьешь ничего.

— Хочешь корочку хлеба в соусе? А? Или боишься сломать себе зубы?

— Зулейка, твой сын считает, что ему полезно выпить ложку-другую пива. Что ты на это скажешь?

Бывало, в субботний вечер Питеру хотелось пойти поиграть в шары, но и тут он не желал расставаться с сыном. На малыша надевали плотный свитер, шапочку, отец сажал его на плечо и тащил в бар, а затем, выпив пива, шел играть. Малыша он привязывал где-нибудь в стороне к креслу, а сам катал шары со мною или еще с кем-нибудь. В одиннадцатом часу, наигравшись, он собирался уходить, а к этому времени малыш, которому наскучило играть собственными ногами или сосать большой палец, давно уже спал крепким сном, свесившись через шарф Питера, привязывающий его к креслу.

— Смотри, Питер,— заметил я однажды, показывая на уснувшего ребенка,— может, отнесем его домой?

— Вот еще! Пускай спит. Чем ему здесь плохо? И мне приятно на него смотреть.

А в комнате полно народу, курят, пьют пиво, громко смеются; друзья Питера привыкли к ребенку и были очарованы им так же, как отец. Этот человек всегда делал, что хотел, и никогда не сомневался в своей правоте. Очень уж просто и естественно он верил в то, что делает, и другим внушал эту веру, и чем больше его узнавали, тем искреннее уважали, больше того — горячо любили, особенно простые люди, среди которых ему так нравилось жить.

Именно в это время соседи задумали выбрать его то ли в муниципалитет, то ли в законодательное собрание штата; они верили, что он далеко пойдет на политическом поприще. Но Питер и слышать об этом не хотел. В ту пору или немного позже, когда у него уже родился второй ребенок — девочка, он как раз с увлечением писал свою поэму в прозе «Волк». Это оказалось блестя-

щее произведение, чему я нисколько не удивился: ведь автором был Питер! Если бы он вдруг спроектировал великолепное здание, создал прекрасную картину, занялся политикой и стал губернатором или сенатором,— я считал бы, что это в порядке вещей: ему все было по плечу! И сил и всяческих талантов у него хоть отбавляй. С разрешения Питера я предложил его поэму издательству, с которым был связан, и вот что мне сказал один из наших старейших издателей и знатоков книг:

— Вы никогда ничего не заработаете на этой книге. Она слишком хороша, слишком поэтична. Но выгодно это или нет, я за то, чтоб ее издать. Лучше потерпеть убыток на такой книге, чем наживаться на той дряни, какую мы выпускаем.

Золотые слова. Я согласился с ним тогда, соглашаюсь и теперь.

Конец Питера был столь же необычен и полон драматизма, как и вся его жизнь. В семье у него все шло так, как он задумал. Он был предан дому и детям, у него была любящая жена, множество друзей, он всем на свете интересовался; как это в нем все уживается? — снова и снова изумлялся я, хорошо помня его прошлое. Однажды он приехал в Нью-Йорк, побывал в китайской импортной фирме, через которую все еще доставал иногда кое-какие безделушки для своих коллекций. Питер зашел ко мне в редакцию, в Баттерик Билдинг, узнать, приеду ли я к нему, как обычно, на воскресенье. Он раздобыл кое-что занятное. Хочет сделать мне сюрприз. Надо, чтобы я приехал и поглядел. У лифта он весело помахал мне рукой:

— Ну, будь здоров. В субботу увидимся!

Но в пятницу, когда я, сидя за письменным столом, разговаривал с приятелем, мне подали телеграмму. Она была от жены Питера. Я прочитал: «Питер умер сегодня в два часа от воспаления легких. Приезжайте».

Я не верил своим глазам. Разве он был болен? Что теперь будет с его маленькой златокудрой Зулейкой, с малышами? А как же все его замыслы, планы? Я все бросил и помчался на вокзал. По дороге я размышлял над загадками, о которых так любил рассуждать Питер: смерть, распад, неизвестность, жестокое равнодушие природы. Что же станет с его женой, с детьми?

Приехав, я увидел, что от безмятежного семейного счастья в доме не осталось и следа,— все угасло, как

свеча от порыва ветра. Питер лежал неподвижный и холодный; рядом в детской его ребятишки лепетали, как всегда, не понимая, что случилось; жена словно застыла и онемела от горя. Это случилось так внезапно, точно гром среди ясного неба,— она не могла опомниться, сначала не могла даже рассказать, как все произошло. Тут же были врач, приятель Питера, сосед-парикмахер, два-три сослуживца Питера по редакции, владелец бара, где мы играли в шары, владелец антикварной коллекции в сорок тысяч долларов. Все, как и я, были ошеломлены случившимся. Как самый близкий друг Питера, я взял на себя все хлопоты: телеграфировал родным, пошел к гробовщику, знавшему Питера, договориться о похоронах; хоронить предстояло в Ньюарке, а может быть, и в Филадельфии, как захочет вдова (кроме Питера, ее с Ньюарком ничто не связывало).

Страшно было это отчаяние в доме, ощущение непоправимого несчастья, катастрофы. Казалось, какие-то неведомые, злые и коварные силы совершили подлое убийство. Еще в понедельник, когда Питер заходил ко мне, он был совершенно здоров. Во вторник утром он слегка простудился, но, несмотря на протесты жены, убежал куда-то без пальто. К вечеру у него поднялась температура, он принял хину, аспирин и выпил горячего виски. В среду утром он почувствовал себя хуже, послали за доктором, но ни о чем серьезном никто еще и не думал. В ночь на четверг ему стало еще хуже, днем началось удушье, и пришлось послать за кислородом. В ночь на пятницу больной уже очень ослабел, но надеялись, что вот-вот минует кризис и ему полегчает. Новый приступ начался внезапно, никто и не думал о роковом исходе, поэтому даже мне ничего не сообщали. Утром больному не стало ни лучше, ни хуже. Если бы к ночи положение не ухудшилось, он мог бы выздороветь. Днем началось резкое ухудшение. Жена и сиделка давали ему кислород, послали за доктором. В половине второго Питеру стало совсем плохо.

— Лицо посинело, губы сделались серые,— рассказывала мне его жена.— Мы дали ему кислород, и я спросила: «Питер, ты можешь говорить?» Мне было так страшно! А он только еле-еле покачал головой.— «Питер,— говорю я,— ты не должен сдаваться! Борись! Подумай обо мне, о детях!» (Я была прямо вне себя от страха.) Он так пристально посмотрел на меня. Потом

весь напрягся, заскрипел зубами, видно было, что собирал все силы. И вдруг откинулся и затих. И все кончилось!

Я невольно подумал: какая же нужна воля и энергия, чтобы в последнюю минуту, когда уже и язык не повинуетя, еще бороться со смертью, стиснув зубы. Что же такое человеческая душа, человеческий разум, если они способны так бороться до последнего мгновенья? Мне казалось, какая-то злобная, свирепая сила убила Питера, убила преднамеренно и безнаказанно.

И вот остались его антикварные коллекции, ковер, гравюра, фарфоровые тарелки, множество замыслов, книга, которая должна была скоро выйти. Я смотрел на все и дивился. Смотрел на жену и детей Питера и не мог вымолвить ни слова. И как всегда перед лицом подобного несчастья, меня одолевали мысли о грубом, своенравном случае, разрушающем наши мечты, о природе, равнодушной ко всему человеческому,— ей нет до нас дела! Если хочешь преуспеть — рассчитывай только на свои силы.

Ночь я провел в комнате рядом с той, где лежал умерший; там бледным светом горела свеча, и мне все казалось, что мимо меня взад и вперед, к спальне жены и обратно, ходит Питер, охваченный скорбным раздумьем. Мне чудилось, что тень эта безмерно страдает. Один раз он, казалось, подошел и коснулся рукой моего лица. Вот он входит в комнату к жене и детям, но его никто уже не видит, не слышит, не понимает... Я поднялся и долго смотрел на останки друга, потом снова лег.

Затем начались дни, полные хлопот. Приехали с Запада мать и сестра Питера, мать и брат его жены. Мне пришлось заняться всеми его делами: страховым полисом, который он оставил, художественными коллекциями, хлопотать о том, чтобы его похоронили на «освященной земле» филадельфийского кладбища, а для этого необходимо было согласие и помощь тамошнего католического священника; без этого согласия тело не могло быть предано земле.

Мать Питера желала похоронить его, как католика, но он никогда не был верным сыном церкви, и возникли осложнения. Приходский викарий отказал мне, отказал и священник. Тогда я пригрозил святому отцу, что буду жаловаться епархиальному епископу,— я взывал к здравому смыслу, говорил об уважении к чувствам като-

лической семьи, если уж нельзя отнестись по-христиански к убитой горем матери и вдове,— и священник в конце концов согласился. И ни на минуту меня не оставляло ощущение, что кто-то совершил чудовищное преступление, подлое убийство. Я не мог отделаться от этого чувства, и оно вызывало у меня не скорбь, а гнев.

Лет через семь я однажды навестил семью Питера в Филадельфии. Вдова его жила со своими родителями в одном из переулков фабричного района, где прошло ее детство; она теперь служила секретарем и стенографисткой у какого-то архитектора. Она мало изменилась, разве что слегка пополнила, но в ней уже не было прежней безмятежности, лицо стало покорным и озабоченным. Сынишка Питера, его любимец, уже не помнил отца, девочка, конечно, и не могла его помнить. В доме сохранилось несколько его гравюр, два-три китайских блюда, которые он сам обжигал, ткацкий станок с неоконченным ковром. Я остался обедать, на меня нахлынули воспоминания, но тягостно было на душе, и я скоро ушел. Вдова Питера проводила меня до дверей и долго смотрела мне вслед, как будто со мной уходило и то последнее, что осталось от ее прежней жизни.

КАЛХЕЙН, ЧЕЛОВЕК ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ

Обратиться к нему меня заставила нервная депрессия. На моем физическом состоянии она отразилась мало; я, можно сказать, был болен духовно. Честно говоря, я относился и к Калхейну и к его методам с предубеждением. Я и раньше немало слышал о нем. Начать с того, что он был известным борцом, или, вернее, бывшим борцом, который ушел с ковра в расцвете славы — непобежденным чемпионом мира. Еще мальчиком я знал, что он вместе с Маджеской объехал Америку, играя Чарльза в «Как вам это понравится». До или после этого он тренировал Джона Л. Салливэна — тогдашнего чемпиона мира по боксу, и подготовил его к одному из самых блестящих выступлений,— и это в такое время, когда Салливэн, казалось, не имел никаких шансов на успех. За свою жизнь Калхейн переменял много профессий: работал на отцовской ферме в Ирландии, отработывал проезд в Америку камбузным юнгой, был ра-

бочим на фабрике мясных консервов, поваренком, потом официантом в третьеразрядном ресторанчике Нью-Йорка, вышибалой в кабаке, массажистом на состязаниях по боксу, полисменом, рядовым в Гражданскую войну, билетером, ярмарочным борцом, барабанщиком в бродячем цирке, и, наконец, достигнув наивысшей славы как чемпион мира по борьбе и тренер Джона Л. Салливэна, он открыл в одном из отдаленных округов штата Нью-Йорк спортивный санаторий, на смену которому позднее пришел в высшей степени фешенебельный пансион в Уэстчестере, возле Нью-Йорка.

Меня всегда удивляло, что люди такого типа внушают чуть ли не благоговейный трепет именно тем, кто занимается умственным трудом; более понятным казалось мне преклонение перед ними тех, кто превыше всего ценит силу, проворство, так называемую физическую храбрость, даже если этим качествам сопутствует грубость. В низших слоях общества — особенно мужчины и подростки — относятся к таким силачам с почтительным уважением, что, наверное, им очень льстит.

Однако в случае с Калхейном дело обстояло несколько иначе. Каким бы неотесанным он ни был в молодости, жизнь его со временем пообтесала. Он приобрел довольно разносторонние знания, привык к учтивому обращению, пригляделся к нравам и обычаям состоятельных людей и научился если не подражать, то хотя бы приноравливаться в известной мере к их манерам. Ему принадлежали сотни акров превосходной земли в одном из наиболее фешенебельных уголков Восточных штатов. Он уже подарил общине сестер милосердия солидное поместье в северной части штата Нью-Йорк. Его конюшня располагала всеми видами самых модных экипажей и шестьюдесятью лошадьми; лошади были отвратительные, нарочно подобранные для «гостей». Сюда приезжали люди всех профессий, вносили с превеликой радостью вперед шестьсот долларов — плату за шестинедельный курс лечения; слуг и собственные автомобили пристраивали где-нибудь поблизости, так как пользоваться ими не разрешалось. Меня рекомендовал, или, скорее, навязал Калхейну, мой заботливый брат, который был его другом, — я сказал бы, закадычным другом, если бы таковой вообще мог появиться у Калхейна.

Меня привезли в весьма подавленном и мрачном настроении и оставили одного: Калхейн редко встречал

своих гостей лично, а если и встречал, то всегда заставлял ждать. По дороге в санаторий брат счел нужным предупредить меня относительно своеобразных методов и приемов лечения, которые, по слухам, оказывали благотворное воздействие на большинство пациентов. Методы эти были чрезвычайно свирепы, нарочито свирепы.

По приезде, еще до встречи с хозяином, я поразился благородной простоте здания, в котором помещалась гостиница, или санаторий, или «ремонтная мастерская» (как я узнал позднее, он именно так называл свое заведение); дом стоял на холме, и с крыльца открывался поистине чудесный вид. День выдался ясный и по-весеннему теплый. Живая изгородь из высокого, ровно подстриженного кустарника окружала широкую лужайку, радовавшую глаз ярко-зеленой травой. Дом был серый, большой, вытянутый в длину, со строгими окнами, доходившими до самого пола, и просторными балконами, опоясывавшими весь второй этаж; на балконах стояли кресла-качалки, защищенные от солнца навесом. Возвышенность, на которой находился санаторий, полого спускалась к морю; до побережья было несколько миль. Какое очарование придавали пейзажу шпили деревенских церквей, островерхие крыши и множество парусников, казавшихся отсюда игрушечными! К западу на многие мили вздымались и опадали, как волны, зеленые холмы, а в ясную погоду среди деревьев виднелись шпили и крыши ближайших деревень. На юге слабо поблескивала водная гладь и смутно вырисовывались прихотливые очертания, казавшиеся днем всего-навсего неясным контуром отдаленного пейзажа. Но зато ночью мягкое сияние, излучаемое мириадами огней, указывало местонахождение огромного города — нарядного и разгульного Нью-Йорка. На севере поросшие травой холмы тянулись бесконечной чередой, пока не исчезали в зеленовато-голубой дымке.

Как я вскоре убедился, санаторий был очень разумно и правильно оборудован, и все внутреннее устройство отвечало той цели, для которой он предназначался: повсюду много воздуха, света; на первом этаже — большой гимнастический зал, где в углублении стены висело несколько боксерских «груш» и мячи для лечебной физкультуры. В другой части здания находилась контора или приемная, кладовая для хранения багажа, гардеробная и столовая. В восточном крыле были устроены ду-

шевые, комната отдыха и солярий. На втором этаже по обе стороны широченного коридора, в одном конце которого находились большая библиотека, бильярдная и курительная, а в другом — личные апартаменты Калхейна, шел ряд спален, всего около ста; из каждой спальни была дверь на балкон. Это устройство очень напоминало пассажирский пароход с каютами, выходящими на палубу, и проходом между ними. В другом крыле первого этажа помещались кухни, комнаты для прислуги и еще много, много всего. На краю огромной лужайки под прямым углом к санаторию стояла большая конюшня, почти столь же внушительная. В усадьбе былолюдно: повсюду мелькали слуги, конюхи, официанты, не говоря уже о множестве пациентов — людей почти всех званий, возрастов и даже, можно сказать, почти всех национальностей, представленных в Америке первым и вторым поколением иммигрантов.

Своего будущего хозяина — или доктора, или тренера — я увидел только часа через два после приезда; мне пришлось сидеть и дожидаться, пока он не соизволит снизойти до знакомства со мной. Наконец он появился, и должен сказать, что я еще не видывал зверя более свирепого и вместе с тем более цивилизованного. Выглядел он весьма живописно и был поистине великолепен: хорошо сложенный, с величественной фигурой и осанкой, словно оживший портрет кардинала Ришелье или герцога Гиза: светло-коричневые рейтузы, ярко-красный жилет, пиджак в черно-белую клетку, желтые сапоги с отворотами и шпорами, а в руке арапник. И все же даже в этом прекрасно сшитом костюме для верховой езды он сильно смахивал на тигра или на очень злого кота, умеющего, однако, очень ласково мурлыкать, такого кота из детских сказок — в бархатном камзоле и сапогах. И походка у него была кошачья, легкая и бесшумная. Холодные, серые глаза его время от времени вспыхивали тем злым, беспокойным и недоверчивым огоньком, который иногда пугает нас в глазах дикого зверя. Трудно было поверить, что этому человеку уже за шестьдесят. Ему от силы можно было дать пятьдесят лет, а то и меньше. Коротко подстриженные седые усы и борода делали его еще более величественным. Гладко зачесанные волосы и косматые брови, кончики которых загигались кверху, усугубляли это впечатление. Словом, вид у него был очень мужественный, очень неглупый,

очень хладнокровный, очень сердитый и даже грозный.

— Ну,— сказал он,— вы хотели меня видеть?

Я назвал себя.

— Да, да. Ваш брат уже рассказывал мне про вас. Хорошо, садитесь. Вами займутся.

Он снова исчез; а я еще около часа сидел и ждал, сам не зная толком чего,— комнату ли, обеда или ласкового слова. Но никто не появлялся.

За время ожидания в унылом вестибюле, увешанном шляпами, картузами, хлыстами и перчатками, я успел присмотреться к кое-кому из тех людей, с которыми мне предстояло провести несколько недель. Было около двух часов; одни парами или по трое разгуливали по комнате и беседовали, другие читали, все были в обычных спортивных костюмах — мягких шерстяных рубашках, брюках-гольф, чулках и спортивных туфлях. В большинстве своем это, по-видимому, были так называемые люди умственного труда — врачи, адвокаты, священники, актеры, писатели; немало здесь было коммерсантов, промышленников, политических деятелей и просто светских бездельников — молодых и среднего возраста, утомленных непрерывной погоней за удовольствиями. Я сразу же узнал известного нью-йоркского судью и актера, прославленного во всех странах, где говорят по-английски. И другие, как мне сообщили потом, тоже занимали видное положение в обществе, кто в силу своего происхождения, а кто благодаря собственным стараниям. Все эти умные и образованные люди, как я понял впоследствии, приезжали сюда потому, что они сами или их родственники всерьез верили или по крайней мере находили удовлетворение в диковинном методе лечения, благодаря которому Калхейн прославился.

Как я уже говорил, я был настроен скептически. Всякие медицинские теории со всевозможными «измами» никогда не внушали мне доверия. Однако, пока я дожидался, произошел случай, который произвел на меня известное впечатление. К подъезду подкатил легковой автомобиль, в котором сидел какой-то тощий субъект с надменным выражением лица. Он явно ждал, что его выйдут встречать. Никого не дождавшись, он осторожно выбрался из машины и, удостоверившись, что его многочисленные чемоданы и саквояжи сгружены на усыпанную гравием площадку перед санаторием, отпустил шофера и вошел в дом.

— Где же мистер Калхейн? — спросил он.

Так как, кроме меня, в вестибюле никого не было, я ответил:

— Не знаю, он был здесь, но ушел. Наверное, сейчас кто-нибудь придет.

Новоприбывший стал расхаживать взад и вперед.

— Необычный способ принимать гостей. Я телеграфировал о своем прибытии.

Он продолжал беспокойно и сердито шагать по комнате, время от времени поглядывая в окно, потом сказал, что все это очень странно. Я с ним согласился.

Прошло минут пятнадцать, а к нам все еще никто не выходил. Те из служителей или пациентов, которые случайно проходили через вестибюль, не удостоивали нас даже взглядом.

— Это ни на что не похоже, — злился новоприбывший, продолжая ходить по комнате. — Три часа тому назад я отправил телеграмму. Здесь я сижу уже сорок пять минут. Так дела не делают, если хотите знать.

Наконец наш грозный хозяин явился. Он, видимо, направлялся по своим делам и совсем не собирался разговаривать с нами. Однако, заметив нас, или, вернее, нового пациента, он с тем же холодным и равнодушным видом посмотрел на него, но не выказал никакого намерения извиниться за свое опоздание.

— Вы хотели меня видеть? — отрывисто буркнул он.

Новоприбывший прямо весь трясся от злости, как оса. Он чувствовал себя оскорбленным тем, что к его особе не отнеслись с должным уважением.

— Вы мистер Калхейн? — спросил он резко.

— Я.

— Мое имя — Сквайрс, — объявил он. — Я дал вам телеграмму из Буффало и заказал комнату, — продолжал он, сердито размахивая рукой.

— Ошибаетесь, вы ничего не заказывали, — мрачно ответил хозяин, не скрывая своего желания выказать полное безразличие и даже презрение к мистеру Сквайрсу. — Вы просто запрашивали, можно ли получить здесь комнату.

Больше он ничего не прибавил, но в вестибюле вдруг повеяло холодом. Мистер Сквайрс понял, что его неправильно информировали о порядках в этом санатории и что он допустил какую-то ошибку.

— А-а, конечно... Ну так как же, есть у вас комната?

— Не знаю. Вряд ли. Мы принимаем далеко не всех.

Взгляд его при этом, казалось, насквозь просверлил будущего пациента.

— Да, но мне говорили... мой друг, мистер Х...— не то сердясь, не то извиняясь, мистер Сквайрс пустился сбивчиво объяснять, как он сюда попал.

— Я знать не знаю ни вашего друга, ни того, что он вам говорил. Если он сказал вам, что у нас можно заказать комнату по телеграфу, он ошибся. К тому же вы сейчас разговариваете не с вашим другом, а со мной. Но раз вы уже здесь, я готов посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать, если, конечно, вы согласны присесть и отдохнуть. Сейчас я ничего не могу решить. Придется подождать.— Он повернулся и вышел. Мистер Сквайрс застыл в изумлении.

— Ну и ну! — сказал он мне немного погодя и нервно зашагал из угла в угол.— Если хочешь попасть сюда, нужно мириться с этим, но встречают здесь по меньшей мере странно.— Он понуро уселся и стал ждать.

Потом, когда конторщик заносил наши имена в регистрационную книгу, мистер Сквайрс пожаловался, что у него не в порядке легкие. Приехал он издалека, кажется, из Денвера. Ему сказали, что достаточно послать телеграмму, особенно для такого человека, как он.

— Да, так многие думают,— флегматично заметил конторщик,— но они не знают мистера Калхейна. Он поступает так, как ему нравится. Мне кажется, он держит санаторий для собственного удовольствия, а не ради денег. Желających попасть к нам всегда больше, чем мы принимаем.

Я начал кое-что понимать. Кто знает, может быть, санаторий и в самом деле заслужил свою славу. И, однако, я не представлял себе по-настоящему, куда я попал, до тех пор, пока после скудного ужина не направился в отведенную мне скромно обставленную комнату, сильно смахивающую на тюремную камеру. Ровно в девять часов погас свет. Я зажег тоненькую свечку и хотел было разобрать саквояж, как вдруг из коридора послышался голос: «Гасите свечи! Скорее! Все в постель!» Тут я понял всю строгость режима в этом санатории.

В половине шестого утра, когда я еще крепко спал, раздался громкий стук в дверь. Еще вечером я заметил над моей постелью объявление: «Все гости должны ровно к шести часам являться в гимнастический зал, одетыми в трусы, туфли, свитер».

«В гимнастический зал! В гимнастический зал!» — раздавалось по всему дому. Я вскочил с постели. Я уже понял по царившей здесь атмосфере, что лучше и не пытаться нарушать заведенный порядок. Тигриные глаза хозяина смотрели на меня отнюдь не ласковее, чем на всех остальных. Свои шестьсот долларов я выложил. Надо оправдать их. Не прошло и пяти минут, как я уже входил в гимнастический зал, успев надеть трусы, свитер, халат и спортивные туфли.

Ну и зрелище! Такой странной публики, какая собралась здесь, я никогда еще не видел ни в одном спортивном зале. Тощие, костлявые фигуры, великолепные бакенбарды, усы, козлиные бородки, толстые животы, острые коленки, тонкие руки, лысеющие и совсем лысые головы; очки в оправе, без оправы, пенсне, которые пришлось снять, когда начались упражнения. Даже цветущие юноши в спортивных штанишках, свитерах и тапочках не слишком радуют взор. Что же сказать о людях немолодых? А ведь они, не без горечи подумал я, обычно носят самое лучшее платье, имеют собственные автомашины, слуг, дома и загородные виллы, владеют предприятиями и фабриками, распоряжаются сотнями людей. И смех и грех! И все, не исключая меня самого, дряблые и беспомощные, словно устрицы, вытащенные из своих раковин. Поистине жалкое зрелище!

Пока я предавался этим размышлениям, некоторые из присутствующих, видя, что я новичок, посоветовали мне поскорей подыскать себе партнера для игры в мяч, а не то меня может взять в пару «сам». Я поспешил последовать их совету. Не успели мы приступить к упражнениям — каждая пара тренировалась двумя-тремя мячами, — как вошел наш хозяин — железный человек, гора мускулов. Халат с капюшоном делал его похожим на странствующего аббата или средневекового капуцина, но никак не на тренера. Пройдя на середину зала, он скинул халат и остался в таком же костюме, как и все мы, ловкий и гибкий, словно хищный зверь. И насколько же он был привлекательнее нас: богатырская грудь, сухощавые, крепкие ноги, мускулистые, стройные руки. Бы-

стрым движением он подхватил с пола большой, обтянутый кожей мяч, такой же, какие были у всех нас, и выкрикнул имя одного из гостей — тощего человечка с бакенбардами и лысиной, тоненькими ножками и ручками, выглядевшего весьма комично в трусах и свитере. Тот встал напротив хозяина, и на него тут же обрушился град грубых окриков.

— Шевелитесь! Живее! Еще! Кидайте мне мяч! Ну кидайте же! Целый день вы его держать будете? Господи! Ну чего вы стоите? Чего вы стоите? Вы что — чай пьете, что ли? Давайте, давайте! Я не могу возиться все утро только с вами! Живее! Живее, размазня вы эдакая! А еще называется редактор! Вам не отредактировать и объявления! Вы даже мяч бросить прямо не умеете! Да прямо же! Прямо, говорят вам! Черт возьми, где я, по-вашему, стою, на улице, что ли? Прямо надо кидать! А, черт!

Во время этой тирады хозяин справа и слева подбирал мячи, которыми был усеян пол зала, и кидал их в своего партнера; прежде чем несчастная жертва успевала понять, в чем дело, кожаные надувные мячи ударяли ее в плечо, в грудь, в подбородок (полагалось, чтобы партнеры перебрасывались не меньше, чем двумя мячами). Наконец мяч угодил редактору в живот, он слабо охнул и, схватившись за ушибленное место, совсем перестал ловить мяч. Увидев это, наш хозяин презрительно улыбнулся и, замахнувшись мячом, который собирался бросить, сказал:

— Что с вами такое? Да пошевеливайтесь же! Ну зачем вы остановились? И для чего вы здесь стоите? Не ранены же вы! Ну как вы собираетесь чего-то добиться в жизни, если не можете управиться с двумя несчастными мячиками (на самом деле мячей было не меньше восьми)? Мне шестьдесят лет, вам сорок, а вы мне в подметки не годитесь. И после этого вы хотите учить своих читателей уму-разуму. Ну, ладно, продолжайте. Мне жаль ваших читателей, больше мне нечего сказать.— С этими словами Калхейн отвернулся и вызвал другого пациента.

Второй жертвой оказался тучный лысый мужчина с отвислым двойным подбородком и солидным брюшком, как я узнал впоследствии — владелец фабрики готового платья, насчитывавшей до шестисот рабочих; он страдал расстройством нервной системы и был, что называется,

совершенной развалиной. Услышав свое имя, он вздрогнул, тяжело пыхтя встал в позицию и в панике стал метаться во все стороны, пытаясь поймать мячи, которые хозяин нарочно бросал в самых неожиданных направлениях.

— Живей! Живей! — подгонял его хозяин, еще более сердито, чем первого партнера. — Господи, ну что вы копошитесь, точно краб! Как вы двигаетесь! Будь у вас побольше мозгов и поменьше жиру, вы были бы попроворней! Ну на кого вы похожи! Вот что получается, если целыми днями разъезжать в такси и ужинать в полночь, вместо того чтобы заниматься спортом. Да проснитесь же наконец! Вам давным-давно пора носить бандаж. Чуть поменьше есть и поменьше спать, тогда у вас не было бы таких жирных щек. Да и волосы не вылезли бы. Проснитесь же! Вы что, умирать собрались, что ли? — При этом Калхейн так стремительно швырял мячи, что его партнер, казалось, вот-вот расплачется. Его физические недостатки стали видны особенно ясно. Он был невероятно толст, и казалось, вот-вот упадет. Он еле стоял на ногах, лицо его побагровело, руки дрожали, он не мог поймать ни одного мяча. Наконец хозяин сказал: — Ладно, продолжайте, — и вызвал третью жертву.

На этот раз отозвался известный актер, любимец публики, довольно подвижной и хорошо сложенный, но все же явно смущенный предстоящим ему испытанием. Этот актер прожил здесь уже несколько недель и очень окреп физически, но и он отнюдь не чувствовал себя уверенно. Проворно выбежав на середину зала, он стал ловить и бросать мячи со всей быстротой, на которую только был способен, но тем не менее его, как и остальных, осыпали такой злой и презрительной бранью, какую только немногим из нас доводится слышать в этом мире, и уж, конечно, не избранныкам, привыкшим блистать на театральных подмостках.

— Какой вы к черту артист, вы — баба! Луковица вы тушенная! Шевелитесь же! Ну живо, живо! Давайте! Вы только поглядите, как он возится! А руки, руки-то зачем подняли? Где, по-вашему, мяч? На потолке, что ли? Это вам не лампа! Живо! Живо! Непонятно, как это вы встаете на ноги после того, как вас убивают в «Гамлете». Вы уже умерли. Вы уже давно умерли, если хотите знать. Да шевелитесь же!

Так продолжалось до тех пор, пока несчастный трагик, слабый и беспомощный по сравнению с хозяином, под градом мячей, которые били его по груди, голове, животу, наконец не сдался и не закричал:

— Быстрее я не могу! Нельзя требовать того, чего я не могу!

— Ступайте на место,— сказал хозяин и отвернулся от него.— Позовите какого-нибудь пригостишку, пусть он поиграет с вами в шарики,— после чего занялся следующим.

Я, как легко можно себе представить, был полон самых тревожных предчувствий. Ведь в любую минуту он мог вызвать меня! Я играл с маленьким, болезненным человечком, который выбрал меня, вероятно, потому, что угадал во мне неуклюжего и безобидного новичка; он, видимо, понимал, что я опасаюсь того же, что и он сам. Перебрасываясь со мной мячами, он всячески старался сделать вид, что тренировка идет у нас отлично.

— Давайте кидать побыстрее, может, нас тогда и не вызовут,— с трогательным доверием сказал он мне. В пору было подумать, что мы знакомы всю жизнь.

Но нас и на самом деле не вызвали, по крайней мере в то утро. Благодаря ли нашим стараниям, или потому, что я был для Калхейна слишком незаметной, безвестной личностью, но мы избежали опасности. Однако на четвертый или на пятый день он добрался до меня, и трудно вообразить себе что-нибудь более постыдное, чем мое выступление. Мячи били меня, валили с ног и барабанили по мне до тех пор, пока я не распростерся на полу, уверенный, что пришла моя смерть. Но я остался жив, и меня, измученного и спотыкающегося, просто отослали назад к моему партнеру, а хозяин в это время уже терзал очередную жертву. Но как он обзывал меня! Какие замечания отпускал по адресу моей неблещущей красотой фигуры и скудных умственных способностей. Я снова, как бывало, чувствовал себя провинившимся школьником, над которым злорадно посмеиваются товарищи, и опозоренный, побитый поспешил отойти в сторону.

Но только в соседней комнате — в душевой, где хозяин ежедневно собственной персоной надзирал за омовлением своих гостей, во всей полноте проявилось своеобразие его метода лечения. Немалую роль в этом методе

играло необыкновенное умение Калхейна лишать своих пациентов уверенности в себе: он показывал, что рядом с ним, сильным и энергичным, все они — молокососы, замухрышки, неудачники и олухи, какую бы роль они ни играли в обществе. Ибо они совершенно не умели распоряжаться самым ценным своим достоянием — телом. Здесь, в душевой, еще больше, чем за игрой в мяч, гости чувствовали себя выставленными на посмеище, потому что здесь они были голые. Какими бы представителями ни казались высокие костлявые адвокаты или судьи, врачи, политические деятели, светские щеголи, когда они, облаченные в безукоризненные костюмы, выступали перед присяжными, обращались с речью к избирателям, входили в модный ресторан, здесь — усатые, с тощими ногами, руками и шеей, с залысинами, лишенные всяких прикрас и всякого одеяния... судите сами, как они выглядели! После ряда новых упражнений — сто раз подняться на носки, сто раз (если сможете) присесть, сто раз выбросить руки вперед, вверх или в стороны, каждый раз ставя их обратно на бедра, пока не взмокнешь от пота, наступала очередь прослушать лекцию о том, как быстро мыться.

— Эй, вы, готовы? — это относилось к видному адвокату, который, помнится, как и я, прибыл только накануне.— Подойдите сюда. Вам дается десять секунд, чтобы встать под душ, двадцать секунд, чтобы выйти и намылиться с ног до головы, еще десять секунд — снова встать под душ и смыть мыло, и еще двадцать секунд, чтобы вытереться насухо. Приготовились? Начинайте!

Известный юрист встал под душ, но вместо того чтобы последовать данным ему указаниям, стоял неподвижно, дрожал от холода и ежился, позабыв все наставления хозяина, который предупреждал, что единственный способ избежать расслабляющего воздействия холодной воды — быстро и энергично двигаться.

Юрист был представительный худощавый мужчина, но здесь ему пришлось обходиться без очков в золотой оправе, без костюма из тонкой шерсти и накрахмаленного белья. Когда он, наконец, робко и неуверенно вышел из-под душа, грубо понукаемый Калхейном, я с надеждой подумал, что этот зверь, которому, видимо, доставляло бесконечное наслаждение пренебрегать нашим положением в обществе и нашим умственным превосходством

вом, и дальше будет мучить юриста, а не возьмется за меня.

— Намыльтесь! — грубо крикнул хозяин, как только юрист выбрался из-под душа.— Намыльте грудь! Живот! Руки! Руки намыльте, черт побери! Да не трите их по часу! А теперь намыльте ноги! Ноги, черт побери! Что? Не умеете? Не стойте, как тумба! Намыльте ноги! Теперь спину! Спину, говорят вам! Спину, черт побери! Быстрее, быстрее трите! Теперь идите под душ и смойте мыло. Да не копайтесь, размазня вы такая! Быстрее! Господи, вы что — весь день будете здесь торчать? Как будто вы никогда не принимали душ! В жизни такой размазни не видел! Явились сюда и хотите, чтобы я вылечил вас, а сами стоите, как чурбан! Ну, живей, живей!

Известный юрист делал все, что ему приказывали, со всей доступной ему быстротой, но мучительнее и обиднее всего было для него, конечно, то, как выставлялись на показ его умственные и физические недостатки. И очень часто, когда почтенного и серьезного человека обзывали размазней, а известному врачу или преуспевающему коммерсанту заявляли, что он чурбан, это больнее било по чувству собственного достоинства, чем все остальное. Встав под душ, злополучный юрист начал судорожно тереть лицо и руки, чтобы сполоснуть мыло, и, когда его выругали и отчитали за это, усердно занялся своим левым локтем.

Тут уже хозяин окончательно вышел из себя.

— Так, так,— гневно приговаривал он, следя за несчастным, словно ястреб за своей добычей.— Вы так и будете весь день тереть одно место? Вы что ж, черт возьми, не можете сообразить, как вымыть все тело и выйти из-под душа? Живей, живей! Трите грудь! Трите живот! Трите спину! Трите ноги и выходите!

Юрист, с уморительным усердием растиравший все одно и то же место, тут же стал тереть другое, как будто его тело было огромным и сложным механизмом, устройство которого до сих пор оставалось для него загадкой. Он совсем растерялся и просто не знал, что ему делать и как угодить суровому хозяину.

— Выходите! — сказал, наконец, Калхейн устало.— Выходите! Мыться вы не умеете. Для человека, который пятнадцать лет занимается юриспруденцией, вы порази-

тельно тупы. Я еще не встречал таких. Дома вы, наверное, так и ходите невымытый! Вытирайтесь!

Почтенный юрист стал мрачно вытираться очень грубым полотенцем. Вид у него был обиженный и оскорбленный.

— Что за язык! — обратился он к своему соседу, как мне рассказывали потом. — Он не привык иметь дело с порядочными людьми, это совершенно ясно. Разговаривает, как бандит. Подумать только — и за это мы платим деньги! Я, кажется, не останусь здесь ни одного дня. С меня довольно. Это прямо возмутительно! Возмутительно!

Но тем не менее он остался — передумал ли, вспомнил ли о своих болезнях, а может быть, обильный завтрак успокоил его. Он пробыл здесь несколько недель, и за это время его здоровье — если не настроение — заметно улучшилось.

На второй или третий день я был свидетелем другой сцены, над которой очень потешался, хотя, конечно, не в присутствии хозяина — еще бы! На этот раз в той же кабинке оказалось другое значительное лицо — не то судья, не то светский щеголь, точно не знаю, который мылся небрежно и вяло, то есть совсем не так, как было предписано; вдруг наш хозяин, посвящавший очередного гостя в искусство одноминутного купания, заметил это. Несколько секунд он внимательно наблюдал, как тот моется, потом подошел к нему и крикнул:

— Пальцы на ногах вымойте! Пальцы, пальцы вы можете помыть?

Упомянутый джентльмен, зная, что теперь он живет в условиях, весьма отличных от тех, к которым привык, нагнулся и начал тереть кончики пальцев, одни лишь кончики.

— Эй! — крикнул хозяин на этот раз куда более резко. — Я же велел вам мыть пальцы, а не тереть их снаружи. Намыльте их! Вы что же, не знаете, как надо мыть пальцы? Пора бы знать в вашем возрасте! Мойте между пальцами! Мойте под ними!

— Я, разумеется, знаю, как надо мыть пальцы, — сердито ответил гость и выпрямился, — но прошу не забывать, что я джентльмен.

— А раз вы джентльмен, — отрезал хозяин, — вы обязаны знать, как моют пальцы. Так вот, мойте их и молчите!

— Я бы попросил! — ответил купальщик с достоинством, что выглядело совсем уж нелепо. — Я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном.

— Ничего не поделаешь, — отозвался Калхейн, — если бы вы знали, как надо мыть пальцы, мне, может, и не пришлось бы говорить с вами таким тоном.

— О черт! — вскипел гость. — Это просто ни на что не похоже! Тут же уеду отсюда, ей-богу.

— Пожалуйста, — был ответ, — но все же перед отъездом вам придется вымыть пальцы!

И он действительно вымыл их под наблюдением хозяина, который стоял рядом и не спускал с него глаз до самого конца процедуры.

Именно такое обращение с гостями и делало санаторий Калхейна самым удивительным из всех, какие я видел. Как магнит он притягивал к себе всех прославленных и преуспевающих, несмотря на то, что здешние условия, казалось бы, должны были отталкивать их. Какую бы роль каждый из них ни играл во внешнем мире, здесь он не значил ровно ничего. Зато хозяин был всем. Его яркая индивидуальность всех подавляла, и он не упускал случая лишний раз продемонстрировать свое превосходство.

На завтрак подавали какую-нибудь кашу, отбивные котлеты и кофе — всего в изобилии, но, на мой вкус, пресновато. После завтрака, с половины девятого до одиннадцати, мы могли заниматься чем угодно: писать письма, укладывать вещи, если думали уезжать, собирать белье в стирку, читать или просто сидеть без всякого дела. В одиннадцать, а иногда в половине одиннадцатого, в зависимости от предписанного вида спорта, мы собирались группами и совершали прогулку на длинную или короткую дистанцию либо ездили верхом; все было рассчитано так, что, если не терять времени, можно было перед вторым завтраком успеть принять душ, одеться и минут десять отдохнуть. Эти упражнения были сами по себе очень несложны: мы проходили длинную или короткую дистанцию (длинная — семь, короткая — четыре мили) то шагом, то бегом, согласно установленному маршруту, поднимались в гору, спускались под гору, месили грязь на немощенных дорогах, пробирались по пересохшим или заболоченным руслам ручьев и рек, по каменистым или заросшим травой полям, еще мокрым от росы или весенних дождей. Однако для нетренирован-

ных людей такая прогулка зачастую оказывалась далеко не легкой. В первый день я думал, что мне ни за что не пройти всю дистанцию, а я совсем не плохой ходок. Другие, главным образом новички, и вовсе частенько выдыхались на полдороге, и за ними приходилось посылать, или они являлись на целый час позже, и сердитый хозяин встречал их насмешками. Он явно презирал всякие проявления слабости и располагал тысячью способов, один другого неприятнее, чтобы показать свое презрение.

— Если вы хотите видеть, какой размазней может стать человек,— заявил он однажды по адресу злополучного гостя, который никак не мог одолеть короткую дистанцию,— вот полюбуйтесь! Этот господин должен был за пятьдесят минут пройти каких-нибудь четыре мили — и что же? Взгляните на него. Можно подумать, что он при последнем издыхании. Он, наверно, и сам думает, что вот-вот умрет. В Нью-Йорке он проделывал по семнадцать миль за ночь, бегая из одного бара в другой или из одной устричной обжорки — это, кстати сказать, подходящее название для них — в другую, и ничего. А здесь, в деревне, на свежем воздухе, хорошо отдохнув за ночь, а утром плотно позавтракав, он не может пройти четыре мили за пятьдесят минут. Подумать только! А еще, наверно, воображает, что он настоящий мужчина, хвастает перед приятелями, перед женой. Боже, боже!

Через день или два в санаторий приехал какой-то напыщенный майор американской армии, человек лет сорока восьми — сорока девяти, рослый и плечистый. Майор этот, с легкостью поднимаясь по служебной лестнице от одной синекуры к другой, наконец достиг высокой должности; но ему предстоял ряд испытаний, которые проводились с целью увольнения офицеров, чрезмерно разжиревших на службе. Майор не мог (или думал, что не сможет) выдержать эти испытания. Как он объяснил Калхейну — а Калхейн всегда весьма резко и непочтительно высказывался о тех, кто любил вдаваться в объяснения,— план его состоял в том, чтобы, пройдя здесь курс лечения, подготовиться к сдаче трудного испытания.

Калхейну это, очевидно, не понравилось. Он терпеть не мог людей, пользовавшихся им и его методом лечения ради своей корысти, людей, желавших добиться в жизни большего, чем достиг он, и все же он никому из них не отказывал. Он полагал, и, на мой взгляд, не без основа-

ний, что они смотрят на него сверху вниз из-за его низкого происхождения, из-за чисто материального успеха, которым он был обязан только грубой физической силе; поэтому, завоевав определенное положение в обществе, Калхейн уже не мог отказаться от своего дела, ибо оно давало ему известную власть над этими людьми.

Одного вида этого майора, человека, обязанного уже по роду своей службы являть пример военной выправки и тем не менее приехавшего сюда поднабраться сил, было достаточно, чтобы Калхейн так и впился в него с въедливостью осы и кровожадностью волка. Не думаю, чтобы он делал это нарочно, ибо в конечном счете он был слишком умен и слишком хорошо знал жизнь, чтобы поддаваться таким мелочным побуждениям (хотя прошлое независимо от нашей воли сказывается на всех наших поступках); но судите сами: с одной стороны, бывший полисмен, бывший официант, бывший борец, бывший боксер, бывший рядовой, развозчик мяса, вышибала, тренер, с другой — этот окончивший военное училище майор, который совсем не знает жизни, не умеет заботиться о своем теле, приехал сюда с подорванным здоровьем в сорок восемь лет, тогда как он, Калхейн, благодаря спартанской выносливости и энергии в свои шестьдесят лет сохраняет железное здоровье, может помочь всем этим жалким людишкам и управляет великолепным лечебным заведением. В известной степени он был прав, хотя, по-видимому, забывал или просто не отдавал себе отчета в том, что не он творец своей неисчерпаемой мощи, — она была создана обстоятельствами и силами, ему неподвластными.

Как бы то ни было, майор нуждался в его, Калхейна, помощи, и хотя он хорошо заплатил за предоставленную ему комнатку и еду, вероятно, куда более скудную, чем раньше, все же хозяин не мог удержаться от соблазна поиздеваться над новым гостем, выставить его на посмешище перед всеми, может быть, не без тайной мысли еще больше оттенить свои собственные достоинства. В первый же день он послал майора вместе с другими на короткую дистанцию, но ни в двенадцать часов, когда «гуляющим» полагалось вернуться, ни в половине первого, когда им полагалось занять места за обеденным столом, толстый майор еще не появлялся. Многие его видели в начале прогулки, потом обогнали. Он, вероятно, после первой же мили выдохся и теперь тащился из по-

следних сил в гору и под гору к санаторию, а может быть, просто сбежал, как это уже случалось, и на попутном грузовике, а то и на телеге какого-нибудь фермера направлялся к ближайшей железнодорожной станции.

И вот когда Калхейн уселся за свой маленький отдельный столик, стоявший посредине столовой, далеко в стороне от всех остальных (кстати, отличный наблюдательный пункт), и, поглядев вокруг, не нашел нового пациента, он осведомился:

— Никто не видел этого, с позволения сказать, офицера, который приехал утром?

Все подтвердили, что видели его на дистанции и обогнали мили на две, на три (больше никто ничего не мог сказать).

— Я так и знал,— буркнул Калхейн.— Вот вам превосходный образчик этих кабинетных вояк; у нас в армии такие тоже были, сидят себе целыми днями в креслах, носят мундиры с шитьем и командуют другими людьми. Кажется, у человека, который окончил Вэст-Пойнт и воевал на Филиппинах, должно бы хватить ума не распускаться. Ничуть не бывало. Стоит им только выслужиться, как они тут же начинают шлаться по ресторанам и приемам, хвастать своими подвигами. Вот вам офицер, майор, а он так раскис, что, пошли я сейчас за ним лошадь, ему даже не сесть на нее. Придется посылать грузовик.

Он умолк. Майор явился час спустя в крайне плачевном состоянии. За ним ездил конюх с лошадью и рассказал, что майор не мог без посторонней помощи влезть в седло. С этого дня Калхейн избрал его мишенью для своих насмешек, и во время пеших и верховых прогулок — последние бывали у нас каждый второй или третий день — он постоянно придирался к нему, говорил, что майор «состоит из одних кишок» (меня при этом буквально передергивало); спрашивал, какой из него прок для армии и кто станет держать его там, если он не умеет того-то и того-то, как могут солдаты уважать такого субъекта, и так до бесконечности; сперва я жалел майора, потом начал восхищаться его долготерпением. Калхейн подсовывал ему самых костлявых и ободраных кляч из всей конюшни, но майор никогда не жаловался; нарочно выбирал для него те блюда, которые майор заведомо не любил, но тот все равно не жаловался; Калхейн посылал его гулять в то время, когда все

отдыхали, не разрешал ему ни капли спиртного, хотя майор привык к нему. Как я узнал потом, майор прожил в санатории целых двенадцать недель вместо шести и выдержал испытания, что позволило ему остаться в армии.

Но вернемся к Калхейну. Эти постоянные издевательства и придирки еще больше усиливали в нас чувство неполноценности, которое мы и без того испытывали из-за разительного контраста между ним — уверенным и сильным, несмотря на возраст,— и нами, казавшимися рядом с ним просто тщедушными заморышами. Пусть его гости были люди умные и способные, но они приехали с больными нервами и расстроенным здоровьем в санаторий, где властвовал он, холодный, надменный, глубоко равнодушный к тому, приехали они или нет, останутся у него или уедут, и всегда насмешливый, даже когда они выходили из себя от злости. Я слышал, что иногда он выказывал расположение к кому-нибудь из гостей, но это случалось очень редко. Вообще Калхейн, на мой взгляд, презирал всех своих пациентов, считая их жалкими и слабыми существами; презирал их образ жизни, развлечения, распушенность и лень, свойственную, по его мнению, большинству людей. Помню, как однажды он рассказывал нам про свою службу в армии. Его часть стояла на зимних квартирах, и солдаты целыми днями жались к печкам, курили «вонючие» (как он выразился) трубки, жевали табак, плевались, вшивели, неделями не меняли белье, тогда как он старался почаще бывать на воздухе даже в самую холодную погоду, и, имея одну-единственную смену белья и единственный мундир, через день стирал их с мылом или без мыла в ближнем ручье, частенько разбивая лед, чтобы добраться до воды, а потом, голый, приплясывал от холода, пока мокрая одежда сохла на кустах или деревьях.

— Эти идиоты,— добавлял он презрительно,— вечно сидели взаперти, не понимали меня, поднимали на смех, торчали у печки, зато почти все они умерли в ту же зиму, а я вот живехонек по сей день.

Этого он мог бы и не прибавлять. Мы и сами это отлично видели. Я разглядывал одутловатые, дряблые лица людей, которые чуть ли не всю жизнь просидели в своих уютных кабинетах, в ресторанах или просто у себя дома, а теперь, проехдив верхом час или два, совершенно выбивались из сил, и невольно задавал себе

вопрос, что они думают о Калхейне. Мне кажется, они либо считали его сумасшедшим, либо видели в нем исполтинскую, а посему недоступную для подражания силу.

Но Калхейн по отношению к ним отнюдь не проявлял такой терпимости. Однажды в санаторий приехал толстый и рыхлый еврей, плешивый, с брюшком, и попросил принять его. Калхейн согласился, радуясь, должно быть, случаю досадить всем остальным и одновременно приобрести такую удобную мишень для насмешек и исцеления. И с первой же минуты его пребывания здесь до самого конца (а уехали мы с ним почти одновременно) Калхейн преследовал свою новую жертву со злобной, поистине дьявольской изобретательностью. Он выделил ему самую мерзкую и строптивую лошадь, которая отчаянно кусалась и лягалась, а во время прогулки помещал мистера Ицки (если я верно запомнил имя) во главе кавалькады, чтобы удобнее было наблюдать за ним. Каждый раз перед прогулкой верхом в конюшне происходила проверка снаряжения, так как нам полагалось собственноручно оседлать лошадь, взнуздать ее и вывести из конюшни. Мистер Ицки не умел ни седлать, ни взнуздывать. Лошадь Ицки при его приближении шарахалась в сторону и становилась на дыбы, потом косилась на него злым глазом и норовила укусить.

Такие испытания Калхейн ценил превыше всего. Он был просто счастлив, когда ему удавалось выдумать какую-нибудь новую трудность для своих гостей. При этом он не скупился на самые язвительные и обидные замечания; с мистером Ицки Калхейн был особенно груб. Скептически оглядев нас и проверив, как пригнаны седла, он неизменно обращался к мистеру Ицки:

— Я вижу, вы все еще не научились затягивать подпругу? — Или же: — Вы зачем ей зад оседлали? Вы что, совсем ничего не умеете? Конечно, лошадь беспокоится, раз ее неверно оседлали. Лошадь все отлично понимает и знает, когда на ней сидит осел. Я бы тоже лягался и кусался, будь я на ее месте. Несчастные лошади — изволь таскать на своей спине таких дураков и лентяев. Отпустите-ка подпругу и затяните ее правильно и подвиньте седло (иногда в этом не было ни малейшей необходимости). Не собираетесь же вы сидеть на хвосте у лошади?

Потом наступал роковой момент посадки. Существовал, конечно, установленный и наилучший способ посад-

ки — калхейновский способ: левую ногу в стремя, быстрое, упругое движение, и вы легко опускаетесь в седло. Полагалось при этом сразу же попасть в стремя правой ногой. И вот представьте себе в момент посадки пятьдесят, шестьдесят, а то и семьдесят мужчин разного роста, разного веса, с разным здоровьем и разным настроением. Некоторые из них до этого времени никогда не ездили верхом и теперь волновались и дрожали, словно маленькие дети. Как они садились на лошадь! Как они дрыгали правой ногой в поисках стремени! А Калхейн в это время, точно командир перед войском, восседал на единственной хорошей лошади и смотрел на нас с безграничным брезгливым презрением; этот взгляд в тысячу раз усугублял наши муки.

— Ну, все сели? Вы с таким изяществом проделали это, что на вас просто приятно смотреть. Халберт так артистически перебросил ногу через седло, что чуть не выбил себе зубы. А Эффингэм хотел перепрыгнуть через лошадь. А где же Ицки? Я его даже и не вижу. А, вот он где.— И уже к Ицки, судорожно пытавшемуся засунуть ногу в стремя и вскарабкаться на лошадь: — Что с вами? Вы не можете так высоко поднять ногу? Вот вам человек, который уже двадцать пять лет управляет фабрикой готового платья, держит пятьсот рабочих, а сам не умеет даже сесть в седло. Полюбуйтесь! И от него зависит существование пятисот человек. (В этот момент Ицки удалось вскарабкаться на лошадь.) Подумайте-ка, сел! Теперь посмотрим, долго ли вы удержитесь в седле. А правое стремя, Ицки, вы обнаружите с правой стороны, неподалеку от брюха вашей лошади. Нечего сказать, приятно прокатиться в такой компании. Не диво, если обо мне здесь ходит дурная слава. Ну, вперед, да смотрите не падайте.

Мы выезжали из конюшни, миновали двор и пускались крупной рысью по дороге, но очень скоро переходили на галоп. Для опытных наездников все это было не так уж сложно, но что сказать про новичков, которые не надеялись ни на себя, ни на своих лошадей. Я не ездил верхом уже много лет и в первый день был далеко не уверен в себе и не знал, смогу ли удержаться в седле. Но спустя несколько дней я стал ездить довольно сносно, и тогда объектом для насмешек стал мистер Ицки, а потом и другие. Как-то раз мистер Ицки упал или просто сполз с лошади и не мог влезть обратно. Мы

уже были очень далеко от санатория. Калхейн заметил, что Ицки отстал, мы повернули обратно и подъехали к тому месту, где он сидел на обочине дороги, переводя печальный взор с кавалькады на окрестность. Но вид его ничуть не тронул Калхейна.

— Ну, что с вами опять приключилось? — спросил он, сурово глядя на Ицки.

— Я повредил ногу. Не могу ехать дальше.

— Вы предпочитаете идти пешком и вести лошадь на поводу?

— Да, верхом я не могу.

— Превосходно, тогда отведите лошадь в конюшню, да не опоздайте к завтраку, а потом будете ходить с новичками на короткую дистанцию, раз уж вы не можете усидеть в седле. Чего ради, спрашивается, я держу конюшню первоклассных лошадей для таких идиотов, которые даже пользоваться ими как следует не умеют? Да они только портят лошадей. Не успеет лошадь попасть ко мне в конюшню, как порядочному человеку на нее и сесть не захочется. Они дергают ее, толкают, бьют, а ведь лошадь во сто раз разумнее их.

Мы поскакали вперед, оставив Ицки в одиночестве. Мои соседи — мы ехали по трое в ряд — вполголоса возмущались заявлением Калхейна, будто у него хорошие лошади.

— Какая наглость! Такие клячи! Мешок с костями! Подумать только, и это он называет хорошими лошадьми!

Но ни громкого ропота, ни сочувствия мистеру Ицки я не услышал. Пусть этот жирный фабрикант пройдет пешком и попотеет, — можно себе представить, как он заставляет потеть своих рабочих.

В этом странном заведении люди не очень-то сострадали друг другу, и каждый думал только о том, чтобы самому поправить свое драгоценное здоровье, а остальное неважно. И все такие несхожие по внешности, занятиям и немощам, что наблюдать их было одно удовольствие. Помню, например, тощего владельца сталелитейного завода, миллионера, президента могущественной компании, прибывшего из Канзас-Сити и страдавшего анемией, неврастенией, неврозом сердца и еще бесчисленным множеством недугов. Ему было уже за пятьдесят, и больше всего на свете он интересовался своей особой, своей семьей, своим делом, своими друзьями и ста-

рался извлечь как можно больше пользы из прославленного калхейновского курса лечения, о котором столько слышал. В первый день он оказался на прогулке рядом со мной и начал расспрашивать меня о Калхейне, о жизни в санатории, а потом пожаловался на свое здоровье. Особенно беспокоило его сердце; у него бывали какие-то странные приступы, он жил в вечном страхе, что вот-вот упадет мертвым; но когда приступ проходил, он не знал толком — действительно он болен или нет. Сразу же по приезде миллионер поделился с Калхейном своими опасениями, но тот осмотрел его и заявил (в чрезвычайно грубых выражениях), что он отлично может проделывать все глупости, которыми положено заниматься в санатории.

Несмотря на это, как только мы отправились на короткую дистанцию, у фабриканта заболело сердце. Однако ему ясно дано было понять, что если он хочет остаться здесь, то должен выполнять все предписания. Через две-три мили быстрой ходьбы он сказал мне:

— Боюсь, что не выдержу. Это много труднее, чем я ожидал. Мне очень нехорошо. Сердце колотится.

— Раз он сказал, что это вам не вредно, значит, не вредно,— ответил ему я.— Не похоже, чтобы он заставил вас ходить, если это было бы слишком трудно. Он ведь осматривал вас, верно? Значит, вам это под силу. Он не стал бы никого нарочно утомлять.

— Возможно, возможно,— неуверенно отозвался мой собеседник.

Но тем не менее он всю дорогу не переставал жаловаться, ныл, все больше мрачнел и наконец замедлил шаг и совсем отстал от нас.

В положенное время я добрался до гимнастического зала, быстро вымылся, оделся и вышел на балкон, находившийся над душевой, чтобы посмотреть, что будет дальше. Калхейн обычно к этому времени успевал вернуться с поездки верхом или пешей прогулки и стоял где-нибудь возле дверей, наблюдая, как идут дела у остальных. И сейчас он, по обыкновению, стоял в дверях, поджидая своих гостей; на дороге показался тощий фабрикант, он уже опаздывал на пятнадцать минут и еле плелся, прихрамывая и прижимая одну руку к сердцу, а другую к губам. Подойдя поближе, он сказал:

— Боюсь, мистер Калхейн, что мне это не под силу. Мне очень скверно — сильное сердцебиение.

— Да идите вы с вашим сердцем! Я же сказал вам, что ничего у вас нет! Ступайте мыться!

Бедный фабрикант, то ли еще больше напуганный, то ли, наоборот, успокоившись, побрел в душевую, десять минут спустя он появился в столовой, причем выглядел ничуть не хуже других. После этого на очередной прогулке он признался мне, что в личности Калхейна есть что-то внушающее доверие, и с сердцем у него, надо полагать, совсем не так уж плохо; в последнем я, кстати, никогда и не сомневался.

Но интереснее всего в Калхейне были его очень оригинальные, своеобразные, прямолинейные, хотя, быть может, и несколько грубоватые взгляды на жизнь. Он был центром узкого, насквозь материального мира, и тем не менее я всегда ощущал подле него биение большой жизни. У него, казалось, не было ни знаний, ни интереса к наукам, к искусству, к философии, но все же он производил впечатление человека, не чуждого духовным запросам. В своем роде Калхейн являл собою пример древнегреческого восприятия жизни и древнегреческой мудрости, которая спасла десять тысяч греков под Кунаксо́й. При всей его примитивности в нем словно жило ощущение исторической перспективы и гармонической личности. Он знал людей и понимал, как надо жить на вершине жизни или на ее дне, не впадая в крайности, не бросаясь из стороны в сторону.

И все же, ежедневно и постоянно общаясь в этом маленьком, обособленном мирке со священниками, адвокатами, врачами, актерами, фабрикантами, «многообещающими» маменькиными сынками и избалованными наследниками, молодыми повесами и так называемыми светскими людьми, «сливками общества», у которых очень много денег, но зато очень мало знаний и энергии, необходимой в жизни, я недоумевал, чем Калхейн, грубо и пренебрежительно относившийся к ним, мог привлекать их к себе. Они съезжались к нему со всех концов Америки: с берегов Тихого и Атлантического океанов, из Мексики и Канады, и хотя ни сам он, ни его обращение с ними никак не могло им нравиться, они все же оставались здесь весь срок. Гуляя, катаясь верхом или отдыхая вместе с ними, я не раз слышал то от одного, то от другого, что Калхейн слишком резок, что он «грубиян», «выскочка» или в лучшем случае «боксериска» (я и сам по временам, когда злился, мы-

сленно называл его так), но никто, в том числе и я, не думал уезжать раньше срока. И невоспитанный он был, и вульгарный, а мы все равно не уезжали. И чем больше я думал о нем, тем больше убеждался, что Калхейн — человек в своем роде замечательный, хотя бы потому, что он умел справляться со своими клиентами, а это было очень и очень не просто. В большинстве это были либо те, кому слишком легко досталось богатство, либо те, кто добился успехов в жизни благодаря безграничному эгоизму. Трудно было найти людей более черствых, придирчивых. Они были пресыщены удовольствиями жизни, и мало что могло развлечь их. Они смотрели сверху вниз на все и на вся, не исключая и Калхейна, и однако их явно тянуло к нему. Я пытался объяснить это тем, что в людях, подобных Калхейну, есть какая-то железная сила, которая подавляет и подчиняет всех окружающих, хотя бы они того или нет; а может быть, их влекло к нему потому, что они в большинстве своем были так пресыщены и так беспредельно эгоистичны, что только сильно действующие средства и зверский режим, то есть нечто совершенно необычное могло вывести их из состояния равнодушия. Надо думать, Калхейн был единственным существом, с которым им стоило потягаться.

Как я уже говорил, один из пунктов калхейновской системы заключался в следующем: он распределял время для прогулок на большую и малую дистанции так, что если пациент шел достаточно быстро, он успевал вернуться назад в двенадцать тридцать и у него оставалось еще немного времени для того, чтобы вымыться, переодеться и отдохнуть перед обедом. Калхейн же стоял у дверей душевой или сидел в столовой за своим маленьким столиком и следил за тем, чтобы все явились в срок и в надлежащем виде. Однажды наша группа прошла длинную дистанцию быстрее, чем полагалось; мы вернулись запыхавшиеся, но довольные, так как улучшили рекорд на целых семь минут. Хозяин нас видел, но мы этого не знали, и, как только вошли в столовую, он начал издеваться над нашим подвигом.

— Вы очень довольны собой, да? — сердито спросил Калхейн без всяких предисловий, не объясняя, откуда ему известно о нашем рекорде. — Вы являетесь ко мне и платите мне по сто долларов в неделю, а потом начинаете мудрить и за свои же деньги вредите своему

здоровью. Прошу вас не забывать, что моя репутация мне дороже ваших денег. Мне не деньги ваши нужны, мне нужно только, чтобы мои приказы выполнялись. У всех имеются часы. Вы должны рассчитывать время и проходить эту дистанцию в указанный срок. Другое дело, если вы не в силах это сделать; я могу простить человеку, который слишком слаб или болен. Но такие ловкачи мне не нужны, и чтоб этого у меня больше не было.

Завтрак прошел весьма уныло.

Вспоминая об этих завтраках и обедах, которые подавались минута в минуту, хочу еще добавить, что обличительные речи Калхейна по адресу тех или иных нарушителей распорядка и их проступков или просто его саркастические замечания о жизни вообще и о врожденной человеческой испорченности одних раздражали, а других забавляли. Кому не приятно слушать, как перемывают косточки его ближнего?

Вместе со мной проходил курс лечения светский молодой человек, житель Нью-Йорка, по имени Блейк, который страдал жестокими запоями, что в конце концов вызвало у него нервное расстройство. Это и привело его сюда. При всем том это был милейший человек — обходительный, вежливый и деликатный. В нем была какая-то чуткость, сердечная доброта, широта взглядов, благодаря чему он снисходительно, с мягкой усмешкой относился к жизни и к людям, хотя многое подмечал. Его пристрастие к вину или, вернее, робкие попытки как-нибудь утолить свою жажду в этом безалкогольном царстве вызывали у Калхейна не столько гнев, сколько снисходительное презрение. Мне кажется, что Блейк даже полюбился нашему хозяину, — он был так пунктуален, так искренне старался соблюдать все правила и только раз в неделю просил отпустить его в Уайт-Плейнс или в Райи, а то и в Нью-Йорк по какому-нибудь делу, однако Калхейн решительно отказывал ему, да еще при всех. У Калхейна был собственный кабинет в этом же здании, и казалось, что проще зайти туда с какой-нибудь просьбой, однако его там никогда нельзя было застать. Он отказывался выслушивать там жалобы или просьбы, да и вообще принимать нас. Поэтому тем, кто хотел говорить с ним, приходилось делать это при всех — довольно здравая политика, надо признать. Но если у кого-нибудь были разумные просьбы или жало-

бы — а Калхейн каким-то особым чутьем всегда мог угадать, кто из нас на что способен и чего можно от каждого ожидать, — тогда он выслушивал просителя очень терпеливо, незаметно отводя его в сторону или даже приглашая к себе в кабинет. Однако в большинстве случаев эти просьбы ничем не отличались от просьб Блейка. Пациенты, пробыв в санатории две-три недели и несколько поокрепнув, начинали тосковать по радостям и развлечениям городской жизни и просили отпустить их на денек-другой.

По отношению к таким просителям Калхейн был неумолим. Всякими правдами и неправдами благодаря друзьям и доверенным в соседних городах и излюбленных элитных местах Нью-Йорка он мог узнавать, где они были и чем занимались, когда покидали санаторий с его разрешения или без оно́го, и в случае, если отпущники нарушали какое-либо из его правил или не выполняли условий своего договора с ним, он лишал их на будущее всяких привилегий, а то и выгонял из санатория. Вещи их выносили на дорогу перед домом и предоставляли подыскивать себе кров, где им вздумается и как им вздумается.

Все же Блейку однажды разрешили поехать в Нью-Йорк на субботу и воскресенье, чтобы уладить какие-то, по его словам, неотложные дела; при этом Блейк дал честное слово избегать огней Бродвея. Но слова своего не сдержал: его видели в одном из наиболее фешенебельных увеселительных заведений, где он напился так, чтобы хватило до другого раза, когда снова удастся вырваться в город.

В понедельник утром или, может быть, в воскресенье вечером Блейк вернулся в «ремонтную мастерскую», но Калхейн сделал вид, что до второго завтрака не заметил его присутствия; пройдя длинную дистанцию и приняв душ, Блейк щеголем явился в столовую, стараясь придать себе по возможности невинный и бравый вид. Но Калхейн уже сидел за своим маленьким столиком в середине комнаты, поглаживая собаку, лежавшую у его ног (две чистокровные овчарки повсюду сопровождали его).

— Собака, — начал он внятно, без всякого видимого повода и самым резким тоном, что всегда предвещало очередную грозу, — собака настолько лучше человека, что сравнивать их даже оскорбительно для собаки. Со-

бака — порядочное животное. У нее нет отвратительных пороков. Если поставить миску с едой перед породистой собакой, она и не подумает обожраться до одури. Она съест ровно столько, сколько ей надо, и все. То же самое и кошка (последнее утверждение, конечно, никоим образом не соответствовало действительности, но...). У собак не бывает красных от пьянства носов. — Тут все взоры обратились к Блейку, нос которого действительно имел красноватый оттенок. — Собаки не болеют ни гонореей, ни сифилисом. — Все посмотрели на трех-четырех богатых повес, которые, как предполагалось, страдали этими болезнями. — Они не шляются по барам, не пьют, не хвастают в пьяном виде, какие они богатые, из какой они старинной семьи. (Подразумевалось, что Блейк именно так и делает, и хотя никто в этом не был уверен, тем не менее все снова взглянули на Блейка.) Собака умеет держать слово. Она предана вам, насколько ей позволяет ее маленький убогий мозг. Она делает все то, что, по ее мнению, обязана делать...

Но возьмем человека, более того — джентльмена, одного из тех субъектов, которые не устают подчеркивать, что они джентльмены. (Чего, кстати, Блейк никогда не делал.) Оставьте ему в наследство восемь — десять миллионов, дайте университетское образование, блестящие связи в обществе — и что же он будет делать? Ни черта не будет делать, только безобразничать — бегать из ресторана в ресторан, из одного игорного дома в другой, от одной женщины к другой, от одной пирушки к другой. Ему ничего не нужно знать: он может быть паршивее самой паршивой собаки и умственно и физически, и все же он джентльмен, раз у него есть деньги и раз он носит гетры и цилиндр. Да что там, я в свое время видел немало бедных простых боксеров, которым так называемые джентльмены и в подметки не годились. Они умели держать слово. Они заботились о своем здоровье. Они старались пробиться в жизни, ни от кого не зависеть и показать, на что они способны. (Должно быть, он имел в виду самого себя.) Но так называемый джентльмен бахвалится своим прошлым и своей семьей, он будет уверять вас, что ему надо непременно съездить по делам в город, поскольку его вызывает адвокат или управляющий, а отпросившись, таскается по барам, развлекается со шлюхами, потом возвращается ко мне и просит привести его в норму, сделать нос не таким крас-

ным. Он воображает, что когда он совсем расклеится, то сможет в любое время вернуться ко мне, а я изволь ставить его на ноги, чтобы он снова мог безобразничать сколько душе угодно.

Так вот я просил бы всех так называемых джентльменов и одного джентльмена в частности (эти слова он произнес с особым сарказмом) намотать себе на ус, что они жестоко ошибаются. Здесь вам не больница при публичном доме или при кабаке. И мне не нужны ваши несчастные шестьсот долларов. Мне не раз и не два случалось выгонять людей, которые приезжали сюда только за тем, чтобы набраться сил для новых кутежей. Благоразумные люди это знают. Они и не пытаются использовать меня. Только самые никудышные людишки да папаши с мамашами, которые в слезах привозят сюда своих сынков,— только они меня используют, и я принимаю их раз, другой, но не больше. Когда человек уходит от меня вылеченным, я знаю — он вылечился. Я вовсе не жажду снова увидеть его. Я желаю ему вернуться к нормальной жизни и встать на ноги. Я не хочу, чтобы он через полгода вернулся ко мне и слезно умолял снова привести его в норму. Это просто отвратительно. Противно. Хочется прогнать его, и я прогоняю, и дело с концом. Пусть себе идет и морочит кого-нибудь другого. Я показал ему все, что знаю сам. Чудес тут никаких нет. Побывав у меня, он может сделать для себя ровно столько, сколько делаю для него я. Не хочет — не надо. Добавлю только одно: среди вас есть человек, к которому в особенности относятся эти слова. Он здесь в последний раз. Он уже был здесь дважды. На этот раз он уедет отсюда и больше не вернется. А теперь постарайтесь запомнить, что я вам сказал.

Калхейн умолк и откупорил бутылку вина. А однажды он разразился такой речью:

— Есть в нашей стране порода людей, которым не мешало бы стать получше,— это адвокаты. Не знаю почему, но в самом их ремесле есть что-то такое, что делает их циниками и всезнайками. Большинство адвокатов ничуть не лучше тех жуликов и пройдох, которых им приходится защищать. Они охотнее всего берутся за такие дела, где нужно обойти закон, избавить кого-нибудь от заслуженного наказания, и при этом они хотят еще считаться честными и благородными людьми. Как вам это нравится! Если судить по тем типам, которые жи-

вут здесь у меня (при этих словах находящиеся в столовой адвокаты либо вопросительно взглянули на него, либо уставились в свою тарелку, либо с рассеянным видом посмотрели в окно, в то время как остальные смотрели на них), можно подумать, что они соль земли, что они избрали самую благородную профессию в мире и что они на голову выше всех остальных людей. Конечно, если покрывать жуликов и самим жульничать считается похвальным, — возможно, это и так, но я лично так не считаю. А уж физически адвокат — это самая жалкая рыбешка из всей, что когда-либо мне попадалась. Они вялые, нерешительные, какие-то малокровные, вероятно, от сидячего образа жизни. Они никогда не говорят с вами откровенно и прямо. Они всегда ищут, как бы укрыться за своими «если» и «но» и обойти вас. И никогда не ответят вам быстро и честно. Я наблюдаю за ними уже скоро пятнадцать лет, и все они похожи друг на друга. Они-то думают, что каждый из них единственный в своем роде. Ничего подобного, и большинство из них знает о жизни меньше, чем опытный делец или даже светский бездельник. (Видимо, на этот раз Калхейну не хотелось более подробно останавливаться на двух последних разновидностях.) Хоть убей, не пойму, как может красивая женщина выйти за адвоката.

Он долго продолжал в том же духе, обличая один за другим все пороки этого племени и издеваясь над их недостатками. Если не знать, как он громит людей других профессий, можно было прийти к выводу, что Калхейн никогда не встречал людей более гадких, низких, более отсталых умственно и физически, чем адвокаты. При этом Калхейн так негодовал, у него был такой царственно-разъяренный вид, что не нашлось никого, кто дерзнул бы возразить ему; невольно думалось: вместо ответа он, как тигр, разорвет вас на мелкие части.

На другой день, а иногда через два, три или четыре дня — в зависимости от настроения Калхейна — наступала очередь врачей, коммерсантов, политических деятелей или светских щеголей — и, господи помилуй, как им доставалось! Он всегда старался (а может быть, это получалось само собой) отыскать самое уязвимое место своей жертвы и показать, какое это жалкое, бестолковое, подлое, ничтожное и нелепое создание. О коммерсантах, например, он говорил так:

— Люди, у которых есть свое маленькое дело — небольшая фабрика, оптовая торговля, маклерская контора, ресторан или гостиница, — отличаются чисто мещанским складом ума. — При этих словах все присутствующие в зале торговцы и фабриканты настораживались. — Все они знают только свое дело и больше ничего. Одному все доподлинно известно про пальто и костюмы (это был камень в огород бедного Ицки), другому о кожаных изделиях или обуви, о лампах, о мебели, — но больше он ни черта не знает. Если это американец, он корпит над своим маленьким делом, работает день и ночь до седьмого пота и заставляет всех, кто от него зависит, работать так же, он платит гроши рабочим, обманывает друзей, сам недоедает и заставляет голодать семью, лишь бы сколотить несколько тысяч долларов и не отстать от тех, у кого уже есть эти несколько тысяч. И притом он вовсе не желает выделиться чем-нибудь. Напротив, он всеми силами стремится походить на всех остальных. Если другой коммерсант в той же отрасли имеет дом на набережной Гудзона или на Риверсайд, ему тоже приспичит поселиться там, как только заведутся деньги. Если кто-нибудь из его знакомых или даже из тех, о ком он знает только понаслышке, состоит членом такого-то клуба, — ему тоже необходимо вступить в этот клуб, даже если его не хотят принимать и ему там вовсе не место. Ему хочется одеваться у того же портного, покупать провизию у того же бакалейщика, курить те же сигары и отдыхать летом на тех же курортах, что и другие. Он даже внешне хочет походить на других! О господи! И вот когда он уподобится всем остальным, то начинает думать, что теперь он что-то собой представляет. Он ничего не понимает, кроме своей торговли, и тем не менее хочет поучать других людей, как надо жить и мыслить. И все только потому, что у него есть деньги. Вообразите себе, что какой-нибудь богатый мясник или владелец швейной мастерской вздумает учить меня, как надо жить и мыслить!

Тут он окинул нас всех таким взглядом, словно перед ним было множество живых примеров, подтверждающих эти слова. И забавно было наблюдать, что те, кто больше всего подходил под это описание, делали вид, будто все это никоим образом не относится к ним, речь вовсе и не о них.

Но из всех людей, приезжавших в санаторий, Калхейн больше всего ненавидел врачей. Объясняется это, конечно, тем, что их профессия тесно соприкасалась с его собственной, и он не без основания предполагал, что они пренебрежительно относятся к его методам лечения и придирчиво изучают их, стараясь отыскать в них слабые места. Кроме того, он, вероятно, подозревал, будто они только затем и приезжают, чтобы позаимствовать его приемы, а затем без зазрения совести выдавать их за свои. С теми из них, кто осмеливался перечить ему, расправа была коротка. При мне в санатории жил круглолицый, крепко сбитый и весьма самоуверенный врач; мы обедали за одним столиком, и он не устал делиться со мной своими медицинскими и всякими другими познаниями. Он несколько свысока говорил, что в методе Калхейна, бесспорно, есть некоторые рациональные зерна, но уж слишком их здесь переоценивают. Что касается его, то он решил насколько возможно придерживаться золотой середины и по этой причине, помимо всего прочего, надумал приехать сюда и посмотреть, что собой представляет метод Калхейна.

Несмотря на всю снисходительность и даже благожелательность молодого врача, а может быть, именно из-за этого, Калхейн возненавидел его всей душой, едва терпел его присутствие и не устал прохаживаться по адресу салонных докторишек с их коробочками пилюль и дешево доставшейся книжной премудростью, докторишек, хвастающих своей ученостью, «за которую заплатили другие», — так он однажды выразился, имея в виду родителей последних. А стоит им прихворнуть, как они тут же обращаются к нему за помощью или просто приезжают, чтобы изучить его методы и самим основать какой-нибудь дрянной, шарлатанский санаторий. Он-то их хорошо знает.

Однажды в полдень собрались ко второму завтраку. Перед тем, как усесться за свой маленький столик в середине зала, Калхейн прохаживался по столовой, оглядывая все вокруг зорким взглядом, чтобы выявить имеющиеся неполадки и незначительные упущения и тут же устранить их. Одно из правил «ремонтной мастерской» гласило: каждый обязан есть то, что ему подают, не обращая внимания на тарелку соседа, которому подавали что-нибудь другое. Так, например, толстяк, сидевший за одним столом с каким-нибудь заморышем, полу-

чал крохотную порцию постного мяса без картофеля, без хлеба или с маленькой булочкой, в то время как перед его тощим соседом ставили огромную порцию жирного мяса с жареным или вареным картофелем, давали вдоволь хлеба и масла, а иногда еще какое-нибудь дополнительное блюдо. Нередко случалось, что и тот и другой были недовольны и пытались обменяться своими порциями.

Но Калхейн самым решительным образом запрещал это. И вот однажды, проходя мимо стола, за которым сидел я и вышеупомянутый врач, Калхейн заметил, что врач не съел морковь. Кстати сказать, я думаю, морковь была нарочно подана ему, потому что, если кто-нибудь в первый или второй день своего пребывания здесь, ничего не подозревая, оставлял на тарелке какое-нибудь кушанье, его потом все шесть недель пичкали именно этим кушаньем. Старожилы иногда предупреждали новичков об этом обычае. Как бы там ни было, в данном случае Калхейн увидел несъеденную морковь, остановился и, помолчав, спросил:

— В чем дело? Почему вы не едите морковь? — Мы уже кончали завтракать.

— Кто, я? — ответил врач, подняв на него глаза. — Я, знаете, никогда не ем моркови. Я ее не люблю.

— Ах, не любите, — елеиным голосом повторил Калхейн. — Вы не любите морковь и не едите ее. Но здесь вы все же ее будете есть. Для разнообразия вам это не повредит.

— Нет, я не ем моркови, — сухо ответил врач несколько обиженным тоном в надежде, что ему заменят гарнир.

— У себя дома — нет, а здесь — да. Здесь вы ее будете есть, понятно?

— Почему я должен есть морковь, раз я ее не люблю? Пользы мне это никакой не принесет, она мне даже вредна. Неужели я должен есть блюдо, которое мне вредно, только из-за того, что здесь так заведено или ради вашего удовольствия?

— Ради моего удовольствия, ради самой моркови или ради всех чертей, но есть вы ее будете!

И доктор повиновался. День или два он всем твердил, как это нелепо и как глупо заставлять человека есть то, что ему не нравится, но тем не менее во время своего пребывания в санатории он исправно ел морковь.

Что касается меня, то, будучи большим любителем крупного вареного картофеля и больших порций мяса, все равно жирного или постного, я имел глупость сказать это; поэтому мне стали давать несколько крохотных, жалких картофелин и не менее жалкие порции мяса, после чего, правда, я мог получать сколько угодно дополнительных блюд, а вот мой новый сосед по столу, светский молодой человек, нервный и издерганный, получал — вскоре я узнал, что он терпеть их не мог, — картофелины величиной с кулак.

— Вы только посмотрите! Вы только посмотрите, — то и дело брюзгливо говорил он буквально со слезами в голосе, глядя на поданную ему тарелку. — Ведь он знает, что я не люблю картофель, но полюбуйтесь, что мне дают. А вот вам дают его мало! Просто нахальство так издеваться над людьми, особенно в отношении еды. Не думаю, чтобы в этом был какой-нибудь смысл. Не думаю, чтобы крупный картофель принес мне какую-нибудь пользу, а вам — мелкий, и все же приходится есть всю эту гадость или убираться отсюда, а мне необходимо поправиться.

— Не унывайте, — сочувственно отозвался я, косясь на крупные картофелины в его тарелке. — Не всегда же он смотрит в нашу сторону, сейчас мы это устроим. Разомните свою картошку, положите туда масла, посолите ее, а я сделаю то же с моей порцией. Как только он отвернется, мы поменяемся.

— Вот хорошо! — обрадовался он. — Только ради бога поосторожнее. Если он увидит это, то рассвирепеет, как черт.

Наша система действовала безотказно в течение некоторого времени; я каждый день всласть наедался картофелем и радовался своей удачной выдумке: но в один прекрасный день, когда я осторожно переправлял растертый картофель из пододвинутой ко мне тарелки в свою, я заметил приближающегося Калхейна и понял, что наша хитрость раскрыта. Возможно, на нас донесла какая-нибудь коварная служанка, а может быть, он и сам все разглядел из-за своего столика.

— Ну, теперь я вижу, что творится за этим столом! — загремел он. — Немедленно прекратить. У этого великовозрастного дурня (он явно адресовался ко мне) не хватает силы воли и характера самому следить за своим здоровьем, и брату пришлось везти его сюда. Он

не может сообразить своей дурацкой головой, что если я предписал что-то ему на пользу, то это нужно ему, а не мне. Он думает, как и другие набитые дураки, которые приезжают сюда и тратят зря свои деньги и мое время, что я играю с ним в какую-то хитрую игру, и хочет доказать, что хитрее меня. А еще считает себя писателем и умным человеком! Его брат, во всяком случае, так думает. А вот вам второй остолоп! — Он кивнул в сторону моего соседа и повернулся лицом к обедающим. — Не прошло и трех недель с тех пор, как он слезно умолял меня чем-нибудь помочь ему. А теперь взгляните, как он очаровательно развлекается со своей картошечкой. Ей-богу, — гневно продолжал Калхейн, — просто ума не приложу, что мне делать с такими кретинами. Самое милое дело взять этих двух да еще полсотни других, выставить их на дорогу вместе с пожитками — и пусть убираются ко всем чертям. Они не заслуживают, чтобы честный человек возился с ними. Я запретил играть в карты. И что же? Кучка оболтусов, умственных недоносков, у которых больше денег, чем мозгов, в один прекрасный день под видом прогулки удирает в поле; там они усаживаются и начинают резаться в карты только для того, чтобы показать, какие они ловкачи. Я запрещаю курить. Я не думаю, конечно, будто от курения умирают, но считаю, что здесь это неуместно и служит плохим примером для приезжающих сюда молодых бездельников, которым следует отвыкнуть от этой дурной привычки, а кроме того, я не люблю, когда курят, и не позволяю этого. И что же? Шайка избалованных маменькиных сынков и изнеженных наследничков, которых безмозглые отцы не могут приохотить к работе, приезжают сюда, привозят тайком или достают через слуг папиросы, а потом прячутся за деревьями или сараями и курят тайком, как сопливые школяры. Глаза б мои не глядели! Человек положил жизнь на то, чтобы приобрести знания и приносить пользу другим людям, и не ради корысти, а потому, что люди нуждаются в его помощи, но какой от этого толк, если ему все время приходится возиться с такими баранами? Ни один из двадцати, тридцати или сорока человек, которые приезжают сюда, не хочет, чтобы я на самом деле помог ему (а еще меньше они сами хотят себе помочь). Им, видите ли, надо, чтобы кто-нибудь подтолкнул их в нужном направлении, так как сами они не в силах этого сделать. Ну,

какая радость возиться с такими идиотами? Выгнать бы всю эту свору хорошей плеткой.— Он махнул рукой.— Надоело! Сил моих нет. Что же до вас обоих,— начал было он, но внезапно остановился.— А ну вас! Чего ради мне возиться с вами? Делайте, что вам угодно, болейте и подыхайте!

Он повернулся на каблуках и вышел из столовой. Я был так потрясен этой речью по поводу нашей выдумки, которая прежде казалась мне такой ловкой, что не мог произнести ни слова. Аппетит у меня сразу пропал, и я чувствовал себя отвратительно. Подумать только, из-за меня всем была задана такая взбучка! Я чувствовал, что мы — и вполне заслуженно — стали мишенью для негодующих взглядов.

— Господи! — простонал мой сосед.— Со мной вечно так случается. За что бы я ни взялся, ничего не выходит. Мне всю жизнь не везло. Мать умерла, когда мне было семь лет, а отец не обращал на меня внимания. За пять последних лет я трижды заводил новое дело, но у меня ничего не выходило. Прошлым летом у меня сгорела яхта. Сам я уже два года страдаю неврастенией.— Он развернул передо мной такой свиток несчастий, который сделал бы честь самому Иову. А, по слухам, у него было девять миллионов!

В заключение хочется вспомнить еще два-три не менее забавных случая.

Наши прогулки верхом всегда сопровождалась замечаниями Калхейна самого экстравагантного свойства о жизни вообще, о местных жителях и случайных прохожих. Так, в один прекрасный день мы ехали по тенистой лесной дороге, над которой густо переплелись ветви деревьев. Нас было много, ехали мы по четыре в ряд. Вдруг Калхейн скомандовал:

— Сто-ой! Направо равняйся!

Повинуясь его команде, мы все выстроились в один ряд лицом к лужайке, которая неожиданно открылась слева от нас: у открытых дверей конюшни стоял маленький горн, а возле него лежал водопроводчик со своим подручным. Оба они — мужчина лет тридцати пяти и подросток лет четырнадцати-пятнадцати, — грязные, измазанные сажей, отдыхали на утреннем солнышке и, вероятно, ждали, пока расплавится свинец в маленьком котелке, стоявшем на горне.

Калхейн покинул свое место во главе колонны, выехал на середину, поближе к водопроводчику и его подручному, и, указывая на них, громко и отчетливо сказал:

— Вот полюбуйтесь. Это труд по-американски в самом лучшем виде; полюбуйтесь на этих изнуренных тружеников! Взгляните-ка на них.

Мы послушно взглянули.

— Перед вами бедный, изнывающий от непосильного труда водопроводчик...— При этих словах мужчина сел и с недоумением посмотрел на нас, явно удивляясь, откуда мы взялись и что тут происходит.— Этот водопроводчик получает, или, вернее, требует, шестьдесят центов в час, а обливающийся потом бедный маленький помощник получает сорок. Вот смотрите: они работают. Дожидаются, пока расплавится капля свинца, и получают за это по доллару в час. Пока свинец не расплавится, они ничего не могут сделать, а свинец, как вы сами знаете, должен хорошенько расплавиться.

— И вот эти двое,— продолжал он, неожиданно переходя от легкой иронии к злобному презрению,— воображают, будто чего-нибудь добьются, если будут валяться без дела и выманивать деньги у того, на кого работают. Сам он не умеет чинить трубы. Он не может все уметь. Если бы умел, то нашел бы повреждение и управился один в три минуты. Но пронюхай об этом профсоюз, ему объявили бы бойкот, пришли бы шантажировать его, сожгли бы его сарай или заставили бы платить за работу, которую он сам сделал. Я их знаю. Мне с ними приходится иметь дело. Они чинят мне трубы точно так же, как эти двое,— валяются на травке за доллар в час. И потом требуют уплатить им за каждую каплю свинца, которую израсходуют. Из расчета пять долларов за фунт. Если они забудут принести какие-нибудь инструменты и им приходится возвращаться в город, все равно вы платите за это доллар в час. В сельской местности они начинают работу в девять и кончают в четыре. Если вы скажете им хоть слово, они могут совсем бросить работу,— ведь они организованные рабочие. Они не допустят также, чтобы работу сделал кто-то другой. А если уж возьмутся, то будут отдыхать каждые пять минут, вроде этих двоих. Или что-то должно закипеть, или надо подождать чего-нибудь. Ну разве не прелестно! И все мы, без сомнения, сотво-

рены равными и свободными! И эти люди ничуть не хуже нас! Если вы работаете и зарабатываете деньги и вам надо что-нибудь запаять, вы вынуждены терпеть их. По четыре в ряд! Направо! Вперед! — Мы припустили рысью, а немного дальше перешли на галоп, словно быстрая езда могла помочь Калхейну стряхнуть овладевшее им настроение.

Только тогда водопроводчик и его подручный сообразили, в чем, собственно, дело, и посмотрели нам вслед. Водопроводчик — невысокий, плотный человек — обрел наконец дар речи и крикнул:

— Пошли вы к... — Но в это время мы были уже далеко, так что Калхейн вряд ли слышал его брань.

В другой раз, когда мы ехали по дороге, ведущей в соседний городишко, навстречу нам попался большой пивной фургон; на козлах восседал немец, такой огромный, краснощекий и толстый, какого не каждый день увидишь. Было очень жарко. Немец клевал носом, лошади еле плелись. Когда мы подъехали ближе, Калхейн вдруг приказал нам остановиться, выстроил нас в обычном порядке и остановил лошадей, тащивших фургон, которые, как и мы, повиновались его громкому «тпру». Погонщик глядел на нас, сидя на своих козлах, со смешанным выражением удивления и любопытства.

— Вот вам наглядный пример, — вдруг совершенно неожиданно начал Калхейн. — Я всегда говорю: слово «человек» надо как-то изменить или вообще заменить другим, чтобы придать ему более точный смысл. Разве можно назвать человеком вон то существо, что торчит на козлах! А потом так же называть меня или таких людей, как Чарльз Дана или генерал Грант! Вы только полюбуйтесь на него. На его рожу! На его брюхо! Вы думаете, что у этого существа — называйте его человеком, если вам нравится, — есть мозги и что он хоть чем-нибудь лучше, чем свинья в хлеву? Если лошадь предоставить самой себе, она будет есть ровно столько, сколько ей нужно, точно так же и собака, и кошка, и птица. Но дайте волю одному из тех существ, которых почему-то называют людьми, дайте ему работу и вдоволь денег или возможность жрать сколько душе угодно, и вы увидите, что из этого выйдет. Это существо подведет к себе шланг от пивной бочки и будет счастливо. Оно отрастит себе такие кишки, что хватит на целую колбасную

фабрику, и в конце концов лопнет или просто сгисст заживо. Подумать только! И мы еще называем его человеком — некоторые, во всяком случае, называют.

Во время этой странной и неожиданной тирады (я никогда еще не видел, чтобы Калхейн останавливал посреди дороги незнакомых людей) толстый возница, не очень хорошо понимавший по-английски, хмурился и в полном изумлении смотрел на нас. По хихиканью одних и громкому смеху других он стал смутно догадываться, что над ним издеваются и что он служит мишенью какой-то злой шутки. Его толстое лицо побагровело, а глаза злобно засверкали.

— Доннерветтер! — заревел он по-немецки. — Свины собачьи! Полицию надо позвать.

Я успел предусмотрительно посторониться, когда он щелкнул огромным кнутом и в бешенстве погнал лошадей прямо на нас. Калхейн, закончив свои грозные обличения, велел нам снова построиться и преспокойно поехал впереди.

Но ничто не могло сравниться с гневом и презрением, которые вызывало в Калхейне любое проявление беспомощности и нерасторопности. Если он поручал вам что-нибудь — неважно что — и вы не бросались сломя голову выполнять поручение или просто не могли его выполнить, он не находил слов, чтобы выразить свое негодование.

Особенно запомнился мне такой случай: однажды он повез нас кататься в карете (у него их было три); карета была огромная, лакированная, с желтыми колесами, и запрягали в нее не то семь, не то восемь, не то девять лошадей, не помню уж, сколько. Эта прогулка совершалась каждое воскресенье утром или днем, если только не было дождя. В одиннадцать или в два часа по всему санаторию раздавалось: «На прогулку в одиннадцать тридцать (или соответственно в два тридцать). Все в карету!» Калхейн восседал в таких случаях на высоком сиденье и держал в руках вожжи, рядом пристраивался один из гостей, и все остальные, хочешь не хочешь, размещались на сиденьях внутри и на крыше. Экипаж трогался, Калхейн погонял лошадей, и мы, как одержимые, носились по всей округе. Несколько конюхов выступали в роли ливрейных лакеев, другие заменяли форейторов, а один, примостившись на запятках — уж и не помню, как он именовался, — размахивал длин-

ным серебряным рогом и трубил в него; трубить надо было в строгом соответствии с правилами парадных выездов. Частенько, когда заблаговременно не предупреждали о часе прогулки, после команды поднималась дикая суматоха: все лихорадочно облачались в воскресные костюмы, ибо Калхейн не терпел ни малейших изъяснов в нашем туалете, а если мы не успевали одеться и не дожидались у входа, когда к крыльцу подавали карету, он приходил в совершенное бешенство.

В тот раз, о котором я хочу рассказать, мы вовремя заняли свои места, все разодетые в лучшие костюмы, выбритые, напудренные, в перчатках, как подобает джентльменам, с расчесанными и подвитыми усами и бакенбардами, в начищенных до блеска башмаках и лоснящихся цилиндрах; впереди восседал Калхейн — и трудно было представить себе фигуру, более подходящую для данного случая: его длинный бич висел именно так, как полагается, готовый в любой момент опуститься на голову самой дальней лошади; а позади сидел трубач в цилиндре, в сапогах с желтыми отворотами и в ливрее какого-то умопомрачительного цвета.

И вдруг в последнюю минуту выяснилось трагическое обстоятельство: конюх, обычно выполнявший обязанности чрезвычайного и полномочного трубача, единственный человек, умевший как следует обращаться с этим волшебным рогом, не то внезапно заболел, не то у него умер кто-то из родных. Так или иначе, но он не явился. Чтобы не разгневать Калхейна, под трубача одели другого слугу, он уселся на запятки и держал в руках рог, однако трубить он не умел. Пока мы усаживались, он несколько раз спрашивал:

— Джентльмены, кто-нибудь из вас умеет трубить? Знает ли кто-нибудь положенный сигнал?

Никто не отозвался, хотя все вполголоса обсуждали создавшееся положение. Некоторые из нас умели трубить или по крайней мере думали, что умеют, но никто не хотел брать на себя такую страшную ответственность. Тем временем Калхейн, который заметил наше волнение и, может быть, уже узнал, что подставной трубач трубить не умеет, обернулся и сердито спросил:

— Неужели среди вас не найдется никого, кто умеет дуть в трубу? Ну, Касвел? — обратился он к одному и, услышав в ответ что-то невразумительное, повернулся к другому: — А вы, Дрюберри? Вы, Крэшоу?

Все трое решительно отказались. Им и подумать об этом было страшно. Казалось, никто так и не решится взвалить на себя подобную ответственность, пока Калхейн окончательно не рассвирепел и весьма красноречиво не заверил нас, что если кто-нибудь сию же секунду не возьмется трубить, он, Калхейн, никогда в жизни больше не станет тратить время на возню с такими болванами, остолопами и прочее и прочее. Наконец один молодой и неосторожный джентльмен из Рочестера сказал дрожащим голосом, что, может быть, он сумеет справиться. Доброволец занял место в ногах у разряженного трубача, и мы тронулись в путь.

— Но-о, поехали!

За ворота и дальше по дороге, вниз и вверх, вверх и вниз, все весело глядят по сторонам, все довольны, потому что местность кругом красивая и погода отличная!

И вот трубач, как и положено, подносит рог к губам и хочет протрубить торжественное «тра-та-та-та», но, к нашему великому стыду и огорчению, благополучно справившись с первыми тактами, он запнулся и «пустил петуха», как ехидно заметил кто-то. Вожжи дернулись в руках Калхейна, он резко выпрямился, но сказать ничего не сказал. В конце концов с плохим трубачом лучше, чем совсем без одного. Немного спустя, так как трубач медлил начать снова, Калхейн, не оборачиваясь, крикнул:

— Ну, что там с вашим рогом? В чем дело? Не можете справиться? Да вы что, так и будете теперь молчать?

Последовала очередная попытка, прозвучало браваурное, веселое «тра-та-та-та», но в критический момент, когда все мы дрожали от волнения и молили бога о благополучном исходе, надеясь, что на этот раз трубач минует опасное место и придет к победному концу, раздался отвратительный и жалкий писк. Это было ужасно, чудовищно. Все уныло понурились. Что-то скажет Калхейн? Ждать пришлось недолго.

— Господи Иисусе! — загрохотал он свирепо, обернувшись к нам. Лицо его буквально почернело от гнева и было ужасно. — Кто это сделал? Вышвырните его вон! Вы хотите, чтобы вся округа узнала, что я катаю стадо психопатов? Пусть кто-нибудь, кто умеет трубить, воз-

мет рог и трубит, черт вас подери! Без трубача я не двинусь с места.

Несколько минут слышалось смущенное бормотание, шепот, умоляющие голоса: «Попробуйте вы»; мы красноречиво уговаривали то одного, то другого принести себя в жертву; злосчастный трубач заверял, будто он отлично умел трубить в свое время, ничуть не хуже других, и сам не понимает, что с ним случилось сегодня,— должно быть, рог не такой.

— Довольно! — гаркнул Калхейн, кладя конец нашим переговорам.— Значит, никто не хочет трубить? Неужели среди всех вас ни один не в состоянии подуть в этот несчастный рожок? Чего ради я держу столько прекрасных экипажей, если у меня бывают только торгоши да разносчики! О черт! Любой ребенок сумел бы трубить в рог. Это так же легко, как играть на волынке. Если бы мне не надо было править, я бы сам трубил. Ну, живей, живей! Керриган, вы что скажете?

— По правде говоря, мистер Калхейн,— ответил мистер Керриган, щегольски одетый и чрезвычайно учтивый наследник крахмало-паточного миллионера из Филадельфии,— я не занимался этим уже несколько лет. Я могу попробовать, если вы хотите, но не ручаюсь...

— Попробуйте,— нетерпеливо перебил его Калхейн.— Хуже, чем у этого осла, у вас все равно не получится, хоть тысячу лет трубите! Давайте! Давайте!

Мистер Керриган обернулся, взял рог, который с нескрываемой радостью вручил ему его незадачливый предшественник, облизнул и выпятил губы, поднял рог, запрокинул голову и...

Это было потрясающе, неописуемо! Какие пронзительные и скрежещающие звуки!

— Боже милостивый,— взревел Калхейн, рывком осадив лошадей.— Прекратить! Тпру! Так лучше вы не умеете? Ну, вы меня доконали! Тпру! Что за стадо я вожу с собой? И главное, здесь, где все меня знают и понимают толк в приличиях! Господи! Тпру! Я ухлопал тысячи долларов на экипажи, которые настоящим джентльменам могли бы доставить удовольствие, а вместо того вожу бездарных обалдуев. Несчастные пьянчужки, не знающие, что такое воскресный выезд. Ну, с меня хватит! Я сыт по горло! Лучше пущу эту проклятую колымагу на дрова, чем еще раз сяду в нее! Слезайте! Убирайтесь все! Обратно я вас не повезу.

Идите обратно или куда вам вздумается, хоть к чертям, мне наплевать! Хватит с меня! Вылезайте! Я поворачиваю обратно! Я поеду домой какими-нибудь закоулками, если сумею. С такими ослами я больше не желаю возиться.

Мы грустно и смиренно вылезли из кареты и, пока разъяренный Калхейн отыскивал место для разворота, стояли неподвижно, а потом по двое, по трое нерешительно отправились в обратный путь по извилистой дороге, неловко вышагивая в своих воскресных костюмах. Но как мы ругались! Как богохульствовали! Сколько раз мы желали его грубой ирландской душе провалиться в тартарары, и притом как можно глубже. Мы проклинали его со всех точек зрения, в выражениях столь изысканных, отборных и многогранных, какие на моем веку не выпадали на долю ни одного человека, от которых буквально пахло гарью — столько в них было ярости.

А вы толкуете о филигранной резьбе красноречия! О мозаике из драгоценных слов!

Вы бы только послушали, что мы говорили на обратном пути!

И все же ни один из нас не уехал!

Года два спустя мне довелось снова побывать в этих краях. Проезжая мимо санатория вместе со своими друзьями, я попросил приятеля, у которого гостил и который тоже знал Калхейна, заехать туда. В те времена, когда я там лечился, людям, хорошо знакомым с заведением Калхейна, разрешалось проезжать по его территории мимо самых дверей «ремонтной мастерской» и даже останавливаться, чтобы повидать Калхейна, поговорить с ним или на худой конец просто раскланяться. В летнее время Калхейн разбивал на лужайке перед домом большую, красивую палатку в зеленую и белую полоску, там стоял походный стол, складные стулья, на столе лежали книги и бумаги. В жаркие дни, в свободное от возни с пациентами время, он сидел в этой палатке и читал. И когда он находился здесь или где-нибудь поблизости, над палаткой поднимали флажок, который, вероятно, должен был служить сигналом для гостей и посетителей. На этот раз флажок указывал, что он здесь, и мне захотелось еще раз взгля-

нуть на этого царственного льва. Пациентам не разрешалось подходить к палатке ближе чем на десять шагов, а уж входить туда — и подавно. Но посетителям это дозволялось, и многие заезжали, чтобы вспомнить времена, когда они были его покорными рабами, и порадоваться вместе с ним его железному, несмотря на преклонный возраст, здоровью. И если посетители были люди интересные или Калхейн хорошо помнил их, он снисходил до того, что появлялся у входа в палатку и принимал их в позе Наполеона после битвы под Лодди или генерала Гранта в Уайлдернессе и впервые за все время выказывал по отношению к ним известную любезность.

Итак, побуждаемый желанием еще раз увидеть своего сюзерена, проверить, узнает ли он меня, я попросил моего приятеля подъехать к палатке, где Калхейн сидел и читал. Я понимал, что затеял весьма рискованное предприятие. Собравшись с духом, я храбро вышел из автомобиля и, подойдя к Калхейну, назвал себя. На губах его появилась полуприветливая, полупрезрительная улыбка, и мы обменялись рукопожатием. Затем, вероятно, решив, что если не сам я, то уж, во всяком случае, мои друзья — люди интересные, Калхейн поднялся и подошел к выходу. Я представил своих спутников: один был бывалый моряк, важный флотский офицер, другой — владелец большого имения за несколько миль отсюда. И тут я впервые увидел, каким величественным и обаятельным может быть Калхейн. Он встретил похвалы моих друзей по поводу окрестных красот царственным кивком и сказал, что в ясную погоду вид отсюда еще живописнее. К сожалению, он сейчас занят, а то показал бы моим друзьям свое заведение. Но если им случится как-нибудь в субботу проезжать мимо или они предупредят его по телефону заранее, он будет к их услугам.

Мне бросилось в глаза, что Калхейн за это время ничуть не постарел. Ему теперь было уже за шестьдесят, а выглядел он все таким же крепким и подтянутым. И со мной он обращался столь учтиво и церемонно, словно никогда раньше не кричал на меня.

«Боже правый! — подумал я. — Насколько лучше быть посетителем, чем пациентом».

Спустя минуту-другую, сердечно поблагодарив его, мы уехали, но я еще несколько раз оглянулся. Санато-

рий Калхейна просто очаровывал меня. Какая благородная простота убранства! И какой суровый режим! А сам Калхейн в своей палатке — спартанец и стоик наших дней! Но больше всего удивила меня — как мало я знал его! — та книга, которую он читал и при нашем появлении положил на столик; она лежала переплетом кверху, и я невольно прочел заглавие. Это была «История европейской морали» Лекки.

Вот!

Так-то!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Два года спустя после моего последнего посещения Калхейна, я решил разобраться в моем истинном отношении к нему и набросал нижеследующие мысли, которые я и прилагаю сейчас к рассказу, независимо от того, какова их реальная ценность: тогда они выражали мое искреннее мнение о нем.

Томас Калхейн принадлежит к той части общества, которую, как явствует из современной религиозной и философской литературы, всякого рода почтенные граждане (священники, дельцы, судьи, адвокаты и прочие) пытаются наставить на путь истинный. Именно представители этих кругов и приезжают в его санаторий, люди так называемого «хорошего общества». И тут оказывается, что физически и духовно их подчиняет своей воле человек, который, по их мнению — во всяком случае, в теории,— не более чем головешка, которую надо выкинуть из печи.

Церковь и общество смотрят на Калхейна так же, как они смотрят на всех, кто находится за пределами их мира. Среди этих «полунеприкасаемых» Калхейн, безусловно, необычная фигура. На него неоднократно указывали и указывают с ораторских трибун, с церковных кафедр, с газетных страниц как на одного из тех людей, чье влияние пагубно для общества. И вот благочестивый проповедник приезжает к нему в санаторий, здоровье его подорвано, и тот же Калхейн видит его недуги, понимает, что причина болезни в том, что проповедник ведет неправильный образ жизни, закоснел в своих догмах, и Калхейн не боится встряхнуть его с нарочитой грубостью, насильно выбить из привычной

колен. Он знает своего пациента лучше, чем тот знает самого себя,— и исцеляет его.

Над этим поразительным явлением стоит призадуматься тому, кто хочет влиять на своих сограждан. Удачливые игроки, боксеры, жулики, кабатчики, букмекеры, жокеи и им подобные добиваются успеха благодаря своему уму, сметливости и проницательности. Нет сомнения, что среди профессиональных спортсменов и вообще среди людей, не принадлежащих к хорошему обществу, можно найти мудрых и прозорливых судей человеческой природы. Знакомство с суровой, неприкрашенной действительностью многому научило их. Они видят жизнь с изнанки и не обольщаются ею: всю ее жестокость они узнали на своей шкуре. Зачастую люди, которые собираются в низкопробных кабаках и которых наши проповедники и моралисты готовы огульно предать анафеме, имеют более верное представление о самих проповедниках, о церковных организациях, о реформаторах и об их значении в многообразной жизни общества, чем проповедники, религиозные организации и реформаторы — о завсегдатаях этих кабаков и о том мире, к которому они принадлежат.

Вот отчего, по моему скромному мнению, церковь и все те, кто поддерживает ее начинания, не могут добиться больших успехов. Они всячески стараются исправить мир, но сами так погружены в себя и свои догмы, так скованы своим произвольным и узким пониманием добра и зла, что большая часть общества остается вне поля их зрения, в лучшем случае удостоивается лишь беглого внимания. А влиять на людей на расстоянии нельзя. Хотел бы я знать, сумеет ли проповедник или судья, возмущенный языческим варварством мистера Калхейна, обратить этого гладиатора в свою веру так же быстро, как этот гладиатор вылечивает его.

Справедливости ради мне теперь хотелось бы добавить, что проповедники и моралисты воюют, надо думать, не с тем хорошим, что есть в таком человеке, как Калхейн, а ополчаются на пороки, присущие людям, не имеющим ничего общего ни с Калхейном, ни с его отношением к жизни. С другой стороны, спортсмены могли бы возразить, что они нападают вовсе не на истинные добродетели, имеющиеся у церковников, а на их слишком узкое толкование добра и зла, на их

беспочвенные и необоснованные суждения о людях и классах.

Пусть так.

Тут еще можно спорить и спорить.

МОПАССАН-МЛАДШИЙ

Я помню его с весны 1906 года — коренастый, крепкий парень лет двадцати пяти, не больше, с твердым взглядом, внешне невозмутимый, но пронизательный и колючий, такому палец в рот не клади. Был он немногословен, а то, что я ему говорил, принимал с усмешкой, но я сразу заинтересовался им. Сказать по правде, он понравился мне, хотя — это я тотчас почувствовал — поглядывал он на меня не очень дружелюбно. Я был лет на десять старше его и только что начал редактировать захудалый журнальчик, в который (о чем он не знал) меня пригласили для того, чтобы превратить это издание в нечто более солидное.

Ради нескольких долларов молодой человек договорился с моим предшественником написать нелепейшую статью: какой-то вздор о женщинах, которые решили посвятить себя журналистике. Статья эта была ему заказана или идея ее подсказана, и я понимал, что ничего не остается, как выплатить ему гонорар.

— Зачем вы тратите время на такую дребедень? — с улыбкой спросил я, желая пожурить и в то же время ободрить его, — мне уже надоело возиться со статьями, которые заказал старый редактор и которые я не собирался печатать. — По-моему, у вас достаточно сил и способностей, чтобы написать что-нибудь более дельное. Почему вы не попытаетесь сделать что-то действительно путное?

— Путное! — проворчал он со злобой и весь ошетинился, напомнив мне драчливую упряжную собаку. — Черт побери, назовите мне хоть один журнал в этом городе, который возьмет то, что я считаю путным. Вы такой же, как и все, — только говорите красиво, а на самом деле ничего серьезного вам вовсе не надо. Вам, наверно, требуются статейки на отвлеченные темы либо насчет «нашей политики». Знаю я вас! Верните мне рукопись. Можете не печатать! Это написано по заказу, но так и быть — я ее выкину в корзину.

— Потихе, потихе,— сказал я, восхищаясь его смелостью и пылом, с каким он выражал свое презрение к нравам американских издателей.

Он был такой молодой, непосредственный и какой-то дикий — совсем звереныш. Но по-своему очень интересный! Было в нем что-то свежее, яркое, напоминающее девственные прерии или поле, по которому только что прошелся плуг. В моих глазах он олицетворял все молодое, неиспорченное, что только есть в Америке, но при том был удивительно напорист,— это не часто встретишь у нас, по крайней мере среди людей умственного труда.

— Успокойтесь и перестаньте рычать,— сказал я мягко.— Вы совершенно правы, я знаю, им вовсе не нужно то, что вы предлагаете. И мне это не нужно. Ведь почти все мы работаем не на себя, а на дражайшую публику,— все зависит от того, как расходятся наши издания: против вкусов и требований потребителя не пойдешь. Я был точно в таком же положении, как и вы. Я и сейчас в таком положении. Откуда вы родом?

Оказалось, из Миссури,— он там совсем недавно окончил университет.

— Чем вы намерены заниматься?

— А вам какое дело? — раздраженно ответил он: ясно было, что человек этот остро сознает собственное превосходство, а мой вопрос кажется ему обидным снисхождением и возмутительной навязчивостью.— Вы, наверно, даже и не поймете, если я вам скажу. Сейчас мне важно одно — написать достаточно журнальных статей, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Вот и все.

— Ну и ну! Какие же мы храбрые! — расхохотался я, не обижаясь на эту отповедь.— Нет, право, вы занятный парень. Но давайте-ка перейдем к презренной прозе. Вы хотите писать что-нибудь толковое и получать за это деньги. Мне вы нравитесь, и, по-моему, способны делать то, что мне нужно. Вам не хочется писать всякую ерунду, вы стремитесь к чему-то получше. А я тоже хочу печатать в нашем журнале как можно меньше ерунды, мне нужно что-то настоящее, выхваченное из подлинной жизни Нью-Йорка, если только такую вещь можно напечатать в обычном журнале. Вот, грубо говоря, что мне нужно.— И я обрисовал ему, какое направление я намерен придать журналу. Я принял на себя руководство анемичным, рассчитанным на дешевую

сенсационность ежемесячником под названием «Бродвей» и пытался превратить его в зеркало как столичной, так и международной жизни. Юноша немного оттаял.

— Ну, если таковы ваши намерения, то из этого может что-нибудь и выйти. Не знаю. Не исключено, что вам это удастся.— Он с особым ударением сказал «не исключено».— Во всяком случае, попытаться стоит. Судя по тому, какие здесь, в Нью-Йорке, дрянные редакторы и издатели, в Америке никто не хочет ничего порядочного.— Губы его искривила ироническая усмешка.— Я тоже хочу кое-чего добиться, но у меня мало надежды осуществить свои планы в здешних журналах. Может быть, это следует делать даже и не в Америке. Я не знал, что в вашем журнале такие перемены.

— Да, но все-таки не слишком рассчитывайте на это,— сказал я.— Ведь, как-никак, журнал должен хорошо раскупаться. Посмотрим, далеко ли можно пойти с действительно интересным материалом. И если вы знаете еще кого-нибудь вроде вас, ведите их ко мне. Мне нужны такие люди. И я оплачу вам эту статью, только вы получите деньги вместе с гонораром за что-нибудь другое, что вы напишете потом. Понимаете?

Я улыбнулся, улыбнулся и он. Когда он позволял себе проявить симпатию к собеседнику, он улыбался открытой, сердечной улыбкой, но обычно не давал волю чувствам, был грубоват, даже суров — словно берег для чего-то свой душевный пыл, подумалось мне. Он ушел, и мы встретились вновь лишь неделю спустя: молодой человек принес мне свою первую работу, написанную в том духе, как я просил.

Тем временем я спешно подбирал штат работников, куда решил включить и своего нового знакомого. Я рассчитывал использовать его в качестве сотрудника на половинном окладе, полагая, что его можно будет научить писать хорошие очерки. Он казался таким способным и честолюбивым, что от него можно было ожидать многого. Кроме того, небольшая статья, которую он принес мне во второе свое посещение, поразила меня выразительностью языка, хотя главные мысли и наиболее выигрышные места были скомпонованы в ней не столь удачно.

Следующий его опыт понравился мне еще больше. Это было, насколько я помню, волнующее описание Ист-Сайда, сделанное с расчетом привлечь внимание не

только нью-йоркских читателей, но и всей Америки. Также, как и в первой своей работе, в этом очерке он проявил исключительное мастерство в выборе красок и слов, в четкости описаний, но ему по-прежнему недоставало умения выгодно оттенять главное. Я сказал ему об этом, намекнув, что мог бы, если он не возражает, показать, как это делается. Молодой человек согласился, и даже с охотой, но вид у него был все такой же сдержанный, будто он оказывал мне услугу. Он живо постиг, в чем секрет композиции, и, посидев немного за столом в соседней комнате, положил передо мной переделанный очерк, который меня уже почти удовлетворил. За последующие недели и месяцы, работая то над одним очерком, то над другим, он в конце концов уловил суть моей теории, или, вернее, создал свой собственный метод,— его работы меня вполне удовлетворяли и даже радовали. Немного погодя я взял его в журнал на постоянное жалованье.

Теперь я понимаю, сколько наивной самоотверженности было в том, что мы старались тогда делать — и в каких условиях! Ничем не прикрытый дух торгашества руководил владельцем журнала, приходилось объяснять и отстаивать многое такое, о чем, как мне казалось, и спорить-то нечего. Мы переехали в новое помещение, где еще не были закончены отделочные работы и где еще только достраивались перегородки, которые, как заметил кто-то, должны были «разделить и нас». Издатель и владелец нашего журнала был маленький, энергичный, раздражительный, преисполненный самомнения человек, американец до мозга костей; взгляды у него были самые обывательские, и он требовал, чтобы журнал наш был «забористый», «увлекательный», «злободневный» и прочее. Он частенько налетал на нас, или, вернее, на меня, и все допытывался, в чем суть и смысл великих планов, которые я и небольшая группа людей,— мне довольно быстро удалось сколотить ее,— всеми силами старались осуществить.

Для меня поэтому было важно по-новому построить работу журнала, свежо и необычно освещать столичную жизнь, отрешиться от прежнего медлительного и несколько высокопарного стиля в очерках и репортаже,— и этот юноша, казалось, мог помочь мне. В нем была такая сила, такая жажда жизни, он так страстно стремился живописать окружающее, а именно это и нужно

было нашему журналу. Имея под рукой подобного сотрудника, я чувствовал себя увереннее и спокойнее. Его чрезвычайно интересовал и рост города, и атмосфера столичной жизни, и подробности возвышения богатейших семейств, и происходящие события, и условия существования различных слоев общества, и совершаемые преступления; с другой стороны, он так легко учился нашему мастерству, так быстро схватывал, что от него требуется и как это надо подать. Стоило мне объяснить ему некоторые технические мелочи — и он овладел искусством сочинения очерков, а дальше все пошло легко и просто.

Но еще больше, чем эта легкость, с какою он усвоил мою теорию журнального очерка, заинтересовал меня его характер; работая бок о бок с ним изо дня в день, я все лучше узнавал его. Скоро я понял — и это меня очень обрадовало, — что молодой человек отнюдь не принадлежит к типу писак никчемной сентиментальной школы с ее пресловутым принципом «счастливого конца». Напротив, впервые за время работы с начинающими литераторами я почувствовал в очерках этого юноши то спокойствие, уверенность, проникновенность и отсутствие сентиментальности, которые присущи лучшим писателям Америки, — здесь не было места пустопорожней велеречивости, браваде и ханжеству. Его стиль был прост и прозрачен, как дождевая капля, он писал романтично, ярко, с искрой юмора, и если иногда между строк сквозило излишнее тщеславие и самомнение, я охотно прощал ему это, ибо ему было чем гордиться. Принимая участие в различных изданиях, я встречался с начинающими литераторами и художниками самого разного толка, но этот молодой человек нравился мне больше всех, в нем было что-то свежее, необычное.

Прошло две-три недели после начала нашего знакомства, и однажды, видя, что я ищу рассказы, стихи, короткие очерки и зарисовки, отражающие дух Нью-Йорка, он принес мне небольшое стихотворение «Neuvain», которое меня поразило. Это были всего шесть строк — двойной триолет в старофранцузской манере, но удивительно сильный и тонкий и насквозь пропитанный духом современности; от него веяло дыханием города, в нем слышались звонки трамваев, смех детей, танцующих под шарманку. Название стихотворения было надуманное, английское слово «Весна» подошло бы ничуть не хуже,

но такое название характерно было для тогдашних вкусов автора, для его литературных увлечений. Тогда я еще не знал, что он был ярким приверженцем французской литературной школы, крупнейшим светилом которой являлся Мопассан.

— Замечательно! — с жаром воскликнул я. — Мне очень нравится. Покажите, что еще у вас написано. А рассказы вы пишете?

Вместо ответа он уставился на меня таким испытующим, высокомерным и презрительным взглядом, который ясно говорил: «Еще вопрос, стоит ли с тобой об этом толковать» или: «Этот умник только еще начинает догадываться, что я способен написать рассказ». Но, видя, что я лишь добродушно улыбаюсь, он, наконец, сообразовал ответить:

— Конечно, я пишу новеллы. А для чего же я ввязался в это дело и стал писать, по-вашему?

— Ну, мало ли — может быть, вы хотите стать романистом, или драматургом, или поэтом.

— Нет, — помолчав, возразил он все тем же непередаваемо снисходительным тоном, — я хочу специализироваться только в новелле.

«Прекрасно, — подумал я, — у этого юнца определенно есть талант, и не маленький, но, судя по тому, как он начинает, жизнь обрушит на него немало ударов, — надо защитить его, пока он молод, ободрить и поддерживать. Не так давно я сам был в его положении. И, кроме всего прочего, если я не поддержу его материально, чтобы он мог продолжать в том же духе (а материальная помощь — самая верная), так кто этим станет заниматься?»

Примерно через неделю я был снова приятно поражен — и даже больше, чем до сих пор. Со своим обычным снисходительным видом он принес мне две небольшие рукописи — две повести — и бережно положил на мой стол, сказав только, помнится, что я могу прочитать это, если придет охота. Я прочитал — и был потрясен: мне казалось, что я открыл гения, гения в расцвете творческих сил. В этих повестях («Вторая причина», «Верный человек») чувствовался новый, своеобразный взгляд на жизнь, они были написаны ясно, глубоко, лаконично, оригинально по мысли. Надо сказать, что к тому времени я уже поработал во многих журналах, немало испортил себе крови, стараясь поднять на высоту

жанр новеллы, и теперь довольно мрачно смотрел на будущее американской прозы — новеллы в частности, — ведь если бы и можно было напечатать хорошую вещь, ее не так просто найти. Мой собственный опыт с романом «Сестра Керри», та ожесточенная враждебность или холодное безразличие, с которыми сталкивались все, кто пытался сделать в американской литературе что-то хоть сколько-нибудь серьезное, убедили меня, что мир считает величайшим оскорблением и преступлением любую книгу, где есть хотя бы крупица правды. Писатель не смеет «говорить во всеуслышание», не смеет описывать жизнь такую, как она есть, какой он ее знает. На этот счет меня весьма внушительно предостерег наш издатель; он был ярчайшим и прискорбнейшим олицетворением американской лжеморали: в нем уживались чисто пиратское стяжательство и глубокая, непоколебимая уверенность в своей правоте. Так вот, он заявил, что хотел бы видеть в журнале нечто новое в области художественной прозы, нечто более реалистическое и жизненное, а не вздор, какой печатают повсюду; но при этом материал должен отвечать двум требованиям: 1) он должен быть рассчитан на среднего читателя(!) и 2) должен строго соответствовать фактам и быть нравственным в том смысле слова, как это понимает уважаемый средний читатель... Эти два жернова, разумеется, перемололи бы все живое в любом произведении.

И, однако, я не впадал в отчаяние и рассчитывал кое-чего добиться. Тяжко вздыхая, я все же надеялся убедить моего патрона выйти за рамки общепринятого или думал, попросту говоря, «обставить» его, но из этого, как вы понимаете, могло что-то получиться, а могло и не получиться. По правде говоря, я мечтал найти вот такого юношу, а то и нескольких молодых людей — приверженцев острой, реалистической манеры письма, которые не изменяли бы жизненной правде, но и не переступали бы известных границ, иначе я не мог бы их печатать. Вообразите же, как я обрадовался, получив эти две повести: ведь я мог не только искренне восхищаться ими, но и напечатать их, — ясно было, что они заинтересуют всякого, кто хоть немного знает жизнь. Несомненно, в них было много иронии, много жестокой правды, но написаны они были ярко, с юмором и таким безупречным мастерством, что не могли не вызвать улыбку одобрения. Я пригласил юношу к себе

и сказал ему все это, или, вернее, почти все. Теперь я иногда думаю, что это было ошибкой, ибо путь к искусству должен быть долог. Я тут же приобрел обе рукописи, надеясь — это была смелая надежда! — найти для журнала еще такие же превосходные повести.

Забыл сказать, что в то время мой штат расширился. Появился новый сотрудник — заведующий отделом художественного оформления, человек чрезвычайно пылкого и неустойчивого нрава, своего рода гений, увлекающийся, беспокойный, нетерпеливый, поклонник Верлена, Бодлера и Ропса. Мало того, что он оформлял и украшал каждый номер нашего журнала, он еще и писал новеллы, пробовал силы в живописи, сочинял стихи, музыку, пьесы и к тому же успевал бывать в высшем свете — такую возможность он имел благодаря своему происхождению. Был у нас тогда технический редактор — выходец из Ирландии, католик; он окончил какое-то весьма известное духовное училище, и его куда больше интересовал святой Иероним со своим «Vulgate» — этим непревзойденным образцом классической латыни, чем выпуск в свет нашего журнала. И все же у него было бесспорное достоинство: он был занятен, и «я от него Горация узнал». В наш штат входила еще более занятная, юная, милая, хотя и несколько суровая, представительница литературно-критической школы Уэлсли-Холиоки-Брайан Моур — чрезвычайно привлекательная и образованная девушка, занимавшая должность рецензента и помощника редактора. Она сидела в соседней комнате вместе с заведующим отделом оформления, техническим редактором и рассыльным. Боюсь, эта неоценимая и во многих отношениях достойная особа справедливо презирала меня за мои довольно свободные и отнюдь не приличествующие литератору манеры, зато, как я догадался еще прежде, чем принять ее на работу, она обладала замечательным чутьем ко всему новому и живому в беллетристике и во всех прочих областях литературного ремесла. Она с необыкновенной энергией вечно все критиковала, вычеркивала и отвергала. На первых порах Л. от души возненавидел ее и называл не иначе, как «дурой», «макакой», «пигалицей». А кроме постоянных сотрудников, в нашей редакции гудел все возрастающий рой писателей, художников, поэтов, критиков, фантазеров, мечтавших о переустройстве общества, — кого тут только не было; все они рассчитывали

осуществить свои планы с помощью какого-нибудь влиятельного журнала и постепенно превратили нашу редакцию в свою штаб-квартиру. Одно время здесь толпилось такое множество охотников за славой, что яблоку негде было упасть,— все занятый, живой, шумный народ.

Попав в этот новый для него круг, Л., естественно, живо заинтересовался и даже увлекся им. Порою он с юношеской непосредственностью откликался на все и, должно быть, думал, что все эти люди сумеют создать что-то удивительное, долговечное, о чем заговорит весь мир. Но очень скоро выяснилось, что Л. на редкость упрямый, просто несносный мальчишка. У него был особый дар говорить и делать то, что неприятно окружающим, и он порой очень раздражал не только меня, а и других. До нашего знакомства в редакции он никогда не слышал обо мне, но, очевидно, был убежден, что я просто ничтожество — пожалуй, гожусь на что-нибудь как редактор, но уж, конечно, я не писатель и никогда не смогу дать писателю дельный совет. Правда, я помогал ему, но он принимал это как должное. Заведующего отделом оформления он считал на первых порах идиотом, а потом гением. Столь же резко изменилось его мнение и о техническом редакторе.

Что же до мисс Э. (нашего помощника редактора и последовательницы литературной школы Уэлсли-Холиюки-Брайан Моур), которая сразу согласилась со мной, признав в Л. человека одаренного и даже гениального, то он, как я уже говорил, сначала презирал ее. Спустя некоторое время она — очевидно, благодаря своему хорошенькому личику и врожденной грации — ухитрилась войти к нему в доверие и, всячески превознося его экспрессию, искренность, его глубокую интуицию и неустемленную силу, тем самым доказала ему, что она не только чистосердечно восхищается его дарованием, но и обладает выдающимся вкусом. С тех пор Л. стал безопасен и даже мил,— он чем-то напоминал наполовину прирученного дикого зверя.

Больше всего Л. возмущался владельцем нашего журнала М., просто не находил слов, чтобы выразить свое презрение к нему. Он уверял меня, что М. грязная крыса, хищник, хорек, шпион, агент, работающий на какой-нибудь трест, хитрый и корыстолюбивый лавочник. Все эти эпитеты М. заслужил тем, что он имел

обыкновение появляться то здесь, то там и завязывать разговор, явно стараясь разобраться в порывах и идеях всех этих представителей журнального мира, воспользоваться ими с выгодой для себя. Но что едва ли не больше всего раздражало Л. в издателе — это его самоуверенная осанка процветающего дельца, его нескрываемое убеждение в том, что такое преуспевание доступно лишь ему одному: его отлично сшитый костюм, его автомобиль, многочисленные помощники и секретари, сопровождавшие его во время разъездов по учреждениям, с которыми он был связан.

М. всегда говорил, что его принцип: «Живи в свое удовольствие и не жалеешь для этого ничего». Поступал он отнюдь не так, как говорил, зато других всячески поощрял руководствоваться этим правилом. Он завел обычай (и это, должно быть, производило на Л., неопытного новичка, большое впечатление), переходя с одного «важного» совещания на другое, оповещать об этом всех и вся через своих приспешников; где бы он ни находился — у себя ли в кабинете, или где-то в другом месте, — его неизменно связывали со всеми, кто ни обращался к нему по телефону, даже когда предполагалось, что он занят конфиденциальной литературной беседой с кем-либо из своих служащих или с целой группой их — к такого рода беседам у издателя появилась настоящая страсть. Была у него и другая причуда, продиктованная тщеславием: всякий раз, как к подъезду подкатывал автомобиль, секретари громко возглашали об этом и чуть не силой усаживали своего патрона, — им заранее было приказано напоминать ему о предстоящих весьма важных совещаниях и встречах. А бывало и так, что М. посылал за кем-либо из своих подчиненных даже в полночь и вызывал его для разговора по важному делу в клуб, в ресторан или на дом; вызванный должен был нанимать такси и мчаться во весь опор, чтобы патрону не пришлось ждать его.

— Господи, — сказал однажды в моем присутствии Л., — подумать только, на какое унижение идет разумный человек за недельное жалованье! Эх, отхлестать бы этого М. шваброй, а потом придушить!

Но посмотрели бы вы, как Л. развивался и рос в такой атмосфере! Это было любопытно. Сначала — до того, как наш журнал стал крупным изданием с солидной репутацией, — мне доставляло огромное удовольст-

вие встречаться с молодым человеком вне редакции: он был на редкость занимательный и живой собеседник! У него была такая жажда жизни, такая нетерпимость ко всему устаревшему или не соответствовавшему его желаниям и взглядам, что иной раз страшно было заговорить с ним,— непременно нарвешься на колкость или резкий отпор. Меня радовало его страстное желание все знать, все видеть — желание, которое появляется у каждого юноши, впервые попадающего в большой город. Гигантские мосты, недавно прорытые туннели, гавань и бухта, Кони-Айленд, два новых больших вокзала, в то время еще только отстраивающиеся,— все интересовало его. Впрочем, куда больше его привлекали совсем другие, даже мрачные места — Восьмая авеню, например, о которой он впоследствии написал рассказ — и притом очень хороший («Тихий дуэт»); Чертова кухня — район, что находится (или находился) в западной части Манхэттена, между Восьмой и Десятой авеню, Тридцать шестой и Сорок первой улицами; Малая Италия — район, расположенный ниже Деланси, к северу от Уорстрит в Ист-Сайде; Китайский городок; Вашингтон-стрит (Сирия в Америке); греческие кварталы на Двадцать седьмой и Двадцать восьмой улицах Вэст-Сайда. Все эти и многие другие черты многоликого города властно и неудержимо притягивали к себе юношу. Однажды, когда мы в два часа ночи шли по Восьмой авеню (я показывал ему, как выглядят летом глухие трущобы), он взволнованно сказал:

— До чего я не люблю ложиться спать в Нью-Йорке! Мне все кажется, что, пока я сплю, непременно что-нибудь случится интересное и я этого не увижу.

Я уверен, что он говорил тогда совершенно искренне.

В те времена он был простым парнем и вел поистине спартанский образ жизни. Он был глубоко равнодушен к спиртному, где-то, кажется на Восьмой авеню, снимал крохотную комнатку и обедал в дрянных маленьких харчевнях, причем посетители интересовали его куда больше пищи (и за это я почтительно снимаю перед ним шляпу). Он был таким напористым и непреклонным в стремлении развить свое дарование, что я смотрел на него чуть ли не с благоговением. Вот человек, который своего добьется, говорил я себе. Пусть он дик, неотесан. В Америке, очевидно, таким и надо быть.

Чего я только не узнал о его прошлом за наше короткое знакомство! Мало-помалу, по кусочкам, я воссоздал картину пережитых им лишений и трудностей. Он пробовал стать газетным репортером в Канзас-Сити; чтобы прокормиться и заплатить за учение в университете на Среднем Западе, который он окончил, ему пришлось работать в университетском ресторане и прачечной. Позднее он служил привратником в одном небоскребе, тоже, кажется, в Канзас-Сити. И больше всего мне нравилось, что он никогда не бахвалился этим и не жаловался на то, как ему трудно приходилось. Он не впадал и в другую крайность — не старался преуменьшить и представить свои мытарства пустяками, что тоже было бы кривляньем. Он рассказал мне, что в юные годы немало скитался вместе со своей матерью — женщиной железной воли. Казалось, он очень любил ее по своему — все с той же угрюмой придирчивостью, — но рассказывал о ней скупое и неохотно, и все же мне стало ясно, что это была женщина грубая и вульгарная, но настоящая, любящая мать, которая шла ради него на большие жертвы.

Одно время, когда сын был совсем еще маленький, она содержала ресторанчик в каком-то горняцком поселке на Западе, а несколько позже перебралась через пустыню Мохаве: часть пути она шла пешком, неся на руках хнычущего сына, закутанного шалью. Л., по-видимому, не знал, кто его отец, и не задавался вопросом, знает ли это мать. Он сказал только, что отец его умер, когда он был еще ребенком. Потом мать работала поварихой в гостинице при вокзале где-то в Техасе, и там-то мальчик начал ходить в школу. Она нанималась к ростовщику «кликушей», если вы только знаете, что это такое: являлась к какому-нибудь бедному и жалкому должнику своего хозяина и требовала тотчас заплатить долг, иначе она будет вопить во всю глотку и осрамит его перед товарищами по работе. Позднее она была и частным сыщиком и страховым агентом — бог знает чем только не занималась эта суровая, мужеподобная женщина, всей душой, однако, любившая своего сына, который, несомненно, казался ей совершенством. Она послала его учиться в начальную, потом в среднюю школу, а затем и в колледж и давала ему столько денег, сколько могла. Еще позже (как раз в то время, когда я познакомился с Л.) она непременно хотела переехать в

Нью-Йорк, чтобы вести хозяйство сына, но юноша, стремясь к полной свободе, не согласился на это. Тем не менее он аккуратно писал ей, а впоследствии, кажется, посылал ей часть своего заработка; деньги эти она бережно хранила для него же, на черный день. После смерти Л. я нашел в его бумагах трогательный рассказ («Его мать»), в котором он и беспощадно и любовно описывал свою мать и себя — в его душе уживались нежность и жестокость.

Одно обстоятельство очень обнадеживало меня: его нимало не увлекали те пошлые моральные и экономические формулы и теориейки, которые в том или ином виде наводняли Америку. В самом деле, его ничуть не увлекали эти идеи, он был даже чужд им. Все, что он слышал о прирожденных и вечных совершенствах человеческой души, можно сказать, в одно его ухо входило, а в другое выходило. Он уважал добродетель, но он видел и отвратительные пороки, считался с их существованием и знал, что из-за них-то и нужна добродетель. Вор в его глазах значил ничуть не меньше, чем святой, ибо святой потому и нужен, что рядом существует вор. Л. не интересовался американской политикой и «высшим светом» — совсем редкое качество! Ему было чуждо типично американское стремление «преуспеть», то есть нажить капитал и занять более высокое положение в обществе, — еще одна неопценимая черта! Жизнь во всех ее формах и проявлениях казалась ему увлекательной; он принимал ее такой, как она есть, и считал, что такой ее и надо изображать, лишь бы хватило мастерства; это мастерство дается только избранным, и, стараясь овладеть им, не надо жалеть никаких усилий.

Можно вообразить себе, каких трудов стоило бы в то время убедить среднего американца, напичканного, как он напичкан и теперь, вздорными представлениями о художниках и искусстве, что Л. — это нечто большее, чем просто грубый, неотесанный мужлан, у которого хватило наглости топтать своими грязными сапогами ступени храма муз! Этот дерзкий, колючий, раздражительный парень, похожий скорее на тормозного кондуктора или железнодорожного рабочего, чем на писателя, порою такой несдержанный на язык и неистово резкий в суждениях, — что может быть у него общего с литературой, с великими идеалами художника, с искусством вообще? Как, черт возьми, он лезет на Олимп, этот

дюжий молодец, с копной каштановых волос, разделенных сбоку пробором, как у модного парикмахера, и свисающих на одно ухо, в довольно нескладных коричневых башмаках на толстой подошве, в неуклюжем костюме, купленном в магазине готового платья, в маленькой круглой коричневой шляпе, а чаще в кепке, небрежно и даже вызывающе сдвинутой набекрень, в грубошерстном тяжелом пальто, которое он носит в холодные весенние дни и полы и лацканы которого помяты и сморщены от сырости и небрежного обращения! Этот парень, способный в самую неподходящую минуту вытащить кисет с дрянным табаком и закурить дешевую, сделанную из початка кукурузы трубку, парень с воинственными, раздражающими замашками, чуть ли не головорез, всегда готовый броситься в драку, кажется, всем своим видом говорил, что он далеко не такой, каким ему следует быть! Положительно, в нем было что-то звериное, — но и что-то космическое (не комическое), если учесть, на какое место в мире интеллекта и искусства он претендовал. Нередко его язвительность и вызывающий тон действовали на нервы даже мне. Он был, как я уже сказал, чересчур задирист, чересчур напорист, чересчур нетерпим. Ему недоставало мягкости. Вместе с тем я чувствовал, что все эти качества необходимы ему, чтобы, как он говорил, «пробиться». Я пытался — безуспешно — чуть смягчить его нрав, я был очень привязан к нему, хотя он злил меня и подчас доводил до бешенства своими выходками; казалось, он бесит меня нарочно, с хитростью дикаря, пытаясь сбить с меня спесь: он воображал, что я смотрю на него свысока. Были дни, когда я, словно отец блудному сыну, желал ему смерти, но это скоро проходило, а его литературный дар искупал в моих глазах все его прегрешения.

Тем временем наш журнал начал процветать и привлекать общее внимание, и Л. стал для меня самым ценным сотрудником: сам он не так уж много и делал, но то, что делал, было для нас образцом. Немудрено, что очень скоро он получил признание всех, кто имел какое-то отношение к нашему журналу. На первых порах, заинтересованный в успехах юноши, я старался при каждом удобном случае представить его всем, кто мог стать ему полезным, а потом он сам благодаря своему уму, цельности натуры, пылкости воображения и острому критическому чутью сумел собрать вокруг себя целую

группу искателей новых путей: молодых писателей, художников, поэтов, драматургов, композиторов — это был удивительно занятый и своеобразный артистический кружок. Местом их встреч служили все те же дрянные ресторанчики в глухих закоулках и даже на главных улицах, близ Таймс-сквер; иногда они собирались у кого-нибудь дома или в моем служебном кабинете, вечером, когда я уходил домой; в таком случае они уверяли меня, что у них срочная работа. И все время только и разговоров было, что о новых певцах, танцовщицах, о новых пьесах и новеллах, только задуманных или уже почти законченных, о статьях и критических очерках, которые должны были вот-вот увидеть свет, о богемных ночных пирушках, которые хоть и не стоили больших денег, зато отличались неудержимым весельем. Денег у этой молодежи, конечно, всегда было в обрез, и потому члены кружка постоянно то занимали друг у друга, то расплачивались с долгами. С тревогой я обнаружил, что наш заведующий отделом оформления, этот доблестный рыцарь богемы, и сторонница литературно-критической школы Уэлсли-Брайан Моур — оказались самыми деятельными членами этого кружка. К нему со временем примкнули и наш технический редактор и многие другие из числа тех, кто так или иначе причастен был к изданию журнала.

Кружок этот, если и не приносил непосредственной пользы, во всяком случае очень оживлял атмосферу вокруг журнала, и я твердо убежден, что с точки зрения «знакомства», «контакта» и «равнения» на основные литературные течения и тенденции — а ведь это необходимо для успеха дела — он был просто неоценим. Он стал своего рода нашей литературной кухней, куда притекало и затем получало известность множество разнообразнейших и интереснейших идей. Здесь обсуждали то нового, дотоле никому неведомого тенора, которого следовало пригласить из-за границы и с помпой представить падким до знаменитостей американцам, то молодого скульптора или художника, о котором в Америке не имели и понятия, то выдающегося актера, то поэта или писателя. Я слушал бесконечные пересуды о новейших направлениях в скульптуре, в живописи, в литературе, — они с минуты на минуту должны были поразить мир. Духом пылкой, мечтательной юности веяло от этого кружка. Вся эта молодежь жадно тянулась к знанию

и была исполнена самых радужных надежд, и я частенько спрашивал себя, кому из них суждено осуществить свои мечты — да и суждено ли.

Однако в отношении Л. у меня не было ни малейшего сомнения. Правда, он начал усваивать все более легкомысленные привычки, стремился быть в самом центре беспутного веселья, царившего в кружке; временами он стал выпивать — главным образом, по-моему, под влиянием нашего сумасбродного заведующего отделом оформления, человека, который не знал чувства меры ни в делах практических, ни в вопросах искусства и во что бы то ни стало хотел превратить свою жизнь в непрерывную вакханалию. Я не раз слышал, как на предложение куда-нибудь отправиться и повеселиться всем вместе Л. категорически заявлял: «Нет, нет. Я не пойду. Мне надо домой». Ему хотелось поработать над рассказом или дописать статью. Нередко он прибавлял, что присоединится к ним позже, если к тому времени, как закончит работу, он застанет компанию в условленном месте. Развлечения, как видно, никогда не отражались на его работе.

Именно в ту пору я по-настоящему понял, чем питалось его дарование и какого размаха оно было. Он был буквально без ума от европейской и прежде всего французской школы и манеры письма. Он тщательно изучал творчество, характер и перипетии жизни (более всего, боюсь, последнее) таких писателей, как Мопассан, Флобер, Бодлер, Бальзак, Мюссе, Жорж Санд, Додэ, Дюма-сын, Золя, а из более поздних — Эрвэ, Бурже, Луис и их современники. Однако самым глубоким и сильным было его пристрастие к Мопассану; он восхищался им самим, его творчеством, его стилем, его широкими взглядами на жизнь, отсутствием у него моральных, религиозных или даже сентиментальных предрассудков. Я глубоко убежден, что в начале своей литературной карьеры он рабски подражал Мопассану во всем, хотя, естественно, не мог ни отрешиться от американской психологии, ни избавиться от влияния среды, в которой вырос. Один критик и издатель из Западных штатов, которому до встречи со мной Л. посылал свои рукописи и с которым связывал свои надежды, написал мне уже после его смерти письмо; говоря о периоде, предшествовавшем моему знакомству с Л., человек этот пишет: «Он был помешан на искусстве «конца века», которое вошло

тогда в такую моду и от которого (надеюсь, мне это зачтется на том свете) я всеми силами старался его отвратить». Полагаю, что так оно и было, и тем не менее Л. все еще находился под сильным влиянием этой литературы. Он обожал Обри Бердслея и новейших французских живописцев, Верлена, Бодлера, Ропса, группу «Желтая книга», даже Оскара Уайлда, хотя у него самого взгляды на жизнь были гораздо более материалистические, плебейские, даже радикальные.

К несчастью для Л., нашему хозяину и издателю вдруг взбрело на ум активно вмешаться в дела журнала. До сих пор он следил лишь за тем, чтобы наш «Бродвей» приносил барыши, теперь же, поскольку журнал стал привлекать всеобщее внимание, хозяин решил пожать плоды его литературного и художественного успеха, более того — прослыть его истинным вдохновителем и движущей силой — опасность, которой я отнюдь не предвидел, когда принимал на себя обязанности редактора. Между нами был уговор, что он не будет вмешиваться в сферу моей деятельности, но теперь он надумал создать нечто вроде редакционного совета, куда бы вошел он сам и те сотрудники, которых я же в последнее время и привлек.

Возражать было трудно, к тому же это не так уж сильно огорчало меня. Я еще раньше решил, что редактирование этого журнала — лишь этап в моей жизни. То же самое, по-моему, можно было сказать и о Л., хотя он все более входил во вкус нашей журнальной работы. Между тем я еще не видел возможности устроить свои дела по-иному и уйти из редакции; на какое-то время я застрял там, чувствуя себя почти что сторонним наблюдателем. И вот тут-то я, к своему великому огорчению, заметил, что Л. стал все больше поддавать под влияние человека, который, по-моему, мог ему только повредить. М. отнюдь не годился ему в наставники. Человек не лишенный блеска, но чрезвычайно поверхностный и корыстолюбивый, М. был убежден, что обладать такими вполне осязаемыми благами, как дома, земельные участки, акции разных предприятий, а также получить доступ в клубы и иные сферы, где вращаются люди богатые и преуспевающие, — значит достигнуть всего, к чему стоит стремиться на свете. М. почти ничего не смыслил ни в искусстве, ни в литературе, ни в том тончайшем и неуловимом, от чего зависит лицо журнала

и, особенно — писателя, и, однако, считал себя в этих делах знатоком. Более того, он старался обзавестись друзьями не только среди тех, кого я мог бы привлечь к работе в журнале, — при условии, конечно, что эти люди оказались бы чем-то полезны ему, — но и среди литераторов куда более преуспевающих, составивших себе имя более обыденными и пошлыми писаниями, тех, у кого уже были приверженцы и кто умел извлекать для себя и для журнала прибыль из своих сочинений, каковы бы они ни были. М. только и говорил, что о деньгах: деньги всемогущи, за деньги можно все купить и всего достигнуть, материальные блага — превыше всего. Он хотел воспевать в своем журнале золотого тельца и в то же время — как это ни парадоксально — хотел, чтобы здесь были представлены лучшие силы литературы и искусства.

Это, разумеется, было совершенно неосуществимо; однако он умел подходить к людям легко и непринужденно и на первых порах многим нравился; он был всегда весел и в некоторых отношениях почти неотразим, отнюдь не груб и не утомителен. И он очень рьяно принялся за дело, стараясь сблизиться с теми, кто окружал меня; он вел долгие и таинственные беседы о том, как лучше наладить журнал, без стеснения намекал на блестящие перспективы, которые ожидают всех и каждого — особенно того, с кем он в данную минуту разговаривал. Как ни странно, но М. — этот необычный для круга Л. и, я бы сказал, глубоко чуждый ему человек — чем-то чрезвычайно понравился юноше.

Я не хочу утверждать, что это влияние оказалось роковым. Оно могло бы принести Л. даже пользу, будь он постарше или поуравновешеннее. Но, мне кажется, дружба с М. позволила Л. слишком быстро достичь того, что должно даваться далеко не сразу. Ибо М. знал толк как раз в тех вещах, которых Л. следовало всячески остерегаться, — он любил во всем показной эффект, пошлые удовольствия, какими упивается ночной, праздный, богатый Нью-Йорк. В этом отношении я не встречал человека более обольстительного и ловкого, — никто не умел так хитро воспользоваться кем-нибудь ради своих тщеславных целей, а затем преспокойно отвернуться от него. М. обладал поистине талантом придавать всему безвкусному и никчемному видимость чего-то значительного и даже совершенного. На первых порах Л.

не раз, по его же выражению, «крыл хозяина на все корки» (конечно, только за глаза): он высмеивал торгашеский взгляд издателя на общество и на деньги, говорил, что у М. идеалы лавочника со Среднего Запада, но, как я отлично видел, уже тогда яд этих пошлых идеалов проник в его душу. Ведь нельзя забывать, что Л. был совсем новичок в Нью-Йорке, почти мальчик, до сих пор он всегда нуждался и, надо думать, слегка завидовал благополучию этого человека, его успеху, видному положению и даже тому мелкотравчатому величию, которое издатель старался придать себе.

И все же это могло бы еще оказаться не столь зловредным, будь возле Л. человек, способный предостеречь его от неверных шагов, удержать от измены самому себе, своему таланту, своему строгому вкусу, но вокруг него вились одни прихвостни и подхалимы.

Некоторое время спустя я ушел от М. и стал работать редактором в другом месте. Мне приходилось просматривать почти все выходящие журналы; и вот во многих из них, особенно в изданиях М., который тогда необычайно процветал, я все чаще с беспокойством встречал рассказы Л. Они были написаны с подлинным мастерством, говорили о строгом вкусе и зорком глазе, но при этом в них появилось то, чего я опасался с самого начала — признаки явного компромисса. Кто-то привил ему проклятый порок всей американской литературы — неизбежный счастливый конец. К моему искреннему огорчению, Л. начал писать рассказы примерно на такие темы: 1) как молодая женщина, отказавшись от мечты посвятить себя искусству, с успехом занялась рекламным делом; 2) как уже немолодая обольстительница, пустившись во все тяжкие, потерпела полное поражение в чисто американском духе; 3) рождественская картинка, столь сладкая и сияющая, что хуже не найти даже на самых сентиментальных страницах Диккенса; 4) как бродвейский репортер, решив разрекламировать большой отель описанием изощренного разврата, царящего в его стенах, случайно женил добропорядочного молодого человека, каким оказался управляющий отеля, на богатой наследнице. И так далее и так далее, если не до бесконечности, то по крайней мере в течение тех десяти лет, пока Л. жил и работал.

За это время мне приходилось слышать, а порой и наблюдать много такого, что меня в Л. никак не радо-

вало. М., верный своему обещанию,— а я убежден, что он в самом деле привязался к своему юному протеже (насколько он вообще способен был к кому-либо привязаться),— обеспечил молодому человеку приличное жалованье, тысячи три в год; его, юношу двадцати четырех — двадцати пяти лет, М. направил в Стокгольм для встречи с прославленным обманщиком — доктором Куком, утверждавшим, будто он открыл полюс; посылал его в Париж, где он написал ряд интересных статей, в Рим, на Средний и Дальний Запад, давал ему возможность изучать светскую и театральную жизнь Бродвея. Все это, конечно, очень хорошо, только М. неизменно требовал во всем, что писалось для его журнала, заключительного «мазка» — счастливой концовки, или уж хотя бы возвышенной и трогательной. Я же считал, что Л., при его одаренности, должен целиком посвятить себя беллетристике, как искусству, и писать, невзирая на различные теории и типы концовок,— я твердо верил, что в конечном счете из него, бесспорно, получится настоящий мастер. Разумеется, я не возражал бы против того или иного опыта, даже если это на время и уводило его в сторону от реалистической манеры письма — лишь бы он всегда помнил о том идеале, к достижению которого должен был стремиться. Ему следовало писать всегда в том ясном, остром стиле, каким были написаны его ранние рассказы, следовало сохранять тот дух страстного обличения, который был присущ ему на первых порах, когда условности морали нисколько не связывали его и не принимались им в расчет.

Но, встретясь с М., работая на него и, видимо, на какой-то срок подпав под влияние его личности, Л., моему, стал постепенно забывать о своем идеале: М., словно паук, ловко опутал его сетями своих заманчивых рассуждений. Я уверен, что М. вредно действовал на юношу. Под его опекой Л. мало-помалу стал, например, завсегдатаем одного широко известного ресторанчика, где собирались люди, считавшие себя богемой. Это заведение, проникнутое духом дурной сентиментальщины и подражания английской старине, должно было представлять собою подобие старинной английской гостиницы, причем владельцам явно хотелось, чтобы посетители принимали копию за подлинник,— внутри все было отделано мореным или черным дубом, стены украшены трубками с длинными чубуками и картинами с изобра-

жением сцен английской охоты и веселого кутежа, на темных, грубо сколоченных столах валялись газеты и журналы, посвященные конному спорту и всяким иным развлечениям светских людей на лоне природы. Все это должно было создать в заведении атмосферу близости к большому свету, в который посетители не были вхожи, хотя и жаждали прослыть светскими людьми. Здесь-то и бывал Л. в кругу новоявленных добрых приятелей, так не похожих на его прежних друзей,— тут был самолюбленный поэт, светский тон и претензии которого далеко превосходили его талант; маклер с Уолл-стрита, корчивший из себя клубмена, остряка и неперменного посетителя театральных премьер; несколько молодых и честолюбивых драматургов, мечтающих об успехе на Бродвее,— и в этой компании Л. стал разыгрывать из себя некую достопримечательность города, истинное его дитя, любимца и баловня самых блистательных нью-йоркских кругов — одним словом, вел себя как достойный ученик М. Одевался он теперь — я изредка встречал его — с гораздо большим шиком, но отнюдь не с большей солидностью, чем в те дни, когда я впервые познакомился с ним. Маленькую круглую шляпу или заливчатскую кепку, которую он носил, приехав с Запада, он заменил каким-то необыкновенным котелком с четырехугольной тульей; к такому головному убору, мне кажется, питают пристрастие владельцы похоронных бюро, банкиры пуританского склада и некоторые лица духовного звания, только у Л. котелок был светло-коричневый. Он носил красновато-коричневый либо серый в елочку костюм из английской шерсти, модные тупоносые штиблеты с пуговицами. Он ходил с тяжелой тростью, нередко — с портфелем из светлой кожи и, видимо, был поглощен собой, своими делами и своими сочинениями. «Каждый человек,— наткнулся как-то я на одно из его изречений,— должен относиться ко всем удовольствиям и трудам, какие ему выпадают в этом мире, с величайшей серьезностью». Он держался барином, покровительственно разговаривал с метрдотелем и официантами, называл повара приятелем (тот, вероятно, о нем и не слыхал никогда) и передавал ему наставления — как именно надо зажарить отбивную или бифштекс. Ежедневно в пять часов он встречался со своими новыми друзьями или хотя бы с одним из них (поэтом) и священнодействовал за шахматной доской, затем про-

сма́тривал вечернюю газету и заказывал обед. В традиционных оловянных кружках появлялся добрый эль — отнюдь не пиво — единственный напиток, достойный настоящих литераторов.

Я пишу все это с сожалением; конечно, молодежь имеет право покуролесить. Однако я не ждал этого от Л. и не без разочарования смотрел, как его юношеское презрение к житейскому благополучию и богатству сменилось пристрастием к бессмысленной показной роскоши. А ведь два-три десятка таких его рассказов, как «Верный человек», «Светлые грезы», «Человек со сломанными пальцами», «Вторая причина», были бесконечно выше множества напечатанных им вещей, принесших ему деньги и возможность вести подобный образ жизни.

Добавлю, что в первые месяцы своего процветания и дружбы с М. молодой писатель женился; его жена прежде служила продавщицей в магазине; скромная, рассудительная, она умела вести хозяйство и рожать детей, что и делала с успехом, но она не понимала и даже не подозревала, каково истинное призвание ее мужа. Она ничего не смыслила в литературе и искусстве и, если не считать ее достоинств как хозяйки, не умела, да и не любила «принимать» у себя. Естественно, что муж мало обращал на нее внимания. Его волновали, должно быть, великие творческие замыслы, а с ними — и мечта стать знаменитостью. Он приобрел в окрестностях Нью-Йорка ферму и нередко, словно простой батрак из западных прерий, косил и сгребал в копны сено, разыгрывая перед жившими по соседству с ним известными литераторами заправского фермера. Иногда, под влиянием минуты, как подобает великому писателю, он удалялся в комнатку, заставленную толстыми томами в роскошных кожаных переплетах; здесь его навещали те чудакватые поклонники литературы, которые видят в гениях такого типа олицетворение всего высшего в жизни. В те времена считалось, что писатель должен иметь землю и своими руками возделывать ее. Так поступал Гораций. Говорят, к Л. заглядывал некий джентльмен, обладавший настоящим литературным и критическим дарованием и большим вкусом во всем, что касается искусства, но не питавший ни малейшего интереса и склонности к физическим упражнениям, — сей джентльмен, в шелковой сорочке и с моноклем в глазу, помогал

хозяину сгребать сено. Здесь бывал и один обаятельный умник и повеса, лишенный, впрочем, всякой творческой фантазии,— он пил, ел, развивал множество планов, подхватывал для себя несколько новых мыслей, занимал небольшую толику денег или выкуривал немного морфия — и удалялся. Третий гость без умолку говорил о своих нынешних или будущих драматургических успехах; четвертый приезжал написать картину на сюжет, подсказанный ему Л., пятый — сочинить стихи на сельскую тему, шестой оказывался или маклером, или «жучком», дающим ценные советы на скачках, или содержателем бара (для разнообразия был и такой) — и все они изумлялись, как это Л., да и вообще кто бы то ни было, может жить в деревне. Конечно, устраивали попойки и напивались до зеленого змия, так, чтобы, согласно традициям Джонсона, Рабле и Мольера, усталый разум и все великие дарования погружались в блаженную Лету алкоголя.

А ведь на все это требовались деньги. К тому же мой юный друг, желая, видимо, вкусить всей роскоши своего века (а это, по излюбленной теории М., было даже, если угодно, обязанностью), нес еще одно бремя — снимал, по крайней мере временами, квартиру в фешенебельном квартале Ист-Сайда, плата за которую составляла серьезнейшую статью его расходов. И до и после того у Л. существовали и другие непосильные денежные обязательства: он брал их на себя главным образом из желания блеснуть,— надо же было всем показать, что он добился успеха в литературе! Время от времени (как мне говорил кое-кто из его приятелей), неожиданно обнаружив, что карман пуст, Л. выезжал из великолепной квартиры, где жил до того несколько месяцев на широкую ногу, спасал, что мог, из мебели и обстановки или же, махнув рукой и на мебель и на многочисленные долги, укрывался в какой-нибудь невзрачной, темной комнатухе окнами во двор; там, мучимый угрызениями совести, вдохновляясь примером великих писателей — Бальзака, Бодлера, Джонсона, Гольдсмита, Верлена,— он, не отрываясь, сидел над рукописью, которая наверняка должна была принести деньги. Закончив работу, он относил рукопись в какой-нибудь процветающий журнал, не скупящийся на гонорары,— и перед ним вновь сияли огни богатых кварталов, и он снимал апартаменты еще изысканнее прежних. К этому времени

родился первый ребенок, один из двух, оставшихся после его смерти. Домашние заботы множились, супружеская жизнь приедалась. Но это не мешало Л. по-прежнему устраивать обеды для своих новых друзей — тех, о ком уже шла речь, или им подобных, — у себя дома или в нью-йоркских шикарных ресторанах, где обычно кутила богема. Словом, он завоевал довольно прочную репутацию новеллиста и критика, и в нем жило чувство, что он еще одержит победу и в других, более трудных жанрах художественной литературы.

Как раз в ту пору, если не ошибаюсь, я стоял однажды вечером в фойе одного бродвейского театра и поджидал приятеля, и вдруг передо мной появился некто иной, как Л. Одет он был самым диким образом — он довел до абсурда бывшее юношеское пренебрежение к своей внешности; ведь он так любил разыгрывать из себя неотесанного молодого американца, не обращающего ни малейшего внимания на свою одежду: пусть он похож на деревенского увальня, зато он талантлив, как Шелли! Теперь на нем был дрянной, плохо сшитый костюм из магазина готового платья, притом, должно быть, немало времени пролежавший на полке, неуклюжие грязные башмаки, рыжевато-коричневая клетчатая кепка с длинным козырьком. Короткое мешковатое пальто из дешевого бобрика, полы пальто широко распахнуты: Л. с вызывающим видом держал руки в карманах брюк. Было ясно, что он выпил или даже сильно пьян и способен на любую дерзкую выходку. У меня мелькнула мысль, что он и напился и оделся так нарочно или, возможно, бродил в поисках материала для своих рассказов и соответственно снарядился. Будем великодушны, остановимся на последнем предположении. С Л. были два каких-то субъекта, которые всячески пытались утихомирить его.

— Ну, брось. Не заводи скандала. Мы и так попадем на спектакль.

— Конечно, попадем! — с вызовом ответил Л. — Где директор?

Появился надменный манекен во фраке — директор собственной персоной — и отнюдь не дружелюбно оглядел Л.

— Это мистер Л., — объяснил один из спутников писателя, подойдя к директору. — Он связан с журналом М. Он там печатает иногда рассказы и пьесы.

Директор наклонил голову. Как-никак, журнал М. пользуется на Бродвее влиянием. Надо соблюдать вежливость. И Л. с обоими его спутниками любезно провели в зрительный зал.

А мне — мне стало обидно за Л., за весь его облик, за то, что с ним произошло. Меня это не касалось, он мог распоряжаться собой, как хотел, но все же было обидно. Не хотелось верить, что он так низко пал. Ведь у него от природы такой ясный ум! Все это — просто мальчишеское ухарство и позерство, а уже пора бы ему образумиться и остепениться. Я искренне надеялся, что со временем так оно и будет.

Эту мою уверенность укрепило одно обстоятельство: скоро журнал М. прогорел, и молодой человек остался без той, так сказать, финансовой поддержки, которая, по моему убеждению, нанесла ему столько вреда. Имелся и другой благоприятный признак, в издательство, где я тогда сотрудничал, Л. принес некоторые свои рассказы — всего шестнадцать, лучшее из того, что он создал к тому времени, — и хотя он не просил передать мне ни слова (надо думать, он старательно избегал встречи со мной), я просмотрел рукопись, и по моему совету эта небольшая книжка была напечатана; она разошлась, помнится, в количестве около пятисот экземпляров. Меня очень обрадовало, что в книжке не было ни одного рассказа, который бы свидетельствовал об отказе автора от его юношеских убеждений. Более того, я уверен, он не случайно принес свою рукопись в издательство, где я работал. Мне было приятно, что я принял участие в издании книжки. «По крайней мере, — говорил я себе, — он еще не забыл об идеалах своей юности. Теперь он, наверное, выберется на дорожку».

После этого то в одном, то в другом журнале, о хорошем вкусе которых свидетельствовали их маленькие тиражи, я встречал произведения Л., отмеченные печатью истинного таланта. Один критический журнал, выходивший на Западе, начал печатать серию его очерков, — за них, я убежден, Л. не получил ни цента. Три-четыре года спустя то же самое западное издательство выпустило вторую книгу его рассказов, и она почти не уступала первой. Он пытался работать серьезно, по-настоящему; и, однако, он все еще страстно тянулся к той роскоши, которая окружала его на ферме, в нью-

йоркских ресторанах или великолепных квартирах и которой он теперь не мог уже себе позволить. И он продолжал изготавливать рассказы со счастливым концом, продавал их, где только брали, и, как видно, сумел обеспечить им довольно устойчивый рынок сбыта. Тем временем появилось кино и возник спрос на сценарии — он стал писать и для кино. Он пробовал свои силы также в драматургии — это подтверждает вполне законченная рукопись и несколько набросков, попавшие мне в руки после его смерти. Один наш общий знакомый рассказывал мне, как однажды Л., разослав по редакциям немало прекрасных рассказов и получив их обратно, плакал и бесился, проклиная Америку за пренебрежение к серьезной литературе. Превосходный признак, подумал я, отличное лекарство для того, кто в конце концов должен отказаться от мечты о роскоши и богатстве и обрести себя. «Придет время, — сказал я, выслушав это, — он продерется через этот чертополох, освободится из-под влияния М. и напишет что-нибудь поистине великолепное. Иначе быть не может. Надо только переболеть этими фантастическими мечтами о богатстве, славе и успехе и забыть о них».

В течение некоторого времени я почти не слышал о Л., знал лишь, что он поставляет для одного киноконцерта сюжеты для фильмов и это дает ему кое-какие средства. Затем я увидел новую серию его критических очерков в том западном журнале, о котором я уже говорил, — в том же издательстве вышла перед тем книга рассказов Л. Иные из этих очерков были превосходны — смелы и искренни. Я понимал, что писатель идет по верной дороге, хотя это не приносит ему ни денег, ни славы. В один прекрасный день, к моему величайшему изумлению, появился восторженный и пространный очерк обо мне; я решил никак не откликаться на это; и вот, недели три спустя, раздался телефонный звонок. Помню ли я его? (!) Можно ли зайти поговорить со мной? (!) Я пригласил его к обеду, и он явился, держа в руках — кто бы мог ожидать этого от него, еще недавно простого парня — целую охапку красных роз. Это растрогало меня.

— Ну, что за блажь! — воскликнул я смеясь.

Он зарделся, как девушка, но смотрел на меня немножко сердито; вероятно, он надеялся, что я встречу его не столь критическим взглядом, а быть может, ему

казалось, что я смеюсь над ним, чего у меня и в мыслях не было.

— Захотелось принести вам цветы, вот я и принес. Разве нельзя?

— Конечно, можно, раз вам так хотелось, и я принимаю их с благодарностью. Не подумайте, что я вас осуждаю.

Он улыбнулся и заговорил с грустью о «былых временах», как он выразился, о том, что жизнь уходит. Только об этом он и мог говорить с такой охотой и жаром. Он вспоминал множество подробностей, множество людей: и М., и К., и нашего чудака — заведующего художественным оформлением (он теперь выжил из ума и совсем опустился), и весь наш тогдашний кружок. Вспомнил он и о своих прежних, юношески-наивных взглядах.

— Вы знаете,— откровенно признался Л. под конец,— моя мать мне говорила и тогда и позднее, что я сделал большую ошибку, расставшись с вами. Вы оказывали на меня благотворное влияние. Мать была права. Теперь я это понимаю. Но жизнь есть жизнь, всегда приходится чем-то жертвовать...

Я от всей души согласился с ним.

Он рассказал мне о своей жене, детях, о ферме, о своем здоровье и своих затруднениях. Оказалось, что временами он еле зарабатывает на хлеб, а иногда дела идут совсем не плохо. Величайшее проклятие для него — ходкие журналы, им так трудно продать хорошую вещь. Я не мог не согласиться с этим. Ушел он от меня в полночь, обещал зайти еще, приглашал к себе за город, на ферму, когда только мне вздумается. Я дал слово побывать у него.

Но то одно, то другое обстоятельство мешало мне выполнить мое обещание. Скоро я уехал на Юг. Полгода спустя, когда я вернулся в Нью-Йорк, Л. позвонил мне и сказал, что хочет меня видеть. Разумеется, я пригласил его, он явился и стал жаловаться на свое здоровье. Один врач, его бывший товарищ по колледжу, сказал ему, что он болен Брайтовой болезнью и что смерть может настигнуть его в любую минуту. И теперь он спрашивал, можно ли рассчитывать на меня, если с ним что-нибудь случится: не возьмусь ли я проследить за судьбой его рукописей, большинство которых, во вся-

ком случае самые серьезные, не увидели света. Я согласился. Он ушел, и больше я его не видел.

Минул год, и вот однажды мне сообщили, что три дня назад Л. умер от болезни почек. Он ездил на Запад к одному кинорежиссеру, на обратном пути ему стало плохо, и он остановился у каких-то знакомых, чтобы подлечиться или лечь на операцию. Недели через три он вернулся в Нью-Йорк; не веря, что может умереть так рано, он не захотел отлежаться и отдохнуть, ходил, занятый делами, по городу — и вдруг смерть настигла его. Рассказывали также, что он встретил своего приятеля-врача — человека столь же необузданного, как и он сам, — который, видно, желая показать, как он силен духом, прямолинеен и чужд всякой сентиментальности (именно такой склад ума и привлекал Л.), велел ему немедленно идти домой и лечь в постель, ибо ему осталось жить не больше сорока восьми часов! Может быть, именно это категорическое заявление и добило Л. Несмотря на все старания его жены, которая не только ради него самого, но и ради себя и детей, наперекор предсказанию врача, всеми силами пыталась помочь ему и рассеять его безнадежное настроение, Л. слег и умер. В последний день, понимая, очевидно (он не мог этого не понять!), как бесплодно прошла его жизнь, как страсти, нужда, грубое вмешательство случая заглушили и свели на нет его самые заветные стремления и мечты, он впал в отчаяние и долго плакал навзрыд. Потом он умер.

Один приятель, часто видевшийся с Л. в этот последний период его жизни, сказал мне довольно ядовито:

— Он встретил смерть в образе медика. Вы его когда-нибудь видали? — Он говорил о докторе. — Настоящая реклама гробовщика. По-моему, он просто хотел проверить, может ли он убить человека силой внушения, — и тут-то ему попался Л. Вы знаете, как впечатлителен был бедняга. Ну, и этот медик убил его, как убивают выстрелом птицу. Он сказал: «Вы умерли» — и Л. умер.

Теперь о М., бывшем патроне писателя. Ко времени болезни и смерти Л. издатель оставался должен ему тысячу сто долларов за все, что Л. писал для него в последние месяцы существования злосчастного журнала. Но издатель не имел привычки платить долги, — очеред-

ное банкротство было для него лазейкой, куда он на время укрылся, а потом вынырнул другим ходом, сияя улыбкой и располагая достаточными средствами, чтобы начать все сначала. Сейчас он снова был богачом, богачом первого разряда, председателем крупного акционерного общества, но так и не заплатил причитавшихся Л. тысячи ста долларов — этих денег теперь уже нельзя было взыскать с него и по суду. К тому времени у издателя на текущем счету, как установил один мой знакомый, лежало сто тысяч долларов.

Миссис Л., пытаясь найти выход из затруднений, с которыми она столкнулась, едва скончался ее муж, и не зная, к кому обратиться за помощью, написала издателью. В доме нет хлеба, нет денег на лекарства, нечем накормить детей. Нельзя ли получить что-нибудь из тех тысячи ста долларов? Л. надеялся...

Ответ не заставил себя ждать, — М. никогда не писал ничего более трогательного. Он ошеломлен ужасной вестью, поистине ошеломлен. Как, неужели? Его юный блестящий друг? Невероятно! Черная, мрачная весть вызвала у него слезы, да, слезы — он плакал, плакал, плакал без конца. Жизнь так горька, так печальна. Что касается его лично, то его дела никогда не находились в столь дурном состоянии. Это просто несчастье. Он кругом в долгах. Долги, как кошмар, преследуют его, не дают спать по ночам. У него нет выхода. Кредиторы окружают его плотным кольцом. Малейший толчок с их стороны — и он будет смят, уничтожен, раздавлен. И потому... как бы ни разрывалось его сердце и каким бы потоком ни лились у него слезы — даже в эту минуту, — он не может ничего сделать, ничего, ничего. Он потрясен, он убит, но тем не менее... Затем, после подписи, следовал постскрипtum или нотабене. Пересмотрев все свои возможности, писал М., он обнаружил, что, отказав себе кое в чем, он может наскрести двадцать пять долларов, которые и прилагаются. Если бы, о господи, он был побогаче в этот грустный час!

"

Не буду останавливаться на подробностях, но я немедленно послал за рукописями Л., и они прибыли — целый ворох бумаг в двух чемоданах и в портфеле; третий чемодан, в котором, как мне сообщили, хранилась сотня рукописей, главным образом рассказов, где-то затерялся! Покойный оставил немало неулаженных дел, при-

шлось не раз обращаться в суд. Миесис Л. была вынуждена... Впрочем, не буду писать об этом. Скажу одно: смерть Л. и все, что за нею последовало, могло бы описать, пожалуй, лишь его собственное перо — перо реалиста и сатирика.

Разобранные, приведенные в порядок и, наконец, прочитанные рукописи составили два небольших тома превосходных рассказов, и ни один из них при жизни автора не был напечатан; то же, что было опубликовано, не представляло, как правило, никакой ценности. Я обнаружил также набросок упомянутой выше популярной комедии — вещь пустую и ничтожную, — томик очерков и совсем тоненькую тетрадку очаровательных стихов; найдись для этих стихов издатель, они составили бы чудесный сборник, свидетельствующий об исключительной отзывчивости поэта, о редкостном чувстве формы и красок. Я привел их, как мог, в порядок и, наконец...

Впрочем, они до сих пор не напечатаны.

Р. S. Если говорить о литературном наследстве Л. в целом, о его лучших вещах, то можно сказать, что хотя он и не принадлежал к числу великих психологов, но его могут необдуманно счесть одним из них на основании некоторых его претенциозных высказываний. Он не успел создать ни собственной четко сформулированной теории, ни определенного стиля: сегодня подражал Мопассану, завтра О'Генри, послезавтра Эдгару По; однако медленно, но верно он вырабатывал своеобразную, яркую и предельно ясную манеру, стремясь к наибольшей выразительности и естественности. Временами он сверх меры увлекался изысканной формой или, напротив, — холодной и даже грубой простотой. Но, как правило, все, что он писал, отличалось сочностью красок, полнотой, глубиной и силой чувства и — когда нужно — большой остротой. Как и его кумир Мопассан, он не знал моральных или социальных предрассудков, не обладал богатым и беспокойным воображением, на него не давил груз противоречивых идей. Он смотрел на Америку и на мир, как на объект для своей живописи, — так смотрят на жизнь и рисуют ее все мастера. Одаренный жилкой истинного сатирика, он до конца своих дней так и не развил по-настоящему эту сторону своего таланта. Он не мог отрешиться от некоторых предрассудков, — в том или ином виде они существовали у него и наруша-

ли цельность создаваемой им картины. К тому же, в Америке, да и в других странах, слишком многое стоит на пути честолюбивого и настойчивого писателя: не будь этого гонения на естественность и искренность в изображении внутреннего мира людей и их жизни, не будь из-за этого так трудно одаренному человеку изыскивать себе средства к существованию — Л. достиг бы гораздо большего. Если б он не умер так рано, в конце концов он непременно нашел бы себя. Его на редкость острая и тонкая наблюдательность, вкус, его творческая энергия и творческая гордость были залогом этого. Иначе не могло быть. Еще десятилетие — и, судя по тому, как быстро он шел вперед, сколько делал за год, сколько оставил после себя, он, конечно, занял бы прочное, а может быть, и выдающееся место в пантеоне американской литературы. Не исключено, что когда-нибудь это всеми будет признано, ибо у него бесспорно были задатки гения.

«СУЕТА СУЕТ», СКАЗАЛ ЭККЛЕЗИАСТ

Иной раз жизнь одного человека может послужить яркой и выразительной иллюстрацией к целой эпохе. Вот почему эта история кажется мне такой значительной.

Я встретил Х. впервые в то время, когда финансовая мощь Америки и американские способы наживать деньги достигли предельной дерзости и великолепия и когда мир более или менее терпимо относился к американским непомерным претензиям и достижениям. Это были золотые дни мистера Моргана-старшего, Бельмонта, Гарримана, Сейджа, Гейтса, Брэди и многих, многих других, здравствующих и поныне, правящих твердой и решительной рукой, как это показала финансовая паника 1907 года. Им противостояли и в то же время подражали их методам, известным теперь каждому, кто читал «Бешеные доходы», «Беззаконное богатство» и другие разоблачения того, как нажиты крупнейшие состояния Америки, финансовые тузы помоложе — такие, как Чарлз У. Морзе (жертва паники 1907 года), Ф. Огастус Хайнце (еще одна, правда, менее заметная жертва этой же паники), Э. Р. Томас, честолюбивый молодой миллионер, словно рожденный для денег,

Дэвид А. Салливэн и Х. Я не хочу называть его имя, так как он еще жив, хотя и не заметен более и, возможно, стремится избежать яркого света гласности после того, как исчезли все почести и удовольствия, которые когда-то делали ее терпимой.

Задолго до моей встречи с Х. я уже заинтересовался им благодаря некоему Люсьену де Шэю, неудачливому пианисту, занимавшемуся постановкой голоса и притом знатоку по части ковров, драпировок, картин и мебели,—всеми этими вещами в то время очень увлекался Х. Он строил тогда великолепный дом на Лонг-Айленде и только начинал приобщаться к миру искусства, модных идей, утонченной культуры и показной роскоши — этих различных областей, в которых американские архимиллионеры всегда хотят цвести или процветать, что, кстати говоря, не всегда им удается. Де Шэй был одной из тех странных натур, столь часто встречающихся в Нью-Йорке,—наполовину художник и наполовину светский человек,—которые так охотно привязываются к сильным и богатым людям, нередко играя при них роль советчиков по всем вопросам вкуса, этикета и продвижения в свете. Для меня так и осталось неясным, получал ли этот человек вознаграждение деньгами или в какой-либо другой форме. Он был также наполовину и моим наперсником и снабжал меня полученными частным образом сведениями и всевозможными материалами для различных изданий, которыми я тогда занимался. Как выяснилось впоследствии, Х. не был еще тогда архимиллионером в полном смысле этого слова; он был только что оперившимся птенцом, хотя и имевшим большие возможности; его намерения и стремления быстро приближали его к триумфу, достигнуть которого для него, как и почти для всех новоиспеченных американских архимиллионеров, значило погрузиться в богемные или экзотические развлечения, притом прежде всего чувственные; удовольствия культурного и эстетического порядка оставались на втором плане.

Пусть так. Все же он был типичный архимиллионер того времени, фигура яркая и даже кричащая. Степенные, солидные, занимающие прочное положение в обществе богачи владеют большими домами и окружены спокойным комфортом и роскошью,—зато богачи такого склада, как Х., близкие богеме, блестящи, безрассудны и обладают живым воображением; поэтому их расточи-

тельные похождения поражают ослепительным великолепием, и тут никто с ними не сравнится.

Однажды мой приятель Люсьен де Шэй сказал мне: — Послушайте, я хочу, чтобы вы познакомились с Х. Он понравится вам. Он превосходен. Вы даже не представляете себе, какая это обаятельная личность. Он похож на русского великого князя. У него манеры и вкусы Медичи или Борджиа. Он строит великолепный дом на Лонг-Айленде, это обойдется ему в пятьсот или шестьсот тысяч долларов. Уже сейчас на это стоит посмотреть. А его студия в городе — это мечта. Она битком набита восхитительнейшими вещами. Я сам помогал их покупать. И он не глуп. Когда ему было двадцать лет, он написал роман «Икар», — это в общем не плохая книга, и он говорит, что это отчасти про него самого. Он читал вашу «Сестру Керри» и очень симпатизирует Герствуду. Он говорит, что кое-что в вашей книге напоминает ему его собственные испытания. Вот почему ему хочется встретиться с вами. Когда-то он тоже работал в газетах. Бог знает как он делает свои деньги, но я знаю, как он их тратит. Он решил жить и живет с блеском. Это замечательно!

Я заинтересовался, хотя ранее никогда даже не слышал об этом человеке. В Америке тогда было очень много богатых людей. Потом тот же де Шэй рассказал мне о нем подробнее. Было время, когда он дошел до того, что был вынужден чистить обувь, чтобы заработать себе на пропитание. Было время, когда зимой он бродил по улицам Нью-Йорка в потрескавшихся и дырявых башмаках, без пальто, в одном летнем костюме. Он приехал сюда эмигрантом из России без гроша в кармане. Теперь он контролирует четыре банка, кредитное товарищество, страховое общество, общество страхования от огня, а также в больших масштабах спекулирует недвижимостью и так далее. Естественно, я очень заинтересовался. Разве можем мы остаться равнодушными к рассказам о том, как человек из ничтожества превращается в заметную фигуру?

Как-то в среду, в четыре часа дня, меня вызвал по телефону де Шэй и предложил приехать в студию Х.

— Если можете, приезжайте немедленно, — сказал он. — У Х. полно народу, общество исключительно интересное, — и он назвал целый ряд знаменитостей. Уже приехали две или три оперные звезды, и среди них

итальянская певица, красавица необычайная, королева прирожденных авантюристок, — из-за ее очаровательной внешности и голоса перессорился весь город. Она была так необыкновенно хороша, что воскресные газеты отводили целые страницы ее портретам. Кроме того, должны были присутствовать несколько опереточных и театральных примадонн, один известный бас, собиравшийся петь, писатели, художники и поэты.

Я пошел. Обстановка и публика очаровали меня. Все было веселым, красочным, волнующим. Хозяин и гости — люди в самом деле для меня интересные. Нельзя сказать, чтобы студия была так уж изумительна, а ее обстановка и убранство так уж поражали великолепием — хотя и в этом отношении она производила достаточно сильное впечатление, — но это был очень изящный и интересный образчик комфорта, скрытого под внешней элегантностью. У этого человека было все или почти все: друзья, советчики, слуги, поклонники.

Я сразу увидел, что здесь, в бархате и шелках, развлеклась дикая и в то же время изнеженная натура. Железная рука власти, если только это можно было назвать властью, изящнейшим образом маскировалась царившей здесь более или менее мягкой атмосферой удовольствий и дружеских отношений.

Хозяина дома вначале не было видно, но я встретил несколько десятков людей, имена которых были мне хорошо знакомы, и услышал гул голосов и болтовню самого изощренного столично-богемного характера. Волшебница-итальянка была уже здесь, и подвески ее великолепных серег мелодично позвякивали в такт каждому ее движению. Де Шэй сразу же шепнул мне на ухо, что она — последняя страсть Х., которая стоит ему очень дорого.

— Боже мой! Вы бы только посмотрели, какие вещи он ей покупает! — воскликнул он вполголоса.

Актрисы и светские женщины скользили мимо меня в обворожительных, как мечта, туалетах. Снаружи от подъезда доносился неумолкающий гул автомобилей. Как зачарованный, слушал я похвалы, которые расточали поэты и писатели вкусу хозяина и его щедрости. С первого же взгляда мне стало ясно, что он умудрился окружить себя именно такими людьми, которые составляют самое подходящее окружение для того, кто желает жить праздно, беззаботно и весело, пользуясь

всеми радостями умственной и светской жизни. Я не видел в Америке более модной гостиной, чем эта.

Мой друг де Шэй, верный друг и наперсник хозяина, имел возможность открыть передо мной внутренние чудеса дома и, улучив минуту, когда поблизости оказалось не так много народу, а остальные развлекались болтовней в разных комнатах — музыкальном салоне, столовой, танцевальном зале, библиотеке и т. д., — показал мне кухню, буфетную, винный погреб, а также различные потайные двери и ходы; хозяину дома стоило тронуть цветок на обоях или пружину, спрятанную за картиной, и перед ним распахивались и закрывались двери в комнату или коридор, ничем не соединяющийся с остальными помещениями, кроме другой потайной двери, и всегда ведущий к отдельному выходу. Это сразу меня удивило: странный человек, зачем ему все это, почему ему нравятся такие вещи? Например, потайная спальня или комната отдыха! В одном из этих секретных помещений стоял строгий, но красивый письменный стол, стальной сейф, два стула — и больше ничего: совершенно пустая комната. Меня поразило это тихое коммерческое «святая святых», расположенное в самом центре шумного веселья; казалось, сюда не проникал ни малейший отзвук окружающей его веселой суеты. И опять я почувствовал, что это — экзотическая, изнеженная и чисто языческая натура, человек, который мало знает об условностях света и еще меньше старается их соблюдать.

Когда я уже собирался уезжать, меня представили хозяину дома в его картинной галерее, увешанной произведениями голландских и испанских мастеров. Он был такой, каким его описывали: живописен и красив, хотя и несколько грузноват; среднего роста, хорошо сложен; флегматичный, как будто вялый, и в то же время достаточно энергичный. У него был свежий цвет лица, большая красивая голова, вьющиеся черные волосы, пронизательные черные глаза, тяжелые нависающие брови, полные красные губы и резко очерченный подбородок, украшенный небольшой эспаньолкой. На любом костюмированном балу он был бы отличным Бахусом или Паном. Он держался свободно, непринужденно и изящно, как человек, который многое испытал в жизни и добился, по крайней мере частично, осуществления своих желаний. Он улыбнулся мне, спросил, со всеми

ли гостями я уже знаком, выразил надежду, что закуска не ускользнула от моего внимания и что пение доставило мне удовольствие. Может быть, я навещу его как-нибудь вечером, когда не будет такого многолюдного сблища, или, еще лучше, пообедаю с ним и с нашим другом де Шэем (де Шэй явно был его вторым «я»). Он очень сожалеет, что не может уделить мне сейчас больше внимания.

Но вот что очень любопытно: с первой же встречи этот человек произвел на меня сильное впечатление — не из-за его богатства, я знавал и более богатых людей, — но было в нем что-то такое, что говорило о мечтах, о романтике, какое-то особое чутье и любовь к блеску, великолепию — черта, которая не так-то часто встречается среди действительно богатых людей. Должно быть, эти его рваные башмаки, о которых мне рассказывал де Шэй, не выходили тогда у меня из головы. Он жил среди восхитительных вещей, но, видимо, не был ни скупым, ни бережливым. Ему были свойственны легкость, щедрость, даже расточительность, и это шло не от хвастовства, а как будто говорило: «Что значат мелкие расходы на жизнь и наслаждения по сравнению с доходами, которые можно извлечь из окружающего мира?» Этот человек наводил на мысль о необычайных, фантастических авантюрах, с которыми в наше время связано так много крупных финансистов, этих тигров Уолл-стрита.

Спустя некоторое время я снова получил от него приглашение, на этот раз на гораздо более богатый прием, прошедший в атмосфере еще более утонченных наслаждений, хотя, когда я отправился к нему, я и не подозревал, на что это будет похоже. Это началось в полночь — и поныне в моей памяти жив неизгладимый сверкающий след, оставленный этой ночью: ничего более варварски-великолепного и экзотического я в жизни не видал. Не то чтобы убранство, драпировки, вся обстановка были уж очень необычайны и изумительны, но в самой атмосфере происходившего было столько непринужденности, кипучего веселья, языческой жажды наслаждений. Там было много дерзких и неугомонных людей. Это событие воспевалось и обсуждалось шепотом много месяцев спустя. Какое там было веселье! Какая свобода! Полнейшее опьянение, физическое и духовное! Я никогда и нигде не видел таких рискованных

туалетов, такого множества блестящих красавиц — таких чудесных образцов экзотической женственности, чувственной и сладострастной. Помню, там был среди прочих вещей никелированный столик на колесах, сплошь уставленный бутылками с шампанским во льду; стоило только поднять руку или моргнуть глазом, как для тебя откупоривали бутылку — одну, другую... И столик все время был полон. Вдоль одной из стен столовой были выставлены всяческие деликатесы и последние новинки в области гастрономии. В музыкальном салоне играл струнный квартет для танцующих. В различных комнатах было устроено множество уютных уголков с диванами, скрытыми за жардиньерками с цветами. Танцы и пение были прекрасны и нередко поражали нескромностью, как и разговоры. Пир начался только после полуночи, и под утро гости — опьяневшие, возбужденные — начали, уже не стесняясь, высказывать свои намерения, надежды и мечты, иногда самого тайного и интимного характера. Казалось, с человеческой натуры были сорваны дневные покровы сдержанности, скрытности и лицемерия. Около четырех часов утра появился главный номер программы — специально приглашенные танцовщицы, которые начали разбрасывать розовые лепестки или сувениры; на голове у каждой был венок, и единственным нарядом служили им гирлянды цветов, обвивающие их стройные тела. В конце концов общество присоединилось к этим танцовщицам, сначала отдельной группой, а затем все попеременно: длинная вереница танцующих — художники, писатели, поэты, в том числе и женщины, — проносились по всему дому из комнаты в комнату, подражая ведущим их вакханкам; все пели, кружились, танцевали, носились по комнатам. Сказалось, должно быть, и воздействие спиртных напитков и закусок — под конец многие свалились на диваны и по разным углам и не могли двинуться, пока друзья не помогли им добраться до такси. Но хозяин дома, помню, был все время среди гостей — спокойный, трезвый, улыбающийся, невозмутимый, любезный и снисходительный и неутомимо внимательный ко всем. Он появлялся и поддерживал порядок там, где без него это было бы невозможно.

Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы дать представление о длинном ряде таких оргий, происходивших в 19...—19... годах. За это время, благодаря тому,

что, как я уже говорил, Х. почему-то находил странное удовольствие в моем обществе, я был обязательным и непременным участником десятка таких более или менее ярких сборищ и развлечений. В моей памяти запечатлелись не только Х., но и сама жизнь тех лет; я понял, что нет границ и пределов ненасытному стремлению к роскоши, свойственному иным натурам; мечты о величии и счастье у таких людей столь дики и необузданны, что безнаказанно предаваться им мог бы только тиран послушной империи, пользуясь всем, что может дать поработенный и покорный народ. Помню как-то в пятницу мы — с десятков писателей и художников — собрались в нью-йоркской студии Х., чтобы побездельничать и выпить; казалось, в этот вечер у него не было других планов, как вдруг, с таким видом, словно это только сейчас пришло ему в голову, он предложил всем нам поехать в его загородный дом на Лонг-Айленде; дом был еще не совсем закончен (вернее, не совсем обставлен), однако там уже можно было устроить соответствующий прием, если только захватить с собой все необходимое.

Позднее, думая об этом, я решил, что, пожалуй, это не было столь внезапным решением, как показалось сначала, и что мы, сами того не сознавая, сослужили ему немалую службу. В доме надо было еще многое доделать, требовались советы и предложения понимающих людей, управляющий, декоратор и садовник-художник крайне нуждались в консультации, а Х. и шагу не делал без расчета, без какой-то выгоды для себя. Почему бы не превратить довольно скучную будничную работу в своего рода праздник? А потому...

Во всяком случае почти все мы сразу же согласились, так как это означало великолепный и очень приятный пикник. Немедленно были вызваны четыре автомобиля, три — из его собственного гаража и один — где-то нанятый специально для этого случая. Состоялся телефонный разговор по поводу съестных припасов с управляющим находящегося внизу известного ресторана, с которым наш хозяин поддерживал связь, и вскоре было доставлено несколько корзин с провизией, после чего к подъезду были поданы четыре машины. В сумерках серого, холодного и туманного дня все мы — поэты, драматурги, новеллисты и редакторы (он питал величайшее презрение к актерам) — быстро расселись по

машинам и сразу же тронулись в путь; нам надо было проехать сорок пять миль, и, выехав в половине шестого, в семь часов вечера мы уже были на месте.

Я часто думаю об этой поездке, о том, как во время ее проявились взгляды и характер Х. Он был так серьезен, спокоен, все время начеку и притом непринужденно любезен и очень мил, даже весел. В нем самом и в окружающей его атмосфере было нечто изумительно теплое и романтическое — и в то же время что-то такое холодное и расчетливое, словно в глубине души он говорил себе: «Хозяин всего этого я и устраиваю этот спектакль для собственного удовольствия». Я чувствовал, что все мы для него не друзья или приятели, а скорее какие-то редкие птицы, образчики разных пород, созданные для того, чтобы помогать ему разбираться в вопросах искусства и хорошего тона, — только поэтому он нами и интересовался. И, конечно, он полагал, что наше общество придает определенный колорит его собственному существованию, бросает на него какой-то отблеск, а этого ему очень хотелось. Кроме того, мы что-то умели делать, что-то создавали. И, однако, в собственных глазах, хозяином и властелином оставался он. Стоило ему пожелать — и он мог либо приблизить нас к себе, либо вычеркнуть нас из своей жизни, — так он думал. Мы были для него только игрушками, нарядным оперением, своего рода скоморохами. Ему приятно было окружать себя такими людьми, иметь нас при себе. Укутанный в великолепную меховую шубу, в меховой шапке, он удивительно походил на русского великого князя.

И, однако, он мне нравился. Что за восхитительный вечер и праздник он устроил для нас в тот памятный день! Оставляя за собой перепуганных лошадей и пешеходов, проносясь в сумерках по улицам так, словно это был гоночный трек, пугая своим ревом и бешеной скоростью, которая грозила катастрофой, автомобили примчали нас к месту в семь часов, и к восьми часам мы уже сидели за столом; тотчас был сервирован прекрасный обед из нескольких блюд. Дом еще не отапливался, но откуда-то принесли громадные поленья, и теперь они пылали ярким пламенем в больших каминах. При доме сооружалась собственная электростанция; электрического освещения пока еще не было, но всюду сияли свечи и лампы; расставленные в больших

комнатах живописными группами, они бросали на все мягкий свет. В одной из комнат отсутствовала дверь, но ее заменяла великолепная портьера. Бесчисленные ковры, драпировки и картины частью еще не были развешаны. Многие наиболее интересные, привезенные из-за границы скульптуры и предметы обстановки оставались нераспакованными и лежали в ящиках, на которых сохранились штемпели таможен и названия иностранных городов. В больших комнатах — гостиной, столовой, музыкальном салоне и библиотеке — были разбросаны ковры, расставлены диваны, стулья, музыкальные инструменты, в том числе рояль, — создавалось впечатление законченности и роскоши. Стены и потолки уже были отделаны — и, надо сознаться, в самом кричащем стиле. С больших балконов и веранды, как выяснилось наутро, открывался великолепный вид на море. Песчаные дюны! Далекий простор моря! Корабли! Наверху было девять помещений для гостей, каждое состояло из одной или двух комнат и ванной. Подвальный этаж представлял собой сложный мир кухни, кладовой, машинного отделения, котельной, винных погребов и прочего. Вокруг дома расстилались бурые пески, кое-где возвышались пригорки и даже пологие холмы, поросшие травой, которая скрепляла этот сыпучий песок.

Вечер был ветреный, пасмурный и холодный, поэтому все общество оставалось в комнатах; я один вышел пройтись и то ненадолго — лишь успел обнаружить, что дом окружен широкими удобными верандами, годными для больших приемов и увеселений; сразу же за верандами начинались песчаные холмики. В доме было тепло и ослепительно светло. В винном погребе, кажется, можно было найти все, что душе угодно. Очутившись в своем новом жилище, наш хозяин пришел в самое веселое расположение духа. Он живо интересовался ходом работ, хотя нельзя сказать, чтобы уж очень увлекался этим. Казалось, он много видел и испытал, а теперь рассуждал просто: раз уж надо жить, постараемся взять от жизни все, что можно. За общим оживленным разговором вечер прошел довольно быстро. Некоторые из присутствовавших пели и играли. Один поэт декламировал очаровательные стихи. Специально для нас были вынуты из ящиков и расставлены в комнатах некоторые предметы обстановки, а также скульптура, в частности — бронзовый фавн около трех футов вышиной.

И все время у меня было такое чувство, что передо мною человек, который связан с жизнью множеством нитей и отношений — и финансовых и многих других. Создавалось впечатление, что он думает сразу о самых разнообразных предметах. В Париже, сказал он, живут два сирийца, обладающие крупной коллекцией редких ковров. Один его агент пытается заполучить лучшие из этих ковров для его нового дома. Де Шэй недавно познакомил его с одним итальянским графом, — у графа в Италии большой дом, содержать который ему не по средствам. Он — Х. — собирается приобрести часть его обстановки, после соответствующей проверки, конечно. Знаком ли я с картинами Монтичелли и Манчини? Он как раз достал превосходные работы этих мастеров. Как-нибудь, когда дом будет закончен, я должен снова побывать здесь. Картины будут развешаны, мебель и скульптуры расставлены по местам. Он пригласит тогда избранную компанию на субботний вечер и воскресенье.

Разговор незаметно перешел на музыку и театр. Мне сразу стало ясно, что благодаря его вкусам, богатству и возможности женщины занимают немалое место в его жизни, но при этом они для него только забава и имеют не больше отношения к его внутреннему миру, чем обитательницы гарема к внутреннему миру азиатского султана. Как я узнал от де Шэя, огромные деньги Х. тратил на итальянку с серьгами; и, однако, она была неуловима и ее нелегко было прибрать к рукам. Сцена и Бродвей были полны красавиц, занимающих самое разное положение в обществе, со многими из них он был знаком или без труда мог свести знакомство. Знаю ли я ту или эту, или такую-то и такую-то?

— Вот что, — сказал Х. спустя некоторое время после того, как наши стаканы не раз уже наполнялись вином, — как-нибудь мы должны устроить здесь действительно необыкновенную вечеринку, что-нибудь по-настоящему интересное. Мы с де Шэем и Беловым (он назвал еще одного художника) обдумаем это. Я знаю трех балерин... — и он начал перечислять их достоинства.

Я ясно видел, что даже если женщины играют второстепенную роль в его жизни, они все же служат блестящей отделкой и украшением его успехов и власти. В час ночи, поговорив обо всем, что обычно занимает прожигателей жизни и любителей искусства, мы разошлись по своим комнатам.

Утро настало чудесное — сверкающее, хотя и ветреное. За полосой песка искрилось море. Меня снова поразило богатство обстановки и грандиозные размеры дома. Возвышающийся над бесконечными песками и обращенный фасадом к открытому морю, он был изумителен. Приглашения к завтраку не было, и мы сошли в столовую, когда кто захотел. Самовар и спиртовой кофейник кипели на столе. По заказу подавались булочки, отбивные котлеты, все, что угодно. Возможно потому, что к завтраку я появился одним из первых, хозяин дома пригласил меня — он был уже совершенно одет, когда я спустился вниз, — и мы пошли прогуляться по его владениям и посмотреть все, на что стоило посмотреть.

Странно, я видел много загородных домов с претензиями на роскошь и даже по-настоящему роскошных, но ни один не пришелся мне по душе так, как этот, — даже недоконченный, он был очень хорош и обещал стать еще лучше. Он был так скромно претенциозен, так величественен, в ограниченном и тем не менее поэтическом смысле этого слова. Так красиво он стоял на возвышении, откуда открывались песчаный берег и необозримый морской простор, так хороши были его веранды, широкие, гладкие площадки из красного цемента, окаймленные каменными ящиками для цветов и каменными скамьями изящного рисунка, и длинные, только что проложенные пешеходные дорожки и подъездные аллеи, и пляж, расположенный примерно в полумиле от дома и простиравшийся в длину мили на полторы; Х. заметил, что пляж останется «в первобытном состоянии»: тут будет и лес, прибитый течением к берегу, и камни, и все прочее. На берегу будет построена только одна длинная пристань для яхт, да небольшой участок, не более трехсот футов в длину, расчистят под купальни и сделают гладкий песчаный пляж. В одном месте на высоком песчаном мысу, выступающем в море, была уже сооружена маленькая наблюдательная башня, открытая внизу, — здесь, на цементном полу, по кругу стояли скамьи и можно было отдохнуть в тени, а верхушка башни очень напоминала своеобразный маленький маяк. В этой верхней части находилась комната, в которую можно было попасть, поднявшись по узкой, витой лестнице.

Я не мог не оценить сдержанности и такта, с которыми Х. показывал мне свои владения. Он был такой здоровый, уверенный в себе, так живо интересовался всем и, что очень приятно, не производил впечатления самодовольного человека (это было бы хуже всего), во всяком случае, он мне не показался таким. Дом он построил действительно великолепный — настоящее произведение искусства. Жизненный путь этого человека приближался к вершине. Нужны были не только миллионы, но и художественное чутье, чтобы затеять такую постройку, а тем более — довести дело до конца. Указывая на унылый песчаный пустырь, простиравшийся между морем и домом, который казался огромной красно-желтой птицей, усевшейся на голом песке, он заметил:

— Когда вы опять приедете сюда весной, здесь будет высажено сорок тысяч кустов роз. Ветер здесь почти всегда дует с моря. Я хочу, чтобы аромат цветов доносился на веранды. Розы можно чередовать так, что большинство их всегда будет в цвету.

Мы осмотрели конюшни, гараж, только что вырытый артезианский колодец, дорогу, которая должна была идти вдоль моря, английский сад, разбитый на некотором расстоянии от дома, вдали от моря.

Следующей весной я действительно приезжал туда несколько раз. Розы были в цвету, дороги закончены, картины развешаны. Представители высшего света не устаивали эти места своим присутствием, но в будущем этого вполне можно было ожидать; а пока здесь собиралось общество, достаточно эlegantное и в основном более приятное, чем чопорные представители так называемых высших кругов. Здесь были художники, писатели, драматурги, певцы, актрисы и несколько личностей из ультрасветского общества — преимущественно молодые люди неопределенного вида, которых привлекали сюда, должно быть, красивые молодые женщины, натурщицы и просто девицы, чья красота была их единственной рекомендацией.

Общая картина была достаточно блестящей. По дому сновали дворецкий и многочисленные ливрейные лакеи. Гостей встречал в дверях швейцар. Экономка и множество подтянутых, вышколенных горничных заботились о чистоте и порядке. Здесь можно было играть в гольф, в теннис, в бридж, можно было кататься на автомобиле или на моторной лодке, удить рыбу, пла-

вать, можно было в меру и даже без меры пить вино или спокойно читать в каком-нибудь тихом уголке. Здесь творились всякие дела, много флиртовали и смеялись, а по ночам начинались подозрительные блуждания по коридорам; и не принято было спрашивать друг друга, кто вы и состоите ли в законном браке, лишь бы соблюдались какие-то внешние приличия. Ту же картину заставал я и в следующие приезды, только дом и сад были уже переполнены до отказа гостями и мимолетными друзьями, машины которых рывкали на подъездных аллеях. Нигде я не видел таких ярких и очаровательных туалетов, как здесь, и не слышал таких интересных, поучительных разговоров.

Этой осенью и зимой я очень много работал и почти нигде не бывал. За это время я много читал о Х., о банках, которые он объединял, о новых затеваемых им рискованных предприятиях. И вот зимой вдруг, словно гром среди ясного неба, во всех газетах появились сообщения об ужасающем финансовом крахе, в центре которого был он. По сообщениям газет, катастрофа постигла наиболее крупный из возглавляемой им группы банков, не говоря уже об обществе по закладу и приобретению недвижимого имущества и каком-то проекте по постройке трамвайных линий на Лонг-Айленде. И странное дело: прежде его имя в прессе никогда не связывалось с чем-либо предосудительным, а теперь статьи и передовицы были сплошь ругательными. Их ядовитый тон бросался в глаза. Х. называли негодяем, выскочкой самой низкой пробы. Он — мошенник, ловкач, он жонглировал банком, кредитным обществом, страховой компанией и проектами строительства железной дороги и трамвая, точно это были стеклянные шарики. Он спекулировал деньгами, которые ему не принадлежали. Он ограбил обманутых им бедняков. Но среди всей этой шумихи и огромных статей, появившихся в первый же день, я заметил одно сообщение, которое запомнилось мне, так как я, естественно, интересовался этой историей и самим Х. Оно гласило:

«По слухам, распространившимся вчера на Уолл-стрите, инспектор Г. получил первую информацию о положении дел Х. из кругов, имеющих основания быть недовольными деятельностью Х. в области городского транспорта в районе Лонг-Айленда. Это — один из ла-

комых кусочков Уолл-стрита, и успехи, которых там, очевидно, достигает новое лицо, не вызывают большого удовольствия».

В другом сообщении говорилось:

«Осложнения начались с того, что сорвалась сделка, по которой Южный Берег должен был быть передан системе Нью-Йорка и округа Куинз, принадлежащей Лонг-Айлендской железной дороге, с прибылью для Х. почти в два миллиона долларов. Как сообщают, крайнее недовольство определенных кругов Уолл-стрита задержало заключение этой сделки. Они не хотели вторжения Х. в эту область и были достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать этому. В то же время на него было оказано давление по другим линиям. Расчетная Палата отказалась производить безналичные расчеты с его банками. Ему необходимы были наличные, но он непременно хотел продать построенную им дорогу по самой высокой цене. Происки его противников возымели свое действие и препятствовали сделке до тех пор, пока для него стало невозможным выдерживать далее эту борьбу».

Одновременно с этими двумя заметками целые газетные полосы были заполнены фактами и сведениями, показывающими, как, где и когда Х. совершил ту или иную операцию, как производились фиктивные расчеты между банками, которые он контролировал и большинство которых принадлежало ему, как изымались крупные денежные суммы и заменялись попросту закладными или бумагами новых, им же организованных компаний. Все эти трюки давным-давно в ходу на Уолл-стрите, и просто нелепо было по этому поводу подымать такой шум.

Я был озадачен и даже взволнован столь внезапным трагическим концом карьеры этого человека, так как немного разбирался в том, какими путями и средствами ведутся дела в финансовом мире; понимал я и то, как много значат для Х. его положение и власть. Лишиться всего этого будет для него ужасно. И, однако, спрашивал я себя, как мог он оказаться таким уж отъявленным жуликом, если ему действительно принадлежит пятьдесят один процент или более всех акций стольких

компаний? В конце концов собственность есть собственность и контроль есть контроль. Даже в свете опубликованных сообщений его действия выглядят не такими уж злодейскими. Я внимательно читал все, что о нем писали.

Проходили дни, и события разворачивались своим чередом. Сначала Х. пытался выброситься из окна своей нью-йоркской студии, потом пытался отравиться. Внезапно к делу приплели его незамужнюю сестру, о которой я ни разу и не слышал за все время моего знакомства с ним. Она вдруг появилась на первом плане как его ближайшая родственница. У этой женщины даже и фамилия была не та, что у него, — какой-то вариант с окончанием на «ович». Она поместила его в клинику, откуда через некоторое время его выгнали, как преступника, затем — в больницу, пока, наконец, он сам не отдался в руки полиции. В деле начали фигурировать имена знаменитых адвокатов, а также и других банкиров. Были привлечены известные психиатры, эти хамелеоны юридического мира, которые сначала присягали в том, что он невменяем, а затем в том, что он здоров. Его сестра, которая оказалась врачом и ученой с именем, просила передать ей все его имущество на том основании, что он неспособен, а она — его ближайшая родственница. В этом она присягала, доказывая, что он ненормален, так как страдает манией величия и манией преследования, а именно: он считает, что его преследуют крупные финансисты; на мой взгляд, в этом его заявлении с несомненностью проявился вполне здравый рассудок. Как выяснилось позднее, брат с сестрой отчасти разыгрывали комедию, надеясь хоть что-нибудь спасти в разразившейся катастрофе. Были и другие любопытные детали: некоторые выдающиеся политические и финансовые деятели, по данным бухгалтерских книг различных банков, связанные с Х. если не личными, то денежными отношениями, теперь полностью отрицали это. Любопытно: именно эти люди больше всех кричали о том, что Х. невменяем и что во всех своих авантюрах он действовал совершенно самостоятельно. Судили и рядили обо всех подробностях его приемов на Бродвее, на Лонг-Айленде и в нью-йоркской студии. Чего только не говорилось о его веселом, скандальном и расточительном образе жизни! Еще бы, ведь до него никто никогда не вел веселой беспутной жиз-

ни — уж во всяком случае финансовые тузы, травившие его, были выше этого!

Затем неожиданно возникло новое обстоятельство. В одном из самых жалких и убогих кварталов Бруклина каким-то образом были обнаружены старик и старуха — совсем неподходящая родня для таких видных людей; однако они заявили, что они — родители Х., что много лет тому назад он и его сестра, снедаемые честолюбием и жаждой сделать карьеру, ушли из дому и появлялись лишь изредка, чтобы занять денег, а потом и вовсе перестали навещать отца с матерью. В доказательство были представлены письма, свидетели и старые фотографии. Х. и его сестра долго и энергично отрицали это, но, видимо, эти старики, оказавшиеся мелкими булочниками в Бруклине и имевшие кое-какие сбережения, и в самом деле были их родителями. Я так и не узнал, кто откопал их, но мотивы этого были совершенно ясны. Сестра Х. заявила права на его имущество в качестве ближайшей наследницы. Если ей будет отказано, то, хотя бы Х. и признали незыблемым, его имущество сразу же попадет в руки различных кредиторов и будет продано с молотка или, другими словами — за бесценок в пользу этих последних. Тем, кто был заинтересован в ликвидации его дел, разумеется, было выгодно извлечь на свет стариков родителей. Но великий финансист всегда упорно распространял слух о том, что он родом из России, что его родители, или люди, выдающие себя за таковых, все еще находятся там, а в действительности он — побочный сын русского царя, отданный с детства на воспитание в бедную семью. Тем не менее теперь этих стариков притащили из Бруклина и устроили очную ставку между ними и Х. В сущности не было доказано, что он и его сестра совершенно пренебрегали родителями или нанесли им какую-нибудь серьезную обиду; но ясно было, что, постепенно поднимаясь по общественной лестнице, они все дальше отходили от стариков и, наконец, попросту забыли о них, изменили свои фамилии и вознеслись в такие сферы, о которых родители и не мечтали. Сестре Х. было предъявлено обвинение в лжесвидетельстве, это помешало ей взять в свои руки контроль над его имуществом и затянуло дело — противники Х. выиграли время для своих происков. Естественно, вокруг обвинения сестры Х. поднялась невероятная шумиха. Какой стыд! Какой позор! Как

могли они публично отказываться от своих родителей и даже не признать их на очной ставке! Отвратительно! В воскресных выпусках газет появлялись душераздирающие статьи со множеством иллюстраций и фотографий: его дом и студия, его банки, автомобили, яхта, собиравшиеся у него гости; но о том, каковы побуждения людей, разыскавших родителей Х., не говорилось ни слова. Фотографии, сделанные во время очной ставки, изображали очень дряхлых и слабых стариков и были довольно трогательны. Старики утверждали, что они его родители, и судорожно рыдали, закрываясь руками. И что же? Он отрицал! Его сестра, которая очень возмущалась всем этим и которая стойко держалась около Х., конечно, только ради него отрекалась от так называемых родителей и друзей.

Никогда за всю свою жизнь я не видел такого стремительного бегства «друзей». Из всех, кого я встречал в доме Х. или в его обществе,— людей, хорошо известных в мире искусства, сцены, музыки или в финансовых кругах,— из всех, кто катался на его автомобилях, обедал за его столом и пил его вино, вряд ли теперь хоть один признавался, что знаком с ним немного больше, чем «случайно» или «слегка»,— о, совсем чуть-чуть! Когда пошли слухи о полуночных сближениях в его доме, о происходивших там вакханалиях, об автомобильных поездках в его большой загородный дом и о случившихся там смелых проказах, оказалось, что ни один среди известных мне людей никогда там не был и ничего об этом не знает! Так, например, де Шэй был его ближайшим другом, его наперсником и буквально его иждивенцем, казалось бы, уж от него-то следовало ожидать глубокого сочувствия и дружеского участия,— и, однако, именно де Шэй едва ли не громче всех обличал или по крайней мере осуждал привычки и образ жизни Х. Не кто иной, как де Шэй первый рассказал мне о мадам... и об ее отношениях с Х., столько раз он настойчиво звал меня на приемы, которые устраивал у себя Х., неизменно уверяя, что там будет замечательно интересно и что Х. поистине большой человек, такой благородный, заслуживающий всяческого уважения,— и, однако, именно де Шэй теперь возмущался громче всех, держался высокомернее других, всячески показывая, что он никогда не был особенно близок с Х., и удивленно поднимал брови с таким видом, словно он

даже и не подозревал, к чему все это приведет. Его бесконечные: «Вы слышали?», «А знали ли вы?» и «Я никогда не думал...» — сделали бы честь любой гостиней. Он был шокирован; подумать только, этот Х. грабил бедных детей и сирот! Но, хотя я внимательно читал газеты, я не нашел никаких доказательств того, что Х. намеревался кого-нибудь ограбить в прямом смысле этого слова. По установившемуся в высших финансовых кругах Уолл-стрита обычаю, он грабил Петра, чтобы заплатить Павлу, иначе говоря, пользовался деньгами одного контролируемого им акционерного общества, чтобы поддержать другое, дутое, также контролируемое им предприятие, то есть действовал по принципу «рука руку моет». Все это настолько общепринято в финансовых кругах, что решительно и честно воспротивиться этой практике или совсем покончить с нею означало бы привести весь финансовый механизм к полнейшему, грандиозному краху.

Тем не менее все шло своим чередом. В срочном порядке последовали так называемый «законный» захват и конфискация всего его имущества. Прежде всего психиатры — представители окружного прокурора и министерства финансов — объявили Х. вменяемым, и он был отдан под суд за растрату. Затем суд отказался удовлетворить просьбу его сестры о передаче ей, на правах опекуна, всего его имущества, а сама она была арестована и заключена в тюрьму за лжесвидетельство: ее обвиняли в клятвопреступлении, так как она присягнула в том, что она единственная ближайшая родственница Х., а на самом деле его настоящие родители (по крайней мере они присягали в этом) были живы и находились в Америке. Вслед за этим его банки, кредитные товарищества и различные концерны были ликвидированы, а великолепное имение срочно передано в руки судебных исполнителей и пошло с молотка «в пользу кредиторов». Все это время Х., находясь в тюрьме, снова и снова заявлял, что он невиновен, что он платежеспособен или по крайней мере был платежеспособен, пока его не начали преследовать ревизор государственного банка и стоящее за его спиной министерство финансов; он уверял, что стал жертвой хладнокровно обдуманного заговора, инициаторы которого воспользовались министерством финансов и другими средствами, чтобы погубить его как финансиста, а все пото-

му, что он стремился достигнуть большего и имел несчастье случайно вторгнуться в одну из самых выгодных и заповедных областей, в каких подвизаются архимиллионеры Уолл-стрита,— в область городского транспорта Нью-Йорка и Бруклина.

Перед присяжными, решавшими вопрос о предании его суду, он заявил под присягой, что однажды, когда он сидел в своей конторе, занимавшей целый этаж в одном из громадных небоскребов Нью-Йорка, так что из окон открывался необъятный вид на все четыре стороны (надо думать, это послужило лишним доказательством того, что Х. страдал «манией величия»), он был вызван к телефону. Как доложил его помощник, его вызывал некий мистер N, один из самых влиятельных финансистов Уолл-стрита. Без всяких предисловий, спросив только, кто у телефона, этот мистер N назвал себя и сразу же приступил к делу: «Слушайте внимательно, что я вам скажу. Откажитесь от предприятий трамвайного транспорта в Нью-Йорке, иначе вас ждут неприятности. Предупреждаю вас. Послушайтесь разумного совета». После этих слов в телефоне щелкнуло самым свирепым, зловещим и повелительным образом: мистер N положил трубку.

— Я знал тогда,— продолжал Х., обращаясь к присяжным,— что со мною говорил человек, обладающий огромным могуществом в этой области и не в одном только Нью-Йорке. И я знал, что его слова не пустая угроза. Однако я не имел возможности выйти из дела, не закончив одной сделки, которая должна была принести мне два миллиона долларов чистого дохода. К тому же мне хотелось начать действовать в этой сфере, и я не видел оснований отступить. Откажись я от этого предприятия, я ни в коем случае не разорился бы, но потерпел бы значительные убытки — даже очень большие убытки и притом не только в этом деле. Довольно странно, что как раз в это время мои партнеры по сделке пытались заставить меня ликвидировать именно это рискованное предприятие и заняться чем-нибудь другим. Наблюдая, как они вели себя в дальнейшем, я часто спрашивал себя, почему они так нажимали на меня именно тогда. Может быть, я слишком понадеялся на себя, переоценил свои силы. Однажды мне уже удалось взять верх над агентами другого видного финансиста в одной крупной и выгодной сделке — и я чувство-

вал, что смогу осилить и это дело. Вот почему я не обратил внимания на предостережение мистера Н. Однако я заметил, что все те, кто раньше интересовался покупкой или хотя бы расширением предприятия, вдруг охладели к нему, а вскоре, когда я занялся некоторыми другими делами и мне понадобилась значительная сумма наличными, министерство финансов обрушилось на меня и, объявив меня мошенником и банкротом, закрыло все мои банки.

Вы знаете, что получается, когда с вами так поступают. Крикните только в театре: «Пожар!» — и самое прочное здание не уцелеет. Вкладчики забирают свои вклады, ценные бумаги падают, начинаются расследования и оплата векселей, ваши финансовые партнеры начинают опасаться или стыдиться вас и изменяют вам. На свете нет ничего щепетильнее, пугливее и капризнее денег. Время покажет, что я тогда не был банкротом. Конечно, в бухгалтерских книгах будут обнаружены некоторые с чисто формальной точки зрения незаконные операции, но то же самое можно обнаружить в книгах и документациях любого другого крупного банка, особенно в наше время, если их проверить без всякого предупреждения. Я делал не более того, что делали все, но они захотели изгнать меня — и добились своего.

Судебное расследование, техническая экспертиза и иные процедуры ничего не дали — и все же Х. в конце концов был заключен в каторжную тюрьму и просидел там некоторое время. Однако в результате его признания потерпели крах еще девять выдающихся финансистов. Восемь лет спустя, подвергнув беспристрастному анализу все факты и свидетельские показания, я пришел к твердому убеждению, что этот человек стал жертвой хладнокровно обдуманного заговора, цель которого заключалась в том, чтобы вытеснить его из сферы крупных финансовых возможностей и прервать его карьеру, которая, безусловно, привела бы его к огромному богатству. Очевидно, Х. обладал такими возможностями и такой сметкой, что был способен на многие дела и комбинации, которыми занимались самые ловкие и хладнокровные финансисты того времени, а они не желали, чтобы он им мешал, и не дали ему стать действительно опасным конкурентом. Подобно коронованным узурпаторам древних времен, они предпочли убить возможного

претендента на королевский престол еще в младенческом возрасте.

Но какую юность он провел! Какой он шел длинной и извилистой тропой! Среди документов дела было его письмо к матери, очевидно, написанное в августе 1892 года, когда Х. было не больше восемнадцати лет и он только начинал свою карьеру в качестве агента книжной фирмы. Он писал:

«Дорогие родители, прошу вас, ответьте сразу же, можете ли вы прислать мне хоть что-нибудь, или мне не на что рассчитывать. Запомните, это первый и последний раз в моей жизни, когда я прошу вас о чем-либо. Другому из ваших детей вы давали не какие-нибудь пятнадцать долларов, а сотни, так неужели теперь, когда я — самый младший — прошу у вас, моих родителей, пятнадцать долларов, вы окажетесь такими жестокими, что откажете мне? Без этих пятнадцати долларов мне две, а то и три недели не на что будет жить.

Ради бога, не забудьте, о чем я вас прошу, и сразу же вышлите мне деньги, чтобы я мог больше не думать об этом. Как я вам говорил, Леон даст мне десять долларов (пятнадцать он уже уплатил за контракт), и вместе с вашими пятнадцатью долларами у меня будет двадцать пять. Из них десять долларов я должен отдать за билет, а пятнадцать уплатить за квартиру и стол за две или три недели.

Прошу вас, отвечайте сразу. Не ждите ни одной минуты и вышлите мне деньги либо напишите одно слово «нет». Запомните только одно, что, если вы мне откажете, между нами все будет кончено.

Ваш сын »

Были еще свидетельские показания некоего Генри Дома, пекаря; он по каким-то странным соображениям вдруг предложил свои услуги и опознал Х. как человека, с которым он был знаком много лет тому назад в Уильямсберге. В его показаниях говорится:

«Я сразу узнал их. (Х. и его сестру) по фотографиям в газетах. Я работал у их отца, бывшего тогда булочником в Уильямсберге, и я часто отправлял письма, которые Х. старший и его жена писали Луизе Х.,—

она в то время училась в Филадельфии на доктора. Х. был тогда еще мальчиком, ходил в школу, а утром и вечером работал в отцовской булочной. Он не хотел этим заниматься, вечно жаловался, и родители потакали ему. Он был очень тщеславен, старался походить на образованного человека. Родители всегда твердили друзьям и знакомым, что у их сына большое будущее. Спустя пять лет, когда я уже ушел от них, я как-то встретил мать, и она сказала мне, что Х. изучает банковское дело и прекрасно устроился».

Лет через семь после банкротства и судебного процесса, при помощи которого так быстро разделались с Х., уже после того как его выпустили из тюрьмы, я стоял на углу какой-то улицы в Нью-Йорке в ожидании трамвая и вдруг увидел Х. Он шел мне навстречу, не очень быстро и, видимо, был погружен в свои мысли. Одет он был неплохо, но не так, как раньше: его костюму не доставало той неуловимой изысканности, которой отличался Х. в прежние годы. На нем была шляпа — да, шляпа, а не высокая боярская шапка и не красивая панама, в каких он щеголял в былые времена. Он выглядел усталым, немного постарел и словно полинял.

Моим первым побуждением было, конечно, окликнуть его, вторым — не делать этого, так как он меня не заметил. Я мог смутить его, а возможно, он меня и не узнал бы. Но, глядя на него, я подумал о большом доме на берегу моря, о великолепной студии, об автомобилях, о сорока тысячах розовых кустов, о толпах гостей, наводнявших его летнюю резиденцию, о приемах в Нью-Йорке и на даче, о красавице-итальянке с серьгами (она впоследствии вышла за французского аристократа); а потом я подумал о письме, которое он совсем еще юношей написал матери, о том, как он ходил зимой в дырявых башмаках, как отказался от родителей, и, наконец, о телефонном звонке одного из тигров Уолл-стрита. «Суeta суeta и всяческая суeta!» — сказал Экклезиаст... Берега наших социальных морей усыпаны жалкими обломками крушений, белющими островами полупогребенных в песке кораблей.

На следующем углу он остановился, помедлил немного, словно не зная, какой дорогой пойти, затем повернул налево и затерялся в толпе. Больше я его никогда не видел и ничего не слышал о нем.

МОГУЧИЙ РУРК

Увидел я его впервые в городе Спайке, в ремонтных мастерских, где в машинном отделении подготавливали площадку для небольшого динамо, и он распоряжался работами: то громко кого-то распекал, то что-то властно приказывал. Под его началом работало с десятков итальянцев, все, как один, невысокого роста смуглые крепыши, причем старшему было лет пятьдесят, младшему — не больше двадцати пяти. Они перетаскивали материалы из вагона, стоявшего неподалеку от мастерских на запасных путях. В вагоне находился цемент, щебень, старые доски, тачки, разные инструменты и все, что могло понадобиться в ходе работы. Сам он, без пиджака, с засученными рукавами, стоял в дверях машинного отделения и кричал с истинно ирландской напористостью:

— Эй, Мэтт! Эй, Джимми! Бери лопаты! Бери кирки! Тащи песок! Камни тащи! А цемент где? Цемент-то где! Черт побери! Цемент мне нужен! Какого дьявола вы здесь валандаетесь? Вас зачем подрядили? Ворон считать? Живей пошевеливайтесь! Тащите цемент! — И, закончив эту бурную тираду, он стал не спеша поглядывать по сторонам, как будто он один во всем мире имел право никуда не торопиться.

К этому времени я уже немало претерпел в жизни и стал неодобрительно относиться ко всякого рода хозяевам, особенно к таким ретивым, как этот. «Вот уж подлинно рабовладелец! Этакая скотина!» — думал я. Однако внешне он не производил неприятного впечатления, скорее наоборот. Это был человек среднего роста, плотный, с толстой шеей; сидящие волосы и усы были коротко подстрижены, глаза, светло-серые, живые и выразительные, настоящие ирландские глаза, блестели и искрились. Держался он властно, не допуская, как видно, даже мысли, что его могут не послушаться, всей своей манерой он словно говорил: «Я здесь хозяин!» — и верно, он был здесь хозяином. Не эта ли черта причиной тому, что из ирландцев во всех уголках земли получают отличные начальники.

Работа, которой он здесь руководил, была не бог весть какая важная и сложная, но интересная. Нужно было выкопать яму размерами десять на двенадцать футов и, выложив ее досками, сделать «форму», затем

замешать бетон, залить его в эту форму и сюда же вде-
лать железные полосы для крепления целого генератора
на станине. Работа не была такой уж срочной, и прово-
дить ее можно было бы гораздо спокойнее, но что по-
делаешь, если у человека энергия бьет через край, если
ему нравится, когда вокруг него шум и грохот, если он
любит сознавать, что дело идет вперед, даже когда в
действительности оно, может быть, стоит на месте. Он,
видимо, просто находил удовлетворение в этом шуме и
суете. Ему так хотелось поскорее закончить начатое, что
он без устали носился по мастерским и кричал:

— Эй, Мэтт! Эй, Джимми! Живо! Тащи лопаты!
Тащи кирки! Да ну, живее!

А по временам извергал целые водопады команд:
— Вверх давай! Вниз! Вправо! Влево! Вперед! На-
зад! — И каждое слово он подкреплял своим неизмен-
ным «черт побери», которое, как я впоследствии убедил-
ся, в его устах звучало так же безобидно, как любое
дружеское обращение. Короче, это был пленительный в
своей непосредственности ирландец, характерный тип,
вроде кiplинговского Нэмгей Дула.

Как я уже сказал, вначале он произвел на меня
ужасное, прямо-таки отвратительное впечатление. «Ир-
ландская скотина! — говорил я про себя. — И подумать
только, что люди должны работать на него! Должны
сносить все его измышательства!» Вскоре, однако, я об-
наружил, что он не так уж дурен, как мне сперва пока-
залось, а затем он даже начал мне нравиться.

Причиной столь быстрой перемены было отношение
к нему его подчиненных. Как рьяно он их ни подгонял,
они, казалось, пропускали все мимо ушей и, уж во вся-
ком случае, не надрывались на работе. Он мог стоять
над ними и орать: «Вверх! Вверх! Вверх! Вверх!» —
или: «Вниз! Вниз! Вниз!» — так что, казалось, не то
что нервы, канаты бы не выдержали, а они обращали
на его крики не больше внимания, чем на тиканье ча-
сов, видимо, воспринимая их, как нечто неизбежное, са-
мо собой разумеющееся, к чему они уже давно привык-
ли. Двигались они лениво, словно фланеры с Пятой
авеню или с Бродвея. Доски и камни они переносили с
такой бережностью, словно то были хрупкие предметы
огромной ценности. У всякого, кто это видел, на губах
невольно появлялась улыбка. Почувствовав в конце
концов весь комизм происходящего, я не выдержал и

засмеялся. Рурк обернулся ко мне и резко, но беззлобно передразнил:

— Ха-ха-ха! Поработал бы, как они, так не стал бы смеяться!

Я хотел было ответить: «Ну уж и работнички!», но вместо этого произнес:

— Да ну? Я что-то не вижу, чтоб они особенно надрывались! Да и вы тоже! А вы не так уж свирепы, как кажется.

Затем я объяснил, что смеялся не над итальянцами, а над ним; и он отнесся к этому с полным добродушием. Постепенно мы разговорились о железнодорожных делах. (Я, по существу, только числился здесь рабочим, мне разрешалось трудиться столько, сколько было нужно для моего здоровья; получал же я двенадцать центов в час.) Так началась наша дружба.

В это утро я узнал, что Рурк берет подряды на строительные работы. Он обычно выполнял подобные работы на участке от Нью-Йорка до пятидесяти третьего километра — строил бетонные платформы, угольные бункеры, переходы, опоры для мостов, фундаменты зданий и вообще все, что можно было построить из бетона, кирпича и камня. У него было с десятков рабочих; в его распоряжении находился вагон, который передвигался вслед за ними с места на место. А посылали его то туда, то сюда, в зависимости от того, где требовались его услуги. Он рассказал мне, что иной раз для того, чтобы поспеть на работу к семи часам, ему приходится вставать в четыре утра. Большая железнодорожная компания, в которой он служил, соблюдала только свои интересы; ей было совершенно безразлично, получают ли Рурк и его рабочие передышку или нет. Да Рурк, как он сам признавался, и не избегал трудностей, они ему были даже по душе. Он уже целых двадцать два года работал на эту компанию. «И дождиком меня мочило и солнышком сушило — всякое бывало». Буря, гроза, непроглядная темень — ничто не могло его остановить.

— В конце концов должен же я вовремя быть на месте! — сказал он однажды со своей лукавой ирландской усмешкой. — Не за то ведь мне платят, чтоб я валялся в постели! Вот и ты, — добавил он, глядя на мою худую, жидковатую фигуру, — поработал бы так с годик, вставал бы каждый божий день с петуха-

ми, так, может, и из тебя вышел бы настоящий мужчина.

— Вы думаете? — смиренно ответил я. — А сколько вы получаете?

— Два с половиной в день.

— Да что вы говорите! — воскликнул я с притворным изумлением.

Вот уж подлинно расщедрилась эта железнодорожная корпорация, подумал я про себя; два с половиной доллара за десятичасовой рабочий день, за подготовку и надзор над постройкой столь важных сооружений! Рурк, без сомнения, «имел право на счастье», согласно нашему американскому лозунгу, только вряд ли оно давалось ему в руки. Сам я, однако, был в это время в еще худшем положении. Я долго хворал и теперь получал двенадцать центов в час при десятичасовом рабочем дне. Главная же неприятность заключалась в том, что десятник, под чьим началом я работал, был мне донельзя противен. Нахальный, горластый невежда с огненно-рыжей шевелюрой! Я жаждал уйти от него. Это нетрудно было бы устроить: в управлении железной дороги у меня имелись кое-какие связи, надо было только найти кого-нибудь, кто мог бы дать мне подходящую работу. Подыскать такого человека — вот в чем была вся трудность; и чем больше я присматривался к этому Рурку, тем больше он мне нравился. Видно, добрый, по-настоящему сердечный человек, удивительно простой в обращении, искренний. Я решил попроситься к нему.

— А вы не взяли б меня к себе, мистер Рурк? Мне очень хотелось бы работать у вас, — робко спросил я после того, как рассказал ему, как я оказался на этой работе.

— Ладно, отчего не взять. Пригодишься, — ответил он.

— Мне вместе с итальянцами работать? — спросил я, далеко не уверенный в том, что совладаю с лопатой и киркой.

Этот вопрос, видимо, развеселил его — столь не соответствовала моя хилая внешность его представлениям о людях физического труда.

— Хватит тебе дела и так. Без лопаты и без кирки, — успокоил он меня. — Эта работа не для белого. Пускай негры ворочают. Посмотри, какие у них спины, какие плечи! А у тебя что?

Я почувствовал, что краснею от стыда. Эти бедняги итальянцы, на которых я склонен был смотреть свысока, физически были развиты несравненно лучше меня.

— Рурк, почему вы их зовете неграми? — спросил я, помолчав. — Они же не черные.

— А черт! Да и не белые же! — И с глубоким убеждением он добавил: — Это же всякому ясно с одного взгляда!

Я даже улыбнулся, так уверенно он изрек эту бессмыслицу.

— Ладно, — согласился я, — пусть будут черные.

И мы прекратили этот разговор.

Вскоре я подал заявление, в котором, ссылаясь на согласие Рурка, просил перевести меня под его начало. Мою просьбу удовлетворили. В тот день, когда я присоединился к его бригаде, или «команде», как он называл своих подчиненных, они работали возле Уильямсбриджа, небольшой станции к северу от Нью-Йорка, на берегу реки Харлем, — строили бетонный бункер для угля. Это было живописное местечко: кругом лужайки, деревья. Не сравнить с темной и душной мастерской. Мне оно показалось раем. Ласковое утреннее солнце, зеленая листва на деревьях, нежный прохладный ветерок!

Я нашел Рурка в только что вырытой яме под платформой, где он с помощью отвеса и уровня что-то прикидывал и намечал. Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Ага! Пожаловал наконец, — проговорил он, ухмыляясь.

— Да, — ответил я и тоже улыбнулся.

— Как раз вовремя. Для тебя есть дело! Поезжай-ка в контору.

И не успел я ответить «хорошо», как он, обдав меня запахом свежескопанной земли, выскочил из ямы, нагнулся к своему старенькому серому пиджаку, который валялся подле ямы, и, порывшись в карманах, вытащил скомканное, перепачканное письмо. Неуклюже развернув листок толстыми, заскорузлыми пальцами, он с отвращением поглядел на него и сунул мне.

— Поезжай-ка в Вудлон, — продолжал он, — и достаешь болтов — их там целый бочонок, оформи требование да отправь их сюда. После сходи в контору и от-

дай им вот эту штуку.— Тут он снова порылся в карманах и выудил еще одну смятую бумажку, на этот раз желтого цвета (как она мне въелась в память!). Это был печатный бланк — скоро я с ними хорошо познакомился! — специальная форма, которую нужно было заполнять и подписывать при получении любых материалов, пусть даже одной-единственной доски, гвоздя или болта. Компания требовала такого оформления от всех десятников для того, чтобы точнее вести учет. Бухгалтерия без этих ведомостей была как без рук. А Рурк между тем твердил, что все это вздор и бессмыслица, что нельзя на каждом шагу требовать с человека бумажки.

— Видать, они думают, обжулить я их, что ли, хочу,— говорил он, сердясь и негодуя.

Я сразу же понял, что Рурк провинился, нарушив установленные компанией правила, и ему за это уже влетело, или, как здесь выражались, ему накрутили хвост. Он гневался и возмущался во всю силу своего воинственного ирландского темперамента. Вместе с тем его, видимо, утешала мысль, что теперь я сниму с его плеч бремя и освобожу от всей этой «распроклятой чепухи». Человек он был опытный и с первого взгляда понял, что найдет во мне помощника. Впоследствии я убедился, что только поэтому он меня и взял.

Когда я уже собрался уходить, он отпустил на прощание еще одну дерзость по адресу начальства:

— Скажи им там, что когда получу материал, тогда напишу, а раньше — черта лысого!

Я ушел, хорошо понимая, что этого передавать не следует и что сам Рурк вовсе не хотел, чтобы я это передал,— просто в нем говорил ирландский задор. Я приехал в Вудлон, достал болты, затем отправился в контору и отыскал там главного клерка. Это был человек, похожий на танцмейстера, на нем ладно сидел форменный сюртук с высоким воротником. Он, как оказалось, тоже негодовал. Рурк не желает присылать отчетности на материалы! И на то не прислал и на другое не прислал — он, по-видимому, даже не понимает, что ведомости нужны ему, главному клерку, для составления сводок! Рурк по целому месяцу задерживает сведения,— по месяцу, а то и больше! — и материал все это время где-то валяется, дожидаясь, пока его не используют! Главный клерк желает знать, какие объяснения Рурк наме-

рен представить по этому поводу, и когда я сказал, что Рурк, по-видимому, считает наиболее удобным сложить все материалы на какой-нибудь станции и по мере надобности брать их оттуда, а ведомости оформлять потом, главного клерка чуть не разорвало от злости.

— Еще чего! — завопил он, хватаясь за голову. — Да за кого он меня принимает?! Как, он думает, я буду составлять отчеты? Ах, он, значит, сложит где-нибудь все материалы и будет брать по мере надобности! Ваш Рурк круглый идиот! Так ему от меня и передайте! Сколько лет служит на железной дороге, пора бы самому знать! Сейчас же отправляйтесь назад и скажите, что как только ему сообщат, что такой-то материал передан в его распоряжение, он должен тотчас, немедленно, заполнить ведомость и переслать мне. Все равно, что бы он ни получал, хоть одну гайку, хоть целый вагон песку! Мне необходимы эти сведения! И пусть сейчас же заполнит все, что пропустил, а то будет плохо. Я больше этого не потерплю. Как, он думает, я буду вести отчетность? Пусть хоть вам это поручит, благо вы сейчас здесь. Нас это избавит от многих неприятностей, а ему поможет сохранить место. Но запомните: впредь никаких опозданий! Представлять ведомости вовремя! А не то или ему или мне придется уйти.

Вот эти ведомости да штук двадцать длиннейших сводок и отчетов, к которым подкалывались еще всякие бумажки, так или иначе связанные с работой, от расписки в получении материала до сведений об израсходовании бланка стоимостью в одну десятую цента, делали жизнь нашего Рурка невыносимой. Позже я узнал, что все его семейство, во всяком случае, старший сын и обе дочери просиживали, случалось, целые вечера над этими документами. Все это не имело прямого отношения к строительной работе — а только такая работа интересовала Рурка, — но являлось необходимой частью той административной системы, в которой он подвизался. Этого он никак не мог себе уяснить. Вся эта канцелярщина имела, без сомнения, и отрицательную сторону, а именно: если человек был достаточно усидчив и умел составлять отчеты, обильно уснащая их цифрами, то даже при низком качестве работы он был на хорошем счету у начальства; и наоборот, если его сводки были путаными или неполными, то как бы хорошо он ни работал, успехов его обычно не замечали.

Рурк это понимал и бесился. Свою работу он всегда старался сделать как можно лучше, на совесть, и гордился этим, а от него, как назло, требовали писанины и отрывали от дела. Ему казалось — в этом была его ошибка, — что для строительных работ все эти ведомости и отчеты — чистая помеха. И получалось, что Рурк, работавший лучше многих, только из-за своего неумения составлять отчеты пользовался неважной репутацией, в особенности в глазах главного клерка. Клерку этому я, разумеется, пообещал, что передам Рурку все, как он велел. Затем я удалился.

По возвращении, однако, я решил действовать как можно дипломатичнее. Ведь если я не улажу это дело, мне останется только лопата и кирка, а на такую работу я вряд ли способен. Поэтому я в самых жалостных тонах изобразил тяжелое положение главного клерка, которому грозит увольнение, если он не получит должным образом оформленных ведомостей на все взятые Рурком материалы.

— Понимаете, Рурк, как обстоит дело, — закончил я. Он, казалось, понял, но гнев его еще не остыл.

— Ведомости! Ведомости! — ворчал он, все еще сердито, но уже постепенно смягчаясь. — Ведомости ему нужны! Ну пошли ему, что ли, эти ведомости! Вот ведь привязался! Ест он их, что ли, вместо хлеба? Я, выходит, и десятником должен быть и счетоводом — все сразу! Ведомости ему заполняй! Дела у меня другого нету!

Он сплюнул и замолчал.

Немного погодя он с добродушной усмешкой признался:

— А я ведь совсем и позабыл про эти ведомости. В следующем месяце нас завалили работой. Надо было построить платформу в Морисании, сложить дымоход в Тарритауне, заасфальтировать тротуар в Уайт-Плейнс, а в Такахо выкопать и обложить камнем большой бункер. Кроме того, мы должны были еще построить в Ван-Кортленде и Маунт-Киско платформы, в Хай-Бридже и Эрдсли — водонапорные башни, в Кэриле — переход и дренажную канаву, в Бронкс-Парке — сток и мусорную яму, а в Мелрозе установить штук сорок бетонных межоконных столбов для здания. Нечего говорить, что, помимо собственно строительных работ и надзора над ними, осуществлять который мог только

сам Рурк, требовалось еще многое множество подсчетов и всяческих отписок. «Что за нелепость,— думал я,— человек по уши занят тяжелой строительной работой, а ему не дают конторщика или счетовода, чтобы хоть частично освободить его от этой писанины». Конечно, будь он чуточку посмекалистее, он давно мог бы завести себе такого помощника — перевести одного из своих рабочих в конторщики, а числить по-прежнему рабочим. Но Рурку это, видимо, в голову не приходило. Он привык рассчитывать только на свою семью. Для одной лишь подготовки к работе, оформления заказов на материалы и надзора за тем, чтобы они были своевременно доставлены и выгружены, требовался специальный человек; однако Рурк вынужден был все делать сам.

И тем не менее управлялся он превосходно. Я не встречал равных ему в работе. Правда, он предпочитал командовать — забраться на стену или в котлован и там что-то вымерять, рассчитывать, распоряжаться. Но когда требовалось быстро выполнить какое-нибудь сложное дело, он сам брался за мастерок или за шнур, за уровень или отвес и трудился целыми часами. Он никогда не жаловался на усталость. Наоборот, всегда что-то напевал и насвистывал, но только до тех пор, пока не выходила какая-нибудь заминка. Тогда вдруг раздавался неистовый крик:

— Стой! Стой! Обожди! Ты хоть малость соображаешь или нет? Что ты делаешь? Что я тебе сказал? Положи! Положи сейчас же! Что, у тебя башка совсем уже не варит? Дурак! Болван! Идиот безмозглый!

«Господи,— думал я,— что еще там стряслось?» Можно было подумать, что произошла какая-нибудь катастрофа. Но обычно оказывалось, что до беды еще далеко,— просто вышла небольшая ошибка, хотя и чреватая последствиями, но легко устранимая. Несколько минут итальянцы бегали и суетились, потом все успокаивались, и опять слышно было, как Рурк мелодично насвистывает или напевает себе под нос старинную ирландскую песенку.

Но самое приятное в Рурке было его трезвое отношение к жизни, его непоколебимая уверенность в том, что главное — это работа, не разговоры, не отчеты и не проекты, а непосредственное производство чего-либо вещественного, сама вещь. Правда, пока я у него служил, никакая писанина его вообще не касалась, но если бы

даже небеса разверзлись и восемь тысяч главных клерков в сомкнутом строю двинулись на него, требуя заполненных ведомостей и отчетов, он и тогда заставил бы их всех обождать, пока не закончит работу. Однажды мне, в связи все с той же докучной канцелярщиной, понадобилась справка, дать которую мог только Рурк, и я ради этого оторвал его от работы. Он набросился на меня с криком:

— Отчеты! Отчеты! Ну, какой от них толк, скажи, пожалуйста? Работу мне бросать из-за твоих отчетов? Да кабы не эта работа, на кой черт они были бы нужны, твои отчеты!

И я всей душой согласился с ним. Действительно, на кой черт?

Другой обаятельной чертой Рурка было его отношение к подчиненным. Он обращался с ними как друг, почти как отец и хотя бушевал по временам, но потом опять становился приветлив и ласков. Он умел подбодрить людей добродушной шуткой, и это глубоко их трогало. Появляясь утром, он весело кричал:

— Здорово, ребята! Эх, и поработаем сегодня — на славу! Тащи лопаты, Джимми! Давай сюда шнур, Мэтт!

И сам лез в котлован, если проводились земляные работы.

И пока не случилось какой-нибудь заминки, на стройке царили мир и веселье. Скажу попутно несколько слов о Мэтте и Джимми, верных оруженосцах Рурка. Обоим перевалило уже за сорок. Гонимые жизнью бродяги, худые, грязные, огрубелые, бог весть каким ветром занесенные в Америку, претерпевшие бог весть какие злоключения, они имели теперь верный кусок хлеба, пригревшись под крылышком Рурка, который стал для них могущественным покровителем.

Мэтт, смешной маленький итальянец, отличался мягким голосом и деликатными манерами. Рурк его очень любил, но придирался нещадно. Стоило ему спуститься в яму, где работал Мэтт, и тотчас раздавался оглушительный рев:

— Сюда клади! Сюда, говорят тебе! Опускай! Сюда! Сюда! Черт тебя побери! Тупая твоя башка! — Вперемежку с яростными выкриками Рурка слышалось гортанное ворчанье Мэтта, который, видимо, не испытывал никакого страха перед своим начальником и не бо-

ялся получить от него затрещину; он уже так давно работал с Рурком, что эти взрывы на него больше не действовали, и он даже отваживался возражать. Иногда, но не каждый раз, Рурк вылезал после этого из ямы красный, как рак,— даже шея у него наливалась кровью,— и кричал: — Я тебя выгоню! Довольно я терпел! Ленивая скотина! Дурак! На что ты годен? Что ты можешь делать? Ни черта! Ни черта! Нет, теперь-то уж я тебя бесприменно выгоню! Авось мне поспокойней станет!

Он приплясывал вокруг ямы, рычал и угрожал, пока что-нибудь другое не отвлекало его внимания; тут он сразу успокаивался и опять становился добродушным. Мне кажется, что такие стычки, несмотря на все связанные с этим тревожения, доставляли Рурку удовольствие: он был из тех, кто счастлив, только когда воюет. Бывали случаи, что он уходил домой, не обмолвясь ни единым словом с Мэттом, и мне поначалу казалось, что Мэтту пришел конец. Но вскоре я увидел, что это не так. На следующее утро Мэтт как ни в чем не бывало являлся на работу, а Рурк больше не поминал о прошлом.

Однажды после такой ссоры я спросил у Рурка, сколько раз за последние три года он грозился выгнать Мэтта.

— Ну-у,— ответил он со своей пленительной улыбкой,— не все же в счет идет, что иной раз с языка сорвется.

Однако самым потешным из всей его «команды» был вышеупомянутый Джимми — смуглый уроженец Калабрии, с масляными глазами и сладким голосом. Он сочетал в себе хитрость Макиавелли с дерзостью стервятника. Жил он по соседству с Рурком в одном из тех отдаленных городков на Харлеме, где ютится множество итальянцев,— Рурк, как насадка, собирал весь свой выводок к себе под крылышко. Джимми считался чем-то вроде слуги, был у Рурка на посылках: за какие качества ему оказали такое предпочтение — неизвестно, во всяком случае, не за расторопность. Как бы то ни было, он вечно бегал с каким-нибудь поручением, в своих полуистлевших, пыльных, болтавшихся на плечах обносках, напоминая какого-то отпетого бродягу, только что вылезшего из сточной канавы. Заставить же его делать тяжелую работу еще никому не удавалось. Такой труд

он считал для себя низким и всегда ухитрялся найти иное занятие. Но так как он был специалистом по приготовлению цемента и ловко доставлял инструмент, все сходило ему с рук. Если же кто-нибудь отваживался призвать его к порядку, например, я (к слову сказать, он относился ко мне, как к чужеродному элементу), то он обычно отвечал:

— Ну, ну, я, небось, свое дело знаю. Я, слава богу, с Рурком уже пятнадцать лет работаю. Сам, небось, знаю, чего мне делать.

А если жаловались Рурку, тот усмехался и говорил:
— Ха! Ишь, хитрюга!

Или:

— Вот я ему задам!

Однако никогда этого не делал.

Но однажды Джимми проштрафился: он не выполнил особого поручения, которое возложил на него Рурк, и, хотя его оплошность не причинила никакого существенного вреда, по этому поводу разыгралась очень смешная и характерная для Рурка сценка. В нашей железнодорожной компании существовало строгое правило, гласившее: «Во время установленного расписанием прибытия, стоянки и отправления поезда ни одна яма на станциях или другие углубления, которые могут стать причиной несчастного случая, не должны оставаться открытыми». Рурк это хорошо знал. Соответствующий приказ был давно прислан, и один экземпляр хранился у него в подшивке. Рурк поручил Джимми следить за соблюдением этого правила,— задание пришлось итальянцу по душе, теперь у него было сколько угодно свободного времени, и он мог невозбранно бездельничать, притворяясь, будто следит за поездами. Поэтому он и провинился вдвойне.

Вот как это произошло. Мы работали под платформой в Уильямсбридже, рыли котлован для угольного бункера. В это время с прибывшего на станцию поезда сошел старший мастер — он хотел проверить, много ли уже сделано. Поезд стоял, а рядом зияла открытая яма, на дне которой возился Рурк. Он что-то кричал, размахивая руками,— ему и в голову не приходило, что его приказание могло быть не выполнено. Старший мастер, который, как мне казалось, высоко ценил Рурка, подошел, заглянул в яму и спокойно сказал:

— Так нельзя, Рурк, вы должны прикрывать ямы перед прибытием поезда. Я об этом уже вам говорил.

Рурк взглянул вверх и лишился дара речи — так он был поражен, так сконфужен тем, что попал в столь неловкое положение перед начальством. Начальство 'он, надо сказать, уважал до благоговения. Секунду он молчал, задыхаясь от гнева, затем громовым голосом 'стал звать Джимми. Тот прибежал, восклицая, по своему обыкновению:

— Чего? Чего? Чего надо?

— Чего! Чего! — возопил ирландец, весь клооча от ярости.— А ты, чертова кукла, сам не знаешь? Где тебя носит нелегкая? Почему яма открыта? Ведь говорил я тебе не оставлять ее открытой, когда поезд... И чтоб ничего кроме не делал! А ты! У, разиня! Почему оставил яму? Какого черта!.. Ведь надо ж, мистер Уилсон подходит сюда, а яма открыта!

Он весь взмок, покраснел, как свекла, казалось — его вот-вот хватит удар. Мистер Уилсон, темноволосый, бледный, худой человек унылого вида — бедняга, должно быть, страдал несварением желудка,— все это время стоял рядом, с нарочито суровым выражением лица, но с тенью усмешки на губах. Кажется, все это его забавляло, и он, я уверен, не собирался проявлять строгость.

Оторопевший Джимми не знал, что сказать. Перед лицом такого гнева со стороны Рурка, да еще в присутствии старшего мастера, даже он растерялся: пытаюсь загладить свою вину, он бросился прикрывать яму, одновременно что-то лепеча о лопате, за которой он будто бы отошел на минутку.

— Лопата! — взревел Рурк, сверкая глазами.— Лопата! Осел проклятый! Лопату искал! А поезда не видел! Как еще тебя, дурака, не задавило? А яма открыта! А мистер Уилсон тут! Я тебе что говорил? За что я тебе деньги плачу? Слунтяй! Лопата, а? Вот я тебя пролопачу! Башку тебе проломлю, итальяшка вонючий! Клади доски! Попробуй только еще раз оставить яму открытой, в два счета отсюда вылетишь, чертов идиот!

Когда поезд наконец отошел от станции, увозя старшего мастера, Рурк успокоился, но и после этого еще несколько раз вскипал,— и бедный итальянец все время чувствовал себя как на раскаленных углях,

Спустя час снова подошел поезд, и была ли тут особая причина или виною всему лень и полная беспечность Джимми, но яма и на этот раз осталась открытой. Джимми околачивался где-то за вокзалом — наверное, курил, а Рурк, как обычно, работал в яме. На сей раз судьба его не пощадила, ибо наслала на него уже не старшего мастера, а самого инспектора — степенного и мрачного мужчину, перед которым Рурк испытывал воистину священный трепет. Инспектор всегда был необычайно солиден, внушителен и строг. Мне ни разу не случилось видеть улыбку на его лице. Он подошел к яме и, укоризненно взглянув вниз, сказал:

— Так-то вы закрываете ямы перед прибытием поезда. Пора бы изучить железнодорожные правила.

— Джимми! — гаркнул Рурк, выныривая на поверхность. — Джимми! Дьявол! Куда девался этот паскудный итальяшка? Ведь я же велел ему закрывать яму!

И он сам с лихорадочной поспешностью принялся укладывать доски.

Джимми, которого в этот миг осенила догадка, что случилась какая-то новая беда, обезумев от страха, бросился к яме со всех ног. Даже сквозь грязь, покрывавшую его щеки, даже сквозь его природную смуглость видно было, как он побледнел; выражение лица у него ежесекундно менялось. Рурк, наверное, убил бы его на месте; от стыда и волнения он не мог выговорить ни слова. Но перед ним стоял сам инспектор, — правила! необходимость соблюдать порядок! — и Рурк не посмел изничтожить итальянца в присутствии начальника. Он мог только беситься и выжидать. Подумать, что из него сделали посмешище, и перед кем — перед самим инспектором! Лицо и шея его побагровели, глаза метали искры; огненный взгляд, устремленный на ослушника, казалось, говорил: «Ну, обожди же ты у меня!» Наконец, когда поезд отошел и происходящее на станции уже не могло оскорбить слух величественного начальника, Рурк обрушился на Джимми со всем неистовством своей властной и вспыльчивой натуры.

— Так ты, значит, не прикрыл яму? После того как я всего пятнадцать минут назад нарочно тебе говорил об этом? Ну-ка, чем ты теперь будешь оправдываться?

— Я таскал воду, чтоб бетон замешать, — жалобно откликнулся Джимми.

— Воду, чтоб бетон замешать! — простонал Рурк — говорить он уже не мог — и приблизил свое искаженное гневом лицо вплотную к лицу итальянца. — Воду! Чтоб тебе самому свалиться и утонуть в этой воде! А я сижу тут как дурак! А мистер Милз подходит и смотрит. Ах ты, скотина! Ах ты, выродок несчастный! У-у! Я из тебя самого воду сделаю! Расшибу твою безмозглую итальянскую башку! Вот суну тебя головой в эту воду и буду держать, покуда не захлебнешься, шут ты гороховый, мякинные твои мозги! Я тебе покажу, как оставлять яму незакрытой! Да еще когда я сам в ней! А ну, скидавай куртку и катись к чертовой матери! Скидавай, тебе говорят! Убирайся вон! Ты мне не нужен! На кой черт ты мне сдался! Довольно, проваливай! Чтоб я больше тебя не видел!

Руки его дергались так, словно он хотел разорвать итальянца на части.

Но Джимми признавал опасность своего положения и заранее принял меры, чтобы не попасться Рурку в лапы. Все время, пока Рурк орал на него, он тихонько, шаг за шагом, пятился назад — все дальше и дальше — и теперь с удивительным для него проворством бросился бежать; очевидно, ему не раз уже приходилось бывать в таких переделках. В один миг он скрылся где-то за станцией, а немного погодя, когда Рурк утихомирился и снова принялся за работу, Джимми осторожно подошел и стал на страже над злополучной ямой, которой он до сих пор уделял так мало внимания. Едва слышав гудок паровоза, он стремглав бросился к ней, и поезд не успел еще остановиться, как доски уже лежали на месте. Рурк на сей раз словно ничего и не видел. Весь остаток дня он решительно не замечал Джимми, как будто того вовсе не существовало. А на другое утро Джимми в урочное время явился на работу, и вскоре уже обычным порядком раздавались возгласы Рурка: «Эй, Мэтт! Эй, Джимми!» — как будто ничего и не произошло. Удивлению моему не было границ.

Другой случай, еще более комический, к тому же ярко характеризующий обстановку, окружавшую Рурка, произошел в одно морозное октябрьское воскресенье. В Хай-Бридже на откосе прорвались подпочвенные воды, которые грозили подмыть железнодорожное полотно, и Рурку поручили спешно прорыть отводную дренажную канаву. Приказ пришел в субботу вечером, и, чтобы его

выполнить, нужно было работать все воскресенье — для Рурка вещь совершенно необычная. Приказ приказом, а Рурк, как подобает доброму католику, в воскресное утро почувствовал потребность помолиться и решил отстоять хотя бы раннюю мессу, прежде чем приняться за работу; по этому случаю он облачился в длиннополый сюртук — свою обычную воскресную одежду, — которого мне еще не доводилось на нем видеть. Это парадное одеяние придавало его коренастой фигуре крайне забавный вид. Сюртук, по правде сказать, был ему тесен, к тому же изрядно потрепан — я полагаю, что Рурк заказал его еще к своей свадьбе и с тех пор неизменно надевал каждое воскресенье. На голову он водрузил коричневый котелок и стал совершенно неузнаваем.

Движимый любопытством — самой сильной из моих страстей, — а также стремлением как можно больше времени проводить на воздухе, я в девять утра уже был на месте. Рурка пришлось ждать до десяти. С протекавшей недалеко реки Харлем дул свежий ветер, и я разложил под насыпью костер. Затем прямо из церкви явился Рурк, веселый и сияющий, в самом праздничном расположении духа, но, видимо, несколько стесняясь своего торжественного одеяния.

— Рурк, — сказал я, оглядев его со всех сторон, — какой вы сегодня нарядный. Я вас таким еще никогда не видел.

— Хватит болты болтать, — ответил он. — Сам знаю, что нарядный.

Затем он с обычной энергией принялся за работу: стал проверять, что уже сделано. Однако, несмотря на крайне деловое выражение лица, видно было, что он не может забыть о своем костюме и наше мнение ему не совсем безразлично. Что и говорить, в своей повседневной одежде он чувствовал себя куда свободнее.

Вначале все шло хорошо, ни единая тень не омрачала безоблачного утра. Около полудня, однако, я приметил на железнодорожных путях какого-то человека, неверной походкой приближавшегося к нам; он, очевидно, хотел видеть Рурка. Это был коренастый ирландец с гладко выбритым кирпичного цвета лицом, такой же здоровяк, как и Рурк, но помоложе и погрубее. Выцветший коричневый костюм тесно облегал его плотно сбитое тело, черный котелок был надвинут до самых глаз. С первого взгляда было ясно, что он уже изрядно наве-

селе. Заметив его, Рурк буквально вскипел от негодования, и как всегда в такие минуты, весь начал как-то раздуваться, словно его что-то распирало изнутри.

— Мерзавец! — пробурчал он. — Какого черта ему еще надо? — А когда незнакомец подошел ближе, он добавил: — Откуда он узнал, что я здесь? В конторе, что ли, ему сказали?

Меж тем объект этих размышлений пересек пути и направился прямо к Рурку. По лицу его и по всем ухваткам видно было, что настроен он далеко не дружелюбно.

— Ну! Может, вы отдадите мне наконец денежки? — начал он с места в карьер.

Рурк вперил в него мрачный взор, но ничего не ответил; тогда тот продолжал: — Я хочу знать, когда вы мне заплатите остальное за работу в Скарборо. Мне надоело ждать.

Рурка передернуло. Ему, видимо, было очень досадно и неловко перед нами, что этот тип явился прямо сюда — да еще в такое мирное, праздничное утро.

— Я тебе уже сказал, — сердито ответил он после небольшой паузы. — Ты получил все, что заработал. И даже больше. Ты ушел, а дела не кончил. От меня не получишь больше ни цента. Хочешь еще, иди в контору. Посмотрим, что тебе там скажут. У меня твоих денег нет.

И, заложив руки за спину, он подошел поближе к костру.

— Вы мне еще семь долларов должны, — возразил незнакомец, словно не слыша объяснений Рурка. — Подавайте-ка их сюда.

— Как бы не так! — отозвался мой повелитель. — Сказано, не дам! Ну, и все. Ничего я тебе не должен!

— Во-от ка-ак? — протянул тот. — Ну, посмотрим! Не отдашь добром, так я их из тебя вытяну. Думаешь, на дурачка попал? Не позволю себя обманывать.

— Ничего я тебе не должен, — повторил Рурк. — Убирайся-ка лучше, куда цел. Ничего не дам. А недоволен, так иди в контору. — Он решительно отвернулся, всем своим видом показывая, что не станет больше ничего слушать, и, буркнув на ходу, что этот малый, видать, пьян, отошел к итальянцам. Незнакомец, однако, последовал за ним и продолжал спор. Рурк крепил-

ся как мог, но в конце концов не выдержал и воскликнул: — Отвяжись! Ты пьян!

— Я не пьян,— огрызнулся незнакомец.— В последний раз спрашиваю — отдашь деньги?

— Нет, не отдам,— ответил Рурк.

— Ну, так я же их из тебя все одно вытяну,— пригрозил незнакомец.

Он, однако, ничем не подкрепил свою угрозу и продолжал нерешительно топтаться на месте. У него, видимо, не было определенного плана действий, а если и был, то теперь он от этого плана отказался.

Не обращая больше внимания на незнакомца, Рурк вернулся к костру. Он был еще сильно взволнован, хотя и старался казаться спокойным. Незнакомец, или, лучше сказать, бывший каменщик,— мне, впрочем, кажется, что он не был членом рабочего союза,— поплелся за ним следом и, остановившись перед костром, с пьяным упорством уставился на Рурка. Он, видимо, никак не мог сообразить, что же ему делать дальше. Наконец Рурк, видимо, для того чтобы разрядить тягостную атмосферу (ибо незнакомец снова принялся отпускать оскорбительные замечания по его адресу), отвернулся и стал разгребать угли, затем нагнулся и подбросил в костер несколько сучьев. В ту же минуту, повинувшись внезапному порыву — должно быть, его соблазнили оттопырившиеся фалды сюртука,— незнакомец прыгнул вперед, цепко ухватился за фалды, дернул что есть мочи и разодрал сюртук снизу до самого верха, мстительно приговаривая:

— Ах, так ты не заплатишь! Не заплатишь! Нет?

В мгновение ока все переменилось, словно на сцене. Рурк выпрямился, рывком обернулся и закричал:

— Ишь ты! Сюртук мне рвать! Ну я же тебе покажу! Я тебя проучу! Обожди! Теперь берегись! Все кости переломаю! Бездельник! Пьяница!

И какими-то странными, сужающимися кругами он начал приближаться к своему противнику. Глаза у него стали как щелки, кулаки то судорожно сжимались, то разжимались. Незнакомец, почувствовав опасность, начал отступать, описывая такие же круги вокруг Рурка и вокруг костра. Казалось, они исполняли какой-то воинственный танец. Лица их выражали неукротимую злобу и жажду убийства. Они кружились и кружились, точь-в-точь два индейца или воина из племени зулу,

только вместо убора из перьев и бус на обоих были не первой свежести парадные сюртуки. Рурк выкрикивал без умолку:

— Ну-ка подходи! Подходи! Приготовился? Я тебе покажу! Пришибу! Костюм мне порвал, ишь ты! Иди сюда! Готовься! Сейчас я тебя разделаю под орех! Век будешь помнить! А ну! Иди сюда! Иди!

Можно было подумать, что они невидимы и должны отыскивать один другого при помощи этих таинственных кругов. Неизбежная драка не располагает к веселью, но я едва удержался от смеха, увидев спину Рурка. Вот так зрелище! Сюртук разодран до самого ворота, лохмотья веером развеваются по воздуху, а из-под них вылез жилет и накрахмаленная воскресная рубашка. Лицо незнакомца выражало какую-то торжественную, пьяную непоколебимость, словно говорило: «Умру, а не сдамся!» «Ох, и посмеюсь же я после»,— подумал я.

Не знаю, во что бы вылился этот скандал, если бы ему не был положен конец извне. Вокруг уже собиралась толпа. Кроме меня и взволнованных, готовых защищать своего отца и благодетеля итальянцев, у костра появилось несколько прохожих и пассажиров с соседней станции. Прибежал и начальник другой бригады, работавшей вместе с нами,— огромный детина, которому, конечно, ничего не стоило справиться разом и с Рурком и с его противником. Сперва он пытался выяснить, в чем дело, потом начал уговаривать драчунов.

— Обождите! В чем дело? Что за шум? Перестаньте сейчас же! Рурк, да ты позови полицию, пускай его заарестуют. Либо ступай к нему на дом, ты же знаешь, где он живет, там и деритесь! А здесь драться нельзя! Ну как придет кто-нибудь из начальства!

И он встал между противниками, своим грузным телом заслоняя их друг от друга.

Рурк, отчасти приведенный в себя этим вмешательством, но все еще кипящий от ярости и обиды, захлебываясь, кричал:

— Посмотри на мой костюм! Что с ним сделали! Смотри, что он сделал с моим костюмом! Люди добрые! Могу я это стерпеть? Всякий пьянчуга будет меня оскорблять! Чтоб я платил больше, чем он заработал! Он бросил работу, а я плати! Я ему покажу! Ребра переломаю! Будет знать, как шлаться и отрывать людей от дела! Я ему задам!

И он снова лез в драку, но с огромным детиной не так легко было совладать.

— Ну, так давай позовем полицию,— говорил тот примирительным тоном,— а здесь никак нельзя вам драться. Ты не должен драться, Рурк! Что подумает начальство! Ведь после сам жалеть будешь.

Он повернулся к пришельцу, чтобы потребовать у него объяснений, но того и след простыл. При виде растущей толпы он понял, что ему грозят серьезные неприятности, и пустился наутек по рельсовым путям, ведущим к Мотт-Хейвн.

Завидев, как он улепetyвает, Рурк снова разразился криками:

— Я тебя проучу! Поплатишься за это! Насидишься в тюрьме! Подожди! Не отвертишься! Из-под земли достану!

Но это уже были последние раскаты грома: обидчик бежал, и буря улеглась. Немного погодя и Рурк отправился домой в Маунт-Вернон сменить свою разорванную одежду. Я никогда не видел его столь удрученным: он был мрачен, как туча, и полон решимости найти законную управу на своего обидчика. Но когда, спустя неделю, я осторожно осведомился, как дела с этим пьяницей, он ответил:

— Ну что с ним сделаешь? Денег у него нет. Посадить? Так ведь у него жена и детишки...

На том и закончилась эта сугубо ирландская сценка.

Вскоре после моего приезда в Уильямсбридж Рурк стал поговаривать, что компания собирается возводить здание в Мотт-Хейвне, на одной из своих крупнейших сортировочных станций. Стройка, по его словам, предстояла очень большая. Надо из кирпича и камня возвести корпус в двести футов длиной и шестьдесят футов шириной. Был отпущен срок — три месяца. Компания специально дала такой срок, чтобы выяснить, может ли она своими силами, не прибегая к контрактам со стороны, справиться с подобным предприятием. По выражению лица Рурка, по его разговорам я понял, что ему очень хотелось бы заполучить этот подряд; в свое время, еще до того, как он связался с этой компанией, ему случалось брать крупные подряды, и он, наверно, не раз огорчался, что сейчас лишен такой возможности. Он чувствовал себя выше той мелкой работы, которую ему теперь приходилось выполнять. Ему хотелось вновь

стать настоящим строителем крупного масштаба, показать компании, на что он способен, и тем завоевать наконец ее расположение; хотя для чего ему понадобилось это расположение — неизвестно, хорошего распорядителя, способного на истинный размах, из него, по-моему, все равно не вышло бы никогда.

С другой стороны, как ни манило его строительство в Мотт-Хейвне, он побаивался связанной с ним канцелярщины — всех этих отчетов и ведомостей, которые были для него истинной пыткой.

— Как себя чувствуешь, Тедди? — частенько стал он спрашивать, проявляя теперь к моему здоровью гораздо более интереса, чем раньше. (Я уже не раз говорил ему, что мне, должно быть, скоро придется уйти, — к этому принуждают меня материальные обстоятельства.)

— Хорошо, Рурк. Прямо-таки великолепно, — обычно отвечал я. — Поправляюсь с каждым днем.

— Во! Видишь? Это значит, что тут и есть твое место! Останься еще на годик, а то и на два, совсем силачом будешь. А то уж больно ты худ. Надо, чтобы грудь окрепла. — И он дружески постукивал по моей костлявой груди. — Я вот, к примеру, ни разу в жизни не хворал.

— Да-а, — дружелюбно отвечал я Рурку, чувствуя непреодолимое желание подольше оставаться рядом с этим удивительным кладезем здоровья. — Постараюсь пробыть тут как можно дольше.

— Постарайся, постарайся, тебе это пойдет на пользу. А ежели меня подрядят строить новое здание, так это тебе будет еще полезнее. Работы прорва! Это тебя развлечет.

«Да, уж хорошенькое развлечение, нечего сказать!» — подумал я, но не высказал своих мыслей вслух. Мне так приятен был этот здоровяк ирландец, так понятны его вполне законные честолюбивые мечты. Как же ему не помочь? Я дал понять, что не оставляю его, пока он не добьется подряда и не построит здание. Это его глубоко тронуло. Он был не чужд благодарности, но до того самонадеян и вспыльчив, что помогать ему надо было как-нибудь незаметно, в завуалированной форме. Он хотел все делать сам, только сам, хотя бы это и привело к неудаче. Впрочем, я сомневаюсь,

чтобы он мог действительно потерпеть неудачу,—слишком много у него было энергии и сил.

Тремя неделями позже ему действительно поручили эту работу. Тут-то и проявилась вовсю его ирландская самоуверенность и властность. Мы перебрались в Мотт-Хейвн, представлявший собой громадное скопление всяких пристанционных построек: там, в самом центре густой сети железнодорожных путей, нам предстояло воздвигнуть новое здание. Рурку придали большую партию рабочих. Сорок итальянцев трудились теперь под его началом, не говоря уж о множестве так называемых плотников и каменщиков (это не были, конечно, умельцы и мастера своего дела, члены рабочих союзов, а разные неудачники, которым не повезло). Они выполняли подготовительные работы — производили выемку грунта для фундамента и тому подобное. Рурк рьяно командовал ими и чувствовал себя как рыба в воде. Особенно радовал его быстрый темп работы. Он носился по стройке с какой-то самозабвенной улыбкой на лице и так громко выкрикивал приказания, что их слышно было по всей округе. Я с истинным наслаждением наблюдал за ним. Иногда он останавливался у котлована, на дне которого копошились землекопы, вынимая грунт, обзиревал длинный ряд спин, согнутых над лопатами, и, удовлетворенно потирая руки, говорил:

— Дело идет, Тедди! Идет! Я уже вижу, что дом подведен под крышу.— И тут же принимался подгонять и всячески тормозить рабочих не потому, что в том была нужда,— просто кипевшая в нем энергия не давала ему покоя.

— Разве так копают! Эх вы! Дружней, дружней берись!

Или:

— Неправильно держишь кирку, не видишь, что ли! Держи вот так! — кричал он, а то и сам спрыгивал в траншею и показывал, как именно нужно держать кирку, до крайности потешая этим некоторых рабочих. Иногда он демонстрировал передо мной различные фокусы и приемы своего ремесла, например, мастерок бросал так, что он на расстоянии десяти футов вонзался в доску, или, поддев ком земли, переворачивал лопату в воздухе,— и земля с нее не падала; при этом он неиз-

менно добавлял: «Покуда этому не научишься, каменщиком не будешь».

Когда ему надоедало пререкаться с рабочими, он приходил ко мне в маленький деревянный домик, где я выписывал требования на материалы и корпел над отчетами и сметами. Просмотрев бумаги — надо было видеть важность, написанную на его лице! — и убедившись, что все идет гладко, он обычно говорил:

— Самое тут твое место, Тедди! Отличный счетовод из тебя выйдет. Кабы меня в президенты выбрали, я б тебя сделал государственным секретарем.

Но больше всего его интересовал и заранее приводил в волнение предстоящий приход каменщиков. Как-то они с ним поладят, эти своевольные корсары рабочего мира, которые приходят и уходят, когда им нравится, ни у кого не просят милости и никому не разрешают вмешиваться в свою работу. Он, мне кажется, завидовал их дерзкой независимости и в то же время надеялся забрать их в руки и управлять ими по-своему — задача, надо сказать, достойная искуснейшего дипломата. Каменщики из рабочего союза! Любопытный народ! Такого веселого, беззаботного и бесцеремонного отношения к жизни я больше ни у кого не встречал. Это были — думаю, что могу так выразиться, — современные корсары, капитаны Кидды наших дней; они требовали, вынь да положь, свои шесть долларов в день, принимались за работу и прекращали ее, когда им вздумается, старались утруждать себя как можно меньше и способны были бросить дело в самый ответственный, критический момент; и вообще они находили особое удовольствие в том, чтобы доводить до отчаяния представителей тех корпораций, которые вынуждены были пользоваться их услугами. Не подумайте, что я против рабочих союзов. Мне нравятся организованные рабочие. Это крепкий народ, веселый, жизнь в них кипит ключом. Но иметь с ними дело не так-то просто.

Рурк, думая о них, очевидно, уже предвкушал будущие стычки. Приход каменщиков сулил ему как раз то, чего больше всего жаждала его душа, — возможность поспорить и поругаться с настоящими людьми, сильными, решительными, задиристыми, как он сам. Эти молодцы не станут смиренно сносить его нападки, они дадут ему отпор, — как и должны поступать, по его мне-

нию, настоящие мужчины. Он не уставал говорить о них.

— Погоди, вот когда их у нас будет человек тридцать, а то и сорок,— сказал он мне однажды,— и каждый станет кричать: «Кладу шестьсот кирпичей — и баста»,— вот тогда увидишь. Будет на что посмотреть! Будет!

— Что же я увижу? — спросил я с любопытством.— Чего тогда будет?

— Драчка будет, вот чего. Это ведь не дохлые италяшки. Эти не дадут себя в обиду! Попробуй покричи на них. Тут уж надо сразу рукава засучивать!

— Да, неприятное положение,— заметил я, затем добавил: — Рурк, а как вы думаете, удастся вам взять их в руки?

— Удастся ли? Мне? — воскликнул он, преисполняясь воинственного пыла при одной мысли о будущих столкновениях.— Да будь их хоть тысяча, я им всем покажу. Знаю я ихние штучки! Меня не проведешь. А тебе, дружище,— наставительно добавил он,— тоже будет занятие: станешь бегать в контору брать им расчет. Здорово придется побегать, уж это точно.

— Вы что же, их увольнять собираетесь? — изумился я.

— А как ты думаешь? — властно заявил он.— Почему бы и нет? Что они, не такие люди, как все? Почему их не увольнять? — Помолчав, он добавил: — Да нет, не буду я их выгонять, не бойся. Сами расчета запросят. Они ведь долго разговаривать не любят. Ах, мол, не нравится вам, как мы работаем, ну так пожалуйста расчет! Вот погоди, придет этакий молодец на работу, когда у него башка трещит с похмелья, либо вовсе не протрезвившись,— вот тогда увидишь, на что они способны!

Признаюсь, мне эта перспектива не показалась такой уж заманчивой, хоть я и оценил юмористическую сторону дела. Я спросил Рурка, стоит ли нанимать этих каменщиков, если они такие своевольные.

— А где еще найдешь рабочих? — ответил он.— Хорошие все в союзе состоят. А прочие гроша ломаного не стоят. Лентяи и пьяницы. Не будь наша компания против союзов, я бы ни одного из неорганизованных не взял. Да и то сказать,— раздумчиво продолжал он, и в голосе его прозвучала нотка сочувствия,— ка-

менщики, которые в союзе состоят, имеют право так себя вести. Это ведь не простые рабочие. Они захотят, так и восемьсот кирпичей в день уложат, и указывать им ничего не надо. На их месте и ты бы такой же был. Зачем позволять, чтоб тебя притесняли, когда можно найти другую работу. Я их не виню. Я сам когда-то был каменщиком.

— Но вы, наверно, не так себя вели, как эти?

— Почему не так? Как раз так и вел.

— Вы как будто гордитесь этим.

— Ну и что? — вспыхнул он. — Я стоял за свои права. Разве это человек, ежели он терпит, когда ему садятся на голову. Это глупо. Не должно такого быть.

Я поспешил согласиться, чтобы не раздражать его еще больше, и на том наш разговор окончился.

Каменщики наконец прибыли, и уж действительно боевые это оказались ребята! Какая независимость! Какой вызывающий тон! Какая щепетильность насчет всяких прав и привилегий, которые полагались им по условию! Я взирал на них с изумлением. В большинстве это были крепкие, здоровые молодцы и, судя по всему, работники хоть куда, но они столько кричали о своих правах и так чванились своим искусством, что иметь с ними дело было отнюдь не сладко. Тут и святой потерял бы терпение, не то что крутой и вспыльчивый подрядчик-ирландец. «В первый черед», как выражались у нас на железной дороге, они пожелали узнать, работают ли здесь не члены рабочего союза, и если да, то не угодно ли будет администрации немедленно их уволить? В случае отказа они сейчас же бросают работу. Это дало Рурку повод для нескончаемых пререканий, в которые он вложил редкостный пыл и красноречие, но неорганизованных рабочих все-таки уволили. Далее наши каменщики заинтересовались вопросом, когда, где и как будут получать деньги. Им было желательно, чтобы выплата заработков производилась в любое время по первому их требованию, — и это повело к новым спорам, ибо железнодорожная компания платила раз в месяц. Но и это уладилось. По особой договоренности со строительным отделом решено было по первому же требованию каменщиков выплачивать все ими заработанное. И я каждый раз, как они требовали денег, должен был бегать в контору и получать для них плату. Затем начался спор о том, по сколько кирпичей

они должны укладывать в час, сколько человек необходимо поставить на каждую стену, в какой срок они должны, или смогут, или пожелают закончить кладку, и так далее, и тому подобное. Этого только и нужно было Рурку. Наконец-то он почувствовал себя в родной стихии: кричал, размахивал руками, требовал, чтоб они перестали валять дурака или убирались ко всем чертям. Когда и это все утряслось, каменщики соблаговолили наконец взяться за свои мастерки, и работа закипела. Зрелище было величественное, поистине вдохновляющее — сорок, а то и пятьдесят каменщиков выстроились в ряд, вокруг них хлопочет человек двадцать помощников: снуют итальянцы, поднося все новые и новые партии кирпича; плотники под руководством другого десятника уже готовятся настилать балки и перекрытия на быстро растущие стены.

Рурк совсем уже не отлучался со строительной площадки. Он, казалось, сразу был в десяти местах: спорил с одним рабочим, распекал другого и уж обязательно гнал кого-нибудь за расчетом. «Слазь! Слазь, тебе говорят!» — слышался яростный крик, затем появлялся Рурк, за ним, изрыгая угрозы, поспешал разгневанный каменщик. Рурк требовал, чтобы я сейчас же подсчитал ему отработанные часы и бежал в контору за деньгами. Пока я это делал, каменщик слонялся по стройке и подбивал остальных тоже бросить работу. Иногда, но не часто, ссора кончалась примирением. В большинстве же случаев каменщик сам рад был получить расчет и поскорее истратить свои денежки. Рурк до странности равнодушно относился к тому, уйдет такой смутьян или останется.

— Выпить человеку захотелось, — говорил он с иронией.

А мне казалось, что передо мной разыгрываются бесконечные сценки из водевиля.

Постепенно все вошло в колею. Каменщики и Рурк пресытились скандалами. И работа стала еще быстрее подвигаться вперед. Рурк, заложив руки за спину, прохаживался по лесам вдоль растущих стен или внизу по площадке вокруг фундамента; он весь как-то топорщился от удовольствия и поглядывал на рабочих с задорной ухмылкой. Дело шло так хорошо, что придиратся было не к чему, но он считал своим долгом сохранять воинственный вид. Он и теперь ухитрялся иной раз

повздорить с каким-нибудь зубастым каменщиком и даже, случалось, отправлял его в контору за расчетом, но такие случаи бывали редки.

Тремя неделями позже, когда я совсем уже собрался объявить Рурку, что не могу больше откладывать свой уход, ибо мое здоровье достаточно окрепло, а кошелек изрядно отощал и пора мне позаботиться о своих финансах, в холодный декабрьский день разразилась катастрофа. Рурк и несколько итальянцев (в том числе Мэтт и Джимми) работали в центральном зале, уже почти законченном, как вдруг взорвался паровой котел подъемника, помещавшийся внутри здания, как раз на стыке трех стен; взрывом разнесло одну стену, выбило из пазов балки и перекрытия, и весь второй и третий этаж — пятнадцать тысяч кирпичей — рухнули вниз. Несколько секунд низвергалась настоящая лавина из кирпичей и бревен; когда все стихло, оказалось, что Рурк и пятеро итальянцев погребены под развалинами. Все, кроме Джимми, получили серьезные ранения. Два итальянца были убиты на месте, третий умер через несколько дней. Рурк перед взрывом находился в самом опасном месте и пострадал очень сильно. Его по пояс завалило грудой кирпичей, огромная балка придавила ему плечо, расшибла голову, рассекла ухо. На него было страшно смотреть — весь в крови, с перекошенным от боли лицом. Но он не утратил ни мужества, ни присутствия духа, как и следовало ожидать.

— Эк меня зажало! — были его первые слова. — Хорошо, хоть только ноги, а не всего. Бросьте, бросьте, не надо меня откапывать. Других ищите. Итальянцы где-нибудь здесь.

Мы не послушались и начали его высвобождать. Кирпичи так и летели во все стороны. Но он нас остановил.

— Итальянцам помогите! — с прежней властью в голосе закричал он. — Итальянцев засыпало. Тут Джимми и Мэтт. Мне ничего, я обожду! Узнайте, что с ними!

Пришлось послушаться. Мы оставили Рурка и принялись откапывать итальянцев. К этому времени со станции и из мастерских сбежалось много народу, все бросились нам помогать. Рурк, изувеченный, терпя жестокую боль, все еще порывался начальствовать и командовать. Но теперь в нем было какое-то несвойствен-

ное ему прежде благородство, даже величие. Казалось, это был сказочный великан, получеловек, полубог, сотворенный частью из плоти и крови, частью из кирпича и камня, с горних высот взиравший на наши земные усилия.

— Поднимай балку! Берись за конец! Вон там! Теперь снимай кирпичи! Вон, вон его голова! Не видишь? Э! Дурачье! Вон же, вон она!

Можно было подумать, что мы не его спасители, а беспомощные создания, нуждающиеся в опеке, слуги и рабы, обязанные слепо исполнять его повеления.

Вскоре нам удалось освободить Рурка и его пятерых помощников; двое оказались мертвыми. Мэтт был тяжело ранен в голову, Джимми, неуязвимый, отделался пустяками — синяком и ссадиной на плече. От испуга он немножко ошалел и даже в этот трагический миг невольно вызывал смех.

— Вот это грохнуло,— произнес он, придя в себя.— Я думал, свету конец! Мистур Рук! Мистур Рук! Где мистур Рук?

— Я здесь, италяшка ты разнесчастный! — весело откликнулся неукротимый Рурк из-под обломков. Мы к этому времени успели откопать его только наполовину. И затем уже более слабым голосом он сокрушенно добавил: — Что, небось, здорово тебя покорежило?

— Нет, нет, мистур Рук! Ничего, мистур Рук! Помогайте мистуру Руку! — кричал Джимми, подбегая к тем, кто откапывал «мистура Рука», и принимаясь расшвыривать кирпичи.

Наконец мы высвободили Рурка из-под обломков. Все время, пока мы хлопотали вокруг него, он гнал нас от себя, словно стесняясь, что столько людей из-за него волнуются и суеются, а один раз, когда мы, надрываясь, оттаскивали балку, воскликнул:

— Тише, не спеши! Не надрывайся! Зачем? Мне не так уж плохо, не спеши! Джимми, убери-ка вон ту доску с дороги.

Но когда мы его откопали, сразу стало ясно, что, вопреки его уверениям, ему очень плохо и «покорежило» его очень сильно, может быть, даже насмерть. Как потом объяснили врачи, у него было раздроблено бедро, перебиты обе ноги и повреждены внутренние органы. Только когда убрали давившие на него обломки, он сам, кажется, понял, как плохи его дела. На полу, поверх

подстилки из стружек, разостлали брезент, принесенный начальником депо, на брезент положили Рурка, и врачи — к этому времени успели прибыть две кареты скорой помощи — приступили к осмотру. Пока они этим занимались, Рурк критически и не без иронии наблюдал за их действиями и даже раз или два отпускал какие-то шуточки. Когда же его собрались увозить и на его вопрос, что с ним, врач бодро ответил: «Ничего страшного!» — Рурк начал беспокойно озираться по сторонам. Наши взгляды встретились, и я увидел по его глазам, что он отлично понимает всю опасность своего положения.

— Мне бы священника, Тедди,— прошептал он.— И еще, если тебе не трудно, съезди в Маунт-Вернон, расскажи жене. Не то ей пошлют телеграмму и перепугают насмерть. А ты ей осторожненько... Пускай не думает, что со мной что-нибудь серьезное. Не надо... Ведь не так уж сильно меня придавило.

Я обещал исполнить его просьбу. Тут же один из докторов, зная, что раненый терпит невыносимую боль, впрыснул ему в бедро кокаин. Через несколько минут Рурк впал в забытие. Я оставил его на попечение медиков и, послав за священником, поспешил в Маунт-Вернон.

Рурк прожил еще неделю в жестоких страданиях и умер от заражения крови. За день или за два до его смерти я был у него в больнице. Я старался, как мог, выразить ему сочувствие, говорил о том, как ужасно, что в жизни ничего нельзя предугадать заранее, и порицал управлявшего подъемником машиниста, чья небрежность, вероятно, была причиной взрыва. Но Рурк ни на что не жаловался.

— Это завсегда может случиться,— только и сказал он.— Не убережешься. У меня до сих пор никого еще не калечило и не убивало. А теперь вон что вышло. Значит, такая уж судьба.

Могучий Рурк! Можно было подумать, что все итальянцы, населявшие Маунт-Вернон, знали и любили его, так много их собралось на похороны. Казалось, для них это было событие государственной важности. Они приходили целыми толпами, переполняя маленькую кирпичную церковь, где не раз видели Рурка за молитвой. Явился и Мэтт, еще не оправившийся, с перевязанной головой и необычайно печальный. Джимми, этот недав-

ний ловкач и интриган, выглядел совсем потерянным: он горько плакал, закрывая лицо руками, всхлипывал, захлебывался, слезы текли по его темным, загрубелым пальцам.

— Мистур Рук! Мистур Рук! — повторял он, глядя на тело.

Потом гроб понесли на кладбище, и он побрел следом, низко склонив голову; когда же гроб стали опускать в землю. Джимми опять безутешно разрыдался:

— Мистур Рук! Мистур Рук! Я с ним пятнадцать лет работал!

МЭР И ЕГО ИЗБИРАТЕЛИ

Это рассказ о человеке, чья политическая и общественная деятельность должна была бы послужить примером (если, конечно, верить в силу примера, как то делают наши моралисты) и оказать воздействие на каждого гражданина Соединенных Штатов. К сожалению, этого не случилось. А впрочем?.. Как знать? Во всяком случае, он и его деятельность теперь совершенно забыты, и все эти годы никто и не вспоминал о нем.

Он был мэром одного из мрачных промышленных городов Новой Англии. В этом царстве дыма и копоти вели безрадостное существование около сорока тысяч жителей. Здесь он родился и жил до тридцати шести лет, пока не решил попытать счастья в другом месте.

Он работал на разных фабриках, с которыми так или иначе было связано почти все население города. По профессии он был сапожник, вернее, рабочий на обувной фабрике, то есть умел выполнять только часть операций, необходимых для изготовления обуви. Но работник он был отличный и получал пятнадцать, а иногда даже и восемнадцать долларов в неделю — довольно высокий заработок для тех мест. Потому ли, что он от природы обладал отзывчивым сердцем, или потому, что на собственном горьком опыте познал, как тяжело живется людям, но ему свойственно было какое-то смутное чувство протеста, которое и побудило его в конце концов организовать клуб для изучения и пропаганды социалистических идей; позже, когда этот клуб настолько окреп, что мог уже проявить себя политически и выставить на выборах своего кандидата, он стал первым

и затем в течение ряда лет оставался постоянным кандидатом в мэры. Долгое время, до тех пор, пока число членов клуба не увеличилось настолько, что эта организация привлекла уже к себе некоторое внимание политических кругов, все смотрели на ее членов (следуя нашему чисто американскому, варварскому обычаю) как на сборище безобидных чудаков, одержимых сумасбродными идеями о долге перед ближним и какими-то наивными мечтами о честном и бережливом управлении общественным хозяйством,— в данном случае хозяйством их родного города. Таково-то наше американское благоразумие, наше внимание к ближнему, наша забота о его благополучии! Число членов клуба было все же так ничтожно, что они по-прежнему служили предметом веселых шуток, будто только на это и годились.

Однако клуб продолжал выставять своего кандидата, и вот в 1895 году ему вдруг удалось получить пятьдесят четыре голоса — вдвое больше, чем в любой предшествующий год. В следующем году было зарегистрировано уже сто тридцать шесть голосов, а еще через год — шестьсот. А тут скоропостижно скончался мэр, одержавший в этом году победу, и были назначены досрочные выборы.

На этот раз клуб получил шестьсот один голос, те же шестьсот и сверх того еще один! В 1898 году клуб снова выдвинул своего постоянного кандидата, и он получил уже тысячу шестьсот голосов, а в 1899 году все тот же неизменный кандидат получил две тысячи триста голосов — и был избран мэром.

Нам этот факт может показаться не таким уж важным, но в том захолустном фабричном городке, столь типичном для Новой Англии, он был воспринят совсем иначе. Знакома ли вам жизнь Новой Англии — ее пуританская, непримиримая, узколобая и эгоистическая психология? Хоть этот бедняга и был избран всего на один год, те, кто не голосовал за него, изумились его избранию, словно невесть какому событию. а приверженцы старого религиозного и политического уклада, набожные прихожане и строгие хранители всех укоренившихся в городке обычаев, прямо завопили от негодования. Никто, разумеется, не знал, что представляет собой новый мэр и каковы его убеждения. Однако клуб, выдвинувший его кандидатуру, немедленно был объявлен анархистским — обычное обвинение против

всего нового в Америке; предлагали даже обратиться в суд, дабы воспрепятствовать новому мэру вступить в должность. И это говорили люди, которые сами терпели нужду и занимали в обществе положение более чем скромное! По их мнению, от нового мэра следовало ожидать всего самого наихудшего, — ведь он был, и совсем недавно, простым рабочим! — а до того приказчиком в бакалейной лавке и в обоих случаях зарабатывал каких-нибудь двенадцать долларов в неделю или еще меньше! Разве не ясно, что собственность немедленно подлежит разделу, всех предпринимателей заставят платить каждому рабочему не менее пяти долларов в день (неслыханный заработок в Новой Англии!), права личности будут урезаны и всячески ущемлены (а до тех пор в Америке таких случаев, видите ли, никогда еще не бывало!) — вот что мерещилось этим американским обывателям, как неизбежное следствие скромной победы, одержанной новым мэром. Прожженные политиканы и главари корпораций, лучше понимавшие суть дела, не переоценивали своего слабосильного противника, и хотя были раздражены, но успокаивали себя тем, что впоследствии с ним можно будет разделиться.

Лучшей иллюстрацией создавшегося положения может послужить подлинный разговор, происшедший как-то раз в сумерки на одной из окраинных улиц.

— Да кто он такой, собственно говоря, этот новый мэр? — спросил один местный житель у какого-то незнакомого ему прохожего, с которым случайно разговаривался.

— По-моему, человек самый обыкновенный. Говорят, приказчик из бакалейной лавки.

— Удивительное дело! Вот уж не думал, что эта публика чего-нибудь добьется. Ведь в прошлом году на них никто и внимания не обращал.

— Кажется, никто еще ясно себе не представляет, как он себя поведет?

— Да, и меня это тоже интересует. Болтают, что он анархист, а я не очень этому верю. Не велика у мэра власть.

— Что верно, то верно, — отозвался незнакомец.

— Как бы то ни было, ему надо дать возможность проявить себя. Он одержал большую победу. Хотелось бы повидать его, посмотреть, каков он лицом

— Ну, лицо у него самое простое Я его знаю

— Говорят, еще молодой?

— Да

— Откуда он появился?

— А он здешний

— И вправду был рабочим?

— Да

Любопытный горожанин задал еще несколько вопросов, затем отошел, собираясь свернуть за угол

— Конечно,— заметил он на прощание,— нам остается только гадать. Но я склонен поверить в этого человека Хотелось бы увидеть его своими глазами До свидания!

— До свидания! — отозвался незнакомец и помахал рукой — Может, еще когда-нибудь меня встретите, тогда уж так и знайте, что видите перед собой мэра

Любопытный горожанин в изумлении воззрился на удалявшегося незнакомца, но то, что он видел — высокая, не меньше шести футов, а в остальном вполне заурядная фигура, худощавое молодое лицо, спокойные, серые с чуть заметной голубизной глаза,— меньше всего отвечало обычному представлению о важном политическом деятеле, да еще заслужившем столь шумную известность

«Слишком молод» — вот первое, что сказали сограждане, увидев нового мэра

«Какой-то приказчик из бакалейной лавки» — вот вам второе суждение о нем, и незачем объяснять, как много сомнений и как мало надежды на что-либо доброе впредь заключалось в такой оценке

А он, хотя в нем и не было ничего выдающегося в том смысле, как это понимают политиканы, был по своему интересной личностью

Не обладая ни большой тонкостью ума (врожденной или выработанной воспитанием), ни особой проницательностью, он все же остро чувствовал, каким злом является столь резкое в нашем обществе и вовсе не вызванное необходимостью социальное неравенство и как важно направить все усилия на то, чтобы уменьшить пропасть между неорганизованной и невежественной нищетой и колоссальным богатством, находящимся в руках у людей, которые мало того, что сами не трудятся, но считают, что так и быть должно. Ибо к чему,

в конечном счете, сводится практическая мудрость любого капиталиста, любого миллиардера: не к слепой ли и хищной алчности?

Как бы то ни было, горожане наблюдали за новым мэром на его пути от дома до канцелярии и обратно, и когда общее волнение улеглось, пришли к выводу, что он ничего особенного собой не представляет.

Новый мэр приступил к исполнению своих обязанностей в небольшом, но уютном доме городского управления и сразу столкнулся с шайкой засевших там дельцов и с заведенным ими порядком. Никому из них и в голову не приходило, что молодой и не имевший связей мэр сделает попытку этот порядок нарушить. В муниципалитете орудовали прожженные политиканы: они распределяли подряды на очистку улиц, освещение, благоустройство города и всякого рода поставки, и узы взаимной выгоды тесно связывали их друг с другом.

— Вряд ли он будет для нас большой помехой,— говорили эти господа между собой.— Куда ему! Кишка тонка!

Новый мэр не принадлежал к числу людей, которые любят болтать и откровенничать. Но нельзя сказать, чтобы он был замкнутым или ему не хватало простоты и непринужденности в обращении. Он только был вечно поглощен своими мыслями, «витал в облаках», как говорили про него, и курил одну сигару за другой.

— Не мешало бы нам собраться и потолковать о распределении подрядов,— сказал однажды утром председатель муниципального совета, вскоре после того как мэр был введен в должность.— Вы увидите, что члены совета готовы в этом вопросе пойти вам навстречу.

— Рад это слышать,— ответил мэр.— Я выскажу свои соображения в письме муниципальному совету, которое пришлю завтра утром.

Старый политикан с любопытством посмотрел на мэра, тот, в свою очередь, посмотрел на старого политика без вызова, а как бы говоря: что ж, при желании мы можем отлично столкнуться; затем мэр вернулся в свой кабинет.

На следующий день письмо мэра было оглашено. Вот его основная суть:

«Подряды на производство работ для города могут сдаваться лишь при условии, что нанятые подрядчиком рабочие будут получать не меньше двух долларов в день».

Требование это было встречено негодующим ревом, и о выступлении мэра стало в тот же день известно по всему городу.

«Ерунда и нелепица!» — вопили дельцы из муниципалитета. «Социализм!», «Анархизм!», «С этим надо покончить!», «Этак городское управление через год обанкротится!», «Ни один подрядчик не в состоянии платить поденным рабочим по два доллара в день», «Сколько же город должен платить подрядчику, чтобы тот мог покрыть такие расходы?».

— Благосостояние города есть не что иное, как благосостояние большинства его граждан, — заявил мэр на заседании муниципалитета, подчеркивая, таким образом, альтруистическую и оставляя неясной экономическую сторону вопроса. — Надо найти подрядчиков, которые возьмутся за дело на наших условиях.

— Ну, это еще посмотрим! — сказали представители оппозиции. — Человек с ума спятил! Если он думает, что сможет управлять городом так, чтобы все были довольны, если он возмечтал каждого сделать богатым и счастливым, ну так он останется в дураках, только и всего, на том дело и кончится.

К счастью для нового мэра, трое из восьми членов муниципального совета разделяли его взгляды, — они были избраны по одному с ним списку. Они, правда, не могли провести свою резолюцию, но могли помешать совету принять резолюцию, на которую мэр наложил вето. Таким образом, всем стало ясно, что если подряды не будут розданы людям, удовлетворяющим требованию мэра, они не будут розданы вовсе. Мэр был явно на пути к победе.

— Какого черта мы тут торчим изо дня в день! — говорили недели две спустя члены совета, возглавлявшие оппозицию. Бесплодная борьба утомила их наконец. — Без его согласия все равно нельзя принять никакого решения о подрядах. Ну и пусть раздает их кому хочет.

Таким образом, предложение мэра установить минимальную плату рабочему два доллара в день было одобрено и резолюция о подрядах принята.

Сторонники мэра ликовали, но сам он, как человек более трезвый, не обольщал себя радужными надеждами.

— Мы еще далеки от цели, друзья мои,— заметил он группе своих приверженцев, беседуя с ними в клубе.— Нам предстоит очень многое сделать, если мы хотим сохранить доверие избирателей и вторично одержать победу на выборах.

При старой системе подрядов, несмотря на то, что в контракте оговаривалась ставка заработной платы, рабочим платили пустяки или вовсе ничего не платили, и работа вообще не выполнялась. Никто этого и не требовал. Отбросы и зола скапливались на улицах, мостовые и тротуары были усыпаны обрывками бумаги. Прежний подрядчик, который преспокойно прикармливал деньги, ассигнованные на очистку города, рассчитывал делать это и впредь.

— Горожане по-прежнему выражают недовольство,— однажды заявил мэр этому господину.— Вам придется держать город в чистоте.

Подрядчик, здоровенный ирландец с бычьей шеей и массивной челюстью, которому незаконно присвоенное богатство отнюдь не придало светского лоска, ухмыляясь, оглядел мэра с ног до головы. Он старался сообразить, что это значит — хочет ли мэр, чтобы ему дали взятку, или же он говорит всерьез.

— Столкнемся, надо полагать,— сказал подрядчик.

— Тут не о чем толковать,— ответил мэр.— Мне нужно от вас только одно, чтобы вы очищали улицы от мусора.

Подрядчик ушел, и несколько дней улицы блистали чистотой, но всего лишь несколько дней.

Гуляя по городу, мэр сам увидел валяющиеся бумажки и отбросы и опять вызвал к себе подрядчика.

— Говорю с вами об этом в последний раз, мистер М.,— сказал он.— Либо вы будете выполнять условия подряда, либо вам придется передать его кому-нибудь другому, кто станет работать на совесть.

— Ладно, вычистим,— заявил подрядчик после жаркой пятиминутной перепалки.— Два доллара в день на рабочего — это просто разорение, но уж я добьюсь, чтобы улицы были чистые.

Опять подрядчик ушел, и опять мэр прогуливался по городу, и вот однажды утром он зашел к подрядчику в контору.

— Ну, хватит,— сказал мэр, вынув сигару изо рта и держа ее в отведенной руке.— Вы отстраняетесь от работы. Завтра я пришлю вам официальное уведомление.

— Да нельзя это так делать, как вам хочется,— сказал подрядчик и выругался.— Расчету нет. Плати рабочим по два доллара, а самому что останется? Черт! Это же всякому ясно!

— Очень хорошо,— вежливо и спокойно ответил ему мэр.— Пускай кто-нибудь другой попробует.

На следующий день он договорился с новым подрядчиком, и тот, руководствуясь таблицей, в которой было указано, сколько следует нанять рабочих и на какую прибыль можно рассчитывать, стал преуспевать. Отбросы вывозились ежедневно, и улицы были чисто выметены.

Как раз в это время потребовалось, в дополнение к сети начальных школ, организовать техническое училище, и надо было сдать подряд на его постройку. И тут мэр выступил с предложением, которое на дельцов из муниципалитета произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Они уже наметили подрядчика и подсчитывали свои барыши, как вдруг при обсуждении этого вопроса на одном из открытых заседаний мэр заявил:

— А почему бы, джентльмены, городу самому не построить здание?

— Да разве это возможно?! — воскликнули члены муниципального совета.— Город — не человек, он не может следить за постройкой.

— Город может нанять архитектора, как делает всякий подрядчик. Давайте попробуем.

Многих членов совета все это привело в крайне мрачное настроение, но мэр стоял на своем. Он вызвал архитектора, и тот составил до смешного дешевую смету. Никогда еще постройка общественного здания не требовала таких скромных затрат.

— Послушайте,— сказал один из членов муниципального совета, когда проект и смета были представлены на рассмотрение.— Ведь это просто недобросовестно по отношению к городу, и наша обязанность, как членов совета, в корне пресекать такие рискованные затеи.

К чему это сведется? Вы растратите общественные средства, а построите какую-нибудь дрянь — и все только для того, чтобы заполучить голоса избирателей!

— Я буду предавать гласности счета на строительные материалы, — заявил мэр. — А когда здание будет построено, все увидят, дрянь это или не дрянь.

Чтобы предупредить возможные махинации со стороны своих противников, мэр стал публиковать в газете все счета на строительные материалы, по мере того как они поступали, сопоставляя их всякий раз с затратами на точно такое же количество таких же точно материалов при постройке других зданий. Таким образом, жители города все время знали, как идет строительство, и крики о том, что дешевая стройка затеяна с политической целью, вскоре умолкли. Это было первое общественное здание, возведенное самим городом, и, когда оно было закончено, оказалось, что это не только самое дешевое, но и самое лучшее из всех городских строений.

Таким образом, новый мэр уже оказал городу немаловажную услугу. Однако он вскоре понял, что против него сколачивается сильная оппозиция и что, если он хочет поддержать пробудившийся к нему интерес избирателей, надо какими-то более решительными мерами завоевать их сочувствие.

— Я могу быть честным, — сказал он одному из своих друзей, — но одной честностью нашу публику не проймешь. Люди не слишком заботятся об общественном благополучии. Они не любят, когда их беспокоят, и им всегда недосуг. Надо сделать что-нибудь такое, что могло бы произвести на них сильное впечатление и что вместе с тем стоило бы труда. Меня не переизберут за одни хорошие обещания и за мои красивые глаза.

Однако, когда он лучше ознакомился с обстановкой, ему стало ясно, что поле деятельности муниципалитета сильно ограничено законодательством. Он, например, обещал снизить непомерную плату за газ и уничтожить в черте города наземные железнодорожные переезды, но, по закону, муниципалитет не мог сделать ни того, ни другого без предварительного голосования, которое надо было проводить в городе ежегодно в течение трех лет подряд; и все три раза результаты голосования должны были быть в пользу предполагаемого мероприятия, иначе оно не может осуществиться. Эту небольшую пре-

досторожность заинтересованные корпорации приняли уже давно, задолго до избрания нынешнего мэра.

— Обещать, что мы все это проведем, конечно, можно,— сказал мэр, беседуя со своим другом,— и наличие такого закона для нас достаточное оправдание, но избиратели не станут три года довольствоваться одними оправданиями. Если я хочу, чтобы меня снова избрали мэром, надо что-то сделать — и сделать немедленно.

Освещение города находилось в руках газовой корпорации, начавшей свое существование с акционерным капиталом в сорок пять тысяч долларов, а впоследствии возросшим до семидесяти пяти тысяч. В 1899 году корпорация получила пятьдесят восемь тысяч долларов чистой прибыли и собиралась, как это обычно делается, номинально увеличить капитал до пятисот тысяч долларов и выпустить соответственное количество новых акций. И вот мэр подумал: если эта корпорация из вложений в семьдесят пять тысяч долларов извлекает такие огромные прибыли, что в состоянии предложить своим вкладчикам шесть процентов годовых с несуществующего капитала в пятисот тысяч долларов,— причем деньги, вырученные от продажи дутых акций, она положит себе в карман,— то не может ли она снизить плату за газ с одного доллара девятнадцати центов до какой-нибудь более приемлемой цифры? Но как быть с законом о троекратном голосовании, за которым, как за каменной стеной, укрывалась богатейшая корпорация, пребывая в состоянии покоя и равнодушия?

Мэр послал за своим юристом и некоторое время усердно изучал законы о газоснабжении. Он узнал, что в столице штата существует специальная коллегия или комиссия, созданная для надзора за газовыми компаниями и для рассмотрения жалоб тех муниципалитетов, которые считают себя обиженными.

— Как раз то, что мне нужно,— сказал мэр.

Не располагая достаточной властью, чтобы самовольно снизить плату за газ, он решил изложить дело перед упомянутой комиссией и просить ее вмешательства.

Но стоило ему заговорить об этом, как он понял, что встретит сопротивление не только в самом городе, но и далеко за его пределами. Его намерению произвести местное снижение платы за газ противостояла целая система грабительских расценок, действующая в штате

и по всей стране; если бы этот вопрос был поднят, против него встали бы сотни разжиревших на сверхприбылях газовых корпораций, доходы которых могли оказаться под угрозой.

— И вы действительно будете добиваться осуществления своего плана? — спросил его видный представитель местной адвокатуры, зашедший к нему как-то утром с намерением выяснить его точку зрения. — Я говорю с вами от имени джентльменов, которые контролируют нашу местную газовую компанию.

— Разумеется, буду, — ответил мэр.

— Ну что ж, — заявил неофициальный представитель частных интересов после длительной беседы, во время которой он изложил различные «доводы», почему новому мэру было бы гораздо более выгодно и политически целесообразно отказаться от своего намерения, — я сказал все, что мог сказать. Мне остается только предупредить вас, что вы идете против объединения, которое вас раздавит. Отныне вы будете иметь дело не с городом; вы будете иметь дело с целым штатом, со всей страной. Корпорации не могут допустить, чтобы вы победили, и они этого не допустят. Не вам бороться за это дело; у вас пороку не хватит.

Мэр улыбнулся и ответил, что ему самому трудно, конечно, судить об этом.

Адвокат ушел, и на следующий день мэр поручил своему юрисконсульту просмотреть годовые отчеты газовой компании за все время ее существования, а также бюллетень, выпускаемый фирмой биржевых маклеров, взявшей на себя распространение дутых акций, которые компания намеревалась выпустить в огромном количестве. Он вызвал также эксперта по газовому освещению и попросил его составить и обосновать жалобу, которую он решил подать в комиссию по надзору.

Эксперт установил, что со дня своего основания и в течение первых тридцати лет компания выплачивала дивиденды с помещенного капитала в размере десяти процентов годовых; за последние десять лет она произвела большие усовершенствования и, несмотря на это, выплачивала дивиденд в двадцать и даже двадцать пять процентов годовых. Тщательно подсчитав стоимость оборудования и все издержки, понесенные корпорацией, мэр и его юрисконсульт сели в поезд и поехали в столицу штата.

Удивительно, какое волнение в политических кругах вызвал такой, казалось бы, маловажный факт, как приезд в столицу штата этого молодого человека, представителя незначительной политической организации, и его появление в назначенный час в приемной упомянутой комиссии. Все газовые монополии, все газеты и общественные организации почему-то вдруг проявили горячий интерес к борьбе, которую он вел; стая репортеров осаждала его в отеле, где он остановился, и в здании сената штата, в комиссии, где должно было разбираться дело. Они старались выведать, чем вызваны его действия, что это — просто шантаж или происки конкурирующей корпорации? Тому, что он мог действовать из чистых побуждений, никто не верил.

— Джентльмены,— сказал мэр, обращаясь к пышному сборищу маститых законников, восседавших в зале комиссии и дожидавшихся только минуты, чтобы разнести в пух и прах все его доводы,— я не учел одного обстоятельства в этом деле, которое собираюсь вам изложить, а именно степени общественного интереса к нему. Я предполагал, что мое заявление будет негласным, но теперь хочу просить вас предоставить мне возможность выступить публично. Я вижу, что общественность проявляет к этому делу большой интерес, как оно, конечно, и должно быть. Я буду просить перенести мое выступление на послезавтра.

Это заявление мэра вызвало в собрании немалое замешательство, ибо гласное обсуждение вопроса было явно нежелательно для корпораций. Но комиссии не оставалось ничего другого, как согласиться. Шум, поднятый вокруг этого дела газетами, уже привлек к нему всеобщее внимание. Мэр разыскал нескольких депутатов и сенаторов от своего округа, заставил их ознакомиться с материалами, и когда наступило утро публичного рассмотрения дела, в палате представителей собралась масса народа.

Когда решительный час настал, мэр выступил вперед и просто и ясно изложил суть вопроса и обстоятельства, побудившие его искать содействия комиссии и широкой гласности. Затем он попросил предоставить слово государственному инспектору газовых установок и освещения, который, по его поручению, опираясь на двадцатилетний опыт своей работы в этой области, составил

доклад о положении, в котором очутились сограждане мэра, пользующиеся газом.

Комиссия была немало изумлена этой просьбой, но изъявила готовность заслушать мнение эксперта в лице юрисконсульта города. Доклад был зачитан и пролил яркий свет на положение дел.

Юрисконсульты различных газовых корпораций неоднократно прерывали докладчика. И самого мэра они всячески старались втянуть в спор, но его ответы были так ясны и убедительны, что его предпочли оставить в покое. Зато все эти юристы пустились в многоречивые рассуждения о типах газовых установок в других городах, о стоимости обрудования, рабочей силы и тому подобном, и эта дискуссия тянулась день за днем и угрожала затянуться на недели. Однако потрясающих свидетельств об огромных прибылях и дальнейших спекулянтских планах не только этой, но и всех других газовых компаний штата уже нельзя было замолчать. Когда стало известно, какую колоссальную прибыль получают все корпорации, это вызвало такое возмущение, что комиссия, опасаясь лишиться политического доверия, после длительных колебаний проголосовала, наконец, за снижение взимаемой с потребителей платы за газ до восьмидесяти центов.

Нужно ли говорить, как это решение было воспринято в родном городе мэра. Когда он вернулся домой, он был встречен овацией, ему аплодировали даже многие из тех, кто в свое время был так напуган его избранием. Но мэр понимал, что этих восторгов хватит ненадолго. Раздраженные неудачей противники продолжали его травить, привлекая на свою сторону все новые и новые силы. Они копались в его семейной жизни и его прошлом; детские его шалости и интимные чувства — все было выставлено напоказ. Надо было искать нового случая принести пользу обществу: бездействовать сейчас значило бы потерпеть в будущем неизбежное поражение.

В избирательной программе, которую предложила партия мэра и благодаря которой он победил на выборах, содержался пункт, гласивший, что выдвинутый партией кандидат, в случае его избрания, обязуется уничтожить в черте города наземные железнодорожные переезды; эти переезды были причиной многочисленных несчастных случаев и вызывали справедливое недовольство граждан. Вот этим пунктом мэр и решил заняться.

Но тут ему мешал упомянутый выше закон, согласно которому ни один город не имел права уничтожить наземные железнодорожные переезды, пока этот проект не будет трижды представлен на рассмотрение граждан и одобрен ими в течение трех лет подряд. И теперь за этим законом стояла уже не какая-нибудь мелкая корпорация с капиталом в пятьсот тысяч долларов, как то было в период борьбы с газовой компанией, но все железнодорожные компании, хозяйничавшие в Новой Англии, простыми прислужниками которых были печать и законодательные органы, суды и присяжные заседатели. К тому же близились перевыборы мэра, голосование по вопросу о переездах совпало бы с голосованием по его кандидатуре. Такое соображение могло бы отпугнуть и куда более честолюбивого политика. Но мэр был не из пугливых. Он начал агитацию за свой проект, и борьба разгорелась. Сперва она велась как будто по-честному: мэр доказывал свое, его противники свое, но тут, в самый острый момент, крупная железнодорожная компания предприняла жульническую махинацию. Неожиданно на рассмотрение нижней палаты законодательного собрания штата был внесен втайне подготовленный и весьма хитро составленный законопроект, в котором предлагалось, чтобы закон, позволяющий всем городам уничтожать наземные железнодорожные переезды на основе предварительного тоекратного голосования, был для данного города аннулирован на срок в четыре года. Закон мог пройти немедленно, и политическая его подоплека даже не была бы затронута.

Когда слухи об этой махинации достигли мэра, он сел в первый поезд, шедший в столицу штата, и появился в нижней палате как раз к началу обсуждения законопроекта. Он попросил, чтобы ему разрешили сделать заявление. Столь своевременное прибытие мэра произвело в палате настоящую сенсацию. Тайные сторонники законопроекта попытались было снять вопрос с обсуждения и передать его в специальную комиссию. Но это им не удалось. Один из депутатов решительно высказался за то, чтобы продолжить обсуждение законопроекта, и тайным голосованием его предложение было принято.

Мэру предоставили слово.

Он помолчал с минуту, прежде чем начать свою речь, и все почувствовали, что он искренне взволнован. Наконец он сказал:

— Меня обвиняют в том, что я возражаю против этого законопроекта по личным мотивам, ибо, если его примут, у меня не останется надежды на переизбрание. Если нельзя будет голосовать за уничтожение наземных переездов, не будет повода голосовать и за меня. Джентльмены, у вас сложилось неправильное представление о характере и умственных способностях граждан нашего города. Вы считаете, что этот законопроект будет иметь для меня политические последствия: смею вас уверить, что если он и будет иметь последствия, то совсем не такие, как вы думаете. Если бы я не считал этот законопроект несомненным злом, я упал бы перед вами на колени и умолял бы немедленно принять его. Ничто не может так способствовать моему избранию, как принятие этого законопроекта. Ничто не может так повредить оппозиции. Если вы непременно хотите, чтобы я победил, вам стоит только учинить этот произвол, это грубое нарушение прав нашего города: мое избрание тогда обеспечено. Лучшей помощи мне и желать нельзя.

Джентльмены, коим поручено было провести законопроект, сильно призадумались после речи мэра; и так долго они думали и колебались, что решение вопроса затянулось на целые недели.

А между тем подошло время выборов, и было сочтено неблагоприятным протаскивать это дело в разгар политических страстей. Оставалось дать бой в самом городе. Разношерстные элементы оппозиции были непостижимым образом приведены к согласию. Демократы, республиканцы, сторонники сухого закона, держатели пивных и религиозные круги — все слились в одно гармоничное целое, вдохновленные одной идеей — нанести мэру поражение. Кто-то, — кто именно, осталось неизвестным, — выступил с призывом создать комитет пятидесяти, который должен был взять в свои руки дело защиты города от «удушающей политики экономического притеснения и анархии», как говорилось в призыве. Демократов, республиканцев, сторонников и противников сухого закона пригласили собраться вместе — и все они собрались. На подготовку брошюр и листовок к избирательной кампании не пожалели ни денег, ни умственных сил. В городе открыто говорили, что заинтересованная железная дорога вручила главарю оппозиции незаполненный чек с предложением вписать любую сумму,

какая потребуется для того, чтобы сокрушить этого выскочку, вознамерившегося перевернуть вверх дном издавна заведенные обычаи и порядки.

Как и следовало ожидать, оппозиция не скупилась на лживые измышления. Мэра обвиняли, например, в том, что он вошел в сделку с железнодорожной компанией, дабы взвалить на город тяжелое бремя расходов: ведь закон, на основе которого можно было заставить железную дорогу построить в черте города надземные пути, гласил, что одну пятую расходов должен нести город, а остальные четыре пятых — железная дорога. Стало быть, на плечи налогоплательщиков ляжет долг в двести пятьдесят тысяч долларов, а взамен они не получают ничего. Выиграет только железная дорога. «Отложите это мероприятие до того времени, когда можно будет заставить железную дорогу взять на себя все расходы целиком, как того требует справедливость», — говорили сочинители агиток, всегда готовые оказать услугу тем, кто мог им хорошо заплатить.

Мэр и его предвыборный комитет, хотя и не располагали большими средствами, тоже выпускали листовки и, кроме того, выступали публично, разъясняя, что даже при явно преувеличенном исчислении суммы долга в двести пятьдесят тысяч долларов городские налоги увеличатся всего до шести центов на человека. Таким образом, крикливые заявления о том, что каждому гражданину в течение десяти лет придется ежегодно платить лишних пять долларов, были полностью опровергнуты, и избирательная кампания пошла своим чередом.

Тогда противники мэра пустили в ход запугивание. Если мэр победит, говорили они, все солидные коммерсанты покинут город. Фабрики закроются, и начнется голод. Наступят тяжелые времена. Обладатели капиталов боятся опасности. Какой дурак в самом деле станет рисковать своими деньгами в городе, где создалась такая неблагоприятная обстановка?

А мэр доказывал, что корпорации обязаны вернуть населению хотя бы часть полученной ими прибыли. Сторонники мэра обошли все дома, подсчитали, сколько человек собирается за него голосовать, и обнаружили, что их число значительно возросло. Они выведали, какое число голосов противник считает достаточным для того, чтобы нанести мэру поражение. Мэр увидел, что ему,

если он хочет быть абсолютно уверенным в победе, требуется еще триста голосов. Он отыскал колеблющихся в стане противника и заблаговременно, еще до наступления решающего утра, заручился их обещанием голосовать за него.

Вечером накануне выборов город представлял собой великолепное зрелище; противники мэра уже были уверены в своем торжестве. Десятки ораторов от обеих сторон выступали на перекрестках и в городском зале заседаний.

Красноречие лилось рекой, и освещенные керосиновыми фонарями агитационные фургоны разъезжали по улицам, изливая желчь на мэра и елей на его соперника. Враждебными мэру силами был устроен даже большой парад, для участия в котором сотни лошадей и людей были доставлены из соседних поселков; все это сборище выдали за исполненных энтузиазма граждан города.

«Лошади не голосуют!» — эта фраза, брошенная мэром, несколько уредила восторги нахлынувшей в город толпы и вызвала смех у соратников мэра, для которых такая поддержка была далеко не лишней.

На следующий день состоялось голосование, и надежды мэра оправдались — на этот раз во всяком случае. За него было подано не только значительно больше голосов, чем в прошлые выборы, но он собрал на целых двести голосов больше своего соперника. Эта победа вдохновила мэра и его приверженцев, зато их противникам доставила немало огорчений. Они еще накануне завезли в город целый вагон ракет для фейерверков, и этот вагон стоял теперь печально и одиноко на тех самых путях, которым предстояло, очевидно, стать надземными. Самую горькую досаду противники мэра испытали тогда, когда победители, входя в их тяжелое положение, предложили скупить все ракеты за полцены.

Целый год после этого не слышно было разговоров о том, что мэр разоряет город. Плата за газ, в соответствии с решением комиссии, держалась на уровне восьмидесяти центов. Новое техническое училище, построенное на редкость дешево, — этот памятник муниципальной честности, — красовалось у всех на виду. Городская водопроводная станция была расширена, и цену на воду снизили. Улицы содержались в чистоте.

Тогда мэр ввел еще одно новшество. В первый год его пребывания на новом посту клуб реформаторов каждую неделю устраивал собрания, на которых мэр откровенно рассказывал о своих планах и затруднениях. А теперь он предложил проводить эти собрания публично.

С тех пор каждый вечер по средам деятельность мэра становилась предметом всеобщего рассмотрения, и всякий, побывав на таком собрании, приходил к выводу, что все это еще больше будет способствовать росту влияния и популярности мэра.

Обсуждения происходили в большом зале, предназначенном для общественных собраний. Приглашались все желающие. Мэр был здесь и хозяином и гостем, он приходил сюда просто как человек, который хочет рассказать о своих планах, о возникших затруднениях и попросить совета. Перед ним были его избиратели, пришедшие не только затем, чтобы его послушать, но и высказать свои пожелания.

— Джентльмены,— говорил он,— эта неделя оказалась для меня особенно тяжелой. Я столкнулся с рядом трудностей, которые попытаюсь вам сейчас разъяснить. Прежде всего вы сами знаете, как ограничена моя власть в муниципалитете. В настоящее время всего три члена городского совета голосуют за мои предложения: только идя на взаимные уступки, мы можем как-то продвигаться вперед.

Затем он подробно рассказывал о своих затруднениях, после чего начиналась общая дискуссия. Всякий, даже простой рабочий, имел возможность выступить со своим предложением. Каждая проблема обсуждалась в атмосфере самого дружеского участия. Когда мэр спрашивал: «Что же надо сделать?» — он часто получал весьма дельный совет. Если ему подсказывали неудачное или неприемлемое решение, оно не встречало поддержки у других, и непригодность его быстро обнаруживалась. Сторонников крайних мер осаживали, слишком осторожных понукали. Всякий вопрос разбирался так подробно и освещался так всесторонне, что каждый человек, уходя, ясно представлял себе и позицию, занимаемую мэром, и его намерения.

Побывавшие на таком собрании разговаривали потом с другими: они разъясняли и отстаивали действия мэра, потому что сами их понимали; казалось бы, если пять

тысяч человек (или даже больше) постоянно это делают, в городе не может возникнуть никаких кривотолков. Все слышавшие мэра говорили, что цель и линия его поведения в любом вопросе всегда ясны. Казалось, что он, как ни одно должностное лицо во всей Америке, тесно связан со своими избирателями и что только сумасброды могут быть недовольны его управлением.

Так прошел год; настала пора президентских выборов; почти одновременно должны были происходить и перевыборы мэра. Плата за газ уже не могла быть гвоздем предвыборной кампании. Улицы сияли чистотой, контракты выполнялись аккуратно. О благосостоянии города заботились как нельзя лучше. Только вопрос о железнодорожных переездах оставался неразрешенным: требовалось еще двукратное голосование. Самым сильным аргументом в пользу мэра была его предшествующая деятельность.

Но на стороне, враждебной мэру, стояли потерпевшие в прошлый раз поражение местные организации обеих влиятельных партий и железнодорожная компания. Она-то, непримиримая в своей злобе, и позаботилась о том, чтобы сплотить местных демократов и республиканцев и создать мощную оппозицию. Все средства были пущены в ход: газеты подкуплены, большое число железнодорожных служащих временно переселено в город для того, чтобы они могли здесь проголосовать: этой местной избирательной кампании всячески старались придать значение общегосударственное. В последние недели перед выборами борьба приняла особенно ожесточенный характер. И деньги победили. Пять тысяч четыреста голосов было подано за мэра. Пять тысяч четыреста пятьдесят — за кандидата оппозиции, который принадлежал к той же партии, что и победивший кандидат в президенты.

Это был тяжелый удар для мэра, но он умел философски смотреть на вещи и принял его спокойно. Покидая муниципалитет, он держался так же просто и непринужденно, как всегда, а спустя три дня пришел на одну из обувных фабрик города и попросил дать ему работу по его прежней специальности.

— Что? Неужели вы ищете работу?! — воскликнул изумленный мастер.

— Ищу, — сказал мэр.

— Работу мы вам дадим, приступайте хоть сейчас,

но, мне кажется, вы могли бы заняться чем-нибудь лучше.

— Придет время, займусь,— ответил мэр,— вот когда изучу как следует право. А пока, для разнообразия, хочу опять поработать на фабрике да посмотреть, как живет рядовым рабочим.

И, надев фартук, принесенный из дому, мэр приступил к работе.

Однако долго работать ему не пришлось,— его уволили. Об этом позаботились политические противники бывшего мэра, мечтавшие изгнать его из города. Многие осуждали его за желание устроиться на простую работу, говорили, что в этом чувствуется «душок зазнайства», неискренность, ему, мол, не было нужды это делать, он просто-напросто решил нажить политический капитал. Спустя некоторое время один торговец бакалейными товарами, разделявший убеждения мэра, предложил ему место приказчика, и тот, руководствуясь какими-то неведомыми соображениями — гуманными или узколичными,— принял это предложение. Тут он проработал уже несколько дольше. И снова многие говорили, что мэр ведет простой образ жизни с целью нажить политический капитал, рассчитывая, что это ему пригодится для дальнейшей политической карьеры. Возможно, и даже вероятно, что так оно и было. У каждого собственный способ отстаивать свои убеждения. Итак, некоторое время мэр работал в бакалейной лавке, а его сограждане, настроенные кто сочувственно, а кто враждебно, продолжали поносить или хвалить его, высмеивать или превозносить его так называемую «джефферсоновскую простоту». Как раз в это время я и встретился с ним. Мне сразу понравился этот высокий худощавый человек, как видно, очень способный и вообще прелюбопытный. А он охотно доверился мне и рассказал всю свою историю. Человек он действительно был примечательный, и о нем стоит вспомнить.

В одной из комнатушек его скромного домика — комнатуха эта представляла собой не то контору, не то кабинет, а домик был такой маленький и невзрачный, что, пожалуй, только рабочий или мелкий служащий согласился бы в нем жить,— хранилась целая коллекция вырезок. В одних его хвалили, в других ругали, в третьих просто сообщали о каких-нибудь его действиях; обилие этих печатных откликов свидетельствовало о та-

кой его популярности, которой мог бы позавидовать любой претендент на самый высокий пост во всей Америке. По альбомам вырезок и конвертам, до отказа набитым передовицами и большими статьями из газет, выходивших во всех уголках страны, от Флориды до Орегона, можно было судить, что в это время и в предшествующие годы каждый его шаг вызывал в народе особый интерес. Было совершенно ясно, что один класс настороженно следит за ним, шпионит и отвергает его, а другой — приветствует, одобряет и поощряет. Редакторы журналов домогались его сотрудничества, журналисты из больших городов ловили его, чтобы узнать о его намерениях, общественные организации с разных концов страны приглашали его приехать и выступить, а ведь он был еще совсем молодой человек, не очень образованный и не слишком сведущий в политике, всего только бывший мэр маленького городка и представитель организации, не имевшей никакого влияния.

Теперь, оставшись не у дел, он, кажется, находил некоторое утешение, перебирая эти вырезки и вновь обращаясь мыслью к недавним событиям, еще свежим в его памяти; а может быть, его поддерживала и надежда на лучшее будущее. С какой-то веселой иронией он показывал мне образчики самой беспардонной и злонамеренной клеветы, которой пытались очернить его безупречное поведение. Он видел в них дань тому интересу, который проявляла к нему публика.

— Вы хотите знать, что люди думают обо мне? — спросил он меня однажды. — Вот тут есть кое-что. Прочитайте. — И он протянул мне пачку вырезок, содержащих самые ожесточенные нападки на него — в одних его изображали хитрым и коварным врагом народа, в других — круглым невеждой, одержимым страстью к разрушению. Лично я не мог не восхищаться твердостью его духа. Как раз этой твердости не хватало тем, кто клеветал на него. Явная ложь не возбуждала его гнева. Очевидное недоразумение не могло, по-видимому, вывести его из себя.

— На что вы надеетесь? — спросил он меня, когда я написал для одного из журналов правдивый очерк о его деятельности, который, кстати сказать, так и не был напечатан. Я пытался добиться у него признания: ведь верит же он все-таки, что его пример сможет в будущем вызвать широкий и благоприятный для него от-

клик. Но я так и не мог понять, согласен он со мной или нет.

— У людей короткая память,— продолжал он,— они быстро все забывают. О человеке помнят, пока он у всех на глазах и чем-нибудь привлекает общее внимание. Это может быть снижение платы за газ или организация оркестра, исполняющего классическую музыку. Публике нравятся сильные и только сильные люди, хорошие они или плохие — все равно, я в этом убедился. Стоит кому-нибудь — отдельному лицу или корпорации — оказаться сильнее меня, начать травить меня, сорить деньгами, спаивать людей пивом и сулить им золотые горы — и песенка моя спета. Со мной именно это и случилось. Я столкнулся с мощной корпорацией, которая, по крайней мере в данное время, оказалась сильнее меня. И теперь мне остается только одно — уехать куда-нибудь и стать сильнее, а каким способом я этого добьюсь, не имеет значения. Что людям до нас с вами, до наших идеалов, до наших забот о благе общества; людей привлекает только сила и занимательное зрелище. И обмануть их ничего не стоит. Хищные корпорации пустили в ход юристов, политических деятелей, прессу, представили меня в жалком и смешном виде. И люди забыли обо мне. Если бы я мог добыть миллион или хотя бы пятьсот тысяч долларов и задать этой корпорации хорошую трепку, они стали бы меня боготворить — но только до поры. А потом пришлось бы доставать новые пятьсот тысяч долларов или еще что-нибудь придумывать.

— Все это так,— отозвался я.— И все же «*vox populi — vox dei*»¹.

Сидя однажды вечером у порога его домика, который находился в очень скромном квартале города, я спросил:

— Вы очень огорчились, потерпев в этот раз поражение?

— Ничуть,— ответил он.— Действие и противодействие — таков закон. Думаю, что все это со временем выправится, во всяком случае, так бы должно быть. А впрочем, как знать. Но, думается мне, придет время, появится человек, который сумеет дать людям то, что им действительно нужно, то, что они должны иметь, и

¹ «Глас народа — глас божий» (лат.).

он победит. Не уверен, конечно, но надеюсь, что так и будет. Ведь жизнь идет вперед.

Его худощавое молодое лицо было спокойно, бледно-голубые глаза глядели задумчиво. Казалось, перенесенные им испытания не омрачили его духа.

— Вы на все смотрите с философской точки зрения?

— Постольку поскольку,— сказал он.— Видите ли, люди говорят, будто все, что я делал, все мои заботы о чужом благе свидетельствуют только о моей никчемности. Что ж, возможно. Может быть, личный интерес и есть закон жизни и лучший ее двигатель. Я еще не знаю. Но сочувствую я, разумеется, совершенно другому. Одна газета писала обо мне: «Его бы следовало посадить в каторжную тюрьму, пусть бы там тачал сапоги». А другая посоветовала мне заняться чем-нибудь таким, что не превышало бы моих способностей, дробить камни или выгребать нечистоты. Почти все сходились на том,— добавил он, и усмешка шевельнулась в уголках его большого выразительного рта,— что я хорошо сделаю, если буду сидеть смирно, а еще лучше, если уберусь куда-нибудь подальше. Они хотят, чтобы я уехал из города. Для них это был бы наилучший выход.

Казалось, он подавил усмешку, которая вновь готова была появиться на его губах.

— Голос врага,— заметил я.

— Да, голос врага,— подтвердил он.— Но не подумайте, что я сдался. Вовсе нет. Я просто вернулся к прежнему своему состоянию, чтобы на досуге хорошенько все обдумать. Может, я уеду отсюда, а может, и нет. Во всяком случае, я опять появлюсь где-нибудь, и не безоружным.

Однако уехать ему пришлось, и было сделано все, чтобы помешать ему когда-либо снова завоевать общественное признание. Пять лет спустя, в Нью-Йорке, занимая довольно обеспеченное служебное положение, он умер. Он боролся — и боролся отважно, но время, обстоятельства, положение светил, что ли, не благоприятствовали ему. Может быть, у него не было гения-покровителя, который провел бы его сквозь все препятствия. Толпа приверженцев не устремилась ему на помощь и не спасла его в решительную минуту. Может быть, ему не хватало обаяния — этой языческой, стихийной, произвольно действующей силы. Парки не дрались за него,

как дерутся они за своего избранника, спокойно взирая на миллионы и миллионы неудачников. Но разве можно сказать хоть о ком-нибудь из нас, что жизнь вполне удалась? Пусть даже другим она кажется удачной,— как далеко все это от того, что нам мечталось, к чему мы стремились!.. Мы то и дело поступаемся чем-нибудь — и мечтами своими, и многим другим.

Что касается тех перемен, за которые он боролся, то, может быть, они наступят очень скоро. А может быть, еще не так скоро. *In medias res*¹.

Но его жизнь?..

¹ По сути вещей (лат.).

Из сборника
«КРАСКИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

СОЮЗ МАЙКЛА ДЖ. ПАУЭРСА

В одном из районов густо населенной рабочей части Нью-Йорка, именуемой Ист-Сайдом, на территории, насчитывающей около сорока тысяч жителей, живет и властвует человек, политическая деятельность которого весьма поучительна.

Вот идет он, тучный, большеголовый, ладно скроенный, но медлительный; его хорошо знают даже там, где он не стал вершителем человеческих судеб. Нет ни одного содержателя пивной (а их здесь по две на каждый квартал), который не знал бы его в лицо и не был бы рад снять перед ним шляпу, лишь бы это вышло кстати и помогло ему снискать у мистера Пауэрса еще большее расположение. Нет ни одного уличного мусорщика или дворника, нет такого полисмена или пожарного, который не узнал бы его и, почтительно здороваясь, не уступил бы ему дорогу. Лавочники и школьники, парикмахер из подвала и итальянец, торгующий углем, — все, слыша слово «босс», хорошо понимают, о ком речь. Его передвижение по улице, если можно так назвать эти ежедневные прогулки, являет собой непрерывное триумфальное шествие. Правда, оно не сопровождается громкими криками «ура!», зато вызывает у окружающих гораздо более глубокое и сильное чувство — благоговение перед хозяином.

Мне вспоминается самый обычный жилой дом на одной из улиц Ист-Сайда — улиц, на которых ютится беднота, душных, переполненных народом, где по вечерам играют шарманщики и тысячи ребятишек носятся по мостовой. Бедность, теснота; округа богата только этими быстро увядающими цветами из плоти и крови — город-

ской детворой. Большинство людей бежало бы отсюда, если бы люди эти искали отдыха и покоя. Многочисленные тележки и фургоны гремят по мостовой; бедняки упорно трудятся, добывая кусок хлеба; тяжелый, спертый воздух вырывается из множества распахнутых дверей и окон.

И вот здесь, зимой и летом, как только наступает вечер и кончаются дневные хлопоты по заключению сделок в конторе, можно видеть этого человека: он восседает на веранде своего дома или медленно шествует в клуб,— для этого ему надо миновать каких-нибудь пять-шесть домов. И таковы уж особенности политической жизни большого города, что путь ему, даже на таком коротком расстоянии, преграждают десятки людей, благоговейно приникающих к его уху, словно для исповеди.

— Мистер Пауэрс, если вы не возражаете, когда у вас будет свободная минутка, я хотел бы поговорить с вами.

— Мистер Пауэрс, если вы не очень заняты, я хотел бы спросить вас кое о чем.

— Мистер Пауэрс...

Как часто слышит он это несложное начало всякой просьбы. Расстояние менее чем в триста футов за три часа — одно это говорит о бесчисленном множестве просителей, старающихся задержать его разговорами.

«Хотят что-нибудь выклянчить» — так толкуют смысл этих разговоров люди, разбирающиеся в политике.

Как всякий человек, обладающий большим весом и влиянием, он склонен к деспотичности, а бесконечные просьбы и мольбы, нашептываемые на ухо, вряд ли могут умерить эту склонность. Он всегда держится осторожно и скрытно. Есть что-то жестокое и непреклонное в его большом рте с нависшей верхней губой, в тонкой полоске этого рта, напоминающей край устричной раковины, в квадратной, тяжеловесной нижней челюсти, придающей лицу холодное, безжалостное выражение. И, однако, подобие улыбки беспрестанно морщит уголки его губ, и его приближенные, так же как и самые далекие от него люди, скажут вам, что у него доброе сердце. Можете усомниться в этом или нет — как вам угодно.

Вскоре после того как я попал в этот округ, я заметил в окнах почти всех магазинов и лавок дешевые печатные плакаты, объявлявшие о том, что ежегодный пик-

ник «Союза Майкла Дж. Пауэрса» состоится во вторник, второго августа, в Уэтзелской роще, Колледж-Пойнт. Участники пикника будут доставлены на место пароходом «Лебедь», отходящим с тридцатой пристани на Ист-Ривер. Увеселительная программа включает игры, завтрак и обед. Стоимость билета пять долларов.

Достаточно даже самого беглого знакомства с Ист-Сайдом, чтобы поразиться непомерно высокой цене в пять долларов. Никто даже на миг не поверил бы, что эти бережливые немцы, евреи и люди других национальностей, занятые обычно на низкооплачиваемой работе, согласятся потратить больше пятидесяти центов на подобный пикник. Жизнь здесь всегда тяжела, доллар считается огромной суммой. И все же предстоящее удовольствие произвело большой переполох в округе.

— Вторник — великий день, — добродушно пошутил немец-парикмахер, когда я зашел к нему побриться в субботу на предшествующей неделе.

— А что будет во вторник?

— Мистер Пауэрс устраивает пикник. Будьте уверены, уж там выпьют немало пива.

— А вы откуда знаете? Разве вы тоже член этого союза?

— Да. Вот уже шесть лет. Прекрасный союз.

— Почему билет стоит пять долларов? Вряд ли здесь многие в состоянии заплатить так дорого.

— Во всяком случае, соберется три тысячи человек, — ответил он, — а может, и больше. Все поедут. Мистер Пауэрс скажет «езжайте», и они поедут.

— Так, значит, это мистер Пауэрс заставляет вас ехать?

— Нет, — ответил он сдержанно. — Это просто хороший пикник. Будет музыка, несколько оркестров. Будут гонки, плавание, пива вволю, завтрак и обед, веселое катание на лодках. О, мы славно проведем время!

— Вы член демократической партии?

— Нет, сэр.

— Может быть, мистер Пауэрс обещал вам какую-нибудь должность?

— Нет, сэр.

— Но тогда зачем вам ехать? Должна же быть какая-нибудь причина!

— В задней комнате у меня помещается избирательный пункт, — сознался он наконец.

— Сколько вы получаете за это?

— Шестьдесят пять долларов в год.

— И из них пять долларов отдаете за билет?

Он улыбнулся, но ничего не ответил.

В понедельник немец, торговец бакалейными товарами, тоже сказал мне, что поедет на пикник.

— Разве вы все обязаны быть там? — осведомился я.

— Нет, — ответил он, — не обязаны. Но все-таки там будет кто-нибудь от каждого здешнего заведения.

— Почему?

— Спросите мистера Пауэрса. Там будет по одному человеку от каждой пивной, парикмахерской, ресторана и от каждой бакалейной лавки в нашей округе.

— Но почему?

— Так ведь это будет прекрасный пикник, — ответил он. — Мистер Пауэрс просто великолепен, когда шествует во главе. Говорят, он сейчас первый после Крокера.

Почти все местные мелкие торговцы столь же одобрительно отзывались о предстоящем событии.

— Это будет замечательная процессия, — сказал мне молочник. — Если вы придете сюда вечером, вам будет на что посмотреть. Сенаторы рядом с уличными мусорщиками, и полицейские чины тоже.

Я подумал о снисходительности этих сильных мира сего, которые благосклонно соглашаются шагать в одной шеренге с простыми мусорщиками.

— А вы поедете? — спросил я.

— Да.

— Вам хочется?

— Ну, это будет совсем не плохо.

— Что вы думаете о Пауэрсе?

— Он большой человек. Первый после Крокера. Вот обождите, вы сами увидите процессию.

Процессия — вот что было главным в этом деле. Такое пышное вещественное доказательство власти уже само по себе могло внушить этим людям почтение. Они чтут власть. Те, кто ими командует, отлично знают это. Внезапно мне пришла в голову мысль, что принудить такое множество людей к участию в процессии — дело нешуточное, и, заинтересовавшись, я зашел накануне знаменательного дня в клуб демократической партии. Роскошные комнаты здешнего лидера в клубе — постоянная арена его деятельности — в описываемый вечер

были центром политической шумихи. Передо мною вновь предстали символы власти, иные доказательства которой я уже видел раньше. Большой зал клуба, где обычно проводятся политические собрания, был заставлен столами и конторками; за ними стояли люди, которые, как я вскоре узнал, занимали высокие посты в районной и городской организациях партии. Чиновники различных отделов городского хозяйства, бывшие сенаторы, бывшие члены законодательного собрания штата, полицейские, сыщики, члены муниципалитета — все присутствовали здесь сегодня, все оказывали посильную помощь общему делу.

На столах были разложены огромные, шириной в несколько ярдов, листы бумаги со списками. За столами виднелись груды кепок, значков и тростей. Всех приходящих сейчас же проверяли по списку, на пригласительных билетах, которые они весело бросали на стол вместе с пятидолларовой бумажкой, делали отметку об уплате и возвращали владельцам. За другими столами по этим билетам они получали кепку, трость и два значка, долженствовавшие украшать каждого участника процессии.

Но как бы ни был энергичен десяток чиновников, полицейских и сыщиков, бывших членов законодательного собрания и прочих, кто, сняв пиджаки и жилеты, трудился над списками и раздачей значков и всего остального, все же они едва успевали управиться с толпой ревностных членов организации, входивших и выходивших непрерывной вереницей и уносивших с собой только что полученные кепки и трости. Сотни конторщиков, полицейских, сторожей, мусорщиков и мелких канцелярских служащих шумно толпились в просторном вестибюле и приветствовали друг друга с легкой небрежностью, принятой в большинстве политических организаций. Оклики: «Привет!», «Здорово, старина!», «Как дела?» и «Ничего, понемножку» — наполняли комнаты сплошным гулом вместе с густым облаком табачного дыма, висевшим в воздухе. Люди всех степеней благосостояния расхаживали по комнатам в новых костюмах и скрипучих башмаках. Представители разных национальностей наглядно демонстрировали, что своекорыстие — черта общечеловеческая и что молодые немцы, ирландцы, евреи одинаково готовы поддержать дело и начинание, в котором их личные интересы могут сочетаться с усиле-

нием власти отдельных личностей или организаций. Они приветствовали друг друга, улыбаясь с напускной непринужденностью и дружелюбием, которые нарочито пускались в ход для данного случая. Было совершенно очевидно, что почти все они делают над собой усилие, стараясь казаться веселыми и сердечными. Тем не менее они хорошо владели собой и успешно сохраняли честное и искреннее выражение лица. Только время и незначительные промахи в поведении некоторых из них могли показать, какими суровыми и неумолимыми способны становиться эти рты, какими вызывающими могут делаться эти узкие выдающиеся челюсти.

Когда оживление и суэта достигли предела, появился сам мистер Пауэрс. Выглядел он весьма живописно. В этот вечер на нем был простой черный костюм и черный галстук, его лицо было багрово-красным, что отчасти объяснялось недавним и очень тщательным бритьем. Он прокладывал себе путь с кошачьей ловкостью и изяществом движений, и на каждом шагу собравшиеся старались задержать его на несколько минут или кланялись ему, а он улыбался каждому все той же бесцветной, ничего не говорящей и весьма таинственной улыбкой.

— Мистер Пауэрс, у нас скоро кончатся кепки,— поспешил доложить один из помощников.

— Дуган позаботится об этом,— ответил он.

— Я думаю, у нас будет стопроцентная явка,— шепнул кто-то из его любимчиков.

— Это хорошо.

Потом он уселся в своем отделанном палисандровым деревом кабинете, рядом с залом, и к нему то и дело стали заглядывать десятки людей, пришедших из других округов, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение и купить билет.

— Утром я буду у тебя, Майк,— сказал веселый чиновник из другого округа.

— Спасибо, Джордж,— отозвался мистер Пауэрс с улыбкой.— Надеюсь, мы славно проведем время.

— Я тоже так думаю,— заметил тот.

Некоторые из старейших должностных лиц, придя в клуб по случаю этого чрезвычайного события, уселись в кресла и задумчиво перебирали в памяти события минувших дней.

— Помнишь, Джерри, как Майк был членом муниципалитета?

— Помню. Никто не мог с ним сравниться.
— А помнишь, как он поссорился с Мэрттой?
— Еще бы! В те дни он никому не давал спуска
— Храбрый был, как лев.
— Это верно.
— Да и теперь его хладнокровию только дивиться можно.

— Безусловно.
— Он хороший лидер.
— Само собой.
— Каким образом удалось Пауэрсу завладеть этим округом? — спросил я у одного старика чиновника, молчаливо наблюдавшего за жужжащей толпой.

— Наши всегда хорошо к нему относились, — ответил чиновник. — Задолго до того, как был разделен сороковой округ, Пауэрс уже пользовался известностью среди жителей одного из кварталов. В то время лидером был Кример.

— Да, но каким образом Пауэрс выдвинулся?

— А как выдвигаются все?.. Он поработал над этим. Еще когда был помощником механика пожарной части и получал сто двадцать долларов в месяц, раздавал половину жалованья. Каждый мог занять у него денег — в этом-то и была вся суть. Я знавал его парнишкой, он еще тогда раздавал в долг до семидесяти семи долларов в месяц.

— Кем же он был, что мог так швырять деньгами?

— Старшиной «Клуба двухсот». Впрочем, никто не требовал, чтобы он тратил собственные деньги.

— И с этого началась его карьера?

— Он всегда был ловкий малый, — возразил мой собеседник. — Кример любил его. Кример сам умел дела делать, а Майк был храбр, как лев. Когда округ разделили, Кример уговорил Джона Келли отдать вторую половину Пауэрсу. Конечно, он сделал это потому, что доверял Пауэрсу и рассчитывал на его поддержку.

— Келли стоял тогда во главе местной организации?

— Да.

Пока мы разговаривали, какой-то возчик или мусорщик стал пробираться от широкой парадной двери к кабинету Пауэрса, где было полно народу; подойдя к порогу, он снял шляпу и почтительно остановился в сторонке. Вокруг болтались без дела десятки молодых энергичных людей. Чиновник отдела городского транспорта,

помощник районного сборщика налогов, младший служащий отдела городского хозяйства и многие другие сидели, удобно развалясь, в комнате шефа. Трое или четверо служащих из канцелярии начальника полиции, все в черных костюмах, похожие на священников, шепотом совещались между собой с многозначительным и хитрым видом, как обычно разговаривают карьеристы, стремящиеся выдвинуться на политическом поприще.

— Вам чего? — надменно спросил кто-то из них, подходя к ожидавшему у двери незнакомцу.

— Скажите, мистер Пауэрс нынче здесь?

Услышав это, Пауэрс, который сидел, развалясь в кожаном кресле, поднял голову, взглянул на человека, ждущего в приемной, потом воскликнул:

— Надень шляпу, старина! Здесь никто не снимает шляпы. Заходи!

Он помолчал, пока мусорщик не подошел, затем небрежно обернулся к своим прихвостням.

— А ну-ка, убирайтесь отсюда, дайте человеку потолковать со мной! — сказал он, явно стараясь показать, что одинаково прост и приветлив со всеми.

Чиновники, улыбаясь, вышли, и старика впустили в кабинет.

Я услышал, как Пауэрс начал: «Ну что, мистер Кассиди...» — тут он медленно подошел к двери и закрыл ее. Мы, оставшиеся по другую сторону, больше ничего не слышали. И только по тому, как низко кланялся старик, выходя через некоторое время из кабинета, и как он без конца повторял: «Спасибочки вам, мистер Пауэрс, спасибо!» — можно было понять, какого рода сделка, видимо, состоялась между ними.

Таких посетителей и таких разговоров было немало за этот вечер, а тем временем толпа жаждущих купить билет не иссякала. Сотни людей входили и выходили, причем некоторые достаивались кивка головы, другие — только беглого взгляда, третьих осматривали внимательно, испытующе.

— Это все члены клуба? — спросил я своего друга, в прошлом члена законодательного собрания, а ныне уполномоченного по выборам в моем избирательном округе.

— Почти все они — члены нашей окружной организации, — ответил он.

— Сколько голосов вы намерены закрепить за собой таким образом?

— Около пяти тысяч.

— А сколько всего избирателей в округе?

— Десять тысяч.

— Стало быть, еще до начала выборов вам обеспечена половина всех голосов?

— Мы обязаны их обеспечить,— ответил он многозначительно.— Пауэрс начнет действовать, только когда будет уверен, что большинство голосов уже за ним.

Так мы сидели, наблюдая за происходящим, а время шло, и толпа редела, и вот в клубе осталась лишь незначительная горстка людей. Около полуночи можно было считать, что уже все прошли, после чего Пауэрс вышел из кабинета и спокойно собрался уходить.

— Все сделано, Эдди? — спросил он стоявшего у дверей молодого ирландца с острым, как мордочка хорька, лицом.

— По-моему, все.

— Вы позаботитесь, чтобы помещение привели в порядок? — спросил он у сборщика налогов.

— Будьте спокойны, шеф, к утру оно расцветет, как майский сад.

ОЧИСТКА НЕФТИ

Неподалеку от Нью-Йорка, на южной оконечности полуострова, известного под названием Бейонн, есть участок земли, отведенный для своеобразной деятельности. Полуостров этот — длинная узкая коса — разделяет два широких залива: один уходит далеко к Ньюарку, другой к бескрайнему, неугомонному океану по ту сторону Бруклина. Во всякое время года тут свищет буйный ветер. Высоко над темными крышами зданий носятся чайки и крачки. Повсюду высоченные фабричные трубы, унылые строения из красного кирпича, громадные круглые резервуары для горючего — какой-то мрачный хаос, но он не лишен притягательной силы: так притягивает взгляд редкое уродство или трагическая театральная маска.

Здесь обосновалось процветающее предприятие — одна из ветвей гигантского дерева, — где производят,

точнее, очищают, нефть. В самый обычный будний день здесь открывается весьма внушительная картина того, что называют промышленностью. У этих причалов швартуются огромные суда, только что прибывшие или готовые отплыть во все порты мира. На бесчисленных железнодорожных путях, в тупиках и на ветках, отходящих от главных магистралей, длиннейшие составы нефтяных цистерн, словно стальные караваны, ждут своего часа, чтобы нести все новые грузы нефти в самые отдаленные уголки страны. Бесчисленные строения всех видов и размеров непрерывно изрыгают густые клубы дыма, и в пасмурный день, куда ни глянь, всюду багровеют огни,— их негаснувший отсвет придает унылому однообразию черных и серых тонов какую-то зловещую красоту.

Этот клочок земли, уж во всяком случае, примечателен и своей живописностью, а не только тяжким человеческим трудом. Художник найдет здесь тысячи контрастов, тысячи оттенков черного, серого, красного, синего — есть над чем поработать карандашом и кистью. Какие высокие эти трубы, а встают они над такой низкой, приземистой постройкой. На болотистой почве, образовавшейся за столетия из сплошной массы морских водорослей, всюду лужи с радужным отливом нефти, между ними чернеет земля, и еще черней — стены несчетных построек: ни один художник не устоит перед таким сочетанием тонов и оттенков. Уистлер создал бы здесь изумительные рисунки пером. Вьерж или Шини показали бы, что значит уловить и запечатлеть самую суть мрака. Если сюда случайно забредет человек восприимчивый, он содрогнется и поспешит прочь, угнетенный и подавленный. Это великое царство тьмы полно неустанного движения и притом играет всеми тончайшими оттенками серого и черного.

Но как ни поражает эта картина, еще поразительней скрытая за нею суровая жизнь. Тех, кто здесь работает — а их тысячи и тысячи,— можно не задумываясь назвать самыми обыкновенными людьми. Конечно они не обладают никакими особыми талантами, иначе они не работали бы здесь. Они не слишком привлекательны внешне, ибо тело обычно отражает душу, а за наружностью этих людей чаще всего чувствуется неповоротливый, неразвитый ум. В большинстве это шведы поляки, венгры, литовцы, которые еще плохо говорят по-английски; жизнь их тяжела и скудна, и тот, кто

привык к сколько нибудь сносным условиям существования, содрогнется при одной мысли о ней. Они ютятся в полуразвалившихся лачугах рядом с заводами, и одному небу известно, как удастся им сводить концы с концами. Заработок их невелик (доллар, полтора — уже хорошая плата), а многие должны еще кормить семью, большую семью, ведь у бедняков всегда много детей. Тут и там видны крохотные темные лавчонки и такие же темные дешевые кабачки, куда рабочие нередко заходят выпить. Глядя на эти лачуги и кабачки, невольно думаешь, что ни один человек, на каком бы низком уровне развития он ни стоял, не должен жить в таких условиях и что высшая мудрость, которой мы когда-то наделяли природу, не должна бы этого допускать. И, однако, все это перед вами.

Но в нестерпимую летнюю жару или в сильный холод, в дождь или снег, когда буйствуют стихии, эти трущобы обретают какую-то хмурую торжественность, скорбное достоинство или безнадежность, — за такое зрелище можно, пожалуй, воздать природе хвалу! Они такие угрюмые, такие безотрадные, неприютные. Художники должны бы писать с них картины. Романисты — изображать их в книгах. Музыканты — черпать здесь вдохновение для своих диссонансов и контрапунктов. Это жизнь в самом мрачном своем обличье, ее грубая, неприглядная изнанка.

Однако картина будет неполной, если, помимо жилищ, не описать работу на заводах — работу нудную, грязную, безрадостную, ничего не дающую ни уму, ни сердцу, ибо это процесс чисто механический, один и тот же изо дня в день, без намека на творчество: наполнять нефтью чаны; прибавлять в чан определенное количество разных химических веществ, способствующих очистке нефти, открывать и закрывать краны, чтобы нефть переливалась по трубам из одного чана в другой и, наконец, попадала в бочки и в баки, которые погрузят на автомобили или пароходы. Как все это делается, вы прочтете в любой энциклопедии. Меня же интересует другое: здесь, в гнетущей, сумрачной мгле, среди тошнотворных запахов и испарений, день за днем работают люди. Достаточно войти в заводской двор, заглянуть в любое из этих зданий, посмотреть на рабочих, на их усталую, тяжелую походку, чтобы понять, что эта полутьма, этот воздух, насыщенный зловонием и вредными

газами, отнюдь не благоприятствуют ни телесному здоровью, ни духовному развитию.

Повсюду видишь только нефть, всевозможные отходы и кислоты, задыхаешься от едких запахов. Со всех сторон из громадных труб поднимаются к небу столбы черного и сизого дыма или синеватые облака пара, которые, оседая, втягиваются в окна. Земля под ногами пропитана нефтью, нефтью забрызгано и перепачкано все вокруг — цистерны, грузовики, инструменты, машины, здания и, конечно, люди. От нее здесь, кажется, никуда не уйдешь. Самый воздух полон дыма и нефти.

И в такой обстановке работают тысячи людей. Их можно увидеть утром, когда с завтраком в котелке или корзинке они бредут на работу: лица у них землисто-бледные; от постоянного пребывания в дыму и вредных испарениях некоторые надрывно кашляют; а вечером они бредут обратно, лица их все так же землисто-бледны, и они все так же кашляют; за днем тяжелого труда наступает ночь, сон в убогой, мрачной лачуге, которую и домом-то не назовешь. А на смену тянется другая вереница людей. Каждое утро и каждый вечер в течение часа два встречных людских потока растягиваются на добрые две мили, направляясь на работу и возвращаясь с нее. Тут не заметишь ни искры веселья, ни признака оживления. На всех лицах застыло выражение, которое появляется только у человека, вынужденного исполнять какую-либо однообразную, механическую работу. Поистине это тягостное зрелище.

И все же я не сказал бы, что этот труд совершенно непосилен и невыносим. «Бог смиряет ветер ради стриженной овцы», — говорит старая пословица, и, конечно, она справедлива. Несомненно, эти люди не столь чутки и восприимчивы, как некоторые чувствительные натуры, и, вполне возможно, самое понятие того, что называется «окружающей атмосферой», им незнакомо и чуждо. Но здоровье их, бесспорно, разрушается на этой работе, и бесспорно также, что условия их жизни из рук вон плохи, все равно, виноват ли в этом невысокий уровень развития, или невысокий заработок, или то и другое вместе. Конечно, одно дополняет другое. Пожалуй, любую попытку помочь им материально или духовно они встретили бы с недоверием. Как бы то ни было, до сих пор никто и не пытался улучшить их положение. Им

платят жалованье, и никто даже не думает еще хоть чем-нибудь им помочь.

К примеру, для целой армии рабочих, которые очищают перегонные кубы и мешалки от нефтяных остатков и отбросов — отвратительной вязкой гущи, — отгорожен досками тесный закуток за каморкой старшего мастера; свет проникает сюда только через низкую дверь, нет ни мыла, ни полотенца, один лишь длинный желоб с водой, вроде низкого деревянного корыта, и все. В котельной, куда в полдень и вечером сходятся более трехсот рабочих, чтобы съесть свой завтрак или обед, тоже не лучше. Некоторые после работы все же пытаются кое-как почиститься, а другие так и уходят из цеха грязные — все равно толком не отмоешься. Это отнимает слишком много времени. Никому и в голову не приходит устроить для рабочих чистую, удобную столовую или, скажем, раздевалку. Еду люди приносят из дому в котелках.

Однако я не намерен здесь разбирать сложную проблему наемного труда с точки зрения этической, я лишь описываю, как выглядит эта отрасль нефтяной промышленности. Если вам по вкусу мрачные зрелища, в пасмурный или ненастный день вы найдете здесь законченную картину тяжкого, безотрадного труда, которая, возможно, скоро отойдет в прошлое, ибо мир неуклонно меняется.

С одной стороны, безмерно скаредные хозяева, те, в чьих руках огромная власть и богатство; с другой — безответные жертвы этой скаредности и равнодушия; и над всем — дым, газы, и всюду эти пропитанные зловономием каменные коробки. Право, если вы пожелаете отправить в ад злейшего врага своего, нельзя найти ничего более подходящего, чем отвратительные коробки, где люди бродят, как страждущие души в этом людьми же созданном чистилище; трудно себе представить, на каком низком уровне развития остаются почти все эти пасынки природы.

Внизу — непросвещенность и, скажем так, неразвитость ума и притупленность чувств; наверху, у главных акционеров нефтяного концерна, — роскошные особняки и конторы, собственные автомобили, коллекции картин. Для тех, кто наверху, — пышные дворцы Пятой авеню, великолепные курорты Ньюпорта и Палм-Бич, для них — искусство и свобода; для тех, кто внизу, — мрач-

ный заводской цех, тучи дыма, недуги, зловоние, убогое жилище. Но кто скажет, что это не есть predeterminedный порядок жизни? Можно ли это изменить? Кто может сказать?

ВО ТЬМЕ

Нельзя сказать, что здесь царит тьма в полном смысле слова, так как висящий над головой электрический фонарь отбрасывает широкий золотисто-желтый круг, но стоит холодная январская ночь, еще только четверть второго, и поблизости нет другого источника света. Темны и безмолвны редакции газет: место действия — тротуар перед зданием, где помещается одна из редакций. Повсюду, в каждой типографии, огромные валы печатных машин готовятся начать свой могучий бег, и, если бы прохожие перестали шаркать ногами по тротуару, вы сразу услышали бы звуки приготовлений. Немного позже, когда машины будут пущены в ход, вы услышите гул их стремительного движения, смутный, приглушенный и в то же время явственный — этот каскад новостей, которого ждет мир, ежедневная пища человеческих умов, словно хлеб, который булочник каждое утро оставляет у ваших дверей.

Но что за странные люди собираются здесь в этот ранний час? Еще несколько минут назад вокруг не было ни души, а теперь вон три или четыре человека рассуждают о том, почему наступили тяжелые времена, и подальше, в тени у подъезда, стоят еще трое или четверо. Вы оглядываетесь и видите, что они появляются со всех сторон из темноты и сходятся сюда, к свету, к еще пустому газетному киоску, где сидит в ожидании товара толстая старуха ирландка. На первый взгляд все они кажутся одинаковыми — маленького роста, худые, изможденные. Но спустя некоторое время вы убеждаетесь в том, что они не так уж похожи друг на друга, как вам сперва показалось, и что это люди разных национальностей. Правда, несомненно, всем им холодно, и все они испытывают легкое нетерпение. Они то и дело переходят с места на место, озираются по сторонам и смотрят на желтый освещенный циферблат часов над муниципалитетом или оглядывают улицу и изредка

бормочут два-три слова. Разговаривают здесь очень мало.

— В чем дело? Что происходит? — спрашиваете вы случайного соседа, который, должно быть, вполне в курсе дела, поскольку стоит здесь уже довольно долго.

— Ничего, — отвечает он резко. — Ждут утренних газет. Хотят первыми получить работу.

— Ах, вот что! — восклицаете вы, и, как молния, вас осеняет догадка: — Значит, они хотят опередить других. И они ждут всю ночь? Но ведь это очень тяжело, верно?

— Право, не знаю. Тут почти всё шведы да немцы. — Последние слова звучат так, будто эти две национальности и, без сомнения, некоторые другие не заслуживают человеческого отношения. — Это по большей части официанты, повара, буфетчики и судомойщики. Попадают и еще всякие. Но особенно много официантов.

— Неужели вы думаете, что этот старик — вон, с седой бородой, — был официантом?

— Ну нет! Это не официант. Не знаю, кто он таков, может, просто нищий. Таких не берут на работу. А вот те, молодые, это официанты.

Вы смотрите на них — да, они, пожалуй, молоды, эти люди, худые, тонкогубые, узкогрудые, с желтоватым, болезненным цветом лица; одежда их потрепана, и каждый держит под мышкой какой-то сверток в газетной или просто оберточной бумаге — быть может, фартук.

Вы начинаете размышлять, и при помощи случайных пояснений нового знакомого вам удастся, наконец, представить себе всю картину в целом.

Да, это очень большой, жестокий и холодный город, а собравшиеся здесь люди очутились, по крайней мере временно, на самой низшей ступени общественной лестницы. Столбцы объявлений в популярных утренних газетах привлекают их к себе, потому что сулят возможность найти счастье. И вот они приходят сюда в холодную ночную пору для того, чтобы опередить других и первыми получить работу. Кто первый придет, тот первый и получит.

Пока вы ждете и размышляете, кто-то осторожно и нерешительно подходит к вам. Этот человек выглядит не таким удачливым, как тот, с которым вы только что разговаривали, он более худ и более изнурен.

— Взгляните-ка, хозяин,— говорит он, разжимая ладонь и протягивая вам что-то блестящее, похожее на золото.

— Нет,— отвечаете вы с беспокойством (вы уже попадались раньше на эту удочку),— не хочу я ничего смотреть.

— Вы только взгляните,— настаивает он.

— Нет,— досадливо, резко отвечаете вы, но все же бросаете нерешительный, недовольный взгляд и видите золотой перстень с печаткой, на которой вырезаны инициалы.

Он сжимает кольцо в худой руке и снова прячет в карман.

Он уже собирается отойти от вас, как вдруг его осеняет другая мысль.

— Вы ищете работу? — спрашивает он.

— Нет.

— А вы не повар?

— Нет.

— Да ну?! А я думал, вы какой-нибудь важный шеф, они иной раз приходят сюда.

Сомнительный комплимент, но все же лучше, чем ничего. Вы немного смягчаетесь.

— Я вот официант,— сообщает он, завладев, наконец, хотя бы на минуту вашим вниманием.— Я хочу сказать, когда бываю здоров. Сейчас я малость расклеился. Лучшее, на что я могу рассчитывать,— это мытье посуды. Но по профессии я официант, одно время даже работал барменом. А об этой компании много говорить не приходится. Все они работают в дешевых ресторанах. В субботу вечером почти все напиваются, и если в воскресенье опаздывают, им дают расчет. Хозяин нанимает новых. А в воскресенье ночью или в понедельник они опять приходят сюда.

Вы готовы согласиться, что это описание вполне вяжется с вашими собственными наблюдениями над некоторыми из окружающих,— но ведь тут есть и другие, по виду люди семейные, которые выглядят такими измученными и жалкими.

— Конечно, здесь и других много,— подсказывает ваш новый знакомый.— Каждый день бывает по три столбца с требованиями на маляров. Почти каждый день печатают столбец с требованиями на типографских

рабочих. Ведь люди красят свои дома круглый год. Бывает, требуются поденщики. Или плотники. Этим удастся найти место. Но больше всего спрос на поваров, официантов и судомоев.

Вы задумываетесь над тем, соответствует ли это истине, но его рассказ звучит достаточно правдоподобно. Совершенно очевидно, что в огромном большинстве эти люди — повара и официанты. Их поиски работы должны начинаться очень рано, так как рестораны и гостиницы обычно бывают открыты ночь напролет. Так что это вполне вероятно.

И все время вам хочется знать, почему же до сих пор нет газет. Ведь просто позор, что эти люди должны стоять здесь так долго. Собралась уже целая толпа, человек двести или триста.

Полисмен, тяжело топая, шагает туда-сюда, старается расчистить проход. Он настроен далеко не дружелюбно.

— Посторонитесь! — сердито приказывает он. — В последний раз вам говорю!

В толпе образуется широкий проход.

И вот внезапно появляется мальчик, он бежит, едва удерживая в равновесии свою ношу — огромную связку самой ходовой утренней газеты. Кажется, толпа готова схватить мальчика и вырвать у него газеты, но вместо этого она только быстро смыкается позади него. Когда он добегаёт до старухи ирландки, вокруг ее киоска образуется сплошное кольцо людей, которые толкаются и наперебой хватают газеты.

Воздух оглашается отчаянными криками: «Мне! Дайте мне! Поскорее!» — и за какие-нибудь пять минут происходит оживленная и бурная распродажа. Потом люди разбегаются, держа в руках газеты, как убегает собака с костью в зубах. Каждый спешит к какому-нибудь ближайшему источнику света и торопливо просматривает столбцы объявлений. Иногда они делают в газете какие-то отметки и затем поспешно уходят. Они нашли то, что нужно.

Жалкое и, в сущности, мрачное зрелище. Ваш собеседник-судомой (он же бывший официант) сообщает вам, что, помимо чаевых, большинство этих людей может рассчитывать всего лишь на пять долларов в неделю и харчи. И он добавляет, что харчи отвратительные. Пока вы разговариваете с ним, некий прилично одетый,

солидно зарабатывающий журналист проходит мимо, направляясь в этот поздний час домой. Какой контраст! Какая пропасть между ним и всеми этими людьми!

— А знаете,— говорит ваш собеседник,— я думал, что получу сегодня работу. Думал, кто-нибудь купит это кольцо. Утром в ломбарде мне за него дадут доллар семьдесят пять центов. У меня нет денег на трамвай, а то бы я не заговорил об этом. Я всегда закладываю кольцо в начале недели и выкупаю в субботу. Утром заложу его и попытаю еще раз счастья завтра ночью.

Какая грустная повесть! Какая нужда!

Вы опускаете руку в карман и достаете монету в двадцать пять центов. Вы покупаете ему газету. «Это вам на счастье»,— говорите вы ободряюще. Но какая нищета! Какая глубина падения! И подумать только, что каждый из нас может до этого дойти!

Он уходит, уходят и другие, и снова вокруг ночь и тишина. Сейчас здесь нет никакого движения, нет большой нужды освещать улицу. Старая ирландка погружается в унылое ожидание утра. Лишь изредка какой-нибудь прохожий купит у нее газету.

А те, другие? Они рассеялись во все стороны: сейчас они обивают пороги дешевых ресторанов в Бруклине, Манхэттене, Бронксе, Хобокене, Стейтен-Айленде; они сидят в ожидании на ступеньках подъездов; они отстаивают свое место у дверей магазинов. Они имеют право просить работы первыми, быть первыми потому, что они пришли первые. Благородная привилегия!

А вы и я... что ж, мы вернемся к своим снам, нас ждет отдых и покой. Жизнь идет своим чередом. Нам предначертан другой удел. Мы не из числа этих людей, живущих во тьме.

В МЕТЕЛЬ

Зимний день. Только четыре часа, а все уже тонет в вечернем сумраке. Густо падает снег, мелкий, колючий, подхваченный резким ветром, он взмывается длинными, тонкими космами и сечет, как хлыстом. Снег устилает улицу холодным мягким ковром в шесть дюймов толщиной; экипажи и пешеходы обратили его в бурое месиво.

По заснеженной Бауэри-стрит бредут люди, подняв воротники, нахлобучив шляпы до самых бровей.

Перед грязным четырехэтажным зданием собирается толпа. Сперва подходят двое или трое; постукивая ногой об ногу, чтобы хоть немного согреться, они слоняются около запертой деревянной двери. Они даже не пытаются войти внутрь, а лишь уныло топчутся, глубоко засунув руки в карманы, и исподлобья поглядывают на пешеходов и на зажигающиеся фонари. Здесь и седобородые старики с ввалившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнуренные недугом, и люди средних лет.

Толпа у дверей прибывает, слышен приглушенный гул голосов. Это не беседа, а непрерывный поток замечаний, ни к кому не обращенных. Раздается брань, недовольные возгласы:

— Хоть бы поторопились, что ли.

— Гляди, фараон-то как уставился.

— Что они, думают, сейчас лето?

— У Пири на полюсе — и то, верно, теплее.

Ветер хлещет все злей, и люди теснее жмутся друг к другу. Ни гнева, ни угроз. Одно лишь угрюмое терпение, не скрашенное хотя бы шуткой или добрым словом.

Мимо с шумом проезжает автомобиль, внутри небрежно развалился седок. Кто-то у самой двери кивает на него:

— Ишь, покатыл!

— Ему-то не холодно.

— Эй, эй! — кричит еще кто-то вдогонку, но автомобиль уже далеко, и пассажир не услышит.

Мало-помалу подкрадывается вечер. Прохожие спешат по домам. А толпа по-прежнему упорно топчется у двери.

— Да откроют они, наконец? — раздается хриплый и словно бы подстрекающий голос.

И толпа, всколыхнувшись, придвигается ближе к запертой двери: все взоры устремляются на нее. В глазах людей уныние, точно у бессловесных тварей, точно у собаки, когда она скулит и ждет, не повернется ли ручка двери. Они переминаются с ноги на ногу, щурятся, что-то бормочут, чертыхаются. Они все ждут, а снег все метет, все хлещет их.

В доме зажигают свет, и его тусклые отблески появляются на стекле вверху двери. Толпа сразу оживает. Все гуще падает снег, он скопляется на потрепанных шляпах, на худых острых плечах, и никто его не стряхивает. От тепла и дыхания столпившихся у двери людей снег тает, капает с полей шляп, течет по носу, по щекам, но в такой тесноте нельзя даже поднять руку и вытереть лицо. По краю толпа реже, и там снег не тает. Те, кто не может пробраться в середину, втягивают головы в плечи, съеживаются.

Наконец, слышится скрип засовов, и толпа настораживается. Кто-то кричит: «Эй, вы, не нажимайте!» — и дверь отворяется. Минута толкотни и давки — угрюмо, по-звериному молча каждый старается первым протиснуться внутрь, и толпа быстро уменьшается. Люди исчезают в здании, как плавучие бревна, уносимые течением. Продрогшие, съежившиеся, замученные, в обвисших шляпах и промокших пальто, они сплошным потоком вливаются в двери мрачного здания.

Ровно шесть часов, и по лицу каждого прохожего видно, что он торопится домой, где его ждет ужин.

— А еду какую-нибудь у вас купить можно? — спрашивает кто-то седого старика привратника.

— Нет, только койку.

На сегодня все, кто ждал у двери, обрели ночлег.

В СНЕГУ

Своеобразные картины можно увидеть зимним днем в большом городе. Если идет снег, улицы миглом покрываются слякотью, и это немалая помеха деловой жизни города. В первые минуты снегопад даже красив: воздух полон летучим пухом, низкое небо затянуто тучами. Потом начинается слякоть, грязь, а нередко и пронизывающий холод. Скрипят и скрежещут на морозе экипажи; тысячи мужчин и женщин — волны людского прибоя, заполняющего улицы города, — снуют взад и вперед, спеша покончить с работой или с делом, которое удерживает их вне дома.

В такую погоду в некоторых кварталах можно увидеть людей, которых природа и обстоятельства сделали неотъемлемой частью снегопада. Они словно чайки, со-

проводящие в море стаи рыб. Нужда — вот что соединяет их и роднит, в известной степени она их классовый признак. Они не только бедны телом, они бедны и духом, а что касается земных благ, у них, конечно, нет ничего.

Как чайки кормятся рыбой, так эти люди кормятся непогодой. Они урывают свои крохи, следуя за подрядчиками, которые берутся очистить городские улицы от снега; около сараев, где хранятся лопаты и скребки и где ежедневно раздают наряды на работу, собираются сотни людей и подолгу ждут здесь да еще в такую рань и в такую погоду, что смотреть тошно. Перед рассветом, когда начинают распределять работу, они уже там — продрогшие, без пальто, часто без перчаток и шарфов, у них нет даже воротничков, а если и есть, то изодранные в клочья; а шляпы так помяты и истрепаны, что, по правде говоря, их уже и шляпами не назовешь.

За уборку снега город обычно платит этим людям по два доллара в день. Но подрядчики даже и за такие гроши неохотно их нанимают, предпочитая более здоровых людей, ищущих временную работу; однако под давлением городских властей и общественного мнения волей-неволей надо соблюдать хотя бы видимость заботы о бедняках. Итак, тысячи людей, которым не находится никакого иного применения, получают временный заработок, — вот они, эти люди.

Итак, в холод, в пронизывающую сырость они, как стадо овец, ждут у ворот. В этом старании поддержать свою жизнь не чувствуется особого пыла. В них еще теплится жажда жизни, но жажда бессильная, почти угасшая, ибо они ни у кого не находят поддержки. Они пытались просуществовать в этом мире, и их долго швыряло и кидало во все стороны, пока они почти утратили волю и мужество. Для других непогода означает домашний уют, тепло, развлечения; для них же это случай тяжелым трудом заработать кусок хлеба: жалкий, конечно, а все-таки хлеб.

И вот они собираются здесь спозаранку, в темноте. Они выстраиваются длинной очередью у двери конторы подрядчика и ждут, пока он распорядится ими по своему усмотрению. Наконец за небольшим окошком, прорезанным в двери, появляется человек. Это энергичный, прижимистый субъект, на лице его трудно заметить признаки мысли, зато жадность видна отчетливо. Ему нет

дела до людей, стоящих перед ним. Его мало трогает, что почти все они хватаются за эту работу с отчаяния, как за последнюю соломинку. Ему важно одно: смогут ли они работать? И возьмут ли по доллару семьдесят пять центов вместо двух долларов, которые платит город? Подрядчик не спрашивает об этом прямо; это делается иначе:

— Лопата есть?

— Нет, сэр.

— Тогда с тебя двадцать пять центов за лопату.

— У меня нету.

— Ладно, вычтем из получки.

И имейте в виду, двадцать пять центов за лопату удерживают не только в первый день, но ежедневно. Подрядчики обычно объясняют это тем, что лопаты иногда крадут, но ведь над каждой партией рабочих поставлен десятник, за лопаты отвечает он, а без его разрешения рабочему не заплатят ни гроша. Следовательно...

И все же, несмотря на все свои страдания, эти люди вносят в жизнь города какие-то волнующие краски. Подчас жалко смотреть, как в пронизывающий холод они бредут за громадными фургонами, в которых связят с улиц снег, и однако это захватывающее зрелище. Я видел, как седобородые, косматые, белые как лунь старики лопатами наваливали снег в кузов. Я видел, как работали тощие, изголодавшиеся, плохо одетые подростки; их худые, костлявые, красные от холода руки торчали из слишком коротких рукавов. Я видел, как хилые, чахоточные бродяги в снегу, на морозе, кутаясь в лохмотья и еле передвигая ноги, через силу ворочали лопатой.

Да, в лучшем случае грустная и запутанная это штука — жизнь. Судьба так слепо, наобум распоряжается рождением и смертью, что даже трудно винить человека. Она разбивает вдребезги мечты королей и нищих, осыпает лежебоку золотыми цехинами, отнимает у труженика то немногое, что он заработал в поте лица, — и все это с таким равнодушием, что в конце концов просто теряешься. Легко обвинять неудачника в том ли, в другом ли, и подчас обвинения справедливы; и однако же легко понять, как могла случиться беда. Не всегда хватало ума и способностей, вмешалась болезнь, ложный шаг, нечестный поступок — и усилия долгих лет пошли прахом: тот, кто упорно пробивался наверх, снова

оказывается на самом дне. Остается только барахтаться там, внизу, и подбирать падающие на дно крохи. Вот они, эти люди.

Итак, снегопад, подобно даровой похлебке в бесплатных столовых, подобно ночлежке на Бауэри-стрит, дает им возможность существовать... кое-как, не более того. Еще несколько дней — и снега не будет. Еще несколько дней — и солнце станет пригревать и отнимет у них этот заработок. Они снова канут во тьму подвластной случаю жизни, откуда ненадолго появились. Только теперь их и можно увидеть всех вместе, на холоде, в снегу, с лопатами в руках.

Но плохи ли они, хороши ли, я люблю вспоминать их такими, какими видел не раз вечерами, после трудового дня, когда они стояли у сараев в ожидании получки. Тот, кто давно потерял всякую надежду найти работу, радуется самым жалким грошам, если их удалось заработать своими руками. Отблески этой радости изредка мелькают на хмурых лицах людей в длинной очереди у сарая. Зимний вечер, уже темнеет, зажглись уличные фонари; люди переминаются с ноги на ногу, стараясь согреться. Им приходится ждать в конце каждого рабочего дня, но они терпеливо предвкушают получку, доллар семьдесят пять центов за долгий день работы на холоде. Они охотно жертвуют двадцатью пятью центами. Двадцать пять с каждого, а их ведь сотни — и подрядчик изрядно и без хлопот наживается. А они?.. Они рады уже и тому, что есть с чем встретить завтрашний день. Это не пустяк, если есть чем заплатить за ночлег и за еду. Доллар семьдесят пять — целое богатство для таких бедняков, все равно что для иных пятьдесят, или сто, или тысяча долларов. Довольство и радость так относительны. А они ведь заработали эти деньги — и теперь их ждет вся та сказочная роскошь, какую можно себе позволить за один доллар семьдесят пять центов.

Из сборника «ЦЕПИ»

ПРИБЕЖИЩЕ

I

Прежде всего — вот в каких условиях она росла до пятнадцати лет: каменные коробки битком набиты беднотой; газовые рожки бросают тусклый свет на выкрашенные зеленой краской стены тесных прихожих; кажется, будтоходишь не в жилой дом, а в морг; стены грязных комнат и коридоров выкрашены синей, коричневой, зеленой краской, чтобы сэкономить на обоях; голые деревянные полы давным-давно пропитались грязью, дешевым жиром, маргарином, салом, пивом, виски и табачным соком. Иной раз какой-нибудь любитель чистоты и поскребет пол в своем углу — предполагается, что таким способом в доме поддерживается чистота.

И где бы она ни жила, квартал за кварталом тянулись такие же голые, однообразные каменные коробки, битком набитые людьми; с грохотом неслись подводы, всякие повозки, воняющие бензином грузовики. Духота и пыль летом, ледяной ветер зимой; кое-где бродячая кошка или собака роется в мусорном ящике, и надо всем бдительное око величественного полисмена, и всюду снуют люди, люди... Бог весть как они добывают кусок хлеба, и живут они так, как только и можно жить в таких условиях.

В этой обстановке, то перебиваясь кое-как, то катясь по наклонной плоскости, а то и вовсе в ужасающей бедности жили портовые грузчики, возчики, уборщицы, судомойки, официанты, швейцары, прачки, фабричные рабочие. И, насколько ей было известно, единственным источником существования для всех этих людей было

нечто загадочное, изменчивое и зыбкое, что называлось еженедельной получкой.

Ее всегда окружало пьянство, драки, жалобы, болезни, смерть; являлась полиция и забирала то одного, то другого; приходили сборщики платы за газ, за квартиру, за мебель, барабанили в дверь, требовали денег и не получали их... В свое время являлся и гробовщик, его встречали отчаянными воплями, словно такая жизнь была бог весть каким счастьем.

Неудивительно, что по общему мнению, ничего хорошего в такой атмосфере вырасти и не может. Как? Цветок, распустившийся на помойке? Вот именно, и не так уж редко на помойке рождается цветок, но едва ли он достигнет пышного расцвета. И, однако, здесь может распуститься цветок души, во всяком случае появиться здесь он может. А если он сморщится и увянет в этом отравленном воздухе, что ж, пожалуй, это естественно, хотя в действительности далеко не все цветы, рожденные на такой почве, увядают. Цветы бывают разные.

Глядя на Мэдлейн Кинселла, когда ей было пять, семь, одиннадцать и даже тринадцать лет, можно было согласиться, что она и в самом деле своего рода цветок — быть может, не из числа гордых, великолепных орхидей или гардений, но все же цветок. Ее очарование было проще, скромнее; в ней не было той яркости, которую обычно называют красотой. Она никогда не была ни румяной, ни цветущей, ни задорной и смелой. С детства она всегда пряталась от жизни, забиваясь в самые уединенные и укромные уголки, удивленно, подчас испуганно глядя на все широко открытыми кроткими глазами.

Ее лицо — нежно очерченное, бледное — ничем не поражало с первого взгляда. Серо-голубые глаза с темными зрачками, черные волосы, тонкие длинные пальцы — все это никак не могло понравиться молодым людям ее среды. Каждое движение ее гибкой, стройной фигурки было проникнуто бессознательной грацией. Рядом с грубоватыми, цветущими, крикливыми девушками, которые ее окружали и которые нравились парням, она была незаметна, но все же казалась в иные минуты очень миловидной, подчас даже красивой.

Тяжелее всего на ее юность и на всю ее жизнь повлияла обстановка в семье — бедность и полная никчемность ее родителей. Они были так же бедны, как и все

кругом, и вдобавок это были люди сварливые, озлобленные и ничтожные. Когда ей было лет семь-восемь, в ее сознании стал смутно вырисовываться облик отца; этот маленький человечек, вечно пьяный, вздорный, болтливый, постоянно был без работы, вечно ссорился с матерью, сестрой, братом; а мать всегда попрекала его, называя горьким пьяницей.

— Врешь! Врешь! Врешь! — Как хорошо ей запомнился этот его неизменный припев, звучавший у нее в ушах, в каком бы подвале, в какой бы жалкой дыре они ни жили. — Врешь! Не делал я этого! Врешь! Не был я там!

Мать ее, постоянно угнетенная своими болезнями, часто сама полупьяная, не оставалась в долгу и отвечала ему в том же духе. Старший брат и сестра были приятнее в обращении; им так же доставалось, как и ей; но они лишь ненадолго появлялись откуда-то и вновь исчезали, чтобы переждать домашнюю грозу; она же, робкая и боязливая, принимала все это как неизбежное, быть может даже необходимое: ведь жизнь так сурова, загадочна, непостижима.

Нередко бывало и так:

— Эй ты, крыса, сбегай, притащи мне пива! Да поживее!

Она хватала кувшин и, испуганная, крепко сжимая тонкими пальцами доверенную ей монету, бежала в дешевую пивнушку на ближайшем углу, дивясь по дороге всем чудесам и радостям улицы. В то время она была еще такая маленькая, что не могла дотянуться до стойки, и ей приходилось прибегать к помощи бармена или какого-нибудь посетителя. И она терпеливо ждала, пока ей наливали пиво и дразнили за малый рост.

Раз, только раз, на нее напали по дороге трое мальчишек; они знали, куда она бежит, знали, что ее жалкий замухрышка-отец страшен разве что своим домашним, — и они выхватили у нее деньги и удрали; вытирая слезы, она в страхе вернулась к отцу, а он ударил ее и выругал за то, что она не отбилась от мальчишек:

— У, чтоб тебя, на черта ты годишься! И этого не можешь сделать!

Ей бы пришлось много хуже, если бы мать не оказалась трезвой и с бранью не вступилась за нее. А на долю мальчишек, отнявших деньги, достались лишь ру-

гательства и страшные проклятья, которые никому не причинили вреда.

Несколько иное, но не менее жалкое существование вели два других члена семьи: ее брат Фрэнк и сестра Тина.

Фрэнк был худощавый, подвижной подросток, способный подчас так же вспылить, как отец, и отнюдь не желавший безропотно подчиняться отцовской воле. Мэдлейн помнила, что по временам окружающая обстановка страшно возмущала его, и он бранился и проклинал все на свете, даже грозился уйти из дому; в другие дни он бывал настроен довольно мирно, во всяком случае не принимал участия в отвратительных сценах, которые постоянно устраивал отец.

Мальчишкой, лет двенадцати-тринадцати, Фрэнк поступил на какую-то фабрику и некоторое время приносил свой заработок домой. Но часто дома для него не находилось ни завтрака, ни обеда, и, когда отец и мать бывали порядком на взводе или ругались, все в доме приходило в такое запустение, что, будь даже семейные узы и крепче, человек, хоть немного повидавший жизнь, не мог бы вынести эту обстановку,— и Фрэнк сбежал.

Мать вечно жаловалась на прострел и не поднималась с постели даже в те времена, когда Фрэнк и Тина работали и приносили домой свой заработок или хотя часть его. Если она и вставала, то лишь для того, чтобы повозиться около убогой плиты и вскипятить себе чашку чаю, и все это — не переставая жаловаться.

Еще совсем крошкой Мэдлейн слабыми, неумелыми руками пыталась помогать матери, но не всегда знала, как взяться за дело, а мать была то больна, то плохо настроена и не подпускала девочку к хозяйству.

С Тиной получилось то же, что и с Фрэнком, только это произошло еще раньше.

Когда Мэдлейн шел шестой год, Тина была уже большая десятилетняя девочка, миловидная, веселая, с золотистыми волосами; она работала где-то в кондитерской за полтора доллара в неделю. Когда же Мэдлейн было восемь лет, а Тине тринадцать, она перешла на пуговичную фабрику и зарабатывала уже три доллара.

Мэдлейн смотрела на сестру со смутным чувством восхищения и страха; ей чудилось в Тине что-то смелое,

непокорное — в ней самой этого совсем не было, и она не могла бы определить, что это такое, ведь она еще плохо разбиралась в жизни. Просто она видела, что Тина, миловидная, крепкая, уже с девяти лет отказалась бегать за пивом по приказу отца, хоть он и ругал ее, даже колотил или швырял в нее чем попало; нередко ей доставалось и от матери; часто после работы или в воскресный вечер она стояла на крыльце, глядя на людную улицу, или прогуливалась с другими девочками и мальчишками, хотя мать велела ей подмести, вымыть посуду, прибрать постель или выполнить еще какую-нибудь скучную, унылую домашнюю работу.

— Хватит тебе красоту наводить! Хватит, говорят тебе! — кричал отец, как только она подходила к разбитому зеркалу поправить волосы. — Вечно она крутится перед этим чертовым зеркалом! Если ты не отойдешь сейчас же, я выкину тебя вместе с ним на улицу! Ну, кой черт ты вечно перед ним вертишься?

Но Тину все это, как видно, мало трогало, она только отмалчивалась, а иногда с вызывающим видом расхаживала по комнате и напевала. Она старалась одеваться как можно наряднее, видно, ей казалось, что этим она может хоть немного скрасить свою невеселую жизнь. Она всегда все прятала, не позволяла домашним трогать ее вещи. Чем старше она становилась, тем больше ненавидела отца и в горькие минуты называла его пьяницей и дураком.

Тина никогда не была послушной дочерью: отказывалась ходить в церковь и почти ничего не делала по дому. Когда отец и мать напивались или затевали драку, она, бывало, улизнет и сидит у какой-нибудь подружки по соседству. И хотя они жили в убожестве и нищете, вечно переезжали с места на место, скверно питались, Тина в двенадцать-тринадцать лет уже ухитрялась всегда выглядеть нарядной и миловидной.

Мэдлейн часто вспоминала ее клетчатое платье, неизвестно где раздобытое, которое было так к лицу Тине, и позолоченную булабочку у ворота. Сестра как-то по-особенному высоко укладывала свои золотистые волосы — эта прическа больше всего запомнилась Мэдлейн, быть может потому, что отец вечно ругал за это Тину.

Неудивительно, что в двенадцать-тринадцать лет Мэдлейн ничего не знала, ничего не умела и ничего по-настоящему не понимала в огромном мире, который ее окружал. С тех пор как отец умер от воспаления легких, а брат и сестра ушли из дому, чтобы начать самостоятельную жизнь, пьяница мать оказалась в сущности на ее попечении.

Первое время Мэдлейн могла только выполнять мелкую подсобную работу в лавках и мастерских или помогать матери, когда та нанималась стирать и производить уборку. Если у них вовсе не оставалось денег на квартиру, на обед, на уголь, м-с Кинселла бралась за какую-нибудь случайную работу в прачечной или на кухне, мыла полы или окна, но все это ненадолго: пристрастие к спиртным напиткам скоро лишало ее и этой работы.

Мэдлейн до тринадцати лет только помогала матери, а потом ей удалось самой получить работу на кондитерской фабрике за три доллара и тридцать центов в неделю — заработок хоть небольшой, но регулярный, однако не было никакой уверенности, что мать прибавит к нему столько, чтобы хватило на еду и на топливо. Нередко, пока дочь работала, мать заливала вином свои горести, а по вечерам и по воскресеньям вознаграждала Мэдлейн пьяной болтовней, от которой на душе становилось еще тягостней.

Иногда девочка буквально голодала. Подвыпив, мать обычно начинала хныкать и вспоминать всю свою несчастную жизнь, отчего ее робкая и очень отзывчивая дочь приходила в полное уныние. Девочка мучительно искала хоть какого-нибудь выхода. Массовые увольнения на кондитерской фабрике снова вернули ее в ряды тех, кто безуспешно ищет работу. Одна соседка, пожалев ее, сказала, что на рождественские дни нужны продавцы в универсальном магазине, но к этому времени Мэдлейн так обносилась, что с ней там и разговаривать не стали.

Потом владелец ресторана на соседней улице взял ее и мать в судомойки; мать он вскоре вынужден был уволить, но Мэдлейн хотел оставить. Однако ей пришлось сбежать оттуда, даже не получив сполна тех ничтожных денег, которые ей причитались, потому что повар напугал ее своим чрезмерным вниманием. Потом Мэдлейн

устроилась прислугой в одной семье, где она прежде вместе с матерью мыла полы.

Кто имеет хоть малейшее представление о жизни прислуги, тот знает, как убога, однообразна и беспросветна эта жизнь. Где бы ни жила Мэдлейн в прислугах,— а лучшей работы ей найти не удавалось,— в ее распоряжении были только кухня или каморка под самой крышей. Здесь она должна была проводить все время, если не работала где-нибудь по дому или не уходила навестить мать. Кастрюли и сковородки, чистка, мытье, уборка — в этом проходила вся ее жизнь. Если кто-либо, кроме матери, хотел ее видеть (что случалось редко), можно было пройти только в кухню, мрачную и неуютную.

У нее, как она скоро поняла, не было никаких прав. Утром она должна была подыматься раньше всех, даже если накануне ей пришлось работать до поздней ночи. Она должна была прежде подать завтрак другим, а потом уже могла поесть сама, что останется. Затем она подметала и убирала комнаты. В одном доме, где она служила, когда ей шел пятнадцатый год, хозяин так приставал к ней, стоило только жене отвернуться, что Мэдлейн пришлось уйти; в другом доме к ней приставал хозяйский сын. К этому времени она похорошела, но по-прежнему была незаметна и робка.

Но где бы она ни была, что бы ни делала, она постоянно вспоминала о матери, Тине, Фрэнке, об отце, о безысходной нужде, о слабостях и пороках, которые погубили их. Ни брата, ни сестры она так больше и не видала. Мать же — Мэдлейн знала это (несмотря ни на что, она жалела старуху) — останется с нею до конца дней своих, если только Мэдлейн не сбежит, как другие.

С каждым днем мать все больше опускалась, все меньше могла сдерживаться и думать о ком-либо, кроме себя. И хотя она была плохая мать, Мэдлейн невольно думала о том, как тяжело ей всегда жилось. Где бы мать ни получала работу (а теперь это бывало не часто), ее скоро прогоняли, и тогда она являлась к хозяйке Мэдлейн и просила разрешения повидать дочь. Ее замызганное платье, рваная шаль, бесформенная шляпка, весь вид этой опустившейся женщины, естественно, вызывали негодование в каждом добропорядочном доме. И если только Мэдлейн позволяли выйти к ней, старуха начинала жаловаться на свою горькую нужду.

— Господи, масла у меня ни капли не осталось, угля ни крошки нет! — Она плакалась, что у нее нет то хлеба, то мяса, но никогда — что нет виски. — Ты ведь не допустишь, чтобы твоя бедная мать мерзла и голодала, правда? Ты же добрая девочка. Ты дашь мне пятьдесят центов, деточка, если у тебя есть, или хоть двадцать пять, и я к тебе тогда долго не приду. Ну, хоть десять центов, если уж не можешь дать больше. Бог тебя наградит. Завтра я сама возьмусь за работу. Ты же добрая, ты не прогонишь меня ни с чем.

Стыд и жалость боролись в дочери, когда она делилась с матерью тем немногим, что у нее было, дрожа от страха, как бы появление этой неприглядной старухи не навлекло на нее неприятностей. Потом мать уходила; нередко она бывала навеселе и ноги ее заплетались, а кто-нибудь из прислуги, должно быть, видел это и доносил хозяйке, — та, конечно, не желала больше пускать старуху на порог и так и говорила Мэдлейн или для верности просто давала ей расчет.

Так от четырнадцати до шестнадцати лет она переходила из дома в дом, из лавки в лавку в напрасной надежде, что мать, наконец, оставит ее в покое.

И все же это была пора ее юности, когда кровь быстрее бежит по жилам, когда жизнь зовет, — та большая, неизведанная жизнь, которая сулила ей все, потому что до сих пор еще ничего не дала. Маленькие радости бытия, грошовые наряды и украшения — все, чем тешится юность, которой всегда свойственно желание нравиться, все эти пустяки приобрели в ее глазах особое значение. Она достигла возраста, когда все перестраивается в молодом существе, когда эхом откликаются друг другу мысли, краски, мечты. Весь мир раскрывался перед ней.

И, конечно, любовь не заставила себя долго ждать: появился некий выдавший виды молодой человек и от нечего делать стал ухаживать за ней. Отец его был довольно состоятельный бакалейщик, и он по сравнению с Мэдлейн был человеком уже какого-то иного круга. Молодой человек был хорош собой: румяный, светловолосый, голубоглазый, и самодовольства его хватило бы на десятерых. Он мимоходом заинтересовался робкой миловидной девушкой.

— А я вас вчера видел, вы мыли окна! — Или с той же сияющей неотразимой улыбкой: — Вы, верно,

живете недалеко от Блейк-стрит. Я вижу, вы часто ходите в ту сторону.

Мэдлейн смущенно отвечала, что это верно. Какое чудо, что ею заинтересовался такой блестящий молодой человек!

По вечерам, да и в любое время, если она шла по какому-нибудь поручению или к матери, которую она навещала в ее убогой каморке, он, заметив ее в стремительном людском потоке, с ловкостью опытного водоки-ты подходил и заговаривал с ней. Он пробовал напроситься в гости, но это не удавалось, потому что и комната матери, да и сама мать были слишком уж убоги. Наконец он убедил ее, что не может быть ничего лучшего, как в ближайшее воскресенье прокатиться в автомобиле в одно из шумных веселых местечек на побережье, куда он любил ездить со своей компанией.

Один только раз побывала она в стране чудес и окунулась в вихрь развлечений, один только раз побывала в зале, где он учил ее танцевать под звуки музыки, сливавшейся с плеском волн, один только раз пообедала она в шумном раззолоченном ресторане,— и самые радужные надежды пробудились в ее душе, казалось — вот-вот сбудется мечта о счастье. Да, жизнь более радостна, чем она думала прежде,— во всяком случае ее можно сделать радостной. Не все люди дерутся и кричат друг на друга, в мире есть еще и нежность, есть и ласковые, теплые слова.

Но столь искушенный молодой человек с девушками не медлил и не любил околичностей. В девичьей свежести он способен был находить только преходящее удовольствие, как в цветке, который можно сорвать и бросить. Он был из породы людей, которые в погоне за удовольствиями растаптывают чужую молодость — молодость тех девушек, чья жизнь так уныла и безрадостна, что они готовы все отдать за ласковое слово, за малейшее развлечение, за одну возможность побыть в обществе человека более опытного и сильного, чем они сами.

Такою была и Мэдлейн.

Стоило в ее пустом, безрадостном существовании появиться красивому, самоуверенному и опытному мужчине, который показал ей такие чудеса, какие ей и не снились, повел ее туда, где много огней, красок, убедил ее, что она создана для лучшей жизни, хоть, может быть, эта жизнь придет еще и не завтра,— и Мэдлейн

доверилась тому, кто меньше всего был достоин доверия. Чтобы добиться своего, он даже вел разговоры о свадьбе когда-нибудь в будущем, о том, что любовь должна быть великодушной, доверчивой, а потом...

III

Сыщик Эмундсен, ястребиным оком наблюдая за районом Четырнадцатой улицы и Кай-стрит, неподалеку от Блейк-стрит, где одно время жила Мэдлейн, заинтересовался новым лицом, которое показалось ему несколько подозрительным.

Уже с неделю, в разные часы дня, он замечал в своем районе девушку, то крадущейся, то вызывающей походкой проходящую по улицам, где порядочным женщинам и появляться-то не следовало. Разумеется, он еще не видел, чтобы она с кем-нибудь заговорила; да и не было в ее взгляде и движениях ничего, что наводило бы на мысль, будто она может заговорить.

Все же уверенно, как старый, искусный блюститель нравов, не раз ловивший такую дичь, он незаметно пошел за ней, следя, куда она идет, как пугливо медлит на углу, затем поворачивается и идет обратно. Она была совсем молода, не старше семнадцати лет.

Сыщик поправил галстук и решил испытать свое искусство.

— Извините, мисс! Вышли прогуляться? Я тоже. Позвольте вас немножко проводить. Может, зайдём и выпьем чего-нибудь, а? Я работаю в гараже, тут недалеко, на Грей-стрит, у меня как раз свободный вечер. Вы живете тут поблизости?

Мэдлейн с опаской посмотрела на него. Чего только не натерпелась она после того, как любовник бросил ее! Не желая ни признаться своей пьяной и вечно сонной матери, ни просить ее о помощи, Мэдлейн всеми силами старалась найти хоть какую-нибудь работу. Надо было как-то кормиться, да и ребенок, рождения которого она ждала со страхом и стыдом, потребует новых расходов, и о матери приходилось заботиться,— все это под конец заставило ее прибегнуть к позорному ремеслу, хотя бы на время. В те дни, когда она вся в слезах бродила по городу, одна девушка подобрала ее, кормила некоторое время и потом научила уму-разуму.

Ее безжалостным и преступным способом избавили от того, что так угнетало и страшило ее. А затем, не находя пока иной опоры в жизни, она обучилась уличному ремеслу; но скоро поняла, что нелегко ей привыкнуть к этому чудовищному виду торговли. Не для нее это было. Она искренне думала, что недолго будет заниматься таким делом; это был только временный выход, подсказанный страхом и отчаянием.

Но ни сыщик Эмундсен, ни блюстители закона не желали верить Мэдлейн. Для Эмундсена она была просто одной из многих, одним из тех погибших созданий, которым по тупости и легкомыслию предоставляют цвести и увядать в городских трущобах. Сидя с ним в кафе, она слушала, как он рассказывает про комнату, которую то ли снимает, то ли может снять в ближайшей гостинице. Проклиная судьбу, которая заставила ее принимать такие милости, твердо решив как можно скорее покончить с этим и найти для своей жизни лучшее применение, она пошла за ним.

Потом ей открылась страшная истина: он — представитель закона, шпик, который нагло, презрительной усмешкой отвечает на ее слезы и объяснения. Он и не подумал, что она, такая юная, едва ли могла быть столь закоренелой преступницей, какой он ее изображал. Ей пришлось под взглядами прохожих идти с ним в ближайший полицейский участок, а он, встречая своих собратьев, кивал им или останавливался и объяснял, что за добычу он ведет.

Она не хотела назвать свое настоящее имя и назвалась вымышленным, под которым ее и зарегистрировал, тараща на нее глаза, грубый полицейский; потом камера с деревянной скамьей, первая в ее жизни; какая-то пожилая женщина обыскала ее; потом ее повезли куда-то в закрытой машине, и, наконец, быстрая, ошеломляющая судебная процедура, пугающе холодный взгляд судьи.

«Нелли Фитцпатрик. Агент Эмундсен, восьмой полицейский округ».

Подруга, обучавшая ее уличному ремеслу, предупреждала Мэдлейн, что, если ее поймают и арестуют, это может стоить ей нескольких месяцев заключения в каком-нибудь исправительном заведении; она плохо поняла, что это такое и как там исправляют. Ясно только одно: ее хотят лишить свободы и тех немногих, пусть

жалких вещей, которые она могла назвать своими. И вот это случилось, она в когтях закона, и некому защитить ее.

Сыщик дал показания, какие давались уже сотни раз в таких случаях: он обходил район, и она стала приставать к нему, как это всегда бывает.

Так как никто не предлагал взять Мэдлейн на поруки, судья оставил ее под стражей до окончания следствия; следствие показало, как и надо было ожидать, что ее жизнь станет лучше, если применить к ней некоторые исправительные меры. Ее никогда ничему стоящему не учили. С пьяницы матери нечего спрашивать. Несколько месяцев пребывания в каком-нибудь заведении, где ее обучат полезному ремеслу,— лучший для нее выход.

Итак, сроком на один год она была отдана на попечение монахинь ордена Доброго Пастыря.

IV

Холодные голые стены этого заведения угрюмо возвышались над одним из самых унылых и неприглядных районов города. Фасад его выходил на север, на мощный двор, а в отдалении виднелся скалистый берег стремительного пролива и высокий маяк. К востоку — тоже скалы, по-зимнему серые воды реки, а над рекою жалобно кричат чайки, и их заглушает протяжный вой бесчисленных пароводных сирен. К югу — мрачные угольные склады, вагоноремонтные мастерские, каменные коробки домов.

Дважды в неделю сюда привозили приговоренных к исправительным работам правонарушительниц всех возрастов: тут были «дети», как Мэдлейн, «девушки» от восемнадцати до тридцати лет, «женщины» от тридцати до пятидесяти, «старухи» от пятидесяти до самого преклонного возраста; их доставляли сюда в плотно закупоренном ящике, похожем на большой цирковой фургон, с маленькими решетчатыми отдушинами под крышей. Внутри вдоль стенок тянулись жесткие, голые скамьи. Тут сидела представительница Городского управления исправительными заведениями, угрюмая, немолодая особа, и с нею полицейский, детина таких невероятных размеров, что один вид его вызывал недоумение: зачем столько

ненужного багажа? Пропадая от скуки, он то и дело поглаживал большой рот красной волосатой ручищей и вспоминал о минувших днях.

Самим заведением управляла мать-начальница и тридцать монахинь упомянутого ордена, все весьма искусные, каждая в своей области: в кулинарии, домоведении, стирке, закупках провизии, вязании кружев, воспитании детей и прочих хозяйственных делах.

В здании было четыре крыла, или отделения, для каждой из четырех названных групп. У каждой группы была своя мастерская, столовая, спальня, комната отдыха. Только в церковь сходились все вместе; в этом большом, высоком, озаренном свечами, пышно украшенном помещении, с алтарем посередине, ежедневно, а нередко и два или три раза в день происходила служба; узкий шпиль, увенчанный крестом, виден был из окон почти всех мастерских. Кроме заутрени, ранней и поздней обедни и вечерни, часто по вечерам и в праздники бывали еще дополнительные службы. Для набожных это, пожалуй, было утешением, для неверующих же утомительно и скучно.

Всегда — и в часы работы и в часы однообразного отдыха — на все падала мрачная тень неумолимого закона, его карающая рука чувствовалась во всем: в строгом распорядке, внешнем благолепии, в рабском послушании, заменявшем здесь раскаяние. Пусть голоса монахинь звучали ангельски кротко и шаги их были легки, пусть они всегда были учтивы, ровны в обращении, разговаривали наставительно мягко, — за всем этим стояла мрачная сила, которая могла вернуть любую из их подопечных в грубые лапы полиции, предать их жестокому, неумолимому суду.

Страх перед этой силой был для нарушительниц закона или его жертв куда убедительнее любых недовольных или укоризненных взглядов и смирял всякую их попытку возмутиться. При всем своем желании они не могли забыть, что они здесь по воле закона, который насильно удерживает их в этих стенах. Порядок, мир, тишина и спокойствие, царившие здесь, — все это само по себе было не плохо, подчас даже утешало, и, однако, самая основа этой жизни явно была двойственна и противоречива: с одной стороны — неумолимая власть закона, с другой — елейные, прекраснодушные увещевания монахинь.

Мэдлейн, наивная и неопытная девочка, видела и чувствовала только одно: грубую, жестокую и слепую силу закона — или самой жизни,— силу, которая никогда не дает себе труда спросить, как и почему, а только распоряжается людьми, не зная милосердия. Словно испуганный зверек перед свирепым врагом, она могла думать только о том, как бы ускользнуть и спрятаться в каком-нибудь темном уголке, укрыться в тайнике, таком крошечном и незаметном, чтобы огромный, безжалостный мир не стал бы преследовать ее.

И монахини, особенно те, у кого она была в непосредственном подчинении, ясно понимали, каковы могут быть сейчас ее мысли и настроения.

Они понимали это, потому что за долгие годы немало таких, как Мэдлейн, прошло через их руки. И хотя закон предписывал строгость, они по-своему заботились о ней. Она была кротка и послушна, и им оставалось только одно: заставить ее забыть пережитые страдания и обиды и поверить, как верили они сами, что жизнь не всегда жестока и несправедлива, и что не все пути заказаны, и не всюду царит зло.

Они внушали ей, что не все потеряно, что для каждой из заключенных, и даже для нее, еще есть надежда начать жизнь сначала,— и, может быть, эта жизнь будет много лучше прежней.

V

Сестра Агнес, ведавшая шитьем в безукоризненно опрятном, но мрачном, как сарай, помещении, где стояла сотня швейных машин, сама прожила не слишком счастливую жизнь.

Отец ее умер, когда ей было восемнадцать лет, и она вернулась из монастыря, куда отец отдал ее учиться, желая оберечь от царившей в доме нездоровой атмосферы; дома ее встретила мать, светская дама, чей образ жизни девушка не могла ни понять, ни тем более принять. Безнравственность, лживость и самодовольная праздность так же быстро опостытели ей, как опостылела Мэдлейн улица.

Очень скоро она почувствовала, что не в силах больше выносить такую жизнь, и бежала из дому; сначала она попыталась жить самостоятельно, но тем, кто не способен на грубые, подчас постыдные уловки, этот мир

предоставляет лишь скудный заработок и безрадостное существование; потом, измученная своими бесплодными попытками, Агнес вернулась в монастырь, где она провела свою юность, с намерением самой стать воспитательницей. Но после суровых испытаний, выпавших на ее долю, жизнь в монастыре показалась ей слишком тихой и мирной, и она попросила, чтобы ее перевели в Дом Доброго Пастыря; в этом заведении она впервые почувствовала, что приносит пользу.

Начальница Дома, мать Берта, часто прохаживалась по отделениям и беседовала со своими подопечными, расспрашивая каждую о ее прошлом; прежняя жизнь самой матери Берты была еще более горестной, чем жизнь сестры Агнес. Она была дочерью владельца обувной мастерской; отец ее разорился, мать умерла от чахотки; брат, которого она нежно любила, запил и сбился с пути, потом тяжелый недуг свалил его, и он умер. А затем смерть отца, которому она отдала лучшие годы, крушение всех надежд на личное счастье — все это заставило ее отвернуться от мира, и она постриглась в монахини, надеясь, как и Агнес, что в стенах монастыря ее жизнь будет не такой пустой и бесполезной. Ее радовало, что есть к кому привязаться, что благодаря ее заботам несчастные девушки возвращаются к жизни. И с этой мыслью она изо дня в день обходила мастерские, следя за тем, чтобы работа заключенных была не слишком тяжела и надежды тех, кто еще не перестал надеяться, не были обмануты.

И, однако, важный, строгий вид монахинь, непривычная одежда — серый бумажный передник, серое шерстяное платье, простые грубые башмаки — и гладко зализанные волосы, обязанность подыматься в половине седьмого, выстаивать службы, завтракать в восемь, работать с половины девятого до половины первого и потом с половины второго до четырех; обедать ровно в половине первого, ужинать в шесть; в половине пятого снова становиться на молитву; с пяти до шести и с семи до девяти убивать время за бессмысленными играми с другими девушками; потом, по звонку, немедленно уходить в огромную общую спальню, уставленную длинными рядами узких железных кроватей и тускло освещенную лампадами и свечами перед изображением святых, — все это заставляло Мэдлейн чувствовать себя наказанной преступницей, и особенно тягостно было созна-

вать, что за каждым ее шагом, за выражением лица постоянно, неотступно следят.

К тому же ее мучила мысль, что ей уготовано еще более суровое наказание или что она сама навлечет его на себя каким-нибудь промахом. Судьба всегда так поступала с нею. Но мало-помалу она притерпелась к этой жизни.

Большая рабочая комната с сотней машин, с высокими окнами, из которых видны были угольные склады, река и на ней лодки и чайки, не казалась Мэдлейн такой уж мрачной. Чистые, светлые окна; до блеска натертые полы и стены, вымытые самими заключенными, причем и монахини не гнушались своей долей работы; черные платья сестер, их отороченные белым чепцы, стук их четок, бесшумная поступь и негромкая речь — все это понемногу стало даже нравиться Мэдлейн.

Если она портила работу, никто ее не бранил, ей только терпеливо объясняли, как избежать ошибок; правда, работа была скучная, однообразная, ходить надо было гуськом, скрестив руки на груди, не глядя по сторонам; подолгу стоять на коленях во время службы, молиться до и после трапезы, при пробуждении и перед отходом ко сну, при звоне колоколов утром, в полдень и вечером, но, помимо этого, не было особых притеснений.

Девушки, попадая сюда, сначала дичились друг друга, держались замкнуто и холодно; каждая таила в себе свой мир — свое прошлое, воспоминания о пережитом, о родных и близких; но, оказавшись здесь бок о бок за работой, за едой, на молитве, в спальне, они не могли не сблизиться понемногу, и в конце концов начались откровенные разговоры и признания.

Девушка, сидевшая в швейной мастерской по правую руку от Мэдлейн, бойкое, веселое белокурое существо по имени Вайола Петтерс, хоть и перенесла на своем веку немало злоключений, все еще не утратила интереса к жизни.

Постепенно, за работой, девушки сошлись ближе. Вайола поведала, что отец ее, маляр, не состоящий в профсоюзе, прилично зарабатывал, когда мог достать работу, но ему не всегда удавалось достать ее и он плохо умел устраивать свои дела. Мать ее была женщина болезненная, детей было много, и семья жила очень бедно.

Вайола сперва работала на упаковочной фабрике, где ей удавалось на сдельной работе, «склейке углов», как она это называла, заработать всего три доллара, а то и меньше; однажды ее обругали и даже вышвырнули из-за стола, за которым она работала, потому что она не так заклеила угол; и тогда она взяла расчет. Дома отец, в свою очередь, стал ругать ее за то, что она разыграла неженку; потом она пошла работать в магазин стандартных цен за три доллара в неделю и премиальные — один процент с ее выручки, что, впрочем, не давало ей и доллара лишнего. Потом она нашла место получше, в универсальном магазине, за пять долларов в неделю. Здесь-то она и встретила красивого парня, который потом причинил ей столько горя.

Он был шофер такси и, когда работал, всегда имел в своем распоряжении машину, но только у него редко бывало желание работать. Правда, он честно женился на ней и взял ее из дому, однако денег приносил мало; а вскоре после того как они поженились, его и еще двоих арестовали по обвинению в том, что они угнали и продали чужую машину, и после долгих месяцев заключения он был приговорен к трем годам каторжной тюрьмы.

Он потребовал от нее помощи; умоляя, почти приказывая, он настаивал, чтобы она добывала столько денег и такими способами, какие ей никогда и не снились; и все-таки она любила его. Вот когда она добывала деньги одним из этих «способов», ее и поймала полиция, и ее, как Мэдлейн, прислали сюда; только она никому, даже Мэдлейн, не сказала того, что полиция не сумела обнаружить: среди прочих способов добывания денег, подсказанных ей супругом, было и воровство.

— А я на это не смотрю,— прошептала она в заключение, не отрываясь от шитья.— Как ни говори, он был добрый, когда у него была работа. Он меня до смерти любил. Если у него были деньги, он всегда водил меня повсюду: и на танцы, и в кино, и по ресторанам. Ну и времечко было! Вот его выпустят, и если он захочет, я вернусь к нему! Другие в тысячу раз хуже. Ты бы послушала, что девушки рассказывают!

Под конец и Мэдлейн пришлось поведать свою историю.

И раз уж лед был сломан, другие девушки тоже охотно стали говорить о себе,— все это были рассказы

о печальной, неудачливой доле затравленных судьбой существ, но, когда Мэдлейн слушала их, в ней почему-то воскресало что-то от прежней робкой веры в жизнь и интерес к ней. Все, о чем говорили девушки, было «безнравственно», но все-таки это была живая жизнь. Несчастливы были их первые шаги, грязь окружала их с колыбели, но они были в этом не виноваты, они всеми силами старались из нее выбраться,— и наперекор всему сохранили мужество и веру в будущее.

Для всех этих девушек любовь была проклятьем, но в то же время и единственной радостью. И теперь они мечтали о том счастье, которое, может быть, найдут, соединив свою судьбу с возлюбленным, или о том, чтобы выйти на свободу и, если посчастливится, найти работу, лишь бы в их жизни было хоть немного того, что они понимали под красотой и радостью.

И понемногу Мэдлейн отдохнула душой, все дальше и дальше в прошлое отступала память о крушении ее надежд и мечтаний, забывались мучительный позор и жестокое пробуждение. Холодная, невозмутимая размеренность этой суровой жизни успокаивала Мэдлейн хотя бы потому, что здесь она была в безопасности и вдали от враждебного мира. Конечно, это было жалкое, скудное существование, но по крайней мере без тревог и волнений. Поднимаясь по утрам в тишине скупо освещенной спальни, повторяя заученные молитвы, в молчании направляясь в церковь, в столовую, в мастерскую, где слышалось только глухое жужжание машин, потом снова в церковь, убивая время за скучными играми и, наконец, так же безмолвно по заведенному распорядку, укладываясь вечером в свою узкую постель, Мэдлейн чувствовала себя успокоенной и отдохнувшей.

И, однако, быть может, именно поэтому она не могла не думать о грохочущем, шумном мире за стеной. Этот мир принес Мэдлейн только боль и страдания, но в нем, грубом и жестоком, все же кипела жизнь. Вечерние улицы, залитые огнями! Автомобили! Дансинг на берегу моря, где ее когда-то учили танцевать! Мимолетные ласки и поцелуи ее неверного любовника! Как быстро все это кончилось. Где он теперь в этом огромном, таинственном мире? С какой девушкой? Может быть, она так же быстро надоест ему, как надоела Мэдлейн? И он так же обижает ее? Где теперь Тина, Фрэнк, мать? Что случилось с матерью? Мэдлейн ничего не знала о ней.

Наконец, почувствовав доверие к сестре Агнес, Мэдлейн однажды, расплакавшись, поведала ей все о себе и о своих близких, и монахиня обещала разыскать старуху мать. Но, узнав, что та отправлена в работный дом, сестра Агнес решила пока ничего не говорить. Мэдлейн еще успеет намучиться с матерью, когда выйдет на свободу. Зачем омрачать обновляющуюся жизнь столь постыдным воспоминанием.

VI

И вот кончился срок заключения, и Мэдлейн, ничего не забывшую из своего прошлого, снова выпустили в мир; быть может, теперь она была уже не так беззащитна, как прежде, но все же, по самому характеру своему, едва ли достаточно вооружена для жизненной борьбы.

Ей было прочитано множество торжественных и премудрых наставлений о тех ловушках и западнях, которые подстерегают девушку в этом мире; потом монахиня, вся в черном, отвезла ее прямо в некое высоконравственное и благочестивое семейство, чья строгая приверженность религии должна была служить девушке достойным примером; итак, Мэдлейн снова была предоставлена самой себе и снова взялась за работу, которая была знакома ей и прежде, ибо монахини не умели придумать для своих подопечных лучшего занятия, чем должность прислуги. В деле воспитания и обучения они ограничивались принципами морали, требующей от воспитанниц не столько умения, сколько веры и слепого послушания.

Здесь, как и в исправительном заведении, воздух, окружавший Мэдлейн, был пропитан благочестием, упованием на высшую силу, заботящуюся о благе человека, но Мэдлейн все это было чуждо,—вопросы религии никогда не занимали ее.

Здесь тоже повсюду были маленькие раскрашенные изображения святых в белых, розовых, голубых и золотых одеяниях, ниспадающих мягкими складками; святых венчали звезды или короны, и они держали в руках скипетры или лилии. Лица у них ясные, взгляд добрый и задумчивый. Но Мэдлейн видела в них только изображения — милые и приятные, но так разительно не

похожие на действительность, что трудно было усмотреть в них нечто большее, чем просто красивые картинки.

В большой церкви, которую посещало это семейство — они уговорили и Мэдлейн сопровождать их, — было очень много таких же изображений святых, алтари, озаренные свечами, — Мэдлейн смотрела на все это с почти-тельным изумлением. Одевания священника и служек, белые с золотом и алые с золотом ризы, золото и серебро крестов, кубков, чаш — все наполняло ее наивную, впечатлительную душу благоговением, но не убеждало в существовании высших сил, смысл и назначение которых она никак не могла уразуметь. Бог, бог, бог — вечно она слышала о нем и о крестных муках и искупительной жертве Христа.

И здесь, как там, царили тишина, порядок, чистота, размеренность, смирение — все это так поражало ее, так было непохоже на ее прошлую жизнь.

Раньше это было чуждо ей и она не понимала значения всего этого. Но теперь день за днем, как капля точит камень, как маятник отсчитывает минуты, все это понемногу оставляло, хоть и неглубокий, след в ее душе. Размеренное однообразие будней, неуклонное соблюдение обрядов, раз навсегда установленных властной и могущественной церковью, постепенно накладывали на Мэдлейн свой отпечаток.

Хотя монахиня из Отдела надзора изредка и навещала Мэдлейн, ей не только разрешалось, но она просто вынуждена была по мере сил и умения сама пробивать себе путь в жизни и существовать на те средства, какие ей удавалось добыть. Ибо, несмотря на все молитвы и наставления монахинь, жизнь оставалась все такой же суровой и беспощадной. Эта жизнь, как видно, имела мало общего с религией. Вопреки всем увещаниям церкви, хозяйева, у которых служила Мэдлейн, полагали, что религия обязывает их дать прислуге кров и пищу лишь постольку, поскольку она полезна им. Если она хочет чего-то лучшего, — а очень скоро Мэдлейн ясно поняла, что должна добиваться лучшего, — ей следует научиться многому, чего она еще не умеет, но тогда она вряд ли будет нужна в этом доме.

И хотя месяцы, проведенные в исправительном заведении, и показали Мэдлейн, что жить нужно лучше и разумнее, чем она жила до сих пор, внешний мир с его

удовольствиями, надеждами манил ее все так же властно и настойчиво, как и прежде.

Но что же делать? Что? Трудно было решить эту задачу Мэдлейн не принадлежала к числу тех смелых и предприимчивых натур, которые способны собственными силами найти верный путь. Сколько бы она ни раздумывала и что бы ни делала, ее не покидала уверенность, что любовь, только любовь, ласки и заботы сильного и любящего мужчины могли бы избавить ее от всех житейских невзгод.

Но если даже и так,— откуда придет к ней эта спасительная любовь? Она совершила ошибку, и если возникнут какие-то честные и искренние отношения с кем-нибудь другим, надо будет в этой ошибке сознаться. Что тогда? Сможет ли тот, кто ее полюбит, простить? Любовь, любовь, любовь, мир и покой счастливой, размеренной семейной жизни, какую, казалось ей, она видела вокруг,— это счастье сверкало вдали, как звезда!

А тут еще мать.

Вскоре после того как Мэдлейн вышла на свободу, полное одиночество, чувство дочернего долга и жалость заставили ее отыскать мать, чтобы вновь создать для себя хоть какое-то подобие семьи. У нее никого нет на свете, кроме матери, говорила себе Мэдлейн. Мать, конечно, опять начнет кланчить у нее деньги, но зато она хотя бы выслушает дочь, пожалеет ее иной раз, будет с кем слово сказать.

Как-то в свободный день Мэдлейн пошла на их старую квартиру и узнала, что мать отправили в рабочий дом, а оттуда в богадельню. Эти розыски привели к тому, что мать вскоре сама нашла Мэдлейн и опять стала для нее тяжелой обузой; но год спустя она умерла.

А жизнь по-прежнему звала и манила Мэдлейн, ибо она все еще была полна надежд и трепета молодости.

Незадолго до того, как Мэдлейн вышла на свободу, Вайола Петтерс как-то сказала ей в порыве дружеской откровенности:

— Когда мы с тобой обе выберемся отсюда, давай встретимся. Только пока я еще здесь, ты мне сюда не пиши,— все равно не передадут. Я думаю, они не захотят, чтобы мы с тобой вели дружбу. Уж, верно, я им не так по душе, как ты. Но ты мне все равно пиши на имя... (тут она дала Мэдлейн адрес), мне передадут, когда я выйду отсюда.

Она не сомневалась, что найдет хорошее место, как только освободится от опеки монахинь, и обещала устроить куда-нибудь и Мэдлейн.

И теперь от тоски и уныния Мэдлейн часто вспоминала об этом; и в надежде хоть немного скрасить свою жизнь, она в конце концов написала Вайоле и вскоре получила ответ: Вайола приглашала ее к себе.

Но Вайола не могла помочь ей. Мэдлейн мечтала о более разумной, более чистой жизни, а Вайола и ее подруги, как она скоро убедилась, добывали средства к существованию тем способом, которого Мэдлейн твердо решила впредь избегать. Жила Вайола в собственной квартире — и в такой роскоши, какая Мэдлейн никогда и не снилась, но доставалась она слишком дорогой ценой, и Мэдлейн не хотела и думать об этом.

Однако в жизни самой Мэдлейн, где бы она ни работала — в лавке или на фабрике — и сколько бы ни переходила с места на место в надежде устроиться получше, тоже не было ничего хорошего. С каждым днем она все яснее понимала, что на такой работе ей ничего путного не добиться — а на другую она и рассчитывать не может. Матери уже не было в живых, и одиночество все сильнее тяготило Мэдлейн. Так прожила она несколько лет, еле сводя концы с концами, и все помыслы ее были о любви, о том, что любовь внесла бы в ее жизнь... если бы опереться на нежную заботливую руку, найти прибежище в любящем сердце!

И вот, во второй раз за ее короткую жизнь, пришла любовь,— во всяком случае она полюбила и думала, что любима.

К этому времени она своими силами, без чьей-либо помощи, поднялась до должности продавщицы в универсальном магазине с жалованием в семь долларов в неделю, на что она и пыталась жить. Однажды у ее прилавка появился один из тех вкрадчивых, смазливых франтов, которые полагают, будто женщины для того и созданы, чтобы ловить их на приманку лихо закрученных усов и пышной шевелюры; он был одет с иголочки: в светлом костюме, ослепительном белье и новеньких ботинках — словом, поразительное видение в скучном, будничном мире Мэдлейн. Его томный взгляд и галантное обращение неизменно покоряли женское сердце, особенно если оно еще не постигло всей обманчивости внешнего лоска.

Да, один вид привыкшего к победам мужчины, его пустые, пошлые комплименты, блеск глаз и глянец свежевыбритых щек, какой-то особый, никогда не виданный ею дешевый шик мгновенно поразили ее воображение.

Он наклонился над прилавком, рассматривая почтовую бумагу и карандаши, говорил что-то о ценах, расспрашивал о ее работе, лукаво улыбался и всячески давал ей понять, что она ему очень нравится. А она безотчетно покорялась притягательной силе, которая неудержимо влекла ее к нему.

Наконец-то он явился, предмет ее мечтаний,— красивый, обаятельный мужчина, он не прошел мимо нее, скромной девушки. Его напояженные завитые волосы казались ей венцом на челе юного бога, усы и острый хищный нос — воплощением красоты. Даже в движениях его жилистых цепких рук увидела она изящество и грацию. Едва она успела изумиться его совершенствам, как он исчез. Но на завтра он пришел опять и держался еще более развязно и вкрадчиво.

Еще через день он напрямик заявил ей, что она ему нравится и они должны стать друзьями. Как-то во время перерыва он повел ее завтракать в такой шикарный ресторан, в каком она и не мечтала побывать; в другой раз он повез ее обедать.

Он говорил ей, что она красивая, удивительная. Она — нежный цветок и понапрасну губит себя на такой тяжелой работе. Если она выйдет за него замуж, жизнь ее станет легкой и приятной. Когда ему везет, он зарабатывает много денег, очень много. Они будут вместе ездить за город, побывают в новых местах, увидят много интересного.

Что касается ее несчастливого прошлого, о подробностях которого она умалчивала, он, как видно, несколько им не интересовался. Она ничуть не виновата, если ее прежняя жизнь сложилась так плохо...

Любовь, любовь... Старая история. Наконец в порыве любви и благодарности она поведала ему о своем великом грехе; он несколько минут размышлял с важным видом и затем изрек, что это просто невинная ребяческая ошибка, не заслуживающая внимания. Так возник один из тех скоропалительных и опрометчивых союзов, которые столь часты среди бедняков; их толкает на это инстинкт самосохранения, трудная, необес-

печенная жизнь общественного дна. Нашелся священник, который скрепил этот союз, что, по-видимому, должно было превратить его в идеальный брак. А потом они поселились в дешевых меблированных комнатах, и началась новая, лучшая жизнь, от которой Мэдлейн ждала осуществления всех своих грез.

VII

Есть на дне жизни известный тип хищника, коршуна, что выхватывает птенцов из гнезда, уносит маленьких зверьков с полей и весь мир считает лишь местом охоты, где всякого, кто слабее телом или духом, можно поработить; тому, кто знаком с наглыми и безжалостными повадками такого хищника, это описание не покажется ни неверным, ни преувеличенным. Завзятые волокиты, меняющие женщин, как перчатки, они ведут жизнь беспечную, хоть и преступную, и их жертвы могут засвидетельствовать, что какое-то очень короткое время, находясь на попечении, или, вернее, в плену у таких мужчин, они даже чувствовали себя счастливыми.

Так было с Мэдлейн и ее возлюбленным. Он снисходительно посмеивался над ее искренними, хотя и неловкими усилиями создать домашний уют для их, как ей казалось, прочного брака, для их совместного будущего; он это считал смешными пустяками, а для нее словно раскрылись небеса, и она увидела новый мир. В его любви и заботе она найдет покой. Если не теперь, то позже (ибо он уже жаловался на препятствия, которые мешают ему работать) надо будет общими усилиями скопить немного денег и поскорее начать лучшую жизнь — им нужен свой угол, семейный очаг. Она мечтала даже о детях.

Вскоре он начал жаловаться на всякие временные неудачи, говорил, что нужно беречь каждый грош и, пока он не «уладит свои дела», ей придется подыскать себе какую-нибудь работу повыгоднее прежней; но и это не заставило ее насторожиться.

Для нее было невыразимой радостью работать ради своего возлюбленного, ибо пришла любовь — то великое, что спасает от горя и забот, разрушает все, казалось бы, неодолимые преграды. Несмотря ни на что, жизнь ее, согретая любовью, наконец, распустится, как

цветок. Конец одиночеству, гнетущему равнодушию огромного житейского моря.

Как и в первый раз, пробуждение было внезапным и ошеломляющим. Поняв, что она слепо восхищается его смазливой наружностью и что в его подлой, низкой душонке для нее весь мир, он без зазрения совести стал убеждать ее, день ото дня все настойчивее,— прибегнуть к самому легкому и быстрому способу зарабатывать деньги (способ, к несчастью, ей уже знакомый), так как он попал в крайне затруднительное положение. Обычной басни о грозящей катастрофе, о карточном проигрыше, который грозит ему тюрьмой, а значит разлукой с нею, оказалось достаточно.

Он прожужжал ей уши рассказами о том, как женщины выручали его приятелей, попавших в такое же положение, о том, как на каждом углу «клиенты» только и ждут, чтобы их одурачили и обобрали. Чего тут сомневаться! Достаточно вспомнить, какие жалкие гроши она прежде зарабатывала, в каком убожестве жила. Зачем самым закрывать себе дорогу в будущее? Это же просто глупо. На его взгляд, к любви это не имеет никакого отношения. Неужели она этого не понимает? Словом, он уговорил ее.

Но теперь не стыд и не страх перед наказанием мучили ее: мысль, что он надругался над их любовью,— эта мысль ранила ее, жгла и терзала.

И снова она начала смутно понимать, что любовь не должна быть такой. Если любовь — это то, о чем всегда мечтала Мэдлейн, не должна ли она прежде всего защищать и оберегать ее, хранить для самой же любви? И что же — любовь снова посылает ее на улицу, слоняться по подъездам и перед витринами и «стрелять глазами».

Эта мысль сверлила ей мозг, пронзала сердце. Ибо, несмотря на свой горький опыт и жестокие разочарования, она твердо верила, что любовь не должна быть такой, что тот, кто любит, не должен так поступать.

Дорогие черты, которые и посейчас и еще долго спустя, как и черты ее первого возлюбленного, казались ей столь достойными обожания, глаза, которые сияли лаской, губы, которые так нежно улыбались и целовали, руки, которые обнимали ее,— как могли они быть орудием той силы, что толкала ее на улицу?

Нет, любовь должна быть иной. Он сам говорил ей сначала, что она ему дороже всего на свете,—и что же!..

И вот года через полтора, однажды ночью, гроза разразилась. Обозленный больше обычного карточным проигрышем и необходимостью терпеть возле себя Мэдлейн, хоть она и могла еще быть ему полезна как покорная раба, он в дикой ярости набросился на нее

Как, только-то? Убирайся к черту отсюда! Дурак я, что ли! Пусти мою руку. Не приставай. Да не цепляйся ты за меня, говорят тебе! Надоела ты мне до черта! Убирайся, чтоб духу твоего здесь не было, понятно? Хватит с меня, хватит, слыхала? Вон отсюда! Я тебе и раньше говорил, а на этот раз точка. Проваливай, шлюха, и не попадайся мне больше на глаза! Слышишь ты, размазня!

Он оттолкнул ее, распахнул настежь дверь и, так как она все еще со слезами цеплялась за него, вышвырнул ее вон с такой силой, что она разбила о косяк левый глаз и кисть руки.

Мэдлейн только успела крикнуть:

— Фред, Фред, ради бога! — И дверь с грохотом захлопнулась перед нею; оглушенная, обессиленная, она в отчаянии прислонилась к перилам лестницы.

Снова жестокая и непостижимая жизнь придавила ее всей тяжестью, только теперь она уже больше ни на что не надеялась. Все было так мрачно, так беспросветно. Мысль ее обращалась то к быстрым ледяным водам реки, поблескивавшим в холодных лучах зимней луны, то к Дому Доброго Пастыря, единственному прибежищу, где она была словно щитом отгорожена от жизни, где знала покой и тишину. И вот, терзаясь горькими думами, глотая слезы, она медленно побрела по длинным улицам, вспоминая печальную повесть своей поруганной любви, навеки разбитых мечтаний.

VIII

Все так же угрюмо высились кирпичные стены исправительного заведения, тусклые в холодном свете луны. Было три часа утра. Она прошла долгий путь, изнемогая под бременем горьких мыслей, в слезах, полуза-

мерзшая. Минутами ее охватывало отчаяние, силы изменяли ей, и ее неодолимо влекло к реке... и только память об этом мрачном, уродливом доме, о его тишине и покое, об опеке сестры Агнес и матери Берты поддерживала ее

Она шла и спрашивала себя, примут ли ее после всего того, что случилось с ней. И все же она шла и шла, пока перед нею не выросли высокие, безмолвные стены. Нигде ни огонька. Но, наконец, она увидела свет над дверью — это были не те огромные, неприступные ворота, через которые ее провели в первый раз, а узкая боковая дверь; туда-то она и направилась после недолгого колебания, позвонила, и сонная монахиня впустила ее и провела в теплую тихую прихожую. Здесь Мэдлейн машинально подошла к железной решетке, которая, точно в тюрьме, преграждала путь внутрь здания, устало опустилась на один из двух жестких стульев, стоящих по обе стороны небольшого квадратного отверстия в решетке, и заглянула туда.

Подбитый глаз и ушибленная рука болели. Выцветший жакет и помятая шляпка, съехавшая набок, были запорошены снегом. И когда дежурная сестра, услышав шаги, подошла к решетке, Мэдлейн, сложив на коленях маленькие красные, огрубевшие руки, подняла на нее заплаканные глаза.

— Сестра,— сказала она просительно,— можно мне войти?

Потом, вспомнив, что только начальница может впустить ее, тихо добавила:

— А мать Берта здесь? Я жила у вас раньше, она меня узнает.

Монахиня с любопытством смотрела на Мэдлейн, чувствуя, что перед нею существо еще более несчастное, чем те, кого она привыкла видеть в этих стенах; заметив, что девушка либо больна, либо вне себя от горя, она поспешила позвать начальницу: мать Берта строго требовала, чтобы в таких случаях обращались к ней лично. Мэдлейн не шевельнулась, пока не слышались шаркающие шаги и в квадратном окошке не появилось морщинистое утомленное лицо матери Берты.

— Ты хотела видеть меня, дитя мое? — спросила она негромко, с интересом и удивлением глядя на позднюю посетительницу.

— Матушка,— начала Мэдлейн дрожащим голосом, глядя в знакомое старческое лицо.— Вы не помните меня? Это я, Мэдлейн. Я была здесь четыре года назад. В отделении «детей». Я работала в швейной мастерской.

Жизнь нанесла ей столько ударов, так безжалостно разрушила ее хрупкие надежды, что и здесь она боялась встретить один лишь равнодушный отказ.

— Да, я помню тебя, дитя мое. Но что привело тебя сюда? Я вижу, у тебя поранены глаз и рука.

— Да, только, пожалуйста, сейчас ни о чем не спрашивайте. Впустите меня! Я так устала. Я такая несчастная!

— Хорошо, дитя мое,— сказала начальница, открывая дверь.— Ты можешь войти. Но что случилось? Что у тебя с глазом и рукой?

— Можно мне не отвечать сейчас? — устало повторила Мэдлейн.— Я так измучилась! Дайте мне только на эту ночь мое прежнее платье и койку, ту, под ночником.

— Хорошо, дитя мое. Можешь ничего не говорить сейчас. Я понимаю тебя. Пойдем

Она повела ее голыми, тускло освещенными коридорами, потом вверх по холодным, широким железным ступеням, где глухо отдавались шаги, и опять, как четыре года назад, Мэдлейн очутилась в мрачной, но опрятной ванной комнате, где стояли корзины для грязного белья.

— Теперь, дитя мое, разденься и вымойся, я принесу тебе мазь для глаза.

И снова Мэдлейн скинула жалкий, хоть и крикливый наряд, который в последнее время украшал и позорил ее: шерстяную юбку, недавно купленную в робкой надежде понравиться ему, безвкусную шляпку, стоившую десять долларов, полосатую блузку, которую она когда-то надевала с такой гордостью, опять-таки надеясь понравиться ему.

Мэдлейн сняла туфли и чулки и, когда начальница вышла, глотая слезы, села в ванну, уже наполненную водой. Она вымылась, вытерлась, надела приготовленную для нее грубую рубашку, расчесала волосы; потом села на стул, держась за больной глаз, и сидела, не шевелясь, пока мать Берта не принесла ей лекарство.

Потом она опять шла по безмолвным коридорам, которые когда-то наводили на нее такую тоску, а теперь успокаивали и утешали. Начальница привела Мэдлейн в большую комнату, где рядами стояли простые железные койки и тускло светились красные лампадки и тонкие свечи, зажженные перед изображениями святых. Над койкой, которую она когда-то занимала, по-прежнему мерцал трепетный огонек перед образом богоматери.

При виде этой лампадки, которую Мэдлейн всегда мысленно называла своей, она чуть не разрыдалась.

— Видишь, дитя мое,— тихо, чтобы не потревожить длинные ряды спящих, сказала мать Берта,— твоя крестовая свободна. Может быть, она знала, что ты придешь, и ждала тебя.

— Ах, позвольте мне остаться здесь совсем,— вдруг прошептала Мэдлейн.— Я не хочу уходить отсюда, я так измучилась на воле. Я буду много, очень много работать, только оставьте меня здесь!

Мать Берта, немало повидавшая на своем веку, с любопытством посмотрела на нее. Еще ни разу не приходилось ей слышать такую просьбу.

— Отчего же, дитя мое,— сказала она.— Если ты хочешь остаться, я думаю, это можно будет устроить: это у нас не в обычае, но ты не единственная, были и еще такие, что выходили отсюда, а потом опять возвращались к нам. Я верю, что бог и пресвятая дева услышат твои молитвы. Теперь же ложись спать. Тебе нужно отдохнуть. А завтра или еще когда-нибудь ты расскажешь мне, что случилось с тобой, а если не захочешь, можешь совсем не рассказывать.

Она ласково, но настойчиво заставила Мэдлейн лечь, укрыла ее одеялом и погладила по голове холодной морщинистой рукой. Мэдлейн схватила эту руку и прижала ее к губам.

— Вы не прогоните меня отсюда? — всхлипывая, сказала она.— Жизнь очень страшная! Не прогоните? Я так устала, так устала!

— Нет, нет,— ответила мать Берта, склонившись над ней,— ты останешься здесь, пока сама не захочешь уйти. А теперь отдыхай.

И она тихо вышла из комнаты.

ЦЕПИ

С последнего делового совещания в городе К., где многоэтажные здания и вечно спешащие толпы прекрасно иллюстрировали силу, мощь и богатство Америки и вообще современной цивилизации, Гаррисон отправился на вокзал, чтобы ехать домой в Д., и с необычайным волнением и надеждой, даже с радостью, странной, горькой радостью, стал снова думать об Иделле. Где она сейчас? Что она делает в эту минуту? Был серый ноябрьский день, около четырех часов пополудни; он хорошо знал, что в этот час всегда, зимой и летом, Иделла любит блистать на дневных приемах или в ресторанах, где танцуют. Она неизменно бывает там в компании бойких франтов, представителей местной «золотой молодежи». Надо отдать справедливость Иделле, — даже после трех лет замужества в ней есть что-то такое, что привлекает этих молодых людей — и лучших и худших из них (больше, пожалуй, худших); вся эта публика как раз и задает тон в его родном городе, в широко раскинувшемся Д., где жизнь бьет ключом.

Какая женщина! Какая судьба! И угораздило же его увлечься ею, ведь ему было уже сорок восемь, он занимал несравненно более высокое положение, чем она, у него был свой круг солидных друзей и установившиеся солидные привычки. Иделла совсем иная — прямо сорви-голова, она бывает груба, даже вульгарна (это она унаследовала, конечно, от отца, дубильщика кожи, француза родом, а не от матери-польки, женщины тихой и скромной). И все же как хороша! Какие у нее чудесные золотисто-каштановые волосы, какие глаза — темно-карие, такие темные, что почти не различишь зрачка. Стройная, крепкая и с каким вкусом одевается! Что и говорить, она — совершенство, по крайней мере на его взгляд, или это только вначале так казалось?

Какой шумный и пыльный этот К., какая здесь всегда сутолока! Вот уж типичный город Среднего Запада. Шофер гонит, как сумасшедший, не сбавляя скорости даже на поворотах!

А сколько он пережил за эти три года, с тех пор как женился на ней! Как мучился, как страдал! Если бы только можно было повлиять на Иделлу, чтобы она ста-

ла ему настоящей женой! Но что же это непостижимое и губительное, что зовется красотой? Какое чудо, особенно для такого человека, как он — ведь многое в жизни приелось ему, — обладать этим совершенным созданием, на зависть всем, наперекор неумолимому бегу времени.

Наконец-то вокзал!

Она не стоит его любви. Да, это большое несчастье, что он полюбил ее, но как быть? Как побороть это чувство? Как наказать ее за все то зло, что она ему причинила, не наказав тем самым себя, и еще большее? Непостижимая вещь любовь! Как часто отдаешь ее тому, кто в ней вовсе не нуждается. Уж он-то хорошо это знает! Он сам тому наглядный пример. Он значит для нее не более, чем фонарь на углу или пара старых, стоптанных туфель, а все-таки... ведь вот он никогда не устает любоваться ею, думать о ней, — что она делает, чего хочет, что скрывает. Она вела и сейчас ведет себя не так, как должно; пожалуй, она просто и не может иначе... и все же...

Надо дать ей телеграмму до отхода поезда!

А какая это радость — появляться под руку с нею в ресторане или в гостиной и всегда и везде быть уверенным, что ни у кого нет такой прелестной жены, ни у кого. Да, конечно, она всего лишь дочь рабочего, выросла в бедности, и все-таки она куда более эlegantна, соблазнительна, нарядна, чем все другие женщины того круга, куда он ее ввел. Какие у нее глаза и волосы, какая прелестная фигура! И с каким вкусом одевается! Конечно, она несколько молода для него. Когда они рядом, это сразу бросается в глаза: он солидный, сдержанный, многие говорят, что у него почти военная выправка, — а она совсем юная, очаровательная, и молодежь вечно увивается вскруг нее. Но как бы он ни гордился ею, одна мысль постоянно терзала его: она не принадлежит ему всецело и никогда не принадлежала. Ее слишком занимают посторонние мужчины, да и всегда так было. Уж это ее прошлое! Вся ее юность была цепью легкомысленных, даже дурных, да, да, дурных поступков. Надо признать, что она всегда была скверной девчонкой — рас-

пущенной, себялюбивой, необузданной, бессовестной. Такой и осталась. И все-таки он женился на ней, несмотря ни на что, а ведь он знал, какая она. Впрочем, сначала он знал далеко еще не все.

— *Да, все три места. Подождите, я сейчас достану плацкарту.*

Неудивительно, что люди сплетничают. Он все это слышал: что она вышла за него ради денег и положения в обществе, что он слишком стар для нее, что она позорит его имя, и прочее, и прочее. Что ж, может быть, это и верно. Но ведь он был влюблен в нее, без памяти влюблен, и она в него тоже — по крайней мере так казалось вначале. Да, наверно, была влюблена, — ведь она так льнула к нему, так восхищалась им, хоть и недолго. Первые недели вдвоем — какое это было счастье! Вначале она охотно и успешно играла роль хозяйки дома на Сикард авеню. Это было так восхитительно, обещало так много! Да, несомненно, первое время он был ей хоть немного дорог. И притом только человек его возраста мог вполне понять ее — ее настроения, порывы, мечты. А он — что ж, он и сейчас без ума от нее, как тогда, даже больше. Разве не так? Разве его влечет к ней меньше, чем в первое время? Конечно, нет. Да, такое ослепление, такая любовь ужасна, ее невозможно побороть.

— *Вагон третий, купе седьмое!*

Ему не забыть тот вечер, когда он увидел ее впервые: ее внесли на носилках в приемный покой, он оказался там потому, что зашел навестить своего старого друга, доктора Дорси. Висок у нее был рассечен, рука сломана, внутренние повреждения настолько серьезны (разрыв диафрагмы), что ее надо было оперировать немедленно. И с первого взгляда она поразила его. Волосы ее рассыпались по плечам, руки бессильно повисли. Боже, эти руки! Он был потрясен! Он спрашивал себя, кто она, как с ней произошло такое страшное несчастье. Она показалась ему необыкновенно красивой. Подумать только, что такая красота могла быть изувечена! Но, слава богу, этого не случилось.

Телеграмму доставят не позже, чем через час. Она застанет Иделлу как раз вовремя.

Тогда же в больнице он решил непременно познакомиться с нею, если она останется жива. Как знать, может быть, и он понравится ей, как она сразу понравилась ему. А вдруг нет? Эта мысль тогда просто истерзала его. Подумать только — он полюбил ее с первого взгляда, а сколько страданий она причинила ему с тех пор, как он полюбил ее, хотя она тогда была искалечена, изранена, на волосок от смерти... Поразительно!

Как душно всегда в поезде; особенно в первую минуту, как войдешь,— дым, гарь!

А потом — операция; как это было страшно! В пустой операционной в ту ночь, кроме него, были только врач и три сестры. Дорси был так суров, так мрачен, но действовал, как всегда, решительно. Дорси по его просьбе разрешил ему присутствовать при операции; несчастье случилось за полночь, на окраине, и в больнице не оказалось никого из близких, кто мог бы опознать девушку, позаботиться о ней и воспротивиться присутствию постороннего.

— Да, чемоданы поставьте здесь!

Он натянул на себя белый халат и стерильные нитяные перчатки и прошел на галерею, откуда можно было видеть, как Дорси, окруженный помощниками, оперировал пострадавшую. Он видел, как хирург сделал разрез, видел кровь, слышал, как она стонала под наркозом. И все время спрашивал себя — кто же она? Что с ней случилось? А как он жалел ее! Как боялся, что она не выживет! Ее красивое, лукавое лицо неотступно стояло у него перед глазами, хотя в тот час бинты и эфирная маска совершенно скрывали ее черты.

Вон поезд на другом пути,— как сверкают его стекла! Столы в вагоне-ресторане уже накрыты и лампы зажжены!

И снова завладела им безрассудная мечта о любви и счастье, которая так мучила его в последнее время.

С самого начала, почти не сознавая этого, он был словно околдован и даже мысли не допускал, что она может умереть. А потом, когда ее сломанную руку положили в гипс и раны зашили, он попросил поместить ее в отдельную палату, взяв на себя все расходы (что наверняка немало удивило Дорси), а сам отправился в клуб, где провел бессонную ночь. И наутро он уже стоял у ее изголовья:

«Мы с вами не знакомы, меня зовут Гаррисон — Брейнерд Гаррисон. Нашу семью здесь, в Д., знают, может быть и вы слышали эту фамилию. Я видел, как вас привезли ночью. Я хотел бы быть вам полезен — известить ваших близких, может быть, я еще что-нибудь могу для вас сделать. Вы разрешите?»

Как хорошо он все это помнит, — ведь он заранее обдумал, что скажет, и был просто счастлив, когда она благосклонно приняла его услуги. При этом она чуть насмешливо улыбнулась ему, скользнув по его лицу странным уклончивым взглядом.

Это, конечно, рабочий постукивает молотком по колесам, проверяя, нет ли где трещины, не то на полном ходу может произойти крушение и погибнут сотни людей.

Потом она дала ему свой адрес, вернее, адрес своей матери, за которой он сейчас же и поехал. И как он обрадовался, узнав, что у нее есть только мать, ни мужа, ни... Он посылал ей цветы, фрукты, дарил все, что, казалось ему, могло ей понравиться. А потом между ними завязалась своеобразная дружба. Так быстро сбылась его мечта о счастье. Иделла разрешила ему приходить ежедневно, разумеется ничего не рассказывала о себе, уклонялась от всяких откровенных разговоров, предоставляя ему думать о ней все что угодно, однако терпела его присутствие. Да, несомненно, она с самого начала честно вела игру, но ему так хотелось верить, что у них впереди — счастье, долгие годы ничем не омраченного блаженства! Каким же он был влюбленным дураком!

Что за отвратительная толстуха лезет в вагон, сколько у нее чемоданов! Неужели этот поезд никогда не тронется?

К тому времени — как четко это врезалось ему в память! — он узнал, что она вдова и живет со своей маленькой дочкой у матери. Но на самом деле все это было только ложью, обманом. Она уже и тогда дерзко насмеялась над всеми условностями и приличиями, она была настоящей прожигательницей жизни, но он еще не знал этого. Он воображал, что произвел впечатление на наивную, неискушенную молодую женщину, уж во всяком случае не знакомую с низменными сторонами жизни, а на самом деле он был для нее только очередным приключением, счастливой случайностью, которая помогла ей выйти из затруднительного положения. Он тогда не знал, что в ту пору два соперника враждовали из-за нее и один из них пытался убить ее, подстроив автомобильную катастрофу. После этого ей больше всего хотелось пожить спокойно, хоть на время убежать от собственных мыслей и от обоих своих чересчур пылких поклонников. Но, кроме этих двоих, и до них были еще и другие, целая вереница достаточно отвратительных субъектов, — а, впрочем, так ли уж они отвратительны? — с которыми она... А он-то вообразил, что он для нее все или может стать всем. Это он-то!

Но все это было бы неважно, если бы только она любила его! Не все ли ему равно, кто она, и что она такое, и каково ее прошлое, лишь бы только она была привязана к нему, как он к ней, или хоть вполовину так, или хоть совсем немного! Но Иделла в сущности никого и никогда не любила, уж во всяком случае не его. Никогда она не думала о нем одном и только о нем. Она слишком неугомонная, слишком непостоянная. Ведь даже те первые полгода, когда они познакомились и поженились, она только терпела его, не более. Да, она никогда не любила, и зачем ей это? Слишком многим она нравится, слишком многие добиваются ее внимания...

Наконец-то поехали!

Слишком много мужчин, людей состоятельных, быть может, даже богаче его, с положением в обществе, соперничали из-за нее между собой, а сейчас соперничают с ним; они и моложе, и много умнее, и привлекательнее его во всех отношениях, ведь ей нравятся люди бойкие, остроумные, — он же не такой и никогда таким не будет. Иделла, если угодно, родилась под счастливой звездой,

у нее особый дар покорять и очаровывать. И как бы много горя ни причинила она ему или кому-либо другому, как бы сильно он ни жаждал отомстить ей, если только он когда-нибудь решится на это, судьба до поры до времени будет к ней благосклонна,—ведь она так хороша, так привлекательна. К чему отрицать это? Она слишком красива, слишком умна, к тому же слишком непостоянна, равнодушна и независима, никто не может пройти мимо такой женщины, а тем более эти беспечные, жадные до удовольствий молодые люди, которые всегда окружают ее. И она не позволяет ему вмешиваться в ее жизнь (ведь она согласилась выйти за него замуж только при условии, что он ничем не будет стеснять ее свободу), она живет, как ей заблагорассудится, делает, что хочет, бывает, где хочет. Так всегда было, так продолжается и поныне.

Голые дворы, кучи жалких, прокопченных домишек — очевидно, и внутри они такие же грязные, и люди в них живут, наверно, такие же унылые и жалкие... Куда лучше быть богатым, вот как они с Иделлой. Только она слишком мало ценит свое богатство и положение.

Всегда, везде, где бы он ни был (дела часто отрывали его от Иделлы), он постоянно думал о ней — что она делает, где она сейчас, с кем... Мучительная мысль — где она, с кем: быть может, с этим бездельником Кином, обладателем миллионов, охотничьего заповедника и яхты, или с ней сейчас Браун — этот тоже молод и все еще маячит на горизонте, хотя она и бросила его, чтобы выйти замуж за него, Гаррисона; или Каулстон, с которым она сошлась в Питсбурге пять лет назад, когда ей было всего восемнадцать. Восемнадцать лет — счастливый возраст! И вот сейчас этот самый Каулстон здесь, в Д., а ведь прошло пять лет, и один раз Иделла его уже бросила. Да, он опять увивается вокруг нее, хочет, чтобы она вернулась к нему, стала его женой, а ведь он женат и она замужем!

Стая ворон летит над далеким полем.

Конечно, Иделла смеется над его подозрениями или только притворяется, что это ее смешит. Она играет

роль верной жены, говорит, что все это пустые сплетни,— их не избежать, всему виной ее бурное прошлое, а ведь тогда она его еще не знала. Но как ей верить? Может быть, она и на самом деле собирается бросить его и вернуться к Каулстону, на этот раз в качестве законной жены. Как знать? Природа человеческая непостоянна и капризна, а такой богач, как Каулстон, обладает большой притягательной силой. Он бросил свое крупное предприятие в Питсбурге и явился в Д., чтобы быть ближе к ней и досаждать ему, злить (ее-то это, может быть, и не злит) своими мольбами, своим сумасбродным поклонением, а ведь теперь она замужем и как будто счастлива. Подумать только — какую странную, необычную, даже постыдную жизнь вела прежде Иделла! И все-таки она утверждает, что это была совсем неплохая жизнь. Ей мало того, что он богат, счастлив с нею, боготворит ее, еще бы — ведь он не может заменить ей сразу десяток поклонников! Но чего ради ему терзаться? Почему он не расстанется с ней? К черту! Она легкомысленная, испорченная, только притворяется, что любит его... она умеет так лгать, так играет в любовь!

Баркерсберг... тридцать тысяч жителей, а поезд не останавливается. Первый раз за весь день проглянуло солнце — вон там, за деревьями, голубой просвет в серой пелене туч.

Вся беда в том, что последние двадцать лет, да и раньше (хотя тогда он был не только богат, но и молод), он жаждал, чтобы его полюбила именно такая прелестная, жизнерадостная, полная сил девушка, как Иделла или Джессика,— та, которую он любил в юности, но понял он это, только когда встретил Иделлу, свою мечту. А поэтому такие женщины всегда обезоруживали его. Давно, давно — тому уже четырнадцать лет, подумать только! — он полюбил Джессику Белоуз, дочь одного из самых богатых и светских людей в Лексингтоне, и это закончилось для него катастрофой. Он приехал к полковнику Леджбруку по делам своего отца и там-то, в его богатом имении, познакомился с Джессикой. Тогда впервые в жизни он узнал, какое это счастье — завоевать любовь молодой, красивой девушки, хоть и ненадолго. Это было чудесно!

Как глухо звучит колокол на разъезде...

И все пошло прахом! Мучительно больно вспоминать об этом, но как не вспомнить? Все как будто складывалось очень хорошо — он сумел завоевать Джессику и женился на ней, — но кончилось катастрофой: она ушла от него. Джессика во многом походила на Иделлу — такая же жизнерадостная, молодая, почти такая же настойчивая, но не так хороша собой и далеко не так умна. Этого у Иделлы не отнимешь. Она куда умнее и энергичнее едва ли не всех женщин, которых он когда-либо встречал — и молодых и старых, — куда тоньше и увереннее в себе.

Да, так вот Джессика. Вначале она была от него в восторге, — он казался ей человеком светским, остроумным, любящим беззаботно и весело проводить время: танцевать, болтать о пустяках, кутить, а на самом деле он был совсем другой. Эта разгульная жизнь не по нем, — ему не хватает вкуса к этому и бойкости, а женщины как раз падки на это, так всегда было да так, видно, и будет.

Вон стая голубей на крыше сарая...

В сущности он всегда был мечтателем, любил пофилософствовать, поразмышлять, хотя и старался не показывать этого, а те, кто имеет успех — во всяком случае успех у женщин, — как видно, всегда решительны, находчивы, напористы и беззаботны. Они и говорят и действуют не колеблясь — он никогда этого не умел, — и всегда добиваются своего, просто потому, что такие они от природы. Подражать им бесполезно, таким надо родиться. Иделла, Джессика, любая веселая и обаятельная женщина (а только такие женщины и достойны любви) сразу чувствуют это и предпочитают мужчин именно такого склада. А таких, как он, серьезных и рассудительных, они всегда сторонятся. Да, таких они всегда избегают, может быть даже и бессознательно. Их привлекают только те, кто им подстать, — блестящие, светские франты. И почему женщины всегда повинуются слепому инстинкту и не ценят искренней, преданной любви?

Это, должно быть, Филлипсберг. Сразу узнаешь его высокую водонапорную башню.

Как тяжело, когда видишь все это, сознаешь и бессилен что-либо изменить, переломить себя и стать другим человеком. Джессика все-таки обманулась, приняла его не за того, кем он был. Такой, каким она его видела, он существовал только в ее воображении. Но, конечно, потому, что его неодолимо влекло к подобным женщинам, он старался казаться «настоящим мужчиной» — так она называла веселых молодых людей, любителей (хорошо это или плохо — дело вкуса) карточной игры, охоты, скачек и всего прочего, что его ни в какой мере не интересовало, но чем увлекались люди, в компании которых он постоянно бывал, да еще старался занять там не последнее место.

Сколько всегда на этих полустанках бедного люда!

И увиваются эти мужчины вокруг таких женщин, как Джессика и Иделла — тоже блестящих, самоуверенных; а этим женщинам только такие мужчины и нравятся, — и потому ..

Что ж, и он старался не отстать от них и даже перещеголять это веселое общество, и Джессика, живая, изящная блондинка (у Иделлы волосы темнее), увлеклась им, приняв его за светского человека и любезного кавалера. Она влюбилась в него, можно сказать, с первого взгляда (по крайней мере так тогда казалось) — и подумать только, чем все это кончилось! Какое ужасное время пережили они, когда он привез ее в свой родной город. Это была пытка!

Хоть бы этот толстяк в сером перестал, наконец, глазеть на него! Может быть, он первый раз в жизни видит очки в роговой оправе? Уж эти простаки из среднезападного захолустья!

И сразу же, не успели они пожениться, она поняла, что совершила ошибку. Через какую-нибудь неделю она уже была к нему глубоко равнодушна, словно и не помнила, что они женаты, что он влюблен в нее и восхищается каждым ее движением, каждым словом. Мало того, это стало даже раздражать ее. Как видно, только тогда она и почувствовала, что, в сущности, и по характеру, и по склонностям, и по взглядам он ей не пара, что он совсем не тот человек, за которого она принимала его. И тогда настало ужасное время, ужасное...

Какая хорошенькая девушка там, у ворот...

Да, это были тяжкие, гнетущие, унижительные дни. Ему тогда было двадцать четыре года, а Джессике всего девятнадцать, и сна, такая прелестная, все время была мрачнее тучи — должно быть оттого, что понимала, как она ошиблась. Ведь ей нужен был человек с легким характером, остроумный, предприимчивый, такой, каким он изо всех сил старался казаться в поместье Леджбрука, и вдруг она увидела, что он просто скучный тяжелодум, вялый, рассудительный. Это было ужасно!

Смеркается, и под высокими сводами деревьев уже совсем темно...

В конце концов она ушла от него, просто исчезла: сказала утром, что идет за покупками, и больше он ее никогда не видел, ни разу! Пришла телеграмма из Гаррисберга: она едет к матери, и пусть он не пытается вернуть ее. И он еще не успел решить, что ему делать, как объявилась эта старая лиса Колдуэлл, известный в Д. адвокат по бракоразводным делам, несомненно подсланный матерью Джессики, и в самых осторожных, вкрадчивых выражениях стал уверять, что, как это ни прискорбно, если брак оказался несчастливым и супруги не сошлись характерами, всякие попытки примирения безрассудны, и самое лучшее в таких случаях — расстаться без лишнего шума, мистеру Гаррисону следует подумать о своем добром имени, и так далее, и тому подобное... И, наконец, он согласился оформить развод без огласки в одном из западных штатов и отпустить ее на все четыре стороны. Подумать только!

Первый звонок к обеду. Пожалуй, лучше пойти сейчас же и покончить с этим. Хорошо бы сегодня лечь пораньше...

Да, Джессика.. Как долго его неотступно преследовала мысль о ней. Так остро было чувство утраты, что все в городе — и самые улицы — напоминало о ней, даже через много лет, когда она была уже матерью двоих детей. Да и теперь он не может спокойно пройти мимо отеля Брандингам, где они жили первое время, мимо

модной мастерской мадам Гейтли, у которой она одевалась, и мимо ворот городского парка,— вид их надрыывает душу, словно какая-то полузабытая, грустная мелодия.

Как сильно качает, когда переходишь из вагона в вагон, как лязгают буфера!

Годы, полные деловой суеты, отрезвили его, и он понял, что никогда ему не быть беззаботным светским кутилой и сердцеедом; он просто удачливый делец и коммерсант, любитель чтения, лошадей — словом, человек, которого охотно принимают в обществе.. И тут появилась Иделла.

Такая рань, а в ресторане уже полно. И что за публика!

Он уже почти примирился с тем, что личная жизнь не удалась, что он не из тех, кто покоряет женщин, когда появилась она, Иделла, и как вихрь ворвалась в его жизнь. Иделла красивее Джессики, куда умнее, проницательней. Джессика во всем уступает ей... или, может быть, с годами начинаешь больше ценить все это? Вот почему Иделла привлекает мужчин, отталкивает женщин и предоставляет ему обожать себя. Она прекрасно понимает его, несмотря на то, что он много старше ее, столько видел и испытал, и она очень нежна с ним, когда захочет, но странное дело — подчас она совершенно равнодушна к нему, холодна, даже жестока. Порой он для нее просто не существует, она делает все по-своему. Как это тяжело!

Здесь неплохо, жаль только, что за окном темно, ничего не видно. Какие у них тут тяжелые, неудобные вилки.

Ужасно, что ее молодость была такой бесшабашной, такой разнузданной, вспомнить хотя бы этого влюбленного в нее шестнадцатилетнего мальчика, который застрелился, когда она отказалась бежать с ним,— она бы и убежала, да он ей совсем не нравился! Грустная история, судя по ее рассказам. Отец мальчика явился к ним в дом и при родителях обвинил ее в смерти своего сына, но она все-таки не признала себя виноватой. А те

два юнца... Один присвоил десять тысяч долларов и спустил их, развлекая ее с целой компанией таких же мальчишек и девчонок! Другой же по мелочам выкрал из отцовской кассы пятьсот долларов и кутил с Иделлой и ее приятелями в загородных ресторанах, пока его не задержали. Ох, уж эти загородные кабачки. Она рассказывала ему о катании на лодках, об автомобильных прогулках (у некоторых юнцов были свои машины); весной и летом они ели, пили и танцевали под сенью деревьев, при свете луны... А вот в его жизни ничего этого не было, ничего! Когда одного из мальчишек поймали с поличным и он пытался объяснить своим и ее родителям, почему он сбился с пути, Иделла уверяла, что она тут ни при чем, да и до сего дня утверждает, будто не знала, что он украл эти деньги, и называет его трусишкой и молокососом. Еще несколько лет назад Иделла рассказывала об этом довольно юмористически, — быть может, ей и вправду это казалось забавным. Впрочем, в ее тоне можно было уловить и нотки раскаяния, — судьба этих юношей была ей не совсем безразлична, хотя она и уверяла, что не осталась перед ними в долгу: она щедро расточала им свое время, свою красоту и молодость. Да, что ни говори, а она дурная женщина, во всяком случае до замужества она вела себя дурно. К сожалению, этого отрицать нельзя. Но до чего пленительна, даже и теперь, а уж какая она была — и подумать страшно! Нетрудно понять этих мальчишек — конечно, они теряли голову. Есть в красоте, даже когда она и греховна, что-то такое, что сильнее всех нравственных правил и даже голоса совести. Вот и с ним так случилось, иначе разве он не расстался бы с ней? Так почему и с теми мальчиками не могло случиться то же самое?

Неприятно сидеть в ресторане, когда поезд стоит!

Красота! Кто может избежать ее соблазна, ее очарования? Только не он. Его всегда влекли нарядные, красивые, смелые женщины, чей взгляд, походка, каждое движение говорят о пылкости чувств, живости ума, о смелости. Сколько бы ни звонили церковные колокола, сколько бы ни твердили бесчисленные проповедники о загробной жизни, где каждого ждет награда или кара по заслугам, кто в конце концов знает, что ждет нас после

смерти? Это никому неизвестно, вопреки всем догмам всех вероучений. Жизнь возникает и исчезает вновь — откроется зеленая дверь и уйдешь навсегда, — например, в такой же вечер сойдет с рельсов... Вот все эти фермеры гнут спину на полях, строят свои домишки, поселки, а где будут они через сорок — пятьдесят лет со всем своим трудолюбием и честностью? Нет, не за гробом, а здесь, на земле — жизнь, здесь красота, здесь такие женщины, как Иделла и Джессика.

Надо расплатиться и пойти для разнообразия в курительную. Приятно будет посидеть там, пока ему готовят постель.

А потом эта история с сыном банкира, Грейшетом-младшим, — с ним и теперь приходится встречаться в Д., только тот и не догадывается, что ему, Гаррисону, все известно... а, может быть, и догадывается? Вероятно, он и до сих пор в дружбе с Иделлой, хотя она и отрицает это. Ей совсем нельзя верить. Она уверяет, что этот Грейшет пленил ее воображение, когда ей было всего семнадцать лет, — у него были изысканные манеры, много денег, своя машина; вскоре он соблазнил ее, впрочем, можно ли сказать, что соблазнил? Пылкую, неутомимую, жадную до наслаждений Иделлу не могли остановить никакие условности и запреты. Нет, что бы она там ни говорила, нельзя винить в этом одного лишь Грейшета.

Великолепное зрелище — слепящее пламя доменных печей во мраке ночи, — поезд пролетает милью за милей, а этим огням все нет конца.

Она рассказала ему об этих своих приключениях с самого начала, вернее, вскоре после того, как они поженились; тогда она хотела выложить все начистоту и начать новую жизнь, — и это бросало на ее прошлое своеобразный романтический отблеск.

«Игривые рассказы!» Ну и название для журнала! И не стыдно этому старому толстяку читать такое!

А как необычайна судьба такой девушки — сколько страстей, сколько иллюзий! А быть может, и в самом деле по-настоящему живет только тот, кого щедро ода-

рила природа и кто умеет взять от жизни все... Но как тяжело тому, кто этого лишен. Однако надо же в конце концов проститься с легкомыслием молодости, следовало бы и Иделле с ним покончить. Бог свидетель, она вволю безумствовала в юные годы. Безрассудная, неугомонная, порывистая, жадная к жизни, она ни в чем не знала удержу,—пора ей и уgomониться. Почему бы и нет? Ведь он дал ей все, чего только она могла пожелать. Кажется, теперь она могла бы перемениться. Чрезмерная пылкость, словно у девочки-подростка, порой придает ей своеобразную прелесть, и все же это смешно, не к лицу взрослой женщине, жене и матери. Но именно ослепительный блеск юности покорила его, человека уже немолодого, именно это привлекало и всех ее остальных поклонников в Б. и повсюду, где бы она ни появлялась. Как ни странно, он мог бы и сейчас простить Иделле все ее возмутительное прошлое, как прощала ее мать, если бы только она теперь вела себя достойно, если бы она любила его, его одного, но любит ли она? Она, как видно, думает только о себе и не намерена ни в чем ему уступать.

Нет, эта публика в курительной невыносима! Пускай проводник сейчас же приготовит постель!

А потом появился Каулстон, который и сейчас увиливается вокруг нее; с Каулстоном связаны ее скандальные похождения в Питсбурге,—ему и сейчас тошно думать об этом. Разумеется, одно можно сказать ей в оправдание, если уж пытаться ее оправдывать, что в сущности невозможно,—она больше не была скромной, неискушенной девочкой, она много испытала, и в ней пробудился необузданный нрав. Она сама распоряжалась своей судьбой и делала, что хотела. Но почему она встретила тогда не с ним, а с Каулстоном? Тогда он был еще полон жизни, и ведь он всегда чувствовал себя таким одиноким. Когда она рассказала ему о своем прошлом, не о Каулстоне, но о многом другом, почему он сразу не расстался с ней? Уйди он от нее тогда — ему теперь не пришлось бы мучиться, но мог ли он уйти? Он был вдвое старше ее, когда они поженились, и лучше знал жизнь, но он надеялся перевоспитать ее. Впрочем, так ли? Разве потому он женился на ней? И может ли он самому себе признаться — почему?

— Да, постелите сейчас же. (Вот теперь сиди и жди — экая досада!)

Так вот, Каулстон и вся ее бурная жизнь в Питсбурге. Каулстон был одним из четырех или пяти очень богатых молодых вице-председателей компании Инверсон Сентлевер Фрог и Свич. Когда отец Иделлы внезапно умер, так и не узнав о том, что произошло между дочерью и Грейшетом-младшим, мать, растерявшись, уступила желанию Иделлы и отправила ее к тетке в Питсбург. Но вскоре после приезда Иделлы тетке пришлось на время уехать, а Иделла решила до ее возвращения погостить у подруги и уговорила мать позволить ей это.

Этой длинноногой девчонке в соседнем купе придется спать на верхней полке. Насколько удобнее спальные вагоны в Европе!

Подруга Иделлы была, как видно, ей подстать, если не хуже. Во всяком случае, Иделла сумела обвести ее вокруг пальца. При ее помощи она ухитрилась познакомиться с некоторыми из тамошних молодых богачей, среди которых оказались два упомянутых вице-председателя компании Фрог и Свич, в том числе Каулстон. По рассказам Иделлы, это был отчаянный кутила, без счета швырявший деньгами и всячески старавшийся показать, что для него нет ничего невозможного и недоступного. Вечерами, особенно под праздник, он любил появляться в ресторанах, барах и прочих увеселительных заведениях и готов был бы обойти за один вечер десяток элачных мест, если б тогда их столько нашлось в Питсбурге.

Это, должно быть, Сентерфилд — столица штата И., а поезд даже не сбавил ходу. Сколько больших городов экспрессы мнут не останавливаясь...

С самого начала Каулстон стал настойчиво добиваться любви Иделлы, хотя и был женат (разумеется, несчастливо), а она — дерзкая, своевольная и неугомонная, ни в чем не знавшая удержу, так же откровенно и легкомысленно принимала его ухаживания. Вот это хуже всего — эта вечная, неутолимая, поистине языческая жажда наслаждений, в погоне за ними Иделла и по сей

день не считается ни с кем и ни с чем, и он ничего не может с ней поделаться. Есть что-то глубоко безнравственное в таком чисто животном влечении, бросающем людей в объятия друг друга. Ну, а если бы на месте Каулстона был он сам?

Как хорошо, что он один в купе. По крайней мере есть чем дышать...

А затем — она сама признавалась, а пожалуй, и хвасталась этим, — настало безумное время. Полгода она уверяла мать, что ей пока не стоит возвращаться домой, лучше еще погостить у подружки. У нее была своя машина, слуги, наряды — все, что душе угодно. Каулстон окружил ее сказочной роскошью, она была свободна, как ветер, это было как волшебный сон, который, казалось ей, никогда не кончится. И мать ничего не подозревала! Все было к услугам Идеаллы: стоило ей пожелать — и затевались веселые пикники, вечеринки, ночные пирушки в загородных клубах и кабачках, где обычно собирались молодые повесы со своими подружками, устраивались бешеные автомобильные гонки, поездки на соседние курорты и пляжи. Да полно, было ли все это? Вероятно, было, судя по тому, как она вела себя позднее — и с ним и с другими.

Приятно вытянуться и отдохнуть, глядя на проносящиеся за окном залитые лунным светом холмы и равнины.

Идеалла и не скрывала, что была тогда безумно счастлива — вот это хуже всего; она почти не задумывалась над своими поступками и никогда не знала угрызений совести, не знает и теперь. Зато она жила полной жизнью, — говорит она. А почему бы ей, собственно, раскаиваться? Разве не все люди в душе эгоисты? Однако такова была ее ненасытная натура, она и тут не успокоилась! Тотчас появились новые поклонники, некий пожилой миллионер, еще более богатый и влиятельный, чем Каулстон, и какие-то юнцы, которые тоже добивались благосклонности Идеаллы, но понапрасну — для нее они не представляли интереса. Старик, которого опередил Каулстон, но которого она все же терпела, вдруг стал неистово ревновать, хотя, по ее словам, не имел на

это никакого права, и, наконец, решил уничтожить счастливого соперника, и ему это удалось: он изобличил Каулстона в безнравственности, извольте ли видеть, и именно на этом основании выжил его из фирмы, а затем и из города, а сам тут же попытался занять место Каулстона возле Идеаллы! Вот на что можно пойти ради девятнадцатилетней девчонки, беспутной и легкомысленной! Как мало знает мир об этих страстях — и слава богу! Что было бы, если б все так же сходили с ума?

Мерно постукивают колеса, покачивается вагон, — до чего убаюкивающая музыка...

А с какой наивной беспечностью, быть может наигранной, она относится к своему прошлому — ей все равно, что подумает он, что подумают люди, если узнают. Она словно и не догадывается, что мысль об этих старых историях так мучительна для него. Она слишком себялюбива. Вероятно, она и не подозревает, каково это ему, — ведь он так ее любит. Нет, она ничуть не дорсжит им, да и никем, иначе она не рассказывала бы о таких вещах, — уж скорее солгала бы ему. Она всегда думала и заботилась только о себе, и хоть как будто остепенилась немного, но осталась все той же бессердечной прожигательницей жизни. Ее нимало не трогала участь жен обоих ее поклонников из Б., ее не интересовало, что случилось потом с ними самими, да и с теми, кто ухаживал за нею после. Ей нужно только одно — быть магнитом для всех, жить весело, свободно и беззаботно, в свое удовольствие. Сами по себе те, кто увлекался ею, были ей не нужны. Когда жене Каулстона сообщили о его связи с Идеаллой, сам Каулстон, предвидя неизбежный скандал и притом без памяти влюбленный, предложил Идеалле провести несколько лет в Париже или на Ривьере, но странное дело — она не согласилась. Она совсем не желала связывать себя надолго. По ее уверениям, в ней заговорила совесть, она даже побывала на исповеди и затем вернулась в Д., сбежав от всех своих преследователей и искусителей.

А вот и горы. Как внушительно выглядят те дальние склоны.

Это можно понять: бывает так, что человек вдруг хотя бы на время почувствует отвращение к непрерыв-

ному, чрезмерному распутству, и это был едва ли не единственный достойный поступок за всю ее жизнь. Но увы, в этом не было особенной заслуги,— просто она еще не была достаточно уверена в себе, чтобы расстаться с матерью и уехать в чужую страну. Кроме того, дело принимало опасный и для нее оборот,— если бы вокруг Каулстона разыгрался скандал, пострадало бы и ее доброе имя. Но хуже всего, что, как и следовало ожидать, она вернулась к прежней жизни. Она была хороша, легкомысленна, старики и молодые наперебой ухаживали за ней; за первым шагом по пути легких развлечений последовал второй, и вскоре от ее благочестивого настроения не осталось и следа. Конечно, жажда наслаждений в такой женщине, как она, не могла не взять верх.

Хижина, затерянная в горах, одинокий огонек в ночи...

А потом... потом...

О черт, уже утро! Десять часов! Надо же так про-спать! Скорее одеваться!

Так вот, Иделла... о чем это он вспоминал? Ах, да... Как неотвязно все эти дни преследуют его мысли о ней! Каулстон, обозленный ее отказом вернуться к нему (Иделла говорила, что при всем своем благочестивом настроении не могла сделать этого,— ведь она уже охладела к нему) и опасаясь соперников, в конце концов, перевел все свои дела из Питсбурга в Д. И вот теперь, через пять лет, рассуждая о добродетели, о долге и бог весть о чем еще, он добивается у своей жены развода, чтобы жениться на Иделле и дать имя ее ребенку! А ведь она теперь жена его, Гаррисона! До чего доходит человеческое безумие!

Надо поторопиться с завтраком, скоро уже Д. Пер-вым делом надо заехать к Киралфи — купить для не-цветы.

Но Иделла на это не пошла. По ее словам, Каулстон ей больше не нравится. Да и вообще, как видно, только годы излечат ее от этого удивительного непостоянства. Но неужели она только к старости остепенится и кто

способен ждать до тех пор? Уж во всяком случае не он! Да вот взять хоть тот случай, который бросил ее в его объятия; будь у него хоть капля здравого смысла, он тогда же понял бы, что она такое! Это было просто еще одно похождение, как история с Каулстоном и как со стариком Кандиа, только тут были замешаны люди помоложе — тоже светские бездельники, но один хоть действительно был от нее без ума, а другой попросту очень увлекся. И почему это у Иделлы всегда получается так, что сразу двое, трое стараются отбить ее друг у друга?

До чего противно умываться по утрам в поезде!

По ее словам, она сперва влюбилась в младшего из этих двух — Гейтера Брауна (из семьи Браунов, издавна живущих в Д.); но в самый разгар их романа (а на горизонте маячил еще и Каулстон, от которого она никак не могла окончательно отказаться) появился Гетчард Кин — обладатель нескольких автомобилей, яхты, скаковой конюшни, — Иделла начала заигрывать и с ним. Но к этому времени...

Сколько народа в ресторане! Вся вчерашняя публика, да еще и новые прибавились. Должно быть, ночью прицепили несколько вагонов.

...она почти уже обещала выйти за молодого Брауна, хотя и к нему не питала нежных чувств, и будто бы даже рассказала ему кое-что о себе и он простил ей все, сказав, что для него ее прошлое не существует.

Когда же появился Кин и она им заинтересовалась, Брауну это очень не понравилось, он стал бешено ревновать. Совсем обезумев, он пригрозил убить ее и себя, если она не перестанет встречаться с Кином, и это только усилило ее интерес к Кину. Наконец Браун не выдержал и, опасаясь, как бы Кин не восторжествовал (чего, конечно, не случилось бы — ведь Иделла никогда не любила Кина), пригласил ее покататься с ним на автомобиле...

Сегодняшний завтрак — только для проформы. Не хочется даже смотреть на еду, да и понятно — горькие раздумья последних дней совсем отбили у него аппетит.

...вот после этой-то прогулки он и увидел Идежду в Инсулской больнице. Должно быть, Браун и в самом деле очень любил Идежду, раз он предпочитал убить себя и ее, лишь бы ее не потерять. Если верить ей, Браун на полной скорости врезался в скалы близ Салтер-Брука, но в газетах об этой истории не было ни строчки, и, разумеется, Идежда и Браун оба тоже молчали.

Какая всегда грязь в вагонах к концу такой долгой поездки!

После она очень жалела Брауна и каждый день спрашивала о нем, хотя, конечно, все они были ей безразличны — и Браун, и Кин, и все, кто добивался ее любви. Она всегда думала только о себе и своих прихотях. Кин навещал ее каждый день, пытаясь узнать подробности катастрофы, являлся и Каулстон, очень встревоженный ее состоянием (наверно, и старик Кандиа и еще кто-нибудь — трудно сказать, сколько у нее в ту пору было поклонников). Она принимала всех, кто бы ни приходил ее навестить. И вдобавок — подумать только! — она поощряла его, Гаррисона, — позволила ему влюбиться в нее и даже вообразила, будто сама влюбилась в него (так она говорила во время ссор, стараясь его побольнее уколоть), будто готова исправиться и начать новую жизнь, и в конце концов согласилась выйти за него замуж, назло всем остальным. Как понять, что на уме у такого создания? Кто из них помешан — она или он? Или, может быть, оба? Конечно, оба.

Кенелм! Поезд набирает скорость... До чего безобразны эти четыре деревянные коровы среди поля — реклама сливочного масла.

А ведь она может быть такой ласковой, когда захочет, и как она неотразимо вызывающе красива...

Но ясно, что теперь все должно как-то измениться. Он больше не в силах это терпеть. Такие женщины, как Идежда, просто опасны, и им нельзя потворствовать. Многие на его месте давно бы бросили ее, а вот он терпит. Но почему же? Почему? Да ведь он любит ее. Любит и все тут. А потом другое, главное: если она уйдет, он останется совсем один — это так страшно! Одиночество! Какой это ужас — остаться под старость одному, да еще когда так любишь женщину, которая при всех

ее пороках могла бы сделать его бесконечно счастливым, стоило ей только захотеть. О господи, как все-таки непостижима любовь! Люди теряют голосу, страдают, мучаются. Вот и его грызет мысль о том, что без Иделлы он будет глубоко несчастлив,— ему непременно нужна женщина такая же красивая, такая же веселая и приветливая, какой бывает Иделла, когда захочет. Но она и так очаровательна. А ведь если он когда-нибудь, набравшись духу, попытается образумить Иделлу, ему снова придется привыкать к одиночеству. Но почему же он не в силах наставить ее на путь истинный? И почему бы ей, наконец, не уgomониться и не начать вести достойную жизнь? Да, на этот раз нужно объясниться с нею раз и навсегда. Больше он этого терпеть не намерен. Пора уж бросить это баловство, она достаточно пожила в свое удовольствие! Он больше не желает быть ширмой для ее похождения и играть роль покладистого мужа. Нет уж, хватит с него!

Осталось всего тридцать восемь миль! Ну, если ее и на этот раз нет дома, как она обещала!..

Начиная с сегодняшнего дня она должна будет считаться с ним, или он с ней расстанется. Он не хочет, не может выносить этого дольше. Стоит только вспомнить, как он в прошлый раз вернулся из К.—совсем, как сегодня: Иделла обещала ему быть дома, он еще перед отъездом взял с нее слово; сойдя с поезда, он зашел вместе с Арбутнотом в ресторан Брандингам, чтобы позвонить по телефону, и увидел, что она веселится там с Кином и четырьмя другими повесами, а как раз перед этим он сказал Арбутноту, что Иделла обещала ждать его дома!

— А вот и ваша жена, Гаррисон! — насмешливо улыбаясь, заметил Арбутнот, и ему пришлось изворачиваться.

— Ах, да! какая глупость, я совсем и забыл — мы ведь сговорились встретиться здесь!

Почему он тогда же не устроил скандал? Почему сразу не покончил со всем этим? Да потому, что он круглый дурак, позволяет Иделле водить себя за нос и делать все, что ей заблагорассудится. А все потому, что он ее любит. Надо быть последним ослом, чтобы так любить эту женщину, зная, что она собой представляет!

Уже Шивли! Вот и ферма полковника Бранда. Скоро дома! А вон тот маленький городок совсем в стороне от железной дороги...

В тот раз, когда они, наконец, сели в такси, она по своему обыкновению начала оправдываться: ей будто бы понадобилось что-то в городе — платьице для дочери. Но стоило ему заикнуться о том, что ее поведение позорит их обоих, что она все время дурачит его и что он больше не в силах это выносить, как она тут же обозлилась и заявила ему:

— Прекрасно! Почему же нам тогда не расстаться? Я ведь не держу тебя. Мне это надоело, с меня довольно! Не могу же я вечно торчать на Сикард авеню и дожидаться тебя!

На Сикард авеню! А когда он с ней, она тоже отказывается сидеть дома, и в деловых поездках сопровождать его не хочет, и вообще нигде не хочет бывать с ним вдвоем! Нечего сказать — счастливая семейная жизнь! А все любовь! Да, любовь, черт ее возьми!

Вот уже и Лондейл, осталось восемнадцать миль — при такой скорости всего восемнадцать минут езды, — скоро он увидит Иделлу, если только она дома. Хорошо бы она оказалась дома, хотя бы только на этот раз, поцеловала бы его, засмеялась, расспросила, как он съездил, а потом они бы спокойно пообедали где-нибудь в тихом ресторанчике и провели вечер дома, вдвоем. Вот было бы славно! Да нет, где уж... на станции его непременно встретит Чарлз на желтой гоночной машине, — надо будет взять себя в руки и как можно более непринужденно спросить шофера — в глазах прислуги, как-никак, следует сохранять видимость... но Чарлз может и не знать, дома ли она. Иделла часто уходит, ничего не говоря слугам. Ну, уж если она и сегодня не ждет его дома... он послал ей письмо, дал телеграмму... ну, тогда... если и на этот раз... к черту!

Уилрайт! Поезд, кажется, немного запаздывает, но прибудет он все же почти вовремя...

А в последний раз та возмутительная сцена в С., у Шэкомексона, куда она отправилась с Бодином, Арбутнотом и этим противным субъектом Айкенхэдом и даже не предупредила!

Подумать только — появиться в таком людном месте, как бар Шэкомексона, да еще в подобной компании! (От того, что с ними была и жена Бодина, дело не меняется, она сама не лучше их.) А ведь Иделла замужняя женщина и о ней и так без конца злословят. Если бы не он, ее давно перестали бы принимать в обществе. Конечно, перестали бы. Ведь вот тогда генерал де Пэси с женой демонстративно прошли мимо нее, не кланяясь, и, лишь когда он подошел к Иделле и взял ее под руку, они сухо кивнули, но дали ясно понять, что делают это только ради него.

*Эта коричневая машина старается обогнать поезд.
Как все-таки бывают глупы автомобилисты!*

Да, в тот раз, вернувшись в город и не застав ее дома, он поспешил в С. в надежде найти ее там — и не ошибся: Иделла танцевала там с Айкенхэдом и Бодином, а потом к ним присоединились миссис Бодин, Белла Джири и эта вертихвостка мисс Джилдас. Он разыскал Иделлу, чтобы она знала, что он уже вернулся и соскучился по ней, а она сразу набросилась на него, словно дикая кошка: «Вечно ты за мной следишь и шпионишь!» Она сказала это так громко, что многие могли ее слышать. Ужасно! Как снести такое оскорбление и не утратить уважения к себе! А он стерпел, смолчал, к своему великому стыду. И все потому, что так стосковался по ней, с таким нетерпением ждал встречи, а в кармане у него лежал подарок для Иделлы — серьги, и он надеялся, что они ей понравятся. Если б не это, все не окончилось бы так позорно, — ведь он не нашел ничего лучшего, как извиниться перед собственной женой, он оправдывался, уверял, что и не думал за ней шпионить. Почему, черт возьми, он тогда же сразу не расстался с ней? Ну, не вернулась бы она к нему, ушла бы совсем... Так что же? Но только...

— Выход здесь, прошу вас!

Вот, наконец, и Д., и Чарлз дожидается, как обычно. Дома она или нет? Да или нет? А может быть, не спрашивать Чарлза, прямо заехать к Киралфи и купить цветы? Но к чему, если ее опять нет дома? И как тогда поступить? Нет уж, если она и сегодня не ждет его,

нужно с этим покончить,— неужели у него не хватит сил? Неужели он снова уступит ей, ведь он дал себе слово порвать с ней, если она опять посмеется над ним. Теперь уж висит на волоске его доброе имя. Все будет зависеть от того, как он поступит. Что должны думать слуги, видя, как он бежит за ней по пятам, а она никогда не бывает дома и совсем не думает о нем.

— *А-а, Чарлз! Ждете меня? сперва заедем к Киралфи, а оттуда домой.*

Она делает из него посмешище или сделает, если он сегодня же не положит этому конец. Он без памяти влюблен в эту женщину только потому, что она молода и красива; он мирится с тем, что его жена, нимало не интересуясь им, развлекается в его отсутствие с другими — с компанией дрянных бездельников. Она тянет его за собой — вот ведь что,— и он опускается до ее уровня. Он никогда и не думал, что можно так низко пасть. Это просто непостижимо... и все же... А пока что все-таки надо купить цветы!..

— *Одну минуту, Чарлз!*

Вот и Сикард авеню, славная, тихая Сикард, красивые ряды деревьев по обеим сторонам широкой аллеи, и в глубине тенистого сада их большой, окруженный вязами дом. Как здесь спокойно и благородно! Почему же она всего этого не ценит, не дорожит тем высоким положением, которое он ей дал? Почему? Разве этого мало, чтобы быть счастливой? Если б только она захотела и приложила хоть немного усилий, она заняла бы в обществе видное место. Да нет, ей это совсем не по вкусу... И все будет по-прежнему, пока... пока...

Как ровно садовник опять подстриг траву на лужайке!

— Нет, миссис Гаррисон нет дома, сэр,— мягко и нараспев, как все негры, говорит Джордж, поднимаясь по лестнице впереди хозяина; именно этого ответа Гаррисон ждал и боялся. Каждый раз одно и то же, и так будет до тех пор, пока он не соберется с духом и не покончит с этим раз и навсегда. И сегодня он это сделает!

Он не хочет выносить это ни минуты дольше, ни одной минуты!

— Миссис Гаррисон сказала, сэр, что она уехала к миссис Джилдас (с таким же успехом она могла отправиться к Бодинам, к Дель Гардиа или Крейнам — все они одного поля ягода) и чтобы вы, сэр, заехали за ней, когда вернетесь. И еще она сказала, что оставила для вас записку на туалетном столике.

Черт бы ее побрал! Вечно одна и та же история! Хорошо же, на этот раз он ее проучит! Непременно! Этого он ей не простит!

Вот и медная ручка двери не вычищена как следует...

— Джордж,— бросил он слуге, вошедшему первым в комнату — в их комнату, которую он так любил, когда выдавался мирный вечер,— пока не разбирайте чемоданы. Если вы будете мне нужны, я позвоню.

И едва за слугой закрылась дверь, Гаррисон обвел комнату взглядом, полным ненависти... В раме зеркала, как раз над его щетками для волос, торчала записка: без сомнения, льстивая, пустая болтовня, так она всегда пишет, когда чувствует себя виноватой и хочет его задобрить. Посмотрим, что она сочинила в свое оправдание на этот раз, куда просит заехать за ней сегодня, что еще сделать... и это вместо того чтобы быть дома, как она обещала, как поступила бы на ее месте всякая порядочная замужняя женщина; ведь этого вправе ожидать каждый женатый человек. Ах, черт возьми!

Как жужжит и бьется в стекло муха, стараясь вырваться вон!

К чему тогда и жить? Деньги и все остальное — что в них? Больше он не станет терпеть, он не в силах, просто не в силах, и все тут. Ну ее к дьяволу! Он ни за что больше не побежит за ней, ни за что... К черту все это, к черту! Кончено! Она всегда так! Но уж теперь все, терпенье его лопнуло! Он разведется с ней! На этот раз он не уступит,— он мужчина, а не тряпка, не жалкий нищий, он больше не станет ждать ее милостей, как подачки! Ни за что, никогда! Но только...

Вот и записка на туалетном столике, как всегда, дожидается его.

«Мой милый, старый ворчун! Это еще не настоящее письмо, а всего лишь тысяча поцелуев! А настоящее приколото к твоей — к нашей — подушке, и это самое подходящее для него место, правда? Я не хочу, дорогой, чтобы ты расстроился, не найдя меня дома, слышишь? Не хочу, чтобы ты разозлился на меня... И очень хочу, чтоб ты прочел то, настоящее письмо. Так не будешь сердиться, нет? Приезжай за мной к Джилдасам. Я страшно хочу тебя видеть, милый. Честное слово, хочу! Я так соскучилась без тебя! Да, соскучилась! Ты непременно найдешь меня у них. И смотри, не вздумай сердиться и хмуриться! Я не могла ждать тебя дома, дорогой, никак не могла. Ну, а теперь читай второе письмо!

Иделла».

Хоть бы руки не дрожали так... Будь она проклята, тысячу раз проклята! Все время так издеваться над ним! Ему и часу не удастся побыть с ней спокойно, без посторонних: то она в гостях, то кутит где-нибудь со своей компанией...

Он скомкал записку, бросил ее на пол и подошел к окну. Из широких дверей дома напротив вышла молодая женщина — миссис Юстус, — вот она садится в машину. Эта простая, скромная женщина любит свой дом, свою семью; ей бы никогда и в голову не пришли вероломные и дикие выходки, на какие способна Иделла. Да если бы она только заподозрила, как ведет себя его жена, она бы и знать ее не захотела. И почему он не полюбил вот такую простую, спокойную девушку? А рядом — большой и тихий особняк Уолтерсов, людей солидных и состоятельных. Они очень милы, приветливы и любезны, а Иделла всегда твердит, что они несносные и скучные. Все, что другие считают хорошим, приличным, порядочным, ей скучно и несносно. Вот и к нему она относится так же. Сама-то она совсем другая, черт бы ее побрал! Поэтому она не выносит и не может понять таких достойных людей, как Юстусы или Уолтерсы. (Вот и Мэй Уолтерс показалась в окне столовой.) Или семейство Хартли... Да, а вторая записка, что в ней? Уедет он или нет, а записку нужно прочитать; но на этот раз он непременно уедет, уж это точно!

Он подошел к двуспальной кровати и отколол от

узорчатого покрывала вторую надушенную записку: такие записки она всегда оставляет, когда провинится. Наплевать ему теперь, что она там пишет... На этот раз он не бросится ей вдогонку, ни за что! Он больше не желает иметь с ней дела. Сейчас он покончит со всем этим — запрет дом, отпустит прислугу и не оставит ей ни гроша, пускай убирается ко всем чертям! А сам переберется в клуб, как он не раз обещал себе, или даже совсем уедет из города. Начнутся сплетни... невыносимо! Он и так сыт по горло. Проклятый городишко! Никогда ему здесь не везло! В этом городе ему ни разу не улыбнулось счастье, хотя здесь он родился, здесь вырос, дважды женился. И здесь, в родном городе, где его все знают, обе жены обманывали его, делали всеобщим посмешищем... но теперь уж...

Да, письмо!

«Мой славный муженек, лучший из мужей! Ты, конечно, огорчишься, не найдя меня дома, и, как бы я ни оправдывалась, наверно, рассердишься, а лучше бы не надо! Но, мой милый, поверь мне, пожалуйста, только на этот раз (я, правда, и раньше так говорила, и ты мне не верил, но это не моя вина) все вышло совершенно случайно, честное слово! Провалиться мне на этом месте, если вру!

(Да, как же, очень ее трогают его огорчения и страдания!)

Но вчера в четыре часа позвонила Бетти и сказала, что я должна непременно быть у них. Устраивается большой вечер (ты, конечно, тоже приглашен). Будет ее двоюродный брат Фрэнк и кое-кто из его друзей...

(Знает он этих друзей!)

...и еще четыре мои школьные подруги — я просто не могла отказаться, да мне и не хотелось, ведь Бетти просила меня помочь ей, а сколько раз она мне сама помогала. Ну что мне оставалось делать?»

Иделла всегда любит поддразнивать, вот и в письмах то же самое. Да пропади она пропадом, эта Бетти Джил-

дас, со всеми своими вечеринками. Но почему Иделла не могла остаться дома хотя бы только на этот раз! Неугомонная, бессердечная вертушка! Он так мечтал об этом и заранее предупредил ее письмом и телеграммой!

Да нет, она не любит его. И никогда не любила. Просто ей нравится водить его за нос, а между тем она пользуется его именем и положением в обществе. Она ничем не дорожит — ни этим домом, ни мнением его друзей, ни им самим. Она хочет водить его за нос, развлекаясь с такими же, как она сама, дрянными, жадными до развлечений пустоплясами, — в голове у них только выпивка и танцульки, они без устали гоняют по всяким сомнительным заведениям — загородным клубам, ресторанам, туда, сюда, а то и в Нью-Йорк, где все — вызов и насмешка над скромностью и душевным спокойствием!

Нет, с него довольно. Она всегда тяготилась им, никогда не стремилась быть с ним, а вот ими она не тяготеется! Ей нравятся самые беспутные, самые нелепые развлечения. Но теперь всему конец. Хватит с него. Пускай она идет своей дорогой. Черт с ними, с цветами, пусть валяются здесь, он не собирается преподносить их ей. Довольно с него. Он сделает, как решил, — уедет, бросит все. Но только...

Он стал отбирать в саквояж кое-что из вещей в придачу к тому, что было у него с собой в чемоданах, — шелковые рубашки, еще белья, все воротнички. На этот раз он порвет с ней — навсегда, навсегда!

Но только...

Он рвал и метал, но тут взгляд его упал на любимую фотографию Иделлы: молодая, свежая и такая очаровательная в расцвете своих двадцати четырех лет (а ведь ему уже сорок восемь!) Каждый мужчина был бы рад и счастлив иметь такую жену. А ее поклонники, такие самоуверенные и наглые, — Каулстон, который не отстает от нее, хоть она и замужем; молодой и богатый Кин, Арбутнот, да мало ли их... И каждый будет рад завладеть Иделлой, если он ее бросит. Она знает это. В этом ее сила, власть и даже очарование. Черт бы ее побрал!

Но главное — жизнерадостность, извечный соблазн красоты и молодости! Иногда она бывает нежна и снисходительна, так славно улыбается и болтает с ним в сумерках по вечерам. Вспоминаешь все и тянешься к

ней. И всему этому конец, если он ее бросит. Она ведь предупреждала, и не раз: «Если я уйду, не надейся, что я вернусь». Она не вернется. Он слишком мало для нее значит. Уж если она уйдет, то навсегда.

Он медлил, размышлял, по привычке кусая губы, хмурился, краснел, колебался, тучи набегали на его лицо... потом позвонил.

— Джордж,— сказал он вошедшему слуге,— пусть Чарлз подаст опять машину, а вы соберите мне маленький коричневый саквояж — я уезжаю дня на два.

— Слушаю, сэр!

Потом он сошел вниз, повторяя себе, что Иделла лживое и ничтожное существо, бессердечный мотылек и заслуживает, чтобы он бросил ее немедленно. Но вот он в автомобиле, Чарлз, сидя за рулем, ждет распоряжений,— и еще помедлив, он говорит устало:

— К Джилдасам! И поезжайте через Скилтаун,— так скорее...

И снова погружается в раздумье.

СВЯТОЙ КОЛУМБ И РЕКА

В то утро, когда Мак-Глэзери с того места, где была прорыта первая шахта, впервые увидел великую реку, катящую свои воды на запад, зрелище это не поразило его, а если и поразило, то неприятно. Река была слишком уж серая и угрюмая — такой, во всяком случае, она показалась ему сквозь сетку косого дождя со снегом. Множество паромов и всевозможных судов и суденышек бороздили ее беспокойные воды; чего тут только не было: и гигантские пароходы, и далеко выступающие причалы, огромные и таинственные, и тучи чаек, и пронзительные свистки, и трезвон сигнальных колоколов, предупреждающих о тумане... Но Мак-Глэзери не любил воду. Она напоминала ему о тех одиннадцати ужасных днях, когда он плыл из Ирландии через океан и страдал от морской болезни. Тогда, пройдя через мытарства Эллис-Айленда, он с таким облегчением ступил, наконец, на твердую землю Бэттери, держа чемоданы в руках, что у него невольно вырвалось: «Слава богу, теперь с этим покончено!»

Он был твердо уверен в этом, потому что до смерти боялся воды. Но— увы! — судьба решила иначе. Вода в том или ином виде, казалось, поистине преследовала его. В Ирландии, в графстве Клэр, откуда Мак-Глэзери был родом, он копал канавы — стало быть, в известном смысле все же имел дело с водой. Здесь, в Америке, не успел он обосноваться в Бруклине и приняться за поиски заработка, как обнаружил, что, пожалуй, лучшее, на что можно рассчитывать,— это работа по осушке очень болотистой и сырой местности: как видите, опять вода! Однажды, когда прорывали водослив — этакую большую открытую канаву — и он работал на дне ее вместе с другими землекопами, хлынул дождь, неукротимый послеполуденный ливень, и они едва унесли ноги, спасаясь от быстро прибывавшей воды, которая грозила поглотить их. В другой раз вместе с тридцатью рабочими он чистил старый, осыпающийся каменный водоем, разделенный перегородкой надвое; и вот, когда из одной половины водоема всю воду выкачали, а другая половина была доверху полна,— ветхая перегородка рухнула, и опять он едва спасся, вскарабкавшись по крутому откосу. Тут-то впервые у него и зародилась мысль, что вода — любая вода, морская или пресная,— приносит ему одни несчастья. И тем не менее в это серое, дождливое ноябрьское утро Мак-Глэзери стоял на берегу и собирался наняться на работу по прорытию туннеля под великой рекой.

Подумать только! Он все-таки пришел сюда, вопреки своим предубеждениям и страхам, и все из-за Томаса Кэвеноу, мастера, с которым он проработал вместе последние три года, прихожанина той же церкви, куда ходил и он сам. Кэвеноу явно привязался к нему и потому сказал, что, если он пойдет землекопом в туннель, будет стараться на новом месте и проявит достаточно умения и храбрости, его могут поставить на работу по-лучше — например, укладывать кирпичи, или цементировать стены в самом туннеле, или устанавливать крепления, а то и еще лучше: клепать стальные плиты — эта работа требует квалификации металлиста и оплачивается не ниже двенадцати долларов в день. Шутка сказать — двенадцать долларов в день! Опытных рабочих такой специальности нелегко найти для работы в туннеле, да и вообще на них в Америке большой спрос. Сам Кэвеноу будет работать в этом туннеле мастером в сме-

не Мак-Глэзери и присмотрит за ним. Конечно, чтобы получить место получше, понадобится немало времени и терпения. Ведь начинать-то придется с самого низа — на глубине семидесяти пяти футов под Гудзоном, где им предстоит сначала тщательно провести сложные земляные работы. Слушая все это, Мак-Глэзери глядел на своего начальника и благодетеля каким-то неуверенным и, однако, уже загоревшимся взглядом.

— Да неужто все это правда? — спросил он наконец.

— Ну, да. Конечно, правда. А то зачем бы я с тобой разговаривал?

— Значит, верно?

— Само собой.

— Так, так! Похоже, неплохая работенка. Прямо не знаю. Значит, говорите, для начала пять долларов в день?

— Да, пятерка в день.

— Так. Что ж, простому рабочему — такому, как я, пожалуй, больше-то нигде не дадут. Попробовать, что ли? Авось ничего со мной не сделается, коли немножко поработаю с вами!

— Человеком станешь!

— Ну, так я пойду к вам. Пойду. Да. Пятерку-то не везде получишь. Когда, стало быть, я вам понадоблюсь?

Мастер, этакий гигант Гаргантюа, в желтых штанах и высоких резиновых сапогах, доверху забрызганных грязью, дружелюбно и весело поглядывал на Мак-Глэзери, а тот взирал на своего начальника почтительно и даже благоговейно, — такого почтения он, пожалуй, ни к кому не испытывал, разве что к священнику своего прихода (Мак-Глэзери был набожный католик), да еще к местному политическому боссу, благодаря которому он в свое время получил работу. Для него это были великие люди, властители его судьбы.

Вот как случилось, что этим пасмурным утром, вскоре после начала работ в туннеле, Мак-Глэзери стоял на берегу, и перед ним текла огромная река, а где-то глубоко внизу, в новой штольне, ждал его Томас Кэвеноу, к которому он должен явиться, прежде чем приступить к работе.

— Да-а, похоже, здесь не в игрушки играют, — заметил он, обращаясь к рабочему, который почти одновременно с ним подошел ко входу в штольню и теперь начал уже спускаться по лестнице, — ступеньки ее, те-

ряясь во тьме, вели к промежуточной платформе; от туда вниз шла новая лестница, за ней — новая платформа, а еще ниже виднелся желтоватый свет. — Так, говоришь, мистер Кэвеноу там, внизу?

— Да, там, — ответил рабочий, не глядя на него. — Во второй камере. Ты что, работаешь тут?

— Да.

— Тогда пошли.

Подхватив одной рукой узел с резиновыми сапогами и поношенным комбинезоном, а другой придерживая на плече кирку и лопату, Мак-Глэзери последовал за ним. Так он добрался до дна шахты; стены тут были обшиты огромными дубовыми досками, а над головой перекрещивались балки креплений; здесь он присоединился к группе рабочих, дожидавшихся, пока воздушное давление не понизится до нужного уровня, затем вместе с ними вошел в камеру. Это сравнительно небольшое помещение с тяжелыми железными дверьми в противоположных концах, медленно открывавшимися под напором нагнетаемого в камеру воздуха, произвело на него сильное впечатление. Камеру освещал лишь неровный свет керосинового фонаря. Откуда-то доносился свистящий звук.

— Эй, ирландец, тебе случалось когда-нибудь работать под воздушным давлением? — с добродушной усмешкой спросил Мак-Глэзери рослый неуклюжий металлист.

— Под воздушным — чем? — спросил тот, совершенно не понимая, о чем идет речь, но не желая обнаружить свое невежество. — Нет, не случалось.

— Так вот: ты сейчас под давлением в две тысячи фунтов на квадратный дюйм. Разве не чувствуешь?

Деннис Мак-Глэзери, уже заметивший, что с ушами и горлом у него творится что-то неладное, но не догадывавшийся о причине столь странных ощущений, признался, что чувствует.

— Это от воздуха, да? — спросил он. — Что-то мне вроде не по себе.

Свист прекратился.

— Тут, новичок, нужно в оба глядеть, — беззлобно заметил другой, тощий вертлявый американец. — Чтоб воздух не нагнетали слишком быстро. А то еще «кессонка» хватит.

Деннис, понятия не имевший, что такое «кессонка», промолчал.

— А ты знаешь, новичок, что такое «кессонка»? — продолжал приставать тощий.

— Нет, — немного погодя нехотя ответил Деннис, чувствуя, что на него со всех сторон устремлены любопытные и изучающие взгляды.

— Ну, так узнаешь, коли она тебя хватит, хо-хо! — сказал потешный нескладный каменщик, который до тех пор не подавал голоса. В камере было довольно много народу. — Когда слишком быстро нагоняют или снижают давление, тут-то она и приключается. Руки, ноги сводит, и каждая жилка в тебе болит. Да, уж если она тебя хватит, ты ее сразу узнаешь!

— Помните Эдди Слоудера? — весело сказал еще кто-то. — Он как раз от нее помер — тут, неподалеку, в Белвью, когда начались работы в конце Четырнадцатой улицы. Слыхали бы вы, как он орал! Я ходил тогда к нему в больницу.

Приятные новости, нечего сказать! Вот, значит, с чего началось его знакомство с туннелем: оказывается, существует опасность, о которой Кэвеноу даже и не заикнулся. Мак-Глэзери хоть и туго соображал, а все-таки встревожился. Но теперь ничего не поделаешь: он тут, в туннеле, и в противоположном конце камеры рабочие уже медленно открывают дверь, и похоже, что это воздушное давление не причинило ему вреда, во всяком случае, пока что его не убило; он двинулся дальше по туннелю, в этой части почти уже законченному, но пока еще заваленному балками, плитами, мешками с цементом и грудями кирпича, и попал в другую камеру, такую же, как первая; когда он вышел из нее, то при свете полудюжины шумно потрескивавших больших керосиновых ламп, озарявших сложное переплетение балок и подпорок, которые сдерживали нависшую над головой темную массу — не более, не менее, как землю под дном реки, — он увидел Кэвеноу в коротком красном свитере, больших резиновых сапогах и старой желтовато-коричневой фетровой шляпе, лихо сдвинутой на ухо. Кэвеноу разговаривал с двумя другими мастерами и каким-то хорошо одетым человеком, наверное, инженером, — словом, важной шишкой.

О, как далеко было Мак-Глэзери до этого джентльмена в отутюженном, хорошо сидящем костюме! Он смотрел на него, как на существо из другого мира.

Здесь, за последней камерой, он увидел группу рабочих под началом незнакомого мастера, задержавшихся после ночной смены (землекопов, плотников, откатчиков и клепальщиков); они выполняли тяжелую и в то же время тонкую работу — прокладывали и крепили штольню под рекой — и только теперь покидали шахту. Кругом толпился народ. В воздухе стояла духота от горящих ламп; было грязно — все вокруг заляпано черной мокрой землей. Деннис как раз пробирался среди разбросанных балок, когда Кэвеноу заметил его.

— А, явился наконец! Это все ребята оттуда.— И он махнул рукой, указывая в дальний конец туннеля.— Иди туда, Деннис, и копай в том углу, за столбом. Джерри поможет тебе. Землю наваливай на платформу, надо выкопать столько, чтоб можно было вогнать вот эти подпорки.

Мак-Глэзери повиновался. Он занял свое место в самом конце туннеля под земляным сводом, едва различимым сквозь переплетение балок и стропил. Напрягая мускулы рук, ног и крепкой спины, он врезался лопатой в густую грязь, разбивал киркой твердые комья и кидал землю на грубо сколоченную платформу; другие рабочие сбрасывали ее оттуда лопатами в вагонетку, которую по наспех набросанным доскам отвозили потом к камере и дальше — на поверхность. Это была нудная, грязная, но не очень тяжелая работа, и все бы ничего, если бы можно было забыть об огромной реке, которая текла там, наверху, о судах и волнах, плещущих под дождем, о чайках и сигнальных колоколах. А Денниса все-таки пугала и тревожила мысль об этой огромной толще земли и воды у него над головой. Прямо-таки сердце замирало от ужаса. Не слишком ли затуманила ему мозги эта приманка — деньги? А вдруг вода прорвется, вдруг земля над ним обвалится и засыплет его,— черная земля, едва различимая сквозь крепления, такая же тяжелая и жирная, как та, в которую врезается сейчас его лопата.

— Эй, Деннис, чего в потолок уставился? Он тебе ничего худого не сделает. Ты здесь не затем, чтоб наблюдать за потолком. Это уж мое дело, а ты знай копай.

Голос Кэвеноу раздался над его ухом. Сам того не заметив, Мак-Глэзери уже несколько минут перестал копать и стоял, глядя в потолок. Дело в том, что от сво-

да оторвался комок земли и ударил его по спине. А вдруг!.. А вдруг!..

Знай, о читатель, что прокладка туннеля — одна из самых интересных строительных работ, известных человечеству, но вместе с тем и самая опасная, чреватая даже катастрофой. В наше время, во всяком случае, прокладка подводного туннеля требует, чтобы по обе стороны реки, озера или канала (примерно футов за сто от берега) были прорыты большие шахты на глубину, скажем, тридцати футов ниже уровня воды; оттуда — сразу с двух концов — и ведутся работы под дном реки, пока обе партии не встретятся где-то посередине. Обе части туннеля должны сомкнуться совершенно точно, без малейшего отклонения, — это считается одной из труднейших задач в инженерном искусстве. Все это Мак-Глэзери понимал, но лишь весьма смутно. И от этого не чувствовал себя увереннее.

Тут следует сказать, что техника безопасности да и сама специфика прокладки туннеля требуют сооружения воздушных камер на каждом его конце; сначала их устанавливают на дне каждой шахты, а потом, по мере прорытия туннеля, — примерно через каждые сто футов. Это огромные кессоны, или стальные цилиндры, пятнадцати футов в диаметре — нечто вроде воздушных шлюзов с переменным давлением, с массивными, расположенными одна напротив другой дверями, которые открываются внутрь, чтобы воздух, непрерывно нагнетаемый под невероятно высоким давлением установленными на берегу мощными насосами, не мог их открыть. Открываются они лишь с помощью той же хитроумной системы, что применяют на шлюзах. А именно: рабочие, спустившиеся в штольню и желающие пройти в ту часть туннеля, которая находится по другую сторону камеры, должны сначала войти в камеру, куда постепенно нагнетают воздух, пока давление в ней не сравняется с тем, какое поддерживается в следующей части туннеля. Когда давление достигнет нужного уровня, растворяющаяся внутрь дверь сама откроется и рабочие могут выйти в туннель. После этого они проходят по туннелю, скажем, футов сто или немного больше, а затем попадают в новую камеру. Давление в ней, в зависимости от того, кто последний ею пользовался, соответствует либо той части туннеля, которая ближе к берегу, либо той, которая ближе к середине реки. Снижение или повышение

давления в воздушных камерах до уровня, который необходим для того, чтобы открылась та или иная дверь, регулировалось сначала посредством звонков, потом его стали регулировать при помощи телефона, а затем — путем электрической сигнализации. Если давление в камере отличается от давления в той части туннеля, где вы находитесь, и дверь камеры не открывается (а открыть ее в таком случае действительно невозможно), нужно определенное число раз (в зависимости от вашего местонахождения) дернуть за веревку колокола или нажать на кнопку звонка — и давление в камере изменится соответственно давлению в вашей части туннеля. Тогда дверь откроется. Войдя в камеру, вы даете сигнал — и по вашему сигналу давление воздуха либо повышается, либо понижается, совсем как вода в шлюзах, и вы можете пройти в следующую часть туннеля, ближе к берегу или дальше от него. Вся эта система, уже тогда, много лет назад, была налажена до тонкостей.

Прорывать этот туннель было, в общем, не опасно, — так по крайней мере стало казаться Мак-Глэзери после того, как он проработал там некоторое время. В удачные дни удавалось пройти два или даже три фута; но когда начинали ставить подпорки, крепления и стальные плиты или же когда попадался каменистый грунт, который надо было сверлить, землекопы со своими кирками и лопатами по целым дням слонялись без дела, а не то — и это было куда лучше — их посылали в помощь плотникам ставить балки и крепления, предохраняющие стены от обвала. Таким образом, Деннис сумел многому научиться и даже изрядно преуспел в плотницком и бурильном деле.

И все-таки эта работа под рекой хоть и хорошо оплачивалась, но была для него источником постоянного страха. Земля, в недрах которой он все время находился, была такая ненадежная. Сегодня — это плотная черная масса, а завтра — хлюпкая грязь, день — это ил, а день — песок, в зависимости от того, сквозь какой слой почвы прокладывает себе путь туннель. Вдобавок от свода по временам отрывались и падали глыбы земли — не очень, правда, большие, так что свод в результате оставался неповрежденным, но если бы такая глыба свалилась на рабочего, она вполне могла бы сломать ему

спину или наполовину засыпать. Впрочем, как правило, глыбы, не долетев до земли, разбивались о перекрещивающиеся под потолком балки. Но вот однажды, месяцев через семь после того, как Мак-Глэзери пришел в туннель,— к этому времени он уже почти привык к работе под землей и настолько набрался опыта, что его стали считать мастером своего дела,— произошло непредвиденное.

Как-то утром, в восемь часов, Мак-Глэзери спустился в туннель со своей партией и принялся укреплять основания двух только что установленных подпорок, как вдруг заметил — или ему так показалось,— будто земля на этот раз влажнее обычного, какая-то мокрая, липкая, и ее трудно копать. Такой грунт бывает разве что близ подземных родников. А тут еще кто-то принес керосиновый фонарь и повесил неподалеку, и Мак-Глэзери увидел при его свете, что потолок стал серебристо-серый и весь покрылся, словно бисером, мелкими каплями. Он сказал об этом Кэвеноу, который как раз оказался поблизости.

— Н-да,— протянул мастер, глядя вверх,— мокроват. Может, воздушные насосы пошаливают. Сейчас проверим.— И он послал сказать инженеру.

Сам руководитель работ явился в штольню.

— Наверху все в порядке,— сказал он.— Две тысячи фунтов на квадратный дюйм. Могу подбавить еще, если это, по-вашему, нужно.

— Не мешало бы,— ответил Кэвеноу.— Со сводом что-то неладно. Кстати, если увидите мистера Хендерсона, пошлите его вниз. Я бы хотел поговорить с ним.

— Ладно,— сказал инженер и ушел.

Мак-Глэзери и остальные сначала было встревожились, но потом, несколько успокоившись, снова принялись за работу. Однако грунт у них под ногами скоро совсем размок, а серебристые точки на потолке превратились в крупные капли и стали падать вниз, а кое-где даже побежали струйки. Потом вдруг сверху свалилась глыба мокрой земли.

— Назад, ребята!

То был голос Кэвеноу. Но еще прежде, чем он успел произнести эти слова, рабочие уже бросились бежать: чувство опасности никогда не покидает работающих в туннеле, и они сами заметили просочившуюся воду, сразу уловили звук падающей со свода земли. В ту же ми-

нута раздался зловещий треск одной из балок перекрытия — предвестник неминуемой катастрофы. Люди сломя голову кинулись к камере, находившейся футах в шестидесяти от места происшествия. Они побросали инструменты, позабыли о старшинстве. Они падали, спотыкались о балки, сталкивали друг друга в грязь и воду по краям туннеля, — Мак-Глэзери бежал впереди всех.

— Дверь! Откройте дверь! — раздался единодушный крик, когда они добежали до камеры; кто-то только что вошел в нее с другой стороны — это был инженер. — Ради бога, откройте дверь!

Но на это требовалось время. По крайней мере должно было пройти несколько минут, прежде чем она могла отвориться.

— Прорвало! — раздался панический крик какого-то слесаря.

— Господи! Обвал! — воскликнул какой-то каменщик, когда лавина грязи погасила три лампы, горевшие в дальнем конце.

Мак-Глэзери не помнил себя от страха. Он весь был в холодном поту. Пять долларов в день, да наплевать на них! Нечего ему соваться к воде — он должен запомнить это раз и навсегда! Ведь он же знал это! Вода всегда приносила ему несчастье!

— Что случилось? Что случилось? — спрашивал удивленный инженер; не подозревая о том, что происходит в туннеле, он открыл наконец дверь.

— Прочь с дороги!

— Впустите, впустите нас, ради бога!

— Закройте дверь! — орало с полдюжины попавших в камеру счастливцев, которые могли бы считать себя в безопасности, если бы дверь тотчас закрылась.

— Погодите! Кэвеноу еще там! — крикнул кто-то, но уж, конечно, не Мак-Глэзери, который в страхе забился в угол. Слишком он был перепуган, чтобы думать об участии начальника.

— К черту Кэвеноу! Закройте дверь! — завопил рослый детина-слесарь, обезумевший от страха.

— Впустите Кэвеноу, вам говорят! — кричал инженер.

Тут в душе Мак-Глэзери, впервые за всю его жизнь, заговорило чувство долга, — правда, не слишком громко: очень уж он был напуган. Вот тебе и выгодная работа! Да, конечно, он давно знает Кэвеноу, Кэвеноу его друг.

И ведь это он пригласил его сюда, он дал ему работу, да и не только это. Все, конечно, так... Ну, а с другой стороны, ведь именно Кэвеноу уговорил его спуститься под землю, а это было ошибкой. Не следовало ему этого делать... И все же, как ни трусил Мак-Глэзери, совесть говорила ему, что нехорошо будет, если они не впустят Кэвеноу. Только — что он тут может: ведь он один... И вот он стоял и раздумывал, а тем временем остальные, спасая собственную шкуру, навалились на дверь, чтобы она скорее закрылась, — как вдруг в крепкой руке великана мастера блеснул револьвер.

— На месте уложу первого подлеца, который попробует закрыть дверь, пока мы с Келли не вошли в камеру, — крикнул великан, выволакивая этого Келли из жидкой грязи, затопившей туннель. Буквально швырнув его в камеру, Кэвеноу вскочил следом, повернулся и спокойно помог закрыть дверь.

Мак-Глэзери был потрясен такой храбростью. Остаться, чтобы помочь другому, перед лицом столь грозной опасности! Видно, Кэвеноу даже лучше и добрее, чем он думал, настоящий человек, не трус, как он сам. Но зачем Кэвеноу уговорил его идти сюда работать, он же знал, что Мак-Глэзери боится воды! А теперь вот что получилось! Они стояли, сбившись в кучу и дрожа от страха — все, кроме Кэвеноу, — а из-за двери, из туннеля, до них доносился треск ломающихся бревен и хруст перетираемого в порошок кирпича; сомнений быть не могло: там, где всего несколько минут назад было сооружение из балок и стали — будущая дорога для людей, — теперь тьма и бурлящие воды, и, как прежде, властвует могучая река.

Этот случай привел Мак-Глэзери к убеждению, что, во-первых, он большой трус и, во-вторых, не ему прорывать туннели. Он для этого не годится. «Хватит, в последний раз! — сказал он себе, благополучно выбравшись на поверхность вместе с остальными после десятиминутного мучительного ожидания у дверей следующей камеры. — Ей-богу, я думал, все мы тут пропадем. Ведь на волосок от смерти были. Ну, уж больше вниз я не ходок. Хватит с меня!»

Он вспомнил о своем скромном счете в банке — шестьсот долларов, которые ему удалось отложить, — о девушке в Бруклине, собиравшейся выйти за него замуж.

«Нет уж, больше меня сюда не заманишь!»

Кстати сказать, Мак-Глэзери мог и не опасаться, что ему сразу предложат новую работу в туннеле. Обвал обошелся подрядчикам во много тысяч долларов и притом показал, что одного воздушного давления и креплений далеко не достаточно для того, чтобы с успехом вести работы. Требовалась какая-то иная техника. Работы на обоих концах туннеля были прекращены больше чем на полтора года, а тем временем Мак-Глэзери женился, у него родился ребенок, и его шестьсот долларов давным-давно растаяли. Разница между двумя и пятью долларами в день весьма ощутима. Надо сказать, что за все это время Мак-Глэзери ни разу не встречался со своим прежним мастером (ему было как-то стыдно смотреть тому в глаза), и дела его поэтому шли неважно. Прежде Кэвеноу всегда находил ему какое-нибудь занятие, так как считал его надежным и усердным работником, но теперь Мак-Глэзери приходилось иметь дело с незнакомыми людьми, и порою он по целым неделям сидел без гроша, а порою вынужден был работать всего лишь за полтора доллара в день. Это было не очень-то приятно. К тому же какое-то безотчетное чувство подсказывало ему, что, будь он немного похрабрее, пойди и поговори он тогда же или вскоре после обвала со своим старым мастером, он и сейчас жил бы неплохо. Но, увы, в свое время он этого не сделал, а если пойти к Кэвеноу теперь, тот, разумеется, спросит, почему Мак-Глэзери тогда вдруг исчез. Надо сказать, что хоть брак Мак-Глэзери и был счастливым, бедность вскоре начала порядком угнетать его. Родилось еще двое детей — близнецы.

Между тем Хендерсон — инженер, с которым в свое время хотел посоветоваться Кэвеноу, — изобрел новый метод проходки туннеля, впоследствии получивший известность как щитовой метод. Состоит он в следующем: в землю вводится щитовой каркас в виде стальной трубы десяти футов в длину и пятнадцати в поперечнике (согласно ширине туннеля), и по оси будущего туннеля его медленно продвигают вперед. Сначала трубу целиком загоняют в землю, а затем всю землю изнутри удаляют. В освободившемся пространстве ставят распорки, подобно спицам колеса. Их протягивают от стен туннеля к центру, а стены одевают тяжелыми стальными плитами. Вот по этой-то системе компания и решила возобновить работы.

Как-то вечером, сидя на пороге своего дома, Мак-Глэзери разбирал по складам вечернюю газету, из которой он и узнал об этих событиях. В газете сообщалось, что мистер Хендерсон по-прежнему будет руководить работами. Сообщалось там, кстати, и о том, что Томас Кэвеноу опять будет одним из двух главных мастеров. К работам собирались приступить немедленно. Это сообщение невольно взволновало Мак-Глэзери. Если бы только Кэвеноу взял его назад! Правда, в тот раз Мак-Глэзери чуть не распростился с жизнью — так ему, во всяком случае, казалось! Но ведь этого все-таки не произошло! Никто не погиб, ни одна душа. Почему же он так боится — разве Кэвеноу подвергается меньшей опасности? Где еще заработаешь пять долларов в день? И тем не менее Мак-Глэзери не покидало чувство, что море и все реки и каналы, где бы они ни находились, грозят ему бедой и что когда-нибудь вода наверняка причинит ему большое зло — быть может, убьет его. По временам у него появлялось ощущение, будто некая сила затягивает его в воду — тащит не то вверх, не то вниз (он не мог сказать точно куда), липкая грязь засасывает его, и он медленно задыхается. Это было ужасно.

Но мысль о пяти долларах в день (и даже семи, когда он станет совсем опытным,— это, небось, не то, что получать полтора или два доллара, а то и вовсе сидеть без работы!) и об обеспеченной будущности проходчика, «подземника-кессонщика», — он знал теперь, что так называют рабочих вроде него, — соблазняла и будоражила Мак-Глэзери. В конце концов у него нет иной профессии, кроме той, которой начал обучать его Кэвеноу. И что хуже всего: он не состоит в профсоюзе, а деньги, которые он когда-то скопил, все вышли, и на руках у него теперь жена и трое детей. Он на все лады толковал об этом с женою. Да, конечно, работать в туннеле — дело опасное, а все-таки!.. Жена соглашалась, что лучше бы ему туда не ходить, но... У обоих не выходило из головы, какую разницу составят в их бюджете пять, а может быть, и семь долларов в день вместо двух. Мак-Глэзери понимал это. После долгих колебаний он решил, что, пожалуй, лучше ему вернуться в туннель. В конце концов ведь тогда с ним ничего не случилось, да, может быть, и никогда не случится! Словом, он прикидывал и так и эдак.

Как уже говорилось, Мак-Глэзери был человек очень суеверный. Он верил, что вода приносит ему несчастье, но он верил также в способность различных святых мужского и женского пола помогать или вредить человеку. В католической церкви св. Колумба в Южном Бруклине, постоянными прихожанами которой были Мак-Глэзери и его молодая жена, стояла гипсовая статуя этого святого, по-видимому, сподвижника св. Патрика в его трудах по обращению ирландцев в христианство. В Килраше (графство Клэр) — родном городе Мак-Глэзери, расположенном на берегу Шэннона, — этому святому многие века поклонялись или по крайней мере высоко чтили его как покровителя мореплавателей и вообще всех, кому приходится иметь дело с водой. Возможно, это объяснялось тем, что Килраш стоит у самой воды и обитателям его нужен был такого рода святой. Во всяком случае, когда Мак-Глэзери был мальчишкой, к святому частенько обращались за помощью в такого рода делах. Да и сам он, к примеру, отправляясь в Америку, по совету матери девять дней подряд усердно молился этому святому, прося помочь ему благополучно пересечь океан и затем преуспеть в Америке. И что же, он благополучно пересек океан и, по его мнению, неплохо преуспевал. В туннеле его, во всяком случае, не убило. И вот теперь, стоя на коленях перед двумя толстыми свечами, горевшими на подставке, и положив полдоллара в кружку с надписью «Сиротам св. Колумба», Мак-Глэзери спросил святого, станет ли тот, в доброте своей, хранить его, если он вернется на подземную работу, — нужда заставляет его идти на это. Мак-Глэзери был уверен, что, попроси он Кэвеноу, — тот не откажет, если будет место. Ведь Кэвеноу всегда благоволил к нему, считая его хорошим, полезным работником.

Прочитав семь раз «Отче наш», семь раз «Богородицу» и для верности еще литанию деве Марии, Мак-Глэзери осенил себя крестом и поднялся с колен, чувствуя огромное облегчение. В душе его, пока он стоял перед статуей, возникла приятная уверенность, что отныне вода никакими силами не может причинить ему серьезного вреда. То было озарение, а пожалуй, и прямое откровение. Во всяком случае, что-то подсказывало ему, что надо сейчас же, пока работы еще не развернулись, пойти и повидать Кэвеноу, да не боять-

ся: с ним теперь ничего плохого не произойдет, а если он станет мешкать, то при всем желании может ничего не получить. Он ринулся вон из церкви и помчался прямо к берегу реки, где еще уцелела заброшенная шахта; и, конечно, тут стоял Кэвеноу, беседуя с мистером Хендерсоном.

— Гм... зачем это тебя сюда принесло? — спросил мастер, слегка усмехаясь, так как в свое время отлично понял причину исчезновения Мак-Глэзери.

— Да вот я читал, что вы вроде опять принимаетесь за этот туннель...

— Верно. Ну и что?

— Ну я и подумал, может, у вас найдется для меня местечко. Я теперь женат, и у меня трое детишек.

— По-твоему, этого достаточно, чтобы тебя взяли на работу? — забавляясь его замешательством, не без ехидства спросил великан мастер. — А мне помнится, ты говорил, что навсегда покончил с рекой: больше, мол, тебя сюда ничем не заманишь!

— Говорить-то говорил, да теперь передумал. Работа нужна, вот что.

— Ну что ж, ладно, — сказал Кэвеноу. — Мы начинаем завтра утром. Смотри, будь здесь ровно в семь. Да чтобы не трусить и не озираться по сторонам! Теперь это дело надежное. Все по-другому. Никакой опасности.

Мак-Глэзери ответил своему бывшему начальнику благодарным взглядом и распрощался, а на следующее утро явился на берег, еще не совсем уверенный в правильности своего шага, но, во всяком случае, готовый приступить к работе. Св. Колумб, конечно, дал ему понять, что с ним ничего не случится... и все же... Трудно человеку совсем избавиться от сомнений, даже если его охраняет самый надежный из святых. Мак-Глэзери спустился вниз вместе с остальными и стал расчищать ближайший отрезок бывшего туннеля, где земля, смешавшись с водой, сначала превратилась в липкую грязь, а потом затвердела. Когда эта работа была закончена, смонтировали трубу, чтобы двигаться дальше, — новый метод по сравнению с прежним был, конечно, большим шагом вперед и как будто обеспечивал полную безопасность. Мак-Глэзери попытался растолковать все преимущества этого метода жене, которая очень тревожилась за него, а сам каждое утро и каждый ве-

чер, отправляясь на работу или возвращаясь домой, как бы ненароком заходил в церковь св. Колумба и читал про себя коротенькую молитву. Несмотря на все эти молебствия и на свой уговор со святым, он по-прежнему относился подозрительно к страшной реке, которая текла у него над головой. Кто знает, что еще может случиться, хоть св. Колумб и обещал ему свое заступничество. Вдруг чем-нибудь ему не угодишь, — он возьмет да и передумает!

Проходили дни, недели и месяцы, и ничего не случилось. Работа под руководством Кэвеноу быстро продвигалась вперед, и они с Мак-Глэзери вскоре снова стали добрыми друзьями; Деннис считался теперь одним из лучших специалистов среди стропильщиков и крепильщиков и вполне заслуживал семи долларов в день, хоть и не получал их. Неожиданно всех их перевели с дневной работы на ночную — почему-то ей придавалось больше значения. Время от времени Кэвеноу по долгу беседовал с Хендерсоном и с другими инженерами компании, спускавшимися в туннель посмотреть, как идет дело; из их длинных разговоров Мак-Глэзери почерпнул много сведений о технике работ и связанных с ними опасностях. По-прежнему над ним текла бурная река; порой он чувствовал, как она давит на него, давит на толстый слой грязи и ила у него над головой и под ногами — на тот грунт, в который они теперь вгрызались этим новым щитом.

Но один месяц сменялся другим, и ничего не случилось. Они прошли тысячу футов без единой заминки. Мак-Глэзери несколько успокоился. Видно, при новом методе работать в самом деле было безопасно. Каждый вечер Мак-Глэзери спускался вниз и каждое утро поднимался на поверхность, целый и невредимый, и раз в две недели, по вторникам, ему вручали конверт с кругленькой суммой в семьдесят два доллара. Подумать только! Семьдесят два доллара! Само собой разумеется, что из благодарности к св. Колумбу Мак-Глэзери щедро жертвовал на приют для сирот, носящий имя святого, — он давал целый доллар в месяц, — и каждое воскресенье после обедни ставил свечку перед его алтарем; между прочим, он купил два участка на берегу Гусиного ручья — в рассрочку: когда-нибудь, с божьей помощью, он построит здесь образцовый коттедж, чтоб годился и на зиму и на лето.

Но тут-то оно и стряслось!.. Что ж, думал впоследствии Мак-Глэзери, пожалуй, это случилось потому, что, ослепленный своим благополучием, он стал небрежничать или возгордился и был не так внимателен к святому, как следовало. Словом, однажды ночью, несмотря на заступничество св. Колумба,— а быть может, как раз при его участии и с его согласия: возможно, святой хотел показать Мак-Глэзери свое могущество! — окаянная, подлая река опять сыграла с ним скверную, прямо ужасную шутку.

Дело было так. Они работали ночью под новым креплением, какого требовал метод щитовой проходки, при воздушном давлении в две тысячи фунтов на квадратный дюйм. До сих пор такого давления было вполне достаточно, чтобы удерживать на месте стальные плиты свода, которые рабочие день за днем укладывали позади щитового каркаса по мере его продвижения вперед; а следом шли цементщики и скрепляли плиты наподобие арки, которую не могла разрушить даже вся тяжесть текущей сверху реки,— и вот тут-то и произошло самое страшное. С тех пор как начались работы по новому методу, наиболее опасным считалось то место, где в просвете между стальными плитами потолка и щитовым каркасом, непрерывно продвигающимся вперед, обнажалась узкая полоса ничем не укрепленного грунта — дно реки. Кэвеноу всегда держался поближе к этому месту, следил за щелью, твердил всем, чтобы были осторожнее — «не шутили с этим», как он говорил.

— Не мешкать, ребята! — постоянно подгонял он их.— А ну, давайте плиту, давайте! Завинчивайте гайки! А теперь живо клепать, живей, живей!

А люди! Как они работали тут, под рекой, всякий раз, когда освобождалось место для нового кольца стальных плит! Ведь именно здесь река могла к ним прорваться! Как они надрывались, потели, хрипели и ругались в этой мрачной, грязной дыре, освещенной слепящими дуговыми фонарями — последней новинкой в туннельном деле! Работали они голые до пояса, штаны и сапоги насквозь пропитаны грязью, руки, спина и грудь мокры от пота и вымазаны глиной, волосы взъерошены, глаза воспалены,— так представляет себе, наверно, художник бедлам, ад, на который обречены люди труда. А над ними — великая река, и на ней

скеанские пароходы, и от всего этого их отделяло лишь тридцать, пятнадцать, а иногда каких-нибудь десять футов земли; воздушное давление в две тысячи фунтов на квадратный дюйм — вот и все, что поддерживало этот тонкий слой, не давая ему обрушиться, все, что мешало речным водам хлынуть в туннель и затопить их, как крыс!

— Давай плиту, давай! Теперь гайки! Теперь клепать! Готово! Давай, Джонни! Начинай сначала!

Голос Кэвеноу, подгонявшего их, казался им музыкой; этот голос придавал им бодрости и сил, был их трудовым гимном, их «Эй, ухнем!».

Но бывало и так, что щитовой каркас в своем поступательном движении наталкивался на слишком твердую породу, а в образовавшийся просвет нельзя было уложить стальную плиту, и тогда этот опасный участок чрезмерно долго подвергался воздействию воды, непрерывно размывающей речное дно. Время от времени то тут, то там обнаруживалась течь — тоненькими струйками сочилась вода, осыпалась земля; на место тотчас являлись Кэвеноу и Хендерсон, и до тех пор, пока с течью не было покончено, в туннеле царила тревога. Порою воздух, стремясь под давлением вверх, буравил отверстия в слое грязи над головой. Но их всякий раз замазывали глиной, а если это не помогало, затыкали мешками со стружками или с опилками, — давления воздуха, подаваемого снизу, было вполне достаточно, чтобы мешки плотно затыкали отверстие, если только оно не было чересчур большим. Даже во время аврала, когда вся смена была занята укладкой нового кольца стальных плит, кому-нибудь одному всегда поручали «не спускать глаз» со свода.

В тот вечер, о котором идет речь, после того как двадцать восемь человек, включая Кэвеноу и Мак-Глэзери, спустились в штольню в шесть и проработали в обычном темпе до полуночи, семерым из них было разрешено выйти из туннеля, чтобы выпить и перекусить в ближайшем ночном кабачке (их отпускали для этого группами по семь человек; каждой группе давалось полчаса, затем отправлялась следующая партия). В это время — от двенадцати до двух — каждые полчаса наступал рискованный момент: одна партия приходила, другая уходила, и внимание рабочих ослабевало; создавалась опасная атмосфера безответственно-

сти — Кэвеноу это знал и в это время был особенно настороже.

Обычно в эти часы за сводом наблюдал землекоп Джон Доуд, но в ту роковую ночь его заменили Патриком Мэрса, а Патрик как раз вернулся из кабачка на углу, и мысли его еще были заняты только что выпитым пивом и закуской на выбор у стойки. Он пропустил целых четыре стакана кряду и теперь, переваривая этот превосходный напиток и горячие сосиски, болтал с группой, собиравшейся уходить, — он и думать забыл, что должен внимательно следить за просветом в своде. Да что в самом деле — неужто так и не спускать глаз с этой окаянной щели? Ну, что тут может случиться? Тоже придумают! Ничего ведь не случилось за последние восемь месяцев!

«Шш-ш-ш!»

Что это? Звук такой, словно где-то выпускают пары. Его тотчас услышал Кэвеноу, стоявший в дальнем конце щитового каркаса: он показывал Мак-Глэзери и еще одному рабочему, где именно надо ставить крепления, чтобы еще на несколько дюймов продвинуть каркас вперед, а значит, и уложить позади него новое кольцо стальных плит. Одним прыжком мастер выскочил из каркаса, лицо его горело от ярости и волнения. Кто недоглядел за щелью?

«А ну! Кой черт, что тут такое?» — хотел он крикнуть, но тут сквозь широко разверзшуюся щель хлынула вода, гнев Кэвеноу тотчас испарился, и им овладел страх.

— Назад, ребята! Остановите течь!

Это был крик испуга, вырвавшийся из уст растерявшегося, но мужественного человека. В голосе Кэвеноу слышался не только страх, но и огорчение. Он был так уверен, что уж на этот-то раз ничего подобного не случится! Но там, где секунду назад было отверстие, которое можно было заткнуть мешком с опилками (что и пытался сделать Патрик Мэрса), теперь зияла быстро расширявшаяся брешь, а из нее водопадом хлестала грязная речная вода пополам с илом и тиной. Кэвеноу подскочил к этой дыре и схватил мешок, чтобы заткнуть ее, но тут сверху упала новая глыба мокрой земли, пришибла и его и Мэрса и залепила им глаза. Мэрса судорожно барахтался, пытаясь выбраться из-под завалившей его грязи. Мак-Глэзери, который до этого

вместе с остальными находился в конце рокового туннеля, подбежал, спотыкаясь, до смерти перепуганный, не зная, что делать.

— Скорей, Деннис! В камеру! — крикнул ему Кэвеноу, однако сам не двинулся с места. — Живо!

Деннис мгновенно понял, что положение безнадежное, надо спасать жизнь, и бросился было к камере, но путь ему преградил внезапно хлынувший поток грязи и воды.

— Скорей! Скорей! В камеру! Не видишь, что делается? Ныряй!

Кэвеноу схватил Мак-Глэзери, который стоял рядом, боясь сделать шаг — вдруг погибнешь! — и, кроме того, не решаясь на этот раз покинуть своего начальника, и буквально швырнул его сквозь стену воды и ила; то же самое проделал он и с остальными: все оказались вдруг по ту сторону, ослепленные, задыхающиеся, но уже вне опасности. Когда последний человек проскочил сквозь водяную стену, следом за ним нырнул и Кэвеноу, по колено увязая в жидкой грязи.

— Скорей! Скорей! В камеру! — закричал он и, увидев, что Мак-Глэзери, добежавший уже до самого входа в камеру, остановился и ждет его, он снова крикнул: — Залезай! Залезай!

У двери была форменная свалка: каждый старался пробиться вперед, но многим преграждали путь плававшие бревна и мешки; внезапно, когда уже казалось, что все спасены, с потолка рухнула стальная плита, расшатавшаяся из-за обвала нескольких других плит в конце туннеля, уложила на месте человека, стоявшего на пороге камеры, и, загородив вход, заклинила полуоткрытую дверь, так что ее нельзя было ни открыть, ни закрыть. Кэвеноу и другие рабочие, подбежавшие в эту минуту к камере, уже не могли войти. Мак-Глэзери, только что вошедший в камеру, беспомощно наблюдал все это. Однако в эту критическую минуту он вел себя не так, как в прошлый раз: вместе с теми, кто был в камере, он кинулся к убитому и попытался втащить его внутрь и в то же время, окликнув Кэвеноу, спросил, что делать дальше. Но тот молчал, растерянный и ошеломленный. Он с горечью видел, что вряд ли тут вообще можно что-нибудь сделать. Плита, придавившая мертвеца, была слишком тяжелая, да к тому же через тело его в камеру уже переливалась жидкая грязь. Тем временем

люди в камере, сознавая, что хоть они и сделали несколько шагов по пути к спасению, однако жизнь их все еще под угрозой, буквально обезумели от страха.

В воздухе стоял поистине звериный рев ужаса. А Мак-Глэзери и вовсе потерял голову от страха: он понял, что его Немезида — вода — настигла его и уж теперь, как видно, прикончит совсем. Конечно, св. Колумб обещал ему свое покровительство, но не это ли видение преследовало его во сне и не испытал ли он уже страшное чувство, когда человек захлебывается в иле и грязи? Неужели он сейчас умрет такой смертью? Неужели его заступник-святой и впрямь отвернулся от него? Да, видно, так оно и есть.

— Пресвятая Мария! Пресвятой Колумб! — взмолился Мак-Глэзери. — Что же мне теперь делать? Отче наш, иже еси на небеси! Боже ты мой, ну и попал же я в переплет! Никогда мне отсюда не выбраться! О, мать божия! Неужто мы не втащим его, ребята? О, святой ковчег! О, врата рая!

Он бормотал обрывки молитв, а вокруг стоял разноголосый крик: одни старались втащить мертвеца, другие ломились в дверь напротив, а Кэвеноу, стоявший у камеры по пояс в воде и грязи, молча наблюдал все это.

— Слушайте, ребята! — слышался вдруг его сильный гортанный голос. — Эй, Мак-Глэзери! Деннис! Вы что, рехнулись? Снимайте все с себя и затыкайте дверь! Это ваша последняя надежда! Снимайте все, живо! Берите вон те доски, ставьте их стоймя! О нас не думайте. Сперва сами спасайтесь. А потом, может, и для нас что-нибудь сделаете.

Он убеждал их заткнуть щель в двери — тогда сжатый воздух, подаваемый с берега, наполнит камеру и можно будет открыть вторую дверь, ведущую в следующую часть туннеля, что ближе к берегу, и находящиеся в камере спасутся.

Его властный, даже перед лицом смерти не дрожавший голос вдруг умолк. Позади и вокруг него, сбившись в кучу, словно овечье стадо, толпились те, кто не успел войти в камеру — их было человек двенадцать, — они стояли по пояс в грязи и воде, молились и плакали. Они жались к нему; все еще пытались почерпнуть у него силы и храбрости, и, продолжая стенать и молиться, не сводили глаз с камеры.

— Да, да! — вдруг воскликнул Мак-Глэзери; в

нем пробудилось наконец чувство долга, и он понял: пора исполнить то, что он не раз обещал самому себе и своему святому, пора думать и поступать лучше, благороднее. Он всегда забывал об этом. Теперь в нем вспыхнуло вдруг сознание своей вины: опять он вел себя, как и в прошлый раз, не позаботился ни о Кэвеноу, ни о других, только о себе. Он ужасный трус. Но что же все-таки надо делать, спросил он себя. Что можно сделать? Он сорвал с себя куртку, жилет и рубашку и, как приказал Кэвеноу, стал запихивать их в щель, крича остальным, чтоб они делали то же. В одно мгновение вся одежда была связана в узлы, были собраны плававшие в камере палки и доски, и щель в двери удалось заткнуть — этого было достаточно, чтобы прекратить утечку воздуха, но мастер и находившиеся с ним люди оказались совсем отрезанными.

— Это ужасно! Я не хочу так! — закричал Мак-Глэзери, обращаясь к Кэвеноу, но решимость мастера было не легко поколебать.

— Все в порядке, ребята, — твердил Кэвеноу. — Что за малодушие! Стыдитесь! — Потом, обращаясь к тем, кто остался с ним в туннеле, он спросил: — Вы что, не можете постоять спокойно и подождать? Может, они еще успеют вернуться и помочь нам. Спокойней! Молитесь, если умеете, и не бойтесь.

Воздух, нагнетаемый с берега под большим давлением, удерживал узлы в щели, но давление было не настолько сильным, чтобы помешать воздуху выходить из камеры, а воде проникать в нее. Вода перекачивалась через труп, просачивалась во все щели и в камере уже тоже доходила людям до пояса. Снова она угрожала их жизни, и теперь вся надежда была на то, что им удастся открыть противоположную дверь и добраться до следующей камеры, но на это можно было рассчитывать лишь в том случае, если бы удалось полностью прекратить утечку воздуха из камеры или найти какой-то другой способ открыть дверь.

Один лишь Кэвеноу, оставшийся снаружи, но по-прежнему заботившийся прежде всего о людях, которым он помогал спастись, понимал, что надо делать. Перед ним была дверь и в ней, как и в той, которую старались открыть люди, находившиеся в камере, имелось оконце с толстым стеклом — так называемый «глазок»: оно позволяло видеть все, что происходит внутри; че-

рез него-то и заглядывал в камеру Кэвеноу. Когда он убедился, что вторая дверь не открывается, ему пришла в голову новая мысль. Он закричал, и голос его перекрыл стоявший вокруг шум:

— Выбейте «глазок» в той двери! Слушай, Деннис! Слушай меня! Выбей «глазок» в той двери!

Деннис часто спрашивал себя впоследствии, почему Кэвеноу обратился тогда именно к нему. И почему он, Деннис, слышал его так ясно? Мак-Глэзери расслышал эти слова сквозь оглушительные крики обезумевших людей и тут же понял, что, если он сам или они все вместе выбьют «глазок» в другой двери и впустят воздух, им скорее удастся открыть дверь, но это наверняка погубит Кэвеноу и его беспомощных товарищей. Вода, хлынув в направлении берега, затопит и камеру и место, где стоит Кэвеноу. Должен ли он сделать это? И он медлил.

— Выбей стекло! — дошел до его слуха приглушенный голос мастера, который стоял по ту сторону камеры и спокойно глядел на него. — Выбей, Деннис! Больше вам не на что надеяться! Выбивай!

И тут, впервые за все годы, что Мак-Глэзери работал с Кэвеноу, он уловил легкую дрожь в голосе начальника.

— Если спасетесь, — сказал мастер, — постарайтесь сделать что можно и для нас.

В эту минуту Мак-Глэзери переродился. Правда, он готов был разрыдаться, но страх его исчез. Теперь он больше не боялся за себя. Он уже не дрожал, почти не суетился, и в нем пробудилось нечто новое: безграничное, непоколебимое мужество. Что?! Кэвеноу, оставшийся там, снаружи, ничего не боится, а он, Деннис Мак-Глэзери, мечется, как заяц, спасая свою шкуру! Ему хотелось вернуться туда, что-то сделать, — но что он мог? Все бесполезно. И он принял на себя командование. Казалось, дух Кэвеноу переселился в него. Он огляделся, увидел большое бревно и приподнял его.

— Эй, ребята! — крикнул он тоном командира. — Помогите выбить стекло!

За бревно тотчас с готовностью, порожденной ужасом и близостью смерти, схватился десяток крепких рук. С невероятной энергией ударили люди бревном в толстое стекло и выбили его. В камеру ворвался воздух, в ту же минуту дверь уступила их напору, хлы-

нувшая из камеры вода подхватила их, как соломинки, и вынесла наружу. Кое-как поднявшись на ноги, они бросились в следующую камеру, и дверь за ними закрылась. И сразу у всех вырвался глубокий вздох облегчения: здесь они были почти в безопасности — во всяком случае, на какое-то время. Мак-Глэзери, в которого поистине вселилось мужество Кэвеноу, даже обернулся и посмотрел сквозь «глазок» назад, в ту часть туннеля, откуда они только что выбежали. Они ждали, пока воздушное давление в камере понизится настолько, чтобы открылась следующая дверь, и все это время Мак-Глэзери смотрел туда, в сторону камеры, за которой они оставили своих заживо погребенных товарищей — мастера и двенадцать рабочих. Но что можно было сделать? Пожалуй, один лишь бог да св. Колумб могли бы ответить на этот вопрос — ведь вот почему-то св. Колумб спас же его (только он ли это сделал?), да, спас, вместе с пятнадцатью другими рабочими, а Томасу Кэвеноу и еще двенадцати рабочим дал погибнуть. Кто сделал это — св. Колумб? Бог? Кто?

— Такова воля божия, — смиренно пробормотал он. — Но почему господь так сделал?

Однако и после этого Мак-Глэзери не удалось развязаться с рекой — и, как мы понимаем, вопреки его собственной воле. Хотя он постоянно молился за упокой души Томаса Кэвеноу и его товарищей и целых пять лет избегал воды, дело на том не кончилось. Теперь у Мак-Глэзери было уже восемь детей, и он был беден, как всякий рядовой труженик. После того несчастного случая и гибели Кэвеноу, как уже было сказано, он зарекся иметь дело с морем, с водной стихией, с любой работой, связанной с водой. Он рад был бы плотничать, строить обыкновенные жилые дома, только... только... не всегда удавалось найти такую работу за приличную плату. А жилось ему, прямо скажем, неважно. И вот однажды, когда ему приходилось, как всегда, очень туго и он тщетно бился, стараясь выкрутиться, разнеслась весть о возобновлении работ все в том же старом туннеле.

Как сообщалось в газетах, в их местах появился знаменитый инженер, прибывший с новым проектом из-за границы — и не откуда-нибудь, а из Англии. Звали его

Грейтхед, и изобрел он так называемый «щит Грейтхеда», который после некоторых изменений и усовершенствований должен был полностью обезопасить туннельные работы. Мак-Глэзери, сидя на пороге своего домишка, выходящего окнами на залив Берген, прочел об этом в вечернем выпуске «Клэрион» и призадумался: неужто это правда? Он по-прежнему не очень понимал, в чем суть нового щитового метода, тем не менее в сердце его вдруг ожило что-то от бывшего увлечения работой в туннеле. Да, было времечко! А какая жизнь была — собачья жизнь, если сказать по правде, ну а все-таки... А Кэвеноу — какой это был начальник! Тело его погребено там, на дне; так, наверно, и стоит, выпрямившись. Интересно бы посмотреть! Простая справедливость требует, если только возможно, извлечь тело и почтить память погибшего, предав его земле. Его жена и дети по-прежнему живут в Флэмбуше. Статья расшевелила в Мак-Глэзери воспоминания, прежние страхи, прежний пыл, но не пробудила в нем особого желания вернуться в туннель. Однако мысль эта не оставляла его в покое — ведь у него жена и восемь детей, и получает он всего три доллара в день, а то и меньше, почти всегда меньше; между тем в туннеле таким, как он, платят по семь, по восемь долларов... А почему бы все-таки не пойти туда, если работы возобновятся и снова понадобятся люди? Дважды он почти чудом спасался от смерти... Да, но удастся ли ему спастись еще раз — это большой вопрос! По воскресеньям в церкви он без устали взывал к своему святому, но не получал никакого определенного ответа, да и работы в туннеле еще не начались, а потому он ничего не предпринимал.

Но следующей весной в один прекрасный день все газеты запестрели сообщениями о том, что работы в туннеле действительно скоро возобновятся, а вслед за тем Мак-Глэзери, к своему великому удивлению, получил записку от мистера Хендерсона — того самого, под начальством которого работал Кэвеноу: инженер просил его зайти. Чувствуя, что река снова зовет его, Мак-Глэзери пошел в церковь св. Колумба, помолился своему заступнику, положил доллар в кружку пожертвований для сирот и поставил свечку перед алтарем; приободренный и успокоенный, он поднялся с колен и, посоветовавшись с женой, направился к реке, где и на-

шел своего прежнего начальника, который, как и раньше, занимался у себя в бараке разными важными делами.

Оказалось, что Хендерсон вызвал Мак-Глэзери затем, чтобы узнать, не согласится ли тот работать у них помощником мастера в дневной смене — руководить сменой будет новый мастер, прекрасный человек по имени Майкл Лэверти; плата — семь долларов в день, поскольку Мак-Глэзери уже работал здесь, знаком с трудностями дела и так далее. Мак-Глэзери в изумлении уставился на мистера Хендерсона. Он — помощник мастера, старший над всеми крепильщиками! И будет получать семь долларов в день! Это он-то!

Мистер Хендерсон, правда, не сказал, что после того как с туннелем было столько неприятностей и о трудности работы в нем стало широко известно, нелегко было, особенно вначале, найти подходящих людей; впрочем, такого опытного работника, как Мак-Глэзери, приняли бы, конечно, в любое время. К тому же при новом щите, пояснил инженер, опасность исключена. На этот раз уж не случится беды. Работа пойдет как по маслу. Мистер Хендерсон принялся даже объяснять Мак-Глэзери устройство нового щита и его достоинства.

А Мак-Глэзери слушал и сомневался; впрочем, он думал в эту минуту не столько о щите и повышенной оплате, которую будет получать, хотя это занимало не последнее место в его размышлениях, сколько о некоем Томасе Кэвеноу, своем старом мастере, и о двенадцати рабочих, погребенных вместе с ним там, внизу, в речном иле; да и о том, как сам он тогда бросил Кэвеноу. Простая справедливость требовала извлечь кости мастера и всех остальных, если только их можно найти, и похоронить по-христиански. Ибо теперь Мак-Глэзери был еще более ревностным католиком, чем раньше; и кроме того, он чувствовал себя в долгу перед Кэвеноу — ведь тот был так добр к нему! Опасность, конечно, есть, но разве св. Колумб не хранил его до сих пор? И, может быть, станет хранить и впредь, — должен же святой войти в его положение! Нет, право, это, видно, указание свыше. Мак-Глэзери чувствовал, что так оно и есть.

И все же Деннис волновался и тревожился; он вернулся домой, посоветовался с женой, снова со страхом

подумал о реке и, наконец, снова пошел в церковь и долго молился перед алтарем св. Колумба. Ощувив новый прилив бодрости и сил, он отправился к мистеру Хендерсону и объявил ему, что вернется в туннель. Да, вернется!

Он чувствовал, что в самом деле избавился от страха, словно на него возложили некую священную миссию, и уже на следующий день стал помогать Майклу Лэверти очищать туннель от земли, заполнившей ту его часть, что находилась за второй камерой. Дело подвигалось медленно, и только в середине лета была очищена старая, ранее уже законченная часть туннеля и люди двинулись до костей Кэвеноу и погибших с ним рабочих. Да, откопать Кэвеноу и его людей — это было великое, хотя и скорбное событие. Труп Кэвеноу узнали по огромным сапогам, револьверу, часам да по связке ключей — все это лежало тут же, рядом. Кости и сапоги были затем благоговейно подняты и перенесены на кладбище в Бруклин; Мак-Глэзери с десятком рабочих проводили их туда. Дальше все пошло гладко. Новый щит был просто чудо. В мягком грунте он проходил по восемь футов в день, и хотя Мак-Глэзери, несмотря на свою вновь обретенную храбрость, по-прежнему крайне подозрительно относился к реке, он уже не боялся ее так, как раньше. Что-то говорило ему, что никакой опасности больше не существует и бояться нечего. Река уже не может причинить ему зла.

И все же через несколько месяцев — точнее, через восемь — река нанесла ему последний удар; правда, кончилось все не так плохо, как можно было ожидать, но это была очень странная история. И Мак-Глэзери так и не понял, произошло ли все с помощью и с согласия св. Колумба или без того. Обстоятельства, во всяком случае, были очень уж необычные.

Новый врубовой щит представлял собой цилиндр тринадцати футов в длину и двадцати в поперечнике; впереди у него имелся резец из закаленной стали — что-то вроде гигантского ножа длиной в пятнадцать дюймов и толщиной у лезвия в три дюйма. За этим ножом находилась так называемая «внешняя диафрагма» с несколькими отверстиями, через которые грунт, вытесняемый щитом по мере его продвижения, поступал в камеры, расположенные позади каждого такого отверстия.

Камеры эти были длиною в четыре фута, и в каждой — водонепроницаемые, легко закрывающиеся дверцы на шарнирах, которые регулировали количество поступавшего внутрь грунта, — устройство весьма сложное.

За этими маленькими камерами было установлено много стальных рычагов — от пятнадцати до тридцати штук, в зависимости от размеров щита; щит передвигался под давлением воздуха в пять тысяч фунтов на квадратный дюйм, и рычаги подталкивали его. Позади рычагов находился так называемый хвост щита, который доходил до готовой части туннеля; всякий раз, когда щит продвигался вперед настолько, что можно было уложить новое кольцо плит, этот хвост служил защитой тем, кто укладывал их, то есть работал на том опасном участке, где погиб Кэвеноу.

Единственная опасность, связанная с работой в этой части туннеля, заключалась в том, что между последним кольцом плит и хвостом щита всегда оставалось незащищенное пространство шириною в дюйм или полтора. При обычных условиях такая узкая щель не имела бы никакого значения, но в некоторых местах, где грунт наверху был очень мягким и слой его не очень толстым, возникала опасность, что сжатый воздух, давящий на грунт изнутри с силою в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, может прорвать его; в результате образовалось бы отверстие, куда свободно могла хлынуть речная вода. Этого, конечно, никто не предвидел, никто об этом даже и не подумал. Щит быстро продвигался вперед, и Хендерсон с Лэверти предсказывали, что туннель будет закончен за год.

Но как-то зимой, когда работы шли полным ходом, щит наткнулся на скалу; при этом лезвие его погнулось; возникла необходимость бурить скалу, преграждавшую путь. Как только было вырублено достаточно камня, пришлось соорудить подпорную стену, чтобы отремонтировать лезвие щита. На это ушло ровно две недели. Тем временем позади щита сжатый воздух с силою двух тысяч фунтов на квадратный дюйм давил на грунт в упомянутой узкой щели, и в этом месте в грунте постепенно образовалась глубокая вмятина длиною в восемьдесят пять футов (впоследствии мистер Хендерсон приказал произвести промер); вмятина эта тянулась по направлению к берегу вдоль крыши туннеля.

Теперь у работающих над головой не было ничего, кроме воды.

Инженеры, прислушавшись к шуму реки, поняли, в чем дело: вырывающийся снизу воздух смел наносный грунт, составлявший дно реки, и теперь с грохотом, напоминающим барабанную дробь, она перекатывала гравий и камни по крыше туннеля. Дело было как будто легкопоправимое — можно временно заткнуть щель мешками, но в один прекрасный день щит исправят, придется двинуть его вперед, чтобы уложить новое кольцо плит, — и что тогда?

Мак-Глэзери тотчас почувал недоброе. Опять подлая река (опять вода!) собирается сыграть с ним скверную шутку. Он всерьез забеспокоился и тотчас отправился помолиться св. Колумбу, а потом, на работе, он, как оса, все кружился у подозрительной щели. Каждые три минуты бегал посмотреть, что там делается; говорил об этом с мастером ночной смены, а также с Лэверти и мистером Хендерсоном. Мистер Хендерсон по просьбе Лэверти и Мак-Глэзери спускался вниз, глядел на щель и размышлял.

— Когда надо будет двинуть щит вперед, — сказал он наконец, — вы просто приготовьте побольше мешков, забейте ими все вокруг, кроме того места, где в этот момент будут укладывать плиты. В этот день мы еще повысим воздушное давление — насколько может вынести человеческий организм — и, я думаю, все обойдется. Имейте под рукой побольше народу, чтобы затыкать щель мешками, но только чтобы люди не догадывались, что здесь что-то неладно: тогда все будет в порядке. Дайте мне знать, когда будете готовы двинуть щит, — я сам сойду вниз.

Когда щит наконец отремонтировали и было дано указание продвинуть его вперед ровно на двадцать пять дюймов, чтобы можно было уложить новое кольцо плит, мистер Хендерсон, Лэверти и Мак-Глэзери все находились внизу. Мак-Глэзери, понятно, руководил группой рабочих, которые должны были затыкать просвет мешками, чтобы преградить доступ воде. Если вам когда-либо приходилось наблюдать рыжеволосого ирландца среднего роста в состоянии крайнего возбуждения и решимости, то перед вами готовый портрет Мак-Глэзери! Его видели в пятнадцати местах сразу: он отдавал приказания, подбадривал, уговаривал, действовал

где криком, где убеждением — и... волновался. Да, волновался, несмотря на святого Колумба!

Щит сдвинулся с места. Воздушное давление было увеличено, сквозь щель стала просачиваться вода, тогда отверстие заткнули мешками, и главную течь удалось приостановить; лишь там, где слесари заклепывали плиты, вода все же текла — минутами так сильно, что рабочих стал одолеваеть страх.

— Эй вы, там! В чем дело? Чего стали? Чего испугались? Подайте-ка мне этот мешок! Давайте, давайте! Вот так! Вы что, удирать нацелились? Попробуйте только!

Это командовал Мак-Глэзери, не угодно ли! Мак-Глэзери, который пережил два таких испытания! И, однако, как раз в эту минуту он всем своим существом по-настоящему боялся реки.

Что же случилось дальше?

Потом, в больнице, корчась долгие недели от «кессонки», он тщетно пытался восстановить в памяти все по порядку. Он помнил, как четыре мешка с опилками разорвало и унесло вверх, — мешки с опилками тут вообще не годились, это была ошибка. А потом (это он помнил довольно ясно), когда они стали запихивать в щель другие мешки, обнаружилось, что одного мешка не хватает, и его не сразу удалось чем-нибудь заменить, вода же лилась водопадом и поднималась рабочим уже выше щиколоток, — и тут Мак-Глэзери бросил вызов реке, ибо он не хотел, чтобы она и на этот раз победила его. И он отдал великий приказ.

— Эй, — закричал он, — вы там, трое! — Это относилось к трем рабочим, которые стояли неподалеку, разинув рот. — Подымите меня! Засуньте меня туда! Уж, наверно, я не хуже мешка с опилками. Подымайте!

Удивленные, восхищенные, воспрянув духом, трое рабочих подскочили и подняли его. Они держали его, прижав к небольшой щели, из которой текла вода, пока другие бросились за новыми мешками. Хендерсон, Лэверти и слесари стояли тут же, готовые помочь, — поступок Мак-Глэзери изумил их, позабавил и вместе с тем придал им храбрости; уже одна находчивость Мак-Глэзери буквально привела их в восторг. Но тут — хотите верьте, хотите нет — пока они держали его, конец щита, — да, этого замечательного стального сооружения! — уступая силе воздушного давления (ибо те-

перь над щитом не было ничего, кроме воды), приподнялся дюймов на одиннадцать, тринадцать или четырнадцать (ровно на столько, чтобы в щель мог протиснуться человек среднего роста), и Мак-Глэзери вместе со всеми мешками вылетел наверх, прямо в реку, а вода хлынула вниз, и рабочие бросились наутек.

Можете себе представить, какой это был ужасный миг, только миг, но за это время Мак-Глэзери исчез, а щит, который сперва приподнялся, уступая большому воздушному давлению, тут же снова опустился (ибо давление резко упало — ведь часть воздуха вырвалась наружу) и захлопнулся, словно предохранительный клапан, сомкнувшись с плитой; благодаря этому вода не хлынула в туннель, и все стало опять, как было, ничего не произошло.

А Мак-Глэзери?

Да, что же случилось с ним?

Чудо, читатель!

Стоял ясный декабрьский день. В три часа капитан буксира, шедшего вниз по Гудзону, вдруг с удивлением заметил, что футах в тридцати от его судна забил небольшой фонтан; наверху этого фонтана подпрыгивал какой-то черный предмет, который капитан принял сначала за мешок или бревно. Но очень скоро он понял свою ошибку, ибо «предмет», выброшенный вверх фонтаном, скрылся было под водой, а потом опять вынырнул, неистово вопя:

— Ради бога! Спасите! Помогите! Ой! Да вытащите же меня! Ой! Ой! Ой!

Это орал Мак-Глэзери собственной персоной, живой и невредимый: он ничуть не пострадал от своего купания, если не считать того, что егохватила «кессонка» и он терпел невероятные мучения. Все же он мог кричать и даже пытался плыть. Да, на сей раз он и впрямь испытал все, чего так давно боялся. С полминуты, а то и больше его вертело и стремительно несло вдоль крыши туннеля, потом, докатившись до того места, где струя воздуха, наткнувшись на препятствие, устремилась вверх, он как пробка вылетел на поверхность, и его вместе с огромной массой воды подкинуло куда-то в воздух. Внезапный переход от давления в две тысячи фунтов к обычному атмосферному заставил Мак-Глэзери снова погрузиться в воду да к тому же вызвал острый приступ «кессонки», от которой он сейчас и

страдал. Но св. Колумб не совсем забыл о нем. Правда, Мак-Глэзери испытывал ужасные мучения, он уже считал себя мертвым, но кто же, как не добрый св. Колумб, поместил поблизости буксир, на борт которого теперь и подняли нашего утопленника.

— Вот так штука! — воскликнул капитан Хайрем Нокс и с удивлением обнаружил, что Мак-Глэзери жив, хотя и не совсем в себе. — Откуда это вы взялись?

— Ой! Ой! Ой! — вопил Мак-Глэзери. — Руки мои, руки! Ребра! Ой! Ой! Ой! Из тоннеля! Откуда же еще! Снизу, из тоннеля! Скорей, скорей! Я же подыхаю от «кессонки»! Везите меня скорей в больницу!

Капитан, по-настоящему тронутый и напуганный стонами Мак-Глэзери, выполнил его просьбу. Он направился к ближайшей пристани и через несколько минут вызвал «Скорую помощь», а еще через несколько минут Мак-Глэзери отвезли в ближайшую больницу.

Дежурный врач, которому года за два перед тем пришлось иметь дело с этой болезнью, решил, что надо клин клином вышибать. Посему Мак-Глэзери как можно скорее переправили в одну из воздушных камер все того же туннеля, чем повергли в величайшее изумление всех, кто знал, что с ним произошло (его исчезновение вызвало большой переполох): на него смотрели, как на выходца с того света. Но вот что самое замечательное: под давлением в две тысячи фунтов он настолько оправился и так повеселел в привычной обстановке, что мог уже рассказывать о своих приключениях; по мнению Мак-Глэзери, тут, конечно, не обошлось без св. Колумба. Опять святой проявил к нему лестное внимание! Ибо теперь уже было ясно, что жизнь Мак-Глэзери вне опасности.

Весь город — если не вся страна — был прямо потрясен этим происшествием, и Мак-Глэзери стал героем дня: больше недели все газеты только и писали о нем. Тут были и большие рисунки, изображавшие, как Мак-Глэзери взлетает в небеса на верхушке водяного фонтана, и длинные, глубокомысленные объяснения, как и почему все это произошло.

Затем его отвезли обратно в больницу, где он и провел четыре счастливейшие в своей жизни недели, рассказывая всем и каждому о своем удивительном приключении; его интервьюировали по меньшей мере пять представителей воскресных газет и одиннадцать репор-

теров из городских ежедневных газет: все они жаждали узнать, как это случилось, что его выбросило наверх, в воздух, и он пролетел сквозь такую огромную, глубокую реку, и как ему понравилось путешествие. Настоящий триумф!

Да, реки бывают хитрые, но, слава тебе, господи, святые похитрее их.

И в довершение всего, поскольку у Мак-Глэзери отнялась правая рука (на всю ли жизнь или только на некоторое время — этого врачи и сами не знали), компания в благодарность за то, что он отказался иметь дело со всякими «шакалами»-адвокатами, которые набросились на него и уговаривали возбудить иск и требовать крупного вознаграждения, предложила ему на выбор солидную пенсию или пожизненное место за личную оплату, да к тому же еще и денежное пособие. Это как будто разрешало все проблемы его весьма шаткого будущего и обеспечивало ему спокойную жизнь. Вы, конечно, согласитесь, что и тут не обошлось без святого.

И наконец, он испытывал чувство особого внутреннего удовлетворения от сознания, что выполнил свой долг и что ему помогает великий святой. Уж если все это не доказывало, что св. Колумб хранит его, какие еще нужны вам доказательства? Правда, река, как могла, попыталась навредить ему и заставила его пережить немало страха и боли, да и св. Колумб, как видно, имел не такую уж власть над рекой, какую должен был бы и хотел бы иметь... а может быть — что всего вероятнее — и сам Мак-Глэзери не всегда заслуживал поддержки доброго святого. Тем не менее разве в критическую минуту св. Колумб не вступился за него? Иначе как объяснить, что буксир «Мэри Бейкер» оказался тут как тут, совсем рядышком, когда Мак-Глэзери вынырнул из воды более чем в двух тысячах футов от берега? И если святой не старался помочь ему, то чем вы объясните, что попался именно такой врач, который вовремя отправил Мак-Глэзери в камеру, — подумайте, он уже раньше видел подобный случай и знал, как лечить эту «кессонку»! Ведь это все неопровержимые доказательства! А если вы считаете иначе, то растолкуйте, почему?

Как бы то ни было, Мак-Глэзери думал именно так, и по воскресеньям и праздникам, — все равно, отмеча-

лось ли в тот день какое-либо событие в его церкви или нет,— его можно было видеть у статуи любимого святого: он стоял на коленях и время от времени бросал на святого благоговейные и восхищенные взгляды.

— Слава богу, — часто восклицал он, рассказывая впоследствии об этом удивительном событии,— меня не зажало между щитом и плитой и не убило насмерть, а ведь могло! Я часто думал: конечно, это чудо, что тогда вода не хлынула внутрь и не потопила их всех. Щит поднялся ровно настолько, чтоб я вылетел как пробка,— вот я и вылетел, а потом, хвала господу, он опять опустился. Но, слава богу, вот он — я, и ничего со мной не случилось, хоть иной раз и ломит руку.

А добрый святой Колумб...

Ну, что еще можно сказать о добром святом Колумбе?

УРАГАН

С самого рождения Иду Зобел окружали очень ограниченные и равнодушные люди. Ее мать, строгая, чопорная немка, умерла, когда Иде было только три года, и девочка осталась на попечении отца и его сестры — людей весьма сдержанных и благонравных. Позже, когда Иде исполнилось десять лет, Уильям Зобел женился вторично на женщине, такой же трудолюбивой и педантичной, как он сам и его первая жена.

Оба они никак не могли примириться с американским легкомыслием и распушенностью, которые окружали их. Это были заурядные, недалекие, трезвые немцы, и их раздражала неугомонная, падкая на удовольствия и, по мнению Зобела, чуть ли не развратная молодежь, которая каждый вечер разгулиwała по улицам, явно не думая ни о чем, кроме развлечений. А эти молодые бездельники, разъезжающие со своими подругами в автомобилях! Какие распушенные, равнодушные родители! Что за распушенные, вольные манеры у детей! Чего можно ждать от такого народа? И разве ежедневные газеты, которые он едва терпел в своем доме, не полны возмутительных происшествий? А фотографии полуголых женщин! А джаз! А любовные похождения! Школьники таскают в карманах фляжки с виски. У девчонок прозрачные платья, юбки до ко-

лен, носки, открытая шея, голые руки, волосы коротко острижены.

Чтобы его дочь росла такой? Позволить ей вступить на этот гибельный путь? Ни за что! И поэтому Иду воспитывали в самых строгих правилах. Разумеется, она никогда не будет стричь волосы. Никогда не будет красить губы и щеки — ничего фальшивого, вызывающего. Простые платья. Простое белье, и чулки, и обувь, и шляпы. Не дурацкие, безрассудно пышные наряды, но прочная приличная одежда. Когда нет занятий в школе — работа по хозяйству и в отцовской москательной лавке, неподалеку от дома. И, наконец, главное — подобающее образование, которое оградит Иду от бесчисленных модных сумасбродств, явно подрывающих основы общества.

Для этой цели Зобел выбрал частную школу, возглавляемую набожной старой девой, немкой, по имени Элизабет Хохштауфер, которая после многих лет преподавания сумела заставить добрую сотню немецких семейств в округе оценить свои достоинства воспитательницы. Ничего общего с легкомысленной и безнравственной городской школой. Как только девочка поступила туда, дома начались ежедневные допросы и поучения, которые должны были наставить ее на стезю добродетели.

— Скорее! У тебя только десять минут осталось. Не теряй зря времени... Почему ты сегодня пришла на пять минут позже? Что ты делала?... Тебя задержала учительница? Ты хотела купить тетрадь? Почему ты не зашла сначала домой, мы бы потом вместе купили? — (так говорила ей мачеха.) — Ты же знаешь, отец не любит, когда ты задерживаешься после школы... А что ты делала сегодня на Уоррен-авеню между двенадцатью и часом? Отец сказал, что ты была с какой-то девочкой... Вилма Бэллет? Что это за Вилма Бэллет? Где она живет? А давно ты с ней дружишь? Почему ты раньше никогда о ней не говорила? Ты же знаешь, как отец на это смотрит. А теперь мне придется рассказать ему. Он рассердится. Ты должна слушаться. Ты еще недостаточно взрослая, чтобы поступать по-своему. Сколько раз отец тебе это говорил.

И, однако, хотя Ида вовсе не была смелой или упрямой девочкой, ее привлекали как раз те развлечения, которые требовали смелости и дерзости. Воображение

переносило ее в яркий, сияющий мир Уоррен-авеню, куда ей удавалось лишь мельком заглянуть. Сколько автомобилей проносится мимо! Там и кинематографы, и фотографии любимых актеров и актрис, которым стараются подражать все школьницы. Юноши и девушки, смеясь и громко разговаривая, разгуливают по людной улице, где ходят трамваи и где столько магазинов. Как весело болтали девочки о своих победах, о предстоящих удовольствиях, непринужденной походкой прохаживаясь под руку по главной улице; они заворачивали за угол, снова возвращались, на ходу поглядывая в зеркала и витрины, где отражались их стройные ноги и тоненькие фигурки, и бросая на молодых людей несмелые взгляды.

Но Ида — как ни манило ее все это — ни в десять, ни в двенадцать, ни в четырнадцать лет не могла ускользнуть от строгого домашнего режима. Завтрак точно в половине восьмого, потому что отец открывает лавку в восемь; второй завтрак в половине первого, минута в минуту, как требовал отец; обед не позже половины седьмого, потому что вечерние часы Уильям Зобел посвящал различным делам и обязанностям. А кроме того, каждый день с четырех до шести и с семи до десяти вечера, а в субботу целый день Ида помогала отцу в лавке. Ни пойти на вечеринку, ни пригласить к себе подруг, которых она сама выбрала бы. Мачеха всегда разбирала по косточкам тех девочек, которые нравились Иде, да и отцу внушала свое мнение о них. Все соседи говорили, что ее родители очень уж строгие и не дают ей шагу ступить без спросу. Она бывала в кинематографе, но смотрела только те фильмы, которые выбирали для нее родители; иногда она каталась с ними в автомобиле, — когда Иде исполнилось пятнадцать лет, отец купил дешевенькую машину.

Но все время она видела, что молодежь вокруг живет весело и радостно. А дома — во всем укладе жизни, в отношениях с родителями — гнетущая скука и серость. Уильям Зобел, чьи светло-голубые глаза холодно поблескивали за стеклами очков в золотой оправе, едва ли был таким человеком, которому могла довериться девочка с характером Иды. Не тянуло ее и к мачехе, чопорной женщине с длинным унылым лицом, тусклыми темными глазами и тщательно приглаженными черными волосами. В самом деле, Зобел держался так важно

и торжественно, все его мысли и жизненные устои были преисполнены такой трезвости и практичности, что девочке он казался не отцом, а повелителем, и это никак не помогало им сблизиться. Разумеется, она здоровалась и прощалась с родителями, благодарила их, вставая из-за стола, давала почтительные и робкие объяснения то по одному, то по другому поводу. Время от времени они брали ее с собой, когда отправлялись в гости или в ресторан; но Зобел никогда не хотел иметь дочь, а его жена была не особенно привязана к чужому ребенку,— и ни тот, ни другая не задумывались над внутренним миром подрастающей девочки, у которой впервые раскрываются глаза на жизнь, а потому не было и понимания, духовной близости, не было настоящей любви. Вместо этого — подавленность, а иногда и страх, который с годами превратился в подчеркнутую вежливость и беспрекословное послушание. Но Ида все яснее понимала, что она с каждым днем становится привлекательней; в глазах же отца, а может быть и мачехи, это, видимо, означало неминуемую опасность в настоящем или в будущем. У нее были светлые шелковистые волосы, светлые серо-голубые глаза, даже девочки в школе мисс Хохштауфер обращали внимание на то, как она хорошо сложена. У нее был точеный носик, маленький пухлый капризный рот и круглый подбородок. Что же, разве у нее не было зеркала и разве с тех пор, как ей исполнилось семь лет, мальчишки не поглядывали на нее, стараясь привлечь ее внимание? Отец и мачеха, конечно, замечали это. Но Ида не смела, как это делали ее подруги, задерживаться на улице и заводить знакомства с веселыми, озорными мальчишками. Ей приходилось спешить: ее ждали различные обязанности по дому, в лавке или другие занятия, которые Зобел и его жена считали для нее полезными. Если ее посылали с каким-нибудь поручением, время, нужное для этого, высчитывалось с точностью до минуты.

Но все эти предосторожности не могли помешать взглядам встречаться, сердцу биться сильнее. У вечно ищущей, беспокойной юности свой особый язык. Когда Иде было двенадцать лет, в аптеке на углу Уоррен-авеню и Трейси-стрит, в нескольких шагах от ее дома, появился новый продавец содовой воды Лоуренс Салливан. Он казался ей самым красивым человеком на свете. Напомаженные темные волосы с тщательным пробо-

ром над красивым белым лбом; тонкие, изящные руки (по крайней мере ей они казались такими), безупречный, щеголеватый костюм, даже школьники не так хорошо одевались. А как он разговаривал с девушками — не принужденно, с приятной улыбкой. У него всегда находилось словечко для каждой, когда они забежали в аптеку по дороге из школы.

— Добрый день, Делла! Как поживаете, мисс Мак-Гиннис? Бьюсь об заклад, я знаю, чего вы хотите. Хорошенькие блондинки любят шоколадное мороженое, — оно им к лицу.

И он безмятежно улыбался, а мисс Мак-Гиннис мле-
ла и вздыхала.

— Много вы знаете о том, что любят блондинки!

И Ида Зобел, которой иногда разрешали выпить содовой воды или съесть порцию мороженого, жадно смотрела и слушала. Какой красивый молодой человек. Ему уже семнадцатый год! Сейчас он, конечно, и не посмотрит на такую девчонку, но вот когда она станет старше... Будет ли она такая же хорошенькая, как эта мисс Мак-Гиннис? Сможет ли она держаться так же уверенно? Как это чудно — понравиться такому молодому человеку! Что он ей тогда скажет, если вообще заговорит с ней? Что она ответит ему? Много раз Ида мысленно ставила себя на место этих девушек и вела с ним бесконечные воображаемые разговоры. Но, так и не заметив ее немного обожания, мистер Салливэн, как это часто бывает с продавцами содовой воды, вскоре переменил место службы и больше здесь не появлялся.

Но годы шли, другие привлекали ее внимание, ненадолго занимали ее мысли, и, мечтая о них, она строила воздушные замки, весьма далекие от действительности. Например, Мертон Уэбстер, бойкий, самоуверенный и не слишком разборчивый сын здешнего сенатора; он жил в одном квартале с Зобелами и посещал колледж Уоткинса, куда ее так и не решились отдать. Какой он красивый, какой любезный.

— Хелло, детка! Да какая ты хорошенькая! Я как-нибудь возьму тебя на танцы, если хочешь.

Однако она была еще слишком юной, слишком строг был родительский надзор, — она только вспыхивала, опускала голову, но все-таки улыбалась ему.

И мысли о нем тревожили ее целый год, а потом ее внимание привлек Уолтер Стор; у его отца была контора по страхованию недвижимости неподалеку от лавки Зобела. Уолтер был высокий блондин с веселыми глазами и большим, всегда смеющимся ртом; вместе с Мертоном Уэбстером, Лоуренсом Кроссом, сыном бакалейщика, Свеном Фолбергом, сыном владельца мастерской химической чистки, и другими шалопаями он нередко болтался около ближайшего кинематографа или у аптеки на углу и заигрывал с проходящими девушками. Хотя Ида была очень застенчива, она знала этих молодых людей по имени или в лицо, потому что каждый день ходила по этим улицам в школу и помогала отцу в лавке. Они иногда заходили в лавку и даже обменивались замечаниями на ее счет: «Смотрите-ка, а она становится хорошенькой!» Тут Ида краснела и спешила заняться с покупателем.

Она многое узнала об этих молодых людях и девушках от Этель Шомел, дочери соседа-немца, который был другом ее отца. Зобел считал Этель подходящей подругой для Иды главным образом потому, что та была дурнушкой. Но из рассказов Этель и во время прогулок с нею Ида слышала немало сплетен об этой компании. Уолтер Стор, который ей страшно нравился, ухаживал за дочерью торговца молоком Эдной Стронг. Отец Стора был не так скуп, как многие родители. У него был автомобиль, и он иногда разрешал сыну брать его. Стор часто приглашал Эдну и ее подруг на лодочную станцию на Литтл Шарк Ривер. Одна из подруг Этель говорила, что он прекрасный рассказчик и танцор. Как-то она встретилась с ним на вечеринке. И, конечно, Ида жадно и с любопытством выслушивала все это. Какая веселая, какая удивительная жизнь!

Однажды вечером, около половины восьмого, когда Ида шла в отцовскую лавку, Стор, стоявший по обыкновению с приятелями на своем излюбленном углу, крикнул:

— Знаю я одну милашку, да жаль, папаша не позволяет ей смотреть на парней. Верно? — Этот вопрос был обращен непосредственно к Иде, когда она проходила мимо, а она, прекрасно зная, кого он имеет в виду и насколько справедливы его слова, ускорила шаги. Если бы отец слышал это! О господи! И все же эти сло-

ва обрадовали ее. «Милашка! Милашка!» — так и звенело у нее в ушах.

И вот, наконец, когда ей исполнилось пятнадцать лет, в большой дом на Грей-стрит переехал Эдуард Хауптвангер. Его отец, Джейкоб Хауптвангер, зажиточный торговец углем, недавно купил склад на Эбсе-коне. К этому времени Ида стало понятно, что у нее не такая юность, как у всех ее сверстниц, она лишена общества молодежи, строгий, бездушный надзор отца и мачехи отнимает у нее все радости жизни.

Весною и летом, чудесными, томительными вечерами, она подолгу глядела на луну, сиявшую над этим надоевшим домом, над тесным надоевшим садиком, где все же цвели тюльпаны, гиацинты, жимолость и розы. Звезды сверкали над Уоррен-авеню, где все — автомобили, толпы народа, кинематографы и рестораны — казалось ей таким заманчивым. О, как ей хотелось радости — до боли, до безумия. Вырваться отсюда, убежать куда-нибудь, где можно танцевать, играть, целоваться, все равно с кем, лишь бы он был молодой и красивый. Неужели никого не будет в ее жизни? А что хуже всего — парни со всего квартала кричали ей, когда она проходила мимо: «Поглядите-ка, кто идет! Вот обида, папаша ее никуда не пускает». «Почему ты не срежешь косы, Ида? Стрижка тебе пойдет». Хотя Ида уже кончила школу, она, как прежде, помогала отцу в лавке и одевалась по-прежнему. Короткие платья, стриженные волосы, носки, губная помада — все было под запретом.

Но появился Эдуард Хауптвангер, и жизнь ее изменилась. Это был напористый молодой человек весьма твердого и решительного нрава, сердцеед, необыкновенно изобретательный по части любовных похождения, притом он со вкусом одевался и умел держать себя: в глазах тех молодых людей, которых он выбрал себе в приятели, это был почти герой. Ведь у Хауптвангеров большой собственный дом на Грей-стрит! По всей округе, развозя уголь, разъезжают покрытые кричащими рекламными надписями фургоны и грузовики его отца. И вдобавок, благодаря безрассудной и слепой любви его матери (отец отнюдь не разделял этих чувств) у Эдуарда всегда было достаточно карманных денег на тот образ жизни, какой обязателен в подобной компании. Он мог водить своих подруг в театр, кинематограф, рестораны не только в их районе, но и в центре

города. И лодочный клуб на Литтл Шарк Ривер сразу же стал для него местом свиданий. Говорили, что у него есть собственная байдарка. Он отлично плавал и нырял. Ему было разрешено пользоваться отцовским автомобилем, и по воскресеньям он часто возил своих приятелей в лодочный клуб.

И вот, прожив здесь около года и завоевав репутацию светского молодого человека, Хауптвангер впервые увидел Иду Зобел, когда она вечером шла из дома в отцовскую лавку. Как строго ни держали Иду, как скромно ни одевали, красота ее сразу привлекала внимание. Кое-какие замечания о ней и ее подневольной жизни, услышанные от приятелей, у которых не хватало ни ловкости, ни дерзости, чтобы познакомиться с нею поближе, заставили Эдуарда насторожиться. Хороша, ничего не скажешь. Молодой Хауптвангер по натуре был искатель приключений, и потому ему показались заманчивыми препятствия, стоявшие между ним и этой девушкой. «Ох, уж эти старомодные, деспотичные немцы! И кругом не нашлось ни одного парня, который сумел бы вмешаться в это дело. Видали вы такое?»

И, не теряя времени, он стал усердно присматриваться к понравившейся ему девушке и к ее жизни. И скоро почувствовал, что его непреодолимо влечет к ней. Какое хорошенькое личико! Как сложена! Какие большие серо-голубые глаза, кроткие и застенчивые! И в глубине их — робкий призыв.

И он стал с дерзким видом прохаживаться мимо лавки Зобела в часы, когда там бывала прекрасная Ида, не обращая внимания на ее отца, который с утра до ночи сидел, склонившись над кассой и книгами, или обслуживал покупателей. А Ида, которая никогда и ни в чем не смела дать себе волю, вдруг почувствовала, что она нравится Хауптвангеру и что он старается показать ей это, — и ее все больше и больше влекло к нему. Он скоро узнал, в какие часы ее вернее всего можно застать одну. Как правило, это бывало по средам и пятницам, когда ее отец с половины девятого уходил в клуб немецких коммерсантов или в певческое общество. Правда, изредка Иде помогала мачеха, но обычно она в эти вечера оставалась в лавке одна.

Итак, смелое наступление должно было разрушить чары, сковавшие спящую красавицу. Сначала Хауптван-

гер, впрочем, только улыбался Иде, когда они случайно встречались, и хвастал перед приятелями:

— А девочка-то будет моя! Вот увидите!

Потом, как-то вечером, в отсутствие Зобела, он явился в лавку. Ида стояла за прилавком, покупателей как раз не было, и она, по обыкновению, мечтала о той жизни, что шумела за стенами. За последние недели она стала особенно остро чувствовать, что нравится этому любезному молодому человеку. Какая у него стройная, гибкая фигура, какие быстрые, энергичные движения, какой требовательный и настойчивый взгляд! Как и все, кто нравился ей прежде, он был именно из тех самоуверенных и самовлюбленных франтов, к которым всегда влечет робких девушек вроде Иды. Он нимало не колебался. Даже и для этого случая он не потрудился выдумать какой-нибудь предлог. Какая разница? Все сойдет. Ему нужно посмотреть краску. Скоро надо будет заново окрасить дом. . тем временем он втянет ее в разговор, а если старик вернется,— ну что ж, он потолкует с ним о краске.

Итак, в этот на редкость мягкий и теплый майский вечер молодой Хауптвангер непринужденно вошел в лавку Зобела; он был в новом сером костюме, в светло-коричневой фетровой шляпе и коричневых ботинках, картину довершал ослепительный галстук — предмет зависти всех местных щеголей.

— Хелло! Невесело в такой вечер сидеть в четырех стенах, верно? — эти слова сопровождались неотразимой улыбкой.— Я хотел бы посмотреть кое-какие краски, то есть образцы. Мой старик думает заново окрасить дом.

Смушенная Ида, вспыхнув до корней волос, поспешно стала искать образцы, стараясь скрыть пылающее лицо. И все-таки она была заинтересована не меньше, чем испугана. Какая смелость! А вдруг вернется отец или войдет мачеха? Но в конце концов он такой же покупатель, как и всякий другой... хотя она прекрасно понимала, что он пришел не ради краски. Вон там, на другой стороне улицы, выстроились в ряд три его приятеля и восхищенно наблюдают за ним; а он, облокотившись на прилавок, весело и развязно говорит:

— Я часто видел вас, когда вы ходили в школу или в лавку. Я здесь уже почти год, но что-то не замечал, чтоб вы гуляли с другими девушками. Обидно. А то бы

мы с вами раньше познакомились. С остальными я уже давно знаком.— Говоря это, он небрежным жестом поправил галстук, стараясь, чтобы ей бросился в глаза опаловый перстень и манжета в розовую полоску.— Я слышал, ваш отец даже не пускает вас гулять по Уоррен-авеню. Строгий старик, а? — И он, широко улыбаясь, заглянул в ее серо-голубые глаза, любясь румянцем на ее щеках, пухлым ртом и шелковистыми волосами.

— Да, у меня отец очень строгий,— еле выговорила Ида, дрожа от волнения.

— Что же, вас так и будут вечно держать взаперти? (Прейскурант красок уже давно лежал забытый на прилавке.) Надо же вам когда-нибудь немножко поразвлекаться, верно? Если бы я знал, что вы не против, я бы представился раньше. У моего отца большой угольный склад, тут, у реки. Уж, наверно, наши отцы знакомы. У меня есть автомобиль, то есть у папаши, но это все равно. Как вы думаете, отецпустит вас за город в субботу или в воскресенье, скажем, на Литтл Шарк Ривер или на Пек Бич? Все здешние парни и девушки ездят туда.

Теперь было совершенно ясно, что Хауптвангер уже кое-чего добился, и его приятели оставили свой наблюдательный пункт на той стороне улицы, не надеясь больше, что он потерпит поражение. А испуганная и взволнованная Ида думала: как чудесно, что она, наконец, понравилась такому красавцу. Отец, пожалуй, будет недоволен, но, может быть, такой смелый молодой человек сумеет все преодолеть? Да, но волосы у нее не подстрижены, платья длинные, губы не накрашены. Неужели она действительно могла ему понравиться? А у него такие упрямые, дерзкие темно-карие глаза, такие красивые руки. И как он великолепно одет. Она вдруг поняла, какое скучное и строгое на ней синее платье с белой отделкой, какие немодные туфли и чулки. Вслух же она решительно ответила:

— Нет, нет, мне ничего такого нельзя. Видите ли, мой отец не знает вас. Он непустит меня с человеком, которого не знает и с которым я почти не знакома. Вы же сами понимаете.

— Ну что же, тогда я сам представляюсь. Уж, наверное, мой отец знает вашего. Я просто скажу, что хочу

познакомиться с вами, ладно? Я не боюсь его, и ведь тут ничего нет плохого, верно?

— Да, может быть, только он очень строгий... и он все равно может не отпустить меня.

— Ну вот еще! Но вы-то хотите поехать? Или пойти в кинематограф? Уж этого-то он не запретит.

Хауптвангер, улыбаясь, посмотрел ей прямо в глаза и многозначительно прищурился, что всегда производило впечатление на девушек. И в душе Иды вдруг пробудились смутные, неосознанные и неподвластные ей стремления. Она только робко посмотрела на него. Какой он удивительный! Как прекрасна любовь! Ее так влечет к нему! И, собравшись с духом, она сказала:

— Может быть, и нет. Не знаю. Понимаете, у меня никогда еще не было кавалера...

Ее взгляд сказал ему, что он одержал победу. Как просто! Готово дело, подумал он, пара пустяков! Он пойдет к Зобелу и получит его разрешение или будет встречаться с ней тайком. Вот еще, по какому праву такой папаша вовсе не дает дочке развлечься. Нет, он покажет этим тупым, упрямым немцам! Пора их расшевелить, пускай очнутся!

Итак, не прошло и двух дней, как он без малейшего смущения явился в лавку, чтобы попробовать, нельзя ли заставить Зобела признать его возможным претендентом на руку дочери. А если это дело окажется не столь привлекательным, он просто прекратит знакомство, только и всего. Мало ли было таких случаев?

Конечно, Зобел знал, кто отец Эдуарда. Слушая бойкие и откровенные объяснения Хауптвангера-младшего, он трезво оценивал модный костюм, новые коричневые ботинки, и в целом молодой человек произвел на него благоприятное впечатление.

— Так вы уже разговаривали с ней?

— Да, сэр, я спросил, могу ли я увидаться с нею.

— Гм! Когда это было?

— Два дня назад. Я вечером заходил сюда.

— Гм... гм...

И тут Зобелом овладело привычное тревожное недоверие ко всему на свете — недоверие, от которого на лбу его, на висках и у рта давно прорезалось множество морщинок.

— Ну, ну, я поговорю об этом с дочерью. Мне надо подумать. Я, знаете, очень осторожен в отношении дочери и ее знакомств.

Тем не менее он подумал о множестве грузовиков, развозящих уголь по всей округе, о том, что этот юноша носит немецкую фамилию и, вероятно, воспитан в добром старом немецком духе.

— Я дам вам знать. Зайдите как-нибудь в другой раз.

А затем он побеседовал с дочерью, и было решено, что, пожалуй, ей можно и даже следует познакомиться хоть с одним молодым человеком. Как-никак, ей шестнадцать лет, и до сих пор он держал ее в строгости. Может быть, она уже вышла из самого опасного возраста. Большинству ее сверстниц все же разрешены кое-какие развлечения. Во всяком случае один порядочный кавалер, может быть, и нужен; а этот юноша, который обратился к нему так откровенно и бесстрашно, чем-то понравился Зобелу.

И вот, пока что Хауптвангеру было позволено приходить раза два в неделю, но он с первых дней стал строить дерзкие планы. Ведя себя крайне осмотрительно, он добился того, что в один прекрасный вечер Ида позволили пойти с ним в ближайший кинематограф. И с тех пор, по средам или пятницам, смотря по тому, когда Ида была занята в лавке, он постоянно проводил с ней вечера. Смелость и ловкость никогда не изменяли ему, и через некоторое время он испросил у мистера Зобела разрешение съездить с Идой в субботу на Пек Бич. Это было очень милое местечко в девяти милях от города, куда по субботам и воскресеньям горожане отправлялись подышать свежим воздухом. Позднее, когда он вполне завоевал доверие Зобела, ему было разрешено приглашать Иду то в театр, то в ресторан или в гости к приятелю,— у того была сестра, да и жил он неподалеку.

Как ни был строг и неотступно наблюдателен Зобел, он не мог помешать все большей близости, рожденной молодостью, взаимным влечением, влюбленностью. Ибо для Эдуарда Хауптвангера встречаться с девушкой значило увлечь ее и в конечном счете добиться своего. Итак, понемногу дело дошло до рукопожатий, до поцелуев, сорванных на лету. Тем не менее Ида еще слишком боялась выйти из отцовской воли и оставалась все

такой же пугливой и уклончивой, что было жестоким испытанием для ее поклонника.

— О, вы не знаете моего отца. Нет, я не могу этого сделать. Нет, я не могу оставаться так поздно. Нет, нет, я боюсь пойти туда, я не решусь. Просто не знаю, что он тогда со мной сделает.

И так всегда, стоило ему намекнуть на позднюю прогулку, на поездку в этот таинственный и заманчивый лодочный клуб на Литтл Шарк Ривер, в двадцати пяти милях от города,— Эдуард с жаром рассказывал, как там можно потанцевать, искупаться, покататься на лодке, послушать музыку — словом, повеселиться вволю. Но Ида, которой никогда не доводилось так развлекаться, скоро поняла, что на это потребуется неслыханно много времени — в сущности, вся суббота, с полудня до полуночи, а то и позже; а ведь отец требует, чтобы она возвращалась под родительский кров не позднее половины двенадцатого.

— Что ж, вам и повеселиться нельзя? Вот еще! Он вам ничего не позволяет, а вы так и будете его слушаться? Посмотрите на здешних девушек и парней. Никто так не запуган, как вы. И потом, что тут плохого? Ну, не вернемся мы вовремя. Разве нельзя сказать, что автомобиль сломался? Отец на это ничего не скажет. Да и кто является минута в минуту?

Но Ида все еще трусила и не поддавалась на уговоры, а Хауптвангер именно из-за этого сопротивления решил непременно поставить на своем и в то же время перехитрить ее отца.

И потом сладостные опьяняющие летние вечера... и поцелуи под сенью деревьев Кинг-Лейк парка или на озере, в лодочке, врезавшейся в берег, в тени нависших ветвей. Ида, впечатлительная и пылкая, несмотря на всю свою сдержанность и неопытность, все больше поддавалась чарам юности, лета, любви. Как он красив, ее возлюбленный! Как он хорошо одет, какой он мужественный, сильный, смелый. А он, болтая о том, о сем, то и дело ухитрялся ввернуть, что, будь она похрабрей и люби его по-настоящему, они могли бы отлично проводить время. Ведь к их услугам все удовольствия, какие только есть на свете. И, наконец, все там же, на озере, когда она доверчиво покоилась в его объятиях, он позволил себе вольности, каких она прежде и представить себе не могла... она вскочила, требуя, чтобы

он отвез ее к пристани, а он только рассмеялся в ответ.

Да что он такого сделал? Что ж на самом деле, любит она его или нет? А тогда к чему разыгрывать недоτροгу? Зачем плакать? Зачем поднимать крик? Ну, что ж, ладно, если она такая ломака...

И, выйдя на берег, он быстро пошел прочь, веселый и очень довольный собой. А она, одинокая, потрясенная этим внезапным изгнанием из рая, пробралась домой, в свою комнату, и, зарывшись лицом в подушку, шептала, что все это так ужасно, такой страшной опасности она избежала! И все же перед ее мысленным взором неотступно стоял блистательный Хауптвангер. Ее преследовал его образ, она вспоминала его лицо, волосы, руки. Его смелость. Его поцелуи. Разумно ли она вела себя, права ли была, что так возмутилась?.. И на следующий день в тоске и отчаянии она поплелась в отцовскую лавку... она ждала и думала, что, может быть, он не такой плохой, как ей тогда показалось... может быть, он не хотел оскорбить ее, просто он совсем потерял голову, был околдован так же, как она.

Любовь, любовь! Эдуард! Он не покинет ее, он не может уйти. Она должна увидеть его, дать ему возможность объясниться. Пусть он поймет: она была такой застенчивой, робкой, такой сдержанной не потому, что мало любит его, а потому что боится — боится отца, всех, всего на свете.

Да и сам Хауптвангер при всей своей опытности и фанфаронстве опасался, не слишком ли он поспешил. Ведь все-таки какая красotka! Какой соблазн! Он не может так просто ее упустить. До чего приятно, что она так влюблена в него, — еще немного поухаживать за ней, и кто знает? И он отправлялся на угол Уоррен-авеню и Хай-стрит, где она вечерами проходила домой, но притворялся, что не замечает ее. И Ида, бледная и тоскующая, видела его, проходя мимо. Так было вечером в понедельник... во вторник... Хуже того, в среду вечером он прошел мимо лавки и даже не повернул головы в сторону Иды... На другой день она дала негритенку, служившему на посылах в лавке, записку, чтобы он вручил ее Хауптвангеру часов в семь, когда тот наверняка будет на углу.

И вот Эдуард самым небрежным и высокомерным жестом взял записку и прочел ее. Ах так, ей пришлось

написать ему. Ох, уж эти женщины! И все же что-то дрогнуло в нем, когда он прочел: «Эдуард, милый, неужели ты можешь быть таким жестоким? Я так люблю тебя. Ты ведь только пошутил, правда? Я тоже не то хотела сказать. Пожалуйста, приходи к нам в восемь. Я хочу тебя видеть».

И Эдуард Хауптвангер, чувствуя себя победителем, ответил посыльному в присутствии четверых приятелей, которые знали о его ухаживании за Идой:

— Что ж, ладно. Передай ей, что я попозже загляну.

А в восьмом часу он зашагал к дому Зобела. И один из приятелей заметил ему вслед:

— Видали? Он уже обработал дочку Зобела. Она ему записочки пишет. Мальчишка сейчас принес. Ловко, а? — И остальные завистливо, удивленно и насмешливо откликнулись: — Видали?

И вот еще одно свидание в июньский вечер под деревьями Кинг-Лейк парка.

— Милый, как ты мог так поступить со мной, как ты мог? Мой дорогой, мой хороший!

И его ответ:

— Да, да, конечно, все это хорошо, но что я, потвоему, каменный? Будь добрее, я ведь живой человек. Я не бесчувственный. Ведь я от тебя без ума, да и ты тоже меня любишь, правда? Ну, тогда... значит... послушай... — А дальше, как нетрудно угадать, долгие лицемерные, лживые речи с тонкими намеками на страдания и муки подавляемого желания... но, конечно, он не думает ни о чем дурном. Нет, нет.

И снова в ответ — вечная, бессмысленная мольба испуганной любви. И потом его настойчивые уверения, что если что-нибудь случится, ну, тогда, конечно. Но к чему сейчас беспокоиться? Смешно, сколько он знает девушек, и она единственная беспокоится о таких вещах. И, наконец, поездка на Литтл Шарк Ривер в отцовском автомобиле. А потом еще и еще свидания. Ида сначала безвольно и пугливо покорялась, потом ее охватил ужас перед возможными последствиями, и потому она слишком пылко и откровенно льнула к нему, что начинало ему надоедать. Теперь она принадлежит ему — совсем, навсегда. Ведь он никогда, никогда не покинет ее, правда?

Но как только Хауптвангер добился своего и его беспокойная, тщеславная натура удовлетворилась новой

победой, уже пресытаясь, движимый вечной, лихорадочной, неподвластной ему жаждой новых ощущений, а также страхом потерять свою свободу, он кинулся искать чего-нибудь поновее, новых связей, которые были бы не так опасны. Ведь в конце концов Ида — еще одна девушка, еще одно приключение, и не так уж отличается от всех прежних. А ведь он был совсем околдован ею до того, как она уступила. Он сам не понимал этого. Не мог понять. Да он и не утруждал себя размышлениями. Но так оно было. Не то чтобы он боялся, что ему уже сейчас грозят неприятные последствия, которые заставят его жениться, — напротив, он твердо решил никогда, ни в коем случае не брать на себя таких обязательств.

Но вот прошли июль и август и после многих, многих счастливых часов — роковое признание. Она боится, что с нею что-то неладно. У нее за последнее время какое-то странное состояние — такая тоска, все что-то неможется, все чего-то страшно... Может быть, с ней случилась беда? Как он думает? Могло это случиться? Она ведь во всем его слушалась. А если это так, что же ей тогда делать? Он женится на ней? Если это правда, он просто должен. Другого выхода нет. Отец... он придет в бешенство... Ей так страшно! Она больше не может жить дома. Может быть, теперь... может быть, они теперь поженятся, если это правда? Ведь он говорил, что женится, если это когда-нибудь случится, не так ли?

Хауптвангер почувствовал тревогу и холодное раздражение. Жениться! Подумать только! Невозможно! А его отец! А его вольная, беспечная жизнь! А его будущее! И потом, откуда она знает? Разве она может быть уверена? И если даже это правда? Другие девушки справляются с этим без особых хлопот. Почему она не может? И разве он не был осторожен? Она слишком легко пугается, слишком неопытна, ей нехватает смелости. Он знает сколько угодно случаев, когда девушки легко выпутывались из подобных историй. Он сперва постарается что-нибудь придумать.

И она вдруг почувствовала, что он стал каким-то чужим и холодным, — она никогда раньше не видала его таким, — а все потому, что он решил оборвать эту опасную связь, чтобы не увеличивать свою ответственность. Ему очень хотелось держаться подальше. Мало

ли на свете девушек! Сколько угодно. Совсем недавно он встретил одну более опытную и искушенную в любовных делах, она-то вряд ли станет для него обузой!

Но, с другой стороны, его отец, такой же строгий, как Зобел, и его мать... веря в его порядочность, они, наверно, сочтут поведение сына небезупречным. И потому он попытался как можно скорее и деликатнее выпутаться из опасного положения. Правда, сперва он добросовестно, хоть и с досадой, пробовал через друзей и приятелей найти какое-нибудь верное средство. Но достиг только того, что все поняли: его веселое и удачное приключение кончилось весьма неудачно для Иды. А потому они теперь все переглядывались, перемигивались и подталкивали друг друга, стоило ей пройти по улице. А Ида, стыдясь своего позора, почти не выходила из дому, а если ей приходилось выйти, старалась избегать перекрестка Уоррен-авеню и Хай-стрит. Тайный страх терзал ее; строгий и безжалостный образ отца угрожающе стоял перед ней, и она чувствовала, что силы покидают ее. Она знала, что отец строг, беспощаден, неумолим. Что же ей делать? Ведь пока она принимала это бесполезное средство, которое достал ей Эдуард, можно было только ждать. И ожидание кончилось лишь еще бóльшим ужасом. И все время — опостылевшая работа в лавке, опостылевшие домашние заботы, попытки увидеть любимого... а ему новые и весьма неотложные дела все больше мешали где бы то ни было и когда бы то ни было встречаться с нею.

— Но разве ты не понимаешь, милый, что так продолжаться не может? Я больше не могу, неужели ты не понимаешь? Ведь ты говорил, что женишься на мне. Подумай, прошло уже столько времени. Я просто с ума схожу. Ты должен что-то сделать. Должен! Должен! А если узнает отец, что же тогда будет? Что он со мной сделает, да и с тобой! Неужели ты не понимаешь, как это страшно?

Но Хауптвангер спокойно выслушал полную муки мольбу обезумевшей и все еще любящей девушки, и в этом спокойствии было не только равнодушие, но и жестокость. Черт бы ее побрал! Он не женится. Он не может. Он должен непременно избавиться от нее. Он пытался не встречаться с ней больше — никогда не разговаривать с ней на людях и вообще держаться подальше. Но Ида никак не хотела поверить в это, она была

слишком неопытна, молода и все еще слишком верила в него. Это невозможно. Она никогда не подозревала, что он такой. Но теперь он так равнодушен — этому может быть только одно объяснение. Он избегает ее... и эти отговорки... И вот однажды, когда тоска и ужас овладели ею и погнали ее к нему, он сказал, спокойно и нагло глядя ей прямо в глаза:

— Да я вовсе и не обещал жениться на тебе. Ты это прекрасно знаешь. И потом ты сама виновата не меньше моего. Ты что же воображаешь — ты не умеешь сама о себе позаботиться, а я должен на тебе жениться? Так, что ли?

Его взгляд впервые стал по-настоящему жесток. Он твердо решил одним ударом покончить со всей этой историей. И удар был достаточно силен, чтобы едва не свести с ума романтическую и пылкую девочку, до последней минуты так безрассудно верившую в любовь. Нет, этого не может быть! Какой ужас! И неминуемая катастрофа... Все еще отказываясь верить, теряя голову, она воскликнула:

— Но, Эд, послушай, что ты говоришь? Ведь это неправда! Ты сам знаешь! Ты обещал. Ты клялся. Ты же знаешь, я не хотела, ты заставил меня. Ну, что мне делать? Отец... Не знаю, что он со мной сделает и с тобой тоже. Боже мой! Боже мой!

Не находя слов, чтобы убедить его, она, как безумная, в каком-то исступлении ломала руки.

Тут Хауптвангер окончательно решил как следует припугнуть ее, чтобы она отстала от него раз и навсегда.

— Да брось ты! — крикнул он. — Я никогда не говорил, что женюсь, и ты это знаешь. — Он повернулся на каблуках и отошел к стоявшей на углу оживленной компании молодых людей, с которыми болтал до ее прихода. И чтобы утвердиться в своем решении и показать приятелям, что он разделался со всем этим, добавил: — Ох, уж эти юбки! Чертям от них тошно!

Однако при всем своем тщеславии и заносчивости он был немного испуган тем, что дело принимает неприятный оборот. Но все-таки, когда Джонни Мартин, его приятель, тоже претендент на славу местного Дон Жуана, заметил: «Я видел, она тебя тут вчера искала, Эд. Гляди в оба. Доведут тебя эти юбки когда-нибудь до беды», — он спокойно вынул папиросу из серебряного

портсигара и, даже не взглянув на помертвевшую Иду, сказал:

— Вот как? Ну, что ж. Это мы еще посмотрим.— И затем, небрежно кивнув в сторону Иды, настолько измученной, что у нее не было сил уйти, добавил: — Уж эти немки! Выросла у своего папаши дура душой, а теперь вообразила, что с ней неладно, и я же виноват!

Как раз в это время подошел еще один его приятель и сообщил, что две девицы, с которыми они собирались встретиться, ждут их.

— Ну как, Скэт? — весело спросил Эдуард.— Все в порядке? Тогда ладно, пошли. Пока, ребята.— И он ушел быстрой и уверенной походкой.

Но разбитая, потрясенная Ида все еще медлила под почти уже обнаженными сентябрьскими деревьями. Мимо нее проносились трамваи и автомобили; их гудки и звонки, громкий говор прохожих, шарканье ног, сверкающие вечерние огни — все сливалось в оглушающем хаосе звуков и красок. Какой холод! Или это только ей так холодно? Он не женится на ней! Он и не обещал никогда! Как мог он это сказать? А теперь ей придется иметь дело с отцом... и тут еще ее состояние...

Она все стояла, не шевелясь, и вдруг перед нею мгновенным видением возникла летняя ночь в Кинг-Лейк парке — тропинки и скамьи, лодки, скользящие под деревьями... в каждой двое: юноша и девушка... И весла бесцельно лежат на воде... и одурманенные любовью головы склоняются друг к другу... сердца бьются так неистово, что перехватывает дыхание... А теперь... после стольких поцелуев и обещаний все оказалось ложью: ее мечты... ее слова... его слова, которым она так верила... ложью были часы, дни, недели, месяцы невыразимого блаженства... ложью были ее надежды — и не сбудутся ее мечты — никогда Нет, лучше умереть... умереть.

Еле передвигая ноги, она медленно вернулась домой и, пользуясь отсутствием отца и мачехи, проскользнула к себе, легла и думала, думала... Ее бросало то в жар, то в холод, и страшная боль, вызванная жестоким потрясением, пронизывала ее. И вдруг — приступ негодования, такого острого, какого она никогда еще не испытывала. Какая жестокость! Какая жестокость! И какое вероломство! Он не только лгал, он еще и оскорбил ее. А ведь всего пять месяцев назад он так добивался ее

внимания, так смотрел, так улыбался! Обманщик! Не-
годяй! Чудовище! Так думала она, и в то же время ей
страстно хотелось не верить этим мыслям, вернуться на
месяц, на два, на три назад, найти в глубине его глаз
хотя бы намек на то, что могло бы опровергнуть эти
страшные мысли. Ах, Эдуард!

Так прошла ночь, наступил рассвет. И потом —
тяжкий, мучительный день. И еще такие же дни. И не
с кем поговорить, — ни души. Если бы она могла расска-
зать все мачехе! И еще дни и ночи — такие одинокие.
И вихрь беспорядочных, слепящих, обжигающих мыс-
лей; они преследовали ее, как стая демонов. Что станут
говорить, если с нею в самом деле стрясется такая бе-
да? Ее неопытность еще усиливала страх. А эти зеваки
на улицах, провожающие ее наглыми взглядами и нас-
мешками... знакомые девушки... что они подумают, ведь
скоро они все узнают. Как одиноко ей будет без любви.
Эти и сотни подобных мыслей проносились в ее мозгу
в фантастической пляске смерти.

И все же в ее сознании крепла неотвязная мысль,
что все услышанное ею — неправда, что это ей только
померещилось и она еще сумеет уговорить его, разжа-
лобить. Милый, любимый! Не может быть, чтоб они
больше не смогли понять друг друга. И, однако, с каж-
дым часом она все яснее понимала, что никакими прось-
бами и мольбами не вернуть его былой нежности. Она
писала ему записки, поджидала его на углах, в дальнем
конце улицы, ведущей к угольному складу его отца,
подле его дома... и что в ответ? — молчание, увертки,
а то и прямое оскорбление и насмешки.

— Чего это ты вздумала ходить за мной по пятам?
По-твоему, мне больше делать нечего, только слушать
тебя? Я тебе сразу сказал, что не женюсь. А теперь ты
вообразила, что с тобой неладно, и хочешь взвалить все
на меня. Ну, знаешь, кругом и без меня парней доста-
точно, это всем известно.

Тут он замолчал, увидев, что его последние слова
пробудили в ней силу и решимость, которых он в ней и
не подозревал. Брошенное им оскорбление потрясло ее
до глубины души. Лицо ее вдруг совсем побелело, в глу-
бине зрачков вспыхнули гневные искры.

— Это ложь! Ты же знаешь, что это неправда! Ка-
кой ужас! Как ты мог сказать такое! Теперь я все по-
нимаю. Ты просто подлец и трус! Значит, ты просто

обманывал меня все время. Ты никогда и не собирался жениться на мне, а теперь ты трусил и хочешь увильнуть, хочешь все свалить на кого-то. Негодяй, да еще мелкий негодяй! И это после всех твоих слов, после всех обещаний! Как будто я хоть раз в жизни подумала о ком-нибудь другом! Ты это прекрасно знаешь — и ты осмелился сказать мне такую вещь!

Она все еще была смертельно бледна, и даже руки побелели. Глаза ее были полны предельного, беспомощного и бессильного страдания. Но, несмотря на все, сквозь гнев и страдание пробивалась любовь — властная, пламенная, всепоглощающая! И это было так мучительно, что слезы выступили на глазах девушки.

И прекрасно зная, что эта любовь еще жива, он тотчас придрался к ее справедливым словам и решил прикинуться обиженным.

— Ах, вот как? Я трус? Ладно, посмотрим, что ты на этом выиграешь, дуреха.— И, круто повернувшись, он пошел прочь. В эту минуту он думал только об одном — как бы не уронить себя в глазах здешних обывателей. Он даже не оглянулся.

— Эд! Эд! Вернись! — крикнула Ида в безмерном страхе и отчаянии.— Ты не смеешь вот так бросить меня! Я не допущу этого. Говорю тебе, не допущу. Вернись сейчас же! Слышишь? — Но он быстро уходил, не слушая ее. Вне себя, почти не сознавая, что делает, она бросилась за ним. Удивленный и обеспокоенный ее угрожающим тоном, он резко повернулся к ней:

— Слушай, ты! Брось дурить, а то я тебе покажу, слышишь? Тебе не удастся втравить меня в это дело. Не на такого напала. Сама во всем виновата, сама и выпутывайся. Убирайся, пока я с тобой не расправился, слышишь?

Он подошел ближе и посмотрел на нее с таким бешенством и угрозой, что впервые за все время их знакомства Ида по-настоящему испугалась его. Какое у него злое, мрачное лицо. Какие жестокие, бешеные, свирепые глаза. Неужели, в довершение всего, он и на самом деле может ударить ее? Стало быть, она совсем не знала его. И она застыла, не шевелясь,— ее охватил тот же страх перед грубой физической силой, который заставлял ее беспрекословно повиноваться отцу. А Хауптвангер, видя, как подействовала на нее его яростная вспышка, прибавил:

— Не смей больше подходить ко мне, слышишь? Я так тебя отделаю, что не обрадуешься. Хватит с меня. Кончено — раз и навсегда.

Он снова повернулся и решительно, не оглядываясь, зашагал прочь, по направлению к центру города, к Хай-стрит и Уоррен-авеню, а Ида осталась стоять неподвижно, слишком потрясенная, чтобы собраться с силами и ясно понять, что ей теперь делать. Какой ужас! Позор! Стыд! Теперь она, конечно, погибла.

Но нельзя привлекать к себе внимания... и она пошла медленно, очень медленно... ее шатало от вихря беспорядочно сталкивающихся мыслей. И вот, дрожащая и бледная, она снова вернулась домой и незаметно проскользнула в свою комнату. Она слишком измучилась, чтобы плакать, и только думала — то мрачно, даже яростно, то беспомощно и бессильно — обо всем, что произошло.

Отец! Мачеха! Если... если они узнают. Но нет — что-то должно случиться прежде, чем случится это. Она должна уйти. Или нет... может быть, утопиться... как-то исчезнуть... или...

На чердаке, куда она ребенком часто забегала поиграть, висела старая веревка, на которую иногда вешали белье. А что, если... теперь, когда рухнули все ее надежды... может быть... она когда-то читала, что одна женщина покончила с собой вот так же... И едва ли кто-нибудь заглянет сюда, прежде чем... чем...

Но способна ли она на это? Может ли она это сделать? А зарождающаяся в ней жизнь, которая так ее пугает? Имеет ли она право оборвать эту жизнь? И свою? Имеет ли право разрушить то, что даровано ей самой жизнью? И ведь ей так хочется жить! Притом обязан же Эдуард сделать для нее что-нибудь, помочь ей, помочь ее... ее... Нет, она не может... она даже не станет больше думать об этом... и потом, умереть так — значит только дать ему полную свободу для новых легких и радостных побед. Нет, ни за что! Она убьет сначала его, потом себя. Или изобличит его перед всеми... а значит, и себя... и тогда... тогда...

Да, но отец! Мачеха! Позор! И вот...

В лавке, в ящике письменного стола, лежал револьвер — большой, неуклюжий, отец говорил, что из него можно выстрелить восемь раз подряд. Он был такой тяжелый, тусклый, холодный. Она видела его, трогала,

даже как-то взяла его в руки, но с таким страхом... Он всегда наводил на мысль о смерти, о гневе, только не о жизни. Но теперь — если... если она решится наказать Эдуарда и себя... или себя одну. Нет, это не выход. Так где же выход? Где?

Она все думала и думала, в каком-то мучительном исступлении, пока отец, заметив ее необычное состояние, не осведомился, что с нею происходит в последнее время. Не поссорилась ли она с Хауптвангером? Что-то его давно не видно. Или, может быть, она больна? У нее совсем пропал аппетит. Она почти ничего не ест. Услышав в ответ на оба вопроса торопливое «нет», он не вполне удовлетворился этим, однако решил больше не расспрашивать. Тут, конечно, что-то кроется, но несомненно это скоро разъяснится.

Раз отец уже почуял неладное, значит нужно действовать... решать. И вот из мыслей о самоубийстве, о револьвере возникло решение: она попробует пригрозить Хауптвангеру. Она только напугает его. Может быть, даже прицелится в него — и посмотрит, что он станет делать. Конечно, она не сможет убить его — она знала это. Но если... если прицелиться... нет, нет, не в него... и... и... вспышка огня, дымок, смертоносная пуля ему в сердце... потом, конечно, себе. Нет, нет! Ведь потом... что потом? Куда?

Сколько раз за эти два дня она подходила к ящику, смотрела на револьвер, наконец подняла его — просто так, не думая. Он был такой тяжелый, холодный, тусклый. Самый вес его и назначение приводили ее в ужас; однако после многих тщетных попыток ей удалось, наконец, надежно спрятать его на груди. Это было ужасно — холод у сердца, где прошлым летом так часто покоилась голова Эдуарда.

И вот однажды, когда у нее уже нехватало сил выносить мучительное напряжение, отец спросил:

— Что с тобой? Ты, кажется, вовсе не соображаешь, что делаешь. Может быть, у тебя разладилось с твоим кавалером? Что-то он больше не бывает у нас. Пора уже тебе выйти за него замуж, либо совсем перестать с ним встречаться. Я не допущу никаких глупостей между вами.

И эти слова заставили ее принять то решение, которого она больше всего страшилась. Теперь... теперь... нужно действовать. Сегодня же она должна по крайней

мере увидеться с ним и сказать, что пойдет к его отцу и откроет ему все... и что если Эдуард не женится на ней, она убьет и его и себя. Может быть, она покажет ему револьвер... пригрозит ему... если сможет... но, кроме угроз, в последний раз попробует подействовать на него мольбами. Если только... если только он выслушает ее на этот раз, не обозлится... может быть, он испугается и поможет ей, а не накинется на нее с бранью, не прогонит.

Это произойдет возле угольного склада его отца, в конце переулка, ведущего к реке, или около его дома. Сначала она пойдет к конторе склада. Он наверняка выйдет оттуда в половине шестого и в шесть будет около дома. В семь или в половине восьмого он опять уйдет, скорее всего на свидание... на свидание... с кем? Но лучше... лучше пойти сначала к конторе. Оттуда он должен выйти один. Так будет скорее.

Хауптвангер вышел в этот вечер из конторы с видом и настроением человека, очень довольного собой и всем светом. Был ветреный ноябрьский вечер; дуговые фонари сверкали в отдалении; доносились далекие гудки автомобилей, шум далекой жизни; ветер гнал по земле сухие листья. И вдруг из-за сложенных кирпичей, мимо которых он обычно проходил, появилась женская фигура в знакомой накидке.

— Одну минуту, Эд, мне надо поговорить с тобой.

— Опять ты! Какого черта! Я же сказал тебе: у меня нет времени, и я вовсе не желаю с тобой разговаривать.

— Слушай, Эд, перестань. Я в отчаянии. Я в отчаянии, Эд, слышишь? Неужели ты не понимаешь? — голос ее прерывался, звучал пронзительно и вместе с тем скорбно. — Я пришла сказать, что теперь ты должен жениться на мне. Ты должен — слышишь?

Она нащупала на груди тяжелый, громоздкий револьвер — теперь уже не такой холодный. Рукоятка торчала кверху. Теперь надо вытащить его... показать Эду... или держать под накидкой наготове, чтобы, когда понадобится, можно было сразу вынуть... и заставить его понять, что если он ничего для нее не сделает... Но рука у нее так дрожала, что она едва могла держать револьвер. Он был такой тяжелый, такой страшный. Почти не слыша собственного голоса, она продолжала:

— А то я пойду к твоему отцу и к своему. Даже не знаю, что мой отец со мной сделает, это будет ужасно, но тебе будет еще хуже. И твой отец тоже не спустит, когда узнает. Но все равно...— Она хотела прибавить: «Ты должен жениться на мне и поскорей, или... или... я убью тебя и себя, вот и все»,— и потом достать револьвер и угрожающе помахать им перед лицом Эдуарда.

Но она не успела. Ничего не подозревавший Эдуард в бешенстве накинулся на нее!

— Вот нахальство! Брось это, слышишь? Ты что о себе воображаешь? Что я говорил тебе? Ступай к моему отцу, если тебе так хочется. И к своему. Не испугаешь! Думаешь, что они поверят такой... как ты? Никогда у меня с тобой ничего не было, вот и все!— И он с силой толкнул ее, рассчитывая, что она испугается и уйдет. И тут, наперекор ее желанию не причинять ему зла, внезапная вспышка ярости и боли ослепила ее огненным вихрем искр, перед глазами пошли круги — стремительные, багровые и странно красивые... И окаймленное ими лицо Хауптвангера, ее возлюбленного... но не такое, как сейчас, нет, нет... окруженное странным сиянием... таким она видела его весной, под деревьями Кинг-Лейк парка... Она повернулась и в исступлении кинулась к нему:

— Ты женишься на мне, Эд! Женишься! Вот, видишь? Ты женишься!

И вот, к величайшему удивлению обоих, так неожиданно, что они даже не очень испугались, револьвер с громким шумом изрыгнул пламя и едва не вырвался из ее руки... и прежде, чем она успела отвести его, раздался еще выстрел, еще раз вспыхнул огонь в полумраке. Мгновение Хауптвангер, безмерно изумленный, не мог вымолвить ни слова, потом вскрикнул:

— Господи! Что это ты...— И, ощутив острую боль, поднял руку к груди.— О, черт! Застрелила...— и упал ничком у ее ног...

Багровые искры все еще кружились у нее в мозгу, перед глазами: «Вот теперь... теперь... я должна убить себя тоже. Должна. Должна. Убежать куда-нибудь... и выстрелить в себя...» — но она была не в силах поднять револьвер... а кто-то уже приближается... голос... шаги... кто-то бежит сюда... она тоже хотела бежать — под деревья, в ворота, за угол, куда-нибудь, где она сможет

выстрелить в себя. Но кто-то кричит: «Держи ее! Убийство!» И еще, откуда-то с другой стороны: «Стой! Убийство! Держи ее!» И быстрые, тяжелые шаги за спиной. Кто-то схватил ее за руку, все еще бессознательно сжимавшую револьвер. Чья-то рука разжала ей пальцы! «Отдай револьвер!» И какой-то крепкий парень — она его никогда прежде не видела, но он чем-то походил на Эдди — взял ее за плечи и повернул к себе.

— Послушай, ты! Какого черта! Иди-ка, иди. Хочешь удрать? Не выйдет.

И все же глаза его смотрели беззлобно, и сильные руки держали ее не слишком грубо.

— Пустите меня! Пустите! — закричала она. — Я тоже хочу умереть, слышите? Пустите! — и зарыдала без слез, содрогаясь всем телом.

И сразу же ее окружила толпа — откуда-то набежали мужчины и женщины, мальчишки, девчонки и, наконец, полиция, и каждый полицейский твердо знал, что ему надлежит получить возможно больше сведений о происшествии, проследить, чтобы раненый был немедленно доставлен в больницу, а девушка — в ближайший полицейский участок, и записать имена и адреса нескольких свидетелей. А несчастная, обессиленная Ида сидела в оцепенении на крыльце какого-то дома, во дворе, окруженная теснящейся толпой, и в ушах у нее отдавались голоса:

— Где? Что? Как?

— Да, да! Только сейчас, на этом самом месте.

— Понятно, вызывают скорую помощь.

— По-моему, ему крышка. Две пули в грудь. Не выжить ему.

— Гляди, он весь в крови!

— Ясно, это она. Из револьвера — из огромного! Полисмен забрал его. Она хотела удрать. Но Джимми Аллен поймал ее. Он как раз подходил к дому.

— Да-а. Это дочка старика Зобела, у него москательная лавка, недалеко, на Уоррен-авеню. Я ее знаю. А он сын Хауптвангера, это вот его угольный склад. Я у него работал. Он живет на Грей-стрит.

А тем временем молодой Хауптвангер в бессознательном состоянии был доставлен прямо на операционный стол в ближайшую больницу и там признан безнадежным, — ему оставалось жить двадцать четыре часа, не больше. Узнав о случившемся, его отец и мать

кинулись туда. А измученную Иду доставили в полицейский участок на Хендерсен-авеню — там, в задней комнате, ее тесно обступили полицейские и сыщики и стали засыпать вопросами:

— Так, говорите, вы с этим парнем познакомились примерно год назад? Это верно? Скоро после того, как он сюда переехал, так, что ли? — И безутешная Ида, почти теряя сознание, только кивала в ответ. А за стеной — толпа, жадная до сенсаций, охваченная нездоровым любопытством. Красивая девушка! Молодой человек при смерти! Преступление на любовной почве!

А между тем Зобел и его жена, которых известил о происшедшем дюжий полицейский, бледные, до смерти перепуганные, побежали в участок. Господи! Господи! Они ворвались туда, едва переводя дыхание. У Зобела выступили на лбу капли пота и даже ладони стали влажными; горе, горе жестоко терзало его. Как! Его Ида кого-то застрелила! Молодого Хауптвангера! Да еще на улице, возле конторы. Убийство! Великий боже! Значит, между ними что-то было. Да, да. Как же он не заметил? Она была такая бледная в последнее время, казалась такой угнетенной, несчастной. Этот мальчишка соблазнил ее, вот что. Проклятие! Соблазнил! Обманул! Негодяй! А ведь он внушал ей, как надо себя вести! Он и жена так о ней заботились! Что скажут соседи? Что будет с торговлей? А полиция, суд! Может быть, приговор, смертный приговор! Боже правый! Его родная дочь! А тот мерзавец, такой вылощенный, франтоватый... Зачем, зачем он позволил ей встречаться с ним! Ведь он должен был предвидеть... его дочь так неопытна...

— Где она? Боже мой! Боже мой! Какой ужас!

И вот он увидел ее — такую жалкую, без кровинки в лице; когда он заговорил с ней, она взглянула на него пустым взглядом и беззвучно сказала:

— Да, я застрелила его. Да. Да. Он не хотел жениться на мне. Он должен был, но не захотел — и вот... — и тут она вдруг в безысходной тоске стиснула руки и разрыдалась: — Эд! Эд!

— Боже мой! — воскликнул Зобел. — Ида! Ида! Побойся бога, этого не может быть. Почему ты не рассказала мне обо всем? Почему ты не пришла ко мне? Ведь

я твой отец! Я бы все понял. Да, конечно! Я бы пошел к его отцу... к нему... А теперь... теперь... — Он в отчаянии ломал руки.

Однако сильнее всего старика терзала мысль о том, что теперь эта история станет известна всему свету и все его труды пойдут прахом. И он принялся многословно рассказывать дежурному лейтенанту, сыщикам и полицейским все, что знал. А единственная мысль, всплывшая в сознании несчастной Иды, едва она пришла в себя, была: неужели это ее отец? О чем это он говорил — о помощи? О том, что она должна была прийти к нему... а ведь она никогда, никогда не думала, что он может быть таким. Но потом снова мысль об Эдуарде. Та ужасная минута. Ужасное несчастье. Она не хотела этого, в самом деле не хотела. Нет, нет! Но неужели правда, что он умер? Неужели она убила его? Как он оттолкнул ее — почти ударил, что он говорил... И все же, о господи! господи! Она заплакала горькими, безмолвными слезами, и отец и мачеха склонились над нею, впервые с искренним сочувствием. Какая сложная жизнь, какая страшная! Никому нет покоя на земле, никому. Всюду безумие и скорбь. Но они не покинут ее в беде, нет, нет.

А потом — репортеры. Шумиха, раздуваемая газетами; журналисты и журналистки, всякие бойкие писаки, фотографы. Кричащие заголовки! «Семнадцатилетняя красавица застрелила своего любовника двадцати одного года. Дважды выстрелила в молодого человека, которого она обвиняет в нарушении данного слова. Она скоро должна стать матерью. Молодой человек при смерти. Девушка признает себя виновной. Просит оставить ее наедине с ее горем. Родители обоих в отчаянии».

И затем, день за днем, все новые сенсации, потому что на второй день в три часа Хауптвангер действительно скончался, признавшись перед смертью, что обманул Иду. А еще через день следователь вынес решение о задержании девушки впредь до разбора дела судом присяжных, без права освобождения на поруки. Но она очень красива, и все это так трогательно; и вот в редакции газет посыпались письма: священники, люди с видным положением в обществе, политические деятели и просто читатели требовали, чтобы с этой девушкой, готовящейся стать матерью и виновной лишь в том, что она слишком сильно, хотя и безрассудно, любила, не

обошлись сурово, простили бы ее, выпустили на поруки. Было ясно, что ни один состав присяжных не осудит ее. В Америке это не пройдет. Худо придется тем, кто попытается наказать уже и без того исстрадавшуюся девушку. Несомненно, долг всякого судьи — выпустить это бедное, обманутое создание на поруки, пусть она спокойно, в мире и тишине живет в каком-нибудь частном доме или в благотворительном заведении, пока не родится ребенок; кстати, одна весьма богатая светская дама, глубоко взволнованная этой трагедией, не только выказала сочувствие невинной жертве любви и дочернего долга, но предложила внести за нее залог в любом размере и приютить у себя в доме, где Ида спокойно сможет дожидаться рождения ребенка, а затем и судебного разбирательства, которое решит ее дальнейшую судьбу.

И вот удивленная и смущенная девушка была передана на попечение этой внешне строгой, а в душе очень отзывчивой женщины, которая с первых дней заключения Иды в окружной тюрьме пыталась снискать ее доверие и симпатию; она была немолода и некрасива, но обладала приятным голосом и мягкими манерами; она постоянно твердила, что понимает Иду, что она и сама страдала, что ее сердце тоже было разбито и что Иде ни о чем больше не надо тревожиться. И в конце концов Иду — арестантку, выпущенную на поруки и обязанную вернуться по первому требованию, — перевезли в некогда загородный, а теперь оказавшийся в черте города дом в самом фешенебельном районе, с большим садом и великолепными комнатами. Несмотря на все свое отчаяние, она удивилась и растерялась от неожиданности: для нее было приготовлено все, что ей могло понадобиться; в ее распоряжении была горничная; еду ей подавали в комнату, стоило ей только пожелать; к ее услугам была тишина или развлечения, как ей угодно. Родителям разрешалось навещать ее, когда она захочет... Но ей было так тяжело в их присутствии. Правда, они теперь были неизменно добры и ласковы с нею. Говорили о новой жизни, которая начнется после того, как минет великое испытание — рождение ребенка (об этом упоминалось лишь обвиняками) и потом суд. У них будет новая лавка в другом районе, и уже объявлено о продаже старой. И тогда... ну, что ж, она будет жить спокойно, а может быть, и счастливо. Но разве она не

видела по глазам отца, даже когда он утешал ее, каким тяжким грузом легли на его плечи новые заботы. Она согрешила! Она убила человека! Она разрушила и его семью, разбила сердце его родителей; она отняла душевное спокойствие у своего отца, лишила его доброго имени и благосостояния. Думает ли он об этом, несмотря на сострадание к ней? Как почувствовать это за сдержанным поведением отца и мачехи?

Она много времени проводила в одиночестве, как того, по-видимому, требовали ее настроение и здоровье, ничто не мешало ей подолгу размышлять над своей судьбой, над необъяснимой цепью событий, вызванных ее естественным желанием любить и быть любимой. Поразительно, какая разница в отношении к ней родителей сейчас и прежде, до этого страшного несчастья! Теперь они так внимательны, так сочувствуют ей, даже обещают лучшее будущее для нее и ее ребенка, а ведь прежде — так по крайней мере ей казалось — как все было безнадежно и страшно. А странный, совершенно непостижимый поступок этой чужой женщины — она так добра и великодушна к Иде, несмотря на ее грех и позор...

И все же, могла ли она обрести мир и спокойствие здесь или в любом другом месте? Какие жестокие муки перенесла она еще до того страшного несчастья! А потом — крик ее Эдуарда! И его смерть! А ведь она так любила его! Любила? Любит и сейчас. И вот его злобное упрямство, грубость, жестокость отняли его у нее. Но все же, все же... теперь, когда его не стало... говорят, умирая, он сказал, что сначала «зверски влюбился в нее», «она прямо свела его с ума», но потом, из-за своих и ее родителей, он решил, что не женится... Услышав об этом, она невольно смягчилась. Правда, он был жесток. Но ведь он умер. И умер от ее руки! Она застрелила его, злодейски убила. Да, это она убила его. О боже! Ведь она помнит ту страшную минуту, помнит, как кто-то крикнул, что вся рубашка Эдуарда залита кровью. Боже мой! И когда она подскочила к нему, там, в сумерках, в сердце ее была ярость, да, ярость и даже ненависть. Да, да. Но как он крикнул: «О черт! Застрелила...»

И потому, даже в тишине этих богато обставленных комнат, где все было к ее услугам, в часы, когда никто не мог этого видеть и слышать, неудержимо лились

горькие слезы, грудь разрывалась от рыданий, и мысли, мысли — черные, леденящие... да, у нее нехватило разума, нехватило мужества и воли покончить с собой в тот ужасный вечер, когда она так легко могла это сделать. А теперь с нее взяли слово, что она не будет покушаться на свою жизнь. Но будущее! Будущее! И чего только она не пережила с того ужасного часа. Отец и мать Эдуарда на следствии... как они смотрели на нее! Сам Хауптвангер — энергичный немец с широким лицом, отмеченным печатью глубокого страдания. И миссис Хауптвангер — маленькая, вся в черном, глубоко запавшие глаза обведены темными кругами. Она все время беззвучно плакала. Оба показали под присягой, что ничего не знали о поведении сына и о его увлечении Идой. Он был очень упрямый, своенравный, он рано возмужал, очень трудно было уследить за ним. Но все-таки он не был испорченным — упрямый, да, но такой веселый, и работал усердно... их единственный сын.

В одном углу обширного сада находился фонтан, теперь, зимой, вода была спущена, со всех сторон его окружали пирамидальные тополя, уже совсем обнаженные. На постаменте — на бронзовой скале, омываемой бронзовыми рейнскими волнами, — стояла рейнская дева, белокурая немецкая Лорелея, погруженная в грезы о юности, о любви. А у ног ее на коленях — немецкий рыцарь, светловолосый, сильный, в богатой одежде; лицо его и страстный, настойчивый взгляд обращены к красавице, руки протянуты к ней. А она склонила к нему любящий, покорный взор, и рука ее покоится на его бронзовых волосах. О Эдуард! О любовь! Весна! Нет, ей нельзя больше сюда приходить И все же с начала декабря, когда утих первый жестокий порыв грозного урагана и жизнь представлялась ей уже не в столь мрачном свете, Ида каждый вечер стала ходить к фонтану. И иногда, даже в январе, молодой месяц высоко в небе напоминал ей Кинг-Лейк парк. Лодочки, скользящие во всех направлениях! В одной она с Эдуардом... Она откинулась назад и грезилась... совсем, как эта дева на скале. И он... он у ее ног. Да, конечно, он оскорблял ее, он говорил такие бессердечные, жестокие слова, что в конце концов довел ее до безумия. Но когда-то он любил ее, вот как этот рыцарь любит свою Лорелею. И только здесь, у этого фонтана, находила она утешение.

Такие мысли и настроения владели ею и до и после рождения ребенка. А затем — суд и предрешенный оправдательный приговор, встреченный шумным одобрением публики: ведь это была настоящая любовная драма. Потом Ида окончательно покинула нарядные комнаты, где ее окружали такой заботой и вниманием. В конце концов с точки зрения закона все было улажено, ну, а что у нее на душе... И так как отец Иды не был бедняком и не нуждался в благотворительности, она вернулась в семью, в новый мир, который уже ждал ее — в новый дом и новую лавку в другом конце города. Она радовалась, что у нее родился мальчик. Подрастет — сам сможет позаботиться о себе. Он не будет нуждаться в ней. Неподалеку от новой москательной лавки был другой оживленный перекресток, другой кинематограф. И парни и девушки здесь, как и всюду, стоят на углах, гуляют под руку, а она опять, как бывало, сидит дома, стряпает, шьет, убирает. И тут же миссис Зобел, такая же строгая и недоверчивая, как прежде. И верно, разве в конечном счете Ида не искалечила свою жизнь, а чего ради? И что дальше? Быть вечно обузой в отцовском доме? Да, обузой, хотя Зобел, несмотря на всю свою суровость, видимо, привязался к ребенку. До чего жалка, до чего ничтожна жизнь!

А там, далеко — Кинг-Лейк парк и памятные сердцу места. Ее мысли постоянно возвращались туда. Она была так счастлива прошлым летом! И вот опять лето. Их будет еще много и, может быть, когда-нибудь... когда маленький Эрик подрастет... у нее будет другой возлюбленный, которого она не оттолкнет... но, нет, нет, только не это. Ни за что! Она не хочет... не может... она бы не вынесла...

И вот, однажды, в субботу, она сказала, что ей надо съездить в центр купить кое-что для Эрика, а на самом деле отправилась в Кинг-Лейк парк. Все там было по-старому — маленькие лодочки, знакомые тропинки... укромный уголок под сводом ветвей. Она так хорошо знала это место. Здесь она тогда потребовала, чтобы он привел лодку к берегу, и ушла домой одна, — в таком была смятении. А вот теперь сама пришла сюда.

Мир этого не понимает. Он занят другим, ему недосуг.

И вот уже сумерки, ей давно пора бы вернуться. Сын... он будет звать ее! Легкий ветерок, тускнеющая багряная полоска на западе. И звезды! Час обеда, и парк почти опустел. Вода в озере такая спокойная, ага-тово-черная. (Мир, мир ни за что не поймет!) Где теперь Эдуард? Встретятся ли они? Обрадуется ли он ей? Простит ли, когда она расскажет ему обо всем? Найдет ли она его? (Этот мир — крикливый, равнодушный, трезвый мир,— как мало он знает!)

И тогда, в тишине, среди вечерних теней, девушка подошла к тому месту, где врезалась в берег их лодка всего лишь год назад. Она спокойно ступила в воду, вошла в нее по колено... потом по пояс... по грудь... потом мягкая, ласкающая влага поднялась до ее губ, еще выше... и, наконец, обдуманно, решительно, без единого крика или вздоха она скрылась под водой.

Мир не может этого понять. Слишком стремительно течение жизни. Столько прекрасного, столько ужасающего проносится мимо... мимо.. непонятным, незамеченным в полноводном потоке.

И, однако, ее тело было найдено, ее история вновь рассказана в огромных, кричащих заголовках («Йда Зобел, юная убийца Хауптвангера, покончила с собой»). А потом... потом... забыта.

ЗОЛОТОЙ МИРАЖ

Надо увидеть это собственными глазами, иначе не понять, до чего убог этот суровый край, до чего скудна каменистая почва, как жалки дома, сарай, сельскохозяйственные орудия, лошади, скот и даже люди — особенно люди; да и как могли бы они процветать на земле, приносящей лишь самые жалкие плоды?

Старый судья Блоу первый сделал открытие, что подлинное богатство округа Тэни — цинк; впрочем, до того, как был открыт цинк, тут вообще не приходилось говорить ни о каких богатствах. Однажды в зимний день, задолго до начала бума, судья стоял перед плавильной печью в далеком К. и внимательно разглядывал куски руды, которую здесь плавил, изумляясь ее сходству с камнями и булыжниками, известными в его родных местах под названием «пустыш».

— Что это такое? — спросил он обнаженного по пояс рабочего, когда тот отошел на несколько шагов от пылающей печи и стал утирать потное лицо.

— Цинк, — ответил тот, проводя по лбу широкой грязной ладонью.

— В наших краях есть такие же, — сказал судья, вертя в руках тусклый кусок породы и разглядывая его со всех сторон. — Точь-в-точь такие же, и сколько угодно... — И вдруг замолчал, пораженный какой-то мыслью.

— Ну, если там и вправду «джек», — сказал рабочий, пользуясь названием цинка, которое в ходу на рудниках и заводах, — на этом можно нажить деньги. Наш — привозной, из Сент-Фрэнсиса.

Старый судья постоял в раздумье и медленно пошел прочь. Он знал, где находится Сент-Фрэнсис. Если эта руда настолько ценится, что ее даже привозят сюда с юго-востока, из Б., — так почему бы не везти ее из Тэни? А у него в Тэни немало земли...

И вот спустя некоторое время в Тэни и его окрестностях начались большие, хотя и весьма таинственные перемены. Судья по каким-то своим сугубо личным делам исколесил всю округу, вслед за ним объявились два-три пронырливых изыскателя, а немного погодя вся местность прямо кишела ими. Но к этому времени многие фермеры уже продали свою землю за гроши, ибо понятия не имели о ее ценности.

Старик Бэрси Квидер, бедняк и неудачник, прожил на своей земле сорок лет и, пока судья Блоу рыскал вокруг, даже не подозревал, что в камнях, о которые изо дня в день спотыкаются его натруженные ноги, как раз и заключено то самое богатство, о котором он уныло и бесплодно мечтал всю свою жизнь. Для Бэрси земля всегда была загадкой, он ничего не знал о том, что в ней скрыто. А между тем в этих семидесяти акрах, которые все вместе и каждый порознь стоили ему столько пота и исторгли столько проклятий из его уст, таились неведомые возможности — исполнение всех его желаний! Впрочем, под старость он стал чудаковат, по своему толковал Священное писание и ждал близкого конца света; однако он был еще крепок и мог потягаться если не с людьми, то с природой. Весной, летом и даже осенью Квидер изо дня в день гнул спину на своем бесплодном участке; жесткая борода его и редкие волосы стояли торчком, узловатые пальцы впивались

в рукоятки плуга, словно птичьи когти; он пахал свое поле — проводил узкие, неглубокие борозды, попросту царапал твердую каменистую почву, которая давно уже не приносила ему ни малейшего дохода. Земля едва могла прокормить его — только этого он теперь ждал от нее и только это получал. Дом, вернее, лачуга, где он жил с женой, сыном и дочерью, до того обветшал, что не стоило и пытаться его подправить. Заборы все развалились, держалась лишь ограда, сложенная из того никудышного камня, который всегда приводил Квидера в недоумение: от этого камня нет толку ни людям, ни животным, одна помеха, говорил он. Сарай был заплата на заплате, и в нем у Квидера хранились лишь одна старая повозка да кое-какой инвентарь, годный разве что на лом. Ветхие, покосившиеся закрома ежеминутно готовы были рассыпаться. Сорняк и проплешины, каменистая земля и чахлые деревья, костлявые клячи и такие же костлявые дети, а вдобавок одиночество и часто нужда — вот мир, которым он правил и о котором пекся.

Миссис Квидер была под стать мужу — самая подходящая спутница для жизни, на которую он был обречен. Понемногу она научилась переносить постоянные лишения с полным равнодушием. Поблизости не было ни школы, ни церкви, ни клуба, ни хотя бы соседей, и потому семья жила очень одиноко. Миссис Квидер была женщина раздражительная, сварливая, со странностями; голос у нее был пронзительный, лицо изможденное. Квидера она отлично понимала — или думала, что понимает, — и могла хоть немного отвести на нем душу, пилить его, как он выражался; они часто ссорились, да оно и понятно. Среди этих унылых полей и развалившихся изгородей чего и ждать, как не ссор и брани?

— Взял бы ты этот пустыш да сложил бы вон там изгородь, — бог весть в который раз за десять лет говорит миссис Квидер мужу; речь идет о добрых тридцати пяти кучах первосортной руды, почти чистого цинка, наваленных Квидером вдоль края ближнего поля; на сей раз жена заговорила об этом потому, что две тощие коровы забрались на участок, засеянный кукурузой. А «пустышу» этому цена не менее двух тысяч долларов.

И Квидер бог весть в который раз отвечает:

— Тыфу, пропасть, да что, мне делать больше нечего, что ли? Думаешь, эти чертовы камни чего-нибудь стоят? Еще изгороди из них складывать! Оттащил я их с борозды, и ладно, вот что я тебе скажу.

— Ты скажешь... да ты, старый лодырь, только и знаешь, что табак жевать, ты...— Далее следует длинный ряд ругательств, а затем один из собеседников пускает в ход печную заслонку, кочергу или полено повесистей, а другой столь же искусно увертывается. Семейная идиллия, как видите,— плод глубокого и нерушимого родства душ.

Итак, продолжаем. Жара и дожди сменяли друг друга, однообразной чередой проходили годы, а камни по-прежнему лежали на поле. Дод, старший из детей Квидера и единственный сын, рослый, костлявый и нескладный тупица, унаследовавший от своих злополучных родителей не слишком приятный и отнюдь не кроткий нрав, мог бы перетаскать эти груды камней, не будь он «завзятым лодырем» (так называл его отец) или «вылитым папашей» (так говорила мать), и Джейн, дочь Квидеров, тоже могла бы помочь; но оба отличались тем же унылым равнодушием, какое свойственно было их отцу. И чему тут удивляться, скажите на милость? Работали они много, а давала работа мало, ничего они в жизни не видели и не ждали от нее ничего хорошего, хоть и понимали: будь судьба милостивей к ним, какой-нибудь выход все-таки нашелся бы. Бесплодная борьба с неподатливой землей ожесточила их сердца.

— Не пойму, какой толк пахать южный участок,— говорит Дод в третий раз за нынешнюю весну.— На нем все равно ни черта не растет.

— А ты бы малость поработал, чем рассиживаться под кустом, да ковырять в зубах, да ворон считать. Может, что и выросло бы,— визгливо огрызается миссис Квидер; озлобленная долгими, бесцельными и безнадежными спорами, она ко всему придирается, вечно недовольна и сердита.

— Что толку ворочать эти камни? — возражает Дод и лениво прихлопывает муху.— Вся эта паршивая ферма гроша ломаного не стоит.

И в известном смысле он прав.

— Чего ж ты здесь торчишь? — язвительно спрашивает Квидер, не из желания заступиться за свои владения, а просто так, от скуки.— Раз земля тебя кормит,

стало быть, и работать на ней стоит, вот что я тебе скажу.

— Кормит! — глумливо, с досадой фыркнул Дод. — Пока что не больно она меня кормила. Или, может, меня чему учили, может, я хоть что-то видал на свете? — И он прихлопнул еще одну муху.

Старик Квидер почувствовал едкий упрек в словах сына, но виноватым себя не считал. Он-то работал. Однако спорить с Додом ни к чему: Дод молод, силен и после стольких семейных ссор уже не питает к отцу сыновнего почтения. Даже наоборот. Мальчишкой Дод вытерпел немало пинков и подзатыльников, а теперь он куда сильнее отца и легко одолеет его в любой стычке; и Квидеру, который прежде властвовал в доме и знал, что его слово — закон, пришлось отойти на второе, даже на третье и, наконец, на четвертое место: бранью да брюзжанием уважать себя не заставишь.

Но, несмотря ни на что, они кое-как уживались друг с другом. А между тем день ото дня — с тех пор как судья Блоу вернулся в Тэни — все ближе подступала цинковая лихорадка и с нею невиданный земельный бум. Люди менее толстокожие ощутили бы: что-то наедвигается, словно грозовая туча... Но эти недогадливые владельцы цинковых залежей были слишком толстокожи. Они все еще нимало не подозревали о том, что готовилось. Да и как узнать о чем-нибудь в этой глуши, в безлюдье и бездорожье. Перекупщики проезжали либо севернее, либо южнее, и ни один еще не набрел на богатейший участок, где проживали Квидеры. Он был уж очень на отшибе — какой-то скалистый закоулок, поросший чахлыми деревьями и колючим кустарником.

А потом, в одно солнечное июньское утро...

— Эй, Бэрси! — крикнул Кол Арнолд, ближайший сосед Квидеров (он жил мили за три от них), останавливая пару тощих лошадей, запряженных в расхлябанную повозку, около поля, где работал Квидер. — Слышал, что делается? — Он двигал во рту табачную жвачку и говорил оживленно, весело, поглядывая на Квидера, будто собирался сообщить занятную новость.

— Нет, а что? — спросил Квидер. Он оставил свой старый однолемешный плуг и, подойдя к краю поля, облокотился на сложенную из цинка ограду и пригладил ладонью редкие волосы.

— Старик Данк Портер продал свою фрему под Ньютоном,— многозначительным и торжественным тоном объявил Кол, словно речь шла о грандиозном сражении или о том, что близится конец света.— И получил за нее три тыщи долларов.

Он с наслаждением просмаковал эту цифру.

— Ишь ты! — негромко произнес Квидер, крайне удивленный.— Три тыщи? — переспросил он, не веря своим ушам.— Да за что же это?

— Говорят, там есть руда,— с важностью продолжал Арнолд.— И будто этой самой руды по всей округе полным-полно. Повсюду. Говорят, вроде наш пустыш и есть руда.— И он легонько стегнул кнутом по груди ничего не стоившего донныне цинка, к которой прислонился Квидер.— Вот эта штука и есть руда, «джек» прозывается, и цена ей два цента фунт, даже больше, когда ее перепарят (он хотел сказать «переплавят»). У тебя тут, видать, ее порядочно. У меня тоже. Сколько хочешь валяется на участке. Я всегда думал, эта штука ни на что не годна, а вот, говорят, годна. Парни, кто побывал в К., говорят, если эту штуку обработать, перепарить и все такое, из нее можно наделать чего угодно.

Что именно делают из цинка, он не знал, и потому не стал вдаваться в подробности. Он только мечтательно прищурился, скривил рот, собираясь сплунуть, и взглянул на Квидера. А тот, не в силах осмыслить неожиданную новость, взял в руки кусок «пустыша», который он прежде так презирал, и уставился на него. Подумать только, долгие годы он так мучился, гнул спину и всегда считал, что камень этот ни на что не годен, и вдруг оказывается — эта штука, если ее перепарить, стоит два цента фунт, и соседи уже продают свои фермы за неслыханные деньги. Его владение (так всегда выражался Квидер) сплошь завалено этим камнем — а ведь он все равно что золото! Да вон там, подальше, целые бугры его греют свои горбатые серые спины на жарком солнце, а в одном месте он выпирает из земли длинной грядой. Ну и дела! Подумать только! Но хоть думал Квидер много, он не сказал ничего, ибо в его отупевшем, худосочном мозгу в эти минуты зарождался и расцветал великий, потрясающий замысел. У него будут деньги, богатство, благополучие — шутка сказать! Не гнуть больше спину, не обливаться потом в летнюю

жару, вволю мечтать, сложа руки, жевать табак сколько душе угодно, жить в городе, съездить в далекий, таинственный К., поглядеть на белый свет! Подумать только!

— Ну, ладно, я поехал,— сказал наконец Арнолд, видя, что Квидер его не слушает.— Съезжу к Брадеру, хочу обернуться засветло. Я с ним сговорился, меняю поросенка на сено...

Он стегнул своих костлявых кляч и покатила по каменной пыльной дороге.

Квидер не мог опомниться. Неужто все это правда? Неужто Портер продал ферму? Съездив через несколько дней в Арно — за шестнадцать миль,— он убедился, что это и в самом деле правда, но сохранил новость в тайне, он лелеял волшебную мечту. Земля принадлежит ему — не жене и не детям. Долгие годы, еще до женитьбы, он пахал ее, выплачивал за нее то деньгами, по несколько долларов, то кукурузой, пшеницей, свиньями. А теперь... теперь скоро явится какой-нибудь из этих странных людей, как их там Арнолд называл, «зыскатели» вроде, что разъезжают по всей округе с туго набитым кошельком, и купит его владение. Чудеса. Прямо чудеса. Сколько он получит? Наверняка тысяч пять,— вон Портеру заплатили три за сорок акров, а у него семьдесят. Четыре тысячи уж во всяком случае — немного побольше, чем Данк. Трудно высчитать точно, но, уж конечно, ему заплатят больше, чем Данку, верней всего — пять тысяч!

Только одно тревожило Квидера, очень тревожило — мысль о злобном, жестокосердом его семействе: упрямый Дод, нескладеха Джейн и сварливая Эмма, его дражайшая супруга, уж наверно захотят получить свою долю этих сказочных благ; они даже могут отобрать у него все как есть, и придется ему по-прежнему влачить самое жалкое существование. Они ведь куда упрямей и сильнее его. Он становится стар, даже немощен, годы тяжкого труда отняли у него силу. А жена всю жизнь только и делала, что насмехалась и глумилась над ним,— сейчас он ни о чем другом вспомнить не желал; да и сын ничуть не лучше. Дочь — та совсем его не любит, считает неудачником и лодырем, сама ничего не делает, а отец надрывайся из последних сил... Если и были когда-нибудь в этой семье любовь и согласие, они давно сгнули в затхлой атмосфере озлобленности и нищеты. Разве кто-нибудь из них сде-

лаа для него хоть что-нибудь? Ничего. А теперь они, конечно, захотят получить свою долю. Он прожил с ними долгие, безрадостные годы и сейчас спрашивал себя, неужели они посмеют заикнуться о дележе,— и все же знал, еще как посмеют! Они всегда нападали на него, изводили. А теперь, когда в его дверь стучится богатство, станут его улещать, выпрашивать подачки, а пожалуй, и требовать. Как же быть? Что делать? Ведь богатство почти что уже в руках. Нельзя его упускать! Как затравленная крыса, Квидер настороженно озирался и хорохорился. Даже домашние заметили, как он переменялся, и удивились, но, еще ничего не зная о случившемся, приписали это странностям, понятным в его возрасте.

— Что-то у нас отец зачудил,— сказал однажды Дод матери и Джейн, когда старик, пообедав, снова отправился в поле.— Знай стоит у ограды и глазеет по сторонам, то ли ждет кого, то ли думает о чем. Может, он малость свихнулся? Как по-вашему?

Дод всегда внимательно приглядывался к отцу — здоров ли: ведь когда старик умрет, каждый получит свою долю наследства, а может быть, всем на ферме станет заправлять он, Дод,— тогда за него пойдет любая девушка в округе, сбудется давнишняя его мечта о женитьбе, заглохшая, почти несбыточная при такой тяжелой жизни.

— Да, и я стала примечать,— подтвердила миссис Квидер.— Какой-то он не такой, как раньше. Верно, вбил себе что-нибудь в голову. Может, надумал что сделать, да не ладится у него, или, может, что божественное на уме. Никогда не угадаешь, что его там разбирает.

Джейн была такого же мнения, и на том разговор закончился. А Квидер все раздумывал, как бы решить эту путаную задачу; понятно, все дело в том, как продавать землю — открыто или тайно; если удастся, надо продавать тайно, решил он под конец. Ведь от жены и детей он сроду ласки не видал,— ничего лучшего они и не заслуживают. Он ферме хозяин, чего ж не распорядиться своим-то добром?

Наконец появился и перекупщик — он ехал верхом, одетый по-дорожному, и оглядывал поля; заметив квидеровский участок, где выходила на поверхность большая жила, он сразу оценил его и оживился. Самого

Квидера в эту минуту не было поблизости,— он ушел на дальнее поле, но миссис Квидер встретила незнакомца довольно любезно — она даже не подозревала, чего стоит их земля, а потому и не заметила скрытого огонька в его глазах.

— Вы не дадите мне напиться? — попросил он, когда она появилась на пороге.

— Как не дать! — ответила она почтительно. Прилично одетые люди были в этих местах редкостью.

Старик Квидер с дальнего поля заметил у колодца незнакомого человека и повернул к дому.

— Из чего это у вас сложены изгороди? — осторожно закинул удочку незнакомец.

— Вот уж не знаю,— сказала миссис Квидер.— Из камня какого-то. По-нашему прозывается пустыш.

Приезжий подавил улыбку, нагнулся и подобрал один из валявшихся под ногами камней. Руда была та же, какую он видел всюду на несколько миль в окружности, только чище, и ее здесь было куда больше. Никогда ему не приходилось видеть так много первосортного цинка, и притом почти на поверхности. Руда везде выходила наружу, плуг, морозы и дожди обнажили ее, а ведь в соседнем районе приходилось ее выкапывать из-под земли. Эта разоренная ферма, жалкая одежда миссис Квидер, старик, гнувший спину под палящим солнцем, и поля, непригодные для земледелия из-за своих сказочных богатств,— все это ошеломило агента.

— Вся эта земля ваша? — спросил он.

— Почти семьдесят акров,— ответила миссис Квидер.

— Не знаете, почем тут акр?

— Не знаю. Давно не слыхать, чтоб у нас кто продавал землю. Уж верно, ей невелика цена.

При словах «невелика цена» перекупщик невольно вздрогнул. Что сказали бы его друзья и соперники, если бы знали об этом участке?.. Вдруг кто-нибудь откроет глаза этим людям?.. Купить бы сейчас за бесценок, это наверняка нетрудно! По соседству уже рыщут другие агенты. В Арно он обедал за одним столом с тремя какими-то личностями, должно быть, и они занимаются тем же. Надо затолучить этот участок, и притом не откладывая.

— Я, пожалуй, пойду потолкую с вашим мужем,— сказал он, тронул поводья и рысцой отъехал, а миссис

Квидер и Джейн, совсем одинаковые в мешковатых синих платьях, раздуваемых ветром, стояли на развалившемся крыльце и смотрели ему вслед.

— Чудной какой, верно? — сказала Джейн. — Чего это ему надо от папаши?

Старик Квидер, увидав, что приближается чужой человек, взялся было снова за плуг, а теперь выпрямился и подозрительно уставился на него.

Перекупщик приветливо поздоровался, порассуждал минуту-другую о погоде — и, наконец, спросил:

— Вы случайно не знаете, не продается тут поблизости хороший участок под пашню?

— А вам земля нужна под пашню? — ехидно спросил Квидер, испытующе глядя на незнакомца, и приезжий сразу понял, что фермер знает больше, чем его жена. — Я-то слыхал, ее нынче покупают больше из-за руды. — Он сбоку, по-птичьи, взглянул на собеседника, стараясь уловить, как принят этот выпад.

Агент хитро, понимаясь улыбнулся.

— Ясно, — сказал он. — Так, по-вашему, здесь можно добывать руду? А во сколько вы оценили бы свою землю, если бы могли продать ее под разработки?

Квидер призадумался. Пара лесных голубей печально ворковала в отдалении, резко прокричал черный дрозд. Наконец старик заговорил:

— Да я еще не знаю, стану ли продавать-то. — Он давно сообразил, что хорошо бы придержать землю и набить цену, когда найдется побольше охотников ее купить; но его мучила мысль, что тем временем жена и дети обо всем узнают и потом заставят его разделить с ними барыши. А он хотел поездить по свету, повидать новые места, уехать от семьи, стать свободным и счастливым — такие мечты неотступно преследовали его.

— А рядом с вашей чья земля? — спросил незнакомец, поняв, что этот участок за гроши не купишь.

Квидера передернуло. Ведь и соседний участок был богат рудой, и старик это хорошо знал.

— Вон та, стало быть... — проворчал он словно бы равнодушно, сиюсь скрыть досаду. — Это земля Мэрродью, — нехотя сказал он наконец. Конечно, если он откажется продать свою землю, этот приезжий или еще кто-нибудь может купить участок у другого фермера. А все-таки тут вся земля богатая, и его участок не хуже других. Раз уж Данк Портер получил три тысячи...

— Если вы не хотите продавать, так, может быть, сосед ваш продаст,— вкрадчиво заметил приезжий. Он высказал это предположение рассеянно, спокойно, почти равнодушно.

Наступило молчание; Квидер размышлял, опираясь на рукоятки плуга. Ужасно было бы упустить долгожданное счастье. И, однако, несмотря на всю свою жадность, он не растерялся. Арнолд сказал, что одна только руда — вот эти камни — стоит два цента фунт, но Квидер не мог себе представить, что сам по себе участок, сама земля, не считая скрытой в ней руды, ничего не стоит. Как же так? Кое-какой урожай она все-таки дает.

— Не знаю,— сказал он с вызовом, хоть и чувствовал себя не слишком уверенно.— Спросите его сами. Я-то не слыхал, чтоб он собирался продавать.

Квидер решил пойти на риск, даже если придется потом бежать за этим человеком и упрашивать его,— впрочем, может, и не придется. Найдутся и другие покупатели.

— Не уверен, что мне подойдет ваш участок,— лениво, с отлично разыгранным равнодушием сказал агент,— но если бы вы надумали продать вашу землю, я составил бы запродажную. Сколько вы возьмете за все семьдесят акров? Мы могли бы составить запродажную сроком на два месяца.

Несчастный фермер не имел ни малейшего понятия о том, что такое «запродажная», но решил в этом не признаваться.

— А сколько вы дадите? — спросил он наконец, сам не зная, сколько запросить.

— Ну, скажем, двести долларов сейчас и пять тысяч через два месяца, если мы к тому времени окончательно сойдемся.— Зная, какие сделки заключались в этот день по соседству, агент предлагал наименьшую сумму, на которую, по его предположениям, мог согласиться Квидер.

Старик не понимал, что такое «запродажная», и не знал, что сказать. Пять тысяч — он с самого начала думал, что ему предложат эту сумму,— но через два месяца! Что бы это значило? Если этот человек хочет купить участок, почему он не платит сразу наличными, как заплатили, по словам Арнолда, Данку Портеру? Квидер лихорадочно следил за лицом незнакомца,

сжимая рукоятки плуга, и наконец почти наобум сказал:

— Я и семь тыщ запросто получу, коли захочу ждать. Вон мой сосед получил три тыщи, а у него на тридцать акров меньше моего. Тут приходил один, давал мне шесть тыщ.

— Что ж, может, и я дам шесть, если земля окажется подходящая.

— Наличными? — в изумлении спросил Квидер и отшвырнул ногой камень.

— Самое позднее через два месяца, — ответил агент.

— А-а! — хмуро протянул Квидер. — Я думал, вы хотите купить теперь.

— Ну, нет, — сказал тот. — Я говорю о запродажной. Если столкнемся, я вернусь с деньгами через два месяца или даже раньше, и мы покончим с этим делом: шесть тысяч наличными, за вычетом задатка. Понятно, я не обязуюсь непременно купить вашу землю, только получаю преимущественное право купить ее в любой день в течение этих двух месяцев, а если я за это время не вернусь, деньги, которые я вам дам сегодня, — ваши, понятно? И тогда вы можете продать участок кому-нибудь другому.

— Гм! — буркнул Квидер. Он мечтал о том, чтобы получить деньги сейчас же и уйти от своих, а тут непонятный разговор про какие-то два месяца.

— Ладно, — сказал агент: видя недовольство Квидера, он решил накинуть немного, чтобы не упустить выгодную сделку. — А если семь тысяч и сейчас пятьсот наличными? Ну, как? Семь тысяч через два месяца и пятьсот сейчас. По рукам, что ли?

Он полез в карман и вытащил туго набитый бумажник, что привело Квидера в большое волнение. Никогда он не видывал столько денег, да притом — таких денег, которые могли сейчас же перейти в его руки, стоит ему только захотеть. В конце концов и пятьсот долларов наличными — деньги нешуточные. С ними чего только не сделаешь! А потом, через два месяца, еще шесть тысяч с половиной! Но вот задача — жена и дети. Если он хочет, чтоб сбылась его мечта — убежать от своих, надо сохранить все в строжайшей тайне. Что будет, если они узнают про эти деньги, хотя бы про пятьсот долларов? Вдруг Дод, или жена, или Джейн, или все втроем отнимут их... украдут, пока он будет спать?

С них станется! Он стоял молча, с таким растерянным видом, что агент начал опасаться отказа.

— Вот что я вам скажу,— заявил он, словно делая фермеру величайшую уступку.— Даю восемь тысяч и сейчас выложу восемьсот. Ну как? Это мое последнее слово, больше я дать не могу.— И с этими словами он сунул бумажник в карман.

Но Квидер только немо смогнул на него, ошарашенный и своим неожиданным счастьем и теми препятствиями, которые он предвидел. Восемь тысяч! Восемьсот наличными! Уму непостижимо.

— Нынче? — спросил он наконец.

— Да, только вам надо съездить со мной в Арно. Я хочу посмотреть ваши бумаги. Но, может быть, акт на владение землей у вас дома?

Квидер кивнул.

— Ну, тогда, если он в порядке, я заплачу вам сейчас же. У меня есть с собой бланк соглашения — наверное тут можно найти кого-нибудь, кто его засвидетельствует. Только надо, чтобы и ваша жена подписала.

Лицо Квидера вытянулось. Вот тут-то и загвоздка: жена и дети!

— И она тоже должна подписывать? — спросил он мрачно, в полном унынии. Он был вне себя от отчаяния и негодования. Столько лет он работал как лошадь, как раб! А теперь привалило счастье — и вот, видно, все пойдет прахом!

— Да,— перекупщик понял по лицу и тону Квидера, что тому вовсе не хочется посвящать в дело жену,— ее подпись тоже нужна. Жаль, если это вам неприятно, но таков закон. Может, вы как-то между собой столкуетесь? Давайте попробуем с нею поговорить.

Квидер замялся. Делиться с женой и сыном... даже подумать тошно! Он, пожалуй, не против Джейн. Но если они обо всем узнают, они станут приставать к нему и требовать себе большую часть. Надо будет отбиваться, отстаивать свои права. А когда у него будут деньги — если будут! — придется сторожить их, прятать, скрывать от всех.

— Ну, в чем же дело? — спросил перекупщик, заметив смятение старика.— Жена не хочет, чтобы вы продавали землю?

— Да нет. Еще как захочет, когда узнает. Только я никогда и не говорил ей про это. Они с Додом станут требовать себе бóльшую половину, а ведь это не их земля, а моя. Это я ее купил. Я тогда еще и женат-то не был. А жена никогда ничего не делала, только знай суежилась да ругалась со мной.

— Давайте пойдем и поговорим с нею. Может быть, она не будет упрямиться? Видите ли, по закону ей полагается только третья часть, разве что вы сами захотите дать больше. Так что у вас останется около пяти тысяч. Если хотите, я устрою так, чтобы вам достались те же пять тысяч, сколько бы ни получала ваша жена.— Перекупщик решил, что Квидеру почему-то необходимо получить именно пять тысяч для себя лично.

И в самом деле, при этих его словах лицо старого фермера немного посветлело. Пять тысяч? Да ведь это больше, чем он рассчитывал получить еще час назад. Допустим, и жене достанутся три тысячи. Так что же? Ведь его-то мечта сбудется!

Он сразу согласился и направился вместе с приезжим к дому. Но на полпути остановился и огляделся. Казалось, он плохо соображал, что делает. Столько денег... такие перемены в жизни... если только дело выгорит! Голова у него шла кругом, мысли путались. И без того с годами рассудок его стал сдавать, а внезапно свалившееся богатство, надежды, которые оно пробудило, и страх его потерять совсем сбили старика с толку. Он медленно повернулся и обвел горизонт пустым, отсутствующим взглядом; перекупщик заметил странный блеск в глазах фермера, и у него мелькнуло подозрение, что старик не в своем уме.

— Что с вами? — спросил он.

Тот, казалось, внезапно пришел в себя.

— Ничего,— сказал он.— Просто я задумался.

Агент мысленно спросил себя, насколько законным будет соглашение, заключенное с помешанным, но участок был слишком ценный, чтобы беспокоиться о пустяках. Раз документ будет подписан, хотя бы и слабоумным, всякая попытка расторгнуть договор натолкнется на серьезные юридические препятствия.

С покосившегося крыльца Джейн и ее мать с удивлением смотрели на приближающуюся пару; но Квидер тотчас прогнал дочь, шугнул ее, как забежавшего в дом цыпленка. Войдя в единственную комнату, которая слу-

жила и столовой, и спальней, и всем, чем угодно, Квидер тотчас захлопнул дверь в кухню, куда отступила Джейн.

— Иди, иди отсюда,— пробормотал он при этом, видя, что она топчется у самой двери.— Мне надо поговорить с матерью, поняла?

Джейн отошла было, но потом снова прижалась ухом к двери, чтобы подслушать разговор. Однако отец был настороже и опять отогнал ее. Потом принялся объяснять жене, в чем дело.

— Вот этот человек... не знаю, как вас звать...

— Кроуфорд,— подсказал перекупщик.

— Кроуфорд... мистер Кроуфорд... хочет купить нашу ферму. Я и подумал, раз на твою долю тут тоже кой-что приходится... третья часть,— предусмотрительно прибавил он,— нам надо с тобой потолковать.

— Кой-что? — подозрительно и злобно огрызнулась миссис Квидер, нимало не стесняясь чужого человека.— Надо думать! Я тут работала как каторжная целных двадцать четыре года. А сколько вы нам дадите? — резко спросила она перекупщика.

Квидер весь задрожал от жадности, и его отчаянный взгляд предупредил агента, что правду говорить не следует.

— А сколько она, по-вашему, стоит?

— Ну, я не знаю в точности,— уклончиво сказала миссис Квидер, боясь продешевить: она вообразила, что муж, по старости не доверяя себе, предоставляет ей вести переговоры.— Тут в округе фермы вроде нашей продаются чуть не за две тыщи долларов.— Она назвала самую большую сумму, о какой когда-либо слышала.

— Это, пожалуй, многовато,— солидно сказал Кроуфорд, упорно не глядя на Квидера.— Обычно земля в этих местах стоит не дороже двадцати долларов за акр, а у вас тут, как я понимаю, акров семьдесят, не больше.

— Так-то так, но у нас земля получше, чем у других,— возразила миссис Квидер, забыв, что полчаса назад она говорила совсем другое.— И ручей возле самого дома,— прибавила она, выдвигая лучший довод, какой только могла придумать.

— Да,— сказал Кроуфорд,— я видел. Это, конечно, тоже кое-чего стоит. Стало быть, по-вашему, этой земле

цена две тысячи, так? — И он выразительно поглядел на Квидера, словно говоря: «Здорово разыграли!»

Миссис Квидер, очень довольная, что решающее слово в этих переговорах принадлежит ей, обратилась за советом к мужу:

— Как скажешь, Бэрси?

Квидер, терзаясь сознанием своего двуличия и страхом, что все откроется, снедаемый алчностью и тревогой, растерянно смотрел на жену.

— Да по мне, так земля, конечно, этого стоит,— пробормотал он.

Кроуфорд начал объяснять, что сейчас он хочет только составить запродажную — получить предварительное согласие владельцев продать ему землю, и, если они сойдутся в условиях и бумага будет подписана, он даст им немного денег вперед, чтобы скрепить сделку; тут он опять со значением поглядел на Квидера, давая понять, что тот получит сумму, о которой они сговорились раньше.

— Если вы согласны, мы сейчас же и покончим дело,— сказал он вкрадчиво, доставая из кармана бланк соглашения.— Я только заполню бланк, и вы оба подпишетесь.

Он подошел к щербатому, некрашеному столу и развернул на нем бумагу, а Квидер и его жена неотрывно следили за каждым его движением. Оба они не умели ни читать, ни писать, притом Квидер не представлял себе, каким образом он получит свои восемьсот долларов, и мог только надеяться на изобретательность перекупщика. Мужа и жену совсем заворожила мысль, что их бесплодную, никудышную землю можно продать так быстро и за такую высокую цену и получить самые настоящие деньги,— они плохо соображали и двигались, будто во сне. Глаза миссис Квидер от жадности совсем сузились и стали, как щелки.

— А сколько ж вы дадите задатку? — тревожно спросила она с лихорадочным нетерпением во взгляде.

— Ну, скажем, сотню долларов,— сказал перекупщик и многозначительно взглянул на Квидера.— Хватит этого?

Сто долларов! Они жили в такой бедности, что и сотня казалась им целым состоянием. Жене Квидера, ничего не знавшей о ценности руды на их участке, эти деньги представлялись невероятным, необъяснимым,

с неба свалившимся счастьем, предвестьем лучших времен. И через два месяца еще две тысячи! Но тут встал вопрос о свидетеле и о том, как подписать бумагу. Агент заполнил расписку в получении ста долларов (заполнил карандашом) и предложил:

— Теперь подпишитесь здесь, мистер Квидер.

— Да я не умею писать,— ответил тот.— И жена не умеет.

— Когда я молодая была, нас тут ученьем не баловали, не до того было,— засмушалась его супруга.

— Ну что ж, тогда просто поставьте по кресту, а кто-нибудь засвидетельствует, что это ваша рука. Сын или дочь умеют писать?

Это было новое осложнение, самое неприятное для обоих: ведь стоит позвать Дода, и он захочет всем распоряжаться, он такой упрямый и непокорный. Правда, подписать свое имя он умеет, даже читать немного обучен, но лучше бы подольше ничего ему не говорить... Муж и жена подозрительно и недоверчиво смотрели друг на друга. Что же делать? Из затруднительного положения их вывел грохот колес на дороге.

— Может быть, там едет кто-нибудь, кто мог бы удостоверить ваши подписи? — спросил Кроуфорд.

Квидер взглянул в окно.

— Да, он вроде грамоте знает,— заметил он.— Эй, Лестер, поди-ка сюда! Дело есть.

Грохот смолк, и через минуту в дверях появился Лестер Ботс, фермер, с виду бедолага под стать Квидеру. Перекупщик объяснил, что здесь требуется, и соглашение наконец было подписано; при этом Ботсу, ничего не слыхавшему о руде на участке Квидера, очень хотелось сказать агенту, что можно купить под пашню участок получше и притом дешевле, только он не знал, как об этом заговорить. Прежде чем подписать бумагу, миссис Квидер решила внести в дело полную ясность.

— Я получу свою долю сейчас же, да? — осведомилась она.— Вы мне прямо сейчас заплатите?

Кроуфорд взглянул на Квидера, словно спрашивая, как старик к этому отнесется; а тот, охваченный жадностью и притом хорошо зная характер жены, крикнул:

— Ничего ты не получишь, покуда я не помру. Никакой доли тебе не полагается, раз мы не врозь живем!

— А коли так, не стану подписывать,— злобно огрызнулась миссис Квидер.

— Я, конечно, не хочу вмешиваться,— примирительно вставил перекупщик,— но, по-моему, лучше отдайте жене ее долю — тридцать три доллара (он выразительно посмотрел на Квидера, стараясь его вразумить), а потом и треть от двух тысяч — это всего шестьсот шестьдесят долларов. Стоит ли срывать дело? Вам надо как-то столковаться. Сделка выгодная. Всем хватит

Фермер внимательно выслушал это хитроумное предложение. В конце концов шестьсот шестьдесят долларов из восьми тысяч — не так уж много. Боясь отсрочки и разоблачения тайны, он сделал вид, что смягчился, и под конец дал согласие. Кресты вместо подписей были поставлены и их подлинность удостоверена Ботсом, сто долларов наличными отсчитаны и по желанию миссис Квидер разложены на две пачки, а соглашение исчезло в кармане мистера Кроуфорда. Затем перекупщик и Ботс уехали, но сперва Кроуфорд потихоньку сунул вышедшему с ним Квидеру разницу между сотней и той суммой, о которой они условились раньше. Увидев у себя столько денег, старый фермер уставился на них, словно зачарованный. Он помедлил, дрожа от мучительной жадности, потом его жесткие, узловатые пальцы стиснули бумажки, точно когти ястреба, хватающего добычу.

— Спасибо вам,— сказал он громко,— спасибо! — Он тревожно оглянулся на дверь и понизил голос: — Вы сперва потолкуйте со мной, когда приедете в другой раз. Нам надо быть поосторожней, а то она проведает, что к чему, и не станет подписывать, да еще подымет крик на весь дом.

— Ладно, будьте спокойны,— ответил перекупщик, очень довольный. Он смекнул, что старик своим обманом сам запутывает дело и потому нетрудно будет заявить, будто эти две тысячи, вписанные карандашом, и есть настоящая цена, а Квидеру заткнуть глотку, пригрозив разоблачить его двойную игру. Впрочем, впереди два месяца, еще успеем все это обдумать.— Я буду у вас через два месяца, а то и раньше.— И он не без грации откланялся, оставив несчастного старика во власти тревожных дум.

Нетрудно догадаться, что тревоги Квидера только начинались. Дод и Джейн, услышав через некоторое

время от матери о выгодной продаже земли, пришли в волнение. Деньги — любые деньги, даже самая маленькая сумма — пробуждают мечту о достатке, о приятной, легкой жизни, — кто же всем этим насладится? Ведь и они работали, сколько сил положили на эту землю! А где их доля? Они снова и снова спрашивали об этом, но тщетно. Мать и отец упорно твердили, что надо сперва получить все деньги, а там видно будет.

Пока они препирались и спорили даже из-за такой скромной суммы, как сто долларов, возникло новое осложнение: Дод узнал, что вся земля кругом полна руды, что в Эдере — соседнем приходе — и даже здесь, у них, уже продаются фермы, и ходят слухи, будто Квидер продал свой участок за пять тысяч — и прогадал, земля стоит куда больше, до двухсот долларов за акр, стало быть, они должны бы получить четырнадцать тысяч. Дод сразу же заподозрил родителей в мошенничестве: пожалуй, никакого предварительного соглашения не было и земля окончательно продана, а старик, или мать, или оба вместе скрыли от него и от Джейн огромные деньги. В доме сразу воцарились подозрительность и злоба.

— Они продали ферму не за две тыщи, а за пять, вот что, — объявил однажды Дод сестре в присутствии родителей. — Все нынче знают, чего стоит эта земля, и они получили не меньше, будь уверена.

— Врешь! — пронзительно крикнул Квидер, пораженный словами Дода. Как? Мало того, что сын уличил его в обмане, но и сам он продешевил при продаже! Значит, он попал в ловушку, из которой нелегко будет выбраться. — Ничего я не продавал, — сказал он со злостью. — Лестер Ботс был тут и знает, об чем был уговор. Он тоже подписался.

— Может, земля и стоит больше двух тыщ, да тот человек не хотел давать больше, — пояснила миссис Квидер; однако, не слишком доверяя мужу, она тут же подумала, что он, пожалуй, втихомолку сговорился с тем приезжим. — Может, они с отцом и столковались по-другому, — она подозрительно покосилась на Квидера, припоминая вкрадчивую любезность перекупщика, — да только он мне ничего не сказал. Помнится, они с отцом битый час толковали у той изгороди, а уж потом пришли сюда. Я и тогда подивилась: об чем это они?

Она с тревогой спрашивала себя, как бы поправить дело и получить настоящую цену.

— Я так думаю, он получил больше, чем говорит нам,— вызывающе заявил Дод и недоверчиво поглядел на отца.— Нынче от нас до самого Арно и по двести долларов за акр землю не купишь, не мог он про это не знать, да еще земля куда хуже нашей. Просто он получил деньги и припрятал их, вот что!

Миссис Квидер, крайне расстроенная мыслью, что муж, видно, ее одурачил, сочла нужным призвать небеса во свидетели: она-то по крайней мере никого не обманывала! Если тот человек предложил или заплатил больше, так она про это ничего не знает. В свою очередь, Квидер был вне себя от страха, от ярости, от ненависти к жене и детям — он вовсе не желал с ними делиться.

— Ах ты, подлюга! — крикнул он Доду, вскочил на ноги и кинулся за поленом.— Я тебе покажу, как мы прячем деньги! Что ж, по-твоему, я вор?

Но Дод, который был гораздо сильнее отца, перехватил его на полпути и отшвырнул. Уже не в первый раз, к великой ярости Квидера, Доду без труда удавалось с ним сладить. Старика всегда возмущала грубость сына, его наглость и жестокость. Кончилось тем, что сын вытолкал старика за дверь, а мать принялась много-много доказывать Доду и Джейн, что уговор и правда был только о двух тысячах, а больше она ничего не знает и, подписывая бумагу по секрету от детей, не желала им ничего худого, хотела только обеспечить их и себя.

Однако догадываясь, что муж все-таки обманул ее, она стала строить планы, как бы вместе с Додом и Джейн его перехитрить. Между тем Квидера душила злоба; он боялся и ненавидел сына, со страхом думал о том, что же будет теперь, когда Дод знает правду. Как помешать Доду присутствовать при окончании сделки? А если не помешать, как перекупщик вручит ему деньги, причитающиеся по тайному уговору? Допустим даже, что он их получит,— а вдруг он все-таки проделал? Чуть не каждый день доходят слухи о новых продажах по ценам куда выше, чем выторговал он.

А супруга его, точно разъяренная наседка, непрестанно кудахтала, что муж, видно, смошенничал, но скрытного старика невозможно было уличить. Он ста-

рался по целым дням не бывать дома, вздрагивал, как заяц, при малейшем шуме, при виде незнакомого прохожего; когда к нему приставали с вопросами, он либо отмалчивался, либо что-нибудь врал. Полученные тайком семьсот долларов он обернул бумагой, запрятал в щель между балками в конюшне и заставил щель старым бидоном. По несколько раз на день он возвращался сюда и, настороженно прислушиваясь и озираясь, проверял, на месте ли его только что обретенное богатство.

Поистине что-то зловещее, едва ли не безумие вошло отныне в жизнь семьи: мать и дети замыслили разделаться с отцом, а старик бодрствовал ночи напролет, поминутно вздрагивал и прислушивался к каждому звуку, доносившемуся со стороны конюшни. Не раз он менял тайник, одно время даже носил деньги при себе. Как-то он нашел старый, ржавый нож, спрятал его на груди, не расставался с ним ни днем, ни ночью, и ему снились дурные сны.

В разгар всего этого в одно прекрасное утро явился новый перекупщик и не меньше первого обрадовался находке. Как всякий хороший делец, он соглашался разговаривать только с самим владельцем и потребовал, чтобы позвали Квидера.

— Отец! — крикнула Джейн с покосившегося порога — Тут какой-то человек хочет с тобой потолковать!

Старик Квидер, работавший под палящим солнцем на поле, где он проводил теперь все дни в напряженном ожидании, осторожно поглядел в сторону дома и увидел незнакомого человека. Он перестал полоть и направился к нему. Откуда-то вынырнул и Дод.

— Экая сушь стоит, правда? — любезно заговорил незнакомец, встретив старика на полдороге.

— Да, — рассеянно отозвался Квидер: он страшно устал за эти дни, устал и душой и телом. — Сушь, сушь, это верно! — Он вытер ладонью изрезанный морщинами лоб.

— Не знаете, тут кто-нибудь по соседству не продает землю?

— А вы, небось, тоже из этих, которые насчет руды? — напрямик спросил Квидер. Теперь уж не к чему было играть в прятки.

Незнакомец был застигнут врасплох, он никак не ожидал сразу натолкнуться в этой глуши на столь полную осведомленность.

— Да, из них,— признался он.

— Так я и думал,— сказал Квидер.

— Вы не продали бы свой участок? — спросил перекупщик.

— Не знаю,— уклончиво начал фермер.— Тут и раньше приходили какие-то, вроде вас, высматривали. А сколько вы дадите? — Он в упор поглядел на собеседника; они отходили все дальше от дверей, где стояли, наблюдая за ними, Дод, Джейн и мать.

Перекупщик бродил по ферме, разглядывал валявшиеся повсюду глыбы руды.

— Как будто участок недурен,— спокойно сказал он немного погодя.— А сколько вы хотите за акр?

— Да вот, я слышал, вокруг Арно берут по триста,— ответил Квидер, изрядно преувеличивая. Теперь, когда явился новый покупатель, ему не терпелось услышать, насколько больше ему предложат, чем в первый раз.

— Н-ну, знаете, это многовато, ведь до железной дороги далеко, перевозка обойдется недешево.

— Да земля-то все-таки свои триста стоит! — глубокомысленно заметил Квидер.

— Ну уж, не знаю. А может быть, вы продадите сорок акров по двести?

Старик Квидер наострил уши. Сорок акров по двести долларов... да ведь это выходит столько же, сколько он думал получить за все семьдесят акров,— и в его распоряжении еще останется тридцать акров. Вот это и впрямь выгодная сделка, она и вправду сулит богатство — восемь тысяч за сорок акров, а из первого покупателя он только и сумел выжать, что восемь тысяч за все семьдесят!

— Ха! — Он решил поторговаться не спеша, в свое удовольствие.— Мне дают двенадцать тыщ за все, и запродажная готова.

— Что? — воскликнул агент, испытующе глядя на него — И вы уже подписали какие-нибудь бумаги?

Квидер с минуту подозрительно смотрел на него; потом, заметив, что издали, с порога, за ними наблюдает все семейство, сделал приезжему какой-то загадочный знак.

— Отойдем-ка,— сказал он и повел агента к дальней изгороди. На безопасном расстоянии от дома они остановились.— Я вам сейчас все расскажу,— зашептал

Квидер.— С месяц назад приезжает один человек, а я тогда еще не знал, что тут есть руда, поняли? А он знал, да мне ничего не сказал, и спрашивает, сколько я возьму за акр. А тут как раз проезжал один мой сосед и говорит — мол, неподалеку участок в сорок акров продали за пять тыщ. Я и подумал, раз моя земля такая же, еще получше, и у того сорок акров, а у меня семьдесят, стало быть, я должен получить почти вдвое против него. Я так и сказал. Он сперва не соглашался, а потом одумался, и мы уговорились: раз это моя ферма, раз я тут работал еще до женитьбы, стало быть, коли я ее продам, мне полагается больше всех. Вот мы и столковались промеж себя, шито-крыто, чтоб никто не знал: как будем через два месяца подписывать бумагу, он мне потихоньку даст, почитай, все деньги. Понятно, я бы ничего такого не делал, кабы это не была с самого начала моя земля да кабы мы с женой и ребятами ладили по-прежнему, а ведь она все только орет да дерется. Коли он приедет, как обещал, так мне одному будет восемь тыщ, а остальное мы с женой поделим,— ей по закону полагается третья часть.

Перекупщик слушал, недоумевая и потешаясь, но и с удовольствием: он быстро сообразил, что хотя тайный сговор фермера с покупателем не совсем противозаконный, Квидера можно убедить в его незаконности. Кроме того, стоит все рассказать жене — и сделка с первым агентом сорвется. Да и сам старик так жаден, что нетрудно подбить его отказаться от прежнего соглашения. Дело ясное, фермер и сейчас не знает настоящей цены тому, что он так глупо выпустил из рук. Поля вокруг — сплошной цинк, едва прикрытый тонким слоем почвы. Да если принять во внимание размах промышленности в Восточных штатах, шестьдесят тысяч долларов за этот участок — сущие пустяки. Руднику, который откроют на месте этой фермы, просто цены не будет! Миллион долларов — и то мало! За посредничество в этой сделке он, агент, легко мог бы получить сто тысяч. Боже правый, да тот ловкач ни за грош приобрел целое состояние! Если перехватить у него покупку... это будет только справедливо!

— Вот что я вам скажу, мистер Квидер,— помолчав, начал он.— Мне кажется, ваш покупатель, кто бы он там ни был, попросту вас надул. Ваша земля стоит куда больше, это ясно. Но вы можете избавиться от него

без особого труда, у вас есть все основания: вы же, в сущности, не знали, что продаете, когда шли на эту сделку. По-моему, так и в законе сказано. Вы не обязаны держаться соглашения, раз сами не понимали, что делаете, когда его подписывали. Если хотите, я, пожалуй, могу вас вызволить. Когда придет срок, откажитесь подписать какие-либо другие бумаги и верните задаток, только и всего. А потом я охотно возьму всю вашу землю по триста долларов за акр и заплачу наличными. Вы сразу станете богачом. Я вам дам три тысячи наличными в тот самый день, как вы подпишете соглашение. Беда в том, что вы попросту попались на удочку. Вы и ваша жена совсем не знали, что делали.

— Это верно,— проскрипел Квидер,— мы не знали. Мы и не думали ни про какую руду, когда подписывали ту бумагу.

Триста долларов за акр, подсчитывал он про себя, это значит, двадцать одна тысяча — двадцать одна вместо жалких восьми! С минуту он стоял пошатываясь, не зная, что делать, что подумать, что сказать. Согбенный, иссушенный и изглоданный лишениями, он весь дрожал при мысли, что стоит только захотеть — и богатство у него в руках,— и в то же время терзался сознанием, что из-за его ошибки, совершенной по неведению, оно, чего доброго, ускользнет. Его темный ум, помутившийся в одиночестве, изнемогал, подавленный внезапным даром судьбы. Все перепуталось у него в голове, точно весь мир перевернулся вверх дном.

Перекупщик по-своему истолковал молчание фермера.

— Я даже могу предложить вам немного больше, мистер Квидер,— заговорил он.— Скажем, двадцать пять тысяч. На это вы можете купить дом в городе. Ваша жена станет ходить в шелковых платьях; вам никогда больше не придется и пальцем шевельнуть, а сын и дочь, если захотят, пойдут в колледж учиться. Вам надо только отказаться подписать купчую, когда тот покупатель опять явится,— верните ему задаток или узнайте его адрес, и я сам ему отошлю.

— Он меня надул, вот что! — вдруг почти крикнул Квидер; крупные капли пота выступили у него на лбу.— Он хотел меня ограбить! Ни акра он не получит, бог свидетель, ни единого акра!

— Вот это правильно,— сказал агент. И, прежде чем уехать, он еще раз объяснил фермеру, как несправедливо с ним поступил первый покупатель: двенадцать тысяч (он думал, что именно столько должен был получить Квидер) — далеко не то же, что двадцать пять! Для наглядности он перечислил блага, которые Квидер приобретет на лишние тринадцать тысяч, когда будет жить в городе.

Но Квидер понимал, что сам испортил все дело: обманул жену и детей из-за каких-то восьми тысяч, а уж теперь из-за новой, гораздо большей суммы надо ждать еще бóльших неприятностей — перебранок, ссор, а то и драки. Жена и Дод, конечно, рассвирепеют. Выдержит ли он? И хоть у него никогда не было ни гроша, теперь ему казалось, будто он страшно много теряет, будто у него хотят отнять огромное богатство, всегда ему принадлежавшее.

Все последующие дни он размышлял над этим и старательно избегал своих домашних, а они зорко следили за ним и все гадали, когда же вернется первый покупатель и о чем Квидер сговорился со вторым. А он совсем потерял душевное равновесие, и постепенно им овладела навязчивая идея: жена, дети, весь мир хотят его обокрасть, и остается лишь один выход — бежать со своим сокровищем, лишь бы только его заполучить. Но как? Как? Ясно одно: семья не должна завладеть его деньгами. Он будет бороться, он лучше умрет. И, одинокий среди безмолвных полей, измученный душой и телом, Квидер неотступно думал о своем богатстве, и ему чудилось, что он уже владеет им и должен его защищать.

Тем временем первый перекупщик рассудил, что нетрудно будет заполучить землю Квидера за указанную в запродажной сумму в две тысячи долларов; ведь Квидер сам пожелал, чтобы остальные деньги были переданы ему в полной тайне. Как только в присутствии юриста и жены фермера будет подписана купчая,— а в ней речь идет о двух тысячах,— можно будет, придерживаясь буквы соглашения, преспокойно удрать, ничего больше не заплатив.

Условленный срок истекал, и ожидание становилось нестерпимым. Квидер просто места себе не находил. В его глубоко запавших глазах застыл недоуменный вопрос. Целыми днями он беспокойно, бессмысленно бро-

дил по ферме. И вот, когда миновали два месяца, точно, день в день, явился тот, кто стал его проклятием,— первый покупатель в сопровождении некоего Джайлза, поверенного из Арно, отъявленного мошенника и негодяя.

В первую минуту, увидев их, Квидер почувствовал сильнейшее желание сбежать, но тут же одумался: нет, это опасно. Земля принадлежит ему. Если его тут не будет, жена и сын, пожалуй, сторгуются с приезжими без его согласия, подстроят так, что он останется и без земли и без денег... или проведуют про те семьсот долларов, что он получил в задаток, и про деньги, которые он еще должен получить по тайному уговору с Кроуфордом. Необходимо остаться... но как же все-таки распутать этот узел?

Когда приезжие вошли во двор, Джейн стояла в дверях и первая встретила их; затем подошел Дод, увидевший их с ближнего поля,— все эти дни он был настороже. Затем их окинула вызывающим и враждебным взглядом миссис Квидер: вот они, явились! Хотят ее обобрать!

— Где твой отец? — запросто обратился к Доду Джайлз, хорошо знавший Квидеров.

— Вон там, на втором картофельном поле,— угрюмо ответил Дод и тут же заявил напрямик: — Только если вы насчет земли, так это все зря. Мать с отцом решили не продавать. Больно мало вы даете. Вокруг Арно руды куда меньше, не сравнить, и то продают по триста долларов за акр, а вы, я слыхал, за всю ферму даете две тыщи. Дураки будут мать с отцом, если согласятся.

— Ну-ну, брось,— примирительно, но и не без досады сказал Джайлз; сам злющий и неотвязный, как оса, он в подобных случаях всегда старался успокоить своих клиентов.— У мистера Кроуфорда есть запродажная на этот участок, подписанная твоими родителями и засвидетельствованная... (он заглянул в бумагу) мистером Ботсом, ну да, Лестером Ботсом. По закону вы не можете отказаться от продажи. Мистеру Кроуфорду остается только заплатить вам, прямо выложить деньги на стол — и земля его. Таков закон. Запродажная есть запродажная, и она подписана при свидетеле. Так что напрасно вы надеетесь увильнуть.

— Никто слова не сказал ни про какую руду, когда я это подписывала,— заявила миссис Квидер.— Куда ж годится такая бумага, раз я и знать не знала, что там к чему! Нет уж, ничего я больше не подпишу.

— Ну-ну,— нетерпеливо сказал Джайлз.— Давайте-ка позовем мистера Квидера и посмотрим, что он на это скажет. Уж он-то, я уверен, не станет говорить такие неразумные и противозаконные вещи.

Тем временем старик Квидер, за которым с радостью сбегала Джейн, недоверчиво выглянул из-за угла, точно затравленное животное,— хмурый, испуганный; заметив его, перекупщик и юрист, успевшие усесться, снова встали.

— Ну, вот и мы, мистер Квидер,— начал Кроуфорд и умолк, пораженный странным видом старика: тот растерянно водил рукой по лбу и тупо смотрел прямо перед собой. Он больше походил на голодную птицу, чем на человека,— желтый, худой, какой-то одичавший.

— Погляди-ка на отца! — шепнула Доду Джейн; вид старика поразил даже ее, хоть она и привыкла к его странностям.

— Так вот, мистер Квидер,— заговорил поверенный Джайлз, не обращая внимания на шепот Джейн и торопясь уладить это хлопотливое дело.— Мы пришли, чтоб покончить с продажей, как было договорено. Надо думать, вы не возражаете?

— Чего это? — бессмысленно спросил Квидер; потом, как бы очнувшись, крикнул: — Ничего я не стану подписывать! Ничего — и крышка! Не подпишу, хоть тресни! Ничего! — Он сжимал и разжимал кулаки, вертел головой и вытягивал шею, словно его терзала острая боль.

— Что такое? — грозно спросил юрист, пытаясь запугать старика и заставить его опомниться.— Не подпишете? То есть как не подпишете? Вы подписали запродажную и получили сто долларов задатку, вот бумага, она подписана вами и вашей женой при свидетеле Лестере Ботсе, а теперь вы заявляете, что больше ничего не подпишете! Прошу прощенья за резкость, но ведь налицо документ и деньги по нему получены. Такими вещами не шутят, мистер Квидер. Договор — серьезное дело в глазах закона, мистер Квидер, очень серьезное. В подобных случаях закон предписывает весьма

решительные меры. Хотите вы подписать или не хотите, раз у нас имеется запродажная, мы можем при свидетелях уплатить вам деньги, возбудить иск, и суд решит в нашу пользу.

— Не решит, раз человек не знал, что к чему, когда подписывал бумагу,— возразил Дод; теперь, когда он был сам заинтересован в этой сделке и увидел, что отца провели, он стал относиться к нему с некоторым сочувствием и даже, пожалуй, дружелюбно.

— Ничего я не подпишу,— мрачно стоял на своем Квидер.— Не обжулите меня на моем же добре. Я не знал, что тут есть руда, и не знал, какая ей цена, и ничего я не подпишу, вы меня не заставите. Вздумали получить мою землю задаром, вон чего захотели! Не стану я подписывать.

— Я и знать не знала ни про какую руду, когда подписывала ту бумагу,— причитала миссис Квидер.

— Да бросьте вы! — резко прервал Кроуфорд. Чтобы сломить упрямство старика, он решил намекнуть на их тайный сговор, в надежде, что фермер струсит.— Не забывайте, мистер Квидер, что у нас с вами особый уговор.— Теперь уже у него не было уверенности, что удастся заплатить две тысячи вместо восьми.— Собираетесь вы выполнить наше с вами условие или нет? Решайте поживее. Да или нет?

— Убирайтесь! — выкрикнул Квидер вне себя, отскочил и замахал руками.— Вы меня обжулили, вот что! Думали ухватить мою землю задаром? Нет уж, не выйдет! Ничего я не подпишу. Ничего не подпишу!

Глаза его налились кровью, взгляд стал диким.

Тут Кроуфорд понял — за две тысячи ему этот участок не получить, придется, как уговаривались, уплатить все восемь. Но он решил сделать это не с глазу на глаз с Квидером, а в открытую. Когда жена и дети узнают, сколько старик должен был получить и как хотел обмануть и Кроуфорда и их самих, они, возможно, станут на сторону покупателя. Ведь ясно же, что семья знала только о двух тысячах. Если теперь объяснить им, как обстоит дело, может быть, положение изменится в его пользу.

— Так, по-вашему, восемь тысяч за вашу землю — жульничество? Тогда чего ради вы взяли у меня восемьсот долларов и держали их у себя целых два месяца?

— Что такое? — переспросил Дод, придвигаясь ближе; потом обернулся, свирепо взглянул на отца и с недоумением покосился на мать. У него и в мыслях не было, что им причитаются такие огромные деньги. И, конечно, он решил, что оба — и отец и мать — солгали.— Восемь тыщ! Вы ж вроде говорили про две! — Он испытующе посмотрел на мать.

На лице миссис Квидер отразилось неподдельное изумление.

— Восемь тыщ? Первый раз слышу,— растерянно сказала она, понимая, что дети могут и ее счесть обманщицей.

На Квидера в эту минуту страшно было смотреть. Окончательно выведенный из равновесия разоблачением, которого и ждал и боялся, он обезумел от ярости, страха, от сознания, что совсем запутался и теперь у него нет выхода. Больше всего ошеломило его, что этот человек его так бессовестно обманул, а теперь сам же на него нападает. И вдобавок жена и сын теперь знают, какой он жадный, все время только о себе и заботился,— это приводило его в ужас.

— Так вот, именно восемь тысяч я ему и предложил,— отчеканил Кроуфорд, заметив, как подействовали его слова.— Он согласился взять эти деньги, и я приехал, чтобы их заплатить. Я дал ему восемьсот долларов наличными, чтобы скрепить сделку, эти деньги у него. А теперь он говорит, что я его обманул! Да это просто смешно! Он просил меня молчать, говорил, что это его земля и он рассчитается со всеми вами, как ему вздумается.

— Убирайся отсюда! Убью! — в бешенстве закричал Квидер, совсем теряя рассудок.— Все вранье! Ни про какие восемь тыщ и разговору не было. Говорили про две тыщи, вот и все! Надуть меня хотите, все вы негодяи, жулики! Ничего я не подпишу! — он нагнулся и схватил было табурет, стоявший у стены.

Все шарахнулись; только Дод, который и прежде не раз одолевал отца в драке, кинулся на него и одним ударом сбил слабого старика с ног; поверенный и перекупщик, видя, что Квидер лежит без движения, попытались за него вступить.

А Дод решил, что настал его час. Отец ему солгал. Понятно, он теперь его боится. Почему бы просто силой не заставить старика подписать купчую? Лишь бы

подписал, тогда деньги будут уплачены тут же, при Доде, и он без всяких помех и без спросу возьмет свою долю. Исполнятся все его мечты! Отец ведь согласился продать участок за восемь тысяч, стало быть, нечего теперь артачиться, думал Дод.

— А ну, полегче! — прикрикнул Джайлз. — Никаких драк, нам надо уладить это дело полюбовно.

Ведь так или иначе, рассуждал он, вторую подпись, вернее, крест Квидера получить нужно — и уж лучше мирно, без побоев и насилия. Как-никак они не вояки, а деловые люди.

— Стало быть, вы говорите, он согласился на восемь тысяч, верно? — переспросил Дод: уж очень трудно было поверить, что такую прорву денег и вправду могут сейчас же уплатить наличными.

— Да, правильно, — подтвердил Кроуфорд.

— Ну, так он сделает, как уговорился, черт возьми. — Дод тряхнул своей круглой головой и подбоченился: ему не терпелось поскорее получить деньги. — Эй! — обернулся он к распростертому на полу отцу. А тот при падении ударился затылком и все еще лежал, слегка приподнявшись на локтях, и смотрел на присутствующих бессмысленным взглядом; он совсем растерялся, мысли его путались, и он не в силах был ни осознать происходящее, ни сопротивляться.

— Что это ты вздумал, старая перечница? А ну, вставай! — Дод шагнул к отцу, рывком поставил его на ноги и подтолкнул к столу. — Раз тогда подписал, так и теперь подписывай. Где та бумага? — спросил он поверенного. — Вы только покажите где — и уж он подпишет. Только сперва покажите деньги, — прибавил он, — я хочу на них поглядеть.

Перекупщик достал из бумажника деньги (он заранее сообразил, что чек у него нипочем не возьмут), а поверенный развернул документ, на котором требовалось поставить подпись. Дод нетерпеливо схватил деньги и начал считать.

— Ему надо только подписать вот эту вторую бумагу, и жене тоже, — пояснил Джайлз и, видя, что Дод кончил считать, прибавил, очень довольный новым оборотом дела: — Если ты грамотный, посмотри сам, что тут сказано.

Дод взял бумагу и пробежал ее глазами с таким видом, словно для него тут все просто и ясно как день.

— Вот видишь,— продолжал юрист,— мы сошлись на том, что твой отец продает мистеру Кроуфорду свой участок за восемь тысяч долларов. Восемьсот он уже получил. Остается еще уплатить семь тысяч двести, вот они.— Он ткнул пальцем в пачку денег, которую Дод так и не выпускал. Потрясенный тем, что у него в руках оказалось столько денег, Дод от радости не мог выговорить ни слова. Подумать только, семь тысяч двести долларов! И за что? За эту голую, никудышную землю!

— Ах ты, господи! — в один голос вскрикнули миссис Квидер и Джейн.— Надо же! Восемь тыщ!

Квидер, еще оглушенный и плохо соображающий, все же несколько пришел в себя, поднялся со стула и стал недоуменно озираться, но любящий сын опять грубо толкнул его на прежнее место — ему надо было, чтобы старик подписал бумагу.

— Ничего, ничего, старая перечница! — рявкнул он.— Сиди где сидишь и подпишись, коли тебя просят. Обещал, так держи слово. Ты уж совсем рехнулся, сам не знаешь, чего хочешь,— усмехнулся он, чувствуя, что отец, бог весть почему, вдруг стал податлив, как воск. И действительно, старик был совершенно беспомощен и нем.— Он говорит, ты согласился на это,— верно? Да ты что, или вовсе спятил?

— Ах, злодей! — негодовала миссис Квидер.— Восемь тыщ! А он все говорил только про две! Ни разу ничего другого не сказал! Это надо же! Все хотел забрать себе, слова никому не сказавши!

— Да,— подхватила Джейн, уставясь на отца жадным и мстительным взглядом,— он думал все забрать себе. А мы-то работали тут круглый год, и всё на него.

Она смотрела на старика такими же злыми глазами, как и Дод. Отец казался ей чуть ли не вором: он хотел украсть у них то, что они заработали тяжелым трудом.

Поверенный взял у Дода бумагу, разложил ее на ветхом столе и подал Квидеру перо; тот взял его, безвольно и послушно, как ребенок, и поставил крест там, где ему велели.

— Вы делаете это без принуждения, по доброй воле, не так ли, мистер Квидер? — осторожно спросил при этом мистер Джайлз.

Старик ничего не ответил. Падая, он ударился головой и, наверно, потому забыл — по крайней мере на время — о своем твердом решении не подписывать купчую. Подписавшись, он блуждающим взглядом обвел всех вокруг, словно спрашивал, чего еще от него хотят; между тем миссис Квидер тоже поставила крест и ответила утвердительно на тот же вопрос предусмотрительного юриста. Потом Доду, как самому разумному в семействе и притом распоряжающемуся теперь по праву сильного, предложили засвидетельствовать подписи отца и матери; то же сделала и Джейн, так как требовались два свидетеля; затем Дод взял деньги и стал их пересчитывать под внимательными взглядами матери и сестры. А старик Квидер сидел совсем тихо; он еще не понимал, что значат эти деньги, но пристально смотрел на них; ему мерещилось, что надо бы их забрать, но зачем и почему, он не соображал.

— Все в порядке, надеюсь? — спросил юрист, поворачиваясь, чтобы уйти.

Дод признал, что счет совершенно верен. Тогда оба посетителя отбыли, захватив желанный документ. А семейство Квидеров, за исключением отца, который все еще не вышел из оцепенения, принялось обсуждать, как поделить это необычайное богатство.

— Вот что я тебе скажу, Дод,— начала мать, жадно и тревожно глядя на деньги,— сколько тут ни есть, а мне по закону полагается третья часть.

— И мне, понятно, тоже кой-что полагается, мало ли я тут работала,— заявила Джейн, подходя вплотную к брату.

— А ну, убери руки, пока я не кончил,— потребовал Дод и принялся пересчитывать деньги в третий раз. Какое наслаждение — перебирать эти бумажки! Каких только они дверей не откроют! Теперь он может жениться, поехать в город и сделать еще много всякого, о чем давно мечтал. Он и думать забыл, что отцу тоже по праву причитается часть денег. А что старик, видно, потерял рассудок, стал совсем беспомощен и отныне обречен бродить где-то в одиночестве или полностью подчиниться сыну, Дода и вовсе не трогало. Он мужчина, и по праву сильного настоящий хозяин теперь он,— по крайней мере он сам так считал. Он перебирал деньги и сиял от удовольствия, и все говорил, говорил, и предавался самым заманчивым мечтам... потом вдруг

вспомнил о восьми сотнях, вернее, о семи, спрятанных отцом.

— Да, а где же задаток, интересно знать? — сказал он. — Отец таскает его с собой, что ли, или, может, где запрятал?

И Дод подозрительно оглядел съежившегося на стуле старика, ощупал его карманы и одежду, но ничего не обнаружил и отступился: этим можно заняться и после. Наконец, он поделил наличные деньги: третью часть матери, четвертую Джейн, остальные себе — верному помощнику и наследнику отца... Тем временем он старался догадаться, где могут быть спрятаны те восемьсот долларов.

Вот тут-то Квидер внезапно пришел в себя и понял, наконец, что произошло. Он вскочил на ноги и, дико озираясь, визгливо, пронзительно закричал:

— Украли мое кровное! Украли! Ограбили меня! Ограбили! А-а-а! Земля не восемь тыщ стоит, а все двадцать пять, я мог получить двадцать пять тыщ, а они заставили меня подписаться, и все пропало! А-а-а! — Он стонал и метался, бессмысленно подскакивая и приплясывая; потом увидел деньги, которые Дод все еще сжимал в руке, и тут отчаяние помешанного нашло новый исход: он выхватил деньги, бросился к открытой двери и стал кидать драгоценные бумажки на ветер и все кричал: — Украли мое кровное! Украли! Не надо мне этих треклятых денег! Не надо мне их! Отдайте мое кровное! А-а-а!

Во всей этой истории Доду важно было только одно — наличные деньги. Ничего не зная о предложении второго перекупщика, он не мог понять, почему старик пришел в такую ярость и окончательно лишился рассудка. И, видя, что тот в исступлении разбрасывает кредитки, Дод накинулся на него, как дикая кошка, опрокинул наземь, вырвал оставшиеся деньги и, крепко придавие отца коленом, крикнул женщинам:

— А ну-ка, подберите деньги! Подберите деньги и давайте веревку, слышали? Давайте веревку! Он начисто рехнулся, не видите, что ли? Совсем спятил, говорю вам. Ей-богу, он сумасшедший! Давайте веревку!

И, не спуская глаз с матери и сестры, которые заботливо подбирали деньги, он крепче прижал отчаянно отбивающегося старика к полу. Когда помешанный был надежно связан и деньги вручены Доду, нежный сын

поднялся на ноги, сызнова пересчитал свою долю и, удостоверясь, что все цело, соизволил немного благосклоннее взглянуть на этот предательский мир. Потом, посмотрев на старика, скрученного и связанного, как петух, которого везут на базар, сказал не без сочувствия:

— Вот поди ж ты! Бедный папаша! Похоже, на этот раз он начисто свихнулся. Крышка.

— Да, видать, что так,— сказала миссис Квидер, с мимолетным сожалением взглянув на супруга; в эти минуты ее куда больше заботили деньги, что приходились на ее долю.

И затем Дод, его мать и сестра с полнейшим равнодушием принялись обсуждать, как теперь поступить со стариком, а он бессмысленно озирался, уже не в силах понять, что происходит.

ПОБЕДИТЕЛЬ

I

Несколько выдержек из статьи о покойном Дж. Х. Остермане, принадлежащей перу К. А. Гридли, главного инженера компании «Остерман-нефть», и появившейся в августе месяце на страницах «Технического вестника»:

«Меня восхищали не столько даже огромное состояние покойного Дж. Х. Остермана и быстрота, с какой он приобрел и умножил свое богатство, когда ему было уже за сорок, сколько его энергия, смелость и предприимчивость. Мистер Остерман не всегда был приятен в обращении. Не то чтобы он был подвержен вспышкам гнева, но, выступая на заседаниях правления, он давал почувствовать, что далеко не полностью раскрывает свои карты; он обычно держался как сторонний наблюдатель и словно измерял каждого критическим взглядом. Выслушав мнения окружающих по тому или иному вопросу, он пренебрежительно качал головой, будто ему говорили вздор, но всегда умел подхватить чужую мысль, воспользоваться дельным советом и при этом, мне кажется, был искренне убежден, что до наилучшего решения додумался самостоятельно.

Насколько мне известно — а я служил у мистера Остермана лет четырнадцать, — он был из тех, кто постоянно в работе, увлечен делами и почти не нуждается в отдыхе. Это был энергичный, властный человек. Даже когда ему минуло шестьдесят пять лет — в эти годы большинство состоятельных людей уходит на покой и предоставляет другим нести бремя забот, — он затевал все новые и новые предприятия. Всего за неделю до смерти — удар настиг его внезапно в его загородном доме — он пришел ко мне в контору с предложением ссудить деньгами правящие круги некоего небольшого азиатского государства, чтобы получить возможность на мирных началах добывать там нефть и другие природные богатства. Этот план предусматривал, между прочим, создание в этом государстве на средства мистера Остермана хорошо вооруженной армии. В том же духе был его план устройства двойных эскалаторов для проектируемого туннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси — этот план мистер Остерман разработал, по-видимому, весной, перед своей внезапной кончиной, и всячески добивался в министерстве, чтобы он был представлен на рассмотрение обоих штатов. Едва ли надо говорить — ведь это всем известно, — что предложение мистера Остермана было принято. В том же духе был и проект Аргентино-Чилийской железной дороги, который в течение нескольких лет горячо обсуждался в технической и экономической печати и недавно был финансируван правительствами обеих стран. Только такой человек, как мистер Остерман, с его умом и тактом, дипломатическими способностями и удивительным умением изыскивать и использовать природные богатства любой страны, подчас нелегко реализуемые, мог довести до конца это необычайно сложное дело. Слишком много здесь было трудностей дипломатического порядка, всяких предрассудков, слишком много сталкивалось противоположных интересов. И все же мистер Остерман добился успеха: осуществил свой замысел и своей деятельностью в Южной Америке завоевал дружбу и доверие правительств обеих заинтересованных стран».

II

Сведения о том, как сложилось и умножилось богатство покойного Дж. Х. Остермана, сообщенные его бывшим секретарем К. В. Каммингсом, который произво-

дил расследование по поручению И. К. Баша, адвоката группы акционеров компании «С. С. и Р.». Эти акционеры предъявили иск о возвращении первоначальным пайщикам железной дороги и денег, незаконно захваченных Дж. Х. Остерманом и Фрэнком О. Пармом (фирма «Парм-Бэгготт и К°»). Каммингс приводит эти факты в своих воспоминаниях о мистере Баше и о тяжбе между Остерманом и Пармом, с одной стороны, и компанией «С. С. и Р.» — с другой.

1. Одно время я был секретарем мистера Остермана и могу сообщить некоторые подробности дела Остерман — де Малки, насколько мне удалось их собрать и запомнить. Когда Остерман вернулся из Гондураса в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою сомнительную махинацию, де Малки был одним из многих мелких маклеров, спекулирующих на каучуке и другом сырье. Накануне своего самоубийства — и это обстоятельство в сочетании с внезапным возвышением мистера Остермана долгое время считали свидетельством против моего патрона — де Малки пришел в контору мистера Остермана на Брод-стрит; контора эта была обставлена мебелью палисандрового и красного дерева с той кричащей показной роскошью, к которой Остерман уже тогда имел пристрастие. Де Малки умолял дать ему время, чтобы собрать сто тысяч долларов, которые он должен был уплатить за десять тысяч акций «Каламита-Каучук»; все акции в то время находились в руках мистера Остермана, и он требовал за них оплаты по номиналу, хотя еще накануне эти акции шли по семь долларов с четвертью и по семь и три четверти. Де Малки был одним из тех мелких маклеров, которых Остерман, явившись в Нью-Йорк и выпустив дутые акции «Каламиты», сознательно и хладнокровно заманил в ловушку. Не догадываясь о замысле Остермана, де Малки запродавал по упомянутой низкой цене десять тысяч акций «Каламита-Каучук», предполагая, что цена еще упадет: фактически акций у него на руках не было, о чем Остерман прекрасно знал. Остерман именно на это и рассчитывал и теперь был очень доволен, что де Малки и многие другие оказались в безвыходном положении. До сих пор сделки по таким акциям, как «Каламита», заключались только на бумаге, чтобы заманить в ловушку простаков. Маклеры продавали то, чего у них в сущности не было. Для того чтобы соблазнить про-

стаков, цену акций надо было время от времени понижать. При перемене курса маклеры сбывали простакам, которые поручали им совершить сделку, любое количество акций и отмечали сделки в своих книгах. Затем маклеры сговаривались между собой, сбывали цену еще ниже и ставили простака перед необходимостью либо выложить круглую сумму для покрытия разницы, либо выйти из игры. И чаще всего простак выбывал из игры, а ловкий маклер подсчитывал ба-рыши.

Именно этим и воспользовался Остерман, чтобы разбогатеть — притом сразу, за одну ночь. Его тайные агенты давно уже понемногу покупали акции «Каламиты» по цене выше курса, а опрометчивые маклеры в полной уверенности, что смогут легко заработать на таких ходких бумагах, охотно продавали их, фактически не имея на руках ни одной акции. Поэтому Остерман и получил возможность неожиданно нанести удар — заставить маклеров выложить деньги. Так им и пришлось сделать. Им казалось, что заправила «Каламита-Каучук» либо не хотят, либо не умеют заботиться о своем предприятии, поэтому дутые сделки становились все крупнее и крупнее, уже нередко продавались пакеты по тысяче и даже по десять тысяч акций. Когда же дело зашло достаточно далеко, ловушка захлопнулась. За одну ночь все те, кто скупал для Остермана акции «Каламиты» (а к этому времени их было продано уже на сотни тысяч долларов), вдруг пожелали покрыть разницу и получить акции на руки. Это ставило маклеров перед необходимостью в двадцать четыре часа выложить акции, иначе им грозило банкротство, а то и тюрьма. Естественно, начались лихорадочные поиски свободных акций. Но оказалось, что все они были заблаговременно припрятаны в сейфе мистера Остермана — единственного владельца «Каламиты», и маклерам, в конечном счете, ничего не оставалось, как броситься к нему. Остерман встретил их с благодушием кошки, подстерегающей мышь. Ах, вот как, им нужна «Каламита»? Прекрасно, пожалуйста, сколько угодно... по номиналу, даже чуть-чуть выше. Ах, им это кажется дорого, ведь только накануне акции продавались по семь и три четверти или семь восьмых? Ничего не поделаешь. Это все, что он может предложить. Хотите — берите по этой цене, не хотите — не надо.

Понятно, среди тех, кому пришлось круто, началась паника. Остерман их одурачил — это ясно, но ясно также, что закон на его стороне. Кто мог, покорно проглотил пилюлю и раскошелился, другие, у которых не хватило средств, удрали, предоставив агентам Остермана возмещать убытки, как им будет угодно. Только один мистер де Малки, очутившись в безвыходном положении, покончил с собой. К несчастью, он вложил в это дело гораздо больше, чем кто-либо другой, притом денежные дела его были особенно запутаны.

В тот день, когда пришел де Малки, Остерман, сидя за письменным столом, готовился к встрече многих подобных посетителей. Как я позже узнал от самого мистера Остермана, де Малки было нелегко заманить в ловушку, — он действовал весьма осторожно, заключал сделки с оглядкой, чем сильно осложнил победу Остермана, а потому безусловно заслуживал разорения! Де Малки пытался объяснить, что небольшая отсрочка поможет ему выйти из затруднительного положения. «Я продаю по номиналу, соглашайтесь — или нам не о чем разговаривать», — таков был единственный ответ Остермана.

— Но у меня нет сейчас таких денег, мистер Остерман, и мне негде их достать! — воскликнул де Малки. — Ведь вчера эти акции котировались по семь и три четверти. Неужели вы не можете уступить или подождать несколько месяцев? Мне бы полгода или год, — сперва я должен разделаться с еще более неотложными платежами. Я как-нибудь выпутаюсь, если только получу отсрочку.

Я был тогда в комнате и слышал этот разговор.

— По номиналу, и деньги на бочку. Это все, что я могу предложить, — повторил Остерман и сделал мне знак проводить маклера.

Мистер де Малки посмотрел на Остермана, и в глазах его было отчаяние, однако моего патрона это ничуть не смягчило.

— Мистер Остерман, — сказал де Малки, — я здесь не для того, чтобы попусту тратить ваше или свое время. Я прижат к стене и готов на все. Если вы не уступите мне акций по сходной цене, я погиб. Это будет слишком тяжелый удар для моих близких, и я этого не переживу. Я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Дайте мне акции сейчас. Завтра будет поздно. Вам это,

наверно, безразлично, но завтра уже никто не сможет взыскать с меня долги. Моя жена уже два года как прикована к постели. У меня сын-подросток и дочь-школьница. Если я не смогу...— Он замолчал, отвернулся, судорожно глотнул и провел языком по пересохшим губам.

Но мистер Остерман не был расположен верить маклерам, а тем более сочувствовать им.

— Номинал. К сожалению, это все, что я могу предложить.

Де Малки всплеснул руками и вышел, бросив на Остермана последний, полный отчаяния взгляд. В ту же ночь он покончил с собой, чего Остерман никак не ожидал, по крайней мере так он потом говорил. Тогда-то я отказался от должности секретаря мистера Остермана. Я знал, что маклер действительно был близок к самоубийству. И что еще хуже, спустя всего три месяца покончила с собой жена де Малки — отравилась. После смерти кормильца семьи ей пришлось переехать в тесную и бедную квартирку. Газеты поместили тогда заметки и фотографии, судя по которым бедная женщина была, как и говорил де Малки, тяжело больна, по существу, прикована к постели. В газетах сообщалось также, что в лучшие времена де Малки щедро жертвовал на содержание одного сиротского приюта, Дома Грейшет, внешний вид которого был хорошо знаком Остерману. Об этом писали во всех газетах, и благотворительность де Малки, как говорят, особенно поразила Остермана,— он будто бы всегда питал слабость к сиротам. Я слышал потом, что только внезапная смерть три года назад помешала ему подписать завещание, по которому львиная доля его громадного состояния должна была отойти акционерному обществу, обязанному опекать сирот. Правда ли это — не знаю.

2. Нечто подобное произошло с Генри Гризэдиком, конкурентом мистера Остермана. Говорят, мистер Гризэдик был грубый, неотесанный человек, без всякого образования, но знал толк в разведке и очистке нефти; на свое несчастье он натолкнул Остермана на мысль заняться разработкой богатейшего нефтяного месторождения Арройя Верде. Остерман и его сообщники пожали плоды там, где Гризэдик вряд ли когда-нибудь сумел бы нажить состояние. Но все-таки с Гризэдиком они поступили подло, еще более подло, чем с де Малки, сделки которого с акциями были все же сомнительны. Вот под-

робности этой истории. Как говорят, Гризэдик был человек хвастливый, шумный, самонадеянный, но при этом толковый и способный изыскатель. Остерман, нажившись на разорении де Малки и других маклеров, отправился на Запад; сначала он купил в штатах Вашингтон и Орегон крупные лесные массивы, затем в нефтяных районах Калифорнии и Мексики приобрел значительные месторождения, которые сулили ему огромные доходы. Случилось так, что, разъезжая по Южной Калифорнии и Аризоне, он встретил Гризэдика, которому незадолго перед тем посчастливилось напасть на нетронутые запасы нефти,—Гризэдик начал их тайно разрабатывать, хотя в сущности не имел на это средств. В расчете на будущие прибыли он занял денег у Л. Т. Дрюберри из компании «К. В. и В.» и еще кое у кого. По-видимому, именно Дрюберри и указал Остерману на Гризэдика и его находку, и позднее они задумали захватить участок Гризэдика. В то время Остерман и еще три-четыре предпринимателя были заинтересованы в расширении владений компании «К. В. и В.» в Аризоне.

Участок Гризэдика находился в ста милях от железной дороги, в безводной местности, где только скудный ручеек стекал по склону. Правда, компания «К. В. и В.» собиралась построить ветку на Ларстон, но до Ларстона оставалось еще четырнадцать миль, и Гризэдику все равно пришлось бы подвозить туда нефть или перекачивать ее по трубам. Прослышав об этом, Остерман тотчас сообразил, что искусным маневром нетрудно поставить Гризэдика в такое положение, при котором ему только и останется что продать участок,—и взялся за дело. Участок Гризэдика в Арройя Верде был расположен на склоне горы и отделен тонкой перемычкой из глины и сланца от безводной и никчемной Арройя Бланко. И вот Остерман купил земли, расположенные над владениями Гризэдика, разрушил эту перемычку, отвел воду в сторону и тем самым лишил Гризэдика возможности продолжать разработки. Это было подстроено так, будто произошел обвал — на все ведь божья воля,—и восстановление разрушенного было Гризэдику не по карману. А обещанная ветка на Ларстон — что ж, постройку ее можно оттягивать до бесконечности. Ведь в сговоре с Остерманом был Дрюберри, главный владелец акций «К. В. и В.». Наконец была пущена в ход еще одна уловка — перекуплены у Дрюберри и прочих закладные

на землю Гризэдика, и оставалось только ждать, пока владелец, припертый к стене, не продаст свой участок. Покупка закладных была поручена Уитли, ловкому помощнику Остермана, который в свою очередь сделал это через подставное лицо. По своему обыкновению Остерман держался в тени.

Понятно, Гризэдик, узнав, как его провели, пришел в бешенство. Он долго сопротивлялся, кидался на всех, как разъяренный бык, даже пытался убить Дрюберри; но в конце концов противники одолели его и завладели участком. Не имея денег, чтобы начать все снова, и видя, что другие процветают там, где сам он потерпел неудачу из-за того, что у него не было хотя бы небольших средств, Гризэдик запил с горя и, наконец, умер здесь же в Ларстоне, в баре, который открылся, когда компания «К. В. и В.» построила железнодорожную ветку. Что касается мистера Остермана, то он остался совершенно равнодушен к судьбе погубленного им человека. Он даже заметил как-то Уитли, который до последних дней был рабски предан ему, что, не замарав рук, крупного состояния не наживешь.

3. И, наконец, вот как Остерман и Фрэнк О. Парм, владельцы фирмы «Парм-Бэгготт», ухитрились захватить львиную долю акций железнодорожной компании «С. С. и Р.». Сперва они купили небольшую часть этих акций и засыпали компанию судебными исками от имени разных подставных лиц, чем подорвали доверие к ее правлению и председателю Доремусу, так что напуганные держатели акций стали спешно сбывать их. Остерман и Парм, разумеется, скупали эти акции и стали под конец истинными владельцами дороги. Тогда они добились продажи дороги с торгов и сами же купили ее. Два года спустя Майкл Доремус, первый председатель компании, ушел в отставку. Он объявил, что его затравили, что он стал жертвой грязных финансовых махинаций и что акции железной дороги надежны, как никогда (и это была чистая правда). Просто невозможно стало бороться с бесконечными исками и упорными слухами о неумелом управлении. Через год после отставки Доремус умер. «Бог справедлив,— заявил он перед смертью,— время покажет, кто был прав». А пока что дорогу прибрали к рукам мистер Остерман и мистер Парм и, как известно, в конце концов присоединили ее к своим предприятиям.

Несколько фактов из биографии покойного Дж. Х. Остермана, архимиллионера и нефтяного короля, напечатанной в «Лингли мэгэзин» в октябре 1917 года.

Надо знать, каким тяжелым и безрадостным было детство покойного Дж. Х. Остермана, чтобы понять его поведение, оценить необычайные успехи и не всегда благовидные поступки. Отец Остермана, судя по тому, что мне удалось узнать, был человек грубый, ограниченный; тяжелая жизнь, полная лишений, сделала его еще более грубым и жестоким. Он отнюдь не был нежным отцом. Умер он, когда Джону Остерману, герою этого очерка, было одиннадцать лет. Мать Остермана, как говорят, была болезненная женщина, неумная, запуганная и безответная; муж, озлобленный ударами судьбы, все вымещал на ней. Была у Джона еще сестра — некрасивая, угловатая девушка, такая же ограниченная и добропорядочная, как мать, и такая же вечная труженица. Когда ей исполнилось девятнадцать лет, мать умерла. Осиротев, брат и сестра стали вдвоем хозяйничать на ферме и управлялись неплохо, а через два года сестра вышла замуж, и Остерман уступил ей ферму. Он навсегда расстался с работой на земле, тем более что у него были совсем другие наклонности и планы, и отправился в Техас на нефтяные промыслы; там он приобрел кое-какие познания по разведке и очистке нефти.

Но чего только ему не пришлось раньше вынести! Он часто рассказывал, как после смерти отца два года подряд все их посевы гибли от саранчи и засухи, как он, мать и сестра отказывали себе в самом необходимом, как его посылали в лавку выпрашивать в долг немного кукурузной муки и соли, и неизвестно было, удастся ли хотя бы через год вернуть этот долг! Налоги росли. Скот пришлось продать, нечем было сеять и не было денег на семена. Семья была разута и раздета. Остерман пришел к твердому убеждению, что в Римере, канзасском городке, близ которого стояла их ферма, люди черствы и жадны, особенно лавочники. Он, его мать и сестра не могли найти здесь ни поддержки, ни сочувствия, — ведь они были фермеры. В церкви, которую посещала его мать (сам он никогда не был усердным прихожанином), он только и слышал: «Око за око, зуб за зуб», и еще: «Какой мерой мерите, такой и вам отмерит-

ся». Естественно, предприимчивый и энергичный подросток прочно усвоил подобные поучения и впоследствии руководствовался ими в своих хитроумных финансовых операциях. Впрочем, кое-кому Остерман и сочувствовал: говорят, он всегда отбирал среди своих служащих самых напористых юнцов без гроша в кармане и давал им возможность выдвинуться; все его ближайшие помощники — будто бы в прошлом бедняки, сироты, дети полунинщих фермеров. Впрочем, автору настоящей статьи не удалось установить, насколько это верно. Во всяком случае, из сорока с лишком высших служащих Остермана все, за исключением четверых, — дети фермеров или сироты, начинавшие свою карьеру на его предприятиях с самых незначительных должностей, притом семеро из них, как и он, канзасцы родом.

IV

Некоторые размышления покойного Дж. Х. Остермана за последние пять лет его жизни, проведенных им в особняке на Пятой авеню 1046 (Нью-Йорк) или в других местах:

Ох, уж эти дни, полные забот, интриг, постоянных усилий ради того, чтоб продвинуться, дни, когда он был убежден, что в жизни деньги — это все! Жалкие дощатые лачуги, гостиницы, меблированные комнаты в городах и поселках Северо-Запада и повсюду, где он скитался в вечной погоне за деньгами, в поисках богатства. Грязный, вонючий пароходишко, на котором он плавал по илистым, мутным рекам Гондураса и бог весть где еще, а чего ради? Змеи, москиты, аллигаторы, тарантулы, бородавчатые жабы и ящерицы. В Гондурасе он ночевал под тропическими деревьями на подстилке из листьев, и только костер защищал его от змей и прочей нечисти. А по утрам его будили обезьяны и крикливые попугаи, и приходилось швырять в них гнилыми плодами, чтобы отогнать подальше и еще хоть немного поспать. Он тащился один по малярийным болотам, преследуемый по пятам индейцами из племени пекви, которые польстились на его жалкие пожитки. Он в изумлении смотрел на гигантские пальмы высотой в сто футов с перистыми листьями длиной в пятнадцать футов и огромными, в три фута, золотыми соцветиями. Ну ладно, все это давно позади. Однажды он застрелил кwezала, попугая с длинным золотистым хвостом, и обменял его

на кусок хлеба. Один раз он чуть было не умер от лихорадки в хижине метиса, где-то в Кайо. Метис этот украл у него ружье, бритву, все вещи, и он едва оттуда выбрался. Вот она, жизнь. Вот они, люди.

В те годы он и понял, что честным путем ему, мальчишке, не разбогатеть. Скитаясь по этой неприветливой, опаленной солнцем стране, он повстречался с Месснером — американцем, по всей вероятности бежавшим от правосудия; Месснер и подсказал ему план, благодаря которому позже, в Нью-Йорке, он так быстро разбогател. Месснер рассказал о Торби, о том, как тот явился из Центральной Африки в Лондон и выпустил акции несуществующей компании — предполагалось, что она владеет в сердце Африки огромными лесами каучуконосов. И, глядя на бескрайные, но неприступные каучуковые леса Гондураса, Остерман решил повторить в Нью-Йорке проделку Торби. Почему бы нет? Дураков всюду много, а ему терять нечего, он может только выиграть.

По словам Месснера, Торби ухитрился, дав объявление в газете, заручиться поддержкой богатой вдовы, а затем сообщил о своем каучуке лондонским биржевикам и стал продавать двухфунтовые акции всего по десять шиллингов, чтобы потом поразить публику небывалым повышением.

Он выпустил на два миллиона фунтов акций, не стоивших и бумаги, на которой они были напечатаны, и зарегистрировал их на лондонской бирже; маклеры поддались соблазну и, не имея на руках ни единой акции, стали продавать их без счета. Тогда Торби через подставных лиц без труда скупил у всех этих маклеров акции на разницу. Затем, как это всегда делается на бирже, он потребовал (разумеется, через тех же подставных лиц) выдать ему на руки купленные акции. Конечно, у маклеров ни одной акции не оказалось, хотя сделки они заключили на тысячи акций. Все акции лежали в сейфе Торби; это означало, что маклерам придется купить у него акции по номиналу или сесть в тюрьму. И действительно, они толпой явились в его контору, и Торби основательно обчистил их, заставив оплатить акции по номиналу.

Что ж, а он, Остерман, проделал то же самое в Нью-Йорке. По примеру милейшего Торби он приобрел права на незначительный участок в Гондурасе, вдали от железной дороги, и, приехав в Нью-Йорк, выпустил ак-

ции «Каламиты». Как и Торби, он подыскал богатую дамочку, вдову фабриканта роялей, и убедил ее, что дело сулит миллионы. От нее он отправился на Уолл-стрит и на биржу; он действовал в точности, как Торби... Вот только де Малки покончил с собой. Это было не так-то приятно. Он не ожидал ничего подобного! А потом и несчастная жена де Малки отравилась. И двое детей остались сиротами. Это было хуже всего. Он не знал, конечно, что де Малки помогал сиротам, иначе... Ну, а потом он поехал на Запад, в штат Вашингтон и в Орегон, купил там огромные лесные массивы, которые и теперь приносят ему всевозрастающие доходы. А после этого вполне естественно было заняться нефтяным районом Южной Калифорнии и Мексики... Да, Гризэдик, еще одна печальная история! А потом рудники и концессии в Перу и Эквадоре и еще более доходные в Аргентине и Чили. Деньги к деньгам идут. Наконец, когда у него было уже около девяти миллионов, ему удалось заинтересовать Нэди, а через нее предприимчивых состоятельных дельцов ее круга, у которых нашлись свободные деньги, чтобы вложить в его предприятия. И вот его состояние выросло почти до сорока миллионов.

Ну и что же? Разве он по-настоящему счастлив? Чего он достиг? Жизнь так обманчива: она выжимает тебя, как лимон, и потом выбрасывает за ненадобностью. Сначала казалось, что это великолепно — идти, действовать, покупать и продавать, как вздумается, не считаясь ни с чем, лишь бы это было и приятно и выгодно. Он воображал, что вечно будет наслаждаться жизнью, но скоро пресытился. Годы идут, неотвратимо подкрадывается старость, становишься чрезмерно толстым или чрезмерно худым, начинается склероз, мускулы слабеют, кровь течет медленнее, и, наконец, понимаешь ясно, что уже незачем тянуть дальше. Ну вст, он преуспел, а что толку? Да к тому же у него нет детей, нет ни одного верного друга. Настоящей дружбы не существует на свете. Каждый заботится только о себе, а на остальное наплевать. Такова жизнь. Она выжимает тебя, как лимон, и выбрасывает за ненадобностью, будь ты даже велик и могуществен. Время ничем не остановишь, жизнь уходит.

Конечно, совсем не плохо было построить для Нэди два особняка и жить там, когда он возвращался в Нью-Йорк из других стран. Но все это пришло слишком по-

одно; он был уже стар и не мог радоваться жизни. Несомненно, Нэди — большая находка для него, но она слишком красива, чтобы искренне полюбить человека его возраста. Ее прельстило богатство — это совершенно ясно; он всегда это знал, и не станет же он теперь обманывать себя. У нее было положение в обществе, у него — никакого. Разумеется, когда они поженились, он сумел воспользоваться ее связями. Но ведь Нэди рассчитывает, что он оставит все свое огромное состояние ее сыновьям, этим двум бездельникам. Ни за что! Эти шалопаи того не стоят. Только и умеют, что шаркать по паркету да сорить деньгами. Он и без них найдет, куда девать свои миллионы. Уж лучше отдать все сиротам, в конце концов, сироты принесли ему в делах немалую пользу, больше, чем эти двое.

...Чудак де Малки... Давно это было. Кстати, ведь это под влиянием сыновей жена заинтересовалась д'Эйро, архитектором, который построил оба их особняка и подсказал ей мысль устроить картинную галерею. И ни одна картина в этой галерее не может понравиться здравомыслящему человеку. А разве не из-за Нэди он не отвечал на письма Эльвиры, своей сестры, которая просила его помочь двум ее сыновьям получить образование. Он тогда не решился взять племянников к себе, — вообразил, будто это может как-то повредить его отношениям с Нэди и ее знакомыми. А теперь Эльвира умерла, и он даже не знает, где ее дети. В конце концов, разве не Нэди виновата в этом?

Да, такова жизнь. Он построил два великолепных особняка и думал, что это доставит ему большую радость; вначале так оно и было; но ему уже недолго осталось пользоваться этой роскошью и комфортом. Он теперь совсем не тот, его утомляет большое общество — надоели люди, которые сходятся в гостиных, чтобы показать себя, надоела их праздная болтовня. С ним они, разумеется, всегда учтивы, но и только. Им нужно его громкое имя. Если он не положит этому конец, его дом и дальше будут осаждать люди, которые непременно хотят что-нибудь навязать ему — акции, ценные бумаги, предприятия, гобелены, земельные участки, скаковых лошадей. А Нэди и ее сыновья еще всячески поощряют их, особенно когда дело касается так называемых произведений искусства. Но теперь — кончено. Хватит с него. Бывало и так, что продажная юность и красота пыта-

лись заманить его в ловушку. Но время его прошло. Вся эта мишура и суета — для людей помоложе. Чтобы это доставляло удовольствие, казалось красивым, романтичным, нужна молодость и энергия, а у него уже нет ни того, ни другого. Его время прошло, теперь остается только умереть, ведь сам он, в сущности, никому не нужен, нужны только его деньги.

V

Воспоминания Байнгтона Бригса, эсквайра (Скефф, Бригс и Уотерхаус, поверенные покойного Дж. Х. Остермана). Из частной беседы в нью-йоркском Метрополитен-клубе в декабре 19.. года:

«Вы ведь знали старика Остермана? Последние восемь лет его жизни я был его поверенным и могу сказать, что на своем веку не видывал хищника умнее и хитрее. В нем странным образом сочетались черты спекулянта, финансиста, мечтателя и отъявленного жулика. Трудно себе представить, что такой человек был склонен к благотворительности, не правда ли? Мне бы это никогда не пришло в голову, я узнал об этом лишь года за полтора до его смерти. Тут, по-моему, возможно единственное объяснение: у Остермана было очень тяжелое детство, а в старости он никак не мог примириться с тем, что пасынки, Кестер и Ренд Бенда, только и ждут его смерти, чтобы промотать наследство. Кроме того, я думаю, Остерман убедился, что Нэди вышла за него исключительно ради его богатства. Скажу вам по секрету: за три месяца до своей смерти Остерман поручил мне составить завещание, по которому все его состояние — около сорока миллионов — переходило не к жене, как было сказано в прежнем завещании, предъявленном ею впоследствии, а поступало в распоряжение «Фонда Дж. Х. Остермана». Это благотворительное учреждение должно было взять на себя заботу о трехстах тысячах сирот, содержащихся в приютах Америки. Так бы оно и вышло, если бы Остерман не умер внезапно в Шелл Ков два года назад.

По его последнему завещанию миссис Остерман и ее сыновья получали лишь пожизненно проценты с определенной суммы, вложенной в ценные бумаги; после их смерти эти бумаги также поступали в распоряжение «Фонда Остермана».

Иными словами, жене и пасынкам Остермана предназначалось тысяч сорок — пятьдесят в год — и только. Полмиллиона долларов было оставлено непосредственно приюту Грейшет, на Шестьдесят восьмой улице, а обширное имение Остермана в Шелл Ков должно было стать центром сети благоустроенных приютов для сирот, которую предполагалось создать по всей Америке. Доход от имущества, передаваемого в фонд, должен был целиком идти на это дело, а приют Грейшет становился нью-йоркским отделением всей этой системы. В этом году жена Остермана сдала имение Шелл Ков в аренду Герберманам; замечательная это усадьба — весь дом отделан мрамором, озеро в милю длиною, большой теннисный сад, прекрасная остекленная оранжерея и изумительный вид на море. До последнего часа Остермана, до последнего его вздоха — я был при этом — жена и не подозревала, что он собирался оставить ей только сорок или пятьдесят тысяч в год. Здесь ведь все свои, иначе я бы даже теперь не рискнул говорить об этом; впрочем, насколько я знаю, Клипперт, тот самый, что предложил Остерману проект сиротских домов, уже рассказывал эту историю. Дело было так:

Поверенным Остермана я был со времен борьбы за контроль над акциями компании «К. В. и В.» в 1906 году; не знаю почему, но старик любил меня, — может быть, за то, что я составлял поистине «непромокаемые» контракты, как он их всегда называл. За шесть-семь лет до смерти Остермана я понял, что он не очень-то ладит с женой. Миссис Остерман женщина очень умная, с большим вкусом, еще и сейчас хороша собой, но, мне кажется, Остерман чувствовал, что она пользуется им в своих целях и что ему не так уж повезло в семейной жизни. Прежде всего, как я понял из разговоров, миссис Остерман слишком любила своих сыновей от первого брака, а кроме того, она подпала под влияние этого архитектора д'Эйро и слишком сорила деньгами. В то время все говорили, что д'Эйро и его приятель Безеро, которого старик тоже недолюбливал, подбили миссис Остерман на покупку картин для галереи в доме на Пятой авеню. Конечно, Остерман, ничего не смысливший в искусстве, не вмешивался в это дело. Он не отличил бы хорошую картину от сносной литографии, и, мне кажется, его это мало трогало. Однако, как вы сейчас увидите, отчасти из-за картины у супругов и пошли нелады

В то время Остерман казался мне очень одиноким, в целом свете у него, видно, не было близкого человека, только компаньоны в делах да служащие. Он почти всегда жил в своем городском особняке, а миссис Бенда — я хочу сказать, миссис Остерман, — ее сыновья и знакомые постоянно находили предлоги, чтобы оставаться в Шелл Ков. Там всегда бывали большие приемы и всякие увеселения. Однако миссис Остерман была достаточно умна и время от времени приезжала в город, разыгрывая, по крайней мере перед мужем, роль внимательной и заботливой супруги. Что до Остермана, то он уныло бродил по этому огромному дому, показывая картины своим агентам и служащим, а заодно и маклерам, которые навязывали ему самые разнообразные покупки, и делал вид, что имеет какое-то отношение к коллекции своей жены, или, вернее, архитектора д'Эйро. Старик-то ведь был до черта тщеславен, хотя и считался по праву одним из умнейших дельцов своего времени. Казалось бы, человек одаренный должен быть свободен от мелко-го тщеславия, но, как видно, это не так.

Когда я думаю об Остермане, мне вспоминается этот большой дом, всюду резьба, позолота, громадный орган в гостиной, о котором говорили, что он стоил восемьдесят тысяч долларов, стрельчатые окна с цветными стеклами, словно в церкви. Безеро как-то говорил мне, что миссис Остерман, будь ее воля, никогда бы не построила подобный дом, но Остерману хотелось создать нечто великолепное, образцом же великолепия в его представлении была церковь. Ничего не оставалось, как построить ему особняк с готическими окнами и органом и постараться как-то так обставить этот дом, чтобы он все же стал поуютнее. Но еще прежде, чем была закончена постройка, миссис Остерман и д'Эйро решили, что лучше всего построить дом с таким расчетом, чтобы можно было превратить его в картинную галерею, а затем либо продать, либо оставить как своего рода памятник. Но я думаю, д'Эйро и миссис Остерман надули старика, установив для него под видом органа фисгармонию. Очевидно, они рассчитывали, что большую часть времени Остерман будет проводить в одиночестве, так надо же ему чем-нибудь развлечься! И он действительно развлекался. Помню, как-то я застал его одного — вернее, не было никого из родных, но дом был полон народу: на какое-то совещание съехались с Юга и Запада агенты

и управляющие разными предприятиями Остермана, в деловой сфере весьма усердные и ловкие, но не слишком уверенно чувствующие себя в обществе. В огромной столовой, рядом с гостиной, был уже накрыт стол для завтрака, и все эти дельцы сидели, как стая черных воронов, а Остерман на возвышении в конце комнаты, сидя перед своим «органом», важно исполнял свои любимые «Колокольчики Шотландии». Когда он кончил, все захлопали!

Впрочем, я хотел рассказать не об этом: как-то при мне Остерману принесли небольшую картину, которая почему-то ему сразу понравилась. Безеро сказал, что это неплохое полотно шведского реалиста Даргсона. На картине была изображена худая и измученная женщина лет за сорок, покончившая самоубийством. Она лежит на кровати, одна рука свесилась, а рядом, на полу, валяется стакан или пузырек из-под яда. Тут же стоят двое детей и мужчина, оплакивают свою потерю. Эта картина почему-то произвела на Остермана огромное впечатление. Не могу понять почему,— это было скорее не произведение искусства, а воплощение человеческого страдания. Так или иначе, Остерману картина понравилась, и он хотел, чтобы Нэди купила ее для своей коллекции и тем самым одобрила его выбор. А Нэди, если верить Безеро, собирала только произведения, представляющие всякие там школы, эпохи и страны. Поэтому, когда посланный Остерманом агент пришел к Нэди, картина была немедленно отвергнута. Тогда Остерман купил ее сам и, чтобы показать, что он не так уж считается с мнением жены, повесил у себя в спальне. С этих-то пор он и стал ворчать, что галерея — вздор, и нечего тратить на нее столько денег. Однако и сейчас едва ли кто-нибудь объяснит, чем ему так понравилась именно эта картина.

Я знаю одно: именно в то время Остерман заинтересовался Клиппертом и его проектом улучшения жизни сирот. В конце концов он направил Клипперта ко мне, чтобы я подробно ознакомился с проектом, и не только в отношении Дома Грейшет, но и всех приютов в Америке. Остерман предупредил нас, что, пока он не будет готов действовать, надо соблюдать полнейшую тайну, иначе он откажется от своих намерений. Разумеется, иначе он не мог бы перехитрить миссис Остерман. Он сказал, что хочет устроить для сирот что-то совсем новое, усовершенствованное — никаких унылых бараков, казарменных порядков, уродливой дешевой казенной

одежды; вместо всего этого — систематическое образование и жизнь совсем по-домашнему, в уютных коттеджах. Ни я, ни Клипперт тогда еще не представляли себе, как далеко шли его планы. Клипперт предполагал, что Остерман, может быть, согласится в виде опыта дать деньги на расширение Дома Грейшет, и убеждал меня повлиять на старика. Однако оказалось, что Остерман решил создать приюты по всей стране, а центром сделать имение Шелл Ков — нечто вроде Восточного морского курорта или санатория для сирот со всей Америки. Это была грандиозная затея, для осуществления которой потребовались бы все его деньги, даже больше.

Но раз уж он так хотел, мы с Клиппертом взялись за разработку плана. Он был очень способный, этот Клипперт, деловой, толковый и, насколько я понимал, честный и бескорыстный. И мне и Остерману он нравился, но старик хотел, чтобы он не попадался на глаза миссис Остерман, пока все не будет готово. Клипперт добросовестно принялся за дело. Он объездил все существующие в Америке заведения для сирот и вернулся с подробными данными о пятидесяти или шестидесяти приютах и с планом, который Остерман описал мне потом в общих чертах; этот план был включен в его завещание, — тем дело тогда и кончилось. Остерман почему-то не подписал бумагу сразу, а она лежала в моем сейфе, пока... впрочем, лучше я расскажу все по порядку.

Как-то утром в субботу — погода была чудесная, и я собирался пойти в клуб поиграть в гольф — Остерман вызвал меня по междугородному телефону и просил приехать вместе с Клиппертом и еще неким Моссом в Шелл Ков, захватив с собой завещание: он окончательно решил подписать его, сказал Остерман; потом я не раз думал — может быть, он предчувствовал, что произойдет.

Хорошо помню, как обрадовался Клипперт, когда я вызвал его. Он увлекался своим планом до самозабвения, как мальчишка, и, казалось, кроме благополучия сирот, ничем другим не интересовался. Мы отправились в Шелл Ков, и что бы вы думали? Как только мы приехали... я помню все, точно это было вчера. Ясный, теплый день. В парке множество полосатых бело-зеленых и бело-красных палаток, легкие плетеные кресла, качалки, столики. Повсюду сидят, гуляют или танцуют нарядно одетые гости. Здесь же был и Остерман. Он прохаживался по южной веранде близ главного входа, должно

быть поджидая нас. Заметив, что мы подъехали, он приветственно помахал нам рукой и пошел навстречу, но вдруг пошатнулся и упал, словно кто-то внезапно сбил его с ног. Я понял, что это паралич или апоплексический удар, и весь похолодел при мысли, чем это может кончиться. Клипперт кинулся вверх по лестнице, прыгая сразу через четыре ступеньки, но пока мы бежали по веранде, Остермана уже внесли в дом; я по телефону вызвал доктора. Клипперт был бледен и точно окаменел. Нам оставалось только переглядываться и терпеливо ждать, так как возле Остермана была жена и ее сыновья. Наконец стало известно, что мистеру Остерману немного лучше и он хочет видеть нас. Мы вошли. Остерман лежал на большой кровати с белым пологом в просторной солнечной комнате, выходящей окнами на море; он был так бледен и слаб, словно проболел целый месяц. Он долго молча смотрел на нас; рот его был полуоткрыт, губы слегка вздрагивали. Но вот он собрался с силами и прошептал: «Дайте мне... дайте...» — и снова замолчал, не в состоянии продолжать.

Приехавший тем временем врач дал ему глоток виски, и больной опять попытался что-то сказать, но это ему не удавалось. Наконец он с усилием прошептал: — Дайте мне... дайте... бумагу... — И немного погодя: — Клипперт... и... вы... — Он снова умолк, потом прибавил: — Пусть все выйдут... все, кроме вас троих и доктора.

Доктор настоял, чтобы миссис Остерман и ее сыновья удалились, и это, как я заметил, ей совсем не понравилось. Под разными предлогами она все время возвращалась в комнату — она была здесь и в минуту его смерти. Как только они вышли, я достал завещание, и Остерман удовлетворенно кивнул. По нашей просьбе принесли легкий пюпитр, чтобы больной мог писать. Мы приподняли Остермана и положили перед ним завещание, но он был слаб и снова откинулся на подушки. Наконец удалось его поднять, он попытался взять перо, но пальцы не слушались. Остерман покачал головой и прошептал: «Ма... маль... чики...». Клипперт был вне себя от волнения, но Остерман не мог пошевелить рукой.

И тут в комнату вошла миссис Остерман. «Что это вы заставляете бедного Джона подписывать? — воскликнула она. — Оставьте его в покое, пока ему не станет лучше». Она хотела взять бумагу, но я оказался проворнее и, словно не заметив ее протянутой руки, пе-

рехватил завещание. Конечно, она догадывалась, что мы в заговоре с ее мужем и хотим что-то скрыть от нее, и глаза ее метали молнии. Остерман, видимо, понял, что дело принимает скверный оборот, и с тоской смотрел то на одного, то на другого. Он потянулся к завещанию. Клипперт пододвинул пюпитр, я подал документ, и Остерман снова попробовал взять перо. Убедившись, что это ему не удастся, он простонал: «Я... я... хочу... сделать что-нибудь... для... для...» Тут он упал на подушки, и через минуту его не стало.

Посмотрели бы вы тогда на Клипперта! Он не шевельнулся, не вскрикнул, но тень легла на его лицо — я бы сказал, тень смерти: погиб его замысел, дело, которое было ему дорого, и в нем самом словно что-то оборвалось со смертью старика Остермана. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова. Я тоже хотел идти, но миссис Остерман остановила меня.

Может быть, вы воображаете, что она тогда была слишком потрясена смертью своего мужа, чтобы думать о чем-либо другом,— ничуть не бывало! Покойный еще лежал здесь, а она, не стесняясь доктора, подошла ко мне и потребовала показать бумагу. Я как раз собирался спрятать завещание, но она выхватила его у меня из рук.

— Вы, конечно, не возражаете, если я взгляну на это,— сказала она холодно и, когда я запротестовал, прибавила: — Имею же я право узнать волю своего мужа.— Сначала я хотел пощадить ее чувства, но спорить было бесполезно, и пришлось дать ей прочесть завещание.

Видели бы вы ее лицо! Глаза ее сузились, она так и впилась в бумагу. Когда ей стало ясно, о чем шла речь, она чуть не задохнулась от ярости, а пожалуй, и от страха при мысли, чем бы все это кончилось, если бы Остерман не был так слаб. Она посмотрела на безжизненное тело мужа — я уверен, это был единственный взгляд, которым она его удостоила за весь день,— потом на меня и вышла из комнаты. Мне тоже оставалось только уйти.

С тех пор миссис Остерман перестала меня узнавать, хотя раньше была довольно любезна. Что ни говорите, она едва не осталась на бобах. Будь у старого чудака в последнюю минуту побольше сил — и подумать только, на какое грандиозное дело пошли бы его миллионы. В конечном счете миссис Остерман и миллиона не получила бы. Все досталось бы маленьким оборвышам. Вот уж, можно сказать, повезло!»

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Литературное наследие Т. Драйзера обширно и разнообразно: романы и рассказы, статьи, очерки и новеллы, стихи и пьесы, путевые заметки и воспоминания, публицистика и философские эссе. Среди этих жанров рассказ занимает далеко не последнее место. Начав с рассказов свою литературную деятельность, писатель неоднократно возвращался к этому жанру в течение всего своего творческого пути. Еще при жизни Драйзер объединил свои рассказы в пять сборников: «Освобождение», «Двенадцать», «Краски большого города», «Цепи», «Галерея женщин».

Обращение к рассказу, по свидетельству биографов Драйзера, позволяло писателю быстрее откликаться на волнующие его темы и в то же время в ряде случаев давало необходимый ему заработок. И сюжеты и действующие лица рассказов Драйзер брал из самой гущи жизни, так хорошо знакомой ему. Хотя многие из его рассказов признавались редакторами журналов «захватывающими и впечатляющими», тем не менее их часто не печатали, так как владельцы журналов требовали от авторов «более радостных и менее душераздирающих» историй. Десять журналов отвергли рассказ «Цепи», четыре — «Могучий Рурк» и т. д.

Но Драйзер продолжал писать так, как он считал нужным. Из-под его пера один за другим выходили замечательные жизненные истории; на их страницах радовались и страдали простые американские граждане, заботами и думами которых жил и сам писатель. Рассказы Драйзера отличаются один от другого и стилем и манерой повествования. Среди них есть остросюжетные истории, рассказы-зарисовки, психологические портреты, трагические новеллы. Но все они объединены одним: они рассказывают о судьбе простых людей в капиталистической Америке и проникнуты подлинной любовью к человеку и его труду.

Первый сборник рассказов Драйзера — «Освобождение» вышел в свет в августе 1918 года с предисловием известного писателя Шервуда Андерсона и вскоре был переиздан в серии «Современная библиотека». Вошедшие в него одиннадцать произведений были написаны в разное время, а некоторые из них уже публиковались в журналах. Сборник начинается рассказом «Макевен из числа сияющих рабовладельцев», который является одним из первых рассказов писателя. Рассказ был опубликован под несколько измененным названием еще в 1901 году в июньском номере журнала «Эйнслис мэгэзин». В ноябре 1901 года в этом же журнале по-

явился другой рассказ Драйзера — «Негр Джеф», также впоследствии включенный им в сборник «Освобождение».

Сразу за первым сборником рассказов, в марте 1919 года, появился второй сборник — «Двенадцать». За четыре месяца после издания книги критики откликнулись на нее 22 рецензиями, и в некоторых из них рассказы оценивались весьма положительно. Прототипами героев сборника являлись люди, хорошо знакомые писателю, — доктор из небольшого городка, в котором Драйзер жил в детстве; нью-йоркский финансист; родной брат писателя Поль; мастер-строитель, под началом которого пришлось работать Драйзеру; владелец санатория, в котором лечился писатель, и другие. Критики отмечали, что эта документальность рассказов позволила писателю создать произведения, исполненные той достоверности и точности описаний, которых так часто не хватало прозе других американских авторов.

Сборник «Краски большого города», изданный в октябре 1923 года, представляет собой зарисовки Нью-Йорка и его обитателей, написанные между 1898 и 1919 годами. Собранные вместе, они дают яркую картину огромного капиталистического города, подчеркивают глубину пропасти, лежащей между бедностью и богатством.

В сборник «Цепи», опубликованный в 1927 году, вошли пятнадцать рассказов. Некоторые из них неоднократно отвергались различными журналами. Например, включенный в этот том рассказ «Золотой мираж» был отвергнут девятью журналами. «Цепи» редактор журнала «Сэнчери» считал лучшим рассказом писателя и тем не менее отказался печатать его.

Последний сборник рассказов Драйзера — «Галерея женщин» (см. том 12) составлен из пятнадцати житейских историй представительниц различных слоев американского общества. Рассказанные большим мастером, истории эти не только с интересом читаются — они показывают непредубежденному читателю, что ожидает женщину в обществе, в котором властвует чистоган.

В настоящем издании сборники рассказов Драйзера представлены несколькими рассказами, характерными для каждой книги.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Из сборника «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

Освобождение. Перевод Р. Облонской	5
Негр Джеф. Перевод О. Холмской	37
Репортаж о репортаже. Перевод Л. Слонимской	64
Западня. Перевод М. Урнова	93

Из сборника «ДВЕНАДЦАТЬ»

Питер. Перевод Е. Турковой	147
Калхейн, человек основательный. Перевод П. Топер	190
Мопассан-младший. Перевод Н. Банникова	236
«Суета сует», сказал Экклезиаст. Перевод Э. Васильевой	266
Могучий Рурк. Перевод В. Тамохина	289
Мэр и его избиратели. Перевод М. Урнова	318

Из сборника «КРАСКИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Союз Майкла Дж. Пауэрса. Перевод Э. Васильевой	342
Очистка нефти. Перевод Н. Галь	350
Во тьме. Перевод Э. Васильевой	355
В метель. Перевод Р. Облонской	359
В снегу. Перевод Р. Облонской	361

Из сборника «ЦЕПИ»

Прибежище. Перевод Е. Турковой	365
Цепи. Перевод Н. Самохиной-Высоцкой	394
Святой Колумб и река. Перевод Т. Кудрявцевой	423
Ураган. Перевод И. Стефен и В. Любимовой	456
Золотой мираж. Перевод Н. Галь	488
Победитель. Перевод Н. Ромм	521

Историко-литературная справка	542
---	-----

Теодор ДРАЙЗЕР

Собрание сочинений
в двенадцати томах

Том XI

Редактор тома
Н. А. Самохвалова

Оформление художника
Ю. А. Боярского

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1222

Сдано в набор 10.01.86. Подписано к печати 20.03.86.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,98. Уч.-изд. л. 28,70. Усл. кр.-отт. 31,92.
Тираж 750 000 экз. (3-й завод: 500 001—750 000).
Изд. № 16. Заказ № 1951. Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Индекс 70685